ISSN 0130—6545

5. 1983

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бригада монтажников Георгия Карауланова

Цветные иллюстрации номера —
работы болгарской художницы Доры Боневой

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

5 май 1983

Содержание

Из современной поэзии индейцев США

СКОТТ МОМАДЕЙ, САЙМОН ОРТИС, ДЖЕЙМС УЭЛЧ, ДУЭЙН НИАТУМ, ЛАНС ХЕНСОН *(Перевод с английского Геннадия Русакова)* 3

ГЮНТЕР ГРАСС — Встреча в Тельгте *(Повесть. Вступление и перевод с немецкого Ю. Архипова)* 10

ИРВИН ШОУ — Нищий, вор *(Роман. Перевод с английского Н. Емельянниковой и И. Якушкиной)* 76

ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ — Пять стихотворений из цикла «Толедо» *(Перевод с итальянского Евгения Солоновича)* 145

Литературное наследие

ЛАЙОШ НАДЬ — Рассказы *(К 100-летию со дня рождения. Вступление В. Середы. Перевод с венгерского В. Середы и Ю. Гусева)* 148

Критика

Е. РЯУЗОВА — «Роль литературы в том и состоит, чтобы ставить проблемы» *(Заметки об ангольской литературе последних лет)* 165

Письма из-за рубежа

УИНСТОН ОРРИЛЬО — Книги борьбы *(Слово к советскому читателю)* 170

Литературные иллюстрации

ГУСТАВ ЯНОУХ — Разговоры с Кафкой *(Вступление, перевод с немецкого и примечания Е. Кацевой)* 173

Культура и современность

В. ИВАНОВ — Быть или не быть канадскому кино? ✦ Е. ГЕНИЕВА — Что такое английская литература? ✦ М. САЛГАНИК — Джеймс Бонд, царь обезьян 184

Публицистика

ВРЕМЯ ЗАЩИЩАТЬ ЖИЗНЬ. ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ МИРА *(Конспект в трех частях с примечаниями нашего специального корреспондента Е. СТОЯНОВСКОЙ)* 194

Антирубрика

ПЬЕР БУЛЬ — Дьявольское оружие *(Перевод с французского Юрия Денисова)* ✦ БОСТ — Сценарий *(Перевод с греческого Евгения Колесова)* 227

Наши гости

Н. Булгакова — Сильвано Лора и Хосе Алькантара Альмансар (Доминиканская Республика) 234

Среди книг

Издано в СССР

К. Яцковская — Новая книга о литературе Монголии ✦ В. Скороденко — Открытие мира 236

Издано за рубежом

Ален Боске — Что читают сегодня во Франции ✦ Г. Злобин — Бэббит образца 1980 года ✦ Н. Разговоров — У доски без мела 239

Советская литература за рубежом 144, 172

Из месяца в месяц 246

Авторы этого номера 254

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы болгарской художницы ДОРЫ БОНЕВОЙ «Родопские девушки», «В Москве».

© «Иностранная литература», 1983.

Из современной поэзии индейцев США

Перевод с английского ГЕННАДИЯ РУСАКОВА

СКОТТ МОМАДЕЙ

Песня радости Тсой-Тали [1]

Я перо на блистающем небе
Я сиреневый конь, проскакавший равниной
Я плотва, промелькнувшая искрой в воде
Я проворная тень, убежавшая вслед за ребенком
Я вечернее солнце над глянцем лугов
Я орел, заигравшийся с ветром
Я пригоршня раскрашенных бусин
Я свеченье далекой звезды
Я студеное веянье утра
Я гуденье дождя
Я сверкание снежного наста
Я дорожка луны на пруду
Я огонь четырех полыхающих красок
Я олень, на закате застывший у леса
Я раскинувший ветви сумах
Я станица гусей среди зимнего неба
Я прожорливость юного волка
Я мечта обо всем, что рассказано мной

Погляди — я живу, я живу
Потому, что я связан с землею
Потому, что я связан с богами
Потому, что я связан с прекрасным
Потому, что я связан с дочкой Цен-Тайнте [2]
Я живу, я живу, я живу

Земля в Абикву

Джорджии О'Кифф

Я вспоминаю время нашей встречи
На удивительной земле Абикву,
Другие встречи вслед за этой первой —
Послушное плетение бесед,

Печатается с разрешения издательства Harper & Row Publishers Inc. N. Y.
© 1976, by Scott Momaday

[1] Тсой-Тали — Сын Каменного Древа (индейское имя Скотта Момадея).
[2] Цен-Тайнте — Белая Лошадь.

Неспешность ужинов с вином и сыром.
Нас окружали славные предметы,
Чья красота была точна, как кость,—
Да, кость: змея видна в волокнах кости,
Коровьи и овечьи черепа,
И гладкость множества камней в окне,
Прекрасных в плоском зимнем освещенье.
Я тщился солнце ощутить в камнях —
Далекое, седое солнце стужи.
Но я тебе об этом не сказал.
Хотя, наверное, ты догадалась.
Припоминаю, что как раз в те дни
Я подарил тебе коричневый голыш,
И ты прочла его одним касаньем пальцев,
И сразу поняла, как он красив,—
Конечно, сразу же узнала это,
Как знала чудо форм земли в Абикву:
Их точит время, но они все те же —
Прекрасны, далеки, высокомерны,
В смерканье света, в смене холодов.

САЙМОН ОРТИС

Под Международным аэропортом в Лос-Анджелесе

Одурманенный анестезией полета,
я плетусь сквозь лос-анджелесский международный.
Я заранее знаю: меня не поймут —
и не задаю вопросов.
Я кошусь на экраны ТВ с расписаньем полетов,
ощущая их полное пренебреженье к моему появленью.
Эскалатор несет меня вниз,
чтоб ссадить у начала туннелей.
Только мне и на свежую голову не удается
разобраться в их хитросплетеньях. Они
для меня однолики. Мне нужно
что-то более четкое, точка отсчета.
Но в туннеле, на сближенных стенках аллеи,
различимы лишь бледные буквы табличек.
И, пройдя этот первый туннель, я сейчас же
попадаю в другой и теперь понимаю:
влип Вконец заплутал. Стоп, не надо пугаться:
я ведь знаю, где я.

Печатается с разрешения издательства Harper & Row Publishers Inc. N. Y.
© 1976, by Simon J. Ortiz.

Я под Международным, в Л. А.
Я на западном побережье, это место зовется Америкой.
Я чуть-чуть образован, умею читать, знаю компас.
Только знания эти здесь не подмога
И гнетут непосильным томительным грузом.

Я лишь загнанный, жалкий зверек в лабиринте.
И Америка этих туннелей, гладких лиц, самолетного гула,
расписаний на телеэкранах, бесстрастных ответов
подавила во мне даже волю к мышленью. А я
без нее ни на что не гожусь.
Да, Америка все же настигла меня.
Я вжимаюсь, распластанный, в стену туннеля.
Я беззвучно срастаюсь с могилой. Беззвучно, без эха.

Поэт

«Так вы и впрямь поэт»?

«А как же».

Сверчки ведь отвечают только так.

А день-другой спустя
я слушал нескончаемый рассказ
четы, что вспоминала, как когда-то,
с десяток миллионов лет назад,
жилось ей где-то в Азии, в пещере.
Давно все это было. А они
знай стрекотали жестью перепонок
и так прострекотали до утра.

«Я и не думала, что вы поэт».

Потом
была еще одна пещера.
И женщина стонала, а потом
смеялась
возле края ледника.
Там, дальше к югу,— колыханье трав,
тепло морей, мельканье ярких птиц,
жара пустынь, диковинные боги,
которые не просят ничего.

Она — ко мне: «Вы любите сверчков?»
А я: «Угу. Но, чур, не тараканов».
И я подумал вслух,
приходятся ли тараканы
родней сверчкам, на что она сказала:
«Вполне возможно. Но весьма далекой».
Я рад бы это выяснить,
но десять миллионов —
чертовски долгий срок,
чтоб выяснять детали.

«Скажите, вы давно уже сверчок?»

ДЖЕЙМС УЭЛЧ

Рождество в резервации Мокасин-Флэт

Рождество наступает привычно: волхвы
не явились, свечи взяты в кредит (плохи цены
на телят), пьяный сон кинул воинов на пол,
жулик ветер унес вместе с дымом остатки тепла.

По дырявым хибарам дружки затаились и ждут,
пялясь в пластик окошек, подвоза товаров.
Чарли Черный Дрозд — до церкви и бара ему двадцать
миль —
добывает огонь, ударяя кресалом по кремню.

Пьянь выходит наружу, чтоб опохмелиться,
а вожди лижут снег и сулят перемены,
хоть подавленный смех распирает им ребра.
Лось завел свои игры в далеком лесу.

Вон гадалка готовит для трубки брикетный табак,
окликает метели по имени, и объявляет
— без часов — пятый час пополудни, и плюет в телевизор.
Детвора лезет к ней на колени и просит рассказов —

что-нибудь, но про честь, и про страсть,
и про воинов, что возвращаются с мясом и с песней,
про ночную, возникшую кратким виденьем, звезду.
Чарли Черный Дрозд разжег свой огонь. А снаружи
тридцать ниже нуля.

Человек из Вашингтона

Большинство принимало конец без мучений.
Оттесненные с нищенским скарбом
в угол плоского мира,
мы всего и просили что дров
да бизоньего меха — прикрыться от стужи.
И приехал усохший сморчок
со слезящимися глазами
и пошел говорить... Обещал,
что отныне все будет как прежде,
что теперь договоры подпишут и всем —
детям, женам, мужчинам — назначат прививки
против мира, к которому мы непричастны,
мира денег, посулов и хворей.

А последний священник даже не попрощался

Цена прегрешения — ссылка сюда,
где горная цепь переходит в индейский поселок.
Здесь даже священник по розовой церкви развесил
презренье и ненависть к черной работе.
А я собирался отпраздновать: детям — конфеты
и новую ненависть — взрослым.
Священник исчез. Из его комнатушки
разило смесью ладана с виски. Святые
глядели с укором.
Косясь, борогодица хмуро сказала:
священника больше не будет.

В поселке твердят — он держался упорнее прочих.
Ведь кладбище пусто, старухи, похоже, бессмертны,
а дети...
Они норовят на реке
крючком подхватить его черную шляпу.

Ткачи снежных нитей

Могу тебе сказать, что все в порядке.
Уж год, как птицы улетели к югу.
Пока вернулся лишь один чирок,
покинув мать в ее любовных играх.

Ты поклонись друзьям. Скажи, что тут
перед моею дверью дохнут волки:
зима их гонит из мясных краев.
И передай: недавно мне приснилось,

как ваши пауки мусолят нити
и норовят заткать их крепью день. Вдобавок
вся паутина полнилась словами.
Их смысл кружил и бился на ветру.

ДУЭЙН НИАТУМ

Уличный мальчишка

Окна выходят на полынную пустошь,
в Калифорнии, к северу от Сан-Франциско.
Солнце сжигает холмы.
В эту ночь он впервые почуял
непривычную боль где-то в горле,
жесткий, непроглотимый комок —
одиночество.

© 1974, by Duane, Niatum.

Вечер пронизан стрижами.
Жуки заползают в укрытье, а он,
в стороне от приятелей, от горлопанов,
одержимых пинг-понгом, услышал:
сердце тихо сказало: «Не плачь».
Джо-Индей — так зовут его братья,
и чиканос, и негры — боится
не ночной темноты, а души,
что в нем нынче стучит, как кулак
о незримую стену.

Лесчи, вождь племени нискуалли

Он проснулся от странного сна —
Птица Грома рыдала о нем из метели,
Окружив его, женщины нискуалли
Уходили к реке, танцевали под горькие всхлипы.

Он пылал на поляне смолистее красного кедра,
Нагоняя ладонями пламя на белых,
Что явились присвоить долину
Для своих поросят и гусей.
Прочерк волчьих следов исчезает в сугробах.
Он молчит, вспоминая о женах и детях.
Чуть мерцая в рассветном огне, его вера
Все крепчает и водит по лесу солдат,
Как олень, отоспавшийся в черном бурьяне.

Он сегодня для них лишь потеха:
Судьба, словно кол, ему всажена в глотку.
Но ведь смерть приведет его прямо к вигваму отца,
Сквозь горящую радугой дверь. За решеткой
Лишь его утомленное тело. Он больше не ест,
Он молчит. И петля для него наготове.

Младший брат Главной Луны [1]

Засыпаю в лисьей ночи,
В распевающем зеркале мрака.
Набираюсь решимости снова найти в себе силы,
Рассказать о своих пораженьях лугам,
По которым бредет мое детство, срывая
Вишни: женщины на берегу
Жарят рыбу, и дедушка спел свою песню оленю.
Мое сердце покатится в центр ожерелья
Из огней, оцепивших поселок, где белая ель
Спит под грузом семи одеял превращенья.
И тогда я уйду из Вороньей пещеры.

[1] Главная Луна — январь.

ЛАНС ХЕНСОН

Рассвет в январе

конец протяжного безмолвия
как имя
которое в конце концов приходит
я знал тебя всегда

а между тем зима
поет при наступлении
рассвета
я слушаю как малое дитя
звучание далекой лютни
эта песня
туманна словно отраженье
давно затихнувшего
голоса

который
что-то шепчет

Холод

все что осталось от лета
упрятано в воспоминаньях
ворон

а когда мы уснем то их тени
заберут нас к себе
мы уходим вместе
с остывающим пеплом
наших собственных тел
мы сидим на холодной горе
посреди одиноких волков

Наш дым ушел по четырем дорогам

наш дым ушел по четырем дорогам
он призывает нас

и братья улыбаются в слезах
похоже мы не свидимся опять

орел огня
чьи крылья пахнут кедром

луна безмолвия которой
дано хранить священное зерно

даруйте силу
чтобы мы могли
достойно встретить завтра

ГЮНТЕР ГРАСС

Встреча в Тельте

ПОВЕСТЬ

Вступление и перевод с немецкого Ю. АРХИПОВА

Гюнтер Грасс (р. в 1927 г.) — один из ведущих прозаиков ФРГ. Между тем русскому читателю он известен мало — у нас публиковалась лишь небольшая повесть «Кошка и мышь» («Иностранная литература», 1968, № 5).

И судьба, и кредо писателя, и сама плоть повествований его круто замешены на противоречиях. Частью этих противоречий Грасс обязан национальной культурной традиции, частью — сложности общественно-политической ситуации в ФРГ да и во всей Западной Европе нашего времени. А какая-то их часть — его, грассова, личная мета, свойство писательской, точнее, художнической в широком смысле этого слова индивидуальности. (Точнее — потому, что помимо писательства Грасс отдает также немалую дань ваянию и графике.)

Суть указанных противоречий откроется читателю и при знакомстве с повестью «Встреча в Тельгте» (1979).

Что-то бросается в глаза сразу, лежит на поверхности — в особых импульсах, напряжениях и темпоритмах формы. Повествовательная ткань вся в типично немецких узлах, завязанных антитезами, уводящими в совершенно разные художественные дали: тут и высокое готическое парение, и грубая откровенность натурализма, профессорская выспренность и базарная брань, лирический восторг и его осмеяние. Возвышенно-пиитические и дотошно-филологические словопрения сменяются грубовато-смачными трапезами в раблезианском духе, и некоторая назойливость в «контрапунктном» чередовании интеллектуального начала и физиологического свидетельствует о неровностях вкуса — при всем несомненном пластическом даре автора.

Но присмотримся к содержанию, поразмыслим над ним — и перед нами откроются противоречия более глубинные.

В самом деле, о чем эта повесть? Если коротко, то, как и вся почти литература ФРГ,— о войне и мире.

Грасс попал на войну семнадцати лет, в самом конце ее, но успел побывать и в госпитале, и в плену. Его становление проходило под разрывы бомб и снарядов, под ужасы кровавой бойни, в которую ввергнул Европу немецкий фашизм. Суливший национальное возрождение Гитлер послал на заклание миллионы молодых немцев — по убеждению Грасса, «цвет нации». Пепел Клааса... «Когда я пишу, то ощущаю — не всегда, но часто ощущаю,— что говорю от имени множества людей, которые уже никогда не смогут высказаться».

Впрочем, Грасс стремится выразить не только опыт своего поколения, его художнический обзор значительно шире, ибо «глубоки корни всего, что происходит в Германии». Это изначальное, кровное ощущение писателем «большого времени», целостности национального бытия — несомненный признак масштабности поставленных им перед собой художественных задач. Так было и в первых его романах «Жестяной барабан» (1959) и «Собачьи годы» (1963), где сатирическому осмеянию подвергся ни много ни мало весь немецкий классический идеализм, который Грасс нарочито выставил в виде главного виновника немецкой трагедии XX века. Так было и в более позднем романе «Камбала» (1977), вобравшем в свой прихотливый фантастический сюжет судьбу Германии на протяжении нескольких веков.

В повести «Встреча в Тельгте» события двадцатого века сопрягаются с кровавыми ужасами века семнадцатого, с эпохой Тридцатилетней войны. Само по себе это стяжение времен не случайно. К нему прибегали еще Брехт и Бехер. Семнадцатый век — один из трагичнейших в новое время. Он полнится вспышками массового фанатизма, жестокими религиозными войнами, грандиозными пожарищами, уничтожавшими целые города, и кострами для инакомыслящих. Этот век начался сожжением Джордано Бруно, а кончился сожжением Аввакума. Кровавый спор о вере истинной и непогрешимой — и, как всегда, о новом разделе земель — захлестнул всю Европу. Но его напоминавший «пляску смерти» апофеоз пришелся на Германию, в которой за тридцать военных лет (1618—1648) было истреблено три четверти населения.

© 1979 by Hermann Luchterhand Verlag.

В то же время это был век высокого духовного взлета Германии. Конечно, назвать семнадцатый век началом всех начал немецкой культуры нельзя: Лютер и Дюрер были уже позади, Бах и Гёте — впереди. Для гениев время было слишком неустойчивое и шальное. Однако по количеству блестящих талантов оно сопоставимо только с рубежом восемнадцатого-девятнадцатого веков — от «Бури и натиска» до романтизма. Да и началось в этот, семнадцатый, век немало,— началось, в частности, то, чем Германии суждено будет завоевать культурный мир в дальнейшем — музыка и философия. Первый великий немецкий композитор Генрих Шюц (один из главных персонажей повести Грасса) и первый немецкий философ Якоб Бёме (он не раз в ней упомянут) появились именно в это время.

Свои вершины и у литературы этой эпохи. Первый великий немецкий роман — «Симплициссимус» — будет написан Гриммельсхаузеном через двадцать лет после событий, изображенных в повести; здесь он еще удалой полковой писарь, со шпагой в руке собирающий материал для будущих затейливых запечатлений увиденного и пережитого. Зато в полном расцвете сил не без юмора обрисованный автором могучий Грифиус — первый великий немецкий драматург. Непревзойденными в истории немецкой литературы останутся эпиграммы Логау. Немыслима любая ее хрестоматия без лирических шедевров Опица, Флеминга, Гофмансвальдау. Да и имена прочих персонажей повести — Векерлина, Герхардта, Мошероша, Риста, Даха, Харсдёрфера, Биркена, Ангелуса Силезиуса, Грефлингера, Лауремберга — знакомы каждому немецкому школьнику, как знает школьник русский имена Державина, Радищева, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Крылова — предтеч классического периода русской литературы.

Эта эпоха давно знакома нам по «Лагерю Валленштейна» Шиллера, существующему на русском языке в нескольких переводах. Не один десяток лет катит по российским театральным подмосткам свою тележку и маркитантка Кураж (героиня повести Грасса) — в брехтовском варианте ее судьбы, впервые запечатленной в отдельном романе все тем же Гриммельсхаузеном. Изящная книжечка «Немецкая поэзия XVII века» в переводах Льва Гинзбурга выпущена не так давно издательством «Художественная литература» — там мы найдем почти всех героев Грасса. Тех, кто хотел бы узнать о них подробнее, отсылаем к академической «Истории немецкой литературы» (М., 1962). Сведения о политических деятелях и полководцах, фамилии которых мелькают в повести Грасса, можно почерпнуть в известном труде Фридриха Шиллера «Тридцатилетняя война» (пятый том последнего собрания сочинений на русском языке — М., 1965).

Под пером Грасса все эти звезды немецкой словесности становятся не худосочными схемами, как это нередко бывает в беллетризованных биографиях, написанных «для пользы юношества». Нет, пластический дар писателя, вдохнувший живую жизнь в засушенные хрестоматией имена, одержал очередную несомненную победу. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы считать повесть Грасса произведением незаурядным. Но ведь написана она ради другого. В перекличке эпох дана заявка на важное художественное обобщение. И вот тут обнаруживается очередное противоречие автора.

Повесть посвящена Гансу Вернеру Рихтеру, организатору «Группы 47» — прогрессивного объединения западногерманских писателей, членом которого Грасс стал в 1955 году. Группа была призвана дать обездоленному фашизмом и войной читателю новый морально-эстетический ориентир. Фантазия писателя проецирует деятельность группы на далекое прошлое, когда на исходе Тридцатилетней войны собирается вымышленный «съезд» немецких писателей с тою же целью — спасти самое ценное в культурном наследии отечества и попытаться найти способы к укреплению мира.

Казалось бы, такое сходство важных задач, стоящих перед людьми, разделенными веками, должно обеспечить высокое напряжение того «большого времени», о котором шла речь выше. Но этого не происходит. Потому что время у Грасса не движется, а стоит, история — это не спираль, а круг. И вся философия истории сводится к стародавнему: было и будет... Только в этом смысле можно толковать несколько смазанный или намеренно расплывчатый финал: посудачили, покипятились, расчувствовались и даже прослезились в праздничном соитии сердец столь живописно явленные поэты, а плоды их встречи все равно сожрал огонь. Так что же, усилия их были напрасны? И вразумит потомков их горький урок? Отнюдь. Читатель ведь знает, что пройдет триста лет, и писатели опять будут встречаться — если не за пивным, то за «круглым столом», чтобы вновь вести разговор все о том же: «о ценности и чести языка», как скажет Гофмансталь, и о важнейшем на земле — о мире.

И будь позиция Грасса в этом вопросе отрицательной, он не стал бы принимать в таких встречах участие. А он принимает — и самое живейшее. Так, совсем недавно он был страстным оратором на трибуне берлинской встречи европейских писателей (1981), а потом и кёльнской их встречи (1982). Правда, высказывал мнения опять-таки крайне противоречивые: то нападал на любые и всяческие «идеологии», то защищал идеологию западногерманской социал-демократии.

Повесть Грасса невольно связывается в представлении читателя и с этими недавними форумами писателей, озабоченных судьбой мира на земле. Грасс убежден, что писатели нашего времени просто обязаны бить в набат, предупреждая о грозящей миру катастрофе, но в то же время он сомневается в том, что их слово достаточно весомо.

Сам для себя он снимает это противоречие по-грассовски броским признанием: «Я из породы сизифов». Вот как он расшифровал это в интервью «Литературной газете»:

«На меня — это было вскоре после войны — оказала большое влияние экзистенциалистская полемика между Сартром и Камю. Теперь... я знаю, что камень, который я качу в гору, не останется наверху, что он вновь и вновь будет скатываться к подножию. Но, как и Сизиф, я не проклинаю камень, а смеюсь над богами, приговорившими меня к нему...».

Философия нам знакомая: история абсурдна, но человек должен сам придать ей смысл. Эта философия, поставившая в центр существования не мир, но отдельную личность, в достаточно заметной степени выхолостила драматургию и прозу тех же Сартра и Камю. Она же «держит за фалду» и Гюнтера Грасса, не позволяя ему встать вровень — ну хотя бы с Томасом Манном, при том что по силе изобразительности Грасс Манну, конечно, не уступает, а по живости фантазии, пожалуй, и превосходит. Но Томасу Манну видна историческая поступь диалектического развития, неумолимая и неуклонная, несмотря на все зигзаги и отступления. Томас Манн никогда не скажет: что тот Фауст, что этот... Он убежден: из более сложных испытаний приходит к человечеству и более ценный и обнадеживающий опыт. У Грасса же: было и будет. Его гротеск обвиняет всех — и тем самым снимает вину с каждого. История повторяется и — ничему не учит.

В полемику с Грассом вступил А. Чаковский, возглавлявший советскую делегацию на одном из тех самых писательских форумов, в ходе которых изложил свои сомнения Грасс. «Да, действительно,— писал потом, подводя итоги, А. Чаковский в «Правде»,— история, если наблюдать только ее поверхность, вроде бы учит, что даже гениальные книги не в состоянии предотвратить войну. Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней, и ее не остановили ни «Огонь», ни «На Западном фронте без перемен», ни «По ком звонит колокол». История с литературой не посчиталась...

И все же мы, советские писатели, присоединяемся к тем, кто считает, что наши возможности велики, пусть и не беспредельны. Пессимистам мы отвечаем: да, нам не удалось предотвратить вторую мировую войну, она разразилась. Но нам, писателям-антифашистам, писателям — сторонникам мира, удалось другое: вселить мужество в сердца защитников цивилизации, укрепить веру в правоту дела, во имя которого сплотились народы и армии антигитлеровской коалиции. Не только страстные речи, произнесенные писателями-антифашистами, но, главное, их книги, их публицистические статьи значительно увеличили стойкость, храбрость, которые бойцы свободы проявили и на полях сражений, и в фашистских концлагерях, и в партизанском движении и, следовательно, приблизили победу гуманизма над мракобесием».

Непосредственным объектом полемики стала и повесть «Встреча в Тельгте». Отдавая должное Грассу-художнику, А. Чаковский, главный редактор «Литературной газеты», в которой впервые были напечатаны в русском переводе два отрывка из повести, в то же время подверг критике заключенный в ней скепсис во взгляде на действенность художественной литературы.

Думается, размышляя о повести Гюнтера Грасса, мы незаметно пришли к разгадке того парадокса, с которого начали: почему он, столь известный писатель, так долго ждал своего русского перевода. Потому что ждали и мы — ждали, что облако идеологической невнятности, в которое закутался этот экстравагантный и блестящий автор, вот-вот разовеется, и он выйдет к нам — не со скрижалями, нет, но с произведениями, в центре которых будет глубокая идея, соответствующая уровню его высокого литературного мастерства.

Однако в данном случае выигрыш оказался не так уж и мал. С повестью Грасса до нас докатывается новое полноценное художественное эхо немаловажной для судеб всего мира эпохи.

В магическом кристалле своего дара Грасс приблизил к нам то далекое время и благодаря прозрачным ассоциациям дал почувствовать свою искреннюю тревогу о мире и всю сложность и грандиозность насущной задачи отстояния мира.

Гансу Вернеру Рихтеру посвящается

1

Что было завтра, то будет и вчера. Не от нашего времени те истории, кои случаются ныне. Эта вот началась более грехсот лет назад. Как и многие другие. Так уж глубоки корни всего, что происходит в Германии. О затеявшемся некогда в Тельгте я пишу теперь потому, что один мой друг, который сплотил вокруг себя коллег в сорок седьмом году нашего столетия, намерен праздновать семидесятилетний юбилей; хотя на самом деле он старше, и мы, нынешние его друзья, отнюдь не впервые седеем и старимся вместе с ним.

Лауремберг и Грефлингер добрались из Ютландии по рекам до Регенсбурга, а уж оттуда пешком, другие прибыли верхами или в крытых повозках. Кое-кто и приплыл — иные по рекам, а старик Векерлин — так тот даже по морю из Лондона в Бремен. Пути их были и

долги и коротки, всяки. Какой-нибудь купчина, столь же понаторевший в числах и сроках, как в купле-продаже, немало подивился бы рвению мужей-пустословов поспеть вовремя, тем более что города и веси все еще или снова уже смотрелись пустошью, поросшей крапивой и чертополохом, прополотой ее величеством чумой; да и на дорогах шалили.

Потому-то Мошерош и Шнойбер из Страсбурга достигли уговоренной цели почитай что голыми (если отнять еще короб с манускриптами — они же лиходеям без надобности): Мошерош — посмеиваясь, разжившись новой сатирой, Шнойбер — стеная и воображая себе ужасы возвратного хода. (Задницу-то, исхлестанную шпагой, саднило.)

Чепко, Логау, Гофмансвальдау и прочие силезцы потому лишь добрались до самого Оснабрюка, что, заручившись охранной грамотой Врангеля, они везде норовили примкнуть к шведским отрядам, промышлявшим фураж вплоть до Вестфалии; зато и насмотрелись вдосталь на каждодневные ужасы фуражировки, когда дерут шкуру со всякого, будь ты хоть какой веры. Заступничества же всадники Врангеля не терпели. Студента Шефлера (открытие Чепко) в Лаузице чуть было не поддели на пику, когда он заслонил собой крестьянку, которую, как перед тем ее мужа, рейтары собирались прикончить на глазах у детей.

От недальнего Веделя, что на Эльбе, через Гамбург добирался Иоганн Рист. Страсбургского издателя Мюльбена экипаж доставил из Люнебурга. Хоть и неближний путь — от самой трактирной площади в Кёнигсберге, зато понадежней других, ибо ехал он в свите своего владетельного князя, совершил Симон Дах, чьему приглашению и последовали остальные. Еще за год до того, во время помолвки Фридриха Вильгельма Бранденбургского с Луизой Оранской в Амстердаме, куда Дах был допущен для оглашения своей срифмованной на сей случай оды, были им писаны и с помощью курфюрста разосланы многие письма с точным указанием места и времени встречи пиитов. (Нередко почту брали на себя всюду шнырявшие шпионы курфюрста.) Так нашло приглашение и Грифиуса, хотя он вот уже год как путешествовал со штеттинским негоциантом Вильгельмом Шлегелем сначала по Италии, а потом по Франции; уже на возвратном пути (если быть точным, то в Шпейере) вручили ему послание Даха. Успел он вовремя, прихватив с собой и Шлегеля.

В срок прибыл и магистр словесности из Виттенберга Август Бухнер. После долгих отнекиваний все же вовремя оказался на месте Пауль Герхардт. Филипп Цезен, которого почта настигла в Гамбурге, привез из Амстердама издателя. Никто не пожелал уклониться. Ничто не могло их удержать — ни наставничья, ни чиновничья, ни придворная служба, камнем висевшая почти на каждом. У кого не было денег на поездку, тот искал себе покровителя. Кто, как Грефлингер, покровителя себе не нашел, того вело к цели упрямство. А кому упрямство помешало выступить заблаговременно, того подстегивало известие, что другие уже в пути. Даже такие враги, как Цезен и Рист, восхотели увидеть друг друга. Неуемнее насмешки Логау над собравшимися поэтами было его любопытство к встрече. Ведь дома, в их литературных кружках было им слишком тесно. Ни долговременные дела, ни скоротечная любовь не могли их удержать. Влекло друг к другу неодолимо. К тому же, пока шли торги о мире, всяк судил и рядил о нем все более рьяно. В стороне не хотел оставаться никто.

Но сколь ни жадно вняли они приглашению Даха к литературному словопрению, столь же быстро одолело их малодушие, когда в Эзеде, местечке близ Оснабрюка, где назначена была встреча, не нашлось для них пристанища. Предусмотренная Дахом харчевня «У Раппенхофа» оказалась, вопреки заблаговременному уговору, занята канцелярией шведского военного советника Эрскейна, каковой недавно

докладывал конгрессу о сатисфакционных требованиях врангелевских армий, удороживших стоимость мира. Ежели какие комнаты и оставались свободными от полковых секретарей и людей Кёнигсмарка, то они были доверху забиты папками с делами. Большой трактирный зал, в котором и можно было бы устраивать заседания, вести желанный разговор и читать рукописи, был превращен в провиантский склад. Всюду околачивались конники и пехотинцы. Уходили и приходили курьеры. Эрскейн к себе не допускал. Профос, которому Дах предъявил письменное соглашение с трактирщиком, громко и заразительно заржал, когда попытались потребовать от шведской казны возмещения задатка. Получив крутой отпор, Дах вернулся ни с чем.

Тупая сила. Закованное в латы ничтожество. Идиотское ржанье. Никому из шведов не были ведомы имена пиитов. Им разрешили—так уж и быть — передохнуть с дороги в маленькой каморке. Трактирщик советовал поэтам двинуться в ольденбургские края, где без труда можно получить все, даже пристанище.

Уже силезцы подумывали, не двинуться ли им в Гамбург, Герхардт засобирался назад в Берлин, Мошерош и Шнойбер с Ристом — в Гольштейн, уже Векерлин вознамерился первым же кораблем отплыть в Лондон, уже и другие, не воздерживаясь от упреков Даху, грозили послать встречу к черту, да и сам Дах — воплощенное спокойствие в иные поры — засомневался в своем начинании, и все вышли с вещами на улицу, раздумывая, куда податься, как перед самыми сумерками прибыли нюрнбержцы: Харсдёрфер со своим издателем Эндтером и юный Биркен, а сопровождал их рыжий бородач, что представился Кристофелем Гельнхаузеном и с чьей цветущей младостью — было ему лет двадцать пять, не больше — не вязались оставленные оспой рытвины на лице. В своей зеленой безрукавке и шляпе с перьями впечатление он производил — нарочно не придумаешь. Кто-то тут же заметил: этого, дескать, зачал на полном скаку какой-нибудь удалец из конницы Мансфельда.

Вскоре выяснилось, однако, что Гельнхаузен стоял куда ближе к действительности, чем могло показаться. Он командовал отрядом императорских рейтаров и мушкетеров, располагавшимся неподалеку, на окраине городка, ибо вся округа поблизости от места проведения конгресса была объявлена нейтральной территорией и какие-либо боевые действия с обеих сторон были здесь запрещены.

Когда Дах описал нюрнбержцам бедственное положение поэтов и Гельнхаузен в пространной и витиеватой речи предложил немедля все устроить, Харсдёрфер отвел Даха в сторону: парень-де хоть и несет околесицу не хуже иного странствующего звездочета — собранию он отрекомендовал себя любимцем Юпитера, коему Венера, как можно видеть, отомстила под италийскими кущами,— но куда более толков, остер и сведущ, чем о том свидетельствуют его шутовские повадки. Служит он писарем шауэнбургова полка, расквартированного в Оффенбурге. В Кёльне, куда они прибыли по реке из Вюрцбурга, он уже выручил их из затруднений, когда Эндтер попытался тайком сбыть пачку книг, не имея на то церковного дозволения. К счастью, Гельнхаузену удалось оградить их от подозрений в еретическом умысле: были и небылицы так и сыпались с его языка и напором своим подавили иезуитов. Ему равно ведомы и отцы церкви, и греческие боги, и созвездия. И в житейских делах он съел собаку, к тому ж места ему все знакомы: и Кёльн, и Реклингхаузен, и Зуст. Глядишь, и вправду поможет.

Герхардт остерегал входить в сношения с человеком императорской партии. Гофмансвальдау стоял, раскрыв рот от изумления, сраженный цитатой из «Аркадии» в переводе Опица. Мошерош и Рист склонялись к тому, чтобы выслушать по крайности предложения полкового секретаря, тем более что страсбуржец Шнойбер уже успел у кого-то выведать оффенбургские сплетни, и они обнадеживали.

Наконец Гельнхаузену позволили изложить с таким трудом собранным и столь горестно бездомным господам суть своего предложения. Речь его засверкала, как блеск золотых пуговиц, выстроившихся в два ряда на зеленой безрукавке. Как сородич Меркурия, обремененный хлопотами подобно последнему, он все едино направляется в Мюнстер, дабы передать секретное послание начальника своего, полковника, вола марсовой колесницы, небезызвестному Траутмансдорфу, императорскому уполномоченному, коего немилостивый Сатурн сподобил мудростью окончательного утверждения мира. И всего-то делов — какие-нибудь тридцать миль пути. При почти полной луне. К тому ж по ровной дороге. А ведет она — коли господа не пожелают в папский Мюнстер — через Тельгте, уютный городишко, обедневший, конечно, но оставшийся невредимым, затем что полковые кассы Кёнигсмарка не оскудели прежде, чем был отбит натиск гессенцев. А городу Тельгте, как известно, издавна не в диковинку видеть толпы паломников, и для паломников-пиитов там сыщется местечко. Еще с молоком матери он, Гельнхаузен, впитал: никаким богам в приюте не отказывать.

Когда старец Векерлин пожелал узнать, чем же он, евангелист, обязан столь изрядной императорской милости — ведь поспешает Гельнхаузен как-никак по надобностям папской курии, полковой писарь возразил: чужая вера мало его волнует, лишь бы не посягали на его собственную. А что до послания Траутмансдорфу, то оно не такое уж и секретное. Кому не ведомо, что в лагере маршала Тюренна, веймарские полки взбунтовались против французской опеки и рассеялись. Такие новости опережают любого гонца, ради них и спешить не стоит. Уж лучше сослужить маленькую службу дюжине бездомных витий, тем паче что и сам он — Аполлон свидетель! — иной раз берет в руки перо, пускай покамест лишь в канцелярии шауэнбургова полка.

Затем Дах предложение и принял. И Гельнхаузен оборвал кружева своей полурифмованной речи и стал раздавать команды рейтарам и мушкетерам.

2

По дороге из Оснабрюка в Мюнстер через Тельгте за последние три года — а почти столько тянулись мирные переговоры — езжено было немало, особливо конных курьеров, перевезших туда-сюда, из протестантского лагеря в католический и обратно, целую пропасть петиций, меморандумов, хитроумно-коварных посланий, приглашений на всевозможные торжества и агентурных донесений о новейших передвижениях войск, которые совершались, невзирая на торги о мире. Притом штаб-квартиры религий соответствовали позициям военных друзей и недругов не вполне: католическая Франция с папского попущения затеяла свару с Испанией, Габсбургами и Баварией, протестантская Саксония то одной, то другой ногой соскальзывала в императорский лагерь. Несколько лет тому назад лютеране-шведы напали на лютеран-датчан. Бавария втихомолку зарилась на Пфальц. А добавить еще армейский разброд, перемет из лагеря в лагерь частей, нидерландскую смуту, жалобы силезских сословий, бессилие имперских городов, переменчивые во всем, но только не в жажде земельных приобретений интересы союзников, отчего, скажем, в прошлом году, когда речь на переговорах шла о передаче Эльзаса Франции, а Померании со Штеттином — Швеции, на дороге меж Мюнстером и Оснабрюком побольше других истерли лошадиных копыт (столь истово, сколь и напрасно) представители Страсбурга и остзейских городов. Стоит ли удивляться, что дорога, соединявшая эти радеющие о мире города, находилась в том именно виде, каковой как нельзя лучше соответствовал ходу переговоров и состоянию империи.

Во всяком случае, четырем повозкам, которые Гельнхаузен скорее реквизировал, чем нанял, понадобилось больше времени противу пре-

дусмотренного, чтобы доставить бездомное общество — числом в двадцать душ—от холмистых отрогов Тевтобургского леса по Текленбургской долине в Тельгте. (Предложение некоего причетника одного опустевшего женского монастыря близ Эзеде, в котором похозяйничали шведы, приспособить для нужд поэтов хотя бы сию обитель было отвергнуто из-за отсутствия самомалейших удобств в его ободранных стенах; лишь Логау и Чепко, не доверявшие Гельнхаузену, высказались за это прибежище.)

Летняя ночь за ними уже расцвечивалась первыми проблесками зари, когда Дах отсчитывал пошлинные гульдены за переправу обоза по мосту через Эмс. Он был перекинут через дальний от города рукав реки, и тут же, не доезжая до ближнего ее рукава, совпадавшего с городской чертой, был постоялый двор «У моста» — крытый камышом каменный дом, возвышавшийся своей островерхой кровлей над прибрежными зарослями и на первый взгляд мало пострадавший от войны. Здесь-то Гельнхаузен и распорядился о пристанище вполне по-свойски. Отвел в сторону хозяйку, с которой явно был знаком, пошептался с нею, потом представил ее Даху, Ристу и Харсдёрферу как свою стародавнюю приятельницу Либушку; изрядного возраста, чего не могла скрыть целебная мазь, в накинутой на плечи попоне, в солдатских штанах, она тем не менее изъяснялась с изыском и причисляла себя к богемским дворянам: отец ее с самого начала стоял вместе с Бетленом Габором за протестантское дело. Она понимает, какая честь оказана ее дому. Пусть и не сразу, но вскоре она предоставит приют господам.

Тут же Гельнхаузен со своим имперским воинством поднял такой гвалт у конюшни, во дворе, на крыльце, на лестницах и в коридорах, что цепные псы чуть не задохнулись, а он не унимался до тех пор, пока не перебудил всех до единого постояльцев с их конюхами вместе. Как только означенные господа — то были ганзейские купцы, державшие путь из Лемго в Бремен,— собрались перед трактиром, Гельнхаузен приказал им немедля освободить помещение. Свой приказ он подкрепил пояснением: кому жизнь дорога, пусть поскорее уносит ноги. Среди чахлых и, как ясно видно, изможденных фигур на повозках и перед оными немало-де кандидатов на чумные дроги. Его отряду поручено извести эту напасть, способную помешать мирным переговорам, по каковой причине ему, лейб-медику папского нунция Киджи, вручен не токмо императорский, но и шведский мандат на заключение в карантин всей этой заразной компании. А посему: убираться незамедлительно и беспрекословно, дабы не понуждать его ко сжиганию на берегу Эмса купеческих фур со всем их товаром. Ибо чума — то ведает каждый, и то утверждает он, врач, искушенный премудростью Сатурна,— не щадит богатство, напротив того, она пристрастна именно к ценностям и пуще всего любит щекотать лихорадкой господ в брабантских сукнах.

Когда же господа заикнулись о письменных обоснованиях их выдворения, Гельнхаузен обнажил клинок и, назвав его своим перышком пожелал узнать, с кого начать раздачу письменных уведомлений, а потом заявил, что именем Марса и его свирепых псов заклинает отъезжающих постояльцев хранить молчание о причинах внезапного отъезда, дабы не пострадали интересы ни императора, ни его противников.

После такой речи постоялый двор был быстро очищен. Проворнее вряд ли когда запрягали. А кто мешкал, тому спешили помочь мушкетеры. Прежде чем Дах и некоторые другие поэты успели запротестовать против безнравственности подобной выходки, Гельнхаузен все устроил. Хоть и терзаясь сомнениями, но взбодренные смехом Мошероша и Грефлингера пожелавших истолковать эту сцену как комедию, поэты двинулись осматривать освобожденные комнаты с еще не остывшими постелями.

Поскольку кроме негоцианта Шлегеля приглашению Даха последовало еще несколько дельцов-книгопечатников из Нюрнберга, Страсбурга, Амстердама, Гамбурга и Бреслау, убытки, понесенные хозяйкой Либушкой, которой новые гости явно пришлись по нраву, можно было легко восполнить, тем более что выселенные ганзейцы оставили несколько штук материи, кое-какое столовое серебро да четыре бочонка рейнского темного пива.

В пристроенной сбоку конюшне расположилась команда Гельнхаузена. Из первой залы, между каморкой хозяйки и кухней, за которой помещался большой зал, поэты взошли по двум лестничным маршам на второй этаж. Настроение их заметно поднялось. И только из-за дележа комнат вышла некая перепалка. Цезен заспорил с Лауремберг ом, перелаявшись до этого с Ристом. Студент медицины Шефлер даже всплакнул. Его, Биркена и Грефлингера Дах за нехваткой мест уложил на чердачной соломе.

Потом кто-то заметил, что у старика Векерлина едва прощупывается пульс. Шнойбер, деливший комнату с Мошерошем, запросил целительной мази. Герхардт и магистр Бухнер требовали каждый по комнате. По двое разместились Гофмансвальдау и Грифиус, Чепко и Логау. Харсдёрфер не захотел разлучаться со своим издателем Эндтером. Риста как магнитом тянуло — поспорить — к Цезену, Цезена — к Ристу. Хозяйка со служанками во всем помогала новым гостям. Имена некоторых Либушка знала. Помнила наизусть целые строфы церковных песен Герхардта. Обнаружила знание изящных оборотов из «Пегницкой пасторали» Харсдёрфера. А когда потом села за столик у себя в комнате с Мошерошем и Лауремберг ом — оба выразили желание не спать, а посидеть до рассвета за темным пивом, сыром и хлебом,— сумела связно передать содержание нескольких видений из «Филандера» Мошероша. Для встречи поэтов нарочно нельзя было придумать хозяйки начитаннее, чем Либушка, или Кураж, как называл ее Гельнхаузен, подсевший к ним чуть позднее и успевший насладиться восторженными изъявлениями признательности его квартирмейстерскому таланту.

Не спал и Симон Дах. Он лежал в своей комнате и еще раз перебирал в памяти тех, кому направил письменные приглашения, кого уговаривал по дороге, кого с намерением или без оного забыл, кого включил в список или исключил из него по чьей-либо рекомендации и кто еще не прибыл — как его друг Альберт прежде всего, постель которого пустовала рядом с его постелью.

То гонят, то нагоняют сон докучливые вопросы: может, Шоттель все же приедет? (Вольфенбюттелер, однако, так и не приехал, потому что был зван Бухнер.) Клая нюрнбержцы извинили болезнью. Не дай бог, раскачается все-таки Ромплер. Можно ли рассчитывать на прибытие князя Людвига? (Но глава «Плодоносящего общества» затаился обиженно в Кётене: Дах, не принадлежавший к членам «Ордена пальмы» и всегда выпячивавший свое бюргерство, был князю противен.)

Как славно, что в Эзеде, «У Раппенхофа», они оставили известие о том, куда переносится собрание, посвященное судьбам выхолащиваемого языка и заботам о мирных переговорах. Где они будут заседать до тех пор, пока не обговорят все до последнего — и пиитические радости, и горести, и беды отечества.

Опица и Флеминга им будет недоставать. Удастся ли удержать в положенных рамках теорию? И не явится ли кто незваный? Размышляя об этом и млея от телесной тоски по жене своей Регине, Дах незаметно погрузился в забытье.

3

А может, он еще отписал своей Регине, урожденной Поль, которую все в Кёнигсберге — и завсегдатаи трактирного подворья, и академические студиозусы, и друзья его: Альберт, Блюм, Робертин, и да-

же сам курфюрст — называли попросту Полькой, или Даховой Полькой. Его письмо со стенаниями о тяготах разлуки в начале, с забавным описанием комических подробностей расквартирования в середине и с упованием на божие попечение об успехе встречи в конце должно было быть сообщением кратким и не касающимся обстоятельств не слишком приятных: сколь, скажем, грубо указал им швед на дверь в Эзеде; как реквизировал у протестантской общины четыре упряжки Гельнхаузен, прозываемый также Кристофелем, или Стофелем, как опасливо тронулись они в путь в мюнстерском направлении — ночь, наливающаяся луна, смоляные факелы императорских всадников впереди, громыхающая вдали гроза, пощадившая их, по счастию; или как уже в дороге Мошерош с Грефлингером и Лауремберго принялись за коньяк; как горланил Гассенхауэр, задирая всегда важного Герхардта; как, однако, Чепко и старый Векерлин, по доброте душевной, вступились за обиженного и как после того распевали, по крайней мере в трех из четырех повозок, духовные песни, из которых новинка Герхардта, напечатанная недавно — «Всем сон смежил ресницы, спят люди, звери, птицы. Весь божий мир почил...», привела в бурный восторг даже бражников; и как потом все, разомлев от пения, погрузились в сон — рано потучневший, всюду круглый Грифиус привалился к нему, как младенец,— вот и вышло, что, когда они уже достигли цели путешествия, дерзкая проделка Гельнхаузена, так красноречиво расписывавшего чуму, что на них аж пахнуло ее смрадом, оказалась незамеченной или замеченной слишком поздно; и как, невзирая на сие злостное или смехотворное (ему оно показалось скорее таковым) бесчинство — то есть благодаря оному,— они обрели наконец постель, в которую одни залезали, подтрунивая над пугливой прытью улепетывавших толстосумов и запивая пивом жутковатый розыгрыш, другие же тихо моля господа о прощении; все, однако же, настолько устали, что можно было не опасаться размолвок между силезцами, нюрнбержцами и страсбуржцами, каковые могли бы подвести встречу под угрозу. Лишь между Ристом и Цезеном вспыхивали молнии, как и ожидалось. Зато Бухнер, похоже, в отсутствие Шоттеля будет сдержан. Силезцы привезли с собой какого-то студента, но он робок. Гофмансвальдау не кичлив, в нем ничего нет от дворянского сынка. Все, кроме Риста, не могущего отказаться от назиданий, и Герхардта, чуждого литературной спайки, выказывают взаимное дружеское расположение. Даже юбочник Грефлингер не гоношится и поклялся ему — верностью своей Флоры — держаться приличий. А все ж от Шнойбера можно ожидать козней, доверия сей хлыщ не внушает. Ничего, буде потребуется, он применит и строгость. Если не считать собутыльников да его, размышляющего о своей Польке, не спит сейчас только караул — имперский! — который Гельнхаузен выставил для их безопасности у трактира. Хозяйка плутня, конечно, но особа необыкновенная, с Грифиусом она бойко тараторит по-итальянски, магистру Бухнеру так даже отповедь на латыни, а в литературе чувствует себя как лиса в курятнике. Удивительно все устраивается — словно повинуясь высшему плану. Вот только место тут поповское, ему не по нутру. Поговаривают, что в Тельгте устраивают свои тайные сборища и анабаптисты. Призрак Книппердоллинга все еще витает здесь. Место жутковатое, что и говорить, но для разного рода встреч явно подходящее.

Что еще писал Дах своей Польке, пусть останется между ними. Лишь последние его, перед тем как заснуть, мысли мне ведомы, а кружились они вокруг pro и contra [1], то поспевая за событиями, то опережая их, путаясь вокруг разных лиц, повторяясь. Приведу их в порядок.

Дах не сомневался в пользе столь долгожданной встречи. Сколько длится война, мечты о такой встрече были предметом скорее вздо-

[1] «За» и «против» *(лат.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

хов, чем планов. Писал ведь ему из своего данцигского прибежища Опиц, думавший о литературной сходке еще незадолго до смерти: «Подобная сей встреча пиитов в Бреслау ли, в Пруссии ли, повела бы к единению дела нашего, паки отечество наше в раздробленности...».

Никому, однако, даже Опицу, не удалось бы связать разобщенных поэтов,— единственно Даху, чья широкая, тепло излучающая душа только и могла заключить в один круг и строптивого одиночку Грефлингера, и дворянина любомудра Гофмансвальдау, и далекого литературности Герхардта; но и границы общности он отмерил точно: ведь из князей-покровителей, чьи интересы сводились к заказам на оды да погребальные песнопения, никто приглашен не был. Даже своего-то князя, знавшего наизусть несколько песенок Даха и не оставившего кассу путешественников без вспоможения, Дах просил соблаговолить участвовать в предприятии только заглазно.

И хотя кое-кто (Бухнер и Гофмансвальдау) советовал дождаться заключения мира либо провести встречу где-нибудь подальше от театра военных действий — скажем, в польской глухомани или в нетронутом войной швейцарском заповеднике,— и хотя Цезен было вознамерился затеять конкуренцию, противопоставив этой встрече другую — своего, основанного в начале сороковых годов в Гамбурге «Товарищества немецких патриотов» вкупе с «Откровенным обществом ели» Ромплера, все же настойчивость Даха и его политическая воля возобладали: еще в юности он (под влиянием Опица) вел переписку с Гроциусом, Бернеггером и гейдельбержцами о Лингельсхайме и с тех пор почитал себя если не дипломатом, как некогда Опиц, а теперь еще и Векерлин, то иреником, то бишь человеком мира. Вопреки Цезену, который сдался, и несмотря на интриги страсбургского магистра Ромплера, коего не позвали, Дах добился своего: в году сорок седьмом, когда после двадцати девяти лет войны все еще не были оговорены условия мира, меж Мюнстером и Оснабрюком должна была состояться встреча хотя бы для того лишь, чтобы придать новую ценность последней крепи, крепившей немецкую общность — немецкому языку, или хотя бы для того лишь, чтобы — с нижнего конца стола, конечно,— но все же молвить и свое слово в политике.

Ведь что-то в конце концов они значили. Там, где все пошло прахом, сохранили блеск только слова. Где были унижены князья, возвысились поэты. Им, а не власть имущим, уготовано бессмертие.

Симон Дах во всяком случае не сомневался в значительности — если не своей, то собрания. Некий навык собирательства вокруг себя поэтов и друзей искусства у него был — хотя и ограниченный, «тихоструйный», как говорили у них в Кёнигсберге. Не только в Магистерском переулке, где он, согласно указу двора, обрел пожизненную квартиру, но и в загородном домике приятеля, соборного органиста Генриха Альберта, на острове Ломзе, друзья собирались для читки произведений, что кончалось, как правило, песнопением: исполняли обычно свадебные куплеты и строфы, которые положил на музыку Альберт. В шутку они назвали себя «Тыквенным обществом», памятуя о том, что их братство, как и «Плодоносящий орден пальмы», или страсбургское «Откровенное общество ели», или даже нюрнбергское — «Пегницких пастухов», было всего-навсего веточкой на раскидистом древе немецкой поэзии.

Но как обуревает Даха желание услышать шелест всего древа! И сколь рад он был послужить делу, оправдывая смысл фамилии своей[1]. Так что когда на другой день перед обедом все собрались в большом трактирном зале — кто выспавшись после утомительного путешествия, кто отойдя от хмеля, кто оживлен, кто задумчив,— Дах обра-

[1] «Дах» (Dach) по-немецки — «крыша».

тился к ним со вступительной речью в таком духе: «Собравшись, будто под крышей, под сенью имени моего — ибо я призвал вас,— будем же, любезные друзья мои, устремляться к тому, чтобы каждый свободно изливал все накопленное, чтобы в итоге на один, немецкий, лад легли мелодии — пегницкие, плодоносящие, тыквенные, еловые, чтобы в сорок седьмом году горестного столетия нашего поверх опостылевшей болтовни о мире и под непрекращающийся рев кровавых ристалищ прозвучал и наш давно подавляемый голос; и да будет то, что должны мы сказать, не как обезьянье эхо романцев, но из глуби нашего языка: зачем, Германия, в крови ты утопаешь и тридцать лет сама себя уничтожаешь?»

4

Последние ритмизованные строки Дах прочел из своего недавно законченного, но печатнику еще не отданного стихотворения, в коем оплакивал конец той самой Тыквенной хижины, что давала приют кёнигсбергским поэтам на острове Ломзе и была теперь обречена на слом ради торговой дороги; в память о ней соборный органист Генрих Альберт сочинил мелодию на три голоса.

Стих возбудил интерес, и Гофмансвальдау, Рист, Чепко и прочие осадили автора, домогаясь элегии, но целиком он прочел ее позднее, в третий день заседаний. Открывать встречу собственным изделием ему не хотелось. Не допустил он и других вводных речей. (Цезен намеревался дать доскональный отчет о своем «Товариществе немецких патриотов» и его делении на цехи. Рист немедленно прочел бы контрдоклад: ведь уже тогда он вынашивал свой «Орден эльбских лебедей», каковой и основал позднее.)

Напротив того, Дах попросил набожного Пауля Герхардта, чтобы заодно дать тому освоиться, прочесть вслух молитву за успешное течение встречи. Что Герхардт и исполнил — стоя, со всею истово лютеранской серьезностью, не воздерживаясь от проклятий на головы присутствующих нечестивцев, под коими разумел, должно быть, силезских мистиков либо неких кальвинистов.

Выдержав краткую паузу после молитвы, Дах призвал затем «высокочтимых друзей» помянуть тех поэтов, чье место было бы здесь, среди них, когда б не взяла их могила. Он торжественным тоном — все встали — перечислил «прежде срока покинувших нас», назвал первым Опица, потом Флеминга, за ним политического наставника своего поколения иреника Лингельсхайма, затем Цинкгрефа и под конец совершенно озадачил собравшихся — Грифиус весь так и взошел, как на опаре,— пригласив их вспомнить иезуита Шпее из Лангельфельда.

Хотя многим из присутствующих было ведомо (и по собственным подражаниям), какую школу составил театр иезуитов, хотя даже Грифиус студентом находил, что отдельные латинские оды иезуита Якоба Бальде стоило бы «онемечить», хотя Гельнхаузен, которого, правда, никто кроме Харсдёрфера (и Грефлингера) не желал причислять к собранию, выдавал себя за католика — и никого это не коробило, но воздать поминальные почести Шпее, нет, для иных протестантов, как ни внимали они призывам Даха к терпимости, это было чересчур. Громкий протест или молчаливое неприятие — вот что последовало бы, не окажи Гофмансвальдау поддержки Даху, сразу вперившему строгий взор в разволновавшееся собрание. Для начала Гофмансвальдау продекламировал «Покаянную песнь вполне смятенного сердца» из ненапечатанного, но ходившего в списках цикла Шпее «Своенравный соловей»: «Коричневая, когда нас ночь в черноту одевает...», потом запросто, будто имел перед глазами латинский оригинал, привел несколько эпизодов и тезисов из «Cautio Criminalis», обвинительного памфлета Шпее против инквизиции и пыток; после чего восхвалил мужество иезуита и с вызовом спросил всех (Грифиусу глядя прямо в лицо), кто из них смог бы, как Шпее в мрачном Вюрцбурге, наблю-

дать истязания двухсот женщин, у которых пытками вырывают признание, утешать их, сопровождать на костер, а потом описать свой жуткий опыт и напечатать его как обвинение?

Возразить было нечего. По щекам старого Векерлина текли слезы. Студент Шефлер, словно это многое объясняло, заметил, что и погиб Шпее от чумы, как Опиц. Подхватывая имя последнего, Дах передал Логау отпечатанный текст, чтобы тот — помянуть надо было всех поэтов — прочел один из сонетов, которые Флеминг посвятил незадолго до него самого умершему Опицу (а написал он их во время путешествия к ногайским татарам). Логау огласил и собственный рифмованный некролог «Боберскому лебедю», как называли поэта из Бунцлау: «В Риме был один Вергилий, Хоть все в латыни знали толк, И у нас один лишь Опиц, А поэтов — целый полк».

Воздав должное Лингельсхайму, сподвижнику своему по делу мира, Дах, в память Цинкгрефа, прочел из его остроумных изречений два забавных, увеселивших собрание пассажа, а потом, уступая просьбам, и еще несколько.

Так скованная торжественность уступила место словоизлияниям более непринужденным. Те, кто постарше, держали в памяти немало анекдотов из жизни усопших. Векерлин рассказал о проказах юного Опица в Гейдельберге в благословенные времена Лингельсхайма. О том, что сталось бы с музой Флеминга, ежели б хранила ему верность его прибалтийская Эльза, порассуждал Бухнер. Кто-то спросил, почему стихи Шпее до сих пор не нашли издателя. Потом пошли студенческие воспоминания о Лейдене: Грифиус и Гофмансвальдау, Цезен и юный Шефлер именно там впервые познали озноб мечтаний. Кто-то (я?) спросил, отчего Дах не отметил и Бёме, раз уж тут представлены последователи сапожника из Гёрлица?

Тем временем хозяйка со служанками подала в малом зале на стол непритязательную закуску — жирный суп с клецками и колбасками. Да краюхи хлеба, да темное пиво. Компания принялась ломать хлеб, макать, чавкать, подливать. Хохот побежал по кругу. (Откуда взялось название города на Эмсе — Тельгте? От тельца? Или скорее, ежели вспомнить местных девиц, от телки?) Дах прохаживался вдоль длинного стола, находил слово для каждого, а иных и мирил, как Бухнера с юным Биркеном, уже затеявших жаркий диспут.

После трапезы, настраивал он, речь у них пойдет о языке. Что ему, языку, на погубу, а что — на потребу. Какие правила стихотворства устарели, а какие остаются незыблемы. Как обогатить понятие языка природного, каковое Бухнер отвергал «аки мистику», дабы взрастить из него основной язык, что вообще считать языком ученым и какую роль отвести местным наречиям. Ибо сколь ни образованны и многоязычны они были — Грифиус и Гофмансвальдау изъяснялись на семи языках,— все же все они на местный манер кромсали и мяли, мололи, толкли, молотили, тянули и прокатывали свой родной немецкий.

Уроженец Ростока Лауремберг, даром что со времен вторжения Валленштейна в Померанию учил детишек математике в датских пределах, рокотал, однако, на своем ростокском диалекте, а на нижненемецком ответствовал ему гольштейнский проповедник Рист. Более тридцати лет пребывавший в Лондоне на дипломатической службе Векерлин продолжал говорить, как заправский шваб. И чего только не подмешивали в преобладающий силезский остальные: Мошерош — свой алеманский, Харсдёрфер — франконскую скороговорку, Бухнер и Герхардт — саксонский, Грефлингер — клекочущий нижнебаварский, Дах — меж Мемелем и Прегелем укорененный прусский. А когда, по-дурацки осклабясь, принимался за свой скабрез Гельнхаузен, то извергаемые им звуки сказывались трояких родов, ибо за годы войны он давно перемешал свой гессенский с вестфальским и алеманским.

Столь трудноразбираемым был их путь к взаимопониманию, столь беспорядочным — языковое богатство, которым они владели, такой зыбкой свободой обладал их немецкий; однако ж тем увереннее чувствовали они себя во всевозможных теориях речи. На всякий стих — свое правило.

5

Из малой залы в большую перешли на удивление дружно, разом — едва Симон Дах подал знак рукой: ему по-детски капризные натуры поэтов подчинялись охотно. Верховенство его признавали. Ради него даже Рист с Цезеном отказались (ненадолго) от распри, что уже засела у них в печенках. Вот такого отца он всегда желал себе, думал Грефлингер. Обуздывать свои привычки в угоду бюргеру Даху — дворянина Гофмансвальдау это даже развлекало. Князья учености, из коих Харсдёрфер имел резиденцию в Нюрнберге, а Бухнер — в Виттенберге, охотно избрали бы (в подпитии) магистра с трактирной площади своим сюзереном. А наживший желчность на придворной службе Векерлин, уже несколько лет как статс-секретарь являвшийся на доклад не к английскому королю, а в парламент, привык уважать волю большинства и вместе со всеми последовал зову Даха, хотя над пуританским демократизмом избранной своей родины старик и подтрунивал, рассказывая, в каких колючих рукавицах держит там поэтов некий Кромвель.

Единственный, кто не примкнул к остальным, был студент Шефлер. Его, пока все еще сидели за супом, потянуло в город, куда он и устремился через Эмские ворота на поиски предмета ежегодного паломничества в Тельгте — деревянной резной пиеты: застывшая от горя Мария сидит, держа на руках тело сына, скованное холодом смерти.

Когда все расселись вокруг Даха на скамьях, стульях, а поскольку их не хватило, то и на скамеечках для доения и пивных бочках, через открытые оконца к ним заглянуло еще раз лето, примешав жужжание мух под балками потолка к негромким переговариваниям и молчаливому ожиданию. Шнойбер что-то втолковывал Цезену. Векерлин объяснял Грефлингеру приемы шифровки секретных донесений — искусство, коим он овладел в череде служебных перемещений. Снаружи доносились крики обоих мулов хозяйки и, еще отдаленнее, брехня трактирных дворняг.

Табуретка, стоявшая подле кресла с подлокотниками, которое Дах поставил для себя, дожидалась выступающего. Символических знаков, употреблявшихся в местных объединениях — вроде пальмы «Плодоносящего общества»,— не было, фон пустовал. То ли соблазнились поэты простотой, то ли ничего подходящего не пришло в голову — да и найди его, подходящее, попробуй.

Без всяких вступлений, лишь легким покашливанием обеспечив тишину, Дах предоставил первое слово магистру литературы из Саксонии Августу Бухнеру, человеку уже пожилому, гладкому, который и слова не мог сказать в простоте, непрерывно вещал, а если молчал, то и молчание его было докладу подобно: молчал он так внушительно, что его немые периоды можно было цитировать, как перлы красноречия.

Бухнер прочитал из своего манускрипта «Краткий путеводитель по немецкой поэзии», уже широкораспространенного, впрочем, в списках, десятую главу: «О размерах стихов и их видах». Возникла глава в продолжение теоретических изысканий Опица и содержала рассуждения о правильном употреблении «дактилических слов», указания на ошибки приснопамятного Амброзия Лобвассера, «примешавшего александрийскому стиху ложные pedes»[1], и примеры дактилической

[1] Стопы *(лат.)*.

оды, четыре последних стиха каковой являются, как в пасторальных поэмах, трохеями.

Доклад Бухнера изобиловал реверансами перед Опицем — хотя возразить ему там и сям он счел весьма оправданным — и колкостями в сторону отсутствовавшего «принцева воспитателя» Шоттеля с его угодливостью князю и тайными шашнями при дворе. Обронил Бухнер и слово «розенкрейцеры», хотя Авраам фон Франкенберг и не был назван. По временам оратор переходил на ученую латынь. Даже оторвавшись от листков, он свободно пользовался цитатами. (Недаром в «Плодоносящем обществе» снискал он прозвище Искушенный.)

Дах призвал к прениям, но покуситься на авторитет Бухнера поначалу никто не отваживался, даром что большинство собаку съело в теории, понаторело в ремесле стихосложения, привыкло к словесным стычкам, за словом в карман не лезло и даже тогда перло на рожон, когда на языке вертелось согласие. Лишь непререкаемый проповедник Рист позволил себе осудить любую критику Опица как «недостойную и порочную», на что ученик Бухнера Цезен немедленно отпарировал: так может говорить только тот, кто «опицирует» безраздумно, какой-нибудь мастер «опициальности» в духе «эльбских лебедей»!

После того как Харсдёрфер выступил с ученой защитой нюрнбергской пасторали, пострадавшей, по его мнению, от Бухнера, а Векерлин — с указанием на то, что он давно, задолго до опицевых и бухнеровых остережений употреблял дактили правильные, Грифиус плеснул свою ложку дегтя: такие наставления могут-де повсеместно породить бездушную писанину; с чем Искушенный согласился, пояснив, что именно по этой причине он, не то что иные магистры словесности, не станет отдавать в печать своих лекций.

После этого Дах вызвал Зигмунда Биркена, юношу, который то и дело встряхивал своими ниспадавшими на плечи локонами. На круглом лице — глаза дитяти и припухшие влажные губы. Поди разберись, зачем понадобилась теория такой красоте.

Когда Биркен огласил двенадцатую главу своих «Правил немецкой разговорной и поэтической речи», в ней же особенно подчеркнув правила для актеров, согласно которым автор обязан вкладывать в уста всякого персонажа лишь сообразную ему речь: «...дабы дети изъяснялись по-детски, старики — разумно, дамы — прилично и нежно, рыцари — отважно и геройски, крестьяне — грубо...» — Грефлингер и Лауремберг накинулись на него: да это же будет смертная скука! Вот уж поистине «пегницня»! Тоска зеленая, как всегда! Издевался и Мошерош: в какое такое время живет-де юный хлыщ?

Харсдёрфер скорее вяло двинулся на выручку своего воспитанника: мол, подобные предписания для актеров существовали и в античные времена. Герхардт похвалил правила Биркена в той их части, где содержался призыв не являть всякие ужасы в их натуральном обличии, а лишь косвенно сообщать о них. Однако ж Грифиус, о котором поговаривали, что он пишет трагедии, молчал. Молчал и Бухнер — оглушительно, как набат.

Тут попросил слова Гельнхаузен. Уже не в щегольской зеленой безрукавке с золотыми пуговицами, а (как Грефлингер) в простой солдатской блузе и штанах, он сидел на одном из подоконников и нетерпеливо ерзал, пока Дах не дал ему слова. А хотел Стефель заметить следующее: за свою избыточную превратностями жизнь он не единожды становился свидетелем того, как по-детски изъясняются старики, а разумно — дети, как грубят дамы, а крестьяне держатся приличий, а что до отважных удальцов, коих повидал он немало, то даже перед лицом смерти речь их — сплошная непристойная брань. Нежный шепот, особливо на перекрестках дорог, ему доводилось слышать только от черта. И говоря так, полковой писарь всех поочередно — под конец и князя тьмы тоже — изобразил.

Даже Грифиус рассмеялся. А Дах заключил диспут на примирительной ноте, обратив к собравшимся вопрос: уместно ли являть кровопролитие да засорять речь на театре, коли и в жизни самой всего этого чрезмерно? И в правилах Биркена, сдается ему, есть немало разумного, если, конечно, ими не злоупотреблять.

Затем вызвал он Ганса Михаэля Мошероша, чья сатира на порчу языка из первой части «Видений Филандера фон Зиттевальда» хоть и была уже напечатана и хорошо всем известна, не могла тем не менее не доставить удовольствия, особенно же своими насмешливыми песенками, вроде:

Любой наш портняжка корпит, бедняжка,
Над латинской грамматикой, чтоб важным стать ему:
То ли немец, то ли француз, то ли вовсе даже индус,
Не голова, а месиво, зато речь спесива...

Это отвечало общему недовольству порчей немецкого языка, чувствительная почва которого изрыта была копытами да колесами во время романских и шведских нашествий.

Тут, просунувшись в отворенную дверь, хозяйка Либушка кстати спросила, не сервировать ли сеньорам «бокколино руж» — ей отвечали на всех имевших хождение в отечестве иностранных наречиях. Все, даже Герхардт, обнаружили отменное владение пародийной тарабарщиной. А Мошерош, здоровенный детина, первым смеющийся собственным шуткам, но и — ревнитель глубокомыслия, что принесло ему в «Ордене пальмы» титул Мечтающего, продолжал рассыпать перлы своего сатирического мастерства. Он измывался теперь над убогими рифмами и описаниями в духе пасторальных изысков. Имен не называл, но явно метил в берега Пегница. Себя не раз назвал «ладнонемецким», хотя имя его было происхождения мавританского. Это он заявляет всем, кто пожелает подыскать рифму к слову «вид». (Остатний у хозяйки бочонок вина, который служанки, по ее знаку, вкатили, был, таким образом, посланцем прародины Мошероша.)

После этого Харсдёрфер прочел из только что опубликованной первой части своей «Поэтической воронки» несколько толковых наставлений для желающих в кратчайшие сроки сподобиться пиитическому ремеслу — «сии шесть уроков, однако ж, не след брать все в един день...» — к чему присовокупил, стяжав общие восторги, по рукописи прочитанную похвалу немецкому языку, каковой-де более прочих подражать всякому природному звуку и шороху способен, ибо «воркует голубем, играет вороном, чирикает воробьем, журчит и плещется, что ручей...».

И хотя мы никак не могли договориться даже о том, писать ли нам «немецкий» или «неметцкий», однако ж всякая хвала «немецкого» или «неметцкого» была нам по сердцу. Каждый без устали отыскивал все новые и новые природные звуки для доказательства искусности немецкого слова. Вскоре (к неудовольствию Бухнера) стали перебирать бесконечные словоизобретения Шоттеля, воздав должное его «молочно-белоснежному» и другим находкам. Страсть к улучшению языка, к онемечению иностранщины сплачивала нас неукоснимо. Одобрение встретила даже предложенная Цезеном замена «женского монастыря» на «девоузилище».

Однако длинное стихотворение Лауремберга «О новомодных виршах и рифмах», в котором автор на своем нижненемецком наречии яро обрушивался на тех поэтов, что писали «по моде» на верхненемецком, снова раскололо собрание, хотя уязвить Лауремберга было нелегко. Он предвидел возражения своих противников — «Какую ни правь бумагу, все им язык не гож, Казенный канцелярский один у них хорош...» — и выдвинул неиспорченный нижненемецкий в противовес ходульному, жеманному, преизобильному квазиучеными кренделями верхненемецкому, возлюбленному канцеляристами: «То ли лапландский, то ли еще каковский — не немецкий, а бестолковский...».

Но тут уж не только модники Цезен и Биркен, но и Бухнер с Логау предали анафеме диалект как средство поэзии. Единственно верхненемецкий, изощряясь и утончаясь, должен стать тем инструментом, который — взамен неудачливых копья и меча — очистит отечество от чужеземного господства. Рист, кстати, потребовал покончить и с античным хламом, со всем этим нечестивым заклинанием муз и прочим языческим непотребством. Грифиус признался, что в отличие от Опица он полагал, будто лишь диалект питает соками основной язык, но после ученья в Лейдене он, хоть и не без сожаления, предписал себе более строгий языковой пост.

И опять с подоконника подал голос Гельнхаузен: ежели на Рейне говорят «свекла», а на Эмсе или Везере — «буряк», то ведь все равно имеют в виду одно и то же. О чем тут спор — непонятно. Разве, слушая поэму Лауремберга, можно не заметить, насколько звонко звучит грубое местное наречие рядом с ходульным слогом? Ну и пусть себе соседствуют всем на радость. Когда заботятся только о чистоте и не выпускают из рук метлы, то в конце концов выметают и самое жизнь.

Рист и Цезен (и согласно, и розно) изготовились возражать, но Дах поторопился признать, что Стофель прав: он тоже иной раз сдабривает свои песенки родными прусскими словечками и собирает то, что поет народ, чтобы благодаря посредству органиста Альберта сделать это всеобщим достоянием. После чего он негромко, вполголоса исполнил несколько куплетов об «Анке из Тарау» — «моей зазнобе, моей хворобе, моей отраде и отраве моей». Пел он сначала один, потом подтянули ему Лауремберг, Грефлингер, Рист, а уж тогда вступил и Грифиус, составился мощный хор, заглушивший — благодарение Анке — всякие споры: «Любо с милой и побраниться, век бы с нею, как в рае, резвиться».

Засим Дах нашел, что первое заседание пора кончить: еда в малой зале уже поджидала. Кому она покажется не ахти какой пышной, тому надобно взять в толк, что фуражиры-хорваты лишь недавно реквизировали всю хозяйкину живность, увели телят, закололи свиней, извели — а попросту, по-немецки говоря, сожрали — всех гусей до единого. Но поэты все же насытились. Да и ничто так не красит трапезу, как ладная речь или противоречие.

В малой зале присоединился к ним и студент-медикус. С очами, горящими, будто узрел чудо. А всего-то и было, что настоятель соборный показал ему тельгтскую пиету, спрятанную в сарае. Бывшему поблизости от меня Чепко Шефлер сказал: матерь божья открыла ему, что как бог в сердце, так она живет в лоне всякой девушки.

6

Еда, внесенная служанками по распоряжению хозяйки, была, впрочем, не такой уж скудной: в глубоких мисках дымилась пшенная каша, обильно сдобренная салом и приправленная свиными шкварками. Горячие колбаски и хлеб грубого помола были также на столе. Помимо того хозяйкин огород, притаившийся в диких зарослях позади дома (и спрятавшийся от фуражиров), даровал лук, морковку и хрен — все это, свежесорванное, подавалось на стол и хорошо шло под пиво.

Все нахваливали простоту трапезы. Даже привереды, увлекшись, утверждали: давно уже их желудки не были столь ублажены. Векерлин проклинал английскую кухню. Гофмансвальдау называл сельский стол пиршеством богов. Харсдёрфер и Биркен наперебой цитировали — по-латыни и в немецких переложениях — античные пасторали с описанием подобных обедов. А в словесном водопаде ведельского пастора Риста, которому Дах препоручил застольную молитву, эмская пшенка превратилась в манну небесную.

Вот только Гельнхаузен сначала что-то бурчал себе под нос, а потом стал громко бранить хозяйку: ты что, Кураж, рехнулась? Такую жратву его рейтары и мушкетеры, скромно расположившиеся на конюшне, второй раз и в рот не возьмут. Они — с их-то жалованьем — держат сторону императора лишь до тех пор, пока жаришь им цыплят, говядину да свинину. А не накормишь досыта, они завтра же переметнутся к шведу. Ибо как мушкету потребен сухой порох, так мушкетеру — добрый дух. Аполлон с его лебединой шеей быстро попадает под разбойничий нож, лиши его только Марс своего попечительства. Говоря иначе: без военной протекции поэтический диспут долго не протянет. Он только хотел сообщить господам во предостережение — Кураж и сама это знает! — что вся Вестфалия, особенно же текленбургская сторона, усеяна по берегам Эмса не только кустами, но и бродягами.

С этими словами он удалился вместе с Либушкой, которая, очевидно, вняла, что гельнхаузеновы рейтары и мушкетеры нуждаются в добавке. Присмиревшие, а также и возмущенные столь беспардонной дерзостью литераторы на какое-то время остались одни. Пусть себе отведут душу вольными словопрениями. Не может быть, чтобы неутомимым плетением дактилических словес не перехитрили они опасности и не отстояли свою встречу; да сгинь весь мир, они все одно будут и средь тарарама спорить о правильно и неправильно составленных стопах. Ведь в конце концов всё — не одному Грифиусу в его блистательных сонетах это открылось — суета сует.

А потому литературная беседа за столом, под жевание и стук ложек, потекла себе дальше. На одном конце стола — напротив Даха — Бухнер, жестикулируя, выражал свою неприязнь к отсутствовавшему Шоттелю, которого уличал в нападках на «Плодоносящее общество». В ответ Харсдёрфер со своим издателем Эндтером — они вынашивали кое-какие совместные прожекты с Шоттелем — пародировали магистрову манеру говорить. Всюду сыпались шуточки над теми, кто не приехал, вспыхивал и метался из стороны в сторону спор — в соли с перцем не было недостатка, и слова вылетали из жующих ртов, как камни из пращи: тут, сидя верхом на скамье, кто-то ехидно подсчитывал нижненемецкие «pedes» в творении Лауремберга; там Цезен и Биркен лягали мертвого Опица, называя его стихотворные правила тюремной решеткой и браня его образы за бесцветность. Оба новатора обвиняли Риста, Чепко и втихомолку Симона Даха в вечном «опицировании». Напротив того, Рист, сидевший с Векерлином и Лаурембергом, возмущался безнравственностью пегницевых пастухов: в Нюрнберге на заседания «Цветочного ордена» допускаются-де даже женщины. Счастье еще, что хоть Дах не пригласил никого из дам. А то ведь их рифмованные душеизлияния вошли теперь в моду.

В другом месте несколько человек сгрудилось вокруг сидящего Грифиуса, раздобревшего в свои тридцать лет толстяка. Так раздули его, видимо, презрение к миру да печаль. Бюргерское платье на нем едва сходилось. Двойной подбородок подбирался к третьей складке. Вещал он громовым голосом, разя и без молний. К тесному кружку, рокоча, обращался как к человечеству и на вопрос, что есть человек, отвечал вереницей слепящих картин. Ответы гласили: все лишь видимость и морок. Грифиус изничтожал. Ему всегда внушало омерзение и то, что он делал. Сколько бы страсти ни вкладывал он в свои писания, с еще большим пылом изрыгал он проклятия тому, что писал. Недовольство написанным, а тем более напечатанным не разлучалось у него с жаждой видеть напечатанным все им написанное — трагедии ли, кои с недавнего времени стекали с его пера, комедии или фарсы, которые он задумал. Потому-то он мог, едва наметив громозвучные сцены, тут же прощаться «с поэзией и прочей чепухой»: любой зародыш уже попахивал для него разложе-

нием. Уж лучше — вот только бы настал мир — приносить осязаемую пользу. Сословия в Глогау давно зовут его стать их синдиком. Как чурался он в прежние времена дипломатии Опица, а теперь необходимейшим кажется ему всякое дело, полезное общему благу. Когда — более даже, чем сама страна,— лежат в развалинах обычаи и законы, что еще можно противопоставить хаосу, кроме порядка? Только он один даст поддержку слепым и заблудшим. От цветастых пасторалей да мелодичных консонансов проку не будет.

Такое отвержение написанного слова исторгло из стоявшего в сторонке Логау готовые к печати шпрухи: из кожи будут хлебы, коль сапожник печь начнет. А Векерлин заметил: вся его, уж скоро тридцатилетняя, государственная лямка не перевесит и одной из его од; их все, и совсем новые и дряхлые от старости, он намерен вскоре отдать в печать.

Речи Грифиуса, на все лады возвещавшего смерть литературы и воцарение созидающего порядок разума, не смутили доселе молчавших издателей, которые не устояли перед соблазном выудить у поэтов готовые, обещавшие успех рукописи. Новое издание Векерлина было уже запродано в Амстердам. Мошерош поддался натиску гамбургского книготорговца Наумана. Издатель Эндтер, почти сладив уговор о пространном опусе, приуроченном к торжествам по случаю предстоящего мира, с Ристом, печатавшимся до сих пор в Люнебурге, попытался — наперебой со страсбуржцем Мюльбеном и голландцем Эльзевирном — склонить пронырливого Гофмансвальдау добыть им — одному, другому или третьему — рукопись «Соловья» усопшего иезуита Шпее: и паписта можно напечатать, было б складно писано. Гофмансвальдау посулил — и одному, и другому, и третьему. И будто бы даже — злословил позднее Шнойбер — получил аванс от всех троих; однако напечатан был «Задорный соловей» Фридриха фон Шпее лишь в сорок девятом году у Фриссема в католическом Кёльне.

Меж тем вечер сгущался. Кое-кто из господ пожелал еще прогуляться по саду хозяйки, но комары, тучами налетавшие с Эмса, вскоре всех разогнали. Дах восхищался упорным рвением Либушки, которая выращивала свои овощи посреди пустоши, борясь с крапивой и чертополохом. С такою же стойкостью отвоевывал свой садик вокруг Тыквенной хижины на прегельском острове Ломзе его друг Альберт. А ничего от этого сада не осталось. Так пойдет — уцелеет один чертополох, единственный цветок этих дней, символ злосчастной эпохи.

Потом они еще постояли немного во дворе или прошлись в сторону Дальнего Эмса, где одиноко торчала брошенная сукновальня. Отсюда хорошо было видно, что местом их встречи служил остров Эмсхаген, образованный двумя рукавами реки. Со знанием дела обсудили разрушения, произведенные в городской стене, лишившейся своих башен; похвалили трубку Мошероша. Поболтали со служанками, одну из которых звали (как и возлюбленную покойного Флеминга) Эльзабой, затем, в окружении прыгающих собак, подошли к привязанным к колышкам мулам хозяйки, обративши к ним приветствия на латыни. Все это под шуточки, остроты и подначки друг друга, а также споры — о том, к примеру, следует ли (согласно поучительной цветовой шкале Шоттеля) признать волосы хозяйки Либушки «смолянисто- или угольно-черными» и можно ли назвать сумерки «ослино-серыми». Посмеялись над Грефлингером, который стоял посреди мушкетеров — широко расставив ноги, на манер шведских фенрихов — и вещал им о своих походах под началом Банера и Торстенсона. Собирались уж было отдельными группками двинуться по дороге к Эмским воротам — ибо Тельгте все еще оставался им незнаком,— как на двор прискакал кто-то из стофелевых конников и передал депешу Гельнхаузену, стоявшему с хозяйкой и фельдфебелем

мушкетеров в воротах конюшни; и скоро уже все знали: Траутмансдорф, уполномоченный императора, внезапно — дело было 16 июля— и в подчеркнуто приподнятом настроении отбыл из мюнстерского монастыря в Вену, посеяв недоумение в рядах участников покинутого им совещания.

Беседа тотчас приняла оборот политический, переместившись в малую залу трактира, где уже была откупорена новая бочка темного пива. Только молодежь — Биркен, Грефлингер и, не без колебаний, студент Шефлер — осталась с Цезеном во дворе и пошла на приступ трех служанок. Двое ухватили свое, третьего (Шефлера) ухватила сама избранница, и только Цезен остался ни с чем и, преследуемый издевками Грефлингера, припустился к реке, где восхотел побыть наедине с собой.

Но едва я увидел его на берегу Эмса, что глубоко зарылся в песчаное ложе, как к берегу прибило два связанных трупа: они раздулись, но можно было догадаться, что это мужчина и женщина; покачавшись какое-то время на месте — Цезену показалось, что прошла вечность,— страшная связка высвободилась из прибрежных зарослей, трупы закружились в течении, поменялись местами, миновали порог, скользнули вниз к мельничным сваям, где вечер переходил в ночь, и ничего от них не осталось — разве что те образы, к которым Цезен стал подбирать новомодные аллитерации. Язык настолько завладел им, что не оставил времени ужасаться.

7

За пивом в малой зале судили да гадали. Улыбочка Траутмансдорфа, известного своим угрюмым нравом, могла означать лишь триумф папистов, выигрыш Габсбургов, дальнейшие утраты протестантского лагеря и в который раз отложенное заключение мира — как говорили они друг другу, взаимно разжигая тревогу. Особенно закручинились силезцы. Чепко предвидел: то-то доберутся теперь до них иезуиты.

Они чуть не повернулись к Гельнхаузену спиной, когда тот на свой веселый лад изъяснил внезапный отъезд императорского посланника: чему ж тут удивляться, коли Врангель, сменивший подагрика Торстенсона, ведет войну исключительно ради личной корысти и всегда предпочтет попастись в Баварии, нежели топать по разграбленной Чехии в Вену. Да и вообще протестанты нашли себе весьма сомнительного покровителя при французском дворе, в ту пору как — в Париже об этом распевают на улицах — Анна Австрийская штопает носки Мазарини, а кардинал, со своей стороны, укрощает ее августейший кураж.

Да уж, встряла тут Кураж, эти дела знакомы ей с молодости. Целых семь раз выдавали ее за имперских да гессенских военных, а один раз так даже за датского. И какой бы поп ни венчал — католический ли, лютеранский ли,— всегда кончалось одним и тем же: попользуются и в кусты, да тебя же еще и обругают. Таковы мужчины! Кого ни возьми. Хоть того же Стофеля — и у него на уме не иное, чем у тех военных, уж она-то его знает по Ханау еще, а потом и по Зосту, и по Зауэрбрунну, где по его вине довелось ей впервые изведать французскую хворобу и где его, Стофеля, все звали Простаком: «Простак, сбегай! Простак, сделай! Простак, сюда! Простак, туда!»

— Заткни пасть, Кураж, не то я сам тебе ее заткну! — закричал Гельнхаузен. Забыла, мол, что ли, про свои швабские шашни? Счет еще не оплачен.

Да она сама ему откроет счет — его ублюдкам, коих он, Простак — Перекати-поле, наплодил по всем местам, где только квартировал.

— Тебе ли молоть про ублюдков, Кураж, сама-то ни одного на свет не произвела, только и знаешь, что тупо трястись на осле да скармливать ему чертополох. И сама ты чертополох, который давно пора вырубить — под самый корень!

На что Либушка, будто Гельнхаузен и взаправду врубил ей под основание, вскочила на стол, прошлась меж затанцевавших пивных кружек, задрала вдруг свои юбки, скинула шаровары и, наведя голую задницу на Гельнхаузена, удостоила его громогласным ответом.

— Каково, Гриф, а? — вскричал Мошерош. — Вот у кого сочинителям немецких трагедий надо брать диалоги да заключительные сцены!

Хохотали дружно. Смех разобрал даже дотоле мрачного Грифиуса. Векерлин пытался бисировать «куражный гром». Логау пришла в голову сентенция насчет возвышенного смысла пёра, окончательно развеселившая общество, огорченное было известием о внезапном отъезде Траутмансдорфа. (Только раздосадованный Пауль Герхардт пустился отыскивать свою комнату. Ибо догадывался, какое направление придаст мужской беседе задний выдох хозяйки).

К пиву пошла приправа в виде двусмысленных и забористых анекдотов. Один Мошерош знал их столько, что хватило бы на дюжину нецензурных календарей. Витиевато, более прикрывая, нежели раскрывая суть, Гофмансвальдау описал бреславские похождения Опица, заморочившего голову и еще кое-что не одной бюргерской дочке, а все ж бежавшего всякий раз от расплаты. Старый Векерлин щедро черпал из грешного лондонского болота, находя удовольствие в живописании нагого парада пуритан-лицемеров из нового господствующего класса. Шнойбер поведал об опасных связях дам княжеских фамилий, кои сплачивались вокруг Ромплера в «Обществе ели» отнюдь не только фигурально-поэтически. Лауремберг тоже, конечно, внес свою лепту. Всяк порылся в сундуке своей памяти. Даже Грифиус, уступив домоганиям, поделился несколькими пустячками, привезенными им из итальянского путешествия: то были большей частью истории о распутниках монахах, которые тут же подхватил Харсдёрфер, а Гофмансвальдау стал варьировать аналогичные сюжеты, составляя из них треугольники и четвероугольники. При этом все трое подтвердили свою начитанность, неизменно давая отсылку к соответствующему итальянскому литературному источнику — в зачине ли рассказа о хитроумных проделках шлюхи, в заключении ли истории про блудливого монаха.

Когда Симон Дах с простодушным удивлением заметил, что живет, вероятно, не там, где надо, ибо подобных происшествий не знают на Трактирной площади в Кёнигсберге, то есть и там, конечно, есть любители этого дела, но действуют они как-то очень уж попростому,— его реплика особенно всех развеселила. И если бы — благодаря подзуживаниям Харсдёрфера — очередь не дошла до хозяйки Либушки и Гельнхаузена (она уж тем временем помирилась со своим Простаком), поведавших кое-что: он — из своей солдатской жизни, о битве при Витштоке, она — из своей маркитантской, о лагере под Мантуей, потом оба они — о совместном «спанье» в Зауэрбрунне, то рассказывание всевозможных историй под пиво из нескудеющей бочки так и продолжалось бы в развлекательном духе. Но когда оба привели ужасные подробности бойни, учиненной Тилли в Магдебурге, веселье улетучилось мигом. Дерзкая Либушка взялась перечислять, чем она поживилась во время грабежей, сколько корзин наполнила золотыми украшениями, снятыми с приконченных женщин. Наконец Гельнхаузен пнул ее ногой, чтоб умолкла. Несчастье Магдебурга взывало к молчанию.

Посреди тишины раздался голос Даха: пора и на покой, в объятья Морфея. Неприлизанные свидетельства Стофеля, и особенно Либушки, к которым их легкомысленно побудили, ясно указывают

границу всякому смеху и ту плату, какую взимает излишество смеха, застревающего у всех комком в горле. Нет ничего страшнее, чем привычка души к кошмару. Да отпустит им этот грех господь бог, да простит их по доброте своей.

Дах отослал их спать, как детей. Не дал и выпить по последней, на чем настаивали Лауремберг с Мошерошем. Попросил не шуметь более и не смеяться. И без того пошутили изрядно. Хорошо хоть, набожный Герхардт загодя удалился в свою комнату. Вообще-то Рист — в проповедях он силен — должен был погасить разнуздавшееся словоблудие. Нет, нет, Дах никого не осуждает. В конце концов смеялся вместе со всеми. Но на сегодня довольно. Вот завтра, когда — к вящей пользе пишущих — они станут снова читать свои манускрипты, он опять будет весел и приветлив со всеми.

Когда в доме все стихло — только хозяйка, призвав к себе в помощники Гельнхаузена, погромыхивала на кухне посудой,— Симон Дах еще раз прошел через сени и поднялся на чердак, где молодые спали на соломе. Там они и возлежали, а с ними служанки. Биркен спал, как младенец. Крепко, видимо, утомились. Только Грефлингер всполошился и стал было оправдываться. Дах, однако, знаком велел ему молчать и оставаться под одеялом. Пусть себе предаются забавам. Согрешили не здесь, а в малой зале. (И я смеялся вместе со всеми, острил да подзадоривал весельчаков на скабрез.) Бросив последний взгляд на открывшуюся ему картину, Дах порадовался, что и Шефлер обрел себе подружку.

А когда он уже собирался идти к себе — может быть, для того, чтобы начать письмо,— то услыхал во дворе стук копыт, скрип колес, лай собак, потом голоса. «Неужто мой Альберт?» — подумал Дах с надеждой.

8

Приехал он не один. Кёнигсбергский соборный органист Генрих Альберт, составивший себе и за пределами Пруссии имя изданием своих песен в народном духе и периодически выходящих «Арий», привез с собой родственника, придворного капельмейстера саксонского курфюршерства Генриха Шюца, державшего как раз путь на Гамбург и далее на Глюкштадт, где он надеялся получить приглашение к датскому двору: при саксонском его ничто более не удерживало. Шестидесяти с небольшим лет, в возрасте, стало быть, Векерлина, но гораздо более подтянутый, чем примятый государственной службой шваб, Шюц внушал впечатление ненавязчивой властности и строгого величия, природу коего никто (до конца даже и Альберт) не мог понять. Ничего величавого не было в его позе и теперь, она выражала скорее озабоченность тем, что он, как ему казалось, помешал собранию, и все же его появление как-то возвышало встречу поэтов, хотя, с другой стороны, словно бы снижало ее значение. К ним прибыл тот, кто никогда не прибивался к стаду.

Задним числом, конечно, все мы умнее, но и тогда понимали все: как ни безупречен был Шюц в вопросах веры и как ни предан своему князю, несмотря на возобновлявшиеся время от времени приглашения в Данию, до конца он служил лишь собственному призванию. Ни в чем, даже в работах второстепенных, не шел он навстречу обыденным пожеланиям среднего прихожанина-протестанта. Своему курфюрсту и датскому Кристиану он поставлял лишь самую малость из придворной музыки. Постоянно в деле, которое и было для него средоточием жизни, он был чужд любой суетности. Ежели издатели его сочинений настаивали иной раз на усовершенствованиях, облегчавших их употребление в церкви, например, на цифирных обозначениях при генерал-басе,— то Шюц неукоснительно высказы-

вал в предварении сожаление о том, что они были сделаны, и призывал исполнителей пореже обращаться к этим «костылям».

Никто не придавал такого значения слову, как он, никто настолько не подчинял музыку слову, никто не тщился так истолковать слово, оживить, выявить во всей его глубине, широте и высоте и ради этого так нырять вглубь, раздаваться вширь, взмывать ввысь. Но никто поэтому и не был так строг и придирчив к слову, как он, державшийся по преимуществу традиционной латинской литургии или лютеровского перевода Библии. От сотрудничества с современными немецкими поэтами в главном своем деле, в духовной музыке, он уклонялся — если исключить псалмы Бекера да несколько ранних текстов Опица, которые он положил на музыку. Немецкие поэты говорили его сердцу немного, как ни осаждал он нас своими просьбами писать для него. Поэтому-то Симон Дах прежде испугался, а лишь потом обрадовался, когда услыхал имя гостя.

Они постояли сколько-то времени во дворе, обмениваясь любезностями. Шюц все извинялся, что явился непрошенно. Говорил будто в оправдание, что давно знаком с некоторыми из присутствующих (с Бухнером, Ристом, Лауремберго́м). Дах, со своей стороны, расточал заверения в оказанной чести. Гельнхаузенов имперский караул держался с факелами в отдалении, как и подобает при встрече князя, а в том, что это прибыл князь, мушкетеры не сомневались, даром что на нем было вполне бюргерское дорожное платье, а вся поклажа исчерпывалась двумя рундуками. (Другой гость сошел у них за камергера князя.)

Они примчались сначала в Эзеде, откуда их направили в Тельгте. Лошадей им поменяли сразу же, поскольку у Шюца была охранная грамота князя. С детской гордостью предъявил он бумагу — точно удостоверение своей значительности, рассказывая при этом, что в дороге обошлось без приключений. При полной луне в долине было светло как днем. Кругом было пусто, все как вымерло. Они больше устали, чем проголодались. Не найдется кровати, он ляжет на лавке у печки. Уж он знает, каков трактирный обиход. Отец его в Вайсенфельсе на реке Заале сам держал постоялый двор — «Шюценхоф»: народу всегда была уйма.

Даху и Альберту лишь с трудом удалось уговорить придворного капельмейстера занять комнату Даха. Явилась (в сопровождении Гельнхаузена) хозяйка; услыхав имя гостя, защебетала любезности, приветствовала его итальянской тирадой, называя «Maestro Sagittario» [1]. Еще более всех поразило — а Шюца даже напугало,— когда Гельнхаузен, уже с готовностью занявший позицию меж рундуками позднего гостя, запел вдруг приятным тенором начало первого мотета из «Cantiones sacrae» [2] — вещи скорее общехристианской, а потому распространенной и в католических пределах: «O bone, o dulcis, o benigne Jesu...» [3].

Объясняясь, Стофель поведал о том, что пел в хоре еще мальчиком, погонщиком в Брайзахе, когда город осадили веймарцы и пение заглушало голод. Затем он подхватил багаж и увлек за собой Шюца, а с ним и всех остальных; шествие замыкала хозяйка, в руках у нее был кувшин с сидром — гость просил подать его в комнату с куском черного хлеба.

Потом Либушка готовила в малой зале постели для Даха и Альберта; занять ее каморку рядом с кухней они отказались. При этом она без умолку тараторила, обращаясь по преимуществу к Альберту: все больше насчет того, как трудно порядочной женщине сохранить честь в эдакое время. Какой красоткой она слыла когда-то и какие неприятные обстоятельства научили ее уму-разуму... Наконец

[1] Итальянский перевод имени Шюца, что означает по-немецки «стрелок».

[2] Священные песни *(лат.)*.

[3] О всеблагой, о сладчайший, о милостивый Иисус *(лат.)*.

Стофель вытолкал ее за дверь. Пару они с Кураж составляли уморительную, но на какой-то замазке связь их держалась.

Однако едва они ушли, как друзьям вновь помешали. В боковом открытом окне залы показалось искаженное ужасом лицо Цезена. Он с реки. По ней плывут трупы. Сначала он увидел только два. Связанные вместе, они напоминали его Маркхольда и Розамунду. Потом вниз по реке поплыли еще трупы, их становилось все больше. Луна освещала мертвые тела. Нет слов для такого избытка смерти. Дурные звезды стоят над этим домом. Мир никогда не наступит. Ибо язык не содержится в чистоте. Ибо искалеченные слова превратились в раздутые трупы. Он опишет все, что видел. Точно. Немедленно. Найдет небывалые звуки.

Дах закрыл окно. Лишь теперь, после того, как их сначала напугал, а после позабавил спятивший Цезен, друзья остались одни. Они крепко обнялись — похлопывая друг друга по спине, мурлыча теплые приветствия, плохо ложившиеся в какой-либо стихотворный размер. И хотя перед тем Дах отослал всех спать, не выдав на ночь никакого питья, он теперь наполнил Альберту и себе по полной кружке темного пива. Чокались они долго.

Потом, когда оба улеглись, соборный органист рассказывал в темноте, какого труда стоило затащить сюда Шюца. Его недоверие к поэтам и их многословию за последние годы только увеличилось. После того как Рист подвел его, ничего не написав, а либретто Лауремберга не имели успеха при датском дворе, он попытался приспособить к делу один из зингшпилей Шоттеля. Но от приторности этого автора его до сих пор мутит. Завернуть все же в Тельте его столь прославленного родича побудили вовсе не родственные чувства, а единственно надежда, что Грифиус станет читать свои драмы и что-нибудь да отыщется, годное для оперы. Будем надеяться, что какой-либо текст в самом деле удостоится его милости.

А Симон Дах, лежа в темноте, размышлял, выкажет ли должное приличие, подобающее столь высокому визиту, литературная братия, такая разрозненная и гораздая на раздоры: что грубияна Грефлингера взять, что зануду Герхардта или хоть этого не в меру обидчивого и слегка помешанного Цезена...

За такими заботами оба заснули. Лишь трактирный чердак не ведал сна. Или происходило еще что-нибудь этой ночью?

9

В комнате, которую он делил со своим оппонентом Ристом, Цезен еще долго перебирал аллитерации, пока не заснул над стихом, в коем бездыханно-вздутые трупы уподоблялись плоти Розамунды и его собственной плоти.

Меж тем по мосту через Эмс мимо постоялого двора проскакал курьер, посланный из Оснабрюка в Мюнстер; потом другой — в обратном направлении: оба спешили с новостями, которые устаревали в дороге. Собаки на дворе облаяли и того, и другого.

Луна, вдоволь налюбовавшись собой в речной глади, встала над трактиром и его постояльцами. От нее зависело все. Всякая перемена.

Потому-то поменялись пары на чердаке: пробудившись на рассвете, Грефлингер, с вечера расположившийся с изящной красоткой, обнаружил себя с костлявой дылдой, нареченной Мартой. Нареченная же Эльзабой сдобная пышка, что легла поначалу к тихоне Шефлеру, оказалась в объятиях Биркена, в то время как красотка Мария, доставшаяся сперва Грефлингеру, лежала теперь точно цепями прикована к Шефлеру. Перебудив друг друга и узрев (при свете луны) перемены, они было хотели вернуться к своим началам да не знали толком, как звать тех, с кем повалились вчера на сено. И хотя,

после еще одной перемены, каждому и каждой показалось, что теперь они легли правильно, действие луны все же сказалось. Будто следуя зову ветреной Флоры, настроившей некогда его лиру, но давно уже принадлежавшей другому, Грефлингер, всюду, даже на спине, обросший черными волосами, перелез к пышной Эльзабе, красотка Мария приникла к свежим ангельским устам Биркена, коему любая из них, что дылда, что пышка, что красотка, мерещилась нимфою; а длинноногая Марта притиснула к себе Шефлера, чтобы вслед за полногрудой и ладненькой исполнить предуказанное ему накануне тельтгской пиетой. И раз за разом душа тощего студента извергалась огненной лавой.

Так и случилось, что все шестеро в третий раз принялись молотить солому на чердаке, после чего каждый перезнакомился с каждой; диво ли, что никто из них не услышал ничего из того, что происходило на той ранней заре.

Я-то знаю, что было. Пятеро всадников вывели из конюшни во двор своих оседланных лошадей. Среди них и Гельнхаузен. Ни скрипа, ни звяка. Лошади вышагивали беззвучно — копыта были обмотаны тряпками. Уверенной рукой — ничто не брякнуло, дышло было заранее смазано — двое мушкетеров запрягли лошадей в экипаж, реквизированный имперцами в Эзеде. Третий нес мушкеты для себя и товарищей, которые засунул под брезент. Не было произнесено ни слова. Все шло как отрепетированное заранее. Дворняги даже не пикнули.

Только хозяйка трактира шепталась с Гельнхаузеном, видно, давала ему наставления, потому как Стофель, уже верхом на коне, поминутно кивал ей в ответ, будто расставляя точки в потоке ее речи. Либушка (которую прежде звали Кураж), словно в точности следуя предписанной роли, стояла, закутавшись в попону, рядом с бывшим егерем из Зоста, на котором снова (все еще) была зеленая безрукавка с золотыми пуговицами и шляпа с перьями.

Один лишь Пауль Герхардт проснулся в своей келье, когда запрягли коней в крытую повозку и имперские всадники двинулись со двора. Он еще увидел, как повернулся в седле Гельнхаузен и помахал, осклабясь, обнаженной шпагой хозяйке, а она не ответила, только неподвижно стояла посреди двора под своей попоной — продолжала стоять и тогда, когда экипаж из всадников сначала скрыли заросли ольхи, а потом поглотили Эмские ворота города.

Тут вступили птицы. То есть, может быть, только теперь Герхардт услышал, каким многоголосием зачиналось утро под Тельгте. Жаворонки, зяблики, дрозды, синицы, стрижи. В кустах бузины за конюшней, на буке во дворе, на четырех липах, высаженных для защиты от северных ветров перед трактиром, в зарослях ольхи и березы, переходивших в кустарник, росший по берегу Дальнего Эмса, а также в гнездах, которые воробьи устроили себе под обветшалой, прохудившейся со стороны двора крышей — всюду птицы славили утро. (Петухов в округе больше не было.)

Когда наконец Либушка стряхнула оцепенение и, уныло качая головой и что-то плаксиво бормоча себе под нос, медленно побрела со двора, она, буйно скандалившая вчера и казавшаяся кое-кому еще вполне лакомым куском, превратилась в старуху — одинокую, жалкую, закутанную в свою попону.

Вот почему начавший утреннюю молитву Пауль Герхардт включил и бедняжку Кураж в свою просьбу: да не покарает господь бог и всемилостивый отец несчастную женщину за грехи ее слишком строго, да отпустит ей и будущие прегрешения, ибо такой эту женщину сделала война, оскотинившая не одну непорочную душу. Потом, как и каждое утро в продолжение вот уже многих лет, он помолился за скорейшее заключение мира, мир да принесет защиту всем правоверным, а заблудшим и противникам бога истинного —

окончательное прозрение или заслуженное наказание. К заблудшим наш смиренник относил не только, как принято у потомственных неколебимых лютеран, католиков-папистов, но и гугенотов, и кальвинистов, и цвинглиан, а также всех мечтателей-мистиков; почему, к примеру, истовая силезская набожность была ему не по нутру.

В своем толковании веры Герхардт был тверд, что отлилось и в песнях его, расплескавшихся шире, чем способен был выносить его догматизм. В течение многих лет, что промучился он домашним учителем в Берлине, терпеливо и напрасно дожидаясь пасторского прихода, на ум ему приходили немногие, но достаточные слова, из которых слагались рифмованные строфы, годные для лютеранских церковных общин, так что всюду, где война пощадила церкви (вплоть до католических областей), а также по домам распевали песни набожного Герхардта — на старый лад и на простые мелодии, сочиненные Крюгером, а позднее Эбелингом. Одной из них была сложенная для заутрени песня «Проснись и пой, душа...» с ее первой строфой о «создателе вещей, подателе всех благ, о том, кто сир и наг...», написанная им на пути в Тельгте в количестве девяти строф и вскоре после того положенная на музыку Иоганном Крюгером.

Если б Герхардт даже и умел, он никогда и ни для кого не пожелал бы написать ничего другого — ни од, ни изящных сонетов, ни сатир, ни игривых пасторалей. К литературе он был глух и гораздо более почерпнул из народных песен, нежели перенял от Опица (и его душеприказчика Бухнера). Песни его были естественны и фигуральностей избегали. Потому-то он поначалу наотрез отказался участвовать во встрече поэтов. Приехал же только в угождение Даху, чей практичный подход к вере еще удовлетворял его религиозным понятиям. Приехал затем, чтобы, как и предполагал, остаться всем и всеми недовольным: и нескончаемым зубоскальством Гофмансвальдау, тщеславным, все еще неиссякшим неприятием мира Грифиуса, и путаным краснобайством будто бы столь одаренного Цезена, и нацеленными сатирическими выпадами Лауремберга, и пансофическими двусмысленностями Чепко, и языком-что-твое-помело Логау, и громогласием Риста, и деловой мельтешней издателей. Все это, в особенности бойкая болтливость и хвастливое многознайство литераторов, было Герхардту столь отвратительно, что он, представлявший только самого себя (свой интерес) и не принадлежавший ни к какому литературному обществу, едва приехав, уже рвался домой. Однако ж наш смиренник остался.

Продолжив после заступничества за нечестивую хозяйку и проклятья недругам истинной веры свою утреннюю молитву, Пауль Герхардт долго заклинал всевышнего просветить его князя-кальвиниста, давшего приют в своей стране сотням гугенотов и прочих духовных слепцов, за что Герхардт не мог любить его. Потом он вобрал в свою молитву и поэтов.

Он просил всемогущего бога и отца одарить словом истинным высокоученых и притом глубоко заблуждающихся мужей — и умудренного жизнью Векерлина, и угрызаемого своим темным происхождением Мошероша, и негодника Грефлингера, и даже паяца Стофеля, хотя тот и католик. Сплетя пальцы, Герхардт взывал со всем пылом души: да восславит собрание Его, высшего судии, премудрость!

А в завершение молитвы он испросил заветное место пастора, желательно близ Берлина; однако лишь четыре года спустя Пауль Герхардт удостоился прихода в Миттенвальде, где наконец смог повести под венец застарелую любовь своих учительских лет, бывшую ученицу свою Анну Бертольд, после чего еще много лет продолжал писать строфы своих песен.

Тут как раз Симон Дах ударил в колокол в малой зале. Сон сбежал и с того, кто не хотел с ним расстаться. Юные обитатели чердака вдруг увидели, что пребывают одни на соломе. Марта, Эльза-

ба и Мария суетились уже на кухне. Они нарезали вчерашний хлеб в утреннюю похлебку, которую, сидя за длинным столом между Герхардтом и Альбертом, ел потом и Генрих Шюц, известный каждому незнакомец.

10

Этот воскресный день восстал в розовом блеске. Яркое солнце проникало сквозь окна, насыщая теплом дом, в котором от близкой влаги держалась прохлада. Взбадривала и радость оттого, что их посетил столь высокий гость.

Сразу после утренней похлебки, еще в малой зале (и после того, как на сей раз Чепко произнес благодарственную молитву), Симон Дах, встав, обратился ко всем: прежде чем снова взяться за манускрипты, хотелось бы от души приветствовать знаменитого гостя; для этого нужна, однако, изведанность в музыке, превышающая его, простого любителя, знания. Друг Альберт — как назвал он соборного органиста — куда лучше разбирается в мотетах и мадригалах. Ему же, неучу и невежде, остается лишь восхищаться, благоговея. Спеть сиплым басом какую-нибудь незамысловатую песенку — вот и все, на что он способен. Произнесши это, Дах с облегчением сел.

После пространного обращения к почтенному гостю Генрих Альберт начертал его жизненный путь: как юный Шюц, предназначенный родителями к изучению права, все же удостоился милостивого участия сначала кассельского ландграфа, а затем и саксонского курфюрста, проторивших для него путь постижения композиторского искусства в Венеции, у знаменитого Габриели, место которого — место органиста в соборе с двумя органами — он мог бы занять, если б не почел за большее благо вернуться в отеческие пределы. Лишь много лет спустя, ввиду истребления жителей страны нещадной войною, он еще раз испросил себе отпуск в Италию, чтобы совершенствоваться под началом знаменитого Монтеверди, после чего Шюц, равновеликий учителю, возвратился на родину с новой музыкой, достигнув в ней такой мощи, что мог свободно заключать в звуки людское горе и радость, людскую робость и гнев, усталое бденье и настороженный сон, смертную тоску и страх перед господом, а также хвалу и славу всевышнему. Все это в опоре на единственно истинное слово божье. В произведениях бессчетных. Будь то духовные концерты или погребальные песнопения, будь то его «История воскресения» или два года назад возникшая оратория «Семь слов Иисуса на кресте». Строгость и нежность, простота и искусность — тут все вместе. Отчего многое в этой музыке оказалось недоступно средней руки канторам и на скорую руку обученным хористам. Он и сам не раз приходил в отчаяние от трудностей многоголосья, вот хоть совсем недавно — когда ко дню Реформации пытался разучить с кёнигсбергским соборным хором девяносто восьмой псалом — «Воспойте господу» и потерпел неудачу, пытаясь исполнить это произведение для двух хоров. Однако он вовсе не желал бы докучать мастеру в столь радостную минуту приветствия вечными lamenti [1] практикующего служителя церкви, тем более что капельмейстеру саксонского курфюршества и без него ведомо, сколь трудно в такое, обездоленное войной время содержать сносных певцов и музыкантов. Даже Дрездену при всей его гордыне не хватает инструментов. Итальянские виртуозы, гонимые поисками достатков, приискали себе среди князей более аккуратных плательщиков. Средств едва достанет, чтобы прокормить немногих мальчиков из церковного хора. О, да смилостивится господь бог, да ниспошлет он наконец мир, дабы снова можно было править ремесло, как то приличествует требованиям строгого мастера.

[1] Жалобы *(лат.)*.

Затем Альберт сообщил о пожелании Шюца присутствовать при читке манускриптов, чем тот надеется иссечь в себе вдохновенную искру, надобную для того, чтобы вослед за Монтеверди, пишущим мадригалы на своем родном языке, делать то же на языке немецком либо, коли будут читаны сочинения драматического жанра, чтобы отыскать среди них материал для оперы — подобно тому, как это уже случилось однажды, двадцать лет назад, с «Дафной» покойного Опица, за что он, пользуясь возможностью, приносит свою благодарность посреднику в том деле присутствующему здесь магистру Бухнеру.

Теперь все затаив дыхание ждали, что ответит маэстро, ибо на лице Шюца во все то время, пока Альберт его восхвалял, сетовал на трудность его музыки и говорил о своих пожеланиях, не отразилось ровным счетом ничего. Иссеченное заботами чело его, нависшее над высокими бровями, ни разу не нахмурилось, не говоря уже о том, чтобы разгладиться. Так же недвижны были его очи, уставленные на что-то печальное, разыгрывавшееся где-то вне трактирных стен. Легкие складки притаились в углах рта, тщательно обрамленного усами и эспаньолкой на фасон Густава Адольфа. Длинные белесоватые волосы зачесаны назад от висков и со лба. Недвижное спокойствие, не колеблемое даже дыханием.

Заговорив, благодарил коротко: он лишь развил то, чему научил его Иоганн Габриэль. Несколько странной, если не ребячливой, показалась наивность, с какой сей благовоспитанный муж стал показывать всем за столом кольцо, дарованное ему в знак дружбы Джованни Габриели незадолго до смерти. Жалобу Альберта на трудность многоголосия он отверг одной фразой: искусство, стремящееся быть достойным чистого слова божьего, требует совершенства. Тут же последовал первый, тихо произнесенный, но всем длинным столом услышанный приговор: кто ищет легкого, лежащего вне искусства, пусть довольствуется рифмованными строфическими песнями да генерал-басом. Однако теперь он хотел бы услышать то, чего сам производить не может: сладостное сочетание искусных слов.

Тут говоривший сидя Шюц встал и тем подал знак перебираться в более просторную залу, так что Даху не пришлось к этому призывать. Все встали из-за стола, один Герхардт медлил, отнеся уничижительную шюцову оценку строфических песен к собственной персоне. Векерлин вынужден был его увещевать и в конце концов преуспел.

Другого сорта морока приключилась у Даха с Грифиусом — тот наотрез отказывался приступить к чтению сцен из трагедии, завершенной совсем недавно в Страсбурге, на пути из Франции. Он так и быть почитает, но не сразу, не тотчас — не будет он угождать этому Шюцу, сколь ни почтенна заслуженная им слава. Кроме того, в сочинители либретто для опер он не годится. Недостает ему должного придворного велелепия. Пусть Дах вызовет сначала других — хотя бы молодых. Коим, сдается, и ночь не в помочь. Вон зевают в три рыла да подкашиваются в коленках. Даже Грефлингер — и тот прикусил язык. Может, хоть собственные стишки растормошат их создателей — это ведь только на других они наводят тоску.

Дах никому не перечил. Только вот когда Рист с Мошерошем попытались склонить его для начала к оглашению манифеста, над которым они, держа совет с Гофмансвальдау и Харсдёрфером, прокорпели ночь, а потом переделывали его утром, желая принять его как воззвание к миру — обращение немецких поэтов к своим князьям, то тут уж кёнигсбергский магистр не на шутку испугался разброда в своей литературной семье. «Потом, потом, дети мои! — вскричал он.— Сперва попробуем усладить господина Шюца чернильными упражнениями своими. Политика же — увечная спутница мира, и никуда она от нас не убежит».

В большой зале расселись как будто уже привычным порядком. Крики привязанных в зарослях Эмсхагена мулов казались нам отдаленнее вчерашнего. Кто-то (Логау?) спросил, куда подевался Стофель. Герхардт промолчал. Вопрос подхватил и Харсдёрфер, и тогда дала справку хозяйка: полковой писарь отбыл по срочному делу в Мюнстер. Еще на рассвете.

Опять повеселевшая Либушка была проворна и вездесуща. Успела завить и волосы, не пожалела снадобий. Служанкам велела внести в полукруг удобное кресло с широкими подлокотниками. Генрих Шюц сидел в нем, словно на пьедестале, являя собранию свой отягченный думами профиль на светлом фоне окна.

11

Было еще раннее утро, когда начался второй день чтений. На сей раз рядом с пустующим пока табуретом читающего появилось украшение — могучий чертополох, вырытый в огороде хозяйки и пересаженный в глиняный горшок. Такой вот, в единственном числе, вырванный из окружения, чертополох был красив.

Не удостоив оговоркой сей «символ бранного лихолетья», Дах прямо приступил к повестке дня. Едва заняв, точно давно привык к нему, свое место напротив полукругом севших поэтов, он огласил очередность тех, кому надлежало занимать табурет подле него (а теперь и подле чертополоха); первыми шли молодые: Биркен, Шефлер, Грефлингер.

Зигмунд Биркен, дитя войны, рожденное в Чехии, занесенное мытарствами в Нюрнберг, где он обрел в кругу пегницевых пастухов под эгидой Харсдёрфера и Клая поддержку и покровительство склонных к идиллии патрицианских семей, был юноша, не лишенный, как показало его вчерашнее выступление, теоретических амбиций. Флоридан пастушеского ордена и Обоняющий руководимого Цезеном немецкого патриотического товарищества, он имел успех благодаря своим молитвенным песнопениям, полупрозаическим пасторалям и аллегорическим сценкам. Несколько лет спустя его инсценировка нюрнбергских торжеств, отитлованная как «Немецкое прощальное с войной и приветственное миру действо», придется по сердцу высоким военным гостям, а Биркен будет за то возведен императором в дворянство и под именем Возросшего принят в силезский «Орден пальмы». Повсюду, и дома, и в путешествиях, вел он, будто книгу расходов, дневник, отчего в его багаже, покоившемся на сеновале трактира «У моста», хранился и украшенный гирляндами цветов диариум.

Звукоподражатель Биркен, для которого все отливалось в мелодию и форму и который, в согласии с новой чувствительностью, ничего не излагал прямо, но в аллегорических картинках, прочитал несколько фигурных стихотворений, отдельные строчки которых, где сужаясь, где расширяясь, повторяли начертательный облик то креста, то сердца. Однако успеха у собрания он этими виршами не снискал: на слух графическая их форма не воспринималась. Более благосклонно было принято стихотворение, в котором справедливость лобызалась с миром, обменивая с ним «слаще сладости поцелуи радости...».

Что Харсдёрфер и Цезен (один беря ученостью, другой пафосом) восхвалили как торящую путь новизну, то дало Бухнеру повод для обобщающих сомнений, а Мошерошу — для едкого пародирования биркеновой манеры целокупно, особенно же рифмовки типа «кровь — любовь» в сердцеподобном стихотворении. Проело услышанное и проповедническую печень Риста: счастлив покойный Опиц, что не слышит сего «процезенного биркенанья».

Старому Векерлину «изящность словопада» понравилась. Логау был, как всегда, краток: где мало смысла, там много трезвона.

Затем к чертополоху подсел Иоганн Шефлер, который станет в будущем врачом и католическим священником и немало сделает (под именем Ангелуса Силезиуса) для иезуитской контрреформации. Поначалу заикаясь и путаясь, потом после взбадривающего призыва Чепко: «Смелее, студент!» — увереннее прочитал он первый вариант духовной песни, принятой для обихода в дальнейшем всеми вероисповеданиями: «Возлюбленная мною крепость духа...». Потом — несколько шпрухов, собрание которых, названное «Херувимский путник», только через десять лет пробьет себе дорогу в печать; пока же они вызвали замешательство в зале, ибо вирши, подобные «Я знаю, без меня бог не живет и мига...» или вовсе: «Так прячет бога в лоне милая подруга, как собирает точка совершенство круга...» — могли найти отклик разве что у Чепко и Логау.

Зато Герхардт взвился, как ужаленный: вот она, прелесть силезского заблуждения! Не умолкает в учениках своих треклятый сапожник. Благоволит к неправде, пустогрез! Да узрят все ложный блеск кощунственного вздора.

Будучи пастырем ведельской церковной общины, Рист счел себя призванным, как с амвона, вторить тому, что сказал Герхардт; более того, в оглашенной галиматье почудился ему запах и папистской отравы.

Вступился за Шефлера, как ни странно, лютеранин Грифиус: чуждый дух не мешает ему насладиться чудесной стройностью лада.

Следующим был Георг Грефлингер, питомец Даха, баловень его отеческого расположения и забот. Саженный верзила, еще в детстве перенесенный войной из Шафсвайде в Регенсбург, он в дальнейшем ходе ее немало помыкался меж Веной и Парижем, Франкфуртом, Нюрнбергом и прибалтийскими городами, побывал и на шведской службе и, познав много мест, сменил столько же и любовей. Только что лопнул план женитьбы на дочке ремесленника из Данцига, взлелеянный много лет назад, и означенная дочка превратилась в его стихах в неверную Флору. Лишь в будущем году суждено ему будет сочетаться браком и осесть в Гамбурге, основав там доходное предприятие — сначала что-то вроде информационного агентства, а потом и издание еженедельной газеты «Нордишер Меркур». Все это не помешало ему, однако, сложить четыре тысячи четыреста александрийских стихов с описанием Тридцатилетней войны.

До мозга костей преданный всему земному, Грефлингер исполнил две скабрезные песенки, много выигрывающие в устном исполнении: в первой — «Возревновала Флора...» — яро славилась неверность, во второй — «Спуску бабам Гила не дает...» — разгульная удалая замашка. Еще когда он — чуть кокетничая своими солдатскими повадками — декламировал прибаутки, по залу зашелестел шепоток удовлетворения. Строки «Кому хватает воздыханий, мне ж пожалте круглый торс...» встретили легким смехом. Сдержанным — из-за присутствия Шюца. Дах и Альберт, также получившие свою долю удовлетворения, не возразили, однако ж, и Герхардту, когда тот в ходе разыгравшегося диспута отверг похвалы Мошероша и Векерлина: такое-де непотребство можно распевать только в сточной канаве. Так недолго накликать на головы собравшихся и божий гнев.

Генрих Шюц молчал.

Тишину нарушили зато три служанки хозяйки, которые (с дозволения Даха) сидели и слушали позади всех. Скабрезные песенки Грефлингера понудили их сначала негромко прыскать, потом хихикать, потом смеяться: потом Марта, Эльзаба, Мария раззудились настолько, что принялись хохотать, корчась от смеха и заразив все собрание. Харсдёрфер даже подавился смехом — издатель вынужден был колотить его по спине. Даже уста недвижного Шюца троегла-

сие хохочущих девиц тронуло улыбкой. Шнойбер раструбил оброненное Лаурембергом замечание: Мария-де омочила себе ноги от смеха. Новый взрыв хохота. (Шефлер, мне было видно, покраснел.) И только смиренник Герхардт талдычил свое: «Сточная канава, я же говорил! Вонючая канава и есть!»

Тут Симон Дах, отослав служанок взглядом, а потом и дополняющим жестом на кухню, вызвал Андреаса Грифиуса читать сцены из трагедии «Лев Армянин». (Понизив голос, он от всех собравшихся принес Шюцу извинения за ребяческую интермедию.)

Едва Грифиус оседлал табурет, как воцарилась тишина. Гриф, как называл его Гофмансвальдау, во всем и последовательно противоположный ему друг юности, сначала разглядывал потолочные балки, потом вступил мощным басом: «Покуда отечество наше объемлется пеплом пожарищ, превращаясь об эту же пору в театр суеты мирской, я сподобился развернуть в современной трагедии всю тщету преходящих дел людских...». Потом он сообщил, что его «Лев Армянин» посвящен щедрому покровителю, присутствующему здесь негоцианту Вильгельму Шлегелю, ибо настоящая пьеса была написана им во время совместного путешествия со Шлегелем и лишь благодаря побудительным усилиям оного. После чего он кратко изложил суть действия, назвав его местом Константинополь, где в некое время составил свой заговор против императора Льва Армянина некий капитан Михаил Бальб, и заверил собрание в том, что насильственное свержение старого порядка само по себе не обеспечивает порядок новый.

Лишь после всего этого Грифиус стал читать, нажимая на каждое слово, сначала монолог заговорщика, смутивший завязкой («Та кровь, которой обагрю и трон я и корону...»), видимо, слишком пространной, потому как успели заснуть не только молодые, но с ними и старый Векерлин, и Лауремберг. Грифиус меж тем читал дальше — от одобрительных реплик заговорщиков: «Он жизнь кладет за нас! И вот — рассвет...» до клятвы Крамба: «Давай твой меч. Клянемся властителя низвергнуть в прах и пепел...»

Потом он прочел полную воплей — «На помощь! О боже, что такое?» — сцену ареста, заключаемую ядовитой тирадой связанного капитана: «Пусть адом мне грозят, скажу одно я: вот добродетели цена. Вот и венец героя...».

В виде интермедии выступающий огласил крепко сколоченный диалог троих придворных о благе и опасностях, кои заключены в языке человеческом. На вводную реплику: «Зависит жизнь сама людей от языка их...» — следует антитеза: «Зависит смерть сама людей от языка их...» И третья фраза завершает постройку, будто купол: «И жизнь и смерть людей от языка зависят...»

За изобилующей красноречием сценой суда — «В темницу брошен он, стеною окружен и рвом и валом обнесен...» — и пылким монологом императора Льва, философствующего над приговором мятежному капитану,— «Всяк так земной проходит путь: в огне гореть, но в пепле нам тонуть...» — Грифиус, наконец, приступил к окончанию если не пьесы, то своего чтения.

Диалог императора Льва и императрицы Феодосии как раз годился для завершения, тем паче что императрице, напрягающей красноречие, чтоб отсрочить сожжение Бальба до святого рождества Христова: «Закон неумолим, но знаком милости отсрочка да пребудет...» — удается смягчить решительного императора: «Небо злодейской алчет крови, алчет кары...» — склонив его к умеренной милости: «Светлый праздник ты не омрачай, Христа подарком щедрым привечай...».

И хотя Грифиус, отнюдь не поступившийся мощью голоса, густо заполнявшего всю большую залу, хотел прочесть еще и хор придворных: «О, тщета всего земного, суетных сует обман...» — но Дах (положив на плечо ему руку) сказал, что прочитанного довольно, чтобы со-

ставить изрядное мнение о целом. Сам он, во всяком случае, чувствует себя заваленным градом слов, как при камнепаде.

И снова установилось молчание. Только мухи звенели. Скапливавшийся у открытых окон свет сочился в залу. Чепко, сидевший с краю, наблюдал за бабочкой. Столько сразу лета после мрачной сцены.

Старый Векерлин, разбуженный бурным диалогом последней картины, первым взял слово — смелость, вызванная, очевидно, недоразумением. Он похвалил конец пьесы и ее автора: как это славно, что порядок остается неколебим, а преступник пощажен милостью князя. Он питает надежду, что господь бог окажет такую же подмогу и бедной Англии. Тамошний буян Кромвель — точь-в-точь сей Бальб из пьесы. Участь короля внушает опасения денно и нощно.

Магистр Бухнер тут же, не обинуясь, указал любящему порядок государственному секретарю: из услышанного можно вынести только уверенность в неминуемости грядущей катастрофы. Эта единственная в своем роде немецкая трагедия — свидетельство величия духа небывалого, ибо она не карает зло односторонне, но стенает о шаткой слабости человека, о тщете его благих поспешествований: один тиран сменяет другого. Трехчленная, в уста хора придворных вложенная фигура удостоилась особой похвалы Бухнера, поскольку, рожденная знанием, представляет в виде эмблемы стародавнее, у Аристотеля еще находимое сравнение длинного языка с телом багречника. Все же, словно повинуясь долгу, магистр выразил и неодобрение слишком часто употребленным рифмам «воля — доля» и «трона — корона».

Патриот Харсдёрфер попенял за чужеземный сюжет: столь мощный дар, как у Грифиуса, должен бы направлять свою укрощающую язык силу единственно на немецкую, отечественную трагедию.

Место действия значения не имеет, возразил Логау, но манера. Вот она-то достойна порицания. Невоздержанность на слова, переизбыток пурпура и прочей мишуры вредят делу: ведь автор как раз и желает уязвить князей за их неравнодушие к мишурному блеску и вечные раздоры. Разумом Грифиус — за порядок, но кипением слов — против оного.

И по существу, но преимущественно защищая друга, Гофмансвальдау заметил: Грифа нужно принимать таким, каков он есть, то есть посланцем хаоса. Он так сталкивает слова, что ужасающая нищета оборачивается вдруг великолепием, а солнце выглядит тьмой. Словесная сила обнажает и его слабости. Конечно, будь язык его победнее, положим, как у Логау, он из одной своей сцены мог бы запросто смастерить три пьесы.

Да уж, возразил Логау, палитра Грифиуса ему ни к чему, он не кисточкой пишет.

Но и не пером, вероятно, отпарировал Гофмансвальдау, скорее уж шпилькой.

Перебранка, теша общество скорой колкостью, могла бы затянуться, если б не взял вдруг слово Генрих Шюц: он встал и заговорил над головами поэтов. Он выслушал все. И стихи, и ту, поделенную на роли речь, что заключена в сцены. Похвалы, прежде других, достойны ясные и прекрасные в своей наготе стихи юного студента-медикуса, имя которого, к сожалению, память его не удержала. Ах, Иоганн Шефлер, стало быть,— что ж, это имя он запомнит. После однократного прослушивания сдается, что музыку — скажем, ораторию для двойного хора на восемь голосов a capella — можно бы написать на стихи о розе или на ту сентенцию о сути и случае, что гласит: «Будь сущим, человек: случайное падет, покуда век пройдет, а суть — та не минет». Тут есть дыхание. И не будь сравнение слишком рискованным, он бы сказал, что подобную глубину можно отыскать только в Священном писании.

Но теперь о других. К сожалению, стихи юного Биркена слуха его не достигли. Их надобно читать. Тогда лишь станет ясно, что скры-

вается за перекличкой слов — перекличка одних звуков или перекличка смыслов. Он признает далее, что в скабрезных песенках господина Грефлингера, подобные коим он знает уже по собранию сродственника его Альберта, есть по крайней мере то качество, которое необходимо для мадригальных текстов. Что же до их моральной приемлемости, то на фоне того кощунства, которое процветает ныне в отечестве, они не кажутся ему вопиющими. А искусство мадригала, как он мог, сожалея о том, убедиться, не давалось доселе немецким поэтам. Сколь удачлив был Монтеверди, коему Гварини, а затем и Марино писали прекраснейшие стихи. Желая и для себя таких преимуществ, он советовал бы молодому поэту обратиться к немецкому мадригалу — наследуя опыты покойного Опица.

Такие свободные, не скованные строфами стихи могут быть веселыми, жалобными, строптивыми, даже шутейно-нелепыми и дурацкими — лишь бы в них было дыхание, то есть оставалось бы пространство для музыки. Такого пространства он не находит, к сожалению, в услышанных сценах. Как ни высоко ценит он суровую серьезность сонетов Грифиуса, как ни горячо разделяет он жалобу автора на бренность мира, как ни много неувядаемой красоты в том, что было прочитано, все же как композитор он вынужден признать, что не находит места своей музе среди чрезмерного обилия слов. Никакой спокойный, взвешенный жест тут невозможен. Ничья печаль не будет услышана и не найдет себе отклика в таком столпотворении слов. И хотя все, что ни сказано, сказано отчетливо, однако одна четкость погашает другую, так что возникает впечатление переполненного пустого пространства. Слова, ярясь, громоздятся друг на друга, но общая картина остается недвижной. Пожелай он положить на музыку подобную пьесу, он должен будет позаимствовать звуки у жужжащих мух. Увы и еще раз увы! Счастлив был Монтеверди — под рукой у него был Ринуччини, писавший либретто. Честь и слава тому поэту, который сумеет снабдить его текстом, равным по красоте ламенто Арианны. Или подобным той волнующей сцене борьбы Танкреда с Клориндой, что могла обрести совершенное музыкальное воплощение благодаря дарованию Тассо.

Но желать подобного — означало бы требовать слишком многого. Когда отечество попрано, поэзия цвести не может.

Не молчание, но ропот ответствовал этой речи. Грифиус сидел, как пораженный громом. Но ударил он, как я чувствовал, не только в него. Что понравились исключительно заблудший Шефлер и скабрезный Грефлингер, особенно припекло Герхардта. Он уже встал, готовый к отповеди. Он ответит как надо. Он-то знает, какая музыка и на какие слова угодна господу. И задаст сему другу Италии, восхвалителю макаронников, господину Энрико Сагиттарио. По-немецки задаст. То есть — в глаза правду-матку...

Но слова Герхардту покамест не дали. Не получили разрешения также ни Рист, ни Цезен, рвавшиеся в бой. (Не получил его и я, хотя слова так и просились наружу.) Симон Дах, заметив, что хозяйка от дверей делает ему знаки, решил закрыть собрание: прежде чем спорить, не лучше ли сначала мирно похлебать супчику, который-де уже готов.

Вернулся ли Гельнхаузен, пожелал узнать Харсдёрфер, когда все задвигали стульями. Ему Стофеля не хватало.

12

Вкусно-то вкусно, но скудно. Шкварки — из остатков вчерашнего сала. Супчик насыщал на короткое время, оставаясь в памяти надолго: крупа, приправленная укропом. Черного хлеба в обрез. Молодым, конечно, пустовато. Грефлингер бурчал. Гофмансвальдау, подвигнутый вчера скромной трапезой на гимн простой жизни, заметил, что и про-

стота может быть чрезмерной. С этими словами он пододвинул свою наполовину полную еще миску юному Биркену. Грифиус размешивал в супе мысли, придававшие силезскому гладу вселенский масштаб. Злоречивый Логау издевался над современным искусством супорастяжения. Чепко молча орудовал ложкой. Прочие (Мошерош, Векерлин) воздерживались от комментариев или (как Бухнер) удалились с дымящейся миской к себе в комнату. (Шнойбер потом уверял всех, будто видел, как одна из служанок — Эльзаба — поднялась вослед литературному магистру, прикрыв платочком добавочный харч.)

Шюц, однако, остался за столом и хлебал суп, слушая повести лучших времен из уст Альберта: оба они в середине тридцатых годов вкушали милостей короля Кристиана в Копенгагене. Было слышно, как Сагиттарио смеется.

Когда произносивший на сей раз застольную молитву Харсдёрфер среди прочего сказал, что этакий суп — наилучшая подготовка к покаянию, Дах отвечал, что отправится в Тельгте с негоциантом Шлегелем и кем-нибудь из книгопечатников. Хотя теперь и война, но уж что-нибудь съедобное на вечер они наверняка добудут.

Там нечего делать даже крысам, подал голос Лауремберг. Жителей осталось — по пальцам перечесть, дома пусты и заколочены. Ворота почти без охраны. Одни бродячие псы. Еще утром они со Шнойбером пытались тряхнуть серебром ради парочки кур. Да только ни одна там больше не квохчет.

Странно, но разгорячился смиренник Герхардт: следовало-де позаботиться обо всем заранее. Дах, заводила, должен был заготовить самое необходимое — сало, бобы. Он ведь в фаворитах у своего князя. Что ж было не урвать от его кальвинистского фуража? Он, Герхардт, требует не больше, чем надобно каждому христианину. Кроме того, такой гость, как придворный капельмейстер саксонского курфюршества, вправе требовать лучшей кухни, коли уж он опустился до общества простых сочинителей духовных песен.

На это Дах: его самого-де можно бранить сколько заблагорассудится. Но он не потерпит, чтобы поносили религию его князя. Разве Герхардту неизвестен бранденбургский эдикт о веротерпимости?

Никогда он ему не подчинится, гласил ответ. (И много позже, будучи пастором церкви святого Николая в Берлине, он имел случай доказать свое рвение — когда предпочел лишение сана благоразумию.)

Хорошо хоть темного рейнского пива оставалось еще довольно. Рист жестами приглашал успокоиться. Памятуя о почтении, которым он пользовался в Виттенберге, Бухнер призывал своих бывших учеников к порядку. Когда же хозяйка обнадежила гостей, обещав, что Гельнхаузен привезет, пожалуй, из Мюнстера что-нибудь путное, стихотворцы успокоились и, отвлекшись от супа, снова вгрызлись в языковую материю — неутомимые жеватели слов, всегда готовые на худой конец насытиться цитатами из собственных сочинений.

Отзыв Шюца, не помешав все еще озадаченному Грифиусу по привычке собрать вокруг себя слушателей и делиться с ними замыслами новых мрачных трагедий, привлек в то же время жадное внимание издателей к бумагам бреславского студента: юный Шефлер и не чаял, как ему отделаться от домоганий печатников. Нюрнбержец Эндтер сулил ему место городского медикуса, в ответ на это Эльзевирн манил назад в Лейден — для продолжения ученья: все ведь слышали, где образовался ум Шефлера, как и — в юную пору — Грифиуса.

Студент, однако, стоял на своем: он испросит совета в ином месте. (Затем-то, наверное, он ушел еще раз в город, я видел, как он исчез в тельгтских воротах — чтобы рядом со старушками преклонить колена перед деревянным изваянием...)

На другом конце длинного стола Логау и Харсдёрфер пытались выяснить, что такое ни свет ни заря подняло Гельнхаузена и погнало в Мюнстер. Либушка отвечала, прикрывая рот рукой, будто выдавала военную тайну: Стофеля вызвали в имперскую канцелярию. Неспокойно не только у веймарцев, бунтуют и баварцы, заключившие сепаратный мир со шведом: перейдя к императору, начальник их конницы Верт попытался опять раздуть искру войны. Его всегда веселых конников она хорошо знает. Двое из них были у нее в мужьях, хоть и недолго — так, погостили в постели. Тут же Либушка объяснила, почему всегда избегала встреч с вышколенным воинством Валленштейна. Потянулись истории из ее военных путей-перепутий: и как побывала она три года назад с войском Галласа в Гольштейне, и как поучаствовала — хорошо, Рист не слышал, увлекшись разговором в другом месте,— в грабеже Веделя. Вспомнила потом и юные лета: как служила в двадцатых у Тилли — кровь с молоком, в штанах, что твой бравый рейтар — и как пленила, под Люттером это было, одного датского ротмистра. Тот бы, конечно,— он ведь был дворянин — сделал ее графиней, кабы не переменчивое течение войны...

Слушатели у Либушки, разумеется, были. Что в этой жизни почем, она знала тверже многих поэтов. Утверждала: не дипломатия, а зимние квартиры определяют военное счастье.

За ее рассказами позабыли и о миссии Стофеля. К ее речи, свободно тасовавшей события трех десятилетий, с интересом клонил ухо даже старый Векерлин, пожелавший, кстати, разгадать роковое для евангелистов происшествие своей юности: как могло случиться — в известной битве при Вимпфене, разыгравшейся на обоих берегах Некара,— что над рядами испанцев чудесным и благоприятным для них образом явилась вдруг закутанная в белое мадонна... Дело простое, объяснила хозяйка: припас ядер, взорвавшийся на поле боя, образовал белое облако чудной такой формы, допускавшее толкования в католическом смысле.

Лишь когда Мошерош и Рист, сменяя друг друга, стали читать то обращение пиитов к князьям, которое они составили с Харсдёрфером и Гофмансвальдау, но вследствие дахова запрета не смогли огласить еще утром, общий интерес отвлекся от трактирной хозяйки, воспламенившись бедами отечества. В конце концов, ради этого они и съехались. Надобно заставить выслушать себя. Ведь они тоже предводители — если не полков, то слов.

Рист читал первым — и начало пророкотало как гром: «Герма́ния, величайшая империя мира, ныне лежишь ты во прахе, опустошена и поругана — такова истина! Свирепый Марс, сиречь проклятая война, бушующая уж скоро тридцать весен, есть преужаснейшее наказание господне и страшная кара за неизреченное зло бесчисленных грехов недостойной Германии. Такова истина! Обездоленному, до крайней нужды доведенному отечеству да ниспослан будет наконец благороднейший мир. С каковой целью пииты, собравшись в Тельгте — сие название означает издревле «молодой дуб»,— порадели представить немецким и чужеземным князьям свое отвечающее истине мнение...»

Затем Мошерош перечислил глав противоборствующих партий. По стародавнему порядку (без Баварии, но включая Пфальц), со всею почтительностию, тщательно соблюденною Гофмансвальдау, были поименованы — вслед за императором — все курфюрсты. Потом шли чужеземные короны. Виноватыми оказывались все — и немцы, и романцы, и швед, без разбора вероисповеданий. Немцам вменялось в вину то, что они выдали свое отечество чужеземным ордам, а чужеземцам — то, что они превратили Германию в свой манеж, и теперь страну, раздробленную, утратившую вместе со старым порядком всякую добродетель и красоту, было не узнать. И токмо пииты, гласило обращение, ведают еще, что именно достойно называться немецким. Они

же, «горестно вздыхая и лия слезы», связали воедино последнюю крепь отечества — немецкий язык. Они — другая, истинная Германия.

Далее следовали (частью Ристом, частью Мошерошем оглашенные) некоторые требования — среди них укрепления чинов, сохранения Померании и Эльзаса за империей, возрождения пфальцского курфюршества, обновления выборности в королевстве чешском и, конечно, свободы всякого вероисповедания, включая и кальвинистское. (Этот пункт отспорили страсбуржцы.)

Манифест — громко и решительно, абзац за абзацем был прочитан весь текст — вызвал поначалу бурю восторгов, но вскоре раздались и пожелания умерить претензии, сократить требования, придать всему более четкий, практический смысл. Как и следовало ожидать, Герхардт не мог вынести особого упоминания кальвинистов. Бухнер (вернувшийся из комнаты) нашел (взглянув на Шюца), что Саксонии вынесен излишне суровый приговор. Векерлин сказал: после такой бумаги Максимилиан и пальцем не сможет шевельнуть против испанцев, а гессенская ландграфиня — против шведов. Кроме того, Пфальц потерян навсегда. Логау насмешничал: получи макаронник-кардинал сию эпистолу, он, не мешкая, вернет добычу и очистит Эльзас с Брейзахом. И Оксеншерна, отведав такой немецкой речи, немедленно утратит аппетит к Померании и Рюгену. Тут возмутился Грефлингер: чем это ему, шельме, не угодили шведы? Ежели б не героическая высадка Густава Адольфа на балтийском берегу, теперь бы и в Гамбурге сидели паписты. А ежели б Саксония и Бранденбург не поджимали все время хвост, мы бы дошли со шведом до Дуная и дальше. А ежели б конница Врангеля не погуляла прошлый год по Баварии, ему бы не видать любимого Регенсбурга как своих ушей.

Именно швед, вскричал и Лауремберг, вышвырнул Фридландца из Мекленбурга. Верно, откликнулись силезцы, кто ж, как не швед, защитит их от папы? При всех издержках оккупации надобно хранить ему благодарность. Нападки на шведский престол из манифеста нужно выкинуть. Испуганный Шефлер был нем. Когда же Шнойбер вставил, что надо пощадить и француза, потому как Франция решающим образом ослабила Испанию, Цезен подал реплику, которая, собственно должна была принадлежать Ристу: тогда в тексте вообще ничего не останется от обвинения, а будет одна бессильная жалоба. А с нею нечего и вылезать. Ради нее не стоило и съезжаться. Для чего же они все-таки собрались?

Генрих Шюц, сидевший с отсутствующим видом во все время перепалки, взялся ответить на вопрос, для чего: для написания слов, располагать которые в искусном порядке всемилостивейше дано только поэтам. Чтобы по крайности вырвать у бессильного немотства — а он хорошо с ним знаком — тихое «несмотря ни на что».

С этим мы могли согласиться. Быстро, пользуясь кратким перемирием, Дах сказал: текст ему нравится, хотя он вряд ли пригоден. Обыкновенно более строгий господин Шюц на сей раз в мягкой форме выразил то, что ведает каждый: нет у пиитов никакой иной власти, кроме единственной — соединять верные, хотя и бесполезные, слова. Надобно дать манифесту перележать ночь: утро вечера мудренее. С этими словами он пригласил всех в большую залу — на новый диспут. Должен ведь Герхардт наконец изложить свои возражения знаменитому гостю.

13

То ли пшенка с укропом была тому виной, то ли обращение к властителям пустило поэтам кровь, так или иначе, но взбудораженные умы поуспокоились; и вот уже полукруг чинно внимал степенной речи Герхардта против капельмейстера саксонского курфюршества.

Упреки Шюца, что немецкой поэзии недостает дыхания, что она забита словесным сором, что музыка не может утвердить в ее хаосе

ни взволнованность свою, ни свой лад — этот суровый приговор с разъяснительной сноской на то, что сад поэзии одичал из-за войны, остался неоспоренным, ибо вызванный Дахом Герхардт говорил об общих материях. Гость-де не желает ничего видеть, кроме своего искусства. Так высоко паря, не различишь, конечно, всякую мелочь вроде простых слов. Зато они прежде всякого искусства служат богу. Ибо вера истинная взыскует песен, обороняющих душу от греха. Такие песни посвящены умам бесхитростным, их без труда можно петь в церковных общинах. Петь построфно — дабы поющий христианин с каждой строфой убегал своей слабости, укреплялся в вере и черпал утешение в трудное время. Смиренно помогать бедным грешникам доступным им песнопением — этим Шюц пренебрег. Даже бекеровский псалтырь, как он не раз слышал, для прихожан излишне замысловат. Тогда уж ему, Герхардту, милее его друг Иоганн Крюгер, кантор, не пренебрегающий строфической песнью. Крюгеру не до проблем искусства. Не блестящие придворные капеллы князей ему дороги, но важны нужды простого человека. Ему, как и некоторым иным не столь именитым композиторам, не скорбно потрудиться ради ежедневных потребностей христианской общины, полагая строфы на нотные графы. Назвать хотя бы «Во всех моих деяньях...» столь рано отошедшего к господу Флеминга, или «О вечность, слово громовое...» почтенного Иоганна Риста, или «Блаженны верующие...» любезного нашего Симона Даха, или «Сотрется в дым и пеплом скроет...» подвергшегося здесь поношениям, но воистину могучего словотворца Грифиуса, или даже его, всем сердцем преданного всевышнему, Герхардта, строфы: «Проснись и пой, душа...», или недавно написанное «На жизнь воззри, о мир людской, на крест взнесенную тобой...», или «Хвалу и честь ему взнесем...», или то, что написал он уже здесь в своей комнате, в предвидении близкого мира и того, что в церквах пожелают воспеть его: «О радость, прозвучала благая мира весть, труба войны умолкла, ликует благовест...».

Сию шестистрофную песню, в четвертой строфе которой — «...там, где поля златые сгибались под серпом, стоят леса густые, чернеет бурелом...» — простыми словами живописалась участь отечества, Герхардт на саксонский манер произнес всю от начала до конца. Собравшиеся были ему благодарны. Рист низко поклонился. Опять залился слезами юный Шефлер. Грифиус встал, подошел к Герхардту и широким жестом обнял его. Все погрузились в задумчивость. Шюц сидел как под стеклянным колпаком. Альберт — полный тревоги. Дах громко и многократно сморкался.

Тут разорвал тишину голос Логау: ему хотелось бы только заметить, что набожные духовные песни, которые многие из собравшихся прилежно изготовляют для церковного употребления, не могут быть предметом литературной полемики; как и, с другой стороны, высокое искусство господина Шюца, на много ступеней вознесенное над расхожим церковным песнопением, но тем успешнее служащее единственно прославлению господа. Кроме того, критическое замечание Шюца о спертом воздухе немецкой поэзии надобно основательно обдумать. Сам он во всяком случае благодарит за науку.

Поскольку Чепко и Гофмансвальдау согласились с Логау, Рист и опять-таки Герхардт были противного мнения, Грифиус грозил вот-вот взорваться, а Бухнер благодаря долгому молчанию накопил длинную речь, словом, того и гляди, мог снова вспыхнуть диспут, тем более что Дах, казалось, несколько растерялся и лишь обреченно ждал нового напора ораторства. Но тут против ожиданий (и без приглашения) снова заговорил Шюц.

Сидя, тихим голосом он просил извинить его за порожденные недоразумения. Повинна в них лишь неистребимая нужда его в ясной, но внутренне подвижной словесной основе. Ради нее, этой нужды,

он решается еще раз пояснить, какого именно рода произведения словесного искусства потребны музыке.

Он встал и на примере собственной оратории «Семь слов на кресте» принялся толковать свое музыкальное обхождение со словом. Сколь долгими и с какими ударениями должны быть слоги. Как может расшириться значение слова в пении. Насколько возвышенно благородным может стать глубокое слово печали. Под конец он даже спел сохранившим красоту старческим голосом за Марию и апостола: «Женщина, смотри, смотри, то сын твой...» — «Иоанн, смотри, смотри, то мать твоя...» Затем снова сел и сидя огласил, снова вызвав неодобрение, сначала по-латыни: «Ut sol inter planetas...» — потом в немецком переводе девиз Энрико Сагиттарио: «Как солнце сияет среди других планет, так и музыка сияет среди искусств».

Дах, обрадованный (или напуганный) страстным пением, то ли не почувствовал новой дерзости, то ли не захотел ее заметить. Во всяком случае он безо всякого перехода призвал к дальнейшему чтению — сначала Цезена, потом Харсдёрфера и Логау, под конец Иоганна Риста. Названные один за другим выразили свое согласие. Только Рист оповестил, что не может предложить ничего, кроме первоначальных набросков (будущих произведений). За каждой читкой следовало деловое, держащееся теперь текста, не растекающееся по теории обсуждение, не свободное, правда, от обычных отлучек в область морали. Отлучался то один, то другой участник собрания и за дверь — кто до ветра, кто сбегать в Тельгте, кто поиграть на солнышке в кости с мушкетерами. (Когда на следующий день Векерлин пожаловался на пропажу денег из комнаты, подозрение пало первонаперво на Грефлингера: Шнойбер видел его играющим в кости.)

Благозвучный, как назовут его годом позже, принимая в члены «Плодоносящего общества»,— а вслед затем возведут и в дворянство — Филипп Цезен, этот беспокойный. дерганый, путающийся в объяснениях своих новаций, пожираемый пламенем разных, взаимно непримиримых страстей, молодой еще, в сущности, человек, поначалу туманно говорил о некоем «ужасном видении», разумея, но не называя плывущие по Эмсу трупы,— видении, которое еще должно осенить любовью, чтобы придать законченность его стихам... Потом он наконец собрал себя на габурете подле чертополоха и прочитал отрывки недавно опубликованного в Голландии пастушеского любовного романа, герой которого — немец и лютеранин Маркхольд — тщетно домогается любви венецианки и католички Розамунды, требующей от него взамен согласия клятвенного обещания воспитывать будущих дочерей в католической вере.

Этот конфликт, с изрядным настоящим и еще более богатым будущим, заинтересовал собрание, несмотря на то что большинству из них книга была уже известна, а новомодная манера письма — Цезен отказывался от обозначения долготы немецкого «и» посредством прибавления к нему «е», а «е» открытое обозначал через «а» с умляутом — вызвала уже полемические нападки в печати (особенно рьяные со стороны Риста).

Харсдёрфер и Биркен защищали новатора и смелого словотворца, Гофмансвальдау хвалил изящный слог повествования, однако же бесконечные обмороки адриатической Розамунды, ее постоянная готовность к падению ниц — «Глаза были полузакрыты, уста побледнели, язык онемел, ланиты поблекли, руки повисли, как плети...» — вызвали во время чтения громкий смех у Риста и других слушателей (у Лауремберга и Мошероша), а потом, во время обсуждения, повлекли за собой и веселые пародии.

Цезен сидел словно под градом ударов. Так что даже вряд ли расслышал восклицание Логау: «Все-таки опыт отважный!» А когда пылким излияниям чувств своего бывшего ученика принялся ставить запруду из цитат Опица магистр Бухнер, Цезена спасло только

обильное кровотечение из носа. Экая прорва крови в тщедушном человечке. Текла и текла на белые брыжи. Капала на все еще открытую книгу. Дах прервал обсуждение. Кто-то (Чепко или издатель Эльзевирн) вывел Цезена и уложил на холодные доски. Вскоре кровь перестала идти.

Тем временем место подле чертополоха занял Харсдёрфер. Играющий, как именовали его в «Плодоносящем обществе». Человек непринужденный, с уверенными манерами и нюхом на новое, выдававший себя более за покровителя юных талантов и — лишь блага Нюрнберга ради — политического глашатая городских патрициев, нежели за поэта, он и прочел то, что всем нравилось: несколько своих загадок, которые всех немало потешили.

В каждом четверостишии было что-нибудь да упрятано — пуховик ли, мужская ли тень, сосулька, сердитый и вкусный рак или, наконец, мертвый ребенок в материнском чреве. Читал Харсдёрфер небрежно, не подчеркивая, скорее скрадывая эффектные места.

После долгих похвал, в венок которых вплелся и голос Грифиуса, Биркен осторожно, будто советуясь со своим покровителем, спросил, уместно ли умершего в материнском чреве ребенка заключать в столь легкомысленный по форме стих?

Литературный магистр Бухнер, определив вопрос Биркена как бессмысленный, приведя, а потом опровергнув лишь негромко высказанные возражения Риста и Герхардта, растолковал, что загадка вполне допускает легкомысленную завязку и трагическую развязку, но что, впрочем, эта малая форма поэтического искусства может иметь лишь прикладное значение, почему она и подходит пегницким пастухам.

Рядом с чертополохом, на колючки которого он для иронического намека наколол несколько своих рукописных, размером с ладонь, листочков, уже сидел обедневший аристократ и помещик, спасший себя от сумы должностью управляющего поместьями Брига. Уменьшающий, член «Плодоносящего общества», Логау и на сей раз был привычно краток. Корябая иное ухо сарказмами, он в двух строках умел сказать больше, чем другие умещали в пухлых трактатах. К примеру, о вере: «Лютеранская, папская и кальвинистская веры есть,// Спрашивается, где же истинно христианская здесь?» Или о предстоящем мире: «Кто ж первыми будут средь нас, коль случится // Миру настать? Палачи да юристы».

После двух длинных стихотворений — одно из них было написано от имени одичавшей во время войны собаки — Логау завершил выступление двустишием о женской моде, специально обращенным, как он сказал, к служанкам Либушки: «В своей одежде женщины — простодушный народ. Дают понять и спиной, как у них пылает перед».

Вслед за Гофмансвальдау и Векерлином одобрил стихи и Грифиус. Бухнер молчал согласно. Кто-то уверял, что заметил улыбку на устах Шюца. Рист вслух рассуждал, сгодится ли ему двустишие о вере для ближайшей проповеди в ведельской церкви. Когда ж вызвался — ясно зачем — смиренник Герхардт, Дах сделал вид, что не видит поднятой им руки, и, как бы Герхардту в назидание, сказал: кому не любо прямодушие Логау, того он запрет сегодня на ночь с тремя служанками. Знает он уже неких господ, что при случае не прочь переместиться туда, где «пылает перед».

Пииты весело воззрились друг на друга. Грефлингер что-то насвистывал, Биркен улыбался влажными губами, Шнойбер вполголоса смаковал догадки, Лауремберг допытывался, где юный Шефлер, а Бухнер кивал понимающе: что ж, дело житейское и при столь ограниченных сроках отлагательств не терпящее.

Тем временем, под смешки, табурет меж Дахом и чертополохом занял Эльбский Лебедь. Так иной раз, намекая на Боберского Лебедя Опица, величали Иоганна Риста его друзья, с которыми он как член

«Плодоносящего общества» состоял в переписке под именем Крепкого. Все в Ристе было внушительным: и проповедническое громогласие, и камергерская осанка, и тяжеловатый северный юмор, и массивная фигура, всегда облаченная в лучшие сукна, и борода, и орлиный нос, и даже водянистый взгляд, как ни хитро прищуривал он левый глаз. На все у него был готов ответ. Ничто не укрывалось от его приговора. Вечно раздираемый распрями (не только с Цезеном), он все же усердно корпел и над своими бумагами, которые теперь как-то нерешительно перебирал.

Наконец Рист возвестил, что надумал упредить заключение мира, торги о котором все еще идут под бряцанье оружием, и начал писать пьесу под названием «Ликующая о мире Германия». Главной героиней в ней выступает Истина. «Ибо должна ведь истина возвестить или сообщить нам нечто, что одним придется по сердцу, а других не менее того заставит страдать. Внемлите же ей вы, немцы!»

Он прочел несколько сцен первого акта, где навоевавшийся юнкер обличает двоих крестьян в падении нравов. Но крестьян обобрали солдаты. Крестьяне подглядели у солдат, как нужно обирать людей. Как воровать, грабить, жечь, бражничать и насильничать. Поэтому и боятся они мира, который положит конец их беспутной жизни. В ответ на — крутым нижненемецким диалектом сдобренные — расхваливания крестьянами Древесом Кикинтлагом и Бенеке Дудельдеем их веселой разбойничьей жизни: «А что нам на войну-то жалобиться? Небось брюхо набить на войне проще пареной репы...» — юнкер кипятится на своем витиеватом: «Упаси меня всевышний господь, что слышу я? Неужли вы, несчастливцы, отдаете предпочтение тяготам бранного времени перед приличным счастием пребывать под охраной законного порядка и в тишине, дарованной миром?» Крестьянам, однако, жизнь без правил милее, чем возведенные в правило поборы да подати, каковые немедля последуют за тем, как наступит мир. Они боятся старого порядка и его возвращения под видом порядка нового. Налагаемые сменяющимися войсками военные контрибуции все ж, сдается им, милее, чем будущее налоговое бремя.

Сцену, в которой, будто перепутав роли, офицер призывает к миру, а крестьяне желают продлить войну, Рист читал как умелый актер, попеременно прикладывающий к лицу разные маски. Жаль вот гольштейнский диалект понимали немногие. После читки автору пришлось перевести Мошерошу, Харсдёрферу, Векерлину и силезцам самые забористые пассажи, отчего они утратили весь смак и сравнялись с бумажной речью юнкера. Диспут поэтому разгорелся не столько вокруг посвященной миру пьесы, сколько вокруг темы падения нравов вообще.

Немало худых примеров мог привести каждый. Вот в Брейзахе, когда его осадили, закалывали беспризорных детей. Как разнуздалась толпа, скинув оковы порядка. Как самый вшивый деревенский холоп ходил по городу эдаким фертом. А сколько случаев разбоя в бранденбургских и франконских лесах — под каждым кустом. В десятый раз пожаловался Шнойбер на то, как их с Мошерошем ограбили по дороге из Страсбурга. Говорили об уже повешенных и еще разгуливающих на свободе злодеях. Сетовали на необузданную шведскую фуражировку. Силезцы хором расписывали ее ужасы (повальное пьянство шведов, пытки огнем) в тот миг, когда в залу ворвался полковой писарь. Шум на дворе (тявканье дворняжек) можно было расслышать раньше.

В зеленой безрукавке и шляпе с перьями, он выскочил на середину залы, отсалютовал всем по-имперски и провозгласил конец пшенной эпохи. С унылой нуждой покончено. На его счету пять гусей, три поросенка и упитанный овен. А колбасой его просто закидали. Все это он хотел немедленно предъявить. В окно видно, как

его люди на дворе уже крутят вертел. Праздник предстоит знатный, так что собравшимся пиитам придется истратить весь свой запас лукулловых рифм, эпикуровых ямбов, вакховых сентенций, дионисовых дактилей и платоновых афоризмов. Коль нельзя еще отпраздновать мир, так надобно отметить хотя бы последние судороги войны. Пускай же выйдут они наконец во двор и подивятся, какой справный фураж добыл для немецкого стихотворства Стофель, кого называют Симпелем, Простаком вся Чехия и Брайсгау, холмистый Шпессарт и равнинная Вестфалия.

Вышли, однако, не сразу. Дах настоял на соблюдении порядка. Он заметил, что закрывать собрание — пока еще его привилегия. Просил продолжить высказывания «за» и «против». Недаром ведь пропел свою песню Эльбский Лебедь.

Так что мы потолковали еще о драме Риста и повсеместном оскудении морали. Грифиус задался вопросом, кому станет хлопать глупая публика, буде покажут ей сию пьесу — скорее уж, видно, крестьянам, чем юнкеру. Мошерош похвалил мужество Риста, обличившего теперешнюю беду в своей драме. Но, спросил Чепко себя и других, разве нет у крестьян оснований опасаться возвращения старого порядка? А чего же еще и желать, вскричал тут Лауремберг, как не возвращения старого доброго порядка?

Дабы не подливать масла в огонь обсуждением возможного справедливого порядка и чуя запах жареного мяса, проникший со двора в залу и усиливший всеобщее возбуждение, Дах подал знак к закрытию послеобеденного заседания. Многие — не только молодежь — стремглав бросились на волю. Иные вышли степенно. Последними — Дах и Герхардт, успевший примирительно побеседовать с Шюцем. На месте остался один чертополох — рядом с некрашеным табуретом. Празднество во дворе нарастало, как стихотворный вал.

14

Пять гусей уже были нанизаны на один вертел, три молочных поросенка — на другой, а начиненный колбасками баран крутился на третьем. Длинный стол из малой залы поставили у кустов на берегу Дальнего Эмса, так что дым от костров, уже вовсю пылавших во дворе, не досягал сюда. Либушка со служанками сновала меж двором и домом, накрывая на стол. Скатерти, которыми он был покрыт, выдавали свое церковно-алтарное происхождение. Тарелки, плошки, кувшины и миски походили на утварь какого-нибудь прирейнского замка. Кроме массивных двузубых вилок, никаких других приборов не было.

Дым клонился в сторону конюшни, застилая вид позади нее: заросли ольхи на берегу Ближнего, огибающего город Эмса да остроконечные кровли главной улицы с приходской церковью на краю. У костров сидели мушкетеры Гельнхаузена. Подхватывая глиняными горшками жир, стекавший с гусей, поросят и барана, они снова поливали и спрыскивали жарево да смазывали его распустившимся бараньим салом. Из можжевельника, присвоившего себе весь Эмсхаген до самой сукновальни, конюх таскал сухой валежник, от прибавлений которого то и дело взмывали вверх столпы дыма, обрамлявшие распростертый вдали Тельгте, как картину — с непременной шавкой или целой сворой собак на переднем плане (позже собачья компания перегрызлась из-за костей).

Рейтары Гельнхаузена занялись меж тем сооружением чего-то вроде балдахина над накрытым столом: на свежеоструганные шесты натягивали пестротканую парусину, как на палатке предводителя гессенского войска. Затем сплетены были гирлянды из свежих веток с пропущенными сквозь них цветами шиповника, бушевавшего в саду хозяйки,— их повесили на шесты балдахина. По краям его

свисала бахрома, из нее заплели забавные косички, прикрепив к ним колокольчики, весело звеневшие потом под порывами ветра.

Хотя еще был день, а вечер только смутно намечался, Гельнхаузен достал из повозки, которую запряг рано утром и в которой привез гусей, поросят, барана, посуду, алтарные скатерти и балдахин, еще и пять тяжелых серебряных светильников — явно церковного назначения, поскольку в них торчали едва обожженные свечи. Стофель озаботился тем, чтобы покрасивее расставить трехсвечные светильники на накрытом столе. После нескольких попыток достичь непринужденности он построил их по-военному, словно роту, в шеренгу по одному. Стоявшие группами поэты издали наблюдали за ним, я записывал наблюдаемое.

Когда же из бездонной повозки под присмотром Гельнхаузена извлекли отлитую в бронзе фигуру мальчика, изображавшую Аполлона, когда водрузили наконец сие произведение искусства на середину стола, снова сдвинув подсвечники, в душу Даха на смену изумлению проникла тревога. Он отозвал в сторону хозяйку, а затем и Гельнхаузена, желая выяснить, откуда и с чего вдруг взялись такие сокровища, чем за них уплачено или кем они даны в одолжение. Столько дарового добра — мясо, ткани, металл — с неба не свалится.

Гельнхаузен отвечал, что все, даже гуси, поросята и баран, происхождения хотя и католического, но самого беспорочного, ибо во время таинственного визита своего в Мюнстер — о кое-каких деталях он вынужден умолчать и сейчас — он имел удовольствие видеть немало посланцев мирного конгресса, кои направляют пламенные приветствия встрече немецких поэтов, весть о которой уже распространилась. Папский нунций монсеньор Киджи просит надписать ему — нумерованный, сорок первый — экземпляр «Женских досугов» Харсдёрфера, его настольную книгу. Венецианский посланник Контарини шлет поклон незабвенному маэстро Сагиттарио, осмеливаясь напомнить, что возвращение господина Шюца под сень святого Марка во всякое время вызвало бы бурю оваций в Венеции. Маркиз де Сабле немедленно, по эстафете дал знать кардиналу Франции о пиитическом съезде и готов, буде окажут ему честь, предоставить поэтам свой дворец. Вот только прибывший из Оснабрюка шведский посол — даром что сын великого Оксеншерны — таращился, как баран, когда называли знаменитые немецкие имена, звучавшие для него все одно что испанские. Тем сердечнее показал себя граф Иоганн фон Нассау, тот самый, что ведет переговоры после отъезда Траутмансдорфа от имени императора; он-то и отдал распоряжение чиновнику имперской канцелярии Исааку Фольмару позаботиться о благополучии путешествующих поэтов, снабдить их освежающей подкормкой да передать маленькие презенты на память: золотое колечко господину Даху — вот оно, изящной работы, серебряные кубки — вот они... После чего Фольмар, вооруженный письменными предписаниями относительно предстоящего празднества, воспользовался его, гельнхаузеновыми познаниями в местной топографии. Пришлось порыскать с ним по окрестностям. Он-то знает Вестфалию как свои пять пальцев. В прошлом у него как-никак слава лучшего охотника Зоста, так что места между Дорстеном, Липштадтом и Цесфельдом он освоил. В самом-то Мюнстере харчуются посольства, там ничего путного не достанешь. Но в деревнях поживиться можно всегда. Коротко говоря: ему с имперцами не доставило особых хлопот выполнить распоряжение графа фон Нассау, тем паче что в том краю католиков больше, чем папа может мечтать. Теперь они обеспечены всем, недостает разве что куропаток. Вот, полюбуйтесь, опись: тут все проставлено — и сыр, и вино. Господин Дах чем-нибудь недоволен?

Этому докладу — по ходу дела в него вплетались мюнстерские сплетни и слухи, а в не приведенных здесь вводных предложениях играл роль свидетелей весь античный персонал — Дах внимал снача-

ла один, потом вместе с Логау, Харсдёрфером, Ристом и Гофмансвальдау, под конец в окружении всех нас, внимал сначала с недоверием, потом с нарастающим удивлением, под конец не без удовольствия от лести. Со смущением вертел он в руках золотое кольцо. По рукам ходили серебряные кубки. Пусть Логау (по старой привычке) пыхтел и язвил, пусть Гельнхаузен в чем-то и приврал, все равно принимать приветы да поклоны от столь высоких лиц было приятно. А уж когда лихой писарь достал из своей курьерской сумки экземпляр «Женских досугов» — и точно, сорок первый! — экслибрис коего указывал на его обладателя, папского нунция Фабио Киджи (впоследствии папа Александр VII), и, с улыбкой протянув книгу Харсдёрферу, просил незамедлительно снабдить ее посвящением, тут уж все окончательно уверились в несомнительном источнике предстоящего праздника; смолчал даже Логау.

Последние сомнения в том, подобает ли добрым лютеранам принимать такие дары от папистов, развеял Дах, убедивший сначала Грифиуса, а потом и Риста с Герхардтом ссылками на всегдашнюю готовность приснопамятного Опица к сотрудничеству с католиками: покойный Боберский Лебедь, как иреник в смысле высокомудрого Гроциуса и ученик покойного Лингельсхайма, неизменно выступал за свободу вероисповедания и против любой нетерпимости. Ах, сколь славен был бы предуготовляемый мир, ежели б за одним столом собрал он лютеран, и католиков, и кальвинистов! Во всяком случае у него, Даха, во рту текут слюнки при виде и католического поросенка.

Тут как раз позвала их хозяйка: пора было резать мясо.

15

«Наконец-то!» — возопил Грефлингер, потрясая своей черной ниспадавшей на плечи гривой. Ристу, как и Лауремберту, заслуженность трапезы казалась несомненной. Зато вместе с Логау хмурил брови и Чепко: а не черт ли возжег сии три костра с вертелами. Биркен не скрывал ревнивого намерения восполнить доселе имевшую место нехватку еды. То же сулил он и Шефлеру, не сводившему глаз со служанок. Терзаемый волчьим аппетитом Мошерош втиснулся между Харсдёрфером и его издателем. Грифиус стал было похваляться вместительностью желудка, но Гофмансвальдау тут же указал ему на бренность радостей плоти. Маявшемуся от рубцов пониже спины Шнойберу еще солоней становилось от жгучих насмешек. Дальновидный Векерлин держал наготове платок, чтоб завернуть в него гусиную грудку; подобной припасливости наставлял он и Герхардта. Но Герхардт, минуя взглядом Цезена, уставившего в огонь ясновидческие очи свои, пригрозил собравшимся, что призовет их к обузданию алчности в своей застольной молитве. Однако Дах, рядом с которым был его Альберт, объявил: сегодня за всех помолится вслух юный Биркен. Альберт, поискав кого-то глазами, спросил о чем-то негоцианта Шлегеля, тот через Эльзевирна передал вопрос издателю Мюльбену, а когда вопрос докатился до Бухнера, то ответ пришел сам собой: Шюца за столом не было.

Откуда мне все это известно? Я был там, сидел среди них. От меня не укрылось, что Либушка послала одну из служанок в город — позвать на ночь каких-нибудь девок. Кем я был? Не Логау и не Гельнхаузеном. Могли ведь быть приглашены и другие: Ноймарк, например, который остался, правда, в Кёнигсберге. Или Чернинг — Бухнеру его особенно недоставало.

Но кто бы я ни был, я знал достоверно, что бочки с вином были монастырские. Ухо мое улавливало слова и намеки, которыми перебрасывались мушкетеры, разделывая гусей и поросят, отрезая куски от барана. Я видел, как Шюц вышел во двор, но, прислушавшись к речи Гельнхаузена, поспешил назад в дом — по лестнице, в свою ком-

нату. Я знал даже то, чего никто не знал: что в то самое время, когда близ тельтского трактира немецкие поэты сели за пиршественный стол, в Мюнстере баварские посланники по всей форме передали Эльзас французам, получив взамен Пфальц (с обещанием вернуть ему курфюршеское достоинство). Я бы мог плакать от этой сделки, но я смеялся, потому что был тут, сидел вместе со всеми — и вместе со всеми сложил руки для вечерней молитвы, когда в наступивших сумерках под гессенским балдахином зажгли свечи в католических серебряных канделябрах. Ибо сидевший рядом с Шефлером Биркен уже встал — соревнуясь красотой с Аполлоном, который наполовину заслонил его от меня,— встал, дабы произнесть самую что ни на есть протестантскую молитву: «Будем крепью дела Христова, в мире бечь всего мирского...»

После него речь держал от середины стола — Дальний Эмс за спиной, впереди вечереющий город — Симон Дах, хотя нарезанное мясо уже дымилось в замковом фарфоре. Но, видно, слишком уж мрачно исполнил молитву Биркен — «Умертвим, покуда живы, нашу плоть...» — поэтому Дах, христианин вполне практичный, желал дать напутствию направление более земное: духом единым сыт не будешь, так что пусть бестревожно вкусят нежданный добрый кусок и бедные, вечно прозябающие поэты. Посему он хотел бы, не муча долее Гельнхаузена вопросами «где и откуда», высказать ему общую благодарность. Будь все как есть, и да ублаготворят свой неизбалованный аппетит любезные друзья его — в надежде, что благословение господне покоится на всем, чем изобилен их стол. И пусть это застолье станет прелюдией к долгожданным праздничным мирным пирам.

Засим приступили к делу. Засучив рукава. С благословения господня. С силезским, франконским, эльбским, бранденбургским, алеманским аппетитом. Точно так же и рейтары, мушкетеры, дворняжки, конюх, служанки и доставленные из города девки. Впились в гусей, поросят и барана. Его начинка — кровяные и ливерные колбаски, полуобожженные на огне,— также явилась на столе. Сок, стекавший по острым, круглым, завитым бородкам, скапливался в тарелках, где настигали его ломти свежего белого хлеба. Ах, как похрустывала корочка молочных поросят! Можжевеловый дым придал особый смак баранине.

На ногах оставались только хозяйка и Гельнхаузен. Знай подносили: пшенную кашу на молоке с изюмом, блюда с засахаренным имбирем, маринованные огурцы, сливовый соус, тяжелые кувшины с красным вином, сухой козий сыр и наконец сваренную на кухне баранью голову — в пасть ей Либушка сунула морковку, вокруг нее соорудила белое жабо, как у какого-нибудь господина, а сверху водрузила венок из желтых кувшинок. Со своей ношей Кураж явилась монаршей походкой, всем видом своим подчеркивая значительность несомого чучела.

Посыпались шутки. Баранья голова взывала к метафорическим уподоблениям. Принимала славословия ямбами и хореями, трехдольником, бухнеровыми дактилями, александрийским стихом, рифмой акрофонической, внутренней, аллитерационной, цитатами и импровизациями. Грефлингер под видом рогатого барана возносил жалобы на неверную Флору, прочие предпочитали политические экивоки.

«Не лев и не орел отважный, немецкий герб баран украсит важный»,— изрек Логау. Мошерош предал сию принадлежность немецкого герба экзекуции: «Режь его на испанский манер, холоди итальянцам в пример». А Грифиус, на лице которого отражалась готовность сожрать все что ни есть на свете, на миг оторвался от свиной ножки, чтобы срифмовать: «Агнца, жаждущего мира, научит разуму секира».

Литературный магистр Бухнер терпеливо сносил скороспелые рифмы, стерпел и цезеново «О, вече овечье, вечен твой вечер...» — заметив только: хорошо хоть суровый Шюц не внемлет таким упраж-

нениям. Дах, поливавший как раз гусиную ножку сливовым соусом, испуганно приостановился и, заметив такой же испуг у остальной компании, попросил своего Альберта посмотреть, что приключилось с гостем.

Соборный органист нашел старика в его комнате лежащим без камзола на кровати. Резко поднявшись, Шюц сказал: очень любезно с их стороны, что о нем вспомнили, но он хотел бы еще немного отдохнуть. Надобно обдумать множество новых впечатлений. Обдумать вновь познанную истину, например состоящую в том, что острый смысл, подобный тому, коим отличны изречения Логау, не допускает музыки. Да, да. Он охотно верит, что во дворе царит веселье. Многоголосые отзвуки пира долетают и до окна его комнаты, в смешном свете выставляя вопросы, вроде такого: ежели разум, каковой он высоко ценит, обходится без музыки, то есть ежели сочинение музыки противно разумному сочинению слов, то спрашивается, как такой холодной голове, как Логау, все же дается красота. Кузен Альберт, конечно, может посмеяться над подобным крючкотворством, назвав его, Шюца, недоношенным юристом. Ах, кабы он остался при своей юриспруденции, не поддавшись плену музыкальной стихии! И сегодня еще годы, проведенные в Марбурге, служат ему добрую службу выработанною привычкою к анализу. Дать ему немного времени, так он расплетет и самую хитроплетеную ложь. Надо лишь поискать недостающие звенья. Ибо хотя сей приблудный Стофель будет плетун побойчее многих съехавшихся пиитов, своя логика есть и в его плетении. Что такое? Альберт все еще свято верит ему? Тогда он не станет смущать его простоту. Нет-нет, он еще придет выпить стаканчик. Чуть позже — совсем уж скоро. Пусть они не беспокоятся о нем. И Альберт пусть себе спокойно идет и веселится вместе со всеми.

Лишь когда Альберт был уже в дверях, Шюц в немногих словах поведал ему о накопившихся заботах. Назвал свое дрезденское существование плачевным. Стоило бы, кажется, вернуться в Вайсенфельс, с другой стороны — тянет в Гамбург и дальше в Глюкштадт, где он надеется найти благую весть от датского короля, приглашение в Копенгаген: оперы, балеты, веселые мадригалы... Лауремберг обнадежил его: наследный принц благосклонен к искусствам. На всякий случай с собой у него вторая часть «Simphoniae Sacrae», посвященная князю. Потом Шюц снова улегся, однако глаз не закрыл.

Сообщение о том, что капельмейстер курфюршества несколько позже ненадолго спустится во двор, было встречено с облегчением двоякого рода: с одной стороны, суровый гость отсутствовал, стало быть, не потому, что осерчал, с другой — суровый гость явится за развеселый, порою не в меру шумный стол не сей же миг. Нам, по правде говоря, хотелось бы еще побыть одним, среди своей братии.

Грефлингер и Шнойбер подманили к столу трех служанок хозяйки, а за ними — по наводке Гельнхаузена — и тельгтских девиц. Эльзаба плюхнулась к Мошерошу на колени. По-видимому, старый Векерлин тишком подослал к Герхардту двух разухабистых девиц, и они взяли его в тиски. Когда нареченная Марией красотка доверчиво и словно привычно прильнула к студиозусу Шефлеру, того не замедлили с ног до головы окатить насмешками. Пуще других усердствовали Лауремберг и Шнойбер: уж не его ли это дева Мария? Уж не думает ли он через нее сочетаться с католической церковью? Подзуживания в таком духе сыпались до тех пор, пока Грефлингер не погрозил им своими баварскими кулачищами.

На другом конце стола Риста, запустившего проповеднические длани свои под потаскушкины перси, обидел Логау. Вроде бы и сказал то Уменьшающий Крепкому всего-навсего, что, мол, когда в обеих руках столько сокровищ, то уж кружку с вином не удержишь, а вышла обида. Рист немедленно выпростал обе руки, а заодно и язык. Остроумие Логау он назвал ядовитым, поскольку чуждо оно здорово-

му юмору, а отнять здоровый юмор — останется ирония, а ирония — дело не немецкое, а не немецкое дело — «не немцу и делать».

Возник новый диспут, так что о девицах и служанках на время позабыли. Зато за кувшины с вином хватались чаще прежнего: спор о юморе и иронии требовал смочить горло. Логау вскоре оказался в одиночестве, вслед за Ристом на него ополчился и Цезен, нашедший его уничижительный взгляд на вещи, людей и обстоятельства разлагающим, чужим, не немецким, омакароненным, то бишь дьявольским — да, вот слово, объединившее Риста с Цезеном: оба они полагали, что хитроумные двустишия коварного Логау происхождения дьявольского. Почему? Потому что ирония — от дьявола. Почему от дьявола? Потому что отцы ее — макаронники, а стало быть, дьявол.

Гофмансвальдау пытался прекратить сей немецкий спор, но его юмор для такой миссии не годился. Старого Векерлина почвенная кутерьма забавляла. Грифиус, утративший от обильного возлияния дар речи, мог реагировать только гомерическим хохотом. Когда вставил словечко в пользу Логау Мошерош, на него тут же зашикали: мол, у самого-то имечко — о господи! — такое же мавританское, как и немецкое. Лауремберг исподтишка выругался. Кто-то хватил кулаком по столу. Вино опрокинулось и пролилось. Грефлингер раздул ноздри, предвкушая драку. Дах уж было встал, чтобы предотвратить разгул грубой силы своим доселе авторитетным кличем: «Довольно, дети мои!» — как во дворе в дорожном плаще показался выступивший из темноты Генрих Шюц, и все сразу протрезвели.

И хотя гость просил продолжать разговор, противоречия между юмором и иронией сдуло как ветром. Каждый уверял, что никого не хотел обидеть. Служанки и девки ускользнули ко все еще пламенеющим кострам. Бухнер опростал предназначенное для Шюца кресло. Дах уверял, как он рад, что гость хоть и с опозданием, но все же пришел. Либушка хотела положить ему горячей еще баранины. Гельнхаузен налил вина. Шюц, однако, не стал есть и пить. Молча смотрел он поверх стола на костер посреди двора, где теперь веселились мушкетеры и конники с девками и служанками. Кто-то из мушкетеров изрядно играл на дудке. Пламя костра выхватило из темноты сначала две, потом три танцующие пары.

Шюц, со вниманием осмотрев Аполлона и лишь мельком взглянув на канделябры, повернулся затем к Гельнхаузену, все еще стоявшему подле него с кувшином. Глядя Стофелю прямо в глаза, Шюц спросил, отчего это один рейтар и тот мушкетер, что как раз танцует — вон тот! — ранены в голову. Он хотел бы услышать правду.

После чего и все за столом узнали, что рейтара царапнула пуля, а мушкетера лишь слегка, слава богу, задела драгунская сабля.

Шюц продолжал спрашивать, и все услышали, что имперцы Гельнхаузена поцапались с одним шведским отрядом, дислоцированным в Вехте. И фуражиры-шведы понуждены были к бегству.

Отсюда и трофеи? — желал знать Шюц.

Так стало известно, что гусей, поросят и барана фуражиры-шведы изъяли у одного крестьянина, к которому, надо признать, хотел наведаться и Стофель: крестьянина он знал еще в те времена, когда охотился в Зосте, но теперь нашел его пригвожденным копьем к воротам амбара — шведских рук дело. А ведь сколько знакомы: в ту пору его зеленая безрукавка с золотыми пуговицами была тут известна всякому...

Околичностей Шюц не терпел. И выяснил в конце концов, что церковное серебро, мальчик Аполлон, гессенская походная палатка, замковый фарфор, алтарные скатерти, а равно и сливовый соус, монастырское вино, засахаренный имбирь, маринованные огурцы, сыр и пшеничные булки,— что все это было найдено в отбитой у шведов повозке.

Деловым тоном отчета Гельнхаузен сообщил: весь багаж пришлось перегрузить, потому что шведская колымага по самые борта застряла во время бегства в болоте.

Кто же приказал ему учинить сей разбой?

В таком примерно духе следовало понимать распоряжение графа фон Нассау, переданное имперской канцелярией. И какой же это разбой? Обусловленная обстоятельствами войны стычка с неприятелем, повлекшая за собой переадресовку фуража, только и всего. Все в полном согласии с мандатом.

Что дословно гласил приказ, данный ему именем императора?

Приказано было передать любезнейшие заверения графа собравшимся пиитам, а также всемерно позаботиться об их телесном благополучии.

Подразумевала ли означенная забота различные припасы, колбасы, две бочки вина, искусно выделанную бронзу и прочие роскошества?

Судя по вчерашнему опыту знакомства с кухней трактира «У моста», распоряжение графа позаботиться о телесном благополучии пиитов вряд ли можно было исполнить основательнее. А что до незамысловатого праздничного антуража, то еще Платон говорил...

Словно уж решив выжать Стофеля до конца, Шюц желал знать, не пострадал ли еще кто-нибудь, кроме крестьянина, при этом разбойном набеге? И Гельнхаузен признал: насколько он мог разглядеть в суматохе, шведское обхождение пришлось не ко благу также работнику и служанке. И еще: умирая, крестьянка успела поведать ему о своей заботе — уцелеет ли ее мальчик, убежавший, как она видела, в ближний лес от резни...

Потом Стофель добавил: ведома ему одна история, точно так начавшаяся некогда в Шпессарте. Ибо такое случилось и с ним в детстве. Батьку с маткой зверски прикончили. Но он жив. Да поможет бог на сей раз и вестфальскому мальчику.

Праздничный стол выглядел как после побоища. Груды крупных и мелких костей. Лужи вина. Гордо увенчанная, а ныне обглоданная баранья голова. Картина тошнотворная. Дотла сожженные свечи. Вцепившиеся друг в друга собаки. Насмешливо дребезжащие колокольчики на балдахине. Тоску еще усиливало веселье в стане мушкетеров и рейтаров: усевшись с женщинами у костра, они горланили песни и ржали, как лошади. Только после окрика хозяйки перестали играть на волынке. В стороне рвало юного Биркена. Поэты стояли группами. Не только у Шефлера, у Чепко и негоцианта Шлегеля также на глазах были слезы. Было слышно, как негромко молится Герхардт. Не протрезвевший еще Грифиус толкался у стола. Логау убеждал Бухнера, что с самого начала не поверил обману. (Мне с трудом удалось удержать Цезена, который рвался к реке — смотреть на трупы.) Словно надломившись, тяжело дыша, стоял Симон Дах. Альберт расстегивал на нем рубашку. Владел собой только Шюц.

Он остался в своем кресле у стола. Не вставая, обратился он к поэтам с советом продолжить встречу, не предаваться бесполезным стенаниям. Их вина перед богом в совершенном злодеянии невелика. Зато велико их дело, служащее слову и отчизне,— его и нужно продолжить. Он надеется, что не помешал им в этом.

Затем он поднялся и стал прощаться: отдельно с Дахом, очень сердечно с Альбертом, общим поклоном с остальными. Сказал еще, что подгоняет его вовсе не печальное происшествие, но дела — в Гамбурге и иных местах.

После немногословных распоряжений — за багажом Дах послал Грефлингера — Шюц отвел в сторонку Гельнхаузена. По тону можно было понять, что старик беседует с ним дружески, убеждает в чем-то и уговаривает. Вот он засмеялся, потом засмеялись оба. Стофель упал перед ним на колени, Шюц поднял его. Он, если верить Харсдёрферу,

будто бы сказал полковому писарю: хватит ему махать саблей, пора смело браться за перо. Уроков жизнь преподала ему для этого предостаточно.

Генрих Шюц уехал, а с ним и двое имперских конников — они сопровождали его до Оснабрюка. Все при свете факелов толпились во дворе. Потом Симон Дах предложил перейти в малую залу, где уже как ни в чем не бывало стоял длинный стол.

16

«Ничто, безумие, обман — такой удел нам свыше дан...» Все кончилось плачевно. Ужас закрасил зеркала черным цветом. У вспоротых слов вывалилось нутро смысла. Надежда изнывала от жажды у засыпанного колодца. Рушились выстроенные на песке стены. Мир был оплеван. О, фальшивый блеск его! Сухие корчи некогда зеленых ветвей. Нежная белизна савана. Изящная подмалевка трупа. Игра ложного счастья... «Се человек, кого влечет течение покуда. Кто он? Лишь времени причуда!»

Сколько длится война, столько они и бедуют — с тех пор как вышли ранние, лиссанские сонеты Грифиуса, бедуют безутешнее прежнего. Как ни чувствителен был их глагол к соблазнам, как ни прилизывали они природу на пасторальный манер куртинами да гротами, как ни легко соскальзывали с их уст звонкие пустячки, более затемнявшие, нежели просветлявшие смысл природы, последнее слово их всегда было юдолью печали. В прославлении избавительницы-смерти понаторели даже скромного дарования поэты. Снедаемые жаждой славы и почестей, изощрялись они тем не менее в картинах тщеты человеческих устремлений. Молодежь особенно круто расправлялась в своих строках с жизнью. Но и для зрелых мужей прощание с земным прельщением было делом столь обыкновенным, что душеспасительные стенания их усердно творимых (и умеренно вознаграждаемых) заказных стихотворений стали даже чем-то вроде моды, отчего Логау, верный рассудку, мог вовсю потешаться над предсмертным томлением своих коллег. А с ним не без охоты переворачивали иной раз мрачную рубашку карт, любуясь веселыми картинками на обороте, и некоторые умеренные защитники тезиса «Все — суета сует».

Потому-то Логау, Векерлин и вполне мирские Харсдёрфер и Гофмансвальдау считали чистой воды суеверием распространенное мнение, будто конец мира, должный подтвердить правоту взывающей к нему поэзии, не за горами. Однако ж, прочие — среди них и сатирики, и даже мудрый Дах — хоть и не думали о Страшном суде неотступно, но чувствовали его приближение всякий раз, когда над миром сгущались политические тучи, что бывало нередко, или когда завязывались в тугой узел тяготы повседневной жизни,— например, когда признание Гельнхаузена превратило пиитический пир в разнузданное обжорство, а веселие стихотворцев обернулось неизбывным унынием.

Один лишь Грифиус, мастер мрачных видений, излучал свет бодрости. Он был в своей стихии. А потому спокойно противостоял напору хаоса. Его представление о миропорядке покоилось на иллюзорности и тщете. Он смеялся: с чего такой скулеж? Разве ведом им добрый пир без горького похмелья?

Сонм пиитов, однако ж, долго еще мысленно витал над пропастью ада. То был час смиренного Герхардта. Рист не уступал ему в рвении покаяния. В Цезене клокотал сатанинской силы вулкан. Гримаса скорби искривила свежий лик юного Биркена. Уйдя в себя, Шеффлер и Чепко искали спасения в молитве. Издатели — а прежде всех обычно неунывающий кузнец начинаний и планов Мюльбен — чуяли

близкий крах своего ремесла. Альберт припомнил стихи своего друга Даха:

Смотри, как жизнь проходит,
Пока жуешь и пьешь.
За пиром мор приходит,
От смерти не уйдешь.

До конца испив свое горе, стихотворцы принялись обвинять друг друга. Уличали особенно Харсдёрфера — за то, что навязал им лиходея. Бухнер негодовал: любой прохвост, коли он за словом в карман не лезет и сыплет анекдотами, всегда может рассчитывать на расположение пегницких пастухов. Цезен укорил Даха: зачем дозволил приблудному охальнику держать речь в их узком кругу? Мошерош возразил: как бы там ни было, а расквартировал их он, этот негодник. Гофмансвальдау язвил: и тот, первый обман, был штучкой злодейской, а ведь большинство поэтов только смеялось. Снова смотрел триумфатором Грифиус: ну о чем говорить! Во грехе погряз каждый. И никого на свете нет без вины. Как объединила их, людей разных сословий, печаль, так сравняет всех перед господом смерть.

Дах воспротивился этому обвинению всех, слишком походившему на оправдание каждого: тут не о порче нравов речь. И не о том, чтобы найти виноватого. Но — об ответственности. А ее, прежде других, несет он сам. Он виноват более других. Во всяком случае в Кёнигсберге он не сможет расписать их позор, который есть прежде всего его позор, как забавный анекдот. Но что делать теперь, не знает и он. Отбывший, к сожалению, Шюц прав: начатое дело надобно кончить. Бежать не годится.

Когда Харсдёрфер взял ответственность на себя и сказал, что ему в виде наказания следует уехать, с ним никто не согласился. Бухнер заявил: его упреки вызваны раздражением, не более. Если уедет Харсдёрфер, то и он, Бухнер, уедет.

Нельзя ли, предложил негоциант Шлегель, устроить тут что-то вроде суда чести, как это водится в ганзейских городах, и в присутствии Гельнхаузена обличить его злодеяние? Он, как человек со стороны, мог бы выступить судьей в этом деле.

Да! Судить его! — раздались крики. Нельзя допустить, кричал Цезен, чтобы этот малый и дальше сидел тут с ними да без конца дерзил. Рист заявил, что в присутствии разбойника нельзя принимать мирное воззвание пиитов. А Бухнер добавил: кроме того, сколь ни нахватан мерзавец во всяком и разном, нельзя забывать, что он круглый профан и невежда.

Походило на то, будто суд чести устраивал всех. Но когда Логау спросил, в какое время должно будет огласить очевидный приговор — сразу же или в конце процедуры — и кто возьмет на себя миссию пойти к мушкетерам и позвать сюда Гельнхаузена, желающих не нашлось. Лауремберг крикнул было: «Пусть это сделает Грефлингер, он любит важничать!» — но тут вдруг все заметили, что Грефлингера-то среди них и нет.

Шнойбер сразу же заподозрил: якшается, верно, с Гельнхаузеном. Цезен добавил: замышляют, надо полагать, еще какую-нибудь мерзость «супротив немецких пиитов». Однако Дах их оборвал: пересудов он терпеть не мог. Он сам пойдет и посмотрит. Одному ему подобает пригласить сюда Гельнхаузена.

Альберт и Герхардт не захотели его отпускать. И вообще дразнить в такой час пьяных имперцев — дело небезопасное, заметил Векерлин. Совет Мошероша — призвать на помощь хозяйку,— прикинув так и сяк, отклонили. Громогласную реплику Риста: «Судить негодяя заочно — и баста!» парировал Гофмансвальдау — он умывает руки, такое судилище не для него.

И опять все не знали, что делать. Молча сидели за длинным сто-

лом. Один Грифиус продолжал дуть в свою развеселую дуду: единственное лекарство от жизни — смерть.

Наконец Дах прервал процессуальный спор: завтра еще до начала последних чтений он поговорит с полковым писарем. Потом он предложил нам всем, благословясь, отойти на покой.

17

Грефлингер, чтобы развеять сомнения на его счет, пошел ловить рыбу. Со сваи сукновальни бросил он сеть и закинул удочки в Дальний Эмс. Тем временем глубокий, никем не тревожимый, беспробудный и благословенный сон объял двух других юношей. Череда утомлений в минувшую ночь, которую провели они вместе с Грефлингером и при свете луны со служанками, достаточно их укачала, толкнув из объятий всеобщего уныния в объятья Морфея. Шефлер еще прежде Биркена нашел покой на чердачной соломе, а вот три служанки не обрели его и после того, как догорел последний костер,— вместе с городскими шлюхами они стали достоянием свободных от караула мушкетеров и конников. Их ночные игры в конюшне слышны были на другой стороне двора, они достигали и окон на фасаде трактира. Может, разошедшиеся по своим комнатам издатели и авторы потому и подливали масла в огонь литературных споров, что силились заглушить пронзительные вопли.

Пауль Герхардт уснул, изведя себя молитвами в защиту от громогласных вожделений плоти, молитвами, которые долго оставались напрасными, но увенчались все же успехом. Сходным образом совладали с греховным гвалтом и Дах с Альбертом: в своей комнате, ничем не напоминавшей о Шюце, друзья до блаженной устали читали друг другу из Библии — книгу Иова, разумеется...

Но угомонились не все. Кое-кто продолжал свои поиски чего-то — или ничего. Возможно, опять оказывала свое действие луна, приводя в движение весь дом, не давая успокоения. Ничуть не утратив от вчерашней округлости, стояла она над Эмсхагеном. Мне бы выть на нее, лаять вместе с трактирными псами. Но я вместе со всеми разносил тезисы и антитезисы нашего спора по лестницам и коридорам. Опять как по-заведенному все началось с Риста и Цезена — с перебранки двух очистителей языка. Правописание, произношение, онемечение, неологизмы. С этого перепрыгнули на теологию — и заплутали в ее дебрях. Вопросы веры волновали всех. И никто не хотел отдавать без боя ни одно преимущество протестантизма. Каждый чувствовал себя ближе других к господу. Никто не подпускал ветер сомнения к очагу своей веры. Вот разве Логау, кого (тайно) язвил дух свободы, все подзуживал непотребной иронией и лютеран, и кальвинистов: послушаешь вас, схоластов в старонемецком или новоевангелическом духе, говорил он, так немедля захочешь бежать под сень папы. Хорошо хоть, Пауль Герхардт спал. И еще лучше, что старый Векерлин напомнил пиитам об их отложенном начинании — о политическом воззвании к миру.

В окончательном тексте должно отразить финансовые затруднения типографий — потребовали издатели; и авторов тоже — добавил Шнойбер. Надобно и простым горожанам, а не только высшим сословиям дать наконец возможность заказывать стихи на случай свадеб, крестин, похорон. Мошерош заметил: это справедливое притязание всякого христианина должно найти место в тексте мирного договора. Следовало бы, по его мнению, упорядочить в манифесте и гонорарный вопрос, установив таксу на вирши в зависимости от сословия и состояния заказчика с тем, чтобы можно было рифмой воздать по заслугам не токмо патрицию и дворянину, но и всякому бедному.

Кончилось тем, что Мошерош, Рист и Харсдёрфер сели за стол в комнате Гофмансвальдау и Грифиуса, в то время как все прочие, от-

купившись советами, разбрелись по своим кроватям. Покой медлил воцариться в доме, полном беспокойных гостей. Рядом с четырьмя сочинителями бурно, будто борясь во сне с ангелом, спал уроженец Глогау — собственно, Грифа можно было числить среди авторов манифеста: даже его сонное бормотанье, выдававшее ход означенной борьбы, дарило составителям подчас иное меткое слово. Когда же редакция, удовлетворенная если не новым вариантом текста, то хотя бы чистосердечием своих душевных затрат, разбрелась и каждый (выковыривая из головы репья застрявших фраз) пал на постель, один Харсдёрфер, деливший комнату с мирно почивавшим Эндтером, не мог сомкнуть глаз, и страдал он не только от назойливой луны в окошке. То одно, то другое лезло в голову, снова и снова. Хотел, чтоб заснуть, пересчитать овец, а вместо этого пересчитывал золотые пуговицы на гельнхаузеновой безрукавке. Хотел встать, но продолжал лежать. Несся по коридорам, по лестнице, через двор — и не мог оторваться от пуховика. Что-то тянуло прочь и удерживало на месте. Харсдёрферу хотелось отыскать Гельнхаузена, но он не знал, что ему сказать. Чувство, тащившее его через двор из постели, путалось между злостью на Стофеля и братской заботой о нем. Под конец Харсдёрфер стал надеяться, что Гельнхаузен сам придет к нему и они вместе поплачут над печальной судьбой, над неверным счастьем, над обманным блеском мира, над ничтожеством его...

Гельнхаузен, однако, плакался в это время хозяйке Либушке. Она, старуха, всегда остававшаяся для него молодкой, а для его излияний — бездонной бочкой и помойным ведром, она, нянька, наложница и пиявка в одном лице, держала его голову на коленях и все слушала, слушала. Опять попутал его бес. Все у него не как у людей. Вечно где-нибудь да споткнется. А ведь и в мыслях не было разбойничать: собирался только тихо-мирно купить кой-чего у монашек в цесфельдском монастыре девы Марии — их-то он знал как облупленных, и длиннополыми и голозадыми. Так нет, черт подослал ему под самые мушкеты этих шведов. Все, бранное ремесло пора ему оставлять. Испросить у Марса отставку да завести себе какой-нибудь спокойный гешефт. Ну хоть тот же трактир. Смогла ведь вот она из перелетной Кураж стать оседлой трактирщицей Либушкой. Уж у него и на примете кое-что есть. Тут неподалеку, под Оффенбургом. «Серебряная звезда» — так называется харчевня. Справится, чай, не хуже Кураж. Не лыком шит. Вот и великий Шюц, вместо того чтобы всыпать ему по всей строгости, только отечески пожурил и советовал остепениться. Он, Стофель, в ноги ему повалился, испрашивая прощения, а тот, знаменитость, стал рассказывать ему о своем детстве в Вайсенфельсе на реке Заале: какой справный трактир «У Шюца» держал там его отец. А под фонарем трактира стоял каменный осел, игравший на волынке. Вот такой осел сидит и в нем, Стофеле, рассмеялся Шюц да еще назвал его Простаком. А он возьми да спроси достопочтенного господина: считает ли он, что играющий на волынке осел, Простак тож, способен содержать справный трактир? «О, он способен не только на это!» — гласил ответ добряка.

Однако Либушка из чешских Брагодиц, которую (то нежно, то насмешливо) Стофель не уставал называть Кураж, думала почему-то, что шит он именно лыком, что от него, хозяина, толку будет как от козла молока, что под своим «не только на это» маэстро Сагиттарио подразумевал, конечно, растущие налоги да множащиеся долги. Черту Кураж подвела круто: для того чтобы заправлять трактиром и не остаться при этом внакладе, ему не хватает не только плотного зада, но и тонкой сметки, позволяющей отличить хвастуна-забулдыгу от добросовестного клиента. Тут уж молчавший доселе Гельнхаузен взорвался.

«Старая сквалыга! Собачье дерьмо! Шлюха! Погань вонючая!» — честил он ее. Обзывал пропащей каргою, сколотившей денежки срам-

ным делом. С тех пор как Кураж подмяли реитары мансфельдовои конницы в Богемском лесу, она-де всегда готова на все услуги. Целые полки можно составить из тех, кто ее потоптал. Поскрести только ее французскую замазку — сразу станет видно, какая она потасканная стерва. Она, сухой чертополох, не сохранила за всю жизнь ни единого ребенка, а мертвого выродка своего пыталась приписать ему! Ну, он с ней еще поквитается, она еще попомнит его, пусть даст только срок. Вот бросит он службу да разживется немного на трактирном деле — и сразу возьмется за перо. Да, да! Все, все выльет он на бумагу, что накопил на своем веку, все станет подвластно его слогу — и тонкая мысль, и грубая шутка. И ужасы войны дадутся его перу, и чумное веселье, продажная Кураж со всеми ее потрохами. Уж он-то знает про ее темные делишки с самого Зауэрбрунна — как наживала да куда девала ворованные деньги, все знает. А о чем смолчала Кураж, то он, зоркий Стофель, заметил сам, а чего не заметил сам, о том шепнул ему приятель Шпрингинсфельд: как вела она свою торговлишку под Мантуей, какое зелье сплавляла в своих бутылках, сколько брауншвейгцев через себя пропустила... Все, все ему ведомо! Почитай, тридцать лет распутства да лихоборства — все это он распишет по всем правилам искусства так, что останется надолго!

Речь эта Либушку рассмешила ужасно. Прямо сотрясаясь от смеха, она сначала вытолкала из постели Гельнхаузена, а потом выкатилась и сама. Как — он, простак Стофель, полковой писаришка, хочет сравняться в искусстве с высокоучеными господами, собравшимися под ее крышей? Это он-то, кувшинное рыло, с его вечно дурацким осклабом, воображает, что достигнет словесной мощи господина Грифиуса и мудрого красноречия Иоганна Риста? Да ему ли соревноваться с находчивым и изящным острословием господ Харсдёрфера и Мошероша? И он, неуч, не прошедший магистерскую школу слова и стихосложения, станет тягаться в виртуозности с хитроумнейшим Логау? Ему ли, не верящему ни в бога, ни в черта, дано будет превзойти божественные песни господина Герхардта? Ему ли, обозному оборванцу, конюху, простому солдату, только и выучившемуся, что грабить, жечь, обирать мертвых да еще вот — с недавних пор — кое-как водить пером по бумаге в полковой канцелярии, ему ли по зубам будут сонеты и духовные песни, потешные и остроумные сатиры, блестящие оды и элегии, а то и вовсе глубокие поучительные трактаты? Ему ли, простаку Стофелю, быть поэтом?

Смеялась Кураж недолго. Напоролась на тормозящее дышло прямо посреди фразы. Посреди издевательской фразы: мол, хотела бы она, Либушка, столбовая чешская дворянка, полюбоваться в напечатанном да переплетенном виде на то ослиное дерьмо, какое может выйти из-под пера голодранца Стофеля,— тут Гельнхаузен и ударил. Кулаком. Прямо в левый глаз. Она упала, кувыркнувшись о какие-то сапоги и седла, коими тесно, как лавка старьевщика, была набита ее каморка, тут же вскочила и, нашарив рукой деревянную колотушку для сбивания пюре, поискала единственным уцелевшим глазом проходимца, ханыгу проклятого, хмыря болотного, аспида — но, увы, глаз ее не обнаружил ничего, кроме свалки, и с досады она долго, до устали била по пустому месту.

Гельнхаузен был уже за дверью. С плачем пробежал он через залитый лунным светом двор и, продравшись через можжевельник к берегу Дальнего Эмса, нашел там плачущего же Харсдёрфера. Томление бессонницы все же подняло поэта с постели. Сбоку, на сваях сукновальни, можно было разглядеть Грефлингера, удившего рыбу, но Харсдёрфер туда не смотрел, не поднимал головы и Гельнхаузен.

Просидели на крутом заросшем берегу до утра. Говорили мало. Горе их было не из тех, каким надо обмениваться. Ни упреков, ни раскаяния. Всю скорбь вобрала в себя река в красивом изгибе. Соло-

вей ответствовал их печали. Может, бывалый Харсдёрфер давал Стофелю наставления, как составить себе имя в поэзии. Может, Стофель уже тогда желал знать, равняться ли ему на испанских прозаиков. Может, проведенная на берегу Эмса ночь навеяла будущему поэту ту первую строчку «Спеши, соловушка,— уж ночь...» — которой начнется потом песнь шпессартского отшельника. Может, Харсдёрфер загодя упреждал молодого коллегу держать ухо востро с мироедами-издателями. А может, в конце концов оба мирно заснули друг подле друга.

Встрепенулись, лишь когда обозначился день — криками да хлопаньем дверей в трактире. Там, где Эмс раздваивался, чтобы обнять Эмсхаген со стороны города и со стороны текленбургской пустоши, качались на ветру поплавки. Бросив взгляд на сукновальню, я увидел, что Грефлингер свои снасти уже смотал.

На том берегу вставало за березами солнце. Прищурившись на него, Харсдёрфер сказал: не исключено, что собрание будет судить Стофеля. Гельнхаузен ответил, что уже знает об этом.

18

Хоть и потрепанный вид был у трех служанок, когда они накрывали на стол, как ни перекосило хозяйку Либушку, но утренняя похлебка удалась на славу. Да и грех было бы жаловаться — ведь намешано было в варево немало: и гусиные лапки, и поросячьи почки, и бараньи мозги (из увенчанной накануне головы) — остатки вчерашнего пира. А поскольку большинство приплелось в малый зал, пошатываясь от слабости, то похлебать горяченького было им сейчас даже целительнее, нежели утихомирить душевную тоску. О ней вспомнили не прежде, чем все — от Альберта и Даха до Векерлина и Цезена — поработали ложкой.

Началось все — Биркен и еще кое-кто трудились над добавкой — с новых неприятностей: Векерлина обокрали. Из его комнаты исчез кожаный кошель с серебряными шиллингами. И хотя старец и слышать не желал, будто это дело рук Грефлингера, высказанное Лауремберго подозрение подкрепил Шнойбер: он видел, как сей вагант играл в кости с мушкетерами. Отягчал подозрение и тот неопровержимый факт, что Грефлингера с ними не было,— он же тем временем лежал в прибрежных кустах, отсыпаясь после утомительной ночной ловли, рядом с дохлыми уже или все еще подпрыгивавшими рыбами.

Дах, заметно досадуя на растущие неурядицы, обещал вскоре все выяснить, а пока что поручился за Грефлингера. Но вот что было делать со вчерашним бедствием? Куда деваться от эдакого ужаса? Можно ли теперь продолжать читку рукописей как ни в чем ни бывало? Разве не эхом пустой бочки отдаст любой стих после такой людоедской трапезы, как вчерашняя? Вправе ли собравшиеся поэты — вопреки столь ужасным открытиям: среди них находится, возможно, и вор! — по-прежнему полагать себя обществом почтенным, а тем паче со всею нравственною серьезностью готовить мирное воззвание?

«Разве не стали мы совиновны оттого, что слопали вчера разбойничью добычу?» — спросил Биркен. Свинство, не лезущее ни в какую сатиру, казнился Лауремберг. Могучие телеса Грифиуса, в которых еще бродило монастырское питие, изрыгали лишь нечленораздельный клекот. А Векерлин свидетельствовал: после такого разгула чревоугодия горько блюет даже обжорливый Лондон, сей ненасытный Молох. Цезен, Рист и Герхардт во все новых и новых метафорах провозглашали свое глубокое покаяние.

(Не оглашал никто того, что запряталось в складки мировой скорби личной кручиной: Герхардт, к примеру, опасался, что не видать ему теперь пастората как своих ушей, Мошерош боялся другого — что и

друзья теперь не поверят в его мавританское происхождение, а станут громко поносить, обзывать жидом и побивать словами, аки каменьями; недавно утративший жену Векерлин шутками прикрывал свою глубокую печаль. Старик просто с ужасом думал о возвращении в пустой дом на Гардинер-лейн, где немало лет прожито ими вместе. Скоро уж ему на пенсию. Другой поэт, Мильтон, сменит его в свите Кромвеля. Страхи, страхи...)

И все же ночь не прошла для Симона Даха даром, он сумел собраться с духом и в передрягах. Выпрямившись, насколько позволял ему средний рост, он сказал: у каждого из них впереди предостаточно времени поразмыслить о здешнем прибавлении своих грехов. Утренний суп все хлебали с большим аппетитом; стало быть, дальнейшим ламентациям не должно быть места. Поскольку Гельнхаузена за столом не видно и вряд ли можно ожидать, что он, преодолев угрызения совести, явится на дальнейшие читки, то нет и оснований для суда над ним, тем более что такой суд был бы самоуправным, даже, можно сказать, фарисейским. А так как он замечает одобрение на лице друга Риста, который важен сейчас не как поэт, а как пастор, и так как молчание Герхардта может означать лишь, что и сей смиренный и строгий христианин с ним согласен, то он хотел бы теперь, если Лауремберг перестанет наконец болтать со служанками, познакомить всех с распорядком дня и продолжить встречу, снова предоставив ее неистощимому попечению господнему.

Пошептавшись после этого с Альбертом — попросив его отыскать все еще досаждающего своим отсутствием Грефлингера,— Дах назвал последних поэтов, которым еще предстояло выступить: Чепко, Гофмансвальдау, Векерлина, Шнойбера. С места требовали, чтобы и он, Дах, к вящей радости всех, прочел наконец свою элегию, посвященную утрате Тыквенной хижины, однако председатель собрания, ссылаясь на нехватку времени, пожелал уклониться. Поскольку, однако, Шнойбер (побуждаемый к тому Мошерошем) отказался от выступления, то было решено заключить этим стихотворением всю программу, ибо требуемое Ристом и прочими обсуждение политического манифеста пиитов, их мирного воззвания — были готовы две новые редакции — Дах хотел провести вне рамок профессионального собрания. Он сказал: «Торжище о войне и мире да не допустим мы на Парнас, на коем и без того дел нам довольно. Ибо не озаботимся об ограде — мороз не пощадит наши посадки, и взращенное нами увянет, и останемся ни с чем, как библейский Иона».

Его озабоченность нашла отклик. Согласились обсудить и принять мирное воззвание между последним чтением и скромным (по общему требованию) обедом. После трапезы — хозяйка обещала, что все будет честно, то бишь жидко,— поэты должны были отправиться восвояси.

Наконец-то в хаосе прорезался план. Симон Дах, кормчий и кровельщик, опять доказал, что недаром носит свое имя-сень, и мы снова ожили, повеселели; посыпались даже шутки. Биркен разыгрался до того, что предложил на прощание увенчать Даха лавровым венком. Но тут Лауремберг спросил хозяйку, обо что это она стукнулась, нажив себе синяк,— не о кровать ли? И все опять вспомнили о вчерашнем кошмаре.

Либушка долго упорствовала в молчании, но потом ее как прорвало. Нет, это не ножка кровати. Это мужская доблесть Гельнхаузена. Господа, верно, так и не поняли, какую злую шутку сыграл с ними этот отпетый негодяй. Чего бы не намел он своим помелом, все это сплошное вранье — даже и то, в чем он повинился для вида перед Сагиттарио. Ни у какого шведа не отбивали фураж рейтары и мушкетеры Гельнхаузена — все сами добыли, своими руками, по локоть в крови, как и привык этот бравый трепач. Слава у него еще та! От Зоста до Вехты знают его зеленую безрукавку. Уж его-то не умолит

никакая непорочная дева. В его руках заговорит и немой. Церковное серебро, кстати, да алтарные скатерти, да вино — все это он оттяпал у потаскушек из монастыря в Цесфельде. Тут хоть и стоят кругом гессенские войска, да проныра вроде Гельнхаузена всюду пролезет. Так и вьется, как вьюн, меж лагерями. А верность хранит только своему собственному знамени. И ежели господин Харсдёрфер все еще думает, будто папский нунций и взаправду дал книжку с бабьими пересудами Стофелю, чтобы автор ее надписал, то она должна разочаровать его тщеславие: Гельнхаузен просто подкупил служку нунциатуры и тот выкрал для него экземпляр из библиотеки кардинала. А книжка-то даже и не разрезана. О, Гельнхаузен мастак и не на такие проделки. Сколько лет водит за нос и самых знатных господ. Уж она-то на собственной шкуре узнала, что он хуже любого черта!

Дах был так потрясен, что с трудом пришел в себя и помог опомниться остальным. На Харсдёрфера жалко было смотреть. Гнев умрачнил даже обычно добродушного Чепко. Кабы Логау не отмахнулся шуткой: мол, что муж, что жена — одна сатана, того и гляди, вспыхнул бы новый диспут. Дах благодарно поддержал остроумца: покамест с них довольно! Не сейчас разбирать, где тут ложь, а где правда. Да отвратят они уши свои от новой свары. Да внемлют теперь только гласу искусства, которое да не оставят без своего призора.

Но тут Дах снова испытал досаду: Альберт ввел Грефлингера в малую залу. Он уж начал было осыпать упреками длинногривого бурша: что это тот себе позволяет? Куда запропастился? И не он ли это запустил руку в векерлинов карман? Но тут Дах вместе со всеми увидел, что принес Грефлингер в двух ведрах: голавлей, плотву и прочую рыбу. Юноша, увешанный сетью и леской, кои позаимствовал накануне у вдовы тельгтского рыбаря, был живописен. Удил он всю ночь. Даже в Дунае голавли не лучше. Да и плотва сойдет, коли поджарить ее как следует. Все это можно будет подать к обеду. А кто еще назовет его вором, с тем он поговорит по-немецки.

Желающих пробовать грефлингеровы кулаки не нашлось. Честно добытая рыба кому ж не понравится. За Дахом они потянулись в большую залу, где рядом с пустым табуретом высился их символ — чертополох.

19

Иных мнений не было. Все — даже Герхардт — стояли за то, чтобы продолжить свою литературную миссию во что бы то ни стало. Война научила их жить вопреки всему. Не только Дах, но и все остальные хотели довести начатое до конца: и Цезен, и Рист, как ни схлестывались они из-за пуристской чистки языка; и бюргеры, и дворяне, тем паче что под влиянием Даха жесткие сословные различия их совершенно стушевались; никто не хотел срывать встречу — ни незнакомец Шефлер, ни бездомный и случись-что-подозрительный Грефлингер, ни даже Шнойбер, искавший по наущению неприглашенного магистра Ромплера почвы для интриг, не говоря уж про стариков, Бухнера и Векерлина,— тем во всю их долгую жизнь ничего не было дороже поэзии; не был белой вороной и Грифиус, как ни склонялся он к тому, чтобы в любом начинании видеть одно только тщетное усилие и мираж. Никто не хотел бежать оттого лишь, что реальность в очередной раз заявила о своих правах, забрызгав грязью искусство.

Потому-то, быть может, составленный из стульев, табуретов и бочек полукруг даже не шевельнулся, когда — Чепко едва успел занять свое место между чертополохом и Симоном Дахом — через открытое окно в большую залу влез Гельнхаузен. Остренькая бородка его осталась торчать в оконном проеме; застряв на подоконнике, он, казалось, подпирал плечами лето за спиной. Поскольку собра-

ние осталось недвижно, даже несколько, было видно, закоснело от своей решимости не менять позу, Дах нашел, что может дать Чепко знак начинать — и силезец, намеренный читать стихи, уже набрал воздуху.

Тут — прежде чем зазвучал первый стих — раздался смиренно-насмешливый голос Гельнхаузена: он рад, что высокочтимые и достославные господа, сошедшиеся под покровом Аполлона — и ныне, и в веках,— снова приняли в свой круг его, беглого шпессартского простолюдина, вопреки вчерашней его выходке, удостоившейся сначала строгого порицания, а затем христианского прощения со стороны господина Шюца. Ему, простаку Стофелю, эта милость бесценна, поелику дает возможность пополнить образование, обучаясь вносить строгий порядок в запутанность книжных знаний. Таким образом просветясь, он желал бы — подобно тому, как вошел сейчас через окно,— войти в искусство и, если музы его не отвергнут, стать поэтом.

Все — терпение их лопнуло. Сидел бы да помалкивал — куда бы ни шло. Содействовал бы своим смирением их великодушию — еще лучше. Но в дерзкой наглости ставить себя на одну доску с ними — нет, для странствующих бардов из плодоносящего, откровенного, пегницева и патриотического обществ это было чересчур. «Гнусный убийца! Мошенник!» — посыпалось со всех сторон. Рист кричал: «Папежеский соглядатай!» Кто-то (Герхардт?) причитал: «Изыди, сатана, изыди!»

Все повскакали с мест и подступили к нему, размахивая кулаками,— впереди всех Лауремберг. Дошло бы, пожалуй, и до рукоприкладства, не овладей положением Дах — при поддержке Харсдёрфера. Ровным, неколебимо мирным тоном — «Ладно, ладно, будет вам, дети мои... Не принимайте все так близко к сердцу...» — он добился тишины и дал слово Играющему.

Харсдёрфер тихо и доверительно спросил Гельнхаузена, признает ли тот все те дополнительные прегрешения, в которых тут обвинила его Либушка. И перечислил эти обвинения, под конец и особенно постыдную для него аферу — кражу экземпляра «Женских досугов» из библиотеки папского нунция.

С подчеркнутым достоинством Гельнхаузен ответил: ему надоело выкручиваться. Да, да и да. Со своими рейтарами и мушкетерами он действовал сообразно времени — как сообразно времени поступают и собравшиеся здесь пииты, когда прославляют в своих поэмах князей, для коих сжечь и убить — все одно что прочесть молитву; чьи грабежи хоть и превосходят многократно его, гельнхаузеновы, зато происходят с папского благословения; для коих нарушить клятву — все одно что поменять рубашку и чье раскаяние длится не дольше, чем звучит «Отче наш». Он же, оплеванный Стофель, давно уж раскаивается в том, что приютил столь отрешенное от житейских нужд общество, что защищал его со своими рейтарами и мушкетерами от всякого отребья и что, запятнав себя, добыл для них угощение — мясо, вино да сласти. Все это, как нетрудно было заметить, без всякой выгоды для себя, разве что в благодарность за некоторые полученные здесь уроки. Да, верно, ему хотелось порадовать пиитов сказочкой о том, будто собравшиеся в Мюнстере княжеские, королевские и императорские посланники распинаются в своем исключительном к ним почтении. И Харсдёрфера, который обходился с ним до сих пор столь дружески и которого он любит всем сердцем как брата, он хотел осчастливить посредством маленькой фантазии, что и удалось, так как нюрнбержец, было видно, искренне порадовался пожеланию папского нунция получить от него автограф. И велика ли разница, в конце-то концов, на самом ли деле просил Киджи автограф, мог ли или должен ли был он просить его или все это соблазнительной картинкой представилось воображению обвиняемого здесь Стофеля. Ежели в империи недостаточно — а так и есть! — чтят тех, у кого нет власти, то недостающее

почтение необходимо достоверно изобразить самим. С каких это пор господа пииты так держатся за черствый хлеб сухой истины? Почему так нечувствительна их левая рука, когда правая привыкла в благозвучных рифмах мешать правду с фантазией? Разве пиитическая ложь только тогда обретает достоинство правды, когда напечатает ее издатель? Или, если спросить иначе, разве идущие в Мюнстере четвертый уже год торги землями и людьми ближе к действительности или вовсе истиннее, нежели проводимый здесь, у врат Тельгте, обмен стихотворных размеров, слов, образов и созвучий?

Речи Гельнхаузена внимали сначала отчужденно, потом кое-где подавляя улыбку, кивая, задумываясь, трезво взвешивая или просто наслаждаясь, как Гофмансвальдау. Равнодушных во всяком случае не было. Все были обескуражены, и Даху это обстоятельство доставляло заметное удовольствие. С вызовом взглянув на примолкший полукруг, он спросил: есть ли желающие отповедовать сией дерзости?

Бухнер, перебрав латинские цитаты от Геродота до Плавта, кончил тем, что согласился со Стофелем: все как есть правда! Затем и Логау нашел, что пора бы на этом поставить точку: в конце концов, они и сами знают, кто такие,— столь точное зеркало только дуракам потребно.

Тут уж не согласился Грефлингер: нет, то был глас не шута, но самого народа, оставшегося за чертой их собрания. Ему Стофель близок. И он, тоже крестьянский сын, немало покуролесил, прежде чем унюхать запах книжных страниц. Так что если выставят Стофеля, то и он уйдет.

Наконец и Харсдёрфер молвил: одураченный таким образом, он хоть знает теперь, что писать о тщеславии. Пусть же останется с ними брат Гельнхаузен да оглоушит при случае еще какой-нибудь горькой правдой.

Но Стофель уже выпрямился в створе окна для прощания: увы, Марс опять призывает его поусердствовать. В Мюнстере дано ему поручение, ради коего надо теперь скакать в Кёльн и дальше. Речь идет о весьма дорогостоящих секретах: город должен будет уплатить девятьсот тысяч талеров контрибуции, чтобы гессенцы освободили Цесфельд, швед — Вехту, а Оранский — Везергерн. Эта война потребует еще немало денег. Он же удаляется с бесплатным обещанием: Стофель еще вернется! Наверняка! Пройдут, может, годы, и годы, и еще годы, и поднакопит он знаний, искупается в харсдёрферовых источниках, да поучится ремеслу у Мошероша, да подглядит кое-что в ученых трактатах, но потом настанет день, и он вернется — в книгах печатной бумаги! Не надобно только ждать от него кружевных пасторалей, пустых посмертных славословий, причудливых фигурных поэм, изящных душевных излияний или бодрой стряпни для церковного употребления. Нет, уж скорее он вспорет брюхо миру, да выпустит наружу всю его вонь, да откроет в союзе с Хроносом великую войну слов и громкокипящего смеха, чтобы расковать язык, дать простор ему и разбег, чтобы язык стал таким, каков он есть в самой жизни: грубым и тихим, здоровым и недужным, удалым и меланхолическим. Он хочет писать! Клянется в том Юпитером, Меркурием и Аполлоном!

С тем Гельнхаузен и исчез из окна. Но, уже в саду, он открыл им еще одну, последнюю, правду. Достал из штанов кошелек и потряс им, огласив серебряное содержимое. Засмеялся и, прежде чем бросить кошелек через окно в большую залу к самому чертополоху, сказал: «Да, вот тут еще находка. Кто-то из господ обронил свой кошелек в постели Кураж. И как ни весело им бывает подчас с хозяйкой трактира «У моста», переплачивать за столь мизерное удовольствие все же не стоит».

Лишь после этого Гельнхаузен исчез, предоставив поэтов самим себе. Нам уже его не хватало. За окном — ничего, кроме хриплого

крика мулов. У самого чертополоха лежал тугой кошелек. Старина Векерлин встал, с достоинством приблизился к нему, поднял и спокойно вернулся к своему стулу. Никто не засмеялся — еще не рассеялось впечатление от речи Гельнхаузена. Наконец Дах без перехода сказал: после того, как все нашлось и прояснилось, надобно с усердием приступить к чтению рукописей, не то, как Стофель, сгинет и утро.

20

И я с сожалением глядел на отъезд Кристофеля Гельнхаузена с его имперскими рейтарами и мушкетерами. Он опять был в зеленой безрукавке и шляпе с перьями. Ни одной оторванной пуговицы в наряде. Что бы ни случалось — с него все как с гуся вода.

А потому между ним и Либушкой и речи не могло быть о примирении. Недвижно смотрела она сквозь отворенную дверь харчевни, как сбиралось в путь его маленькое войско, как седлали лошадей, как запрягли умыкнутую в Эзеде повозку и (прихватив отлитого в бронзе мальчика-Аполлона) покинули постоялый двор «У моста»: впереди всех Гельнхаузен.

Поскольку я теперь знаю куда больше, чем могла даже подозревать посеревшая от злости Либушка, выглядывая из-за двери трактира, то хочу сказать несколько слов в защиту Стофеля. Его «Кураж», напечатанная и распространенная четверть века спустя после немого прощания с хозяйкой трактира «У моста» нюрнбергским издателем Фельсекером, явится — даром что выйдет под псевдонимом: Филархус Гроссус фон Тромменгейм — поздним исполнением когда-то данной им клятвы воздать ей по заслугам. Книга выйдет под длинным названием: «Простаку наперекор, сиречь пространное и диковинное жизнеописание архиплутовки и авантюристки Кураж». Автор напечатанного двумя годами ранее «Симплициссимуса» в новой своей книге дает слово для защиты от (и нападения на) самого себя и Кураж, а посему книга его стала бумажным памятником непоседливой и цепкой, бездетной, но предприимчивой, ветшающей и сварливой, снимающей проценты и с увядающей красоты своей, жалкой, но трогательной женщины, что была, ежели в юбке, то охоча до мужчин, а ежели в штанах — то по-мужски отважна. Автор же всех прочих симплициад, назвавший себя Гансом Якобом Кристофелем фон Гриммельсхаузеном, предоставил Кураж, как сказано, довольно места и бумаги, дабы смачно ответствовать ему, Симплексу; ибо то, что сводило Гельнхаузена и Либушку как молоко и уксус, было особо сильным градусом любви — ненавистью.

Лишь когда отряд имперского полкового писаря, миновав мост через Дальний Эмс, запылил по дороге на Варендорф (а дальше — на Кёльн) и скрылся из поля зрения Либушки, правая рука ее произвела что-то вроде помахивания, робкого жеста прощания. Я бы и на дорогу вышел помахать Стофелю, да никак нельзя мне было уйти теперь с последнего чтения пиитов в большой зале, где так величественно высился чертополох. Коли уж я всему был свидетель с самого начала, то и конец мне не хотелось бы упустить. Все, все на заметку!

Собранию больше ничто не мешало. Даниэль фон Чепко, силезский юрист и советник герцогов Бригов, под внешней бесстрастностью коего еще со времен страсбургского студенчества полыхал тот мистический огонь, сплавляющий воедино человека и бога, что зажжен был сапожником Бёме, итак, этот молчун и тихоня, другом которого мне хотелось бы быть, прочел несколько стихотворных сентенций, по форме (александрийские двустишия) напоминающих опыты Грифиуса и Логау. Сходным образом, впрочем, старался писать и юный Шефлер, хотя получалось у него еще сыровато, без последнего снятия торчащих противоречий. Поскольку бреславльский студент медицины, как выяснилось при последующем обсуждении, обнаружил у Чепко (хоть

и несколько недоумевая) понимание того, что он назвал «началом конца и концом начала», и поскольку днем раньше Чепко (наряду с Шюцем) был единственным, кто в невнятице прочитанного Шефлером увидел немалый смысл, между ними возникло дружеское чувство, которое сумело отстоять себя и тогда, когда Шефлер превратился в католика Ангелуса Силезиуса и отдал в печать своего «Странника херувима», в то время как главное произведение Чепко, сборник эпиграмм, не нашло издателя — или автор не пожелал их печатать.

И словно предвосхищая последующий неуспех двустиший Чепко, собравшиеся поэты и теперь встретили их прохладно. Видимо, пиитический голос его был слишком негромок. Явного одобрения удостоилось только одно политическое стихотворение, которое Чепко представил как фрагмент: «Отечество лишь там, где есть свободы глас: ее не знаем мы, оно не знает нас». После Мошероша и Риста сочувственно отозвался о нем и коротышка Бухнер, усмотревший в скупых строках картину целого страждущего мира, изголодавшегося по гармонии; свои толкования он обильно уснащал цитатами из Августина, Эразма и себя самого. В конце концов речь магистра вызвала больше аплодисментов, чем стихотворение Чепко, послужившее для нее поводом. (Самодовольный, он продолжал вещать и после того, как чтец-автор опростал табурет под сенью чертополоха.)

После него это место занял некто нескладно-длинный, не знавший, куда деть ноги. Все были немало удивлены, что Гофман фон Гофмансвальдау, который до сих пор не опубликовал ни строчки и считался просто любителем литературы, тоже вызвался читать. Даже Грифиус, знавший состоятельного аристократа по годам совместного обучения в Данциге и Лейдене — он-то, кстати, и побудил взяться за перо весьма ленивого поклонника муз,— даже Грифиус, казалось, был удивлен и напуган такой решимостью друга.

Не без изящества обыгрывая свое смущение, Гофмансвальдау принес извинения за ту дерзость, которая побудила-де его занять место между Дахом и чертополохом, но очень уж не терпится ему подвергнуть критике свои опыты. Вслед за тем он поразил собрание опытом в жанре, для Германии совершенно новом, восходящем к Овидию, а ныне существующем только в иноязычных пределах,— жанре героид. Предварением послужил рассказ «Любовь и жизненный путь Пьера Абеляра и Элоизы».

Речь идет о молодом и честолюбивом ученом, который не раз вынужден бежать от козней парижских профессоров в провинцию. В очередной раз вернувшись в Париж, он затмевает самого Ансельма, знаменитого писателя и богослова, становится любимцем города и по желанию некоего Фольбера начинает давать уроки его племяннице. Дело, однако, не ограничивается латынью: учитель влюбляется в ученицу, которая в свою очередь влюбляется в учителя. «Словом, неусердие их в одном с лихвой возмещалось усердием в другом...» Эту другую учебу длят они до тех пор, пока не овладевают в совершенстве «наукой нежных ласк», что вскоре и сказывается. Со своей беременной ученицей учитель отправляется к сестре в Бретань, где она разрешается от бремени сыном. Хотя юная мать вовсе не настаивает на браке, упорно заверяя, что «ей куда приятнее именоваться подругой его, чем женой...», учитель, оставив ребенка у сестры, устраивает в Париже скромную свадьбу. Дядюшка Фольбер, однако, не желает признавать этот брак, и бедному супругу приходится прятать жену и ученицу в монастыре под Парижем. Фольбер, разгневанный исчезновением племянницы, подкупает слугу Абеляра, дабы тот «...в ночную пору отпер опочивальню своего господина неким лицам, нанятым для нападения на спящего и оскопления его...», что беспрепятственно и осуществляется.

Об утраченном инструменте нежных ласк и идет речь в двух последующих посланиях, выдержанных в утонченной опицевой манере,

благодаря коей и неслыханно ужасное излагается — александрийским стихом с перекрестными рифмами — со всевозможным изяществом:

Я положил забыть и горести и страсти,
Шипов не ведал безрассудный путь.
Как мог я знать, что жуткие напасти
С ножом наточенным меня уж стерегут...

Озабоченный безупречностию формы более всего, Гофмансвальдау с самого начала испросил дозволения — рифмы ради — называть ученицу Абеляра Элиссой; так вот, Элисса в своем письме к Абеляру пытается заглушить боль утраты оного инструмента возвышенностию чувств:

Пускай уста твои мне плоть воспламенили
И чувственность мою бесстыдно разожгли,
Но страсти все ж меня рассудка не лишили
И поцелуи дух мой выше вознесли...

Сколь ни беспорочно было прочитанное в глазах пиитов с точки зрения искусства — Бухнер нашел, что это много превосходит Опица и даже Флеминга! — столь же неудобоваримой для некоторых из них оказалась мораль поэмы. Начал Рист — с вечного своего: кому это нужно? Какая в том польза? Его сердито поддержал Герхардт, углядевший в «суете пышных словес» одно лишь изукрашивание греха. Лауремберг побрюзжал на «ненатуральность рифмы». Юный Биркен выразил было недовольство натуралистичностью сюжета, но Грефлингер тут же оборвал его: может, он забыл, каким прибором обслуживал недавно девиц на соломе. Нет, ежели что и смущает его, Грефлингера, то вовсе не картины до и после экзекуции, а слишком уж гладкая манера письма. Жаль, Гельнхаузен смылся. Вот уж кто сумел бы найти слова голой и вопиющей правды и для ужасов кровавой резни, и для вынужденного отречения Элиссы.

Многие еще (но не Грифиус) вызвались посудачить о несчастном органе Абеляра, да Симон Дах остановил их: о пресловутом, но не бесполезном инструменте сказано довольно. Его, Даха, эта история взяла за душу. Разве можно забыть хотя бы трогательный финал, когда возлюбленные соединяются в общей могиле, так что навсегда сплетаются их останки. Он, когда слушал это, не мог сдержать слез.

Гофмансвальдау с улыбкой внимал бурливому току речей, точно предвидел нападки. Изначальный наказ Даха — выступающий не отвечает на критику — стал правилом. Потому-то и Векерлин не парировал укусы остроумия, последовавшие за прочитанной им одой «Поцелуй».

Это стихотворение, как и прочие творения свои, старец создал почти тридцать лет тому назад, еще сравнительно молодым человеком. Вслед за тем он, поскольку в Штутгарте делать ему было решительно нечего, поступил на секретную службу к пфальцскому курфюрсту, потом, дабы оказывать Пфальцу еще более полезные услуги, перебрался в Англию. Ничего заслуживающего внимания с тех пор не вышло из-под его пера, только сотни — с запрятанной в подтекст политикой — донесений Опицу, Никлассиусу, Оксеншерне... И все же игривые, местами наивно-беспомощные, задолго до поэтики Опица сложенные песенки Векерлина сохранили свежесть, тем более что при чтении старик своим швабским причитом ловко одолевал любые пороги, скрадывая скороспелость стиха и тривиальность рифмы! «Ах ты золотко мое, ты сердеченько мое...»

Вначале Векерлин заметил, что, поскольку должность государственного вице-секретаря оставляет ему во время путешествий достаточные досуги, он хотел бы с усердием переработать пиитические грешки своей юности, возникшие еще в довоенную пору под очевидным влиянием французских образцов, дабы отпечатать их с необходимыми ныне орфографическими изменениями. Вообще же, слушая тут молодых, он чувствует себя каким-то ископаемым. Ведь и бла-

женной памяти Боберский Лебедь, и заслуженный Август Бухнер выпустили свои руководства к совершенствованию немецкой поэзии уже после того, как он оставил стихотворство.

Критику он воспринял как праздничное славословие. Потому что она ясно доказывала — он еще существует. Мы-то, молодые, привыкли считать его мертвецом. И были удивлены, обнаружив в предтече наших юных дерзаний еще столько бодрой прыти: залез ведь он в либушкину постель, будто легкостопные оды были ему все еще подвластны.

Рист, терпеть не могший всякую любовную дребедень, Векерлина тем не менее уважил — за почтение к Опицу. Бухнер размахнулся широко и под конец призвал всех пройти его школу стиха, подобно Цезену и Герхардту, которые были его учениками в Виттенберге.

Настала пора поменять стул и Симону Даху; председательское же свое кресло он предложил старцу Векерлину. Длинная дахова «Жалоба на окончательное разорение и гибель Музыкальной тыквенной хижины и сада» предназначалась для утешения друга его Альберта, чей сад на прегельском острове Ломзе был загублен щебнем и грязью во время строительства дороги. Протяженными александрийскими стихами описывалась идиллическая закладка гнезда, при коей плечом к плечу с органистом орудовал лопатой и его помощник, обычно раздувавший мехи и охочий до пива; описывались литературно-музыкальные празднества друзей — счастливо обретенная гармония на лоне природы. Где-то далеко грохочет война, там Голод, Чума, Пожарища, а ближе взглянуть — ссоры и свары бюргеров, вечная канцелярская канитель. Как Иона из библейской тыквенной хижины грозит грешной Ниневии гневом господним, так Дах взывает к своему из трех городов составленному Кёнигсбергу. Скорбь о разрушенном Магдебурге (где он в молодости учился) Дах вдохнул во всеобъемлющую печаль об истязающей себя Германии. За проклятием войне: «Легко из ножен нам достать военный меч — поди заставь его обратно в ножны лечь...» — следует пожелание скорейшего и пристойного мира: «Когда б к чужому горю мы свое клонили ухо, вкусили б сами милостей святого духа!..» Под конец жалобы Дах призывает друга своего Альберта делать все возможное, чтобы выстоять вопреки времени: «Мы выдержим напор, будь он сильней стократ...», утверждает высокое предназначение Поэзии, которая переживет их Тыквенный домик: «Когда и жизнь и дух твоей рукой ведут, стихи твои тебя переживут...»

Слушать эти стихи нам было отрадно — они словно лились из души каждого. Пускай теперь, когда господствовали война и разбой, нетерпимость в вере и любостяжание, мы были бессильны и в глазах сильных мира сего ничтожны, зато в будущем чаяли победы поэзии, прозревали ее нетленное торжество. Эта маленькая, немного смешная претензия на бессмертие даже давала пиитам возможность аккуратно получать заказы. Догадываясь о том, что их собственное могущество преходяще, богатые бюргеры и князья надеялись посредством свадебных виршей, од и эпитафий, то есть на гребне в большинстве своем торопливо писанных стихов, поименно выплыть в вечность.

Симон Дах, пожалуй, чаще других зарабатывал на хлеб подобными стихотворениями. В кругу коллег, когда доводилось мериться гонорарами, он держал наготове горькую шутку: «Скачет ли весело свадьба, тащут ли гроб — уже кличут меня, отработал чтоб». Даже профессурой своей Дах был обязан исключительно одам, кои на скорую руку набросал в конце тридцатых годов на случай приезда в город курфюрста.

Поэтому-то прозвучавшая вослед многочисленным похвалам «Плачу по Тыквенной хижине» двусмысленная реплика Грифиуса — «Пока я стих пишу, ты накропал их сто — скорее тыква, знать, чем пышный лавр, растет» — содержала злокозненный намек на вынуж-

денную чрезмерную плодовитость Даха. Когда затем и Рист, похвалив мораль ламентации, подверг сомнению мифологические уподобления — в частности, сожженного Магдебурга Фивам, Коринфу, Карфагену — и излишне частые обращения к музе Мельпомене, ему, еще прежде Цезена, дал скорую отповедь Бухнер: никакое романское влияние таким стихам повредить не может. Здесь звучит живой немецкий глагол. А немногие античные персонажи возникают с необходимостью контрфорса в сей великолепной постройке.

С кресла Даха Векерлин провозгласил: лучшего завершения их собрания нельзя было и придумать. А Харсдёрфер воскликнул: о, если б была на свете такая тыквенная хижина, которая могла бы приютить всех нас от бурь грозного века!

Сказанного было достаточно, чтобы похвалами заглушить обидный выпад Грифиуса. Улыбаясь (и с явным облегчением) Симон Дах встал с табурета рядом с чертополохом. Обнял Векерлина и отвел его на прежнее место. Походил потом между чертополохом и пустым табуретом. Наконец сказал: «Ну вот и все». Он рад, что все обошлось благополучно. За что благодарит от лица всех собравшихся отца небесного. Аминь. Несмотря на некоторые недоразумения, ему понравилась их встреча. За обедом, прежде чем они разъедутся в разные стороны, он еще сможет досказать то, что, верно, осталось недосказанным. Сейчас же ничего не приходит в голову. А теперь, ввиду явного нетерпения Риста и Мошероша, он принужден дать слово политике, то бишь многострадальному манифесту.

Засим Дах снова сел, пригласив к столу авторов мирного воззвания, и — так как вокруг Логау наметилась перепалка — призвал всех к порядку: «Не надо только ссориться, дети мои!»

21

«Нет!» — кричал он все время. И до того, как перешли в большую залу, и после того, как уселись вокруг чертополоха и Даха. И когда Рист с Мошерошем кончили читать проект манифеста, Логау снова крикнул: «Нет!» На все у него был один ответ. Нет — и все тут.

Все было ему не по нутру: и громоподобные проклятия Риста, и бюргерская мелочность страсбуржцев, и привычка Гофмансвальдау оплетать всякий конфликт кружевами, и великодержавные замашки Харсдёрфера с его нажимом на все «немецкое» и «Германию» в каждой фразе. Жалко, глупо, нелепо! — кричал Логау, отбросивший свой иронический лаконизм, накопивший достаточно раздражения для пространной речи, в коей он слово за словом сдирал шелуху манифеста.

Хрупкий, резко прочерченный на фоне стены человечек, он стоял сзади, меча острые, как лезвия, слова над головами собравшихся: много звону да мало толку, правая не знает, что творит левая. То пускай швед убирается восвояси, то пусть всемилостивейше останется наблюдать за порядком. В одном месте высказано пожелание восстановить Пфальц, в другом — удостоить курфюршеством Баварию, дабы ее задобрить. Правая рука присягает старому сословному порядку, левая проклинает унаследованный беспорядок. Лишь раздвоенный язык может требовать в одной фразе свободы вероисповеданий и угрожать искоренением всех сект. Авторы хоть и упоминают Германию так же часто, как деву Марию паписты, но подразумевают всякий раз только часть ее. Немецкими добродетелями называются верность, усердие, скромность, но кто воистину во всей стране живет по-немецки, то бишь по-скотски,— а именно крестьянин,— тот даже не упомянут. В сварливом тоне говорится о мире, нетерпимо — о толерантности, сребростяжательно — о боге. А где — в припадке немецкой высокопарности — восхваляется отечество, там попахивает местническим душком корыстолюбивых расчетов Нюрнберга, предусмот-

рительностью Саксонии, силезским страхом и страсбургской спесью. Все вместе выглядит жалко и глупо, потому что не продумано.

Речь Логау породила не смуту, но оцепенение. Оба манифеста, разнившиеся лишь стилистикой, пошли по рукам. Опять единственной очевидностью предстала пиитам их беспомощность и недостаточное знание политических сил. Ибо когда (против ожиданий) встал старый Векерлин, то все сразу почувствовали, что с ними заговорил человек не просто осведомленный в политике, но понаторевший в ее играх, вкусивший от власти, научившийся владеть ее весами с их неточными, стершимися от употребления гирями.

Говорил старец вовсе не поучающе, скорее подсмеиваясь над собственным тридцатилетним опытом. Говорил, прохаживаясь взад-вперед, будто повторял путь десятилетий. Говорил, обращаясь то к Даху, то к чертополоху, словно это и была вся его публика. Говорил и в открытое окно, где внимали ему два привязанных мула, то прикрывался намеками, то рубил напрямик, точно вспарывая большой мешок. Да мешок-то был пуст. Или с мусором. Тщетное усердие служаки. Перечень поражений. Как он, подобно покойному Опицу, стал дипломатом на службе у разных лагерей. Как он, шваб, стал сперва агентом Пфальца в Англии, а поскольку без шведа все одно не обойтись, то и двойным агентом. И как он, таким вот образом лавируя, все же не достиг цели изощренного своего искусства: не склонил Англию вступиться военной силой за протестантское дело. Смеясь беззубым ртом, Векерлин проклинал английскую гражданскую войну и вечно веселый пфальцский двор, холодную твердость Оксеншерны и саксонское предательство, всех немцев целокупно, особливо же швабов: их скупость, их узость, их чистоплюйство, их лицемерное суесловие. Эта юношеская энергия ненависти ко всему швабскому в старце даже пугала, швабское отравляло в его глазах и растущий немецкий патриотизм.

Не пощадил он и самого себя, прямо назвав всех иреников умствующими дураками, лишь подливающими масло в огонь своими неуклюжими попытками потушить его. Ведь подобно тому, как он тщился вовлечь английские полки в немецкую войну за веру, так же и всюду чтимый Опиц, даже лежа на чумном одре, все еще пытался втянуть католическую Польшу в немецкую мясорубку. Будто, кричал уже Векерлин, мало чужеземных мясников поусердствовало на немецкой бойне — и швед, и француз, и испанцы с валлонцами. Да не в коня добытый их усердием корм!

Под конец своей речи старику Векерлину пришлось сесть. Смеяться он уже был не в силах. Опустошенный, с отсутствующим взглядом, он уже не мог следить за происходящим, за тем, как прочие, громче всех Рист и Мошерош, все больше распаляясь, обращали свою ненависть ко всему чужому, не германскому, в ненависть к своему родному, немецкому. Каждый выплескивал то, что накопилось и наболело. Гнев их походил на стихию. Разгораясь, как пламя, возбуждение сдернуло их со стульев, табуреток и бочек. Они били себя в грудь. Заламывали руки. Кричали друг другу: да где ж она, их Германия, где ее искать? Существует ли она вообще, и если да, то в каком образе?

Когда Герхардт в утешение вопрошавшим заявил, что им, избранникам, даровано будет не земное, но небесное отечество, Грифиус выбрался из свалки и, поискав что-то глазами, ринулся к пустому табурету, схватил горшок с чертополохом, живую эмблему собрания, и мощно воздел его кверху, так что толпа раздалась при виде его угрожающей позы. Разъяренный дикарь, гигант, стенающий Моисей, он, после нечленораздельных клокотаний, проревел: вот сей чертополох, немой, колючий, носимый ветрами, пожираемый ослами, проклинаемый крестьянами, не растение, а исчадие божьего гнева,— вот

он-то и есть их отечество! С этими словами Грифиус грянул оземь чертополох-Германию, и горшок разбился вдребезги.

Такой эффект не удался бы никому другому. Он как нельзя лучше отвечал настроению собравшихся. Положение отечества нельзя было представить с большей наглядностью. Могло показаться, будто теперь-то мы наконец угомонимся, по-немецки радуясь тому, что нашли удачное воплощение нашего горя. К тому же чертополох лежал невредимым посреди земли и осколков. Смотрите, вскричал Цезен, наша родина способна пережить любое падение!

Все глядели на чудо. И лишь теперь, когда компанией завладела детская радость из-за того, что чертополох остался в целости, когда юный Биркен стал присыпать корешки землей, а Лауремберг побежал за водой, лишь теперь, когда собравшиеся утихомирились, но еще не успели заняться праздной болтовней, теперь только заговорил Симон Дах, рядом с которым встал и Даниэль Чепко. Еще во время бурных дебатов и поисков утраченной, незримой или поросшей бурьяном родины оба деловито и прилежно занимались какой-то бумагой, которую перебелил Чепко, а Дах зачитал в качестве окончательного варианта манифеста.

Новый текст был свободен от громоподобных проклятий Риста. Никаких претензий на окончательную истину. Всего лишь просьба собравшихся поэтов ко всем приверженцам мира — внять озабоченности пусть бессильных, но все же обреченных бессмертию мучеников слова. Не называя французов или шведов разбойниками, не выпячивая баварское разорение, даже не упоминая ни одного из враждующих вероисповеданий, авторы текста обращали внимание на возможные опасности, подстерегающие дело мира в будущем: в долгожданный мирный договор могут вкрасться пассажи, из-за которых когда-нибудь вспыхнут новые войны; вожделенный религиозный мир при ущербе терпимости вновь поведет к неистовым распрям; при обновлении старого порядка, сколь оно ни желательно, любыми силами следует избежать того, чтобы возобновлялись старые несправедливости; и наконец, патриотическая забота пиитов: империи грозит такое раздробление, что никто уже не признает в ней отечества, которое некогда называлось немецким.

Сие мирное воззвание в своей последней редакции кончалось упованием на милость божию и без всяких споров было подписано — сначала Дахом и Чепко, потом и остальными, под конец и Логау, после чего подписавшиеся принялись радостно, с жаром обниматься, словно голос их уже был услышан. Наконец-то мы были уверены, что чего-то добились. И дабы придать деянию надлежащий ореол, Рист назвал историческими место, день и час подписания документа.

Впору было ударить в колокола, но зазвонил колокольчик на дверях большой залы — и не по столь важному поводу. Нас сзывали к трапезе, на сей раз делала это не хозяйка, а Грефлингер, который подписал манифест последним, зато успел проследить за тем, как поджарили рыбу из его ночного улова.

Когда пииты двинулись всей гурьбой из большой залы в малую, никто уже не обращал внимания на уцелевший средь осколков чертополох. Все помыслы теперь были о рыбе. Запах ее звал, и мы последовали зову.

Симон Дах, что нес заветную бумагу с собой, должен был теперь продумать заключительные слова, сообразуясь с рыбным блюдом.

22

Мир не знал более благостной трапезы. Рыба как нельзя лучше соответствовала кротким речам, лившимся над длинным столом. Каждый обращался к каждому, говоря спокойно и тихо. Слушали друг друга, не перебивая.

Уже за молитвой, которую Дах под конец поручил своему Альберту, кёнигсбергский органист задал тон напоминанием тех мест из Библии, в коих упомянута рыбная ловля. После сего уже легко было нахваливать белую мякоть голавлей, осторожно отделяемую и от румяной корки, и от скелета; но никто не брезговал и плотвой, что помельче и покостистее. Теперь было видно, как много всего — вместе с голавлями и плотвой также судаки, лини и молоденькая щука — зашло ночью в сеть Грефлингера и попалось на его удочки. Служанки все вносили и вносили рыбу на плоских блюдах, в то время как хозяйка стояла, отвернувшись к окну.

Казалось, рыбины Грефлингера чудесным образом множатся сами собой. Нюрнбержцы — а прежде всех Биркен — уже тешились пасторальными рифмами. За ними и прочие пожелали, если не сразу же, то выждав, в минуту вдохновения, воздать рыбе поэтическую дань. И чистой воде тоже! — вскричал Лауремберг, который вместе с дружками зарекся когда-либо еще — да ни за что на свете! — уверял Мошерош,— налегать на темное пиво. На память им приходили легенды и сказки о заколдованных, сулящих счастье рыбах: сказание о говорящей камбале, например, что исполнила все желания алчной жены рыбака, кроме последнего. Общее благоволение и согласие все укреплялось. Прекрасен был жест Риста, пригласившего своего противника Цезена к себе в Ведель. (Я слышал, как Бухнер похвалил отсутствующего Шоттеля за усердие по нахождению слов.) Негоциант Шлегель собирал на блюдце серебряную и медную мелочь, чтобы отблагодарить служанок; давали все, даже смиренник Герхардт. Когда же старый Векерлин в учтивых выражениях стал просить хозяйку оторваться от окна и пожаловать к столу, дабы пииты могли засвидетельствовать ей — вопреки всему и после всего — свою признательность, все увидели, что стояла Либушка закутавшись в попону, словно и летом ей было зябко. Она ничего не слышала. Продолжала стоять, оборотив к ним ссутулившуюся спину. Кто-то высказал предположение: в мыслях своих она скачет, должно быть, по следам Стофеля.

Заговорили о нем и его зеленой безрукавке. Так как без сравнений обойтись не могли, то юную одинокую щуку уподобили сначала Гельнхаузену, потом приписали покровителю его Харсдёрферу. Делились планами на будущее. Не только издатели — Мюльбен и Эндтер особенно — мечтали разжиться на будущем мире, авторы уже сочиняли или обдумывали тексты для праздничных игрищ во славу его заключения: Биркен держал в уме четырехчастную аллегорию для Нюрнберга, Рист вслед за «Алчущей мира Германией» планировал выпустить «Германию, ликующую о мире», Харсдёрфер не сомневался, что вольфенбюттельскому двору понадобятся либретто балетов и опер. (Согласится ли вот только Шюц удостоить их своей великой музыки?)

Хозяйка все еще казала им сгорбленную под попоной спину. После Бухнера напрасно пытался и Дах переместить Либушку, или Кураж, или на стороне прижитую дочь богемского графа Турна, или кто бы она ни была, за длинный стол к пиитам. Лишь когда одна из служанок (Эльзаба?), подавая на стол и, по обыкновению, болтая при этом, сообщила, что на холме близ Тельгте стали табором цыгане, так что городские ворота заперли, я увидел, как Либушка испуганно вздрогнула. Однако и когда Симон Дах в заключительном, прощальном слове своем возблагодарил и Либушку, ее снова как будто не было с нами.

Он встал, с улыбкой окинул взором длинный стол с холмиками рыбьих скелетов, голых от головы до хвоста, взял в левую руку свернутый в трубочку и уже запечатанный манифест и заговорил, заметно волнуясь. Но потом, после того как с трудом подбирая слова, Дах должным образом выразил печаль по поводу прощания с их дру-

жеским союзом и неизбежного расставания, он, словно сбросив тяжкий груз, стал говорить легко и скорее так, будто легкостью речи хотел снизить значение их встречи, во всяком случае умалить торжественность ее. Он рад, что рыба Грефлингера как-то причастила их всех. Он не знает, удастся ли повторить встречу в обозримое время, хотя кое-кто требует уже сейчас назвать место и день ее проведения. Не обошлось и без досадных неприятностей, конечно, но он не собирается на них задерживаться. Важно, что в целом замысел себя оправдал. Впредь каждый из них может чувствовать себя не столь одиноким. Кому же дома покажется слишком тесно, слишком хлопотно и горестно, слишком мишурно или бездомовно, тот да вспомянет уцелевший чертополох в трактире «У моста», что у тельгтских ворот, где их немецкий язык даровал им и мирные дали, и блеск небосвода, и отечество, и все горести мира. Ни один князь не может сравниться с ними. Их богатства не купишь. Пусть даже захлестнет их ненависть черни, пусть побьют их камнями — и из-под груды их все равно протянется к миру рука, держащая перо. Только им одним на вечное хранение дано то, что можно назвать немецким: «Ибо пребудет в веках всякий стих, согласный с жизнью, друзья мои,— к сему устремимся, покуда отпущено нам краткое время земного пребывания...»

Тут посреди набиравшей силу речи Даха, сулившего бессмертие собравшимся пиитам, посреди фразы его о нетленном стихе и столь же непреходящем воззвании к миру — произнося ее, он потряс свитком — раздался негромкий, но пронзительней любого крика голос хозяйки у окна: «Горим!»

Только после этого прибежали с криком служанки. Наконец и мы — Симон Дах стоял еще в такой позе, будто хотел довести речь до конца — почуяли запах гари.

23

С заднего ската крыши, где покрывавший ее сухой камыш растрепался так, что бахромой свесился к окнам большой залы, огонь, взъярясь, вгрызся в продувной чердак, одним порывом объял там соломенные тюки, солому, разостланную для спанья, связки хвороста и всякий хлам, запрыгал и побежал потом по косым балкам и стропилам, чтобы сверху пробить потолок помещений, обрушился горящими балками и бревнами в большую залу, овладел передним эркером, сбежал по лестнице вниз, захватил спешно покинутые, с открытыми дверями, комнаты по коридору, так что вскоре огненные снопы повалили из всех окон, дабы слиться с полыханием наверху в единой, ввысь устремленной пляске огненной стихии.

Такой эта картина предстала мне, возвышенному Цезену, сатанински мрачному Грифу, такой, хоть и каждый по-своему, увидели ее те, кто теперь поспешил с вещами вниз, во двор и кому прежде уже доводилось видеть в пламени пожара Глогау, Виттенберг или Магдебург. Ни один засов не мог ничего сдержать. Из сеней пламя перекинулось в малую залу, на кухню, в хозяйкину кладовую, в остальные нижние помещения. Огонь один поселился теперь в трактире «У моста»; посаженные с его подветренной стороны липы стояли, как факелы. Несмотря на безветрие, свое дело сделали искры. Грефлингер с помощью Лауремберга и Мошероша едва успел вывести лошадей да выкатить оставшиеся повозки во двор, как занялась огнем и конюшня. Лауремберга при этом зашиб вороной, отчего он впоследствии хромал на правую ногу. Но его стоны и причитания никто не слушал, всем было не до него. И только я видел, как три служанки нагрузили мула узлами с бельем и с кухонной посудой. На другом муле сидела Либушка: повернувшись к пожару спиной, все еще в попоне, невоз-

мутимо, будто ничего не случилось, с дворнягами, визжавшими у ее ног.

Биркен был безутешен: вместе со всей поклажей молодых людей на чердаке остался и его прилежный дневник. Издатель Эндтер лишился пачки книг, которые намеревался сбыть в Брауншвейге. Манифест! — вскрикнул Рист. Где он? У кого? Дах стоял с пустыми руками. Мирное воззвание немецких пиитов было забыто на длинном столе среди рыбьих костей. Логау, против всякого рассудка, рвался назад в малую залу: спасти манифест! — но был удержан Чепко. Так и осталось невысказанным то, чего все равно никто бы не услышал.

Когда же рухнул каркас трактирной крыши и во двор вместе с ним посыпались пылающие головни и искры, все скопище издателей и поэтов подхватило свои пожитки и устремилось к повозкам. О Лауремберге позаботился Шнойбер. Харсдёрфер помог старцу Векерлину. Грифиуса и Цезена, которые как завороженные уставились на огонь, пришлось после напрасных уговоров оттаскивать силой — как пришлось тычками да пинками выводить из транса молящегося Герхардта.

В стороне от них Марта, Эльзаба, Мария погоняли обоих мулов — с поклажей и с восседающей Либушкой. Студиозусу Шефлеру Мария сказала, что путь они держат на холм, к табору. Похоже было, что будущий Силезиус тоже не прочь податься к цыганам. Он уже спрыгнул было с повозки, но Мария отделалась от него католической серебряной цепочкой с изображением тельтской божьей матери. Не простившись и не оглянувшись, Либушка поскакала со своими служанками к Дальнему Эмсу. Шавки ее — теперь было видно, что их четыре,— бежали следом.

Поэты же торопились домой. В трех повозках, целехоньки, добрались они до Оснабрюка, где и распрощались. Поодиночке или группами, как и приехали, отправились мы в обратный путь. Лауремберг задержался у пастора Риста залечивать ушибленную ногу. До Берлина Герхардт доехал вместе с Дахом и Альбертом. Без приключений вернулись домой силезцы. Нюрнбержцы не пожалели усилий на окольный путь, дабы выступить в Вольфенбюттеле. По дороге, в Кётене, с речью выступил Бухнер. Векерлин снова сел на корабль в Бремене. В Гамбург, с целью поселиться там, направился Грефлингер. А Мошерош, Цезен?

Никто не потерялся по дороге, все добрались до дома. Но в том веке собраться еще раз в Тельте или где-нибудь в другом месте нам не пришлось. Я знаю, как недоставало нам дальнейших встреч. Знаю, кем я был тогда. Знаю много всего. Но вот, кто предал огню трактир «У моста», не знаю. Не знаю...

■

ИРВИН ШОУ

Нищий, вор

РОМАН

Перевод с английского Н. ЕМЕЛЬЯННИКОВОЙ и И. ЯКУШКИНОЙ

Книга первая

1

Из записной книжки Билли Эббота (1968)

По словам Моники, я пустое место. Правда, утверждает она это не на полном серьезе. Что же касается меня, то я не считаю Монику пустым местом. Но поскольку я в нее влюблен, то быть объективным трудно. Более подробно об этом дальше.

Однажды она поинтересовалась, что́ я пишу в этой записной книжке. Я ответил, что поскольку, как неустанно твердит наш полковник, мы здесь, в НАТО, на огневом рубеже цивилизации, то грядущим поколениям будет любопытно узнать, что означало быть на огневом рубеже цивилизации в Брюсселе во второй половине двадцатого века. Вдруг какой-нибудь покрытый атомной пылью ученый, роясь в руинах города, наткнется на обугленную по краям, покрытую пятнами засохшей крови (моей собственной) записную книжку и будет благодарен У. Эбботу-младшему за его старания поведать потомкам о том, что представляла собой жизнь простого американского солдата, защищавшего цивилизацию в этой части Европы, рассказать о цене на устрицы в ту пору, о форме и объеме бюста его возлюбленной, о доступных ему развлечениях вроде постельных утех и кражи армейского бензина и так далее.

«И часто ты занимаешься такой ерундой?» — спросила Моника.

«А чем мне еще заниматься?» — возразил я.

«Неужели у тебя нет никаких убеждений?» — полюбопытствовала она.

«Почему же? — сказал я.— Я убежден, например, что плыть надо только по течению. А поэтому, если идет по улице процессия, я поскорее становлюсь в строй и, шагая с другими в ногу, приветствую толпу независимо от того, друзья это или враги».

«В таком случае продолжай свое сочинительство,— сказала Моника.— Только не забудь написать, что ты не истинный представитель своего поколения».

Слово «сочинительство», пожалуй, как нельзя лучше подходит для определения того, чем я занимаюсь. Я вышел из литературной среды. Мои отец и мать, так сказать, труженики пера или, скорей, были тружениками пера. Отец работал на рекламу, то есть творил в той области, которая не пользуется большим уважением ни у писателей, ни у издателей. Тем не менее, каковы бы ни были числившиеся за ним свершения или неудачи, он пришел к ним, сидя за пишущей машинкой. Сейчас он живет в Чикаго и часто, особенно когда пьян, пишет мне. Я незамедлительно отвечаю. Мы большие друзья, поскольку нас разделяют четыре тысячи миль.

Моя мать — общаемся мы предельно мало — раньше сочиняла критические статьи для каких-то безвестных журнальчиков. Сейчас она подвизается в кино. Я вырос под стук пишущих машинок, поэтому мне проще простого фиксировать свои нынешние мысли на бумаге. Развлечений здесь мало, хотя Брюссель лучше, чем Вьетнам, как говорит наш полковник.

© 1977 by Irwin Shaw.

Я играю с полковником в теннис и хвалю его за отличную подачу, хотя в этом он отнюдь не силен. Зато таким манером тоже можно делать карьеру.

Если русские не нанесут по НАТО упреждающий удар, как грозит наш полковник, я сумею продолжить свое «сочинительство». Будет чем заняться, когда затихает жизнь у нас в гараже, которым я заправляю.

Интересно, чем занят сейчас, когда я это пишу, начальник гаража при штабе войск Варшавского пакта, а?

Журналист Александр Хаббел работал в парижском отделении журнала «Тайм». Правда, на этой неделе он мог бы и не вспоминать про работу, потому что взял отпуск и вместе с женой приехал в Антиб. После обеда жена прилегла отдохнуть в номере гостиницы, а он пошел в полицию. Уже три дня ему не давала покоя фамилия, увиденная в «Нис-матэн»,— Джордах. В антибском порту на шестой день после вступления в брак был убит американец по фамилии Джордах. Убийца или убийцы разыскиваются. Пока неясны и мотивы преступления. Джордах, владелец стоявшей у причала в антибском порту яхты под названием «Клотильда», погиб на палубе собственного судна от удара по голове чем-то тяжелым.

Хаббел гордился своей профессиональной памятью, и его раздражало, что он никак не может вспомнить, почему фамилия убитого кажется ему знакомой. Наконец — слава богу! — вспомнил. Когда он работал еще в Нью-Йорке, в одном из номеров «Лайфа» были помещены фотографии десяти восходящих звезд на политическом небосклоне Америки, в том числе некоего Джордаха — Хаббел забыл, как его зовут,— мэра города Уитби в ста милях от Нью-Йорка. Потом припомнилось еще кое-что. Уже после выхода в свет этого номера «Лайфа» в Уитби разразился скандал: во время студенческих беспорядков, когда демонстранты пришли к дому мэра, его жена появилась в дверях пьяная и совершенно голая. Это сумели сфотографировать, и снимок долго ходил у них по редакции.

Однако человек, жена которого не постеснялась выйти голой к толпе улюлюкающих студентов, вполне мог от нее избавиться и жениться на другой, более скромных нравов.

Кроме того, убитый, возможно, просто однофамилец того Джордаха, решил Хаббел, остановившись у светофора. Что общего между яхтой в антибском порту и городом Уитби в штате Нью-Йорк? Тем не менее поинтересоваться стоит. Если это тот самый подававший надежды политический деятель, можно сочинить недурную историю. Хаббел уже пять дней был в отпуске и начал скучать.

В пустой приемной с обшарпанными стенами клевавший носом полицейский сразу оживился, когда Хаббел на отличном французском языке объяснил ему, что он журналист и хотел бы разузнать кое-какие подробности насчет убийства. Полицейский вышел в соседнюю комнату и, вернувшись через минуту, сказал, что шеф готов его принять. По-видимому, в тот день полиция Антиба не была перегружена работой.

Шеф оказался смуглым, сонным, невысокого роста человечком в голубой трикотажной рубашке и помятых хлопчатобумажных брюках. Передний зуб у него сверкал золотом.

— Чем могу служить, мсье? — спросил он.

Хаббел объяснил, что американскую общественность, несомненно, заинтересуют подробности смерти во Франции их соотечественника, особенно если убитый — тот самый Джордах, которого он имеет в виду, личность приметная у себя в стране. Он, Хаббел, и его редакция будут весьма признательны шефу, если тот поможет прояснить обстоятельства случившегося.

Шеф привык иметь дело с французскими журналистами, которые не сомневались, что это убийство — обычное сведение счетов между обитателями порта. Появление же пронырливого с виду сотрудника влиятельного журнала, расследующего гибель своего соотечественника на средиземноморском курорте, куда американцы любят приезжать отдыхать,— это нечто иное. Конечно, шефу было бы куда приятнее, если бы преступника уже арестовали и посадили за решетку, но на данный момент ничего подобного не произошло.

— Имеются ли какие-либо сведения,— спросил Хаббел,— о личности убийцы или мотивах преступления?

— Мы тщательно разрабатываем все версии,— ответил шеф.— Трудимся круглые сутки.

— Есть ли какие-нибудь улики?

Шеф задумался. В кино репортеры всегда отыскивают улики, мимо которых проходит полиция. Кажется, этот американец — человек сообразительный. Может, он и в самом деле сумеет чем-нибудь помочь.

— Невестка мсье Джордаха рассказала мне,— заговорил шеф,— что ночью после своего бракосочетания мсье Джордах был вовлечен в ссору — случилось это в баре под названием «Розовая дверь» в Канне,— в очень бурную ссору с человеком, который известен полиции. Это иностранец, югослав по фамилии Данович. Мы его допросили. У него полное алиби, но нам хотелось бы поговорить с ним вторично. К сожалению, он куда-то исчез. В данный момент мы заняты его поисками.

— В бурную ссору,— повторил Хаббел.— То есть в драку?

— Исключительно жестокую,— подтвердил шеф.— По словам его невестки.

— Причина этой драки известна?

— Невестка говорит, что югослав пытался ее изнасиловать, но ему помешал мсье Джордах.

— Понятно,— протянул Хаббел.— Джордах имел привычку драться в барах?

— Никогда об этом не слышал,— ответил шеф.— Я был лично знаком с мсье Джордахом. Мы с ним иногда выпивали рюмку-другую. По-моему, он был человек уравновешенный. К нему здесь хорошо относились. Врагов у него, насколько нам известно, не было. Однако поверить в то, что в Штатах он был человеком с весом, как вы только что сказали, довольно трудно.

— «Нис-матэн» утверждает, что он был владельцем яхты,— возразил Хаббел.— Это одно уже свидетельствует о том, что человек он был с весом,— усмехнулся он.

— Это была рабочая яхта,— объяснил шеф.— Ее фрахтовали для круизов. Мсье Джордах этим и зарабатывал.

— Понятно,— повторил Хаббел. Да, трудно представить себе, чтобы один из десяти наиболее многообещающих политических деятелей принялся зарабатывать на хлеб насущный перевозкой пассажиров по Средиземному морю, сколько бы раз его жена ни появлялась перед публикой в голом виде. Хаббел начал терять интерес к этой истории.— А не замешана ли тут политика? — с надеждой спросил он.

— Сомневаюсь. Мсье Джордах никогда не занимался политикой. Мы имеем обыкновение собирать сведения о людях, связанных с политикой.

— Наркотики?

— Вряд ли. И в этой области у нас есть информация. Или, по крайней мере, подозрения.

— В таком случае как вы лично могли бы его охарактеризовать? — не сдавался Хаббел, больше по привычке.

— Работяга. Приличный человек.— Очевидно, шеф хотел сказать «славный малый». В устах французского «фараона» эта сдержанная похвала прозвучала чуть снисходительно.— Честный, насколько известно,— продолжал шеф.— Но подружиться мы не успели. Он плохо говорил по-французски. Гораздо хуже вас, мсье.— Хаббел кивком головы поблагодарил за комплимент.— Что же касается моих познаний в английском языке, то они, к сожалению, оставляют желать лучшего.— Шеф смущенно улыбнулся.— Так что долгих и откровенных разговоров мы вести не могли.

— Известно, чем он занимался до приезда сюда?

— Служил в торговом флоте.— Шеф помолчал. Однажды, за стаканом вина, шеф обратил внимание на сломанный нос Джордаха и бесчисленные шрамы, и тот рассказал ему, что был боксером. Но попросил шефа об этом помалкивать. В портовых кабаках разбушевавшиеся от алкоголя здоровяки имели обыкновение проверять свою мускулатуру именно на бывших боксерах. «Я поселился во Франции не для того, чтобы драться,— сказал тогда Джордах.— В этой стране мне не везет в бою. Один раз меня здорово побили на ринге в Париже». И он засмеялся. А после осмотра тела шеф пришел к выводу, что и в последней драке ему тоже порядком досталось.

Собственно говоря, подумал шеф, а почему бы и не рассказать об этом журналисту? Джордаху это не повредит — ему ведь больше не придется пить в портовых кабаках.

— По-видимому, Джордах занимался и профессиональным боксом,— добавил он.— Даже как-то выступал в Париже. Дошел до финала. Где его и нокаутировали.

— Был боксером? — Хаббел снова оживился. Может, удастся дать материал на пару сотен слов в разделе спорта. Если убитый выступал в парижском финале, значит, он был боксером с именем. Публике небезынтересно узнать про убийство американского боксера во Франции. По телексу он передаст в редакцию всю информацию, которую сумеет собрать здесь, а сведения о прошлом Джордаха пусть раскопают в архиве. Все равно в Нью-Йорке любую статью перекраивают на свой лад.— Джордах? — переспросил Хаббел.— Что-то я не помню такого боксера.

— Он выступал на ринге под другой фамилией,— ответил шеф, беря себе на заметку, что ему тоже следует поинтересоваться этим периодом из жизни Джордаха. Профессиональный бокс — это бизнес, куда вечно лезут гангстеры. Может, там и отыщется мотив: нарушенное обещание, несостоявшаяся сделка. Как это он раньше не догадался! — На ринге он был Томми Джорданом.

— А! — отозвался журналист.— Теперь вспомнил. Ну конечно! Я даже помню, что́ о нем писали в газетах. Его считали многообещающим.

— Мне об этом ничего неизвестно,— сказал шеф.— Но, услышав про встречу в Париже, я заглянул в «Экип». По их мнению, он не оправдал возлагавшихся на него надежд.— Нужно поскорее позвонить в Марсель одному менеджеру, у которого связи с milieu [1].— Извините, но мне пора вернуться к своим обязанностям,— добавил он.— Если вас еще что-нибудь интересует, побеседуйте с членами его семьи. С женой, с братом, с сыном.

— С братом? Он здесь?

— Здесь вся семья,— ответил шеф.— Они были все вместе в круизе.

— Вы случайно не знаете, как зовут брата?

— Рудольф. Они из немцев.

Рудольф! Хаббел вспомнил. Того, из «Лайфа», звали Рудольф Джордах.

— Но это было не его бракосочетание? — спросил он.

— Нет,— нетерпеливо ответил шеф.

— А его жена тоже здесь?

— Да. И, учитывая обстоятельства случившегося, она как невестка погибшего сумеет рассказать вам гораздо больше меня...

— Невестка? — вставая, переспросил Хаббел.— Значит, это она была в баре?

— Да. Советую вам поговорить с ней,— сказал шеф.— И если вы услышите что-нибудь такое, что может оказаться нам полезным, не сочтите за труд посетить нас еще раз. А сейчас, к сожалению, я...

— Где ее искать?

— Она живет в отеле «Дю Кап».— Шеф потребовал, чтобы Джин Джордах временно не покидала Антиба, и забрал у нее паспорт. Она может понадобиться следствию, когда найдут Дановича Если найдут. На допросе она была в истерике и не совсем трезвой, поэтому ее рассказ получился запутанным и бессвязным. А потом этот идиот доктор заявил, что она человек неуравновешенный, хроническая алкоголичка, что, если шеф будет продолжать свои расспросы, он за нее не ручается, и сделал ей укол снотворного.— Все остальные сейчас, по-моему, на «Клотильде», которая стоит в гавани. Благодарю вас за проявленный интерес, мсье. Надеюсь, вы не напрасно потратили время.— Он протянул руку.

— Merci bien, monsieur [2],— сказал Хаббел. Он узнал все, что мог, и направился к выходу.

А шеф сел за стол и, подняв телефонную трубку, начал набирать марсельский номер.

Залитое лучами послеполуденного солнца, шло, покачиваясь на средиземноморской волне, небольшое белое судно. Далекий берег казался сложенной из кубиков картинкой — расположившиеся у воды и на холмах бело-розовые особняки на фоне зеленых сосен, оливковых деревьев и пальм. Дуайер, приземистый, мускулистый, с добрыми темными глазами, стоял на носу яхты и плакал. На его белоснежном свитере было оттиснуто название яхты: «Клотильда». Из-за торчащих верхних зубов его

[1] Здесь: с этой средой *(франц.)*.

[2] Большое спасибо, мсье *(франц.)*.

на всю жизнь прозвали Кроликом. Однако, несмотря на его мускулы и матросскую форму, в нем было что-то неискоренимо женственное. «Я не гомик»,— сразу же после знакомства сказал он покойному, прах которого только что высыпали в море. Затуманенными от слез глазами смотрел он на берег. «Погода для богатых»,— вспомнилось ему.

«Верно,— думал Дуайер.— Во всяком случае, такая погода не для нас с ним. Мы сделали ошибку. Не нужно было сюда приезжать».

А в рубке, в таких же, как у Дуайера, хлопчатобумажных штанах и белоснежном свитере, держа руку на руле из полированного дуба и меди, стоял Уэсли Джордах. Он не сводил глаз с клочка земли, на котором возвышалась антибская крепость. Он был не по возрасту высокий, худой, кожа да кости, но сильный, с бронзовым от загара телом и светлыми волосами, которые от яркого солнца и соленой воды местами стали совсем белыми. Как и Дуайер, он думал о человеке, прах которого сам высыпал в море, о человеке, который был его отцом.

— Эх ты, бедняга! — с горечью вырвалось у него.

Ему вспомнился тот день, когда отец, которого он не видел много лет, приехал забрать его из военной школы на Гудзоне, где он с какой-то слепой, необъяснимой, бессмысленной яростью ввязывался в драки с половиной воспитанников независимо от их возраста и роста.

«Запомни, больше ты драться не будешь»,— сказал ему тогда отец.

Уэсли молчал.

«Ты меня слышал?» — сурово спросил отец.

«Да, сэр».

«Не надо называть меня так. Я тебе не сэр, а отец».

«Себе самому нужно было запретить драться»,— думал юноша, не сводя глаз с крепости, в которой, как ему рассказывали, провел ночь Наполеон, арестованный после бегства с острова Эльбы.

На корме, возле поручня, стояли, одетые в траур, никак не сочетавшийся с окружающим миром, Рудольф Джордах и Гретхен Берк, дядя и тетка юноши, брат и сестра убитого, городские жители, непривычные к морю, но зато привычные к трагедии. Эти двое, символизируя собою смерть на фоне залитого солнцем горизонта, стояли поодаль друг от друга, не разговаривали и старались не встречаться взглядами. То, что произошло в этот лазурный летний день, не нуждалось ни в объяснениях, ни в извинениях, ни в слезах.

Женщина — лет сорока с небольшим — была высокой, изящной и стройной, ее черные волосы развевались на ветру, обрамляя матово-бледное, еще не тронутое возрастом, но уже утратившее краски молодости лицо. Красивая в юности, она была красива — только по-другому — и сейчас; горе и чувственность, отражавшиеся на этом лице, были не временным, а постоянным его выражением. Ее чуть прищуренные из-за яркого солнца глаза того синего цвета, который с переменой освещения порой становится фиолетовым, были сухи.

«Этому суждено было случиться,— думала она.— Неминуемо. И нам следовало это понимать. Он-то, наверное, понимал. Пускай подсознательно, но понимал. Все это насилие могло кончиться только насилием. Он был истинным сыном своего отца, единственным блондином в семье, не похожим на своих темноволосых брата и сестру, хотя все трое зачаты на одном и том же ложе».

■ ■ ■

Мужчина тоже был худощавым и аристократически стройным; это была не природная стройность, а приобретенная ценою долгих усилий и тщательно поддерживаемая. Сейчас она еще подчеркивалась превосходно сшитым темным, словно для дипломатического приема, американского покроя костюмом. Он был всего на два года младше сестры, а выглядел гораздо моложе. Что-то обманчиво юношеское было в лице и манерах этого человека, речь и движения которого всегда были рассчитанными и продуманными,— человека, который пользовался большим авторитетом, всю жизнь боролся, одерживал победы и терпел поражения, брал на себя ответственность в любой ситуации, вышел из бедной семьи и сосредоточил в своих руках большое состояние, умел, когда нужно, быть безжалостным, когда полезно — хитрым,

строгим к себе и другим, но когда представлялась возможность — по-своему великодушным. Обида на судьбу, вынудившую его уйти от дел, проявлялась или, скорей, угадывалась в крепко сжатых губах и настороженном взгляде. Он чем-то напоминал еще полного юношеского задора генерала военно-воздушных сил, которого отстранили от командования за допущенную подчиненными офицерами ошибку, в чем его собственной вины могло и не быть.

«Он пошел один,— думал Рудольф Джордах.— Отворил дверь ко мне в каюту, увидел, что я сплю, тихо закрыл дверь и ушел — ушел, чтобы найти свою смерть. Он презрел мою помощь, пренебрег мною, забыв, что я тоже мужчина, ибо решил, если вообще размышлял об этом, что для данной ситуации у меня не хватит мужества».

А внизу собирала свои вещи Кейт Джордах. Сборы были короткими. Поверх других вещей она положила белый свитер с оттиснутым на нем названием судна. Томас расхохотался, увидев впервые, как растянулись буквы на ее полной груди,— и васильковое платье, которое он купил ей к свадьбе всего неделю назад.

Она заставила Томаса жениться на ней. Именно заставила. Они были счастливы, но когда она, добропорядочная англичанка, воспитанная, как и полагается низшему сословию, в духе послушания, поняла, что беременна... Отсюда и свадьба. А не будь свадьбы, у этой расфуфыренной, болтливой бабы, жены Рудольфа, не было бы повода напиться и связаться с сутенером-югославом, попытавшимся содрать с нее шикарные розовые брюки; никому бы не пришлось ее защищать, и человек, которому муж этой суки и в подметки не годится, был бы нынче жив и здоров.

«Перестань,— велела себе Кейт.— Прекрати сейчас же».

Она с силой захлопнула крышку чемодана, уселась на краю койки, сложив на коленях свои быстрые умелые руки,— в ее крепком загорелом теле уже было заметно присутствие ребенка,— и в последний раз оглядела тесную каюту, за открытым иллюминатором которой привычно шипела вода.

«Томас,— думала она.— Томас. Томас».

«Кого звали Клотильдой?» — как-то спросила она.

«Королеву Франции. И еще женщину, которую я знал, когда был мальчишкой. У вас кожа пахнет одинаково».

Джин, жены Рудольфа, не было на яхте, державшей курс к французскому берегу. Она сидела в саду при отеле и смотрела, как ее дочь играет с молоденькой няней, которую Рудольф нанял ухаживать за ребенком, пока она, Джин, как выразился Рудольф, не придет в состояние, позволяющее ей самой заниматься Инид. «Когда это будет? — спрашивала себя Джин.— Через два дня, через десять лет, а может, и никогда?»

Она была в брюках и свитере. Подходящего платья у нее с собой не оказалось, и Рудольф облегченно вздохнул, когда она сказала, что не поедет на похороны. А она даже представить себе не могла, как снова ступит на борт «Клотильды» и выдержит осуждающие взгляды жены, сына и близкого друга убитого.

Утром она посмотрела на себя в зеркало и была потрясена, увидев, как изменилось за последние несколько дней ее хорошенькое девичье личико.

Казалось, вся ее кожа натянута до предела, словно на каком-то невидимом барабане, и вот-вот лопнет, а нервы вырвутся наружу и начнут сыпать искрами, как электрические провода, рваться, испуская смертельные разряды.

Доктор дал ей валиум, но валиум уже давно не помогал. Если бы не ребенок, она бы влезла на скалу и бросилась в море.

И, сидя на скамье в тени деревьев, где пряно пахло хвоей и нагретой солнцем лавандой, она сказала себе: «Я разрушаю все, к чему прикасаюсь».

■ ■ ■

Хаббел сидел в кафе на центральной площади и размышлял над тем, что узнал от начальника полиции. Разумеется, начальник рассказал далеко не все, что знал, но на полную откровенность рассчитывать не приходится, особенно когда полиция имеет дело с запутанным убийством. «Невестка погибшего сумеет рассказать вам гораздо больше меня»,— сказал начальник. Невестка. Голая жена многообещающего

молодого мэра. Ей-то наверняка найдется место в журнале. А гавань пока подождет.

Он расплатился за кофе, подошел к стоянке такси, сел в машину и велел ехать в отель «Дю Кап».

Мадам Джордах в номере нет, сказал портье. Он видел, что она вышла в сад вместе с ребенком и няней. Хаббел спросил, есть ли в отеле телекс, и узнал, что есть. Нельзя ли попозже им воспользоваться, спросил он, на что портье после минутного замешательства ответил, что можно. Его замешательство Хаббел справедливо истолковал как нежелание оказать услугу бесплатно. Ничего, заплатим, «Тайм» от этого не обеднеет. Он поблагодарил портье и пошел на террасу, откуда был выход к длинной аллее, ведущей через сад к пляжу и ресторану. Вспомнив комнатку в небольшой шумной гостинице на шоссе, где сейчас отдыхала его жена, он испытал укол зависти. «Тайм» платил неплохо, но на отель «Дю Кап» этих денег не хватало.

Он спустился по ступенькам в благоухающий сад и сразу же увидел маленькую девочку в белом купальном костюме, которая перебрасывалась большим цветным мячом с молодой девицей. А поодаль на скамье сидела женщина в брюках и свитере. Подобная идиллия плохо вязалась с убийством.

Остановившись на секунду будто полюбоваться клумбой с цветами, он медленно приблизился к ним и улыбнулся ребенку.

— Bonjour,— сказал он.— Добрый день!

— Bonjour,— ответила девочка, но женщина на скамье промолчала.

Хаббел заметил, что она прехорошенькая, с отличной спортивной фигурой, но лицо у нее заплаканное и бледное, а под глазами темнеют круги.

— Миссис Джордах? — обратился он к ней.

— Да? — Глухой и равнодушный голос, тупой взгляд.

— Я из журнала «Тайм».— Он предпочитал говорить правду и не стал прикидываться приятелем ее мужа или убитого, а то и просто американским туристом, который, услышав про их беду, пожелал по-американски откровенно выразить ей свое участие. Пусть этими фокусами занимаются, расталкивая друг друга локтями, начинающие репортеры.— Меня прислали написать статью о вашем девере.— Тоже, разумеется, ложь, но, согласно его кодексу чести, позволительная. Если работа поручена, люди часто считают себя обязанными хоть чем-нибудь да помочь.

Женщина молча смотрела на него потухшими глазами.

— Начальник полиции сказал, что вы можете сообщить мне кое-какие подробности о случившемся. Дать, так сказать, закулисную информацию.

Слово «закулисная» таило в себе некий туманный намек на то, что информация эта ни в коем случае не будет опубликована, что она нужна лишь для того, чтобы помочь достойному всяческого доверия журналисту избежать ошибок при написании статьи.

— Вы беседовали с моим мужем? — спросила Джин.

— Я еще не имел чести с ним познакомиться.

— «Не имел чести познакомиться»,— повторила Джин.— Хорошо бы и мне в свое время не иметь такой чести. И он, держу пари, думает точно так же.

От того, с какой яростью это было произнесено, Хаббел растерялся не меньше, чем от смысла сказанного.

— В полиции вам объяснили, почему именно я могу дать эти сведения? — хриплым голосом резко спросила женщина.

— Нет,— снова солгал Хаббел.

Джин вдруг встала.

— Тогда расспросите моего мужа, расспросите всю его чертову семейку! Только оставьте меня в покое.

— Позвольте задать вам один лишь вопрос, миссис Джордах,— сказал Хаббел. В горле у него застрял комок — Вы намерены привлечь к судебной ответственности человека, который напал на вас?

— А что от этого изменится? — тупо спросила она и тяжело опустилась на скамью, не сводя глаз с ребенка, бегавшего за мячом по залитой солнцем поляне.— Уходите. Прошу вас, уходите.

Хаббел вылез из такси и вошел на территорию порта. Не очень-то подходящее место для смерти, подумал он, направляясь в контору начальника порта, чтобы уз-

нать, у какого причала швартуется «Клотильда». Начальник порта, видавший виды старик с трубкой в зубах, нежился в лучах послеполуденного солнца.

Он показал трубкой на медленно входившую в порт белую яхту.

— Вот она. Придется ей некоторое время постоять. Поврежден гребной винт и вал. Вы американец?

— Да.

— Жуть что случилось, а?

— Да,— согласился Хаббел.

— Его прах только что высыпали в море,— объяснил начальник.— Недурное место для погребения моряка! Сам бы не возражал, чтоб меня похоронили в море.— Даже в разгар сезона начальник порта не спешил закончить беседу.

Поблагодарив его, Хаббел обошел территорию порта и уселся на опрокинутую плоскодонку возле того причала, куда входила «Клотильда». На корме стояли две фигуры в черном, позади них трепетал на ветру американский флаг. На носу колдовал над цепью приземистый мускулистый человек, а рослый светловолосый юноша крутил в рубке рулевое колесо, и судно кормой медленно приближалось к причалу. Как только затих стук двигателя, юноша, выбежав на корму, бросил канат матросу на берегу, а приземистый, тоже выскочив на корму, ловко спрыгнул на причал и поймал брошенный ему юношей второй канат. Когда яхта была надежно привязана, приземистый одним прыжком вновь оказался на палубе, где они с юношей без единого слова умело и проворно установили сходни. Двое в черном, чтобы не мешать, ушли с кормы.

Понаблюдав за такой кипучей деятельностью, чувствуя себя неуклюжим и тяжеловесным, Хаббел поднялся с плоскодонки и зашагал вверх по сходням. Юноша насупясь смотрел на него.

— Мне хотелось бы поговорить с мистером Джордахом,— сказал Хаббел.

— Я Джордах,— ответил парень. У него был по-взрослому низкий голос.

— По-моему, мне нужен вон тот джентльмен,— возразил Хаббел, указывая на Рудольфа.

— Слушаю.— Рудольф подошел к сходням.

— Мистер Рудольф Джордах?

— Да.— Коротко.

— Я из журнала «Тайм»...— Хаббел увидел, что лицо его собеседника застыло.— Я очень сожалею о случившемся...

— Да? — нетерпеливо и вопрошающе.

— Не хотелось бы обращаться к вам в такую минуту, но...— Хаббел почувствовал себя неловко из-за того, что приходилось разговаривать на расстоянии, да еще пробиваясь сквозь невидимую стену явной неприязни со стороны юноши, а теперь к тому же и мужчины.— Но не позволите ли вы мне задать вам несколько вопросов относительно...

— Поговорите с начальником полиции. Это дело в его ведении.

— Я уже разговаривал с ним.

— Значит, вам известно столько же, сколько и мне, сэр,— сказал Рудольф и ушел. На лице юноши играла холодная улыбка.

Хаббел постоял еще с минуту, раздумывая, не ошибся ли он когда-то в выборе профессии, затем, пробормотав в пространство «извините», ибо не был способен на большее, повернулся и пошел к выходу с территории порта.

Когда он возвратился к себе в гостиницу, его жена, сидя на балконе, усердно загорала. Он ее очень любил, но не мог не заметить, как нелепо она выглядит в бикини.

— Где ты был весь день? — спросила она.

— Собирал материал для статьи.

— А я-то надеялась, что ты наконец отдохнешь.— вздохнула она.

— Я тоже.— сказал он, вынул портативную пишущую машинку и, сняв пиджак, принялся за работу.

2

Из записной книжки Билли Эббота (1968)

Телеграмма от матери пришла на войсковое почтовое отделение. «Погиб дядя Том,— говорилось в телеграмме.— Постарайся приехать в Антиб на похороны. Мы с дядей Рудольфом остановились в отеле «Дю Кап». Целую. Мама».

Дядю Тома я видел один раз в жизни, когда еще мальчишкой прилетел из Калифорнии в Уитби на похороны бабушки. Похороны, оказывается, очень способствуют знакомству с родственниками. Жаль, что дядя Том погиб. В ту ночь, что нам довелось провести вместе в доме дяди Рудольфа, он мне понравился. На меня произвело большое впечатление, что у него был при себе пистолет. Он думал, что я сплю, вынул пистолет из кармана и положил в ящик ночного столика. Чем дал мне пищу для размышлений во время похорон на следующий день.

Если уж моему дяде суждено было погибнуть, то я предпочел бы, чтобы погиб Рудольф. Во-первых, мы с ним никогда не дружили, а как только я стал старше, он вежливо дал мне понять, что не одобряет ни моего поведения, ни моих взглядов на общество, которые, между прочим, с той поры не очень-то изменились. «Выкристаллизовались»,— сказал бы мой дядюшка, если бы дал себе труд их изучить. Во-вторых, он богат и, вполне возможно, не забыл бы про меня в своем завещании, если и не по причине особой привязанности ко мне, то из братской любви к моей матери. Что же касается Томаса Джордаха, то, судя по всему, он не из тех, от кого после смерти остается состояние.

Я показал телеграмму полковнику, и он разрешил мне поехать на десять дней в Антиб. В Антиб я не поехал, но послал телеграмму, в которой выразил свое соболезнование и сообщил, что на похороны меня не отпускают.

■ ■ ■

— К сожалению, нам пора побеседовать о том, о чем мы пока избегали говорить,— сказал Рудольф.— О наследстве. Как ни тягостны разговоры о деньгах, надо решить, что делать дальше.

Они все собрались в кают-компании «Клотильды». На Кейт было темное платье, явно старое и теперь тесное, у ног ее стоял потрепанный чемодан из искусственной кожи. Стены кают-компании были выкрашены в белый цвет с голубой каймой, иллюминаторы прикрыты голубыми занавесками, а на переборках висели старинные гравюры с изображением парусников — Томас купил их в Венеции. Присутствующие не сводили глаз с чемодана, но никто не проронил о нем ни слова.

— Кейт, Кролик,— обратился к ним Рудольф,— вы не знаете, Том оставил завещание?

— Мне он об этом ничего не говорил,— ответила Кейт.

— И мне тоже,— сказал Дуайер.

— А тебе, Уэсли?

Уэсли молча покачал головой.

Рудольф вздохнул: Том до конца остался верен себе. Семейный человек, сын, беременная жена — и не удосужился составить завещание. Он, Рудольф, первое свое завещание отнес в адвокатскую контору двадцати одного года от роду и с тех пор переписывал его раз пять-шесть, в последний раз — когда родилась Инид. А теперь, поскольку Джин все больше и больше времени проводит в клиниках, лечась от алкоголизма, он обдумывает новый вариант.

— А сейфа в банке он не арендовал?

— Я об этом не слышала,— отозвалась Кейт.

— А вы, Кролик?

— Точно, нет.

— У него были ценные бумаги?

Кейт и Дуайер недоуменно переглянулись.

— Ценные бумаги? — переспросил Дуайер.— А что это такое?

— Акции, облигации.— На каком свете живут эти люди?

— А! — отозвался Дуайер.— Том считал это одним из способов обманывать трудовой люд.— «Пусть такими делами занимается мой паразит-братец»,— добавлял он, но было это еще до того, как в семье воцарился мир.

— Значит, ценных бумаг тоже нет,— подытожил Рудольф.— Тогда куда же он девал деньги? — Он старался не показывать своего раздражения.

— У него были вклады в двух банках,— ответила Кейт.— Здесь, в Антибе, на обычном вкладе — франки, а в Женеве на срочном вкладе — доллары. Он предпочитал, чтобы ему платили в долларах. Правда, поскольку мы жили во Франции, он не

имел права открывать счет в Швейцарии, но беспокоиться об этом не стоит. Никто этим никогда не интересовался.

Понятно, кивнул Рудольф. Оказывается, его брат был не совсем лишен практической сметки.

— Сберегательную и чековую книжки и последние отчеты из местного банка вы найдете в ящике под его койкой,— сказала Кейт.— Уэсли, сходи, пожалуйста...

Уэсли вышел из кают-компании.

— Кролик,— обратился Рудольф к Дуайеру,— скажите, как Томас вам платил?

— А он мне не платил,— ответил Дуайер.— Мы были партнерами и в конце года всю выручку делили пополам.

— Ваш договор, или соглашение, существовал на бумаге?

— Нет,— ответил Дуайер.— А зачем нужны были бумаги?

— Кому принадлежит яхта? Только ему или вам обоим? Или ему и Кейт?

— Мы поженились всего пять дней назад, Руди,— сказала Кейт.— Для серьезных дел у нас еще времени не было. «Клотильда» принадлежит Тому Документы в том же ящике. Вместе со страховым полисом на судно и прочими бумагами.

— Я был у адвоката...— снова вздохнул Рудольф.

Еще бы, думала Гретхен. Она стояла у двери, смотрела на палубу и размышляла над телеграммой от Билли. Телеграмма была краткой, сухой и почти официальной, словно ее послал вежливый, но совершенно посторонний человек. Она, конечно, плохо разбиралась в армейских порядках, но не сомневалась, что солдату положен отпуск на похороны. Она звала Билли и на свадьбу Тома с Кейт, но он ответил, что слишком занят организацией передвижения армейских и штабных машин по дорогам Бельгии к Армагеддону, чтобы танцевать на свадьбах полузабытых родственников. Она тоже, наверное, пришла ей в голову горькая мысль, входит в число этих полузабытых родственников. «Ладно, пусть веселится в Брюсселе. Достойный сын своего отца». И попыталась снова сосредоточить внимание на брате, терпеливо старавшемся распутать клубок людских судеб. Еще бы, конечно, Руди тут же побежал к адвокату. Смерть — это уже по части законников.

— ...У французского адвоката,— продолжал Рудольф.— который, к счастью, хорошо говорит по-английски. Мне рекомендовал его управляющий нашего отеля. Адвокат разъяснил мне, что хотя вы все живете во Франции, тем не менее, поскольку ваш дом на воде, а не на суше — согласно французскому праву, плавающее под американским флагом судно является территорией Америки,— то лучше всего обратиться к американскому консулу в Ницце. Есть ли на этот счет возражения?

— Действуйте, как находите нужным, Рудольф.— откликнулась Кейт.

— Я тоже на все согласен,— сказал Дуайер. Голос у него был тоскливый, как у мальчишки, которого вызвали к доске решать задачу в ту минуту, когда за окном идет игра в бейсбол.

— Сегодня же постараюсь поговорить с консулом,— пообещал Рудольф.— Посмотрим, что он посоветует.

Вошел Уэсли, принес сберегательную и чековую книжки и банковские отчеты за последние три месяца.

— Можно мне взглянуть? — спросил Рудольф у Кейт.

— Вы его брат.

Вечно люди стараются переложить всю ответственность на Руди, подумала Гретхен. Рудольф взял у Уэсли книжки и бумаги. Проглядел баланс местного банка. На счету оставалось немногим более десяти тысяч франков. Около двух тысяч долларов, пересчитал Рудольф. Потом открыл сберегательную книжку.

— Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать два доллара,— объявил он. Его удивило, что Томас сумел накопить такую сумму.

— Больше я ни о чем не знаю,— сказала Кейт.— По-моему, это все его, так сказать, состояние.

— И еще яхта,— напомнил Рудольф.— Что будем делать с ней?

На минуту в каюте воцарилось молчание.

— Что касается меня,— мягко и спокойно отозвалась Кейт, поднимаясь с места,— то я, например, знаю, что буду делать. Я ухожу с яхты. Сейчас же.— Она одернула подол старого, тесного платья, стараясь прикрыть пухлые, в ямках, загорелые колени.

— Подождите, Кейт,— запротестовал Рудольф,— мы должны что-то решить.

— Я заранее согласна со всем, что решите вы,— сказала Кейт.— Но оставаться на яхте еще одну ночь не намерена.

Милая простая женщина, которая крепко стоит на земле обеими ногами, думала Гретхен. Навечно распрощалась с мужем и уходит, не желая извлекать пользу из яхты, которая служила ей кровом, кормила и поила ее, стала местом, где она обрела свое счастье.

— Куда вы уходите? — спросил Рудольф.

— Для начала в гостиницу,— ответила Кейт.— А там будет видно. Уэсли, помоги мне, пожалуйста, донести чемодан до такси.

Уэсли молча взял чемодан.

— Я позвоню вам из гостиницы, Руди, как только буду в силах разговаривать,— сказала Кейт.— Спасибо за все. Вы человек хороший.— Она поцеловала его в щеку — безмолвный жест благодарности и прощения одновременно — и вслед за Уэсли прошла мимо Гретхен и вышла из кают-компании.

Рудольф опустился на стул и устало потер глаза. Гретхен подошла к нему и ласково тронула его за плечо. Ласка, давно знала она, не исключает ни осуждения, ни даже презрения.

— Не расстраивайся так, Руди,— сказала она.— За один день чужую судьбу не решишь.

— Я говорил с Уэсли,— раздался голос Дуайера.— Кейт предупредила его, что уезжает. Он хочет остаться со мной на «Клотильде». На первое время, по крайней мере. Хотя бы до тех пор, пока мы не приведем в порядок гребной вал и винт. Я за ним присмотрю, не беспокойтесь.

— Пусть остается,— согласился Рудольф. Он встал, чуть ссутулившись, словно взвалил себе на плечи тяжелую ношу.— Уже поздно. Попробую-ка я добраться до Ниццы, пока в консульстве еще работают. Тебя довезти до отеля, Гретхен?

— Нет, спасибо,— отказалась Гретхен.— Я еще немного побуду здесь, мы с Кроликом выпьем. Может, и не по стаканчику, а по два.— Не стоит в такой день оставлять Дуайера одного.

— Как угодно,— отозвался Рудольф. Он положил чековую и сберегательную книжки на стол.— Если увидишь Джин, скажи ей, что я не вернусь к ужину.

— Хорошо,— пообещала Гретхен.

Разговаривать с Джин Джордах в такой день тоже не стоит, подумала она.

— Посидим лучше на палубе,— предложила Гретхен Дуайеру, когда Рудольф ушел. Кают-компания, еще недавно казавшаяся уютной, вдруг обернулась зловещей бухгалтерией, где человеческие судьбы были занесены в гроссбухи, где живые люди превратились в цифры, в кредит и дебет.

Ей уже довелось пережить нечто подобное. Когда в автомобильной катастрофе погиб ее муж, завещания тоже не нашли. Вполне возможно, что Колин Берк, который за всю свою жизнь никого не ударил, жил в окружении книг, пьес и сценариев, был вежлив и тактичен в общении со сценаристами и актерами, с которыми ему приходилось работать и которых он часто ненавидел лютой ненавистью,— вполне возможно, что он имел гораздо больше общего с ее полуграмотным и не знавшим управы братом, чем на первый взгляд могло показаться. А поскольку завещания не было, то, когда начали делить оставленное Колином наследство, возникла неразбериха. Появилась бывшая жена, получавшая до той поры алименты, выяснилось, что на дом существует закладная, под гонорары взят аванс. Вмешались адвокаты, на банковский счет наложили арест. И вот тогда, как и сейчас и как всегда, все уладил Руди.

— Пойду налью,— сказал Дуайер.— Спасибо, что не ушли. Очень уж трудно оставаться одному после всего, что нам с Томом довелось пережить. А теперь нет и Кейт. Говорят, от женщины на судне одна беда. В особенности когда мужчины столько лет были друзьями и партнерами. Ан нет, только не от Кейт.— У Дуайера чуть заметно дрожали губы.— Наша Кейт — человек что надо, верно?

— Лучше не бывает,— отозвалась Гретхен.— Налейте мне чего-нибудь покрепче, Кролик.

— Виски?

— И побольше льда, пожалуйста.— Она прошла вперед, туда, где за кают-компанией и рулевой рубкой их не было видно с набережной. Ей уже порядком надоели

скорбные физиономии портовых приятелей Тома, Дуайера и Кейт, которые считали своим долгом подняться к ним на борт и выразить соболезнование. Эти люди были искренне огорчены. В собственном же огорчении она, по правде говоря, сомневалась.

На носу, где медь была начищена до блеска, палуба из тикового дерева отмыта добела, а канаты сложены аккуратно, ей открылась привычная картина, завороживша я ее еще в тот первый день: гавань, лес мачт, тысячи людей — каждый неторопливо и добросовестно занимается своим делом, одним из тех, что составляют круг повседневных обязанностей человека, который не представляет себе жизни без моря. Даже теперь, после всего, что случилось, она не могла налюбоваться спокойной красотой этого зрелища.

Сзади, бесшумно ступая босыми ногами, подошел Дуайер. В руках он держал два стакана. Один стакан он протянул ей. Хмуро улыбнувшись, она подняла стакан, словно провозглашая тост. За весь день она ничего не пила и не ела, и сейчас от первого глотка у нее защипало язык.

— Я обычно пью что-нибудь полегче,— сказал Дуайер,— но, может, действительно пора перейти на виски.— Он делал маленькие глотки, привыкая к новому вкусу.— Я хотел сказать вам,— продолжал он,— что ваш брат Руди — человек необыкновенный. Видать, за что ни возьмется, обязательно доведет до конца.

— Пожалуй,— согласилась Гретхен. Подобная характеристика тоже имеет основание.

— Без него мы бы совсем увязли...

Ни в чем бы мы не увязли, подумала Гретхен, если бы Руди давал жене меньше воли и сидел бы с ней в другом полушарии.

— Без него нас обвели бы вокруг пальца,— настаивал Дуайер.

— Кто?

— Законники,— неопределенно ответил Дуайер.— Судовые маклеры, адвокаты. Все, кому не лень.

Вот человек, думала Гретхен, который, когда в море разыгрывается шторм, несет свои обязанности, не ведая страха даже на исходе сил; он сумел выжить в обществе жестоких и буйных людей, но при виде клочка бумаги, при упоминании о власть имущих на суше чувствует себя совершенно беспомощным, словно явился с другой планеты. Сама Гретхен всю свою сознательную жизнь провела среди людей, которые имели дело с бумагами и в конторах чувствовали себя так же уверенно и твердо, как индеец в лесу. А ее покойный брат, по-видимому, тоже с самого рождения принадлежал к инопланетянам.

— Меня беспокоит только Уэсли,— сказал Дуайер.

Не собственная судьба, думала она, беспокоит этого человека, который не понимает, зачем должен существовать договор на бумаге, когда можно просто разделить все поровну, и который даже не имеет права стоять сейчас на этой отмытой добела палубе красивой яхты, где он трудился много лет.

— Пусть Уэсли вас не волнует,— сказала она.— Руди о нем позаботится.

— А если Уэсли не захочет? — спросил Дуайер, делая очередной глоток.— Он мечтает быть таким, как его отец. Порой, когда смотришь на него, становится просто смешно — так он старается подражать походке отца, его речи, манерам.— Он отхлебнул побольше, вздохнул и продолжал: — По ночам, в море ли мы или в порту, они забирались в рубку и беседовали. Уэсли задавал вопросы, а Том не спеша, обстоятельно отвечал. Один раз я спросил у Тома, о чем они так подолгу беседуют. Том засмеялся: «Парень выспрашивает у меня про мою жизнь, а я рассказываю. Наверное, хочет наверстать те годы, когда некого было расспрашивать. Старается понять, что́ я собой представляю. Я тоже когда-то интересовался своим отцом, только вместо ответа получил пинок в зад». Из слов Тома,— сдержанно добавил Дуайер,— я понял, что между ним и вашим отцом большой любви не было, а?

— Пожалуй,— согласилась Гретхен.— Он был не очень ласковый человек, наш отец. И не умел любить. Если и была в нем любовь, то лишь к Рудольфу.

— Ох, уж эти се́мьи! — вздохнул Дуайер.

— Да, се́мьи,— повторила Гретхен.

— Я спросил у Тома, какие же вопросы задает ему Уэсли,— продолжал Дуайер.— «Обычные,— сказал мне Том.— Каким я был в детстве? Что представляли собой мои брат и сестра?» То есть вы и Руди. «Как я стал боксером, а потом матросом в торговом флоте? Когда впервые переспал с девицей? Что собой представляли дру-

гие женщины, с которыми я имел дело, в том числе и его чертова мамаша...» Я спросил у Тома, говорит ли он парню правду. «Только одну правду,— ответил Том.— Я современный отец. Рассказываю, откуда берутся дети, и все такое прочее». Он был не без юмора, наш Том.

— Могу себе представить,— усмехнулась Гретхен.

— «Скроешь правду — испортишь ребенка»,— как-то сказал мне Том. Порой он вдруг говорил так, будто когда-то чему-то учился. Хотя на самом деле был человеком невежественным и к образованию относился с большим недоверием. Может, мне не следовало бы говорить вам об этом,— сумрачно добавил Дуайер, встряхивая остатки льда в стакане,— но он обычно приводил в пример вашего брата Руди. «Посмотри на Руди,— говорил он.— Он получил все образование, какое способен впитать в себя человеческий мозг, а чем кончил? Выжат, как лимон, стал посмешищем в своем городе после того, что выкинула его пьяная жена, а теперь сидит и не знает, как провести остаток жизни».

— Я, пожалуй, выпью еще,— сказала Гретхен.

— Я тоже,— отозвался Дуайер.— Виски начинает мне нравиться.— Он взял у нее стакан и пошел на корму в кают-компанию.

Гретхен задумалась над услышанным. Оно больше говорило о самом Дуайере, чем о Томе или Уэсли. Вся его жизнь, по-видимому, была связана с Томом. Он, наверное, сумел бы слово в слово повторить все, что Том ему говорил с начала и до конца их знакомства. Будь Дуайер женщиной, можно было бы предположить, что он влюблен в Тома. Бедный Дуайер, ему, вероятно, суждено горевать больше всех. Судьба Уэсли, по правде говоря, ее не очень беспокоила. Когда она впервые поднялась на борт яхты, он показался ей здоровым юношей, умеющим себя прилично вести, и только. После смерти отца он замкнулся, искал уединения, а лицо у него сделалось непроницаемым. Руди позаботится о нем, сказала она Дуайеру. Но теперь она была не очень-то уверена, что Руди или кто-либо другой способен это сделать.

Вернулся Дуайер. Выпитое виски уже давало себя знать. Чуть кружилась голова, все заботы куда-то отодвинулись. Такое состояние куда приятней, чем те ощущения, которые владели ею в последнее время. Может, Джин со своими припрятанными бутылками не так уж и глупа. И Гретхен с наслаждением отпила из вновь наполненного стакана.

А вот Дуайер выглядел, наоборот, озабоченным. Он стоял, прислонившись к поручням, и, словно решая какую-то трудную проблему, возникшую перед ним в кают-компании, пока он наполнял стаканы, терзал нижнюю губу торчащими вперед зубами.

— Может, мне не следовало бы говорить это вам, миссис Берк...

— Просто Гретхен.

— Спасибо, мэм. Но мне кажется, что с вами можно быть откровенным. Руди— прекрасный человек. Я восхищаюсь им, в нашей ситуации лучшего друга не пожелаешь... но он не из тех, с кем можно поговорить. Поговорить по-настоящему. Вы меня понимаете?

— Да,— ответила она,— понимаю.

— Он прекрасный человек, как я уже сказал,— неловко продолжал Дуайер. Рот у него дергался.— Но он не такой, как Том.

— Не такой,— согласилась Гретхен.

— Уэсли говорил со мной. Он не желает иметь ничего общего с Руди. И с его женой. Что, принимая во внимание случившееся, вполне естественно для простого смертного, правда?

— Пожалуй,— подтвердила Гретхен.— Принимая во внимание случившееся.

— Если Руди начнет нажимать на парня — с самыми лучшими намерениями, не сомневаюсь,— будет беда. Большая беда. Трудно даже сказать, на что парень способен.

— Верно,— согласилась Гретхен. Раньше ей это и в голову не приходило, но, услышав слова Дуайера, она тотчас поняла, что он прав.— Но что можно сделать? Кейт ему не мать, да у нее и своих забот хватает. Остаетесь только вы.

— Я? — грустно усмехнулся Дуайер.— Я не знаю, где буду завтра. Единственное, в чем я разбираюсь, это в судах. И потому на следующей неделе могу очутиться в Сингапуре. А через месяц — в Вальпараисо. Какой из меня отец...

— Что же вы предлагаете?

— Я внимательно наблюдал за вами,— сказал Дуайер,— хотя вы и проявили ко мне не больше интереса, чем к неодушевленному предмету...

— Перестаньте, Кролик,— смутилась Гретхен, потому что почти такая же мысль пришла ей в голову несколько минут назад.

— Я не обижаюсь на вас и не собираюсь делать из этого никаких выводов, мэм...

— Гретхен,— механически поправила она.

— Гретхен,— послушно повторил он.— Но после того, как все это случилось... И теперь, когда вы остались со мной и позволили мне трепать языком... Я увидел, что вы человек настоящий. Я не хочу сказать, что Руди — не человек,— поспешно добавил Дуайер,— просто он не из тех, кого Уэсли считает людьми. А его жена...— Дуайер замолчал.

— Не будем говорить про его жену.

— Если бы *вы* подошли к Уэсли и прямо и честно сказали ему: «Поедем со мной», он бы согласился. Он понял бы, что вы такая женщина, которая может заменить ему мать.

Это что-то новое, подумала Гретхен: сыновья выбирают матерей. Неужели эволюция никогда не завершится?

— Вот меня-то уж никак нельзя считать образцовой матерью,— сухо сказала она. Мысль об ответственности за этого долговязого угрюмого подростка, унаследовавшего, конечно, необузданный нрав Тома, напугала ее.— Нет, Кролик, боюсь, из этого ничего не выйдет.

— А я-то надеялся,— сразу остыв, сказал Дуайер.— Уж очень мне не хотелось оставлять Уэсли без призора. Что бы он сам про себя ни думал, а по правде говоря, он еще совсем ребенок и один жить не может. Уэсли Джордаху суждено пережить еще немало треволнений.

Она не могла не улыбнуться слову «треволнений».

— Пинки Кимболл, механик с «Веги»,— продолжал Дуайер,— тот самый, который встретил миссис Джордах с югославом в ночном баре, сказал мне, что Уэсли прямо преследует его. Просит помочь найти этого югослава... Я, может, ошибаюсь, но мне кажется, и Пинки со мной согласен, что Уэсли задумал отомстить за смерть отца.

— О господи! — вырвалось у Гретхен.

— Когда смотришь на все это,— и Дуайер решительным жестом обвел притихшую гавань, зеленые холмы, старую крепость с ее полуразвалившимися живописными стенами,— то невольно думаешь о том, какие здесь царят мир и благодать. А на самом деле в этих краях, от Ниццы до Марселя, не меньше убийц, чем в любом другом месте на земном шаре. Из-за проституток, наркоманов и казино с рулеткой здесь такая стрельба и поножовщина, что деваться некуда, да и молодчиков, готовых за десять тысяч франков или просто так прикончить родную мамашу, тоже хватает. Со слов Пинки Кимболла я понял, что этот малый, с которым Томас подрался, тоже из их числа. Если Уэсли начнет его разыскивать и найдет, то нетрудно угадать, чем это кончится. В той военной школе, где Уэсли учился, его приходилось силой отдирать от других ребят. Нет, это была не тренировка — не будь рядом взрослых, он бы всех поубивал. Раз он просит Пинки Кимболла показать ему этого югослава, значит, хочет его убить.

— О господи! — повторила Гретхен.— К чему вы это говорите, Кролик?

— К тому, что в любом случае парня из Франции надо убрать. А Рудольф Джордах — не тот человек, который сумеет это сделать. Вот я и окосел,— объявил он.— А то не болтал бы об этом. Но я говорю всерьез. Пьяный или трезвый, а я от своих слов не отказываюсь.

— Спасибо за откровенность, Кролик,— сказала Гретхен. Она уже жалела, что осталась с ним на яхте. Не ее это проблема, возмущалась она, да ей тут и не решить ничего.— Я поговорю с братом,— добавила она.— Может, что-нибудь и придумаем. Как вы считаете, подождать мне сейчас Уэсли, чтобы мы поужинали все втроем?

— Разрешите ответить откровенно?

— Разумеется.

— По-моему, вы Уэсли нравитесь. По правде говоря, я знаю, что нравитесь, он мне сам говорил. Но сегодня ему, наверное, не хочется быть в компании ни с кем

из Джордахов. Лучше мы с ним вдвоем куда-нибудь сходим. Нам есть о чем поговорить.

Она никак не решалась поставить стакан. У нее было такое чувство, что стоит ей уйти, как Дуайер не выдержит и, сев на палубу, расплачется. Ей не хотелось, чтобы Уэсли, вернувшись, застал его в слезах.

— Сейчас допью и...

— Хотите еще? Я пойду налью.

— Спасибо, хватит.

— Итак, я начал пить виски,— заявил Дуайер.— Как вам это нравится? — Он затряс головой.— Вы верите в сны? — вдруг спросил он.

— Иногда.— Интересно, слышал ли Дуайер про Фрейда?

— Вчера ночью мне приснилось,— сказал Дуайер,— что Том лежит на полу — не помню, где это было,— неподвижно, как мертвый. Я поднял его и решил куда-нибудь отнести. На руках я его тащить не мог, поэтому взвалил на спину. А так как он был гораздо выше меня ростом, ноги его волочились по земле. Я скрестил его руки у себя на груди, ухватился за них и пошел. Он был жутко тяжелый, я был весь в поту, но шел, потому что обязан был его отнести.— И Дуайер заплакал.— Извините меня, миссис Берк.

На этот раз она не поправила его, не сказала, чтобы он называл ее просто Гретхен.

Она протянула ему руку. Он крепко схватил ее своими сильными пальцами, быстрым безотчетным движением поднес к губам и поцеловал. Потом опустил руку и отвернулся.

— Извините... Я не хотел...

— Не нужно ничего объяснять, Кролик,— ласково сказала она. Время само залечит раны. Она была в замешательстве, не знала, как утешить его.

Рука, в которой она все еще держала стакан с виски, заледенела. Гретхен поставила стакан.

— Мне пора,— сказала она.— Еще многое предстоит решить. Передайте Уэсли, если ему что-нибудь понадобится, пусть звонит мне.

— Передам,— пообещал Дуайер. Он не смотрел на нее. Губы у него дрожали, а глаза были обращены на вход в гавань.— Вызвать вам такси?

— Нет, спасибо. Я лучше пройдусь.

Она ушла, а он, босой, в белоснежном свитере, еще долго стоял на носу «Клотильды» с двумя пустыми стаканами в руках.

По узкой улочке, уже погруженной в неприветливый мрак, она медленно поднималась от порта в центр города. Взглянула на витрину антикварной лавки. Ее внимание привлек медный корабельный фонарь. Хорошо бы купить его, привезти домой и повесить где-нибудь в углу. Но тут она вспомнила, что у нее нет своего дома, а есть лишь снятая на полгода квартира в Нью-Йорке, и фонарь-то ей повесить негде.

Она шла по городу, кругом люди что-то покупали и продавали, читали газеты за столиками в кафе, бранили детей, а потом угощали их мороженым, и никому не было дела до смерти. Ей попалась на глаза афиша кинотеатра, из которой она узнала, что вечером здесь идет американский фильм, дублированный на французский. Она решила поужинать в городе, а потом пойти в кино.

Она прошла мимо собора, остановилась полюбоваться им и чуть не зашла внутрь. А если бы зашла, то увидела бы, что на скамье в глубине пустого зала сидит Уэсли и шепчет слова молитвы, которые так и не выучил в школе.

3

Из записной книжки Билли Эббота (1968)

Моему отцу довелось побывать в Париже сразу после войны, когда его выпустили из госпиталя. Еще до встречи с матерью. Ничего не помнит. Говорит, все три дня был так пьян, что не отличил бы Парижа от Дейтона, штат Огайо. Отец не любит рассказывать про войну, что весьма выгодно отличает его от других ветеранов, с которыми меня сталкивала судьба. Но порой в те субботы и воскресенья, что мне пришлось провести с ним согласно условиям развода, он здорово напивался — обычно

с утра — и начинал иронизировать по поводу своей службы в армии. Утверждал, что его интересовали только девицы из Красного Креста да собственная безопасность, а в воздушном флоте он, мол, служил и летал на военных самолетах лишь для того, чтобы добывать для американских газет материал про наших храбрых парней.

Тем не менее в армию он пошел добровольцем и, возвращаясь с боевого задания, был в самом деле не то ранен, не то контужен. Способен ли я на такое? Служба в армии, судя по тому, что я вижу сам и что пишут о Вьетнаме,— занятие мрачное. Правда, все говорят, что та война была не чета этой. При полковнике я держусь весьма воинственно, но если в Европе и вправду вспыхнет война, я, наверное, при первом же выстреле дезертирую.

В НАТО полно немцев, все они прикидываются дружелюбными, держатся как товарищи по оружию и не очень отличаются от прочего зверья. Моника тоже немка, но о ней особый разговор.

Когда Рудольф вышел из здания консульства, уже почти стемнело. Консул оказался человеком любезным, вызвал помощника, слушал внимательно, даже что-то записывал, обещал сделать все возможное, но предупредил, что, во-первых, на это потребуется время, а во-вторых, он должен позвонить в Париж посольскому юрисконсульту, ибо не уверен, что адвокат из Антиба, посоветовавший Рудольфу не обращать внимания на французов, прав, поскольку для получения документов на передачу «Клотильды» новым владельцам и размораживание банковских счетов необходимо разрешение местных властей. Смерть американца за границей всегда чревата кучей осложнений, сказал консул, и в его тоне слышался намек на то, что человека, совершившего столь ответственный акт не в своей, а в чужой стране, можно считать чуть ли не предателем. В тот же день, подумал Рудольф, сотни американцев погибли во Вьетнаме — это ведь тоже не своя, а чужая страна, но их смерть почему-то не была чревата для американских консулов кучей осложнений.

Передача состояния Томаса Джордаха его наследникам будет делом нелегким, предупредил консул. За один день с ним не управиться. Рудольф вышел из консульства, чувствуя полную беспомощность; он попал в густую паутину правовых положений, и чем сильнее старался высвободиться, тем больше запутывался. «Опять я завяз в чужих бедах»,— подумал он, и ему стало жаль себя.

Что делали исконные жители Америки, думал Рудольф, когда в бою погибал вождь племени? Кому доставались жены, дети, вампум, вигвам, уборы из перьев, копья и стрелы? Кто из мудрецов — не воин, нет, а шаман или знахарь — брал на себя роль душеприказчика и толкователя воли покойного?

Свою машину он оставил почти на берегу, перед входом в отель «Негреско» на Английском бульваре, чтобы не заблудиться на улицах незнакомого города, и в консульство поехал на такси. И сейчас шел по направлению к «Негреско», не ведая, где идет, не думая об этом и не обращая внимания на спешивших домой людей. Внезапно он остановился. У него были мокрые щеки. Он провел рукой по глазам. Он плачет. Он даже не заметил, что плачет, пока шел наугад в сторону моря. Господи, подумал он, надо же было лететь из Америки в Ниццу, чтобы заплакать,— между прочим, впервые с тех пор, как он перестал быть мальчишкой. Прохожие, по-видимому, не замечали его слез; удивленных взглядов не было. А может, французы привыкли видеть на улицах плачущих мужчин? Может, у них такая традиция — лить слезы? После всего, что Франции довелось пережить со времен Людовика Шестнадцатого, им есть о чем плакать.

Уже совсем стемнело, когда он наконец отыскал свою машину. Он прошел много переулков, поворачивал то налево, то направо. Bella Nizza [1], вспомнил он. Во время второй мировой войны итальянцы вернули ее себе. Но ненадолго. И сейчас в итальянском Пентагоне, наверное, вынашивается план захвата Ниццы в будущей драке. Добрые соседи! Нынче на полях сражений в ожидании новой войны сажают жасмин и розы. Бедные, но не утратившие надежд итальянские генералы! Стоит ли игра свеч? Стоит ли Ницца костей одного-единственного калабрийского крестьянина? Теперь это уже не Bella Nizza, а современный торговый центр с джунглями облупленных многоквартирных домов, с мусором, с оглушительной рок-музыкой, несущейся из дверей музыкальных магазинов,— город, повествующий о своем былом величии лишь в полных лжи буклетах для туристов. Все постепенно приходит в упадок.

[1] Красавица Ницца *(итал.)*.

На Английском бульваре горели фонари, отражаясь в крышах бесконечного потока машин и поблескивая на мелкой грязной волне, которая с тихим шепотом набегала на узкую полосу прибрежной гальки. В беседе с ним консул упомянул, что назначение в Ниццу считается у дипломатов удачей. Наверное, консулу известно о Ницце нечто такое, чего невооруженным глазом не усмотришь. Конечно, если раньше он служил в Конго или в Вашингтоне, тогда Ницца должна казаться ему раем. А вдруг, подумал Рудольф, на пути от консульства к берегу навстречу ему прошел убийца Тома? Вполне возможно. В Ницце полиция то и дело хватает каких-то убийц. А как, например, он бы поступил, если бы в кафе сидящий рядом с ним человек, узнав его, спокойно сказал: «Bonjour, monsieur, может быть, вам небезынтересно будет узнать, что это сделал я»?

Он открыл дверцу, но не садился в машину, думая о вечере, который ему предстоит, если вернуться в Антиб. Сначала надо будет объяснить Джин, что им придется задержаться в этом страшном для них обоих месте, потом сказать Кейт, Уэсли и Дуайеру, что ничего еще не решено, все в подвешенном состоянии, а потому им остается только сидеть и ждать. Он захлопнул дверцу машины. Нет, он не в состоянии выдержать то, что ждет его в Антибе. Пусть Ницца ему не по душе, но лучше провести вечер здесь, чем там.

Оглушенный запахами выхлопных газов, которые, по свидетельству ученых его родины, смертельно опасны для человечества, он, осторожно лавируя между машинами, пересек Английский бульвар, вошел в кафе, сел за столик на террасе и заказал виски с содовой — испытанное временем средство, успокаивающее нервы и мгновенно разрешающее самые запутанные проблемы. Когда виски принесли, он принялся пить не спеша, радуясь, что рядом нет Джин, ибо при ней об этом нельзя и подумать. Иногда ему казалось, что и дышать в ее присутствии тоже нельзя. Над этим придется поразмыслить, решил он, делая очередной глоток.

И вдруг он почувствовал голод. Он с самого утра ничего не ел, да и утром-то только кофе с булочкой. Он расплатился за виски, дошел по набережной до «Негреско» и спросил у швейцара, где лучший в Ницце ресторан. А потом быстро зашагал в указанном направлении. Глаза у него были сухие.

В лучшем из ресторанов Ниццы горели свечи, на столиках рдели букеты роз, а из кухни доносился еле уловимый вкусный аромат. Посетителей было немного, но они производили впечатление людей преуспевающих. В зале стояла тишина, царила атмосфера серьезности, старший официант, улыбчивый итальянец с ослепительными зубами, говорил по-английски. Наверное, итальянский шпион, решил Рудольф, каждую ночь переходит границу, пряча за пазухой планы порта, которые микрофильмирует его сообщник.

Рудольф уселся за столик, накрытый белоснежной скатертью, разломил пополам хрустящую булочку и намазал маслом. Пожалуй, напрасно он решил, что этот город не стоит костей одного-единственного калабрийского крестьянина. Тем более что в Калабрии он никого не знает.

Когда принесли еду, выяснилось, что швейцар совершенно прав в оценке кухни этого ресторана. Рудольф неторопливо ел и пил, чувствуя, как с каждым куском, с каждой каплей в нем растут силы. Иногда два часа стоят целого месяца отдыха.

Покончив с клубникой, он попросил счет. Он был сыт, теперь ему захотелось пройтись, ни о чем не думая, в одиночестве посидеть в кафе, выпить кофе с коньяком. Он не поскупился на чаевые метрдотелю и официантам и неторопливо вышел. Вечерний воздух благоухал розами. Через несколько минут Рудольф очутился на берегу моря. Первое море, ставшее известным людям. Улисс переплыл его и остался в живых. Матросы привязали его к мачте, а себе заткнули воском уши, чтобы не слышать пения сирен. Много храбрецов спит на дне этого моря. Теперь среди них и Том. Рудольф стоял на выложенной камнем дорожке, а в нескольких шагах от него кружевной пеной омывала землю Франции легкая волна. Вечер был безлунный, но звезды светили ярко, и линию берега окаймляли гирлянды блестящих огоньков горевших в домах ламп.

Будь Рудольф мальчишкой, он пробежался бы по берегу, по самой кромке воды, ловко увертываясь от набегающей под ноги волны. Но в его возрасте да еще в темном костюме вряд ли уместно привлекать к себе внимание гуляющих по набережной людей.

Он вернулся на бульвар, вошел в ярко освещенное кафе и сел так, чтобы видеть фланирующих по мостовой мужчин и женщин, которые, завершив рабочий день или выполнив свои туристские обязанности, теперь наслаждались теплым вечером, возможностью обменяться взглядами, не спеша пройтись по воздуху рука об руку с любимым или любимой.

Кафе было полупустым. Через один столик женщина в голубом платье читала журнал, наклонив голову так, что ему не было видно ее лица. Когда он вошел, она подняла глаза, но тут же вновь принялась за чтение. Перед ней стоял бокал с белым вином. Он заметил, что у нее темные волосы и красивые ноги.

Он ощутил совсем иной голод.

Осторожно, не порти себе вечера!

Объясняясь с официантом по-английски, он заказал коньяк и кофе. Когда он заговорил, женщина снова подняла глаза. По ее лицу — или ему показалось? — пробежала улыбка. Уже не первой молодости, примерно его возраста, на вид ей лет тридцать семь — тридцать восемь, тщательно подкрашена, особенно глаза. Для проститутки старовата, но тем не менее не лишена привлекательности.

Официант принес ему кофе и коньяк вместе со счетом из кассы и вернулся к бару в глубине кафе. Рудольф отхлебнул крепкого черного кофе. Потом взял рюмку с коньяком и понюхал его. Едва он собрался сделать глоток, как женщина, словно чокаясь с ним, подняла свой бокал. На этот раз сомневаться не приходилось: она улыбалась. У нее были четко очерченные пунцовые губы и темно-серые глаза. Рудольф из учтивости тоже приподнял свою рюмку, потом немного отпил.

— Вы американец, верно? — Она говорила с едва заметным акцентом.

— Да.

— Я сразу поняла, как только вы вошли,— сказала она.— По вашему костюму. Вы приехали сюда отдыхать?

— Отчасти,— ответил он.

Стоит ли продолжать разговор? Он не умел общаться с незнакомыми людьми, а особенно с женщинами. Она не походила на нью-йоркских проституток, но он во Франции, а не в Америке — кто знает, как одеваются и ведут себя французские проститутки. Кроме того, к нему вообще редко приставали женщины. Джонни Хит, его приятель и адвокат, утверждал, что в Рудольфе чувствуется какая-то суровость, их отпугивающая. К самому Джонни приставали повсюду — на улице, в баре, на вечеринках. В нем никакой суровости, по-видимому, не было.

Еще в юности Рудольф научился держаться отчужденно и сухо, считая, что таким образом заявляет о своей принадлежности не к тем, среди кого он вырос — людям легким на знакомство, по-плебейски шумным, веселым и общительным,— а совсем к другому классу. «Не перегнул ли я на этот раз палку?» — размышлял он, глядя на женщину за соседним столиком.

— Вам нравится в Ницце? — спросила женщина. Голос у нее был низкий, даже с хрипотцой, но приятный.

— Более или менее,— ответил он.

— Вы остановились в отеле?

— Нет,— сказал он.— Я здесь проездом,— добавил он. А почему бы и нет? Иногда полезно вспомнить, что ты мужчина. Он улыбнулся женщине. Улыбаться было приятно.— Разрешите вас угостить?

Он ни разу в жизни не приглашал выпить незнакомого человека, будь то мужчина или женщина. Пора, пожалуй, начинать.

— Я один,— рискнул признаться он.— По-французски говорю плохо. Был бы рад с кем-нибудь познакомиться. С кем-нибудь, кто владеет английским.— Как будто нельзя было обойтись без этой лицемерной фразы, подумал он.

Женщина посмотрела на часы, делая вид, будто принимает решение.

— Что ж,— согласилась она,— можем познакомиться.— И улыбнулась ему. Улыбаясь, она становится хорошенькой, заметил он. У нее были белые зубы и премилые морщинки вокруг темно-серых глаз. Она сложила журнал, взяла свою сумку, встала и прошла три шага, разделявшие их столики. Он тоже встал, отодвинул для нее стул, и она, поблагодарив его, села.

— Я пользуюсь любой возможностью говорить по-английски,— объяснила она.— Я прожила три года в Вашингтоне среди американцев и даже стала чувствовать к ним симпатию.

«Разыгрывает гамбит,— подумал Рудольф, но мысль эта не отразилась на его лице.— Будь я швед или грек, она сказала бы, что привыкла к обществу шведов и греков. Интересно, чем она занималась эти три года в Вашингтоне? За плату развлекала чиновников и конгрессменов в номерах мотелей?»

— Я тоже — к некоторым,— отозвался он.

Она чуть усмехнулась, как и подобает благовоспитанной даме. Нет, она определенно не похожа на расфранченных девиц, бродящих в поисках добычи по улицам Нью-Йорка. Он слышал, что в Америке тоже есть благовоспитанные шлюхи, которые берут сто долларов в час, а то и больше и которых можно вызвать только по телефону: не занятые в спектаклях актрисы, манекенщицы, элегантные домашние хозяйки, зарабатывающие себе на норковую шубу,— но ему никогда не доводилось видеть их воочию. По правде говоря, он ни разу не произнес, обращаясь к проститутке, больше трех слов: «Спасибо, не надо».

— А французы вам нравятся? — спрашивала женщина.

— Более или менее,— ответил он.— А вам?

— Некоторые,— снова усмехнулась она.

Появился официант. Лицо его ничего не выражало — такие переходы от одного столика к другому он видел и раньше.

— La même chose? Un vin blanc? [1] — спросил Рудольф у женщины.

— A! — сказала она.— Вы говорите по-французски?

— Un petit peu [2],— отозвался Рудольф. Он слегка захмелел и был настроен игриво. Сегодня вечер удовольствий, забав, красивых французских игрушек. Как бы ни развернулись события, дама убедится, что она имеет дело не с обычным американским туристом.— Je l'ai étudié à l'école [3]. В средней школе. Как это сказать по-французски?

— Collège? Lycée? [4]

— Lycée,— с удовольствием подтвердил он.

Официант переступил с ноги на ногу, деликатно намекая, что вовсе не обязан весь вечер стоять и слушать, как американец пытается вспомнить, чему его учили в школе на уроках французского, чтобы поразить подцепившую его дамочку.

— Monsieur? — сказал официант.— Encore un cognac?[5]

— S'il vous plaît[6], — с достоинством отозвался Рудольф.

После этого они заговорили сразу на двух языках и вместе хохотали над французскими фразами, которые Рудольф с трудом выкапывал в памяти, рассказывая о пышногрудой учительнице французского языка у них в школе, о том, как считал себя влюбленным в нее, как по-французски писал ей о своей страсти, как однажды нарисовал ее обнаженной и как она отобрала у него этот рисунок. Женщина слушала его с удовольствием, поправляла ошибки, хвалила, когда он произносил без запинки больше трех слов подряд. Если все французские шлюхи похожи на нее, подумал Рудольф, тогда понятно, почему проституция считается такой уважаемой профессией во французском обществе.

Затем женщина (он спросил, как ее зовут, оказалось — Жанна) посмотрела на часы и стала вдруг серьезной.

— Уже поздно,— сказала она по-английски, взяв в руки свою сумочку и журнал.— Я должна идти.

— Сожалею, если утомил вас,— отозвался он. Язык у него еле ворочался, и он с трудом выговаривал слова.

— Мне было очень приятно с вами, Джимми.— Она встала. Он сказал, что его зовут Джимми. Прикрылся чужим именем, чтобы его нельзя было выследить.— Но я жду звонка...

Он поднялся попрощаться. Теперь ему не придется спать с ней. При мысли об этом он почувствовал и облегчение и сожаление. Поднимаясь, он пошатнулся и уронил стул.

— Чудес... Чудесно провел время,— запинаясь, произнес он.

---

[1] То же самое? Белое вино? *(франц.)*
[2] Немного *(франц.)*
[3] Я учил его в школе *(франц.)*
[4] В коллеже? В лицее? *(франц.)*
[5] Еще коньяку? *(франц.)*
[6] Пожалуйста *(франц.)*

— Где ваш отель? — нахмурилась она.

Где его отель? На мгновение перед глазами, как в тумане, возникла карта Франции.

— Где... мой отель? — Язык у него совсем не ворочался.— В Антибе.

— Вы на машине?

— Да.

— В таком состоянии нельзя садиться за руль.

Он сконфуженно повесил голову. Наверное, сейчас она с презрением думает об американцах: вот приезжают во Францию, а сами напиваются так, что не в состоянии править машиной. И вообще ни на что не годятся.

— Я, собственно, не пью,— сказал он виновато.— Просто у меня был трудный день.

— Наши дороги опасны, особенно в темноте,— предупредила она.

— Особенно в темноте,— согласился он.

— Может, вы поедете со мной? — спросила она.

Наконец-то, подумал он. Как человек деловой, он должен был бы спросить ее, во сколько это ему обойдется, но после дружеской беседы за вином и коньяком подобный вопрос прозвучал бы неуместно. Еще успеется. И сколько бы ни стоило, он в конце концов может позволить себе провести ночь с европейской куртизанкой. Он был доволен, что припомнил такое слово — «куртизанка». И вдруг в голове у него прояснилось.

— Volontiers [1],— сказал он на ее языке, желая доказать, что не совсем пьян. И, громко позвав официанта: — Garçon! — вынул из кармана бумажник. Бумажник он держал так, чтобы ей не было видно, сколько в нем денег. В подобных ситуациях, о которых он знал только понаслышке, следует быть осторожным.

Подошел официант и по-французски сказал, сколько с него причитается. Рудольф не понял и, смутившись, обратился к женщине:

— Что он сказал?

— Двести пятнадцать франков,— ответила она.

Он вынул из бумажника три купюры по сто франков и отмахнулся от слабых попыток официанта дать ему сдачу.

— Не надо давать на чай так много,— шепнула она, выводя его из ресторана.

— Американцы благородны и щедры.

Она засмеялась и прижалась к нему.

Показалось такси, и он залюбовался грацией, с какою она подняла руку, стройностью ее ног, мягкой линией груди.

Ехали они недолго. Она держала его за руку — больше ничего. В такси пахло духами, мускусом, чуть заметно — цветами. Машина остановилась перед невысоким многоквартирным домом на темной улице. Она расплатилась с шофером, потом снова взяла Рудольфа за руку и повела в дом. Они поднялись на один марш. Она отперла дверь, впустила его в темную прихожую, потом в комнату и щелкнула выключателем. Его поразила величина комнаты и вкус, с каким она обставлена, хотя при свете затененной абажуром лампы он мог разглядеть далеко не все. У этой женщины, наверное, щедрая клиентура, подумал он: арабы, итальянские промышленники, немецкие стальные бароны.

— А теперь...— начала она, но в эту секунду зазвонил телефон. Она не лгала, подумал он, ей действительно должны были звонить. Она медлила, словно не решаясь поднять трубку.— Будьте добры...— Она показала на дверь.— Я хотела бы остаться одна.

— Разумеется.

Он вышел в соседнюю комнату, закрыл за собой дверь и зажег свет. Это была небольшая спальня с двухспальной кроватью, уже разобранной. Из-за двери доносился ее голос. Ему показалось, что она сердится на своего собеседника, хотя слов он не различал. Он задумчиво посмотрел на большую кровать. Последняя возможность уйти. Плевать, решил он и разделся. Он в беспорядке швырнул одежду на стул, но переложил бумажник в другой карман. Потом лег и натянул на себя одеяло.

Он, должно быть, заснул, потому что вдруг почувствовал рядом теплое надушенное тело. В комнате было темно, на нем лежала гладкая упругая нога, на животе шевелилась мягкая рука, а уха касались губы, шептавшие что-то неразборчивое.

[1] Охотно *(франц.)*.

Он не знал, сколько было времени, когда он, наконец, замер в неподвижности, кончиками пальцев касаясь теперь уже знакомого тела, доставившего ему такое наслаждение. Он чувствовал покой и приятную теплоту. Пуританин низвергнут, а его пуританские заповеди осмеяны — и слава богу! Он поднял голову, приподнялся на локте и ласково поцеловал женщину в щеку.

— Уже, наверное, очень поздно,— прошептал он.— Мне пора.

— Будь осторожен за рулем chéri [1],— сонно и блаженно отозвалась женщина.

— Не беспокойся,— сказал он.— Я совсем протрезвел.

Женщина повернулась и зажгла лампу на ночном столике. Он встал с кровати, гордясь своей наготой. «Юношеское тщеславие»,— усмехнулся он про себя и быстро оделся. Женщина тоже встала. Лучше бы она не включала свет и не вставала. Тогда он мог бы оставить ей сто, нет, тысячу франков на камине, и темнота скрыла бы его провинциальное американское невежество в подобных делах; она бы спала, а он бы украдкой выскользнул из квартиры и из дома, и все было бы кончено. Но свет горел, женщина следила за ним, улыбаясь. Ждет?

Ничего не поделаешь. Он вынул бумажник.

— Тысячи франков достаточно? — спросил он, чуть запнувшись на последнем слове.

Она с удивлением посмотрела на него, улыбка исчезла с ее лица. И вдруг она начала смеяться. Сначала тихо, потом принялась хохотать. Она согнулась, обхватила руками голову — густые блестящие волосы темным каскадом упали на лицо — и смеялась, не в силах остановиться. Он напряженно смотрел на нее — и уже жалел, что побывал в ее постели, что пригласил ее к своему столику, что был в Ницце, жалел, что вообще очутился во Франции.

— Извини,— начал оправдываться он,— я просто не привык...

Она подняла голову, и он увидел ее смеющееся лицо. Она встала, подошла к нему и поцеловала его в щеку.

— Бедняжка,— сказала она, переводя дыхание.— А я и не знала, что так дорого стою.

— Если ты хочешь больше...— неловко произнес он.

— Гораздо больше,— ответила она.— Столько, сколько никто не может дать. Да ничего мне не нужно! Милый ты мой! Думал, что я проститутка, и был таким вежливым и ласковым. Будь все клиенты такие, как ты, мы все стали бы шлюхами. Мне и раньше нравились американцы, но теперь я люблю их еще больше.

— Господи, Жанна! — вырвалось у него.— Это случилось со мной впервые,— признался он, боясь, что она снова начнет смеяться.

— Интересно, куда смотрят американки? — удивилась она. Она пересела на край кровати и похлопала по матрасу рукой.— Иди сюда, сядь рядом,— сказала она.

Он сел рядом с ней. Она взяла его за руку, теперь уже как сестра.

— Если тебе от этого станет легче, chéri,— сказала она,— то могу признаться, что и со мной это случилось впервые. Мне было так одиноко, так тоскливо... Разве ты не понял?

— Нет,— признался он.— По правде говоря, я плохо разбираюсь в женщинах.

— «Плохо разбираюсь в женщинах»,— ласково передразнила его она.— И не пьешь. Именно такой мужчина мне и нужен был сегодня. Позволь рассказать тебе немного о себе. Я замужем. Мой муж служит в армии. Он майор и был помощником военного атташе в Вашингтоне.

Вот откуда она знает английский, подумал он. Значит, не было ни чиновников, ни конгрессменов, ни мотелей.

— А сейчас он временно служит в Париже. В Высшей военной школе,— продолжала она.— Временно.— Она коротко и резко рассмеялась.— Он там уже три месяца. Здесь, в Ницце, у меня ходят в школу двое детей. Сегодня они у бабушки.

— Но у тебя нет обручального кольца,— сказал он.— Я посмотрел.

— Я его сняла.— Лицо ее помрачнело.— Сегодня мне не хотелось быть замужем. Днем я получила телеграмму от мужа, в которой он сообщал, что будет звонить; я сразу поняла, что он мне скажет. Он скажет, что у него много работы и он снова не может приехать. У него уже три месяца много работы. По-видимому, там, в Высшей военной школе, они готовятся к чему-то необыкновенному, если бедный

[1] Дорогой *(франц.)*.

майор в течение трех месяцев не может даже на день слетать в Ниццу повидаться с женой. Я-то хорошо знаю, к какой войне мой муж готовится в Париже. Ты слышал, как я сказала ему по телефону...

— Нет,— ответил Рудольф.— Я не слышал, что ты говорила... Я только понял, что ты сердишься.

— Да, наша беседа была далеко не дружеской,— согласилась Жанна.— Мы ссорились. Теперь ты понимаешь, почему я очутилась в кафе без обручального кольца на руке?

— Более или менее,— ответил Рудольф.

— Когда ты вошел и сел, я собиралась расплатиться и идти домой,— тихо сказала она.— До этого двое мужчин уже подходили ко мне. Напыщенные позеры с опытом, любители... Как это говорится в Америке? Однодневных?..

— Однодневных гастролей,— подсказал Рудольф.

— Именно.

— Они по крайней мере не приняли тебя за шлюху,— уныло возразил он.— Прости меня.

Она погладила его по руке.

— Прощать нечего,— сказала она.— Это только внесло комическую ноту в наш вечер. Когда ты вошел и сел, я увидела твою добропорядочную и почтенную физиономию и решила не уходить.— Она улыбнулась.— Во всяком случае не сразу. И оказывается, не ошиблась. Больше никогда не будь застенчивым.— Она снова, как сестра, похлопала его по руке.— Уже поздно. Ты сказал, что тебе пора... Запишешь мой телефон? Мы увидимся еще?

— Мне, наверное, тоже следует рассказать немного о себе,— заговорил Рудольф.— Прежде всего меня зовут не Джимми. Не знаю почему...— Он пожал плечами и улыбнулся.— Я стеснялся. Считал, что плохо поступаю. А если я назовусь чужим именем, то половина вины с меня вроде бы снимается. А может, и из осторожности: вдруг мы когда-нибудь встретимся и я буду не один; ты скажешь: «Здравствуй, Джимми!», а я смогу ответить: «Извините, мадам, вы меня с кем-то путаете».

— Если бы я вела дневник,— сказала Жанна,— я бы описала все, что сегодня случилось. Во всех подробностях.

— Меня зовут Рудольф,— продолжал он.— Мне никогда не нравилось мое имя. Мальчишкой я считал, что оно звучит не по-американски, хотя трудно сказать, что звучит по-американски и что нет. И какое кому до этого дело. Но в школе ты начинен книгами, где героев зовут Гекльберри Финн, Дэниел Бун, Стадс Лониган... Имя «Рудольф» напоминало мне какое-то тяжелое немецкое блюдо. Особенно во время войны.— Он никогда никому не говорил о своем отношении к собственному имени, даже сам для себя никогда не формулировал его так четко и теперь удивился тому, что рассказывает об этом красивой, чужой или почти чужой женщине,— рассказывает легко и даже с удовольствием. Он сидел в полумраке на кровати, и ему хотелось побыть подольше с этой женщиной, под каким-нибудь предлогом отложить уход, сказать, что до зари еще далеко, хотя уйти все равно придется.

— Рудольф,— повторила Жанна.— Имя как имя, не очень красивое, но и не плохое. А если называть тебя Родольфо? Пожалуй, лучше, а?

— Гораздо лучше.

— Отлично,— засмеялась она.— Отныне я буду называть тебя Родольфо.

— Родольфо Джордах,— повторил он. Это имя придало ему в собственных глазах какую-то лихость.— Моя фамилия Джордах. Я остановился в отеле «Дю Кап».— Мосты сожжены. Имя и адрес известны. Теперь они во власти друг друга.— И еще одно. Я женат.

— Я так и думала,— сказала Жанна.— Но это твое личное дело. Как и мой брак — мое личное дело.

— Моя жена со мной в Антибе.— Ему не хотелось признаваться, что они с Джин тоже в натянутых отношениях.— Дай мне твой телефон.

Она встала, подошла к столику, где лежали ручка и бумага, и, написав номер телефона, протянула ему листок; он аккуратно сложил его и спрятал в карман.

— В следующий раз,— сказала она,— тебе придется снять номер в отеле. Дети будут дома.

В следующий раз...

— А теперь я вызову такси,— сказала она. Они перешли в гостиную, она набрала номер, что-то быстро сказала, подождала немного, согласилась: «Trés bien» [1]— и положила трубку.— Такси приедет через пять минут,— сказала она. У двери они поцеловались долгим, благодарным, целительным поцелуем.— Спокойной ночи, Родольфо,— сказала она и улыбнулась. Он понял, что долго будет помнить ее улыбку.

■ ■ ■

Такси уже стояло у подъезда, когда он вышел на улицу.

— В отель «Негреско»,— сказал Рудольф, садясь в машину.

Когда такси тронулось, он оглянулся на дом. Надо запомнить его, чтобы найти снова, чтобы вспоминать во сне. Они доехали до «Негреско», и он, поглядев налево и направо, перешел улицу в том месте, где стояла его машина. Усевшись за руль, он медленно и осторожно поехал по пустому приморскому шоссе к Антибу.

Поравнявшись с портом, он поехал еще медленнее, затем круто свернул на стоянку, вылез и пошел по набережной туда, где у безмолвного причала покачивалась «Клотильда». На «Клотильде» было темно. Ему не хотелось будить Уэсли и Кролика. Сняв туфли, он спрыгнул с палубы в стоявшую рядом плоскодонку, отвязал канат, сел и бесшумно вложил весла в уключины. Без единого звука он отплыл от яхты, выгреб на середину гавани, налег на весла и направил лодку в море. От воды сильно пахло дегтем, с берега же доносился аромат цветов.

Он действовал почти автоматически, не думая, зачем он это делает. Каждый взмах веслами доставлял ему физическое удовольствие, а плеск срезаемой носом волны о борта плоскодонки казался музыкой, достойной завершить эту ночь.

Лодка приближалась к красным и зеленым огням, обозначавшим выход в море, и неясные тени Антиба с редкими огоньками медленно уходили вдаль. Он греб, наслаждаясь радостным ритмом своих движений. Сколько раз эти самые весла были в руках его брата! Рудольф с трудом удерживал гладкое дерево, отполированное сильными руками Тома. Утром ладони, наверное, покроются волдырями. Это приятно.

«Томас, Томас!» — прошептал он. Лодка вышла в открытое море и закачалась на тихой волне. Он греб и вспоминал те случаи, когда они, родные братья, не оправдывали ожиданий друг друга, и конец, когда они позабыли свои распри или по крайней мере простили их друг другу.

Он подумал о своем отце, обезумевшем и жалком старике, который тоже шел на веслах во тьме, выбрав для своего последнего путешествия штормовую ночь. У отца хватило сил на самоубийство, и в смерти он обрел покой, который не мог обрести в жизни. Он же на это не способен. Он совсем другой человек, у него другие обязанности. Он глубоко вздохнул, повернул плоскодонку назад и поплыл обратно к «Клотильде». Руки у него горели.

Бесшумно привязав лодку к корме «Клотильды», он поднялся по веревочному трапу на палубу, спустился на берег. Надел туфли — обряд совершен, служба окончена,— сел в машину и включил зажигание.

Он подъехал к отелю в четвертом часу. Кроме ночного портье за конторкой, зевавшего во весь рот, в вестибюле не было никого. Он взял свой ключ и уже направился к лифту, когда портье окликнул его:

— Мистер Джордах! Миссис Берк просила сразу же позвонить ей, как только вы придете. Она сказала, что это очень важно.

— Спасибо,— устало отозвался Рудольф. Ничего, Гретхен подождет до утра.

— Миссис Берк просила и меня позвонить ей, когда вы появитесь. В любой час.

Догадалась, что он постарается уклониться от встречи, и приняла меры предосторожности.

— Понятно,— вздохнул Рудольф.— Позвоните ей, пожалуйста, и скажите, что я зайду, как только повидаюсь с женой.— Нужно было остаться на всю ночь в Ницце. Или сидеть до утра в лодке. Чтобы встретиться с тем, что его ждет, при дневном свете.

[1] Очень хорошо *(франц.)*.

— И еще,— добавил портье,— вас тут искал один джентльмен. Некий мистер Хаббел. Из журнала «Тайм». Он пользовался нашим телексом.

— Если он придет снова и будет меня спрашивать, скажите, что меня нет.

— Ясно. Bonne nuit, monsieur [1].

Рудольф нажал кнопку лифта. Он собирался позвонить Жанне, пожелать ей спокойной ночи, попытаться объяснить, как она помогла ему, вслушаться в ее низкий хрипловатый, чувственный голос и заснуть, вспоминая о прошедшем, чтобы увидеть во сне что-нибудь приятное. Теперь об этом нечего было и думать. Тяжело ступая и чувствуя себя старым, он вошел в кабину лифта, поднялся на свой этаж и почти бесшумно отворил дверь в номер. Свет горел и в гостиной, и в комнате Джин. После убийства Тома она боялась спать в темноте.

— Рудольф? — окликнула она его, когда он проходил мимо ее двери.

— Да, дорогая,— вздохнул Рудольф. Он так надеялся, что она спит. Он вошел в комнату. Джин сидела в постели и смотрела на него. Автоматически он перевел взгляд на стол в поисках стакана или бутылки. Ни стакана, ни бутылки, и по лицу видно, что она не пила. Старой она выглядит, подумал он, старой. Изможденное лицо, погасшие глаза и кружевная ночная сорочка — такой она должна бы стать через добрых сорок лет.

— Сколько сейчас времени? — резко спросила она.

— Четвертый час. Тебе пора спать.

— Четвертый час? Не кажется ли тебе, что рабочий день консульства в Ницце несколько растянут?

— Я решил сегодня вечером отдохнуть, — сказал он.

— От чего?

— От всего,— ответил он.

— От меня,— с горечью констатировала она.— Это уже вошло в привычку, правда? Стало образом жизни?

— Может, мы отложим обсуждение до утра? — спросил он.

Она потянула носом.

— От тебя пахнет духами. Это мы тоже обсудим утром?

— Если угодно,— ответил он и направился к выходу.— Спокойной ночи.

— Не закрывай дверь! — крикнула она.— Пусть все пути к бегству будут открыты.

Он не закрыл дверь. Плохо, что он не чувствует к ней жалости.

Через гостиную он прошел к себе и закрыл за собой дверь. Потом отворил дверь, ведущую из его комнаты в коридор, и вышел. Ему не хотелось объяснять Джин, что он должен повидаться с Гретхен по делу, которое его сестра считает неотложным.

Номер Гретхен был дальше по коридору. Рудольф шел мимо туфель, выставленных для чистки. Европа, того и гляди, станет коммунистической, а бедняки по-прежнему каждую ночь с двенадцати до шести чистят чужую обувь.

Не успел он постучать, как Гретхен тотчас открыла. На ней был светло-голубой махровый халат, почти такого же цвета, как платье Жанны. Маленькое бледное личико, темные волосы и сильное стройное тело делали ее удивительно похожей на Жанну. Как все в мире одинаково. Эта мысль пришла ему в голову впервые.

— Входи,— сказала она.— Если бы ты знал, как я беспокоилась! Где ты был?

— Долго рассказывать,— ответил он.— Может, подождем до утра?

— Нет, не подождем,— ответила она и, закрыв дверь, тоже потянула носом.— От тебя божественно пахнет, братец,— усмехнулась она.— И вид у тебя такой, будто ты только что переспал с женщиной.

— Я джентльмен,— сказал Рудольф, стараясь обратить ее слова в шутку.— А джентльмены подобные вещи не обсуждают.

— А дамы обсуждают,— сказала она. Есть в Гретхен все-таки что-то вульгарное.

— Хватит об этом,— сказал он.— Я хочу спать. Что у тебя такое важное?

Гретхен упала в большое кресло, словно ноги у нее подкосились от усталости.

— Час назад мне звонил Дуайер,— ровным тоном объявила она.— И сказал, что Уэсли в тюрьме.

— Что?

— Уэсли в тюрьме в Канне. Он затеял драку и чуть не убил человека пивной

[1] Спокойной ночи, мсье *(франц.)*.

бутылкой. А потом ударил полицейского, и полиции пришлось его утихомирить. Ну как, достаточно это для тебя важно, братец?

4

Из записной книжки Билли Эббота (1968)

Сегодня в Брюсселе были волнения и рвались бомбы. И все из-за того, что, по мнению фламандцев, их дети должны обучаться на родном языке, а не на французском и что названия улиц должны быть написаны на обоих языках. В наших армейских подразделениях негры тоже поговаривают о том, чтобы устроить мятеж, если им не разрешат носить традиционную африканскую прическу. Люди готовы по любому поводу растерзать друг друга. По этой причине, как ни грустно такое констатировать, я и ношу военную форму, хотя не имею ни малейшего желания причинить кому-либо вред, и, на мой взгляд, люди могут говорить на любом языке: на фламандском, баскском, сербохорватском или на санскрите. Я только скажу: «Превосходно».

Может, у меня не хватает характера?

Наверное. Если ты человек сильной воли, то тебе хочется подчинить все и всех вокруг себя. А тех, кто не говорит на твоем языке, подчинить трудно, и человек с характером начинает сердиться, как, например, американские туристы в Европе, которые принимаются кричать, когда официант не понимает, чего от него требуют. В политике же вместо крика используются полиция и слезоточивый газ.

Моника знает немецкий, английский, французский, фламандский и испанский. Говорит, что умеет читать и по-гэльски. Насколько я могу судить, в душе она такая же пацифистка, как и я, но ведь она — переводчица в НАТО, и по долгу службы ей приходится изрыгать страшные угрозы одних воинственно настроенных деятелей в адрес других воинственно настроенных деятелей.

Мы провели целый день в постели.

Время от времени мы это делаем.

■ ■ ■

Когда Рудольф подъехал на такси к зданию каннской префектуры, Дуайер уже ждал его. Лучше приехать на такси, решил Рудольф, чем на собственной машине. Он боялся, что, если явится в полицейский участок и начнет требовать освобождения племянника, у него могут взять пробу на алкоголь. Дуайер стоял, прислонившись к стене, и, несмотря на свой толстый свитер, дрожал, а лицо у него было зеленовато-бледным в жидком свете горевших перед входом в префектуру фонарей. Рудольф вылез из такси и посмотрел на часы. Пятый час. Улицы Канна были пусты — все, кроме него, либо закончили свои дела, либо отложили их до утра.

— Слава богу, вы здесь,— сказал Дуайер.— Ну и ночка, черт бы ее побрал!

— Где он? — сдержанно спросил Рудольф, стараясь успокоить Дуайера, который, судя по его лицу и по тому, как он тер костяшки пальцев одной руки о ладонь другой, мог в любой момент впасть в истерику.

— Там у них. В камере, наверное. Они не дали мне с ним повидаться. Я туда войти не могу. Они предупредили, что, если я еще раз туда сунусь, меня тоже посадят. Говорить с французской полицией — все равно что с Гитлером,— горько заключил Дуайер.

— Как он? — спросил Рудольф. Глядя на съежившегося от холода Дуайера, он тоже почувствовал озноб. Он был в том же костюме, что и днем, и, уходя из отеля, позабыл захватить с собой пальто.

— Как сейчас — не знаю,— ответил Дуайер.— Когда его притащили, он был почти в порядке, но ведь он ударил полицейского, и что они потом с ним сделали, одному богу известно.

Нет ли тут поблизости кафе, подумал Рудольф. Просто чтоб было светло и можно было погреться. Но на узкой улице он увидел только неяркие пятна фонарей.

— Не беспокойтесь, Кролик,— мягко сказал он.— Я сейчас попробую все уладить. Но сперва расскажите мне, что произошло.

— Мы решили поужинать в городе,— начал Кролик таким тоном, словно Ру-

дольф его обвинял и требовал доказательств его невиновности.— Разве можно было в такой вечер оставить парня одного, как по-вашему?

— Конечно нет.

— Мы выпили. Уэсли всегда пил вино с нами, с отцом и со мной. Отец наливал ему как взрослому, мы забывали, что он еще мальчишка... Вы ведь знаете, во Франции...— Он замолк, словно из-за этой бутылки вина, выпитой вместе с Уэсли в антибском ресторане, его опять принялись обвинять во всех смертных грехах.

— Знаю,— сказал Рудольф, стараясь не выказывать раздражения.— И что потом?

— Потом парень попросил коньяку. Двойную порцию. А почему бы и нет, решил я. В день похорон отца... Даже если он напьется, мы рядом с портом, дотащить его до яхты труда не составит. Только он не захотел возвращаться. Он вдруг встал из-за стола и говорит: «Я еду в Канн». Я его спрашиваю: «Зачем, черт побери, тебе в Канн в такую поздноту?» Он говорит: «Хочу побывать в ночном баре». Точные его слова. Побывать. Я хочу побывать в «Розовой двери». Одному богу известно, что у него с головой сделалось от коньяка и от всего вместе. Я уж его и так и этак упрашивал. Чего только не говорил. А он меня послал подальше. Первый раз в жизни. Тут я понял: его и бульдозером с места не сдвинешь. Он говорит: «Я тебя не прошу ехать со мной. Иди спи и набирайся сил». Я догнал его уже на улице, схватил за руку. Не мог же я отпустить его одного в этот проклятый бар. Верно?

— Конечно,— устало отозвался Рудольф.— Вы поступили совершенно правильно.— Интересно, а что он сам сделал бы на месте Дуайера? Наверное, отпустил бы.

— Мы взяли такси и поехали в «Розовую дверь».— То ли от горя, то ли от страха, то ли от бессилия Дуайер разговорился и остановиться уже не мог.— Уэсли молчал всю дорогу. Ни одного слова не проронил. Сидел и смотрел в окно, как турист. Поди догадайся, что́ он задумал. Я не психолог, детей у меня никогда не было, да и вообще в чужую душу не влезешь.— Он снова начал оправдываться, словно кто-то сомневался в его искренности.— Я решил, что он просто расписховался. А кто бы на его месте не расписховался в такой день? Наверное, вбил себе в голову, что его долг перед отцом поехать и посмотреть, где все это началось. Он видел конец, сам высыпал прах в море, должен же он увидеть и начало тоже.

Начало, думал Рудольф, вспоминая необузданный нрав брата. Начало было не в ночном баре в Канне. Для этого нужно вернуться назад. На много лет назад.

— А что, думаю, может, это и не такая уж плохая мысль,— продолжал Дуайер.— Во всяком случае одно ясно: югослава, с которым Том подрался, там не будет. Его ищет полиция, он исчез бесследно на второй день после убийства, едва его допросили. Кроме того, мы с Уэсли его ни разу не видели и не узнаем, даже если он окажется рядом с нами прямо под лампой. Радости, конечно, мало, но и вреда тоже не будет — выпьем по рюмке-другой и поедем спать, разве только голова завтра поболит малость.

— Все понятно, Кролик,— дрожа от холода согласился Рудольф.— В данных обстоятельствах вы не могли поступить иначе.

Дуайер энергично закивал.

— А из-за чего началась драка? — спросил Рудольф. Дуайеровские оправдания можно отложить до другого раза. Пятый час утра, холодно. Уэсли в участке, и вполне возможно, что как раз в данную минуту над ним трудятся полицейские.— Кто виноват? Уэсли?

— Виноват? Разве в драке определишь, кто виноват? — У Дуайера дрожали губы.— Мы постояли в баре, помолчали, выпили две, а может, три порции виски, а рядом с нами стоял здоровый англичанин, с какого-то судна в порту, сразу видно — моряк. Он пил пиво и громко рассказывал своей девице про американцев... Наверное, что-то не очень приятное, потому что Уэсли вдруг повернулся к нему и тихо сказал: «А ну, паразит, заткни пасть и кончай тявкать про американцев!»

О господи, подумал Рудольф, нашел время и место для проявления патриотизма.

— Англичанин распространялся насчет того, что им, англичанам, пришлось-де воевать не только за себя, но и за американцев. Уэсли тогда еще и на свете-то не было, что́ ему за дело до этого, черт побери? Господи, да начни хоть десять англичан кричать, что все американцы — трусы, сутенеры и развратники, его собственный отец ни за что не полез бы в драку. А Уэсли полез. Я ни разу не видел его в деле, но Том мне рассказывал про него; я понял, что́ будет, схватил его за руку и говорю: «Пошли, парень. Нам пора». Но тут этот англичанин — лет тридцати, а весу в нем, наверное, фунтов двести, да и пива он налакался порядком — повернулся к нему и говорит:

«А ну-ка, сынок, повтори, что ты сказал». И Уэсли все так же тихо и вежливо повторил: «Заткни пасть, паразит, и кончай тявкать про американцев!» И даже тогда все могло кончиться тихо и мирно, потому что девица схватила англичанина за рукав и стала уговаривать: «Пойдем домой, Арнольд». Но он вырвался и спрашивает: «Ты с какого судна, приятель?» И потихоньку тянется за пивной бутылкой на стойке. «С «Клотильды»,— отвечает Уэсли, а я чувствую: он весь напрягся. «Поищи себе место на другом судне, сынок,— засмеялся англичанин.— Не думаю, что на «Клотильду» теперь будет спрос». По-моему, этот смех Уэсли и доконал. Он вдруг рванулся, первым схватил бутылку и как шарахнет англичанина по башке. Англичанин упал, весь в крови, вокруг поднялся крик, а Уэсли — видели бы вы тогда его физиономию — принялся бить англичанина ногами. И где он научился так драться! Лупит ногами, подумать только! И хохочет как чокнутый. Я повис на нем, стал его оттаскивать, а он-то, наверное, даже не заметил. Рядом за столиком сидели двое полицейских в штатском, они его и схватили, но он одному двинул — тот с копыт. Тогда второй полицейский вытащил дубинку, саданул Уэсли по затылку, и на этом драка закончилась. Они выволокли Уэсли из бара и посадили в полицейскую машину; меня в машину не пустили, поэтому я со всех ног побежал в участок, а навстречу мне на полной скорости, с включенной сиреной и мигалкой промчалась «скорая помощь». В каком там виде сейчас этот англичанин? — вздохнул Дуайер.— Вот и все,— устало заключил он.— Пожалуй, все. Теперь вы понимаете, почему я позвонил вам в отель.

— Спасибо, что позвонили,— тоже вздохнул Рудольф.— Подождите здесь. Сейчас узнаю, как обстоит дело.

— Я бы пошел с вами,— сказал Дуайер,— только они еще больше разозлятся.

Расправив плечи, Рудольф вошел в полицейский участок. Глаза обожгло ярким светом, но зато там было тепло. Жаль, что он в мятом костюме, небрит и, по словам Гретхен, выглядит так, будто только что переспал с женщиной, а то бы он чувствовал себя куда уверенней. Он помнил также, что от него по-прежнему пахнет духами. Не так ты одет и не тем пахнешь, подумал он, подходя к высокой конторке, за которой, мрачно взирая на него, восседал толстый полицейский с выбритыми до синевы скулами.

Как расширяют кругозор путешествия, думал Рудольф, улыбаясь или надеясь, что улыбается полицейскому: любуешься соборами, спишь с женой европейского офицера, плаваешь над судами, затонувшими во время войны, знакомишься с иноземными обычаями, чужими товарами и напитками, полицейскими участками, крематориями...

— Моя фамилия Джордах,— медленно произнес он по-французски.— Я американец...— Слышал ли полицейский о Лафайете, плане Маршалла, дне высадки союзников во Франции? Тогда можно рассчитывать на благодарность. Если, конечно, она существует.— По-моему, у вас здесь мой племянник Уэсли Джордах.

Полицейский ответил так быстро, что Рудольф его не понял.

— Говорите помедленнее, пожалуйста,— попросил он.— Я не силен во французском.

— Приходите к восьми утра,— медленно произнес полицейский.

— Я бы хотел повидать его сейчас,— настаивал Рудольф.

— Я сказал — к восьми утра,— нарочито медленно повторил полицейский и для большей наглядности показал восемь пальцев.

Нет, ни о Лафайете, ни о дне высадки союзников полицейский явно не слышал.

— Может, ему нужна медицинская помощь? — спросил Рудольф.

— Он обеспечен самой лучшей медицинской помощью,— снова так же медленно ответил полицейский.— Приходите в восемь утра. По французскому времени.— И засмеялся.

— Здесь кто-нибудь говорит по-английски?

— Это полицейский участок, мсье,— сказал полицейский.— Вы не в Сорбонне.

Рудольфу хотелось спросить, нельзя ли взять племянника под залог, но он не знал, как это сказать по-французски. Ежегодно в Канн приезжают тысяч пятьдесят американских и английских туристов; неужели ни один из этих мерзавцев не мог взять на себя труд выучить английский язык?

— Я хотел бы поговорить с вашим начальником,— упорствовал он.

— В данный момент он отсутствует.

— Тогда с кем-нибудь еще.

— Кто-нибудь еще — это я.— Полицейский снова расхохотался. Потом нахмурился

и сразу стал выглядеть более естественно.— Прошу вас уйти, мсье,— строго сказал он.— Будьте добры очистить помещение.

Не дать ли ему взятку? — подумал Рудольф. Но он уже этой ночью допустил ошибку, предложив деньги не там, где полагалось. Вторая ошибка может оказаться куда серьезнее.

— Идите, идите, мсье,— нетерпеливо взмахнул толстой рукой полицейский.— Я занят.

Потерпев поражение, Рудольф вышел на улицу.

— Ну что? — вскинулся Дуайер.

— Ничего,— ответил Рудольф.— Велели прийти в восемь утра. Пойдемте в какую-нибудь гостиницу. Нет смысла возвращаться в Антиб на два часа.

— Да, но я боюсь оставлять «Клотильду»,— сказал Дуайер.— Сейчас, знаете, мало ли что... — Он не закончил мысли.— А утром я буду здесь.

— Как угодно,— отозвался Рудольф.

Он был так измочален, словно пробежал марафонскую дистанцию. Рано утром он позвонит антибскому адвокату. Он вспомнил старого Тедди Бойлана, семья которого владела кирпичным заводом в Порт-Филипе, где Рудольф родился. Тедди Бойлан, можно сказать, подружился с ним и в каком-то смысле помог ему получить образование. Тедди Бойлан советовал ему идти в адвокаты. «Миром правят адвокаты»,— утверждал Бойлан. Отличный, наверное, совет для тех, кто стремится править миром. Когда-то и он был одним из них. Но теперь нет. Последуй он совету Бойлана и займись адвокатской практикой, разве посмел бы этот полицейский с синими щеками смеяться над ним и выставить его из участка! И Уэсли не сидел бы сейчас за решеткой во власти полицейского, которого ударил в пьяной драке. А может, и Том был бы жив или, по крайней мере, умер при других, более приличных обстоятельствах. Ну и мысли лезут в голову в четыре часа утра!

Рудольф шел не спеша по пустынным улицам, на которых сейчас не было ни проституток, ни шулеров, ни карет «скорой помощи», в сторону отеля «Карлтон». Там он снимет номер и поспит несколько часов. А Дуайер найдет такси и доедет до «Клотильды».

■ ■ ■

Вот так, наверное, сотни раз чувствовал себя отец, когда его избивали и от боли он не мог пошевелиться, думал Уэсли, лежа на откидных нарах в камере. Мысль эта была чем-то ему приятна, она сближала его с отцом, чего не смогла сделать молитва в соборе. Он успокоился, остыл. Он был рад, что его оторвали от англичанина, и надеялся, что не убил этого сукиного сына.

Если этот сукин сын не подох, дядя Руди вытащит его отсюда. Мистер Руди Джордах умеет улаживать любые неприятности. Уэсли поневоле улыбнулся, хотя улыбаться было жутко больно.

Однако улыбка быстро исчезла. Слишком уж недолго он знал своего отца. Кончились длинные беседы во тьме рубки. Они наверстывали упущенное за те годы, когда мать Уэсли, сбежав вместе с ним, перекидывала его из одной жуткой школы в другую и при этом рассказывала, что отец бросил их, удрал с какой-то дешевой шлюхой, а может, уже и погиб, да это и немудрено, если жить так, как он,— пить, гулять, развратничать, драться, сорить деньгами и наживать себе врагов. Его мать за многое в ответе.

А сам он? Будь он тогда внимательнее, они не ударились бы о то плавающее бревно и им не пришлось бы возвращаться в Антиб на ремонт; шли бы сейчас вдоль побережья Италии, мимо Портофино, Эльбы, Сицилии, все внизу бы спали, а отец хриплым басом рассказывал бы ему про Клотильду Деверо, в честь которой названа их яхта, служанку в доме его дяди — толстого немца Хэролда.

А если бы он, Уэсли, не спал как младенец, то услышал бы шаги на палубе — отец их слышал сквозь любой сон, как бы ни устал и как бы крепко ни спал,— и, поднявшись, увидел бы, что отец один отправляется спасать Джин Джордах; он пошел бы вместе с ним, а может, заставил бы отца вызвать полицию или по крайней мере был рядом,— тогда югослав понял бы, что драться бессмысленно.

Кого я обманываю? — думал Уэсли. Не случись это здесь, случилось бы в Портофино, на Эльбе или на Сицилии. Все равно Джин Джордах впуталась бы в какую-нибудь историю и втянула бы остальных. Она с самого начала ему не понравилась, он так и

сказал отцу. А отец ответил: «Верно, человек она нелегкий. Я бы на ней не женился, но Руди мыслит по-иному. Она богатая, красивая, неглупая.— Том пожал плечами.— Наверное, приходится расплачиваться за то, что имеешь богатую, красивую, неглупую жену». Только расплачиваться-то пришлось его отцу. Отец не боялся за собственную жизнь, был чересчур уверен в себе. «Мне самому много досталось из-за женщин.—И, чуть грустно усмехнувшись в темноте, рассказал сыну про близняшек из Элизиума, штат Огайо, которые утверждали, что забеременели от него, когда его посадили в тюрьму по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних.— Теперь-то я думаю,— философски добавил Том,— может, это было и поделом, хотя в ту пору я так не считал. Мне, наверное, следовало предостеречь тебя, но ты бы вряд ли стал слушать, а, Уэсли?»

«Да я более или менее осторожен»,— ответил Уэсли. Он уже в двух плаваниях имел дело с дамами, мужья которых тоже были на борту,— о чем, он не сомневался, отец прекрасно знал.

«По-моему, тебе это дело нравится»,— сухо заметил Том.

«Как всякому»,— отозвался Уэсли.

«Мне тоже»,— признался Том. Потом он стал вспоминать о мальчике, вместе с которым поджег крест на лужайке у дома Бойлана и который потом его выдал; о своем менеджере Шульци; о человеке, у которого он шантажом выманил пять тысяч долларов в Ревир-клубе; о Фальконетти, которого он высмеял в присутствии двадцати семи членов команды судна и довел до самоубийства. Он рассказывал о них обо всех, чувствуя, что подросток, истосковавшийся по отцу и наконец обретший его, может составить о нем ложное, идеализированное представление, которому он, Том, не в силах соответствовать, а потому должен скорректировать его, чтобы избавить сына от неизбежного и горького разочарования.

Его советы отличались практичностью: «Ты любишь море, вот и свяжи с ним свою жизнь. Тут и работа, и можно отдохнуть, и разнообразие, а не одно и то же все время, и ты на свежем воздухе. Рано или поздно у тебя будет «Клотильда», а то и что-нибудь получше. И ты уже будешь знать про свое судно все-все и с удовольствием за ним ухаживать, как мы с Дуайером. И я советую тебе не путаться с пассажирками.— Том усмехнулся. Может, отцу и не положено говорить о таких вещах, но он не мог промолчать, видя повышенный интерес Уэсли к сексу.— Действуй самостоятельно, потому что нет хуже западни, чем вкалывать на другого. Изучи все. Сверху донизу. Тебе есть у кого учиться: у меня, у Кролика, у Кейт. Не экономь на оборудовании. Если тебе по какой-либо причине не по душе человек, которого ты нанял, ссади его в первом же порту. Если ты нашел у пассажира наркотики, выбрось их за борт без разговоров. По возможности не пей с пассажирами. Захочешь — вполне сможешь выпить на свои. Не жмотничай. Это сразу становится известно. Если тебе не нравится, как выглядит море, иди в порт и не слушай, что кто-то там опаздывает в Рим. Канн или Афины на важную деловую встречу или на свидание с девицей. Не ввязывайся в склоки. Не отступай, но сам на рожон не лезь...»

Надо было записать все это на пленку, подумал Уэсли, и каждый вечер перед сном прослушивать.

«Держи на борту оружие. На всякий случай. Под замком. Вдруг пригодится».— Вот оно — завещание отца: «Не экономь на оборудовании и держи оружие под рукой».

А где держат оружие на «Клотильде»? Кролик, наверное, знает, но черта с два скажет. Когда оно понадобилось, его под рукой не оказалось.

Отец продолжал что-то говорить во тьме, отгороженной решеткой. Голос его был спокойным, даже веселым, но слова стали неразборчивыми.

В затылке у Уэсли застучало, голос отца стихал, как звук буя, оставшегося в тумане за кормой, и он заснул.

5

Из записной книжки Билли Эббота (1968)

У меня слабость к моему отцу, ибо он, в свою очередь, человек слабый. Его я простил. А вот к матери я слабости не испытываю, ибо она сильная женщина, и ее я не прощаю. Пусть археолог, которому суждено раскапывать руины Брюсселя в следующем столетии, поразмыслит над этим. Мы все часто думаем о своих родителях. А я — о своих двух отцах. Уильям Эббот, мой родной отец, был и, наверное, поныне остается веселым и очаровательным бездельником.

Колин Берк, второй муж моей матери, был блестящим, эгоистичным, талантливым человеком; он умел заставить актеров работать в полную силу, и экран у него полыхал огнем. Я любил его, восхищался им и мечтал, когда вырасту, стать таким же, как он. Не получилось. Я вырос похожим, к сожалению, на Вилли Эббота, хотя и лишен некоторых присущих ему привлекательных качеств. Его я тоже любил.

Сколько раз я укладывал его в постель пьяным.

Сегодня я на пари сыграл пять партий в теннис и все выиграл.

■ ■ ■

Он снова съездил в Ниццу в консульство, дважды побывал в тюрьме в Грасе, куда перевели Уэсли, и трижды сходил к адвокату. Консул смущался, но не мог посоветовать ничего определенного, а адвокат кое в чем помог. Чего не скажешь об Уэсли — этот молчал, раскаяния не испытывал, физически чувствовал себя неплохо и больше интересовался не собственной участью, а участью соседей по камере, один из которых воровал драгоценности, другой предъявлял краденые чеки, а третий занимался подделкой произведений искусства. Со времени ареста Уэсли ни разу не брился, оброс светлой густой щетиной и стал похож на волка; среди преступников он нисколько не выделялся. Когда он вошел, в маленькой комнате, где Рудольфу разрешили с ним побеседовать, запахло, как в клетке у дикого зверя, которую плохо чистят. Этот запах перенес Рудольфа в прошлое, в комнату над пекарней, в постель, которую он делил с Томом, когда оба были подростками и когда Том являлся домой за полночь после драк на улице. Он вынул носовой платок и сделал вид, что сморкается; Уэсли, усмехаясь углом рта, уселся напротив него за некрашеным, поцарапанным столом старой провансальской работы, любезно предоставленным в их распоряжение полицией славящегося своими цветами города Граса.

Рудольф сделал серьезное лицо, чтобы мальчишка понял всю нешуточность своего положения. Полиция через адвоката дала Рудольфу знать, что случай этот непростой — пивную бутылку можно считать и опасным орудием — и что Уэсли в лучшем случае придется просидеть в тюрьме не меньше нескольких недель.

Рудольф также не раз звонил в Нью-Йорк своему адвокату Джонни Хиту, который сказал, что если он сумеет отделаться от французов, то дела Тома, по всей вероятности, можно будет уладить в Нью-Йорке — последнем, насколько известно, местожительстве покойного в Соединенных Штатах,— но что на это потребуется немало времени.

Нам суждено утонуть в бумагах, думал Рудольф. Он слушал разглагольствования Джонни Хита о том, что скорее всего суд назначит Кейт Джордах, жену покойного, несмотря на ее английское подданство, администратором наследства и что одна треть состояния, по всей вероятности, достанется ей, а две трети — сыну, хотя ее беременность осложняет дело,— и ему представлялось, как «Клотильда» со всеми пассажирами на борту идет ко дну в океане судебных документов, постановлений и распоряжений. Сыну, поскольку он несовершеннолетний, до восемнадцати лет положен опекун, и почему бы Рудольфу, как самому старшему и близкому из родственников мужского пола, не взять на себя эту обязанность? Имущество покойного, вероятно, придется ликвидировать, чтобы заплатить налог на наследство, а это значит, что в течение года «Клотильда» должна быть продана. Но, предупредил Хит, пока он ничего определенного сказать не может, необходимо кое с кем проконсультироваться.

Рудольф не сказал Уэсли о своих беседах с Хитом. Он просто спросил, не обижают ли его и что ему нужно. Уэсли равнодушно ответил, что к нему относятся как ко всем и что ему ничего не нужно. Непонятный молодой человек, возмущался Рудольф, и всегда он почему-то враждебно настроен. Из-за этого свои визиты в тюрьму Рудольф старался по возможности сократить.

Но когда он усталый возвращался в отель, его ждал не лучший прием. Даже худший, по правде говоря. Джин совсем перестала сдерживаться. Она рвалась домой, требовала, чтобы ее, как она выражалась, выпустили на свободу — вероятно, впервые за всю историю отель «Дю Кап» назвали тюрьмой. Почему-то она вбила себе в голову, что ее отъезд задерживается по вине Рудольфа, и сколько он ни твердил ей, что ее паспорт в полиции, а не у него, она по-прежнему билась в истерике.

— Черт бы побрал твоего кретина брата! — кричала она во время последней ссоры.— Чего он полез в чужие дела? Ну, изнасиловали бы меня. Подумаешь! Не первый случай с американкой во Франции. Зато я уже давно была бы дома.

От ее пронзительного голоса у него зазвенело в ушах, а перед глазами на мгновение предстала та Джин, какой она была, когда они только поженились: живая, хорошенькая, неистовая в любовных утехах, которым они предавались после полудня в выходившей на море комнате (не в той ли самой комнате она спит и сейчас?). Рудольф вспомнил, как Джин призналась, что она, которую он до свадьбы считал бедной труженицей, гораздо богаче его, и предложила купить ему яхту... Нет, лучше не вспоминать.

Узнав, что Уэсли чуть не убил человека, Джин окончательно решила, что причина всей трагедии не в ее пьянстве и психической неуравновешенности, а в присущей всем Джордахам тяге к насилию.

— Так или иначе,— визжала она,— со мной или без меня, с такими характерами оба они, твой братец и его сын, с самого начала были обречены. Это у них в крови.

Гретхен, вспоминалось ему, сказала почти то же самое, и он из-за этого с ней поругался. Он видел Уэсли в тюрьме. В жилах Уэсли текла кровь не одних только Джордахов. Он вспомнил Терезу — его мать, вечно хмурую, с жестким взглядом и соблазнительной фигурой. Кто знает, от каких сицилийских бандитов унаследовано это зловоние, эта волчья ухмылка? Вину, если это и вправду вина, следует разделить по справедливости.

— И про твоего отца-психопата я знаю,— кричала Джин, вспоминая и его запятнанных преступлениями предков-немцев.— Удивительно, как это тебе и твоей любимой сестрице удалось так долго продержаться на этом свете. Кстати, о твоей сестре — как умер ее муж? Его тоже убили!..

— Он погиб в автомобильной катастрофе,— попытался вставить Рудольф.— Пятьдесят тысяч человек в год...

— Убили,— упорствовала Джин.— Страшно даже подумать, какая жизнь ждет ребенка, у которого такой отец, как ты...

Ее нападки делали Рудольфа беспомощным. Он чувствовал себя уверенно, когда мог рассуждать логически, но отсутствие логики вселяло в него страх, смущало его, обезоруживало. Когда он вышел из комнаты, Джин бросилась лицом вниз на кушетку и, как ребенок, колотя кулаками по подушкам, зарыдала: — Хочу домой, хочу домой...

Гретхен молчала, но тоже становилась все более и более беспокойной. Ее ждала работа, ей звонил из Нью-Йорка мужчина, красоты Лазурного берега давно утратили для нее свою привлекательность, и Рудольф понимал, что она не уезжает только из лояльности к нему. Еще один долг.

Как-то раз, когда они остались одни, она тихо спросила:

— Руди, а тебе не приходило в голову просто выйти из игры?

— То есть?

— Бросить все. Ведь ты тут ни при чем. Собраться и уехать. А они, так или иначе, и без тебя не пропадут.

— Нет,— рассердился он,— мне это не приходило в голову.

— Восхищаюсь тобой, братец,— сказала Гретхен, но в тоне ее никакого восхищения не слышалось.— Восхищаюсь тобой и удивляюсь.

— Ты ведь тоже, между прочим, можешь уехать.

— Знаю,— отозвалась она.— И вовсе не намерена оставаться здесь до скончания века. А ты, если нужно, наверное, останешься.

— Если нужно.— Его не ждала работа, никто не звонил ему из Нью-Йорка.

— И еще — мне жаль тебя, братец,— добавила Гретхен.—А теперь пойду-ка я лучше к морю, понежусь на солнышке.

Кейт пока не звонила ему из своего отеля, и Рудольф был благодарен ей за это. Но он со страхом ждал минуты, когда придется пойти к ней и рассказать, что́ следует делать и что́ это для нее означает.

Бедный Кролик Дуайер, думал он, в очередной раз медленно шагая по узким улочкам старого города к конторе адвоката. Бывший компаньон, бывший партнер —

ему ничего не полагается ни по закону, ни по обычаю: дружба и многолетняя совместная работа весят меньше пушинки на весах Фемиды.

Единственное, что поддерживало душевное равновесие Рудольфа,— это два вечера, проведенных в отеле с Жанной. Никаких проблем, никаких железных оков любви или долга — только бездумное наслаждение, позволяющее забыться в полумраке комнаты, снятой на час-другой в чужом городе.

Не из-за этих ли двух необыкновенных вечеров в Ницце он на самом деле готов остаться здесь навсегда? Из-за игры в двойной адюльтер? И не потому ли им восхищаются и его жалеют, что он способен на ложь?

По мере приближения к конторе адвоката поступь его делалась тяжелее, а от яркого солнца он весь взмок.

Контора адвоката помещалась в его собственном доме у крепостного вала, где из двух скромных каменных жилищ, в которых некогда обитали антибские рыбаки, был сооружен великолепный современный особняк; нынешним его хозяевам ни разу не приходилось забрасывать сеть, садиться на весла или бороться со штормом. Вот пример того, думал Рудольф, как, вопреки распространенной экономической доктрине, не бедность следует за богатством, а наоборот. Во всяком случае, богатые нынче захватывают хорошие участки, случайно доставшиеся беднякам в те далекие времена, когда они были первыми гражданами города, отражали набеги пиратов, вражеский огонь и натиск стихии.

Кабинет адвоката выглядел внушительно: шкафы со сводами законов в переплетах из телячьей кожи; навощенная элегантная темная мебель восемнадцатого века и широкое окно, смотревшее прямо на море, плещущееся о стены крепостного вала. Адвокат не уступал во внушительности своему кабинету. Это был превосходно одетый пожилой, но еще прямо державший спину лысый человек с большим носом, острым подбородком и грустными глазами. Крупные ухоженные руки были испещрены коричневыми пятнами. Можно понять его грусть, думал Рудольф, пожимая руку старика, если представить себе, через что ему пришлось пройти, прежде чем он стал хозяином этого кабинета.

— У меня для вас весьма важные новости,— сказал адвокат, когда Рудольф уселся напротив него за большим полированным письменным столом. Он говорил по-английски медленно, но правильно. Он провел годы войны в Англии, о чем не преминул сообщить Рудольфу. Голос у него был сочный.— Прежде всего относительно вашей супруги. Ее паспорт у меня.— Он открыл ящик стола, слегка нагнулся, вынул паспорт и толкнул по столу в сторону Рудольфа.— Полиция нашла Дановича, человека, которого им хотелось допросить более подробно. Меня уверили, что допрос был проведен... э-э... с пристрастием. Полиция неоднократно арестовывала Дановича за различные преступления, но, к сожалению, ни разу до суда дело не доходило. Кроме того, его алиби оказалось неопровержимым. Весь день он провел в Лионе у зубного врача. Что подтверждается записью в книге регистрации пациентов.

— И что это значит?

— Это значит,— пожал плечами адвокат,— пока полиция не докажет, что либо зубной врач лжет, либо у Дановича были сообщники, которым он поручил, приказал или с которыми сговорился совершить убийство, арестовать его нельзя. На данный момент улик против него нет. Полиции, разумеется, хотелось бы продолжить допрос, но в настоящее время у них нет оснований для задержания Дановича. Если, конечно... — Он умолк.

— Если что?

— Если ваша супруга не пожелает обвинить его в попытке изнасилования.

Рудольф застонал. Он знал, что Джин ни за что не пойдет на это.

— У моей жены одно желание,— сказал он.— Уехать домой.

— Я ее вполне понимаю,— кивнул адвокат.— И кроме того, у нее нет свидетелей.

— Единственным свидетелем был мой брат,— сказал Рудольф,— но его уже нет в живых.

— В таком случае, по-моему, вашей супруге лучше как можно скорее уехать домой. Могу представить себе, каким испытанием...

Нет, не можешь, старина, подумал Рудольф, даже на минуту не можешь. Он думал скорее о себе, чем о Джин.

— Кроме того, при обвинении в изнасиловании виновность очень трудно доказуема,— заметил адвокат.— Особенно во Франции.

— В Америке тоже,— отозвался Рудольф.

— Это одно из тех преступлений, где закон не всегда оказывается на высоте,— улыбнулся старик. Он уже давно привык к несправедливости.

— Она завтра же улетит отсюда,— сказал Рудольф.

— Теперь... — Адвокат любовно погладил сверкающую поверхность стола, в которой его белая рука отражалась бледным пятном; с одной проблемой было тактично покончено.— По поводу вашего племянника.— Он искоса взглянул на Рудольфа; вокруг его бесцветных глаз бугрилась желтоватая сморщенная кожа.— Он не отличается общительностью. По крайней мере со мной. И, по правде говоря, с полицией тоже. На допросе отказался объяснить причину своего нападения на человека в баре. Может, он вам что-нибудь сказал? — Снова тот же хитрый стариковский взгляд искоса.

— Мне — нет,— ответил Рудольф.— Кое-что я знаю, но...— Он пожал плечами.— Но на суде это не будет иметь никакого значения.

— Итак, защиты нет. Смягчающие вину обстоятельства отсутствуют. А нападение с применением силы во французском законодательстве рассматривается как весьма серьезное преступление.— Адвокат тяжело дышал. Либо астма, подумал Рудольф, либо таким манером он выражает свою гордость за цивилизацию во Франции, где удар пивной бутылкой считается чрезвычайно серьезным преступлением, в то время как американцы, по примеру первых поселенцев, до сих пор лупят друг друга чем попало, притом безнаказанно.— К счастью,— продолжал адвокат, отдышавшись,— англичанин вне опасности. Через несколько дней он выйдет из больницы. У него тоже было несколько стычек с местной полицией, поэтому вряд ли он обратится к правосудию. Помимо этого, juge d'instruction[1], приняв во внимание возраст юноши и недавно постигшую его утрату, по соображениям гуманности распорядился в течение восьми дней доставить его либо к ближайшей границе, либо в аэропорт. Извините, так говорится по-французски, это значит в течение недели.— Адвокат снова улыбнулся, не чая души в своем родном языке.— Не спрашивайте меня почему.— Он опять погладил стол, Рудольф услышал легкое сухое шуршание.— Если юноша пожелает вернуться во Францию, чтобы продолжить образование, например... — Он негромко засопел в носовой платок, тем самым вежливо давая понять, что, по его мнению, спрос на образование в Америке не так уж велик.— Через год-другой, я уверен, все это забудется, и я помогу ему получить разрешение на въезд.

— Рад слышать,— отозвался Рудольф.— По словам его отца и мистера Дуайера, ему здешняя школа нравилась, и он очень хорошо учился.

— Ему следовало бы продолжить образование в лицее, пока он по крайней мере не получит baccalauréat[2]. Без этого в наши дни не обойтись.

— Я подумаю об этом. И, конечно, поговорю с мальчиком.

— Превосходно,— сказал старик.— Надеюсь, мой друг, вы согласитесь, что я служил вам верой и правдой и, позволю себе заметить, употребил то небольшое влияние, которым пользуюсь в этой... этой... — Он впервые не сумел припомнить английского слова.— В этом pays[3], в этом районе побережья, на благое дело.

— Очень вам признателен, метр,— поблагодарил его Рудольф. По крайней мере он хоть знает теперь, как полагается обращаться к французскому адвокату.— А как это все будет осуществлено? Каким образом его доставят на границу? — Он нахмурился.— Я спрашиваю потому, что никого из моих знакомых еще никогда не доставляли на границу.

— Пустяки,— отмахнулся старик. Для него это было самое обычное дело.— Если вы ровно через неделю явитесь в аэропорт Ниццы с билетом для юноши, то его привезут туда в сопровождении инспектора полиции, который и поможет посадить его в самолет, отбывающий за границу. Если угодно, в Соединенные Штаты. Поскольку инспектор будет в штатском, то никакого любопытства это не вызовет — его примут за дядю или за друга семьи, который пришел проводить мальчика и пожелать ему bon voyage[4].

— Мальчику сказали об этом? — спросил Рудольф.

— Я лично поставил его в известность сегодня утром,— ответил адвокат.

---

[1] Судебный следователь *(франц.)*.
[2] Степень бакалавра *(франц.)*.
[3] Крае *(франц.)*.
[4] Счастливого пути *(франц.)*.

— Что он сказал?

— Как всегда, ничего.

— Он выглядел довольным или огорченным? — допытывался Рудольф.

— Ни довольным, ни огорченным.

— Понятно.

— Я взял на себя смелость поинтересоваться расписанием американских авиакомпаний, которые обслуживают Ниццу. Самым удобным, по-моему, был бы самолет, вылетающий в десять тридцать утра.

— Я буду в аэропорту,— сказал Рудольф. Он взял паспорт Джин и положил его в карман.

— Я должен сделать вам комплимент, мсье Джордах,— добавил старик.— Я восхищен тем, как спокойно, по-джентльменски уравновешенно вы держались во время этих ужасных событий.

— Благодарю вас.— Стоит мне выйти из его красивого кабинета, думал Рудольф, как я утрачу все свое спокойствие и сразу перестану быть по-джентльменски уравновешенным. Он начал подниматься и вдруг почувствовал, что у него кружится голова и он вот-вот потеряет сознание. Чтобы не упасть, ему пришлось опереться рукой о стол.

— Чересчур плотный обед? — удивленно посмотрел на него старик.

— Я еще не обедал.— Он не обедал уже семь дней.

— За здоровьем нужно следить,— сказал старик,— особенно за границей.

— Дать вам мой адрес в Соединенных Штатах,— спросил Рудольф,— чтобы вы могли прислать мне счет за оказанные услуги?

— В этом нет необходимости, мсье,— спокойно ответил старик.— Мой клерк уже все сделал, счет ждет вас в приемной. И не утруждайте себя возней с франками. Меня устроят и доллары, если вы будете любезны переслать чек в женевский банк, адрес которого указан в счете.

Старый адвокат, чья внешность внушала почтение, а профессиональные качества заставляли снять перед ним шляпу, владелец кабинета с мебелью восемнадцатого века и видом на море, а также не подлежащего обложению налогом счета в швейцарском банке, медленно, помня о своих преклонных летах, поднялся с места, пожал Рудольфу руку и проводил его до дверей со словами:

— Enfin[1] позвольте мне еще раз выразить соболезнование вам лично и вашей семье. Я надеюсь, что все случившееся не помешает вам в будущем вновь посетить этот прекрасный уголок земного шара.

Начнем с самого главного, думал Рудольф. Он вышел из конторы адвоката и зашагал к порту. Путь его лежал вдоль крепостного вала, мимо музея Гримальди с картинами Пикассо. Прежде всего надо покончить с дурными новостями, то есть повидать Дуайера и Кейт. Он обязан рассказать им о вчерашней беседе с Хитом. Хорошо бы сразу обоим, чтобы не было никаких недоразумений, никаких подозрений в тайном сговоре. А потом он пойдет к Джин и Гретхен с хорошими новостями, объявит им, что они могут ехать домой. Перспектива встречи со всеми этими людьми его не радовала. Потом придется еще раз побывать в тюрьме — следует решить, где, как и с кем Уэсли будет жить в Америке. Эта беседа — самая трудная. Хорошо бы мальчишка побрился. И принял душ.

Рудольф остановился и посмотрел на море. На другой стороне залива Ангелов лежала Ницца. Залив Ангелов. Французы не очень-то раздумывают при выборе названий. Например, Антиб. Греческие поселенцы назвали его Антиполис, то есть «Напротив города». Какого города? До Афин нужно было плыть тысячу миль на галере. Может, греки скучали по дому? Он сам ни по какому дому не скучал. Счастливые греки! Какие были тогда законы? Что, по мнению тогдашних неподкупных судей, было бы справедливым наказанием мальчишке, который в таверне ударил человека по голове пивной бутылкой?

Вокруг него даже на узкой, выложенной камнем дороге, идущей вдоль крепостного вала, бурлило движение. Когда-то Антиб был сонным, позабытым богом и людьми городишком, теперь же стал прибежищем фаворитов или жертв двадцатого века, убежавших от зимы в теплые края, чтобы жить здесь и работать, а не только играть в рулетку. Цветы и легкая промышленность. Он сам был человеком севера, но не отказался

[1] И в заключение *(франц.)*.

бы провести несколько лет на юге. Не случись то, что случилось, он мог бы уютно здесь устроиться и жить тихо и незаметно, с облегчением, как это делают некоторые, удалившись от дел в неполные сорок лет. Элементарное знание французского языка у него есть — с Жанной-то он разговаривает,— мог бы еще подзаняться, научился бы читать Виктора Гюго, Жида, Кокто, новых писателей, стоящих того, чтобы их читали, ездил бы в Париж в театры. Мечты. Он может жить в любом месте, но только не в этом прекрасном уголке, где все будет напоминать о случившемся.

Он снова зашагал вдоль крепостного вала по направлению к порту. Он попросит Дуайера найти Кейт, и они посидят в кафе, потому что Кейт сказала, что больше не хочет видеть «Клотильду». Может, конечно, теперь она передумала, ибо не отличалась сентиментальностью, но уж он-то, во всяком случае, ее принуждать не будет.

Как раз у входа в порт было небольшое кафе для моряков. За крошечным столиком на террасе сидели Дуайер и спиной к Рудольфу какая-то женщина. Он окликнул Дуайера, женщина повернулась, и он узнал Кейт. Она похудела, а может, так кажется из-за черного платья. Ореховый загар ее поблек, волосы причесаны небрежно. Он почувствовал приступ гнева или чего-то похожего. Знает же, что он изо всех сил старается ей помочь, и даже не потрудилась известить его, где живет, а теперь сидит с Дуайером на солнышке — точно муж с женой обсуждают свои дела. Она встала, чтобы поздороваться, и Рудольф смутился.

— Можно присесть к вам на минутку? — спросил он. Разные бывают минутки.

Дуайер молча придвинул стул от соседнего столика. Он был, как всегда, в белом свитере с короткими рукавами и надписью на груди, на загорелых руках боксера легчайшего веса играли мускулы. Траур был у него в душе.

— Что будете пить? — спросил Дуайер.

— А вы что пьете?

— Пастис.

— Нет, это не для меня,— отказался Рудольф.— Можно мне рюмку коньяку?

Дуайер пошел в кафе за коньяком. Рудольф посмотрел на Кейт. Она сидела напротив него неподвижно, с бесстрастным лицом. Словно мексиканская крестьянка, подумал Рудольф, которая, покончив с делами, присела на солнце у стены хижины в ожидании возвращения мужа с поля. Кейт опустила глаза, не хотела смотреть на него, окружила свои несложные мысли глинобитной стеной. Он ощутил ее неприязнь. Не был ли прощальный поцелуй перед ее уходом с «Клотильды» лишь насмешкой? Или он был искренним, от всего сердца, и потом она об этом пожалела?

— Как Уэсли? — спросила она, по-прежнему не поднимая взгляда.— Кролик мне обо всем рассказал.

— Ничего. Ему разрешили через неделю покинуть Францию. Скорей всего он вернется в Штаты.

Она кивнула.

— Так я и думала.— Голос ее был тихим и безучастным.— Для него это лучше. Нечего ему здесь болтаться.

— Напрасно он затеял эту драку,— заметил Рудольф.— Такая глупость! Не понимаю, что́ на него нашло.

— Может, он прощался с отцом,— предположила Кейт.

Рудольфу стало стыдно за свои слова, и он промолчал. Он чувствовал себя так, как в тот день, когда, выйдя из консульства, плакал прямо на улице. Не мокрые ли у него щеки и сейчас?

— Вы знаете его лучше меня,— наконец отозвался он и решил переменить тему.— А вы-то сами как? — спросил он, стараясь говорить с участием.

Она сердито хмыкнула.

— Неплохо, насколько это возможно,— ответила она.— Кролик составляет мне компанию.

Может, им пожениться, подумал Рудольф. Они люди одного толка. Прошли одну и ту же суровую школу. Составляют друг другу компанию, как она выразилась.

— А я надеялся, что вы позвоните,— солгал он.

Она подняла глаза, посмотрела на него.

— Я знала, где вас разыскать,— ровным тоном сказала она,— захоти я с вами попрощаться.

Кролик принес коньяк и еще два пастиса. Рудольф смотрел, как они подливают в рюмки воду и пастис становится желтовато-молочным.

— Выпьем за...— Рудольф машинально поднял рюмку. Замолчал, неуверенно рассмеялся.— Нет, пожалуй, не за что.— Коньяк оказался крепким, и Рудольф чуть ойкнул, почувствовав, как ему обожгло горло.— Есть новости, о которых, мне представляется, вам следует знать... — Перестань говорить так, будто выступаешь перед членами правления, укорил он себя.— Хорошо, что я застал вас обоих вместе... — И постарался как можно доступнее объяснить значение того, что сказал ему Хит. Они слушали вежливо, но равнодушно. Он чуть не закричал: «Неужели вас не интересует ваше собственное будущее?»

— Мне не хочется быть этим, как его... — тихо сказала Кейт.

— Администратором наследства,— Хит предупредил его, что выбор судьи падет, по-видимому, именно на нее.

— Администратором наследства,— повторила Кейт.— Я в этом ничего не понимаю. И кроме того, я собираюсь вернуться в Англию. В Бат. Там у меня мама, я смогу получить на ребенка пособие, а когда устроюсь на работу, мама будет его нянчить.

— На какую работу? — спросил Рудольф.

— Я была официанткой в ресторане, пока не откликнулась на зов моря,— усмехнулась Кейт.— Официантки всегда нужны.

— Когда дела покойного будут улажены,— заметил Рудольф,— останутся деньги. Вам не обязательно работать.

— А что мне тогда делать? — спросила Кейт.— Весь день смотреть телевизор? Нет, я не умею зря коптить небо.— Тон ее был вызывающим, она явно намекала, что считает и его самого, и его женщин такими небокоптителями.— А если останутся кое-какие деньги — не думаю, что много, после всех этих адвокатов и прочих,— я отложу их на образование ребенку. Получит образование, так ей, если будет девочка, может, не придется, как ее мамаше, прислуживать за столом или гладить дамам платья в судовой прачечной.

Спорить с ней было бесполезно.

— Если вам что-нибудь понадобится,— уже ни на что не надеясь, предложил он,— пожалуйста, дайте мне знать.

— Мне ничего не понадобится,— сказала она, снова опустив глаза и вертя в руках рюмку.

— Как знать,— отозвался Рудольф.— Вдруг вам захочется побывать в Америке?

— Меня Америка не интересует,— упорствовала она.— В Америке надо мной будут смеяться.

— А повидаться с Уэсли?

— Пожалуй,— согласилась она.— Но если ему захочется меня видеть, из Америки в Лондон каждый день летают самолеты.

— Тем не менее,— продолжал Рудольф, стараясь, чтобы в его голосе не было слышно умоляющих ноток,— пока наследственные дела не закончены, вам наверняка понадобятся деньги.

— Нет,— отрезала Кейт.— У меня есть сбережения. Я заставляла Тома платить мне жалованье, как и прежде, хотя мы уже спали в одной постели и решили пожениться. Я ему говорила: любовь — это одно, а работа — другое.— После этой гордой декларации своего понимания жизни она наконец подняла рюмку и сделала несколько глотков.

— Как угодно.— Рудольф не мог скрыть раздражения.— Вы так говорите, будто я ваш злейший враг.

Она уставилась на него пустыми мексиканскими глазами.

— Разве я сказала вам что-нибудь такое, из чего можно заключить, что я считаю вас своим врагом? Вот Кролик не даст соврать.

— Я, по правде говоря, не очень-то прислушивался,— смущенно отозвался Дуайер.— И ничего сказать не могу.

— А вам? — Рудольф повернулся к нему.— Вам тоже не нужны деньги?

— Я всегда умел экономить,— ответил Дуайер.— Том часто дразнил меня жмотом и сквалыгой. Спасибо, но деньги у меня есть.

Потерпев полное поражение, Рудольф допил коньяк.

— Дайте мне хоть свои адреса,— попросил он.— Чтобы я мог поддерживать с вами контакт.

— Оставьте здесь в порту адрес Уэсли,— сказала Кейт.— Я буду сюда писать время от времени, и ему перешлют открытку. Должна же я сообщить ему — брат у него или сестра.

— Я еще не знаю, где будет Уэсли,— сказал Рудольф. Он охрип. У него саднило в горле от коньяка и от усилий, которые пришлось приложить для беседы с этими упрямцами.— Пишите на мой адрес, а я постараюсь передать письмо ему.

Кейт долго смотрела на него, потом снова поднесла рюмку ко рту и сделала несколько глотков.

— Мне бы не хотелось, чтобы ваша жена читала мои письма,— заявила она, ставя рюмку на стол.

— Моя жена не вскрывает адресованных мне писем,— ответил Рудольф. Он уже с трудом сдерживался.

— Слава богу, хоть на это у нее хватает порядочности,— отозвалась Кейт, и в глазах у нее зажегся зловещий огонек. Или ему показалось?

— Я пытаюсь лишь помочь,— устало сказал Рудольф.— Я чувствую себя обязанным... — Он замолчал, но было уже поздно.

— Очень вам признательна,— ответила Кейт,— но мне вы ничем не обязаны.

— Пожалуй, не стоит говорить об этом, мистер... Руди,— вмешался Дуайер.

— Ладно, не будем. Я пробуду в Антибе еще по меньшей мере неделю. Когда вы возвращаетесь в Англию, Кейт?

Кейт разгладила платье на коленях.

— Как только соберу вещи.

Рудольфу вспомнился ее единственный потрепанный чемодан из искусственной кожи, который вынес с «Клотильды» Уэсли. Чтобы собрать вещи, ей, наверное, требуется минут пятнадцать, не более.

— Сколько, по-вашему, это займет времени? — терпеливо переспросил Рудольф.

— Трудно сказать,— ответила Кейт.— Неделю. Две. Мне нужно кое с кем попрощаться.

— Но у меня по крайней мере должен быть ваш адрес,— не сдавался Рудольф.— Вдруг понадобится подписать у нотариуса какую-нибудь бумагу...

— Кролик знает, где я живу,— ответила она.

— Кейт,— тихо сказал Рудольф,— я хочу быть вашим другом.

— Дайте мне время,— кивнув, сурово отозвалась она.

Тогда, в кают-компании «Клотильды», она просто ничего не чувствовала, а потому и поцеловала его на прощание. За эту неделю она озлобилась. Но разве она виновата?

— А вы? — повернулся Рудольф к Дуайеру.— Сколько вы пробудете в Антибе?

— Вам это лучше знать, Руди,— ответил Дуайер.— Я буду на «Клотильде», пока меня не прогонят. На днях привезут новый вал и новый винт, потом ей придется постоять в доке дня три, самое меньшее, если, конечно, к тому времени выплатят страховку... Знаете что: если хотите сделать доброе дело, помогите получить страховку, а? На них надо нажать, иначе они будут тянуть изо всех сил. А вы лучше меня умеете с ними разговаривать. Поэтому если...

— Идите вы к черту с вашей страховкой,— не выдержал наконец Рудольф.— Сами ею занимайтесь.

— Не к чему кричать на Кролика,— спокойно заметила Кейт.— Он просто хочет привести судно в порядок, чтоб, когда будете продавать, оно не казалось трухлявой посудиной.

— Извините,— сказал Рудольф.— У меня за это время было столько всего...

— Конечно, конечно,— согласилась Кейт. По тону не поймешь, всерьез она говорит или иронизирует.

— Мне пора в отель.— Рудольф встал — Сколько я должен?

— Да что вы, что вы! — заспешил Дуайер.— Я заплачу.

— Буду держать вас в курсе дела.— пообещал Рудольф

— Очень любезно с вашей стороны,— ответил Дуайер.— Мне бы хотелось повидаться с Уэсли перед отъездом.

— Тогда вам придется приехать в аэропорт.— сказал Рудольф.— Его привезут туда прямо из тюрьмы. В сопровождении полицейского.

— Французские полицейские! — усмехнулся Дуайер.— Из их рук нелегко выбраться. Передайте Уэсли, что я буду в аэропорту.

— Всего вам хорошего,— попрощался Рудольф.— Будьте здоровы.

Они ничего не ответили, сидели молча — рюмки стояли на столе,— теперь уже в тени, потому что солнце, уходя на запад, скрылось за зданием на другой стороне

улицы. Рудольф помахал им рукой и зашагал к туристскому агентству, чтобы купить три билета на завтрашний рейс.

Муж с женой — им и вправду следовало бы пожениться. «Что со мной такое? — с горечью размышлял он, проходя мимо антикварных магазинов, сырных лавок и газетных киосков.— Откуда у меня такая уверенность, что я могу обо всех заботиться? Решительно обо всех. Я похож на глупую гончую на собачьих бегах. Как только я чую ответственность — мою, не мою, любого человека,— я начинаю гнаться за ней, как собака гонится за механическим зайцем, даже если заранее знает, что не может его поймать. Какой болезнью я заразился еще в молодости? Суетностью? Тщеславием? Боязнью не понравиться окружающим? Это что, вместо религии? Хорошо, что мне не пришлось участвовать в войне — меня убили бы в первый же день собственные солдаты, застрелили бы за то, что помешал им отступить или вызвался пойти за боеприпасами для попавшего в засаду орудия. В следующем году,— наказал он себе,— надо будет научиться посылать всех и каждого подальше».

6

Из записной книжки Билли Эббота (1968)

Моника меня сегодня сбила с толку. Она проверяла текст речи, которую переводила с французского на английский, и вдруг, подняв глаза, сказала: «Я только что заметила, что и в английском и во французском языках, да и в большинстве других тоже, глаголы «иметь», «быть», «идти» и «умереть» все неправильные. Из них лишь глагол «умереть» спрягается более или менее по правилам. А это значит, что человечество чувствует себя неуверенно в самых своих основных действиях: существовании, обладании, движении, смерти. Что оно пытается отказаться, избавиться, уйти от наиболее активной деятельности. А вот глагол «убивать» — правильный глагол. Тут все ясно и определенно. Как по-твоему, есть в этом смысл?»

Я сказал: хорошо, что я не переводчик. Но ее мысль меня заставила задуматься, и я полночи не спал, размышляя о себе и о своем отношении к языкам.

■ ■ ■

Вернувшись в отель, Рудольф застал Гретхен в баре. Она пила коктейль и беседовала с молодым человеком в теннисном костюме. В последние дни она довольно много пьет, что для нее вовсе не характерно, и заговаривает с первыми попавшимися мужчинами, что, с усмешкой подумал Рудольф, для нее весьма характерно. Действительно ли он слышал ночью за дверью тихие шаги, направлявшиеся мимо выставленных для чистки ботинок к ее номеру? Но, вспомнив Ниццу, он подумал, что вряд ли имеет право упрекать ее. Собственно, а почему бы ей и не искать развлечений, если они помогают избавиться от одиночества?

— Позвольте представить вам моего брата Рудольфа Джордаха,— сказала она, когда Рудольф подошел к столику, за которым они сидели.— Бэзил... Я забыла вашу фамилию, милый.

Наверное, выпила уже не меньше трех коктейлей, подумал Рудольф, если называет «милым» человека, чью фамилию не в силах вспомнить.

Молодой человек встал. Он был высокий, стройный, похожий на актера, с крашеными волосами, довольно смазливый.

— Берлинг,— чуть поклонившись, отрекомендовался молодой человек.— Ваша сестра рассказывала мне о вас.

Берлинг, Бэзил Берлинг, думал Рудольф, кивнув в ответ. Кто этот Бэзил Берлинг? Англичанин, вероятно, судя по произношению.

— Не присядете ли с нами? — спросил Бэзил Берлинг.

— Только на минуту,— не слишком любезно отозвался Рудольф.— Нам с сестрой нужно кое-что обсудить.

— Мой брат — большой любитель обсуждений,— вставила Гретхен.— Не вздумайте с ним что-либо обсуждать.

Нет, не три, а четыре коктейля, решил Рудольф.

Подошел официант.

— Что вы будете пить, сэр? — почтительно спросил Бэзил Берлинг, член анг-

лийского профсоюза актеров; он, несомненно, много работал над речью, понимая, что кончил посредственную школу.

— То же, что и вы,— ответил Рудольф.

— Три раза то же самое,— сказал Бэзил Берлинг официанту.

— Он хочет меня споить,— пожаловалась Гретхен.

— Вижу.

— Рудольф — главный трезвенник в нашей семье,— скорчила гримасу Гретхен.

— Кому-то ведь надо им быть.

— О господи, сейчас начнется,— вздохнула Гретхен.— Бэзил... Как, вы сказали, ваша фамилия, милый?..

Она больше притворяется, подумал Рудольф. Чтобы позлить меня. Я сегодня у всех на прицеле.

— Берлинг,— так же почтительно повторил молодой человек.

— Мистер Берлинг — актер,— сказала Гретхен.— Подумать только, какое совпадение,— полунаивно-полупьяно восхищалась она,— совершенно случайно встретились здесь в баре на краю света, и выясняется, что мы оба работаем в кино, а? — Передразнивая молодого человека, она старалась говорить на английский манер, но он, по-видимому, и не думал обижаться.

— Нет, серьезно? — В голосе англичанина звучало удивление.— В самом деле? Как же я сам не догадался.

— Ну, не комплимент ли это! — Гретхен игриво дотронулась до руки Рудольфа, словно забыв, что он ее брат.— Я должна открыть вам страшную тайну,— улыбнулась она Бэзилу Берлингу и сделала очередной глоток.— Я не кинозвезда.

— Не может быть! — с наигранным удивлением воскликнул Берлинг.

Пора от него отделаться, подумал Рудольф, не то придется просить помощи у швейцара.

— Да,— продолжала Гретхен,— я за кадром. Я из девочек с трауром под ногтями. По уши в ацетатной пленке. Я занимаюсь монтажом. Вот моя тайна и открыта. Я обычный, скромный монтажер.

— Вы делаете честь своей профессии,— сказал Бэзил Берлинг.

Избави бог оказаться свидетелем чужого ухаживания, подумал Рудольф, когда Гретхен сказала: «Вы очень любезны» — и погладила Берлинга по руке. Любопытно, как она ведет себя в постели, много ли у нее было мужчин и сколько сейчас. Если спросить, она скажет.

— Гретхен,— обратился к ней Рудольф, когда она, склонив голову, уж слишком нежно смотрела на актера. — Я должен подняться наверх и сказать Джин, что она может собираться. Ее паспорт у меня, она, наверное, захочет улететь завтра же. Но сначала мне нужно поговорить с тобой.

Гретхен скорчила гримаску. Рудольф чуть не дал ей пощечину. После всех сегодняшних событий он еле сдерживался.

— Допейте, милый,— сказала Гретхен Берлингу. — Мой брат — человек деловой, пчелка, трудолюбиво перелетающая с цветка на цветок.

— Разумеется. — Актер встал. — Надо, пожалуй, переодеться. Я сыграл три партии в теннис, и не миновать мне простуды, если я не переоденусь.

— Спасибо за угощение,— поблагодарила его Гретхен.

— Да что вы, что вы!

Дуайер тоже сказал: «Да что вы!» — вспомнил Рудольф. Все сегодня чересчур вежливы, кисло подумал он. Кроме меня.

— Вечером увидимся, Гретхен? За ужином? — спросил Берлинг; высокий, но ноги тонкие и жилистые, заметил Рудольф. Я лучше выгляжу в теннисных шортах, мстительно подумал он.

— Наверное,— ответила Гретхен.

— Рад был познакомиться с вами, сэр,— обратился Берлинг к Рудольфу.

Рудольф пробурчал что-то в ответ. Раз его называют «сэром», словно он уже стоит на краю могилы, то можно позволить себе быть раздражительным, как и положено в таком возрасте.

Брат и сестра смотрели вслед актеру, ступавшему по паркету пружинистым, энергичным шагом.

— Господи, Гретхен,— взмолился Рудольф, когда актер скрылся из вида,— и где ты только их находишь?

— В это время года не очень-то приходится выбирать,— сказала Гретхен. — Хватаешь, что подворачивается под руку. А какую неприятность ты так торопился мне сообщить? — Рудольф видел, что она вовсе не пьяна.

— Насчет Инид,— ответил он. — Мне хотелось бы, чтобы ты полетела завтра вместе с Джин и Инид и приглядела за ней. Или, скорей, за ними обеими.

— О господи,— простонала Гретхен.

— Я не могу доверить Джин мою дочь,— угрюмо продолжал Рудольф.

— А ты сам не летишь?

— Нет. У меня еще масса дел. И когда вы прилетите в Нью-Йорк, поживи с ними в моей квартире. Миссис Джонсон в Сент-Луисе, ее не будет еще с неделю.

— Господи помилуй, Руди,— взмолилась Гретхен,— я уже не в том возрасте, чтобы ходить в нянькаx.

— После всего, что я для тебя сделал... — рассердился Рудольф.

Гретхен откинула голову и закрыла глаза, чтобы удержаться от грубости.

— Незачем ежедневно напоминать мне, что ты для меня сделал,— не открывая глаз, процедила она.

— Ежедневно? — уцепился за ее слова Рудольф. — Когда я тебе это говорил в последний раз?

— Не обязательно вслух, дорогой братец.— Она открыла глаза и выпрямилась.— Ладно, не будем спорить. — Она встала. — Считай, что няньку ты нанял. Во всяком случае, я рада вернуться туда, где убийства бывают только в газетах, а не в лоне собственной семьи. Когда летит самолет?

— В одиннадцать тридцать. Твой билет у меня.

— Ты все продумал, да?

— Да. Все.

— Что бы я без тебя делала, братец? — сказала Гретхен.— Ладно, пойду собираться. — Она улыбнулась, но он заметил, что улыбка далась ей нелегко. — Мир?

— Мир,— ответил он.

По пути к лифту он остановился возле портье взять ключ.

— Пока вас не было, мистер Джордах,— сказал портье,— заходила дама и оставила для вас письмо.

Он протянул Рудольфу ключ и конверт. На конверте женским почерком, который показался ему знакомым, была написана только его фамилия. В лифте он разорвал конверт и вынул из него листок бумаги.

Письмо было от Жанны.

«Милый мой американец!

Пожалуйста, не звони мне. Ты, наверное, понимаешь почему. Я сама позвоню тебе, как только смогу. Через неделю, а то и две. Может случиться так, что в Париже навсегда откажутся от войны. Надеюсь, что ты проводишь время в Антибе весело и не спешишь с отъездом. Я очень скучаю без тебя. Если захочешь мне написать, пиши до востребования на Главный почтамт Ниццы. Надеюсь, что в письме нет ошибок.

Будь осторожен за рулем.

Жанна».

Он смял письмо, сунул его в карман, вышел из лифта, подошел к двери номера и, приняв достойный вид, вставил ключ в замочную скважину.

Джин стояла у окна и смотрела на море. Когда он вошел, она не повернулась. Ее юная и стройная фигура в полотняном летнем платье, заключенная в рамку открытого окна, темным силуэтом вырисовывалась на фоне вечернего неба. Она напомнила ему девушек из колледжа, которые танцевали на университетских балах, где он, чтобы подработать, играл в оркестре на трубе. Стоя в дверях и видя эту иллюзию незащищенной молодости, он вдруг почувствовал непрошеный, ненужный прилив жалости.

— Добрый вечер, Джин,— сказал он и шагнул к ней.

Она медленно повернулась. Он заметил, что ее мягкие, до плеч волосы уложены, лицо подкрашено. Пожилая женщина, какой она когда-нибудь станет, исчезла.

— Добрый вечер,— печально ответила она. Голос ее тоже стал обычным; впрочем, нет — обычно он был хриплым от алкоголя, злости или самобичевания.

— Вот, пожалуйста,— он протянул ей паспорт. — Сегодня его вернули адвокату.

— Спасибо,— сказала она.

— Я взял билеты на завтрашний самолет. Можешь лететь домой.

— Спасибо,— снова поблагодарила она. — А ты?

— Я пробуду здесь еще самое меньшее неделю.

Она кивнула, открыла паспорт, посмотрела на свою фотографию и, грустно покачав головой, бросила паспорт на стол.

— Самое меньшее неделю...— повторила Джин.— Ты, наверное, устал.

— Ничего.

Он опустился в кресло. Только сейчас он почувствовал настоящую усталость. Спал он плохо, среди ночи его будили плохие сны.

— Как Инид? — спросил он.

— Ничего,— ответила Джин. — Я возила ее сегодня в Жуан-ле-Пэн и купила ей детскую тельняшку. Она в ней очаровательна и не отходит от зеркала. Она сейчас ужинает вместе с няней.

— Я попозже зайду пожелать ей спокойной ночи,— сказал он. Он расстегнул воротничок, распустил галстук. — Гретхен полетит вместе с вами,— добавил он.

— Это вовсе не обязательно,— отозвалась Джин, но без тени неудовольствия. — Она, наверное, предпочла бы задержаться. Погода превосходная, и я видела, что ее провожал с пляжа красивый молодой человек.

— Ей нужно побыстрее в Нью-Йорк,— сказал он. — Я попросил ее пожить с тобой и Инид, пока миссис Джонсон не вернется из Сент-Луиса.

— Ей будет с нами тоскливо,— возразила Джин. — Я могу и сама присмотреть за Инид. Мне все равно нечего делать. — И снова спокойно, без тени неудовольствия или вызова.

— По-моему, лучше, если рядом будет Гретхен,— осторожно сказал он.

— Как хочешь. Хотя ты знаешь, неделю я могу не пить.

— Знаю,— подтвердил он.— Но, как говорится, береженого бог бережет.

— Я тут думала о нас,— снова спокойно, без враждебности сказала она. — О том, через что нам пришлось пройти.

— Почему бы не забыть о том, через что нам пришлось пройти? — спросил Рудольф. У него не было настроения выслушивать подготовленные заранее речи.

— Я думала о нас,— ровно, без враждебности повторила она. — Ради твоего блага и ради блага Инид мы должны развестись.

Наконец-то, подумал он. Хорошо, что не он первым произнес это слово.

— Почему бы нам не повременить с этим разговором? — ласково спросил он.

— Как хочешь. От меня тебе толку мало. Да и ей тоже. Я тебе больше не нужна...— Джин подняла руку, хотя он вовсе не собирался перебивать ее.— Ты уже целый год не заходил ко мне в спальню. А здесь у тебя кто-то есть, я знаю. Пожалуйста, не отрицай.

— Я и не собираюсь,— сказал он.

— Ты ни капельки не виноват, милый,— сказала она. — Я уже много лет мешаю тебе. Другой бы на твоем месте давным-давно бросил меня. И никто бы его не осудил. — Она криво улыбнулась.

— Может, нам подождать, пока мы не вернемся домой в Америку... — начал он, хотя чувствовал, что тяжкий груз сваливается у него с плеч.

— Я предпочитаю поговорить сегодня,— возразила она, впрочем, не слишком настойчиво. — Я весь день думала о нас, больше недели я не брала в рот ни капли спиртного, и в таком здравом уме и твердой памяти, как сейчас, я, наверное, никогда больше не буду. Неужели тебе не интересно узнать, о чем я думаю?

— Мне не хотелось бы, чтобы ты потом жалела о сказанном.

— Жалела! — Она неловко взмахнула рукой, словно отгоняя осу. — Я всегда жалею о сказанном. И почти всегда о сделанном. Послушай внимательно, милый. Я алкоголичка. Я себя ненавижу, но я алкоголичка и такой останусь навсегда. Вылечиться от этого невозможно.

— До сих пор мы не очень старались,— сказал он. — В тех заведениях, где ты была, по-видимому, недостаточно внимательно к тебе подошли. Существуют другие клиники, в которых...

— Можешь отправить меня в любую клинику в Америке,— сказала она.— Пусть

любой психиатр копается в моих снах. Пусть мне дают антабус, от которого меня рвет до изнеможения. Все равно я буду пить. И орать на тебя как мегера, и позорить тебя... Помнишь, как я это делала, и не раз... Буду просить прощения и снова делать то же самое, буду садиться за руль пьяная и подвергать опасности жизнь моей дочери, буду, ничего не помня, искать новую бутылку и так до тех пор, пока не умру в один прекрасный день. Хорошо бы он наступил поскорее, потому что у меня не хватает духа покончить с собой, и за это я тоже ненавижу себя...

— Прошу тебя, Джин, не говори так,— сказал он. Он встал и подошел к ней, но она отступила, словно боясь его прикосновения.

— Сейчас я не пьяная,— сказала она,— я не пила уже больше недели, поэтому давай воспользуемся этим прекрасным, неожиданным моментом, посмотрим на вещи трезво и сделаем трезвые, на удивление всему свету, выводы. Я уеду куда-нибудь подальше, с глаз долой, например в Мексику. Достаточно далеко, а? В Испанию? Знаешь, я ведь говорю по-испански. В Швейцарию? Там, мне сказали, есть необыкновенные больницы, где за два-три месяца добиваются отличных результатов.

— Хорошо,— согласился он. — Уезжай периодически на два-три месяца. Независимо от того, разведемся мы или нет.

— И не будем делать вид, что я в состоянии работать. — Ничто не могло остановить этот монотонный голос — голос человека, одержимого навязчивой идеей. — Правда, благодаря покойному папочке я могу жить, ни в чем себе не отказывая, даже расточительно. Только помоги мне перевести капитал на имя Инид и оформить опеку, потому что вдруг я буду пьяная, а мне повстречается какой-нибудь красавчик итальянец, который захочет хитростью выманить у меня все мое состояние. А чтобы ты не терзался из-за того, что пренебрег мною и отпустил одну бродить по этому темному и опасному миру, я найму какую-нибудь славную полную сил молодую женщину, которая составит мне компанию и будет рядом, когда я напьюсь до бесчувствия... Или найдет мне, когда нужно, мужчину.

— Замолчи! Хватит! — перебил он.

— Не сердись, милый мой пуританин,— засмеялась она.— Истина в том, мой дорогой, что я устала бороться. Даже солдаты армии конфедератов и те в конце концов сдались. Я не способна больше маневрировать. Дошла до своего Аппоматокса. Как видишь, кое-что я еще помню. Я в отчаянии. Я больше не могу сражаться. Не могу бороться с тобой, с алкоголем, с чувством вины и с нашим браком, что бы это слово ни значило сейчас для нас обоих. Время от времени, когда я буду в нормальном состоянии, я буду появляться в сопровождении моей компаньонки и навещать Инид. Тебе не обязательно при этом присутствовать. Сегодня, пожалуйста, ничего не говори, но утром, когда будешь сажать меня в самолет, помни, что я предложила, и восхищайся моим самоотречением. Соглашайся, пока я не передумала, не то я всю жизнь буду висеть камнем у тебя на шее.

— Послушай,— начал он,— когда ты уедешь отсюда, вырвешься из этой мрачной атмосферы, ты...

— Между нами говоря, мы и твою жизнь вконец испоганили,— продолжала она.— А ты ведь не молодеешь. Ты не должен сидеть перед камином и глядеть в огонь еще пятьдесят лет, ты должен действовать. Скажи сегодняшнему дню спасибо. Хватайся за мое предложение. Неизвестно, долго ли оно останется в силе. А сейчас я знаю: у тебя был длинный и трудный день, ты хочешь побриться, принять горячий душ, переодеться, выпить «Мартини» и поужинать. Пока ты будешь мыться, я закажу тебе «Мартини». Не бойся, до приезда в Нью-Йорк я и капли в рот не возьму. У меня бывают приливы сверхчеловеческой силы воли. А потом, пожалуйста, пригласи меня поужинать. Мы будем вдвоем, только ты и я, и будем говорить о разных вещах, например, о том, как тебе жить дальше, где должна учиться Инид, на какой женщине тебе в конце концов следует жениться и с кем ты спишь здесь, на Лазурном берегу. А когда уже станет поздно и мы оба устанем, мы вернемся в наш прекрасный, безумно дорогой номер в отеле, и ты позволишь мне лечь с тобой в твою постель, потому что завтра я улетаю в Америку, а ты, пока погода не испортилась, останешься здесь распутывать те узлы, что я навязала.

Он встал, подошел к ней и обнял. Ее била дрожь. Лицо у нее пылало, она горела как в лихорадке.

— Извини меня,— прошептала она и, уткнувшись лицом ему в грудь, обхватила

его руками. — Мне, наверное, следовало сказать все это давным-давно... может, еще до нашей свадьбы, только, по-моему, я тогда была совсем другая.

— Тсс,— беспомощно прошептал он. — Вот приедешь домой, и все представится тебе в ином свете.

— Когда я приеду домой,— ответила она,— изменится только то, что я стану на день старше. — Она высвободилась из его рук и с трудом улыбнулась. — От чего никак нельзя испытывать большую радость. А теперь иди под душ. Когда ты выйдешь, я несколько утрачу свое красноречие, зато на столе, напоминая тебе о том, что не все потеряно, будет стоять «Мартини». Я составлю тебе компанию, но буду пить только кока-колу.

Под душем он позволил себе заплакать. В какой-то момент их совместной жизни ее, по-видимому, еще можно было спасти. Но он был слишком занят, слишком озабочен другими делами, чтобы уловить этот момент и прийти ей на помощь, когда путь к спасению еще оставался открытым.

Почему-то никак не удавалось отрегулировать воду. Она получалась то чересчур горячей, то ледяной.

Он вылез, растерся мохнатым полотенцем, глядя на себя в большое зеркало и стыдясь своего сильного, мускулистого тела, виновного в нарушении супружеской верности.

Он медленно оделся. Прикосновение дорогой, превосходно сшитой одежды было ему приятно. Тонизирующее средство для тела. Он надел тонкую шерстяную рубашку, мягкие кашемировые носки, хорошо отутюженные брюки из фланели, удобные начищенные до блеска мокасины (спасибо беднякам в ночных коридорах), отлично пригнанный пиджак в полоску. Сейчас Гретхен не могла бы сказать, что он недавно переспал с женщиной.

Когда он снова вошел в гостиную, «Мартини» был на столике возле кушетки, а Джин стояла у окна, глядя в благоухающий ароматом мрак, прострочeнный ярким пунктиром разноцветных огней, уходивших на запад от Антибского полуострова. Горела только одна лампа. В руке у Джин был стакан с кока-колой. Она обернулась на звук его шагов.

— Пока ты был в душе, звонила Гретхен. Я сказала ей, что мы будем ужинать одни. Ты не против?

— Конечно нет.

— Ее пригласил на ужин какой-то приятель — так она по крайней мере сказала.

— Я его видел,— отозвался Рудольф.

— Выпьем за... — Она подняла стакан. — За что же мы выпьем? — Она улыбнулась. В полумраке комнаты она казалась красивой и молодой. — Скажем, за развод! — И отпила из стакана.

Рудольф поставил бокал на стол.

— Я выпью позже,— сказал он. — Пойду пожелаю Инид спокойной ночи.

— Иди,— отозвалась Джин.— Знаешь, по-моему, француженке следует приплатить. Она такая мягкая и терпеливая и отлично смотрела за Инид.

— Ты не пойдешь со мной?

— Нет,— ответила Джин. — Я еще должна подкраситься.

— Я быстро,— пообещал он.

— Не спеши,— отозвалась она. — У нас вся ночь впереди.

Инид в полосатой тельняшке уже доедала свой ужин. Когда Рудольф вошел в комнату, девочка смеялась. Няня не говорила по-английски, тем не менее они, по-видимому, умудрялись превосходно понимать друг друга. Этот дар исчезнет, с болью подумал Рудольф, как только Инид начнет учиться. Он поцеловал ее в макушку, поздоровался с няней.

— Извините нас за эту рубашку, мсье. Инид уже выкупалась, но не захотела надеть пижаму. Она говорит, что сегодня будет спать в этой рубашке. Надеюсь, вы ничего не имеете против? Я не стала настаивать...

— Конечно нет. — Француженка понимает, где следует уступить. — Зато она будет лучше спать.— Потом он попросил ее собрать утром вещи девочки, так как она улетает в Нью-Йорк. «К тому времени, когда я покончу здесь со своими делами, я

научусь говорить по-французски даже с полицейским-корсиканцем. Что ж, нет худа без добра».

— Bien, monsieur [1],— ответила няня.

Рудольф внимательно посмотрел на дочь. Она выглядела здоровой и довольной, щеки у нее порозовели от пребывания на солнце. Что ж, подумал он, еще один плюс. Хоть кому-то наше путешествие пошло на пользу. Она ела весело, словно это была еще одна игра, а потом вдруг схватила няню за руку, и Рудольф решил по приезде в Нью-Йорк рассчитать миссис Джонсон. Миссис Джонсон всем хороша, но ей за пятьдесят и уже не до игр.

Он еще раз поцеловал Инид в макушку и наклонился; она сказала: «Спокойной ночи, папа» — и чмокнула его в щеку, размазав по ней овсяную кашу. От Инид пахло мылом и тальком; не будь рядом няни, он поднял бы дочь со стула и крепко обнял бы.

— Спокойной ночи, мой морячок, приятного тебе сна,— сказал он вместо этого и вышел из комнаты.

Ужин оказался превосходным, над морем сияла луна, ресторан был почти пуст, и официанты увлеченно суетились вокруг их столика. Джин потребовала, чтобы он добавил к заказанному бутылку вина — только для себя,— и он согласился. Выяснилось, что им есть о чем побеседовать, все это были темы веселые и незначительные, поэтому разговор тек непринужденно, без неловких пауз. Джин нагнулась над тарелкой, и Рудольф, любуясь ее мягкими волосами, подумал: «Мы все резиновые — вытягиваемся из своего облика, а потом — по крайней мере внешне — снова такие же, как прежде, или почти такие же».

Сидя возле огромного окна, выходившего на темное море, по которому к еле видным вдали островам бежала серебряная дорожка дрожащего лунного света, они не спеша пили кофе и казались — он не сомневался — довольными собой и друг другом.

Потом они медленно пошли в отель, и когда добрались до своего номера, Джин сказала:

— Ложись, милый. Я сейчас приду.

Он разделся и лежал во тьме, ожидая. Дверь тихо открылась, послышался шорох — это Джин сняла халат,— и она легла рядом с ним. Он обнял ее, тело ее было теплым, и она не дрожала. Они лежали неподвижно и через некоторое время оба уснули.

А в номере дальше по коридору беспокойно ворочалась Гретхен. Она спала одна — после вкусного ужина с обильными возлияниями. Молодой человек, почти самый красивый в зале, был внимателен, потом стал настойчив. Она чуть не сказала «да». Но все-таки не сказала. Прежде чем заснуть, она подумала: «Не ляпни мой чертов братец: «И где ты только их находишь?» — я бы определенно не была сейчас одна».

7

Из записной книжки Билли Эббота (1968)

Случайно наткнулся на свежий номер европейского издания журнала «Тайм». И вдруг в разделе «Преступления» мне попадается заметка о Джордахах — малоприятная история нашего семейства и фотография обнаженной женщины. Короткое, но впечатляющее повествование о крахе, убийстве и позоре.

Я вырезал эту заметку и прилагаю ее к моим запискам. Она послужит моим потомкам, если таковые появятся, краткой иллюстрацией к их генеалогическому древу.

«Где, по-вашему, можно встретить троих детей эмигрировавшего в свое время из Германии и впоследствии покончившего жизнь самоубийством пекаря из маленького городка на Гудзоне? Представьте себе: на яхте возле Ривьеры. После

[1] Хорошо, мсье *(франц.)*.

того, как недавно в антибском порту был убит Томас Джордах, более известный в прошлом как боксер среднего веса Томми Джордан, из досье французской уголовной полиции всплыло на поверхность еще несколько имен, в том числе: сорокалетний Рудольф Джордах, брат Тома, миллионер, бывший мэр города Уитби, штат Нью-Йорк; сын Джордана Уэсли; Джин Прескотт Джордах, жена Рудольфа и наследница Прескоттовской фармацевтической империи на Среднем Западе; Гретхен Берк, сестра обоих Джордахов и вдова театрального и кинорежиссера Колина Берка.

Согласно сведениям из антибских источников, Джордан скончался от побоев вскоре после своей свадьбы и после того, как вырвал свою подвыпившую невестку из лап портового бандита в весьма подозрительном ночном баре Канна.

По словам Джин Джордах, которая живет в роскошном отеле «Дю Кап», на нее напали, когда она зашла в бар выпить. Появившийся затем Джордан зверски избил приставшего к ней человека. На следующий день Джордан был убит у себя на яхте.

Представители французской полиции заявляют, что у них на подозрении целый ряд людей».

К счастью, обо мне в заметке ни слова. Так что вряд ли кто-нибудь догадается о моем родстве с миссис Берк, вдовой известного режиссера и бывшей женой ничем не прославившегося сочинителя рекламы по фамилии Эббот. Моника, конечно, догадалась бы, потому что я много рассказывал ей о матери, но, к счастью, Моника не читает «Тайм». Этот журнал, по ее мнению, предназначен только для развлечения публики, поэтому правды в нем нет.

Я иногда думаю: а почему бы мне не попытаться стать журналистом? Я любопытен и хитер, а это два немаловажных качества для журналиста.

Моники дома нет. На столе записка. Ее не будет несколько дней. Моника считает, что женщинам позволено больше, чем мужчинам.

Я по ней уже скучаю.

■ ■ ■

Багаж перенесли в лимузин, который заказал для них портье. Гретхен, Джин и Инид разместились на заднем сиденье. Инид — со слезами на глазах, потому что ей приходилось расставаться со своей французской няней. Рудольф в третий раз проверил, на месте ли билеты, и шофер распахнул перед ним переднюю дверцу, но тут к дверям отеля подъехала машина. Из машины вылезла небольшого роста, полная, неряшливо одетая женщина с седеющими волосами, а из-за руля — маленький полный мужчина.

— Вы Рудольф Джордах? — спросила женщина, направляясь к нему.

— Да.— В женщине было что-то знакомое.

— Ты, наверное, меня не помнишь,— сказала женщина. Она повернулась к маленькому полному мужчине.— Я говорила тебе, что он меня не вспомнит.

— Да, говорила,— согласился мужчина.

— А я тебя помню,— сказала женщина Рудольфу.— Очень хорошо помню. Я жена Тома, мать Уэсли. Я приехала за своим сыном.— Она нырнула в висевшую у нее на руке большую сумку и, вытащив экземпляр «Тайма», помахала им перед носом Рудольфа.

— О господи! — простонал Рудольф. Он совсем забыл про журналиста и про телекс. А вот журналист, по-видимому, не забыл про него. Бедный Уэсли, его имя уже неделю как стало достоянием миллионов, и еще много лет на него будут смотреть с любопытством и, где бы он ни очутился, подходить и спрашивать: «Извините, не вы ли такой-то?»

— Разрешите взглянуть, что там написано,— потянулся за журналом Рудольф. Журналист приходил до того, как Уэсли попал в тюрьму, но мог, разумеется, не успокоиться и довести свою историю до конца. Рудольф нахмурился, представив себе, в каких красках «Тайм» способен расписать драку Уэсли с англичанином, оказавшимся в больнице с сотрясением мозга.

Тереза отступила и спрятала журнал за спину.

— Иди и сам купи себе журнал,— заявила она.— Судя по тому, что здесь написано, ты вполне можешь себе это позволить. Ты и твоя полоумная голая жена.

О господи, они раскопали старую фотографию! Вот было бы счастье для человечества, если бы в один прекрасный день сгорели дотла архивы всех газет на земном шаре!

— Здесь все написано,— злорадно констатировала Тереза.— На сей раз тебе не удалось с помощью денег выручить моего бывшего муженька, а? Наконец-то он получил по заслугам!

— Извините, Тереза,— сказал Рудольф. Совершенно непонятно, как Том мог на ней жениться. Наверное, в момент бракосочетания он либо был пьян в стельку, либо очумел от наркотиков. Когда Рудольф видел ее в последний раз — три года назад в конторе Хита он дал ей денег, чтобы она могла поехать в Рино и получить развод,— она была платиновой блондинкой и весила фунтов на двадцать меньше. Но и тогда выглядела не лучше и не хуже, чем сейчас.— Извините, что не узнал вас. Вы изменились.

— Ты меня не очень-то и запомнил.— Она не скрывала своего злорадства.— Познакомься с моим мужем, мистером Крейлером.

— Добрый день, мистер Крейлер.

Мужчина что-то хрюкнул в ответ.

— Где мой сын? — резким голосом спросила Тереза.

— Руди,— окликнула его из машины Гретхен,— мы можем опоздать.— Его разговора с этими людьми она не слышала.

Рудольфа бросило в жар, хотя утро было довольно прохладным.

— Извините меня, миссис Крейлер,— сказал он,— но мы спешим в аэропорт...

— Вам не удастся улизнуть от нас, мистер Джордах,— парировала Тереза, тыча ему в лицо скрученным в трубку журналом.— Не для того я проделала весь путь через океан, чтобы ты улетел у меня из-под носа.

— Я никуда не улетаю,— тоже повысил голос Рудольф.— Я провожу свою семью и вернусь. Через два часа мы можем встретиться здесь.

— Я хочу знать, где мой сын,— настаивала Тереза, держа его за рукав и не давая сесть в машину.

— Если угодно, он в тюрьме.

— В тюрьме! — взвизгнула Тереза и трагически поднесла руку к горлу. По ее реакции Рудольф понял, что об этом в журнале не было написано.

— Возьмите себя в руки! — резко сказал Рудольф.— Ничего серьезного не произошло.

— Ты слышишь, Эдди? — не унималась она.— Мой сын за решеткой, а он говорит, что ничего серьезного не произошло.

— Я слышал, что он сказал,— отозвался мистер Крейлер.

— Вот это семейка! Отдай ребенка им в руки,— продолжала Тереза так же визгливо,— и не успеешь оглянуться, он уже попал в полицию. Счастье, что его папашу пришили, а то бы мне не узнать, где он находится, и одному богу известно, во что бы его там превратили. А знаешь, кто должен сидеть в тюрьме...— Она отпустила Рудольфа, отступила на шаг и, театрально вытянув грозный указующий перст, с дрожью в голосе выкрикнула: — Ты с твоими махинациями, взятками и грязными деньгами!

— Когда вы успокоитесь,— сказал Рудольф, делая попытку сесть в машину,— я вам все объясню.— И обратился к шоферу: —Allons-y[1]

Она рванулась вперед и снова схватила его за рукав:

— Нет, так легко вам не отделаться, мистер.

— Пустите, глупая вы женщина,— рассердился Рудольф.— У меня сейчас нет времени говорить с вами. Самолет ждать не будет, как бы громко вы ни кричали.

— Эдди! — взвизгнула Тереза.— Неужели ты позволишь ему смыться?

— Послушайте, мистер Джордах...— начал мужчина.

— Я вас не знаю, сэр,— ответил Рудольф,— и прошу не вмешиваться. Если вам угодно поговорить со мной, подождите, пока я вернусь.— Он довольно грубо стряхнул руку Терезы со своего рукава, и портье, который вышел попрощаться, с угрожающим видом двинулся в ее сторону.

Рудольф быстро сел в машину, захлопнул дверцу и защелкнул предохранитель. Шофер поскорее втиснулся за руль и включил зажигание. Когда они выезжали из ворот, Тереза стояла, гневно размахивая журналом.

[1] Поехали *(франц.)*.

— Что там такое? — спросила Гретхен.— Мы не слышали, о чем эта женщина говорила.

— Не имеет значения,— отрезал Рудольф.— Это мать Уэсли.

— Как она изменилась! — заметила Гретхен.— И не к лучшему. Что ей нужно?

— Если она верна себе,— ответил он,— значит, ей нужны деньги.— Придется отвести Гретхен в сторону и попросить ее проследить, чтобы к Джин не попал журнал «Тайм».

С открытой галереи аэровокзала Рудольф смотрел, как взлетает самолет. Попрощались они спокойно. Он обещал вернуться в Нью-Йорк при первой же возможности. Он старался не сравнивать сегодняшнее скромное прощание с праздничным весельем, царившим в аэропорту, когда они прилетели и Том встречал их вместе со своей невестой, а в гавани стояла готовая к выходу в море «Клотильда», которой предстояло, пройдя по каналу между островами, доставить их в Канн на купанье и торжественный обед.

Самолет скрылся из виду; Рудольф вздохнул и прошел через здание аэровокзала, борясь с искушением купить в газетном киоске «Тайм». Что бы там ни говорилось, рассказ этот, совершенно очевидно, радости ему не принесет. Интересно, думал он, как удается людям, о которых пишут постоянно,— политическим деятелям, министрам, актерам, например,— заставить себя взять утром в руки газету.

Вспомнив, что в отеле его ждут полная седеющая женщина и ее толстый маленький муж, он снова вздохнул. Как этой жуткой особе удалось найти себе мужа? Да еще второго. Между прочим, если этот человек из «Тайма» все еще в Антибе, нужно попросить его разыскать газетный снимок, на котором Терезу — под вымышленным именем, разумеется,— забирает полиция после облавы в публичном доме. Одна фотография стоит другой. Бедный Уэсли.

Чтобы оттянуть встречу, он попросил шофера отвезти его в Ниццу. Они проехали на улицу, где жила Жанна. Улица как улица. Он не знал, что станет делать, если она случайно выйдет из дома с детьми или с мужем-офицером. Ничего, наверное. Но она не вышла.

— Поехали в отель,— сказал Рудольф.— Кружным путем, вдоль моря.

При въезде в Антиб они проехали мимо порта. Рудольф увидел «Клотильду»; на палубе копошилась крошечная фигурка — Дуайер. Рудольф не попросил шофера остановиться.

— Я свои права знаю,— настаивала Тереза. Они втроем расположились на небольшой полянке в парке отеля, где никто не мог слышать их разговора. Когда Рудольф вошел в вестибюль отеля, он застал супругов в напряженном ожидании. Они сидели лицом к лицу, с явным неодобрением косясь по сторонам и всем своим видом выражая молчаливый укор праздным постояльцам отеля, которые в поисках развлечений шли мимо них на теннисный корт или в плавательный бассейн. По пути в парк Рудольф спокойно, кратко и бесстрастно рассказал им, из-за чего Уэсли попал в руки полиции и теперь должен отбыть в Америку. Они угрюмо выслушали его, и Тереза сообщила:

— В Индианаполисе, где мы с мистером Крейлером живем, мы побывали у адвоката, и мне известны мои материнские права.— Голос Терезы терзал слух Рудольфа, как скрип мела по грифельной доске.— Уэсли еще несовершеннолетний, а поскольку отец его умер, то, по словам адвоката, я его законная опекунша. Правда, адвокат это говорил, Эдди?

— Да, адвокат так говорил,— подтвердил мистер Крейлер.— Именно так.

— Когда я заберу его из тюрьмы,— продолжала Тереза,— я увезу его в приличный дом, где он вырастет истинным христианином.

— Вам не кажется, что после той жизни, какую вы вели, было бы уместнее оставить религию в стороне?

— Можешь не стесняться, говори откровенно. Мистеру Крейлеру известно, какую я вела жизнь. Правда, Эдди?

— Правда,— закивал головой Эдди, и его пухлый двойной подбородок затрясся в такт кивкам.

— Я была шлюхой и не боюсь в этом признаться,— почти с гордостью заявила Тереза.— Но я прозрела. На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся...— Она помолчала.— Дальше знаешь сам, не сомневаюсь, хотя и ты, и вся ваша семейка давным-давно забыли про бога.

— К сожалению,— с невинным видом солгал Рудольф,— я не помню, что там говорится дальше.

— Не имеет значения,— быстро парировала она.— Мистер Крейлер — мормон, и благодаря ему я приняла их веру и вернулась в лоно церкви. К твоему сведению, я больше не крашу волосы, как ты мог бы заметить, если бы хоть раз соизволил обратить на меня внимание, и не пью ни спиртных напитков, ни кофе, ни чая.

— Поздравляю вас, Тереза,— сказал Рудольф. Он где-то читал, что секта мормонов сейчас растет гораздо быстрее других христианских сект, но, приняв Терезу в свои ряды, мормоны неминуемо почувствуют, что раскинули сети чересчур широко. Он представил себе, с каким содроганием взирали на Терезу Джордах старейшины христовой церкви «святых последнего дня» в молитвенном доме в Солт-Лейк-Сити, принимая ее в свою благостную компанию.— Но я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к Уэсли.

— Прямое. Он вернется на стезю добродетели. Я знаю вашу семью. Я знаю Джордахов, можешь не сомневаться. Вы все погрязли в блуде и грехе.

Словарь Терезы, констатировал про себя Рудольф, заметно изменился с переходом в новую веру. Но к лучшему ли?

— Не думаю, что причина заключения Уэсли в тюрьму на несколько дней за драку в ночном баре кроется в моем атеизме,— сказал он.— И к вашему сведению,— добавил он, не удержавшись,— если я и погряз в блуде и грехе, то это не основное мое занятие.

— Я никого не обвиняю,— заявила Тереза, хотя в каждом ее слове и в каждом жесте сквозило обвинение,— но не станешь же ты отрицать, что он был на твоем попечении как дяди и главы семьи, когда чуть не убил человека...

— Ладно, ладно,— устало отозвался Рудольф. Ему хотелось, чтобы она ушла, исчезла вместе со своим низеньким и толстым мужем-праведником с поджатыми губами, но когда он вспомнил, что Уэсли может оказаться во власти этой парочки из Индианаполиса, ему стало страшно. Он не представлял себе, как этому помешать, но тем не менее был намерен сделать все, что в его силах.— Чего вы хотите? — Он уже объяснил им, что Уэсли через шесть дней посадят на американский самолет, но скрыл, что принял решение поместить его на год в хорошую школу-интернат, а потом отправить для продолжения образования назад во Францию и что сам он (из эгоистических соображений или из родственного великодушия?) тоже вернется во Францию и будет приглядывать за парнем.

— Чего я хочу? — повторила Тереза.— Я хочу, чтобы он вырос приличным человеком, а не диким зверем из джунглей, каким был его отец.

— Вам, конечно, понятно,— сказал Рудольф,— что если он останется в Соединенных Штатах, то не пройдет и двух лет, как он будет призван в армию, может попасть во Вьетнам и погибнуть.

— На все воля господня,— отозвалась Тереза.— Ты согласен со мной, Эдди?

— Все в руках божьих,— подтвердил мистер Крейлер.— Мой сын тоже в армии, и я горжусь этим. От судьбы мальчику не уйти, как и всем людям на свете.

— Моему сыну не нужны поблажки,— заявила Тереза.

— Вам не кажется, что прежде всего следует спросить у самого Уэсли, чего он хочет?

— Он мой сын,— ответила Тереза,— и мне незачем его спрашивать. Я приехала сюда проследить за тем, чтобы его не надули и не утащили у него законную долю, которая ему положена при разделе отцовского состояния.— А, подумал Рудольф, вот это уже ближе к делу.— Как только продадут эту роскошную яхту, о которой написано в журнале,— тем же визгливым голосом продолжала Тереза,— я уж все силы приложу, чтобы моего сына не обошли, можешь не сомневаться. А наш адвокат каждую бумажку прочешет, будьте спокойны, мистер Джордах.

— В таком случае,— Рудольф встал,— дальнейший разговор мне представляется бесполезным. Мачеха Уэсли, которая, по всей вероятности, будет назначена администратором наследства, тоже наймет адвоката, и эти два адвоката сумеют между собой договориться. А мне некогда. Всего хорошего.

— Подожди минутку,— испугалась Тереза.— Куда ты вдруг сорвался?

— Хочу прилечь,— сказал Рудольф.— Я с самого утра на ногах.

— Почему ты не спрашиваешь, где мы остановились? — крикнула она. Победа, одержанная с такой подозрительной легкостью — наверняка это военная хитрость противника,— вдруг стала ускользать из ее рук.— И наш адрес в Америке? Мистера Крейлера очень уважают в Индианаполисе. У него свой бизнес. Он занимается разливом безалкогольных напитков. У него работают триста человек. Дай ему свою визитную карточку, Эдди.

— Не утруждайте себя, мистер Крейлер,— сказал Рудольф.— Мне не нужен ваш адрес ни здесь, ни в Индианаполисе. Я не желаю вас видеть,— не сдержался он.

— Мне хочется навестить моего мальчика,— заныла Тереза.— Я хочу посмотреть, что они сделали там, в тюрьме, с моим бедным сыночком.

— Обязательно,— сказал Рудольф.— Конечно, посмотрите.— Почему-то в конторе Хита, когда он давал ей деньги на развод, материнский инстинкт Терезы был значительно слабее, ибо при виде выписанного на ее имя чека она, не раздумывая, поставила свою подпись под документом, лишавшим ее прав на сына.

— Я намерен усыновить его по всем правилам,— вмешался мистер Крейлер.— Миссис Крейлер хочет, чтобы он забыл фамилию Джордах.

— Это должны решать он и его мать,— сказал Рудольф.— Однако я при очередном свидании могу передать ему ваше желание.

— Когда ты пойдешь в тюрьму? — спросила Тереза.— Я не хочу, чтобы ты разговаривал с ним с глазу на глаз, вливал яд в его душу... Я пойду с тобой.

— Нет, со мной вы никуда не пойдете,— ответил Рудольф.— В тюрьмы я обычно хожу без сопровождающих.

— Но я не умею говорить по-французски,— захныкала она.— И я не знаю, где тюрьма. А если полицейские не поверят, что я его мать?

— Это уже ваши проблемы, миссис Крейлер,— сказал Рудольф.— Я не хочу больше видеть ни вас, ни вашего мужа. Передайте своему адвокату, пусть он свяжется с юридической конторой «Хит, Берроуз и Гордон» на Уолл-стрит. Вы, по-моему, уже бывали там, миссис Крейлер.

— Мерзавец! — не совсем по-мормонски высказалась Тереза.

— Всего хорошего,— улыбнулся Рудольф. Он кивнул им и ушел, а они — толстые, маленькие, сердитые — остались вдвоем на поляне среди сосен. Рудольфа трясло от злости, к которой примешивалось и ощущение полной безысходности и тревоги за бедного мальчишку, сидящего в Грасской тюрьме, но в эту минуту он ничем не мог ему помочь. Чтобы вырвать Уэсли из материнских объятий, требовалась специальная операция невиданных масштабов, а сегодня он не был в состоянии придумать даже первого ее шага. Хоть миссис Тереза Крейлер и стала ревностной христианкой, едва в воздухе запахло деньгами, как она тотчас припомнила нормы поведения, присущие ее прежней профессии. О боже, теперь ведь еще нужно предупредить Кейт о том, что ее ждет.

Он быстро уложил вещи. Портье заказал ему номер в «Коломб д'Ор» в Сен-Поль-де-Вансе. Отель в Грасе был бы ближе к тюрьме, куда он ходил почти ежедневно. Сен-Поль-де-Ванс ближе к Жанне. Он выбрал Сен-Поль-де-Ванс. Оставаться в отеле «Дю Кап» теперь незачем, зато выехать есть все основания. Он попросил портье пересылать приходящую на его имя почту, но ни в коем случае никому не говорить, где он живет. Он известил Жанну о своем новом местопребывании письмом, адресованным на Главный почтамт Ниццы до востребования.

Спустившись вниз, чтобы расплатиться — чемоданы его уже укладывали в машину,— он с облегчением убедился, что Крейлеры ушли. Потом взял счет и ахнул. На Лазурном берегу даже несчастье стоит дорого. Пусть это один из лучших отелей в мире, больше он сюда ни ногой. И не только из-за цены.

Сначала он поехал в порт. Надо, чтобы Дуайер и Кейт знали, где его искать. Когда Рудольф поднялся на борт яхты, Дуайер драил медяшку на носу. Увидев Рудольфа, он выпрямился и протянул ему руку.

— Как дела? — спросил Рудольф.

— Неважно,— пожал плечами Дуайер.— Винта с валом так и нет. Их купили в Италии, а итальянцы, пока счет не оплачен, не дают разрешения на перевоз через

границу. Я каждый день разговариваю по телефону со страховой компанией, но они не спешат. Они никогда не спешат. Только присылают мне для заполнения все новые и новые бланки,— обиженно добавил он.— И требуют, чтобы их подписал Том. Итальянцы, видно, считают, что во Франции никто и умереть не может. Да еще надо все переводить на их язык. Хорошо у меня в городе есть приятельница-официантка, которая знает итальянский язык, только она ничего не понимает в нашем деле, и ей приходится спрашивать у других, как будет по-итальянски разное там снаряжение, ходовые огни, морские сажени, плавающие обломки и тому подобное. Я прямо с ума схожу от этого всего.

— Ладно, Кролик,— сказал Рудольф, еле удерживаясь от стона.— Пришлите все бумаги мне. Я сам займусь этим делом.

— Большое вам спасибо, Руди,— с облегчением вздохнул Дуайер.

— Я переселяюсь в Сен-Поль-де-Ванс,— сказал Рудольф.— В отель «Коломб д'Ор».

— Правильно делаете. Ваш отель, должно быть, стоит кучу денег. Смотришь вокруг на все эти огромные яхты, на дорогие отели и диву даешься, откуда у людей деньги. Я по крайней мере понять этого не могу.

— Кролик,— сам не зная почему, вдруг принялся оправдываться Рудольф,— в молодости я ведь был, пожалуй, беднее любого из ваших знакомых.

— Да, Том мне говорил. Вы вкалывали как лошадь. Я вовсе не против тех, кто сам выбился в люди. Я ими восхищаюсь. По-моему, вы имеете право на все, что у вас есть.

— От многого из того, что у меня есть,— ответил Рудольф,— я бы с радостью отказался.

— Я понимаю, о чем вы.

На мгновенье воцарилось неловкое молчание.

— Я надеялся застать у вас Кейт,— сказал Рудольф.— Произошло одно осложнение, о котором ей следует знать. Как она?

Дуайер задумался, потом нерешительно проговорил:

— Она уехала. Сегодня утром улетела в Англию.

— У вас есть ее адрес?

— Да, есть,— осторожно ответил Дуайер.

— Дайте-ка мне его,— сказал Рудольф. И коротко сообщил Дуайеру о визите Крейлеров, о юридических проблемах, с которыми Кейт придется столкнуться или которые по крайней мере предстоит решить от ее имени.

— Том рассказывал мне про эту свою жену,— медленно кивнул Дуайер.— Жуткая скандалистка, да?

— Это не главное ее достоинство,— ответил Рудольф. Он видел, что Дуайер не решается дать ему адрес Кейт.— Кролик,— сказал он,— я хочу задать вам один вопрос. Вы верите, что я стараюсь сделать все возможное для Кейт, для Уэсли и, между прочим, для вас тоже?

— Мне ничего не нужно,— отозвался Дуайер.— Что же касается Кейт...— Он странно, почти по-женски развел руками, словно ему было трудно объяснить Рудольфу ситуацию.— В тот день она разговаривала с вами грубо, я знаю. Нет, она вовсе не злится на вас, нет. Я бы сказал, что она...— Снова тот же жест.— Просто она...— Он не мог найти подходящего слова.— Ей причинили боль. Но она разумная женщина. Она справится. Особенно теперь, когда она вернулась домой, в Англию. У вас есть чем записать?

Рудольф вынул из кармана записную книжку и ручку. Кролик продиктовал ему адрес.

— Телефона нет,— сказал Кролик.— Насколько я понимаю, ее родственники в золоте не купаются.

— Я ей напишу, как только что-нибудь узнаю,— сказал Рудольф. Он бросил взгляд вокруг, увидел отмытую добела палубу, сверкающие перила и медь.— На яхте полный порядок,— заметил он.

— Порядок порядком, а всех дел не переделаешь,— ответил Дуайер.— Я договорился поставить ее на ремонт ровно через две недели. К тому времени должны прибыть из Италии эти чертовы штуки.

— Кролик,— спросил Рудольф,— сколько, по-вашему, стоит «Клотильда»? Сколько за нее дадут?

— Сколько она стоит и сколько за нее дадут — это разные вещи,— отозвался Дуайер.— Если сложить вместе ее первоначальную стоимость да всю нашу с Томом работу, все усовершенствования да новый радар, что вы подарили ему на свадьбу,— его еще надо установить, правда,— выйдет что-нибудь около ста тысяч долларов. Но если надо продать быстро, как вы сказали, когда объясняли нам про раздел имущества, еще в этом месяце, а сезон уже почти на исходе, и никому ведь неохота целую зиму платить за содержание яхты, их обычно покупают в конце весны,— так вот, если надо продать быстро, и в межсезонье, и людям известно, что вы спешите сбыть ее с рук, тогда, естественно, они возьмут вас за горло и в лучшем случае вы получите тысяч пятьдесят. Но я не собираюсь вас уговаривать. Вы должны походить, осмотреться, поговорить с маклерами здесь, в Канне и в Сен-Тропезе. Понимаете? Может, у них есть желающие приобрести яхту по сходной цене...

— А к вам еще никто не обращался? — перебил его Рудольф.

— Нет,— покачал головой Дуайер.— Думаю, что в Антибе и не обратятся. После убийства и всего прочего. По-моему, лучше вообще дать ей новое название и перегнать в другую гавань. А то и в другую страну. В Италию, Испанию или еще куда-нибудь. Может, даже в Пирей, это в Греции... Люди суеверны, когда дело касается судна.

— Кролик,— сказал Рудольф,— вы только не сердитесь, но я хочу поговорить с вами вот о чем. Кто-нибудь должен постоянно находиться на судне, пока оно не продано...

— Конечно.

— И этому человеку надо платить, так?

— Да,— нехотя согласился Дуайер.

— Сколько обычно платят в таком случае?

— Это зависит,— уклончиво ответил Дуайер,— от порученной работы, от квалификации человека и тому подобного.

— Ну, например, сколько бы получали вы, если б были на другом судне?

— Видите ли, если бы меня наняли раньше — сейчас уже все команды укомплектованы,— мне бы платили, наверное, долларов пятьсот в месяц.

— Отлично,— обрадовался Рудольф.— Вы будете получать пятьсот долларов в месяц.

— Я на это не напрашивался,— посуровел Дуайер.

— Я знаю, что не напрашивались. Но получать будете.

— Только помните, что я не напрашивался.— Дуайер протянул руку, и Рудольф пожал ее.— Жаль,— добавил Дуайер,— что Тому не узнать, как вы заботитесь о нас с Кейт, о парне и о «Клотильде».

— Я на такой комплимент тоже не напрашивался,— улыбнулся Рудольф.

— На борту, кажется, еще осталось немного виски,— намекнул Дуайер.

— Давайте выпьем,— согласился Рудольф.

— Пить виски меня научила ваша сестра, миссис Берк... Гретхен...— сказал Дуайер, когда они перешли на корму.— Она вам не рассказывала?

— Нет. Она держит ваш роман в тайне.

Но заметив, что Дуайер не улыбнулся, он больше ни слова не сказал про Гретхен.

Они зашли в рулевую рубку и выпили теплого виски. Дуайер извинился за отсутствие льда.

Перед уходом Рудольф сказал:

— Если мы не встретимся раньше, значит, я увижу вас в аэропорту, когда будет улетать Уэсли. Не забыли?

— У меня все записано,— ответил Дуайер.— Я соберу его вещи и привезу их с собой.— Он помолчал, кашлянул.— У него целая папка фотографий. Снимки яхты, портов, куда мы заходили, фотографии его и отца, мои и Кейт... Разные снимки. Их тоже положить вместе с его вещами? — Он поднес стакан к губам и, закрыв глаза, выпил с таким видом, словно это ему ничего не стоило.

— Положите,— ответил Рудольф. Воспоминания причиняют боль, но они необходимы.

— Хотите еще выпить?

— Нет, благодарю,— отозвался Рудольф.— Я еще не обедал. Может, пообедаем вместе?

— Спасибо, Руди,— покачал головой Дуайер,— но я уже ел.— У Дуайера своя норма, понял Рудольф. Он позволяет себе принять одно одолжение в день. Не больше.

Дуайер аккуратно вытер тряпкой оставшиеся на столе от стаканов мокрые круги и отправился на нос драить медь. А Рудольф сошел с «Клотильды» на берег.

Зарегистрировавшись в новом отеле, Рудольф пообедал на террасе с видом на долину, словно сошедшую с картины Ренуара, а затем позвонил в Антиб старику адвокату, сообщил, что «Клотильда» продается, и попросил адвоката представлять интересы владельцев яхты.

— Если вам не предложат больше ста тысяч долларов, дайте мне знать. Я сам куплю ее.

— Очень благородно с вашей стороны,— заметил адвокат.

Из-за помех его было плохо слышно.

— Чисто деловой подход.

— Понятно,— отозвался адвокат. Оба знали, что это ложь. Не имеет значения.

Затем Рудольф позвонил в Нью-Йорк Джонни Хиту и долго с ним разговаривал.

— Ну и дела! — сказал Хит.— Ладно, приму меры. И с нетерпением буду ждать письма от адвоката Крейлеров.

Потом Рудольф надел купальные трусы и сорок раз переплыл бассейн туда и обратно. В голове у него не было ни одной мысли, а тело, когда он вылез из воды, ломило от приятной усталости.

Он долго сидел на краю бассейна, потягивая холодное пиво. Ему было так хорошо, что он чувствовал себя в чем-то виноватым. Интересно, думал он, сердясь на себя за эту мысль, что бы он делал, если бы вдруг его позвали к телефону и сообщили, что самолет с его семьей на борту упал в море?

8

Из записной книжки Билли Эббота (1968)

Семья — тоже предмет для размышлений. Это любовь и разрушение. Не всегда. Но довольно часто. Согласно Фрейду, это подмостки, на которых разыгрывается греческая трагедия: кровосмешение, отцеубийство и прочие радости. Страшно даже вообразить, что представляла собой семейная жизнь славного доктора из Вены.

Интересно, а Юнг был более снисходительным? Нужно спросить у Моники. Она у нас кладезь премудрости. Между прочим, она почему-то никогда не говорит о своей семье. Под каждой крышей свои мыши.

Ни разу не встречался с Уэсли Джордахом. Бедный малый! Жертва очередной перетасовки карт судьбы. Интересно, окажет ли убийство отца положительное влияние на его духовный рост? Когда мой дед погиб, Рудольф и моя мать были сравнительно молоды, однако на их духовный рост это никак не повлияло.

Я любил бабушку за то, что она не чаяла во мне души. Однако к моей матери она относилась довольно прохладно, и поэтому даже в день похорон бабушки мать держалась в стороне. Интересно, будет ли мать держаться в стороне в день моих похорон? У меня есть предчувствие, что я умру молодым. Мать — железный человек, она будет жить вечно и переживет всех своих мужчин.

Оскорбляет ли меня ее похотливость? Да.

А моя собственная похотливость и похотливость Моники меня оскорбляют? Нет. Несправедливость — это монета, которой младшее поколение расплачивается со старшим.

Мать неразборчива в связях. Отец, когда был молод и энергичен, тоже, по его словам, разборчивостью в связях не отличался. А я — нет. Я, как сын алкоголика, держусь подальше от отцовского порока.

Сыновья бунтуют. Дочери сбегают. Я же не сделал ни того, ни другого. Я спрятался. Что оказалось нетрудным благодаря призыву в армию. Интересно было бы встретиться с моим двоюродным братом Уэсли, с которым я пока не знаком, сравнить наши мысли — ведь в наших жилах течет одна кровь.

Хиппи в своих коммунах полностью извратили понятие о семье. Я не мог бы жить в такой коммуне. Там полное отсутствие гигиены в отношениях между полами.

Дикий эксперимент, обреченный на провал. Родовой строй давно прошел. Если я читаю, бреюсь или лежу с женой в постели, а рядом вертится чужой ребенок — радость небольшая.

Интересно, буду ли я лет этак через десять жить в пригороде, играть в бридж и всю субботу и воскресенье, не отрываясь, смотреть по телевизору футбол? Ездить в город на работу? Меняться женами? Голосовать за очередного Никсона?

Поздно. Я скучаю по Монике.

■ ■ ■

Уэсли, чисто выбритый и аккуратно одетый — костюм ему привез с «Клотильды» Рудольф,— сидел и ждал ажана, которому надлежало доставить его в аэропорт. Этот костюм ему купил отец больше года назад, и теперь он был тесен в груди, а руки торчали из рукавов. Как Уэсли и ожидал, дядя Рудольф все уладил. Хотя и не лучшим образом, раз предстоит улететь из Франции. В Америке он никогда не был счастлив, а во Франции он был счастлив — по крайней мере до того дня, когда погиб отец.

В Грасской тюрьме оказалось не так уж плохо. Полицейский, которого он ударил, служил в Канне, в Грасе не появлялся и к нему не приставал, а для караульных и juge d'instruction, который его допрашивал, он даже стал своего рода знаменитостью благодаря обстоятельствам смерти отца, знанию французского языка и тому, что он побил англичанина, который у местной полиции пользовался репутацией драчуна. Кроме того, Уэсли держался вежливо и никого не задирал. Оказали немалое влияние и деньги, которые дядя время от времени совал караульным, и организованный им же звонок из американского консульства.

В дяде Рудольфе одно было хорошо: он ни разу даже не намекнул, что ждет от Уэсли благодарности. Уэсли с удовольствием проявил бы благодарность, если бы знал, как это сделать. «Придумаю что-нибудь потом»,— решил он. А пока ему не о чем было говорить с дядей, которого, по-видимому, смущало, что Уэсли сидит за решеткой, словно это случилось по его, дядиной, вине.

Один из караульных сумел даже стащить из полицейских архивов фотографию Дановича. Теперь, если Уэсли встретит этого подонка, он его непременно узнает.

Об этом он никому не рассказывал. Он и прежде-то не отличался откровенностью — даже с отцом ему было нелегко говорить о себе, хотя отец про свою жизнь рассказал ему почти все, отвечал на все вопросы. А теперь Уэсли и вовсе замкнулся. Над ним нависла какая-то угроза, он это чувствовал, но не мог понять, что́ ему угрожает. Что бы там ни было, прежде всего нужно помалкивать. Он понял это много лет назад, когда мать определила его в проклятую военную школу.

С матерью тоже следует держать ухо востро. Она тут визжала и рыдала, кричала на него, а потом сюсюкала, обещала, что у него начнется другая жизнь, когда она вместе со своим очередным мужем увезет его в Индианаполис. На черта ему эта другая жизнь? Он спросил у дяди, обязан ли он ехать в Индианаполис, и Рудольф с грустным видом ответил: «Пока ты несовершеннолетний — да». Это имеет какое-то отношение к деньгам, но какое, он не понимал. Плевать. Поедет посмотрит, а если не понравится — удерет.

Ему сообщили, когда он должен улететь.

Он скучал по школе. Учебный год уже начался, а вместе с ним в сентябре начинаются и баскетбольные соревнования. В прошлом году он был лучшим игроком в своей команде и знал, что в этом году они тоже на него рассчитывают. Хорошо бы они побольше проигрывали, тогда поняли бы, как им туго без него. Странно, что его заботят такие пустяки, когда только что погиб его отец, но школа занимала важное место в его жизни, и он не мог отмахнуться от нее только потому, что сейчас взрослые не придали бы этому обстоятельству никакого значения. Он чувствовал, что отец, в отличие от всех других, понял бы его.

В школе некоторые ребята смеялись над ним из-за того, что он американец и плохо говорит по-французски. У него просто руки чесались их отлупить, но он терпел, потому что знал: если отцу пожалуются, что он дерется, его ждет жуткая трепка. Теперь некого бояться, мрачно констатировал он. Вместе с тоской по отцу появилось и новое ощущение свободы. Теперь я сам буду делать ошибки, сказал он себе, и пусть люди либо прощают их, либо катятся ко всем чертям. А вот отцовскую ошибку простить очень нелегко. Он молился за отца, но будь он проклят, если простит его. Решил по-

рисоваться, поиграть в великодушие, а он, Уэсли, теперь сидит в дерьме. В самом настоящем дерьме, думал он, одетый во все чистое.

Щелкнул замок, и в камеру вошел ажан, которому предстояло проводить его в аэропорт. Несмотря на штатский костюм — легкие брюки и спортивная куртка,— сразу было видно, что это полицейский. С таким же успехом он мог надеть и балетное трико.

А как пахло на улице! Уэсли уже забыл, каким бывает свежий воздух.

Они сели в обычную, не полицейскую машину. Уэсли поместился на переднем сиденье. Пузатый ажан пыхтя, с трудом втиснулся за руль. Уэсли взглянул на его перебитый нос и хотел спросить, доставалось ли ему хоть раз пивной бутылкой по голове и приходилось ли убивать человека, но потом решил, что лучше поговорить о чем-нибудь другом.

Ажан опустил в машине все стекла и медленно поехал по петляющей горной дороге.

— Погодка-то какая, а? — заметил он.— Сейчас мы с тобой отлично прокатимся.— Задание предстояло нетрудное, и он старался извлечь из него максимум удовольствия. Час был ранний, но от ажана уже пахло вином.— Итак, с Францией ты прощаешься. Очень жаль. В следующий раз будешь знать, что драться надо без свидетелей,— засмеялся он своей же шутке.— Что ты собираешься делать в Америке?

— Держаться от полиции подальше,— ответил Уэсли.

— Вот это молодец,— похвалил его ажан.— Жена все пристает: «Поедем в Америку, поедем в Америку!» На полицейское-то жалованье, представляешь? — Он искоса взглянул на Уэсли.— А твой дядя — человек состоятельный? — спросил он.

— Миллионер.

— Сразу видно.— Полицейский вздохнул, посмотрел на свою помятую куртку.— Мне нравится, как он одет. И чувствуется, что человек влиятельный. Потому тебя и отправляют домой.

«Домой — это сильно сказано»,— подумал Уэсли.

— Ничего, скоро приедешь к нам туристом и будешь сорить деньгами,— добавил ажан.

— Если у вас до тех пор не будет революции,— сказал Уэсли. В тюрьме он познакомился с двумя людьми, которые заявили, что они коммунисты и что скоро начнется революция.

— Насчет этого помалкивай,— угрюмо предупредил его ажан.— Особенно в Америке. Не то они отвернутся от нас.— И, озабоченный плохим мнением американцев о французах, добавил: — Уж не собираешься ли ты дома рассказать газетчикам, каким пыткам подвергали тебя во французской полиции, чтобы заставить сознаться?

— Мне не в чем было сознаваться,— ответил Уэсли.— Все видели, как я ударил salaud[1]. Хотя, конечно, можно рассказать, как один из ваших приятелей задал мне трепку в машине по пути в префектуру,— усмехнулся он. Ему было радостно после проведенных за решеткой недель ехать по сельской местности, мимо увешанных плодами деревьев и покрытых цветами полей. А неторопливая беседа с дружелюбным ажаном давала возможность не думать о том, что ждет его в аэропорту и в Индианаполисе.

— А ты чего хотел? — обиженно спросил ажан.— Тебя при всем честном народе какой-то сопляк одним ударом посылает в нокдаун и чтоб ты потом ехал с ним в темной машине и не поквитался?! Все мы люди.

— Ладно,— великодушно согласился Уэсли,— буду молчать.

— Ты парень неплохой,— сказал ажан.— В Грасе о тебе хорошо отзываются. Я видел типа, с которым поссорился твой отец. Он выглядел так, будто побывал под поездом.— Ажан кивнул как человек, знающий толк в этом деле.— Твой отец лихо его разукрасил. Очень лихо.— Он снова искоса взглянул на Уэсли. Лицо его было серьезно.— Этот тип известен полиции. С плохой стороны,— добавил он.— Но пока ему удается уходить от наказания, которое он давным-давно заслужил. Он связан с опасными людьми. Тебя высылают отсюда не только ради поддержания порядка во Франции, но и ради твоей безопасности.

— Странно,— заметил Уэсли,— все знают, что он убийца, а он на свободе.

— Забудь про то, что знают все, друг мой,— строго отозвался ажан.— Забудь, поезжай домой и веди себя как следует.

— Слушаюсь, сэр,— ответил Уэсли, припоминая во всех подробностях лицо на фотографии: глаза-щелочки, высокие острые скулы, тонкие губы и темные курчавые

[1] Негодяя *(франц.)*.

волосы. Ему хотелось сказать: «Лучше вы забудьте про человека, который убил моего отца. Просто возьмите и забудьте». Но он сдержался.— У меня есть к вам одна просьба.

— Какая? — В голосе ажана появилась профессиональная подозрительность.

— Мы не можем проехать мимо порта? Мне хотелось бы еще раз взглянуть на яхту.

— Почему бы и нет,— согласился ажан, взглянув на часы.— Еще рано, времени у нас достаточно.

— Очень любезно с вашей стороны, сэр,— поблагодарил его Уэсли. По-французски: «C'est très gentil de votre part, monsieur». Одна из первых фраз, которым обучил его отец, когда привез в Антиб. Сам отец почти не говорил по-французски. Но сказал: «Есть два выражения, которые лягушатники очень любят. Первое: «S'il vous plait», что означает «пожалуйста». И «C'est très gentil de votre part». Запомнил? Повтори».

Уэсли не забыл отцовского урока.

— У меня сын твоего возраста,— сказал ажан.— Тоже с ума сходит по кораблям. Все свободное время торчит в порту. Я его предупредил: станешь моряком — знать тебя не желаю. Не будь здесь всех этих судов, полиции было бы нечего делать. Кто только сюда не тянется,— мрачно продолжал он.— Алжирцы, югославы, греки, корсиканцы, сицилийцы, нудисты, малолетние преступники из Англии, сбежавшие из дома девчонки, богатые бездельники, которые не могут жить без наркотиков...— Он качал головой, перечисляя эти не слишком приятные для полиции дары моря.— А теперь каждый вонючий городишко на побережье строит себе порт. Здесь вся французская gendarmerie [1] не справится. Возьмем, к примеру, твой случай.— И он сердито погрозил Уэсли пальцем, вспомнив, что везет преступника, которого выдворяют из Франции.— Ты думаешь, то, что с тобой произошло, могло бы произойти, если бы ты жил, например, в Клермон-Ферране?

— То, что произошло со мной,— дело случая,— отозвался Уэсли; он уже жалел, что попросил проехать мимо порта.

— Все так говорят. А кому потом наводить порядок? Полиции.

— А кем бы вы хотели видеть своего сына? — Уэсли решил, что пора переменить тему.

— Адвокатом. Вот у кого деньги-то, дружок. Мой тебе совет: возвращайся в Америку и учись на адвоката. Ты когда-нибудь слыхал, чтобы адвокат сидел в тюрьме?

— Я тоже об этом думал,— сказал Уэсли, надеясь тем самым вернуть полицейского в прежнее благодушное настроение.

— Подумай всерьез.

— Обязательно,— пообещал Уэсли, мечтая, чтобы полицейский заткнулся.

— И никогда не носи при себе оружия. Понял?

— Да, сэр.

— Послушай совета человека, который повидал жизнь и не безразличен к судьбе молодого поколения.

Теперь Уэсли было ясно, почему именно этому полицейскому поручили отвезти его в аэропорт. Чтобы хоть на время выставить его из участка и избавиться от нравоучений.

Полицейский пробормотал что-то невразумительное и закурил сигарету, на мгновенье убрав руки с руля. Машина опасно вильнула в сторону. От дыма Уэсли закашлялся. Ни отец, ни Кролик не курили.

Когда они подъехали к порту, Уэсли увидел «Клотильду». На палубе никого не было. А он почему-то все ждал, что из рубки вот-вот выйдет отец и проверит канат. Отца вечно беспокоило, как бы вдруг не разразился шторм,— тогда канаты не выдержат. «Перестань,— сам себе сказал Уэсли,— перестань, он больше никогда не выйдет на палубу». А что, если открыть дверцу машины, выпрыгнуть и убежать? В минуту можно скрыться от толстого полицейского, спрятаться, а с наступлением темноты пробраться на «Клотильду», вывести ее в открытое море и взять курс на Италию, потому что до Италии ближе, чем до любой другой страны. Будет ли полицейский стрелять? Из-под куртки у него торчала кобура пистолета. Нет, рискованно. Нельзя. Сегодня, во всяком случае, он должен вести себя разумно. Он еще вернется в Антиб.

— Корабли! — с презрением сказал полицейский и нажал на акселератор.

Уэсли закрыл глаза. Он больше не хотел видеть «Клотильду».

---

[1] Жандармерия *(франц.)*.

Рудольф с Дуайером ждали его возле регистрационной стойки. У ног Дуайера стоял отделанный искусственной кожей рюкзак Уэсли, а в руках он держал большой желтый конверт.

— Твоя мать и ее муж,— сказал Рудольф,— уже прошли паспортный контроль и ждут тебя внутри. Они летят тем же самолетом.

Уэсли кивнул. Он боялся расплакаться.

— Все будет в порядке, мсье Джордах,— почтительно обратился к Рудольфу ажан.— Я пройду вместе с ним и посажу его в самолет.

— Merci,— поблагодарил Рудольф.

— Вот твои вещи,— показал на рюкзак Дуайер.— Тебе придется поставить его на весы.— По случаю проводов Дуайер надел костюм. Уэсли ни разу не видел Дуайера в костюме, даже на свадьбе он был без пиджака. Уэсли показалось, что Дуайер стал меньше ростом и сильно постарел; на лбу и вокруг рта у него все было иссечено тонкими морщинками.— А здесь — фотографии,— добавил Дуайер, протягивая ему конверт,— ты их сохрани. Вдруг когда-нибудь захочется на них взглянуть.— Он говорил как-то рассеянно, словно издалека.

— Спасибо, Кролик.— Уэсли взял конверт.

Рудольф протянул ему листок бумаги.

— Тут два адреса: мой домашний и на всякий случай — вдруг я куда-нибудь уеду — адрес конторы моего приятеля Джонни Хита. Если тебе что-нибудь будет нужно... — Его голос тоже звучал неуверенно.

«Не привык видеть, чтобы члена его семьи провожал из одной страны в другую полицейский»,— подумал Уэсли, сложил листок и сунул в карман.

— Береги себя,— сказал Дуайер, пока Рудольф предъявлял девушке за стойкой билет Уэсли и следил, как взвешивают его багаж.

— Не беспокойся за меня, старина,— ответил Уэсли, стараясь говорить бодро.

— А чего беспокоиться-то? — улыбнулся Дуайер, но улыбка вышла какая-то кривая.— Еще увидимся, а?

— Конечно.— Улыбнуться Уэсли не сумел.

— Пора,— по-французски сказал полицейский.

Уэсли пожал руку дяде, у которого был такой вид, будто через час-другой они снова увидятся, и Дуайеру, который, наоборот, смотрел на него так, словно они прощаются навсегда.

Не оглянувшись, Уэсли прошел в сопровождении ажана через паспортный контроль. Ажан предъявил чиновнику свое удостоверение и подмигнул.

Мать и ее муж, которого Уэсли прежде никогда не видел, ждали его у выхода на поле, словно боялись, что он может убежать.

— Ты что-то побледнел,— заметила мать. Волосы у нее растрепались. Она выглядела так, словно попала в десятибалльный шторм.

— Я чувствую себя нормально,— отозвался Уэсли.— Это мой друг,— показал он на ажана.— Он из полиции и по-английски не говорит.

Ажан чуть поклонился. Пока все шло хорошо, и он мог позволить себе быть галантным.

— Объясни им, что я обязан посадить тебя в самолет,— сказал он по-французски.

Уэсли объяснил. Мать отпрянула, словно ажан был болен заразной болезнью.

— Познакомься с твоим новым отцом,— сказала мать.— Это мистер Крейлер.

— Приветствую вас,— провозгласил мистер Крейлер тоном телевизионного ведущего и протянул Уэсли руку.

— Уберите руки,— спокойно заметил Уэсли.

— Не обращай внимания, Эдди,— заспешила мать.— Он сегодня взволнован. Что вполне естественно. Со временем он научится держать себя. Может, ты хочешь попить, малыш? Кока-колы или апельсинового сока?

— Виски,— сказал Уэсли.

— Послушайте, молодой человек...— начал мистер Крейлер.

— Он шутит,— поспешно вмешалась мать.— Правда, Уэсли?

— Нет.

Женский голос из громкоговорителей объявил о начале посадки на самолет. Ажан взял Уэсли за руку.

— Мне приказано посадить тебя на самолет,— сказал он по-французски.

«Эх, надо было рискнуть, когда мы проезжали мимо порта»,— думал Уэсли, направляясь к выходу. Мать с мужем шли за ними по пятам.

Рудольф подвез Дуайера в Антиб. За всю дорогу они не проронили ни слова. Перед въездом в порт Дуайер сказал:

— Я выйду здесь. Мне надо кое с кем повидаться.— Оба знали, что он пойдет в кафе и напьется и что ему хочется остаться одному.— Вы еще не уезжаете?

— Пока нет,— ответил Рудольф.— Неделя, наверное, уйдет на всякие дела.

— Тогда, значит, увидимся,— сказал Дуайер и вошел в кафе. Он расстегнул воротничок рубашки, сорвал с себя галстук и, скомкав, сунул в карман.

Рудольф включил зажигание. В кармане у него лежало письмо от Жанны. Она приедет в «Коломб д'Ор» к обеду и может встречаться с ним на этой неделе ежедневно. В Париже снова заняты войной, писала она.

Когда погасла надпись «Пристегните ремни» и самолет, пролетая над Монте-Карло, взял курс на запад, Уэсли достал из конверта фотографии и принялся их рассматривать. Он не заметил, как мать перешла через проход и склонилась над ним. Увидев в его руках фотографии, она нагнулась и выхватила их.

— Тебе они больше не понадобятся,— заявила она.— Бедный малыш, как много тебе предстоит забыть.

Он не хотел ссориться с ней — еще слишком рано,— поэтому ничего не ответил и только смотрел, как она рвет фотографии, роняя клочки на пол. Она, видно, любительница поскандалить. Значит, в Индианаполисе скучать не придется.

Он взглянул в иллюминатор и увидел, как внизу медленно отодвигается, уходя в синее море, его любимый зеленый Антибский мыс.

Книга вторая

1

Из записной книжки Билли Эббота (1969)

В НАТО много говорят о перемещенных лицах: о польских немцах, о восточных и западных немцах, о палестинцах, об армянах, о евреях из арабских стран, об итальянцах из Туниса и Ливии, о французах из Алжира. А будут говорить, несомненно, еще больше. О чем беседовать военным, которые спят и видят, как бы развязать войну?

Мне пришло в голову, что я принадлежу к перемещенным лицам, ибо нахожусь далеко от дома, начинен сентиментальными и, несомненно, приукрашенными временем и расстоянием воспоминаниями о счастливой и радостной жизни на родине, не испытываю лояльности к обществу (то есть к армии Соединенных Штатов), в котором проходят годы моей ссылки, хотя оно кормит и одевает меня, а также платит мне куда больше, чем я при моих весьма скромных способностях и полном отсутствии честолюбия сумел бы заработать, дабы прокормиться и одеться в своей родной стране.

У меня нет привязанностей, а это значит, что я вполне способен на подлость. Моя привязанность к Монике — чувство в лучшем случае временное. Случись перемена места службы — полковника, например, переводят в часть, расквартированную в Греции или на Гуаме, а ему желательно и там иметь хорошего партнера по теннису; либо по приказу из Вашингтона, где и понятия не имеют о моем существовании, происходит передислокация воинских подразделений, либо, наконец, Монике предлагают более высокооплачиваемую работу в другой стране,— и все будет кончено.

Кстати, наши отношения могут прекратиться и сами по себе. В последнее время Моника стала раздражительной. Все чаще и чаще приглядывается ко мне, что ничего хорошего не сулит. Только абсолютно слепой эгоист может надеяться, что это пристальное внимание вызвано грустью при мысли о возможности меня потерять.

Если мы с Моникой расстанемся, я заберусь в постель к жене полковника.

■ ■ ■

Билли Эббот, в штатском костюме, вышел под руку с Моникой из ресторана на Гранд-плас в центре Брюсселя, где они только что превосходно поужинали. Настроение

у него было отличное. Правда, заплатить пришлось порядочно — во всех путеводителях ресторан этот значился как один из лучших,— но на такой ужин не жалко потратиться. К тому же днем в паре с полковником он выиграл на корте шестьдесят долларов. Полковник обожал теннис, старался играть каждый день не меньше часа и, как подобает выпускнику Уэст-Пойнта, проигрывать не любил.

Полковник видел игру Билли, когда Билли был всего лишь капралом, и ему пришлась по душе его манера. Билли действовал так хладнокровно и хитроумно, что побеждал противников, обладающих куда более сильным ударом. Кроме того, подвижный Билли в парной игре мог контролировать три четверти площадки, а именно такой партнер и требовался сорокасемилетнему полковнику. Поэтому теперь Билли был уже не капралом, а старшим сержантом и заведовал гаражом, что давало ему немалую прибавку к сержантскому жалованью, которая складывалась из чаевых, получаемых иногда от благодарных офицеров за предоставление машин для неслужебных дел, и из более регулярных доходов от тайной продажи армейского бензина по ценам, благоразумно умеренным. Полковник часто приглашал Билли ужинать. Ему, по его словам, хотелось знать, о чем думают солдаты, а жена полковника считала Билли очаровательным молодым человеком, ничуть не хуже офицера, особенно когда он был в штатском. Жена полковника тоже любила теннис и жила в надежде на то, что в один прекрасный день полковника ушлют куда-нибудь на месяц-другой и Билли останется при ней.

Армия, конечно, стала совсем не та, порой признавался полковник, но надо шагать в ногу со временем. Пока в командирах у Билли был полковник, отправка во Вьетнам ему не угрожала.

Билли знал, что от удручающего грохота вражеской канонады он с самого начала был избавлен стараниями дяди Рудольфа в Вашингтоне, и дал себе обещание когда-нибудь выказать ему свою благодарность. Как раз сейчас у него в кармане лежало письмо от дяди вместе с чеком на тысячу долларов. Из матери Билли уже выжал все что можно, поэтому Моника, узнав о богатом дядюшке, заставила Билли попросить у него денег. Объясняя, зачем ей нужны деньги, она явно что-то недоговаривала, но Билли уже давно привык к этой недоговоренности. Он ничего не знал ни о ее семье в Мюнхене, ни о том, почему в восемнадцатилетнем возрасте она вбила себе в голову, что ей необходимо учиться в Тринити-колледже в Дублине. Она часто уходила на какие-то таинственные встречи, но все остальное время была очень уживчивой и покладистой. При переезде в его уютную квартирку в центре города она поставила условие, что он не будет задавать ей никаких вопросов, даже если она исчезнет не только на целый вечер, но и на целую неделю. У членов делегаций в НАТО бывали такие совещания и переговоры, о которых не полагалось рассказывать. Но он и не отличался любопытством, когда дело не касалось его лично.

Моника была темноволосой, всегда растрепанной, носила туфли на низком каблуке и плотные чулки — словно нарочно старалась выглядеть похуже: зато когда она улыбалась, ее большие голубые глаза освещали все лицо. Но эти плюсы и минусы ничего не стоили рядом с ее чудесной фигуркой. Именно фигуркой, а не фигурой — для Билли это имело значение, потому что при росте в сто шестьдесят восемь сантиметров и хрупком телосложении высокие женщины вызывали у него комплекс неполноценности.

Если бы его сегодня спросили, чем он собирается заняться после армии, он бы, вполне возможно, ответил, что останется на сверхсрочной службе. Моника довольно часто его ругала за отсутствие честолюбия. А он с обаятельной улыбкой слушал и соглашался: чего нет, того нет. Ценность этой улыбки неимоверно возрастала в сочетании с его печальными глазами под густыми черными ресницами, ибо всякий видел, что человек, чьей душой владеет грусть, все же самоотверженно старается если не развеселить, то хотя бы немного развлечь собеседника. Но Билли ею не злоупотреблял — он знал себя достаточно хорошо.

Сегодня Монике как раз предстояла одна из ее таинственных встреч.

Выйдя из ресторана, они остановились полюбоваться площадью, где в лучах прожекторов поблескивали позолотой фасады и оконные переплеты домов.

— Ложись спать, меня не жди,— сказала она.— Я приду поздно, а может, и вовсе не приду до утра.

— Так я скоро стану импотентом,— пожаловался он.

— Ладно, не прибедняйся! — возразила она. После Тринити-колледжа и несколь-

ких лет в НАТО она говорила по-английски так, что и англичане и американцы принимали ее за соотечественницу.

Он слегка поцеловал ее в губы и стал смотреть, как она садится в такси. Она вскочила в машину, словно была не на улице, а в секторе для прыжков в длину. Он снова восхитился брызжущей из нее энергией. И снова не расслышал адреса, который она назвала шоферу. Когда бы он ни сажал ее в такси, ни разу ему не довелось услышать, куда она едет.

Пожав плечами, он направился в кафе. Домой еще рано, а больше в этот вечер ему никого не хотелось видеть.

В кафе он заказал пиво и вынул из кармана конверт с дядиным письмом и чеком. После того как на глаза Билли попался журнал «Тайм» с заметкой о смерти Тома Джордаха и с жуткой фотографией голой жены Рудольфа, между ними произошел обмен довольно теплыми письмами. Разумеется, Билли ни словом не обмолвился об этой фотографии и выразил Рудольфу вполне искренние соболезнования. Дядя Рудольф подробно изложил все семейные новости. Чувствовалось, что он одинок и не знает, чем заняться; он с грустью, но сдержанно писал о своем разводе и о том, что кузена Уэсли забрала его мамаша из Индианаполиса. Рудольф умолчал о том, что мать Уэсли значится в полицейских досье как уличная проститутка, но зато Гретхен не поскупилась на детали. Письма ее были суровыми и наставительными. Она не простила сыну, что он попал в армию, она бы предпочла, чтобы он сел в тюрьму,— тогда ей досталась бы почетная роль мученицы. Кому что нравится, обиженно думал он. Вот ему, например,— играть в теннис с сорокасемилетним полковником и жить в относительной роскоши в цивилизованном Брюсселе с умной, стройной, владеющей несколькими языками и, честно говоря, любимой им Fräulein [1].

Письмо к дяде с просьбой о деньгах было составлено в изящных, неназойливых и печальных выражениях. Билли намекал на карточный проигрыш, сообщал о том, что разбил машину и теперь должен купить новую... Судя по ответу, полученному сегодня утром, дядя Рудольф отнесся к бедам племянника с полным пониманием, хотя и не скрывал, что дает деньги в долг.

Моника просила приготовить ей наличные на следующее утро, так что предстояло еще сходить в банк. Интересно, зачем они ей? А, черт с ними, плюнул он, это всего лишь деньги, да и то чужие. И заказал еще пива.

Утром он узнал, зачем ей деньги. Явившись на заре домой, она разбудила его, подняла, сварила ему кофе и объяснила, что деньги пойдут одному сержанту со склада оружия и боеприпасов, чтобы он пропустил туда людей, с которыми она связана — она их не назвала и ничего о них не рассказала,— на американском армейском грузовике (грузовик даст он, Билли, из своего гаража) и позволил им вывезти сколько сумеют автоматов, гранат и патронов. Сам Билли в этом деле участвовать не будет. Ему только придется ночью вывести из гаража грузовик с заполненным по всем правилам путевым листом и проехать с полмили по дороге, где его будет ждать человек в форме лейтенанта военной полиции США. Грузовик вернется в гараж до рассвета. Все это она говорила спокойно, а он молча пил кофе и думал, не спятила ли она окончательно от наркотиков. Тем же ровным тоном, точно в Гринити-колледже на семинаре, посвященном творчеству какого-нибудь малоизвестного ирландского поэта, она сообщила Билли, что он был выбран ей в любовники из-за своей должности начальника гаража, хотя с тех пор, призналась Моника, она очень, очень к нему привязалась.

— А для чего вам оружие? — помолчав, спросил он слегка дрожащим голосом.

— Этого я не имею права сказать, милый,— ответила она, ласково поглаживая его по руке.— Да тебе и самому лучше об этом не знать.

— Ты террористка,— догадался он.

— Что ж, это определение не хуже других,— пожала она плечами.— Я лично предпочитаю называться идеалисткой, борцом за справедливость, врагом тирании или просто защитником самого обычного, истерзанного жизнью, подвергнутого идеологической обработке человека. Выбирай по вкусу.

— А если я сейчас пойду в НАТО и расскажу там про тебя? Про вашу идиотскую затею? — До чего глупо сидеть в маленькой кухоньке, в одном халате на голое тело, дрожа от холода, и рассуждать о взрывах и убийствах.

[1] Девушкой *(нем.)*.

— Я бы не стала делать этого, милый,— улыбнулась она.— Во-первых, тебе никогда не поверят. Я скажу, что объявила тебе о своем уходе и ты решил мне отомстить таким странным способом. Кроме того, некоторые из моих приятелей отличаются весьма скверным характером...

— Ты мне угрожаешь,— сказал он.

— Называй это как хочешь.

По ее взгляду он видел, что она не шутит. Он похолодел от страха. Впрочем, он никогда и не считал себя храбрецом и в жизни не участвовал в драке.

— Если я пойду на это, то только один раз,— сказал он, стараясь говорить спокойно,— и больше мы с тобой никогда не увидимся.

— Как угодно,— тем же ровным тоном отозвалась она.

— В полдень я скажу тебе, что я решил,— сказал он, лихорадочно обдумывая, как в течение этих шести часов удрать от нее и ее приятелей с их бредовыми планами, улететь в Америку, спрятаться в Париже или Лондоне.

— Что ж, банки открыты и после обеда,— согласилась Моника.— Времени у нас хватит. Но ради твоей же безопасности предупреждаю: за тобой будут следить.

— Что ты за человек! — вскричал он срывающимся голосом.

— Если бы ты не был таким легкомысленным, беспечным и самоуверенным,— ответила она, по-прежнему не повышая тона,— то, прожив со мной столько времени, ты мог бы об этом и не спрашивать.

— Не понимаю, что легкомысленного и самоуверенного в нежелании убивать людей,— парировал он, уязвленный ее характеристикой.— Нечего задирать нос!

— Каждое утро ты надеваешь солдатскую форму,— сказала она.— А ведь тысячи парней твоего возраста, одетые в такую же форму, ежедневно убивают сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Вот что я считаю легкомыслием.— Глаза у нее потемнели от гнева.

— И ты решила этому помешать? — возвысил он голос.— Ты и горстка твоих приятелей-террористов?

— Мы пытаемся. Мы много чего пытаемся сделать, в том числе и это. По крайней мере будем утешаться тем, что попытались. А чем утешишься ты? — усмехнулась она.— Тем, что играл в теннис, пока это все происходило? Что на свете не осталось ни одного человека, который испытывал бы к тебе уважение? Что ты сидел сложа руки, пока люди, чьи сапоги ты лижешь с утра и до вечера, договаривались взорвать земной шар? Когда весь мир взлетит на воздух, ты, умирая, будешь гордиться тем, что жрал, пил и спал с женщинами, пока все это готовилось? Проснись! Нет такого закона, который требует, чтобы ты ползал, как червяк!

— Все это слова,— огрызнулся он.— А что вы делаете? Угоняете израильский самолет, бьете стекла в посольстве, стреляете в полицейского регулировщика? Так, по-вашему, можно спасти мир?

— При чем тут израильтяне? У нас — в нашей группе — на этот счет разные мнения, поэтому можешь не беспокоиться за своих приятелей-евреев... и моих тоже.

— Спасибо,— насмешливо поклонился он,— за твою типично немецкую снисходительность к евреям.

— Негодяй! — Она попыталась было дать ему пощечину, но он успел схватить ее за руку.

— Ты это брось! — пригрозил он.— С автоматом ты, может, и справляешься, но боксера из тебя не выйдет. Бить себя я не позволю. Ты тут орала и угрожала, требуя от меня того, за что я могу получить пулю в лоб либо сесть в тюрьму на весь остаток жизни, но так и не удосужилась ничего объяснить.— Позабыв о страхе, он перешел в наступление: — Если я и решусь помочь вам, то вовсе не из боязни и не за деньги. Ладно, давай договоримся. Ты права: нет такого закона, который требует, чтобы я ползал, как червяк. Ты меня убедила, я — с вами. А теперь сядь, держи свои руки и угрозы при себе и, не трепыхаясь, объясни все по порядку. И только так, а не иначе. Ясно?

— Пусти руку,— угрюмо сказала она.

Он отпустил ее. Она смотрела на него с ненавистью. И вдруг рассмеялась.

— Знаешь, Билли, а ведь ты, честно говоря, рассуждаешь здраво. Кто бы мог подумать? По-моему, нам надо сварить еще кофе. И ты замерз. Пойди оденься, натяни свитер, и за завтраком мы потолкуем о том, как чудесно в двадцатом веке быть живым.

В спальне, пока он одевался, его снова начало знобить. Но даже дрожа, он чувствовал необыкновенный подъем. Впервые он не отступил, не ускользнул, не уклонился. А речь шла о жизни или смерти — это ясно. С Моникой шутки плохи. В газетах каждый день пишут об угоне самолетов, о взрывах бомб, об убийствах политических деятелей, о массовых кровопролитиях, и все это замышляют и осуществляют люди, которые сидят за соседним письменным столом, едут с тобой в одном автобусе, ложатся в твою постель, обедают вместе с тобой. Уж так ему повезло, что и Моника оказалась из их числа, а он и вправду ни о чем даже не подозревал. Она причинила ему жестокую боль, нанесла оскорбление. Одно дело — знать, что ты человек никчемный, но совсем другое — услышать это от женщины, которой ты восхищался, более того, которую ты любил и верил в ее любовь!

Ее смех в конце беседы был данью уважения, и он принял эту дань с благодарностью. Теперь в глазах Моники он стал достойным противником, с которым следовало и обращаться соответственно. До сих пор он не старался переделать мир и был доволен тем, что занял в нем теплый военный уголок. Теперь его оттуда вытащили, и ему придется на это реагировать. Хочет он или нет, а во что-то его уже втянули. И он сразу же понял, что вся жизнь его коренным образом изменилась.

Черт бы ее побрал, думал он, натягивая свитер. Без потерь в жизни не обойдешься. Черт бы их всех побрал!

Когда он снова вошел в кухню, кофе был уже готов. Моника сбросила туфли и ходила по кухне в одних чулках, растрепанная — ни дать ни взять домашняя хозяйка, только что вставшая с супружеского ложа, чтобы приготовить завтрак мужу. Странно говорить в кухне о терроре, рассуждать о кровопролитии возле горящей плиты, выбирать жертву под стук кастрюль и сковородок! Он сел за исцарапанный деревянный стол, добытый на какой-то бельгийской ферме, и Моника налила ему кофе. Кофе она варит отлично, как всякая немецкая Hausfrau[1]. Он с удовольствием сделал первый глоток. Она налила кофе себе, ласково улыбнулась. Женщина, объяснившая ему, что его выбрали ей в любовники только потому, что он командует гаражом, где можно брать грузовики для выполнения опасных заданий,— исчезла. На некоторое время. На десять минут этого прохладного утра, думал он, глотая обжигающий кофе.

— Ну, с чего мы начнем? — спросил он и посмотрел на часы.— Давай побыстрее. Мне пора на работу.

— Начнем с начала,— ответила она.— С того, что творится в мире. А в мире все вверх дном. Кругом фашисты...

— И в Америке?.. — спросил он.— Брось, Моника.

— В Америке они пока действуют тайно,— раздраженно ответила Моника.— Не вылезают на поверхность. А кто снабжает их оружием, деньгами, помогает скрываться? Богачи из Вашингтона, Нью-Йорка, Техаса. Впрочем, если ты бережешь невинность, то нам не о чем разговаривать.

— Ты как будто цитируешь книгу.

— Ну и что? — удивилась она.— Чем это плохо? Вообще читать книги очень полезно, и тебе тоже не помешало бы кое-что почитать. А если ты так печешься о своей любимой родине, то могу тебя обрадовать: в Америке мы сейчас не действуем, наша группа, во всяком случае. За других я не отвечаю. Бомбы рвутся везде, и в Америке тоже, а будет их еще больше, обещаю тебе. Америка — это основание пирамиды, и потому именно она главная наша мишень. Ты глазам своим не поверишь, когда увидишь, как легко она рухнет,— ведь построена-то она на песке — на лжи, безнравственности, ворованном богатстве, порабощении, а под этим ничего нет, пустота!

— Опять цитата? — усмехнулся он.— Может, проще взять книгу в библиотеке и дать ее мне почитать?

— И наша задача,— продолжала Моника, не обращая внимания на его насмешку,— показать это всему миру.

— И как же вы собираетесь действовать? Силами спятивших с ума гангстеров?

— Я запрещаю тебе употреблять это слово,— прошипела она.

— Называй их как хочешь. Бандиты. Наемные убийцы.

---

[1] Домашняя хозяйка *(нем.)*.

— Мы будем атаковать все чаще и чаще. Власти начнут тревожиться, почувствуют неуверенность и в конце концов испугаются. А страх заставит их делать одну ошибку за другой, и последствия с каждым разом будут все более роковыми. Примутся закручивать гайки, потом пойдут на губительные уступки, и люди, поняв, что их правители близки к поражению, поднимутся на новые схватки, пробьют новые бреши в стене.

— Может, сменишь пластинку, а? — сказал он.

— Сначала убьют президента правления банка,— вещала она в экстазе,— потом похитят посла, страну парализует забастовка, наступит девальвация. Откуда последует очередной удар, никто знать не будет, но будут знать, что он непременно последует. И тогда начнется такое закручивание гаек, что все взлетит на воздух. Тут не нужны армии... Требуется лишь горстка людей, безоговорочно верящих в идею...

— Вроде тебя? — спросил он.

— Да, а что? — вызывающе ответила она.

— А что потом, после вашей победы? — спросил он.— Восторжествует Россия? Этого вы добиваетесь?

— Дойдет очередь и до России,— ответила она.— Неужели ты считаешь меня такой дурой?

— Тогда чего же ты добиваешься?

— Чтобы земной шар перестали отравлять, чтобы мы не были обречены на вымирание, чтобы не существовало ни солдат, ни шпионов, чтобы не поднимались в воздух бомбардировщики с атомными бомбами на борту, чтобы не было продажных политиканов и убийств ради денег... Люди страдают, и я хочу, чтобы они узнали, кто заставляет их страдать и какой это приносит доход.

— Понятно,— сказал он.— Все это прекрасно, а теперь поговорим о деле. Предположим, я достану вам грузовик, предположим, вы добудете гранаты, бомбы, автоматы. Что вы конкретно собираетесь с ними делать?

— Конкретно,— ответила она,— мы намерены высадить все стекла в одном здешнем банке, подложить бомбу в испанское посольство и разделаться с одним немецким судьей — самой большой свиньей в Европе. Больше я тебе ничего не могу сказать. Ради твоей же собственной безопасности.

— Я вижу, ты готова на многое ради моей безопасности,— иронически поклонился он.— Выражаю тебе благодарность от имени моей матери, полковника и от себя лично.

— Хватит болтать,— осадила его она.— И брось этот тон.

— А у тебя такой тон, будто ты вот-вот меня прикончишь, милая моя террористочка,— ответил он, поддразнивая ее, чтобы обрести смелость.

— Я еще никого не убила,— сказала она.— И не собираюсь. У меня другие обязанности. А чтобы тебя не мучила совесть, могу тебе сообщить, что здесь, в Бельгии, мы решили обходиться без жертв. Наши действия носят чисто символический характер. Мы просто хотим лишить их спокойствия, напугать.

— Это в Бельгии,— отозвался он.— А в других местах?

— Не твое дело,— ответила она.— Тебе незачем об этом знать. Позже, если ты разделишь наши взгляды и захочешь принять более активное участие в наших действиях, пройдешь курс обучения и будешь присутствовать при обсуждениях. А сейчас от тебя требуется сходить в банк, получить деньги по чеку твоего дяди и в один прекрасный вечер дать нам на несколько часов грузовик. Черт возьми,— вдруг разозлилась она,— что тут для тебя нового? Ты же сам берешь взятки! Думаешь, я не знаю, откуда у тебя столько денег при твоем-то сержантском жалованье? И бензином ты торгуешь...

— Боже мой, Моника,— удивился он,— неужели ты не видишь разницы между мелким жульничеством и тем, о чем ты меня просишь?

— Вижу,— ответила она.— Первое — занятие вульгарное и дешевое, а второе — благородное. Ты живешь в каком-то трансе. Ты сам себе не по душе, и, судя по тому, что ты рассказывал мне про свою семью — про мать, отца, дядю,— про тех, с кем ты работаешь, ты презираешь и всех окружающих. Не отрицай, пожалуйста.— Она подняла руку, не давая ему заговорить.— На тебе словно шоры надеты. Никто еще ни разу не потребовал от тебя, чтобы ты посмотрел самому себе в лицо, распрямился, увидел, что происходит. Так вот, сейчас я этого требую.

— Одновременно намекая, что, если я не пойду вам навстречу, меня ждут большие неприятности? — сказал он.

— Именно так, дружок,— ответила она.— И пока будешь на работе, поразмысли над всем этим.

— Обязательно.— Он встал.— Мне пора.
— К обеду я зайду за тобой,— пообещала она.
— Я так и понял,— усмехнулся он и вышел.

Первая половина дня прошла как в тумане. Проверяя путевые листы, предписания, накладные, ордера, Билли принимал одно решение за другим, всесторонне их обдумывал, отвергал, принимал новые и их тоже отвергал по зрелом размышлении. Трижды он брался за телефон, чтобы позвонить полковнику, рассказать ему обо всем, попросить совета, помощи, но тут же опускал трубку на рычаг. Он просмотрел расписание самолетов, решил сходить в банк получить деньги по дядиному чеку и ночным самолетом улететь в Нью-Йорк. В Вашингтоне он пойдет в ЦРУ, объяснит, в какой попал переплет, и, провожаемый восхищенными взглядами, засадит Монику за решетку. Восхищенными ли? А может, сотрудники ЦРУ, понаторевшие в убийствах, организации подпольной борьбы, свержении правительств, поздравят его, а в душе будут презирать за трусость? Или — еще хуже: превратят в двойного агента, прикажут вернуться в Брюссель, вступить в банду, к которой принадлежит Моника, и еженедельно докладывать о ее действиях? И он правда хочет засадить Монику за решетку? Даже сегодня утром он, честно говоря, не мог бы утверждать, что не любит ее. Любит? А что такое любовь? С большинством женщин ему было скучно. Как правило, после близости с женщиной он спешил встать и уйти домой. С Моникой же все было по-другому. Такого наслаждения он никогда еще не испытывал, и, какими бы жаркими ни были их объятия ночью, он с вожделением ждал возможности лечь с ней в постель и днем.

Он не хочет умирать. Он знал это, как знал и то, что не хочет расставаться с Моникой. И было нечто возбуждающее, глубоко волнующее в мысли о том, что у него хватит смелости ночью спать с женщиной, которая, как ему известно, способна отдать приказ о его казни в полдень.

Во что превратится его жизнь, если он скажет ей: «Я с вами»? Придется вести двойное существование? Играть с полковником в теннис и, услышав поблизости шум взрыва, думать, что ты сам его подготовил? Пройти мимо банка дяди Рудольфа и тайком положить на его порог бомбу, которая взорвется утром перед открытием? Познакомиться с мечущимися из страны в страну фанатиками — в учебниках по истории о них, быть может, напишут как о героях, а пока что они убивают людей с помощью яда и голыми руками; они посвятят его в свои тайны и помогут забыть, что он всего ста шестидесяти восьми сантиметров ростом.

Он так и не позвонил полковнику, не получил деньги по чеку, не договорился насчет грузовика и не поехал в аэропорт.

Все утро он провел в каком-то оцепенении, и, когда полковник позвонил ему и пригласил в пять тридцать на игру, он сказал: «Есть, сэр, приду непременно», хотя отчетливо понимал, что к тому времени его уже может не быть в живых.

Выйдя из гаража, он обнаружил, что она ждет его у ворот. На сей раз она была причесана, и это его обрадовало, потому что все поглядывали на них понимающе — хотя и скрывали усмешку из уважения к начальству,— а ему было бы неприятно, если бы его подчиненные решили, что он связался с какой-то неряхой.

— Ну? — спросила она.

— Пошли обедать,— вместо ответа сказал он.

Он повел ее в дорогой ресторан, куда, как он знал, вряд ли пойдут его сослуживцы, даже если им надоела еда в американской столовой. Он чувствовал себя более уверенно там, где кругом хрустящие скатерти, цветы на столиках, внимательные официанты, где нет и намека на крушение мира, на помешанных заговорщиков, на рушащиеся пирамиды. Он сделал заказ для них обоих. А она прикинулась, будто ее вовсе не интересует, что она будет есть, даже не взяла меню в руки. Он злобно усмехнулся про себя, зная причину ее нежелания заглянуть в меню. Чтобы прочитать названия блюд, ей пришлось бы надеть очки с толстыми линзами, а она стеснялась показываться в общественном месте с такими очками на носу. Но когда еду принесли, она ела с гораздо большим аппетитом, нежели он. Интересно, как ей удается сохранять фигуру?

За обедом они негромко и спокойно беседовали о погоде, об открывающейся на следующий день конференции, в которой ей предстояло участвовать в качестве пере-

водчицы, о его встрече с полковником на корте в пять тридцать, о приезжающем в Брюссель театре, спектакли которого ей хотелось посмотреть. Об их утреннем разговоре не было сказано ни слова, и только когда принесли кофе, она спросила:

— Так что же ты решил?

— Ничего,— ответил он. В уютном ресторане было не просто тепло, а жарко, но его снова затрясло.— Утром я отправил чек обратно дяде.

— Разве это не решение? — холодно улыбнулась она.

— В известной мере,— согласился он. Он лгал. Чек лежал у него в бумажнике. Он не собирался ничего такого говорить. Слова вырвались сами собой, словно у него в голове нажали кнопку. Но теперь, произнеся их, он понял, что в самом деле отправит чек назад, поблагодарит дядю и объяснит, что его финансовые дела неожиданно улучшились и в данный момент он не нуждается в помощи. Зато удобнее будет обратиться к Рудольфу в другой раз, когда ему действительно что-нибудь позарез понадобится.

— Ладно,— спокойно сказала она.— Если ты боишься, что твои деньги могут засечь, я тебя понимаю.— Она пожала плечами.— Не так уж это важно. Добудем деньги в другом месте. А как насчет грузовика?

— Я пока этим не занимался.

— У тебя еще есть вся вторая половина дня.

— Я ничего не решил.

— Не беда,— сказала она.— Притворись, что ничего не видишь, и все.

— Этого я тоже не собираюсь делать,— сказал он.— Я должен как следует подумать, прежде чем на что-то решиться. Если твои друзья задумают меня убить,— добавил он со злостью, но не повышая голоса, потому что к ним подходил официант с кофейником в руках,— передай им, что я буду вооружен.— Ему довелось однажды поупражняться с пистолетом. Он научился разбирать его и собирать, но в стрельбе по мишени выбил очень мало очков. «Перестрелка в коррале», только в брюссельском! — подумал он.— Кто там играл? Джон Уэйн? Интересно, как бы поступил на моем месте Джон Уэйн?» Он засмеялся.

— Чего ты смеешься? — рассердилась она.

— Вспомнил один старый фильм,— ответил он.

— Да, пожалуйста,— сказала она по-французски официанту, который выжидающе стоял над ней с серебряным кофейником в руках. Официант наполнил их чашки.

— Можешь оставить пистолет дома,— криво усмехнулась она, когда официант ушел.— Никто в тебя стрелять не собирается. Ты не стоишь и одного патрона.

— Приятно слышать,— поклонился он.

— Интересно, тебя что-нибудь трогает? Производит на тебя впечатление?

— К следующей нашей встрече я приготовлю целый список и передам тебе. Если встреча состоится.

— Состоится,— сказала она.

— Когда ты съезжаешь с квартиры? — спросил он.

Она подняла на него удивленные глаза. Он не мог понять, в самом деле она удивлена или притворяется.

— Я не собиралась съезжать. А ты хочешь, чтобы я съехала?

— Не знаю,— ответил он.— Но после сегодняшнего разговора...

— Давай на некоторое время забудем наш разговор,— сказала она.— Мне нравится жить с тобой. Я пришла к выводу, что политику и секс не надо смешивать. Кое-кто, возможно, считает иначе, но я в этом убеждена. Мне с тобой хорошо. С другими мужчинами у меня так не получается, даже с единомышленниками, а мы давно уже знаем, что в постели удовольствие должен получать не только мужчина, но и женщина. Ты, мой милый, послан господом богом бедной девушке в ответ на ее молитвы — уж извини за откровенность. Кроме того, мне нравится, как кормят в ресторанах, куда ты так любезно меня водишь. Поэтому...— Она закурила сигарету. Она курила одну сигарету за другой, и все пепельницы в квартире вечно были полны окурков. Его это раздражало, потому что сам он не курил и с полной серьезностью относился к статьям о росте смертности среди курящих. Но не станет же террористка, постоянно живущая в ожидании ареста, беспокоиться о том, что может умереть от рака легких в шестьдесят лет.— Поэтому,— продолжала она, выпустив дым через нос,— я разграничу свою жизнь. Для секса, омаров и pâté de foie gras[1] будешь ты, для менее серьезных дел вроде убийства немецкого судьи — другие. Ну, скажи, разве я не умница?

[1] Печеночного паштета *(франц.)*.

«Она режет меня на куски,— думал он,— на крошечные кусочки».

— Отстань,— пробурчал он.

— Не смотри так мрачно, дружок,— сказала она.— Помни, от каждого по способностям. Между прочим, у меня вся вторая половина дня свободна. Ты можешь улизнуть на часок-другой?

— Могу.— Он уже давно довел систему уходов, приходов и отлучек до совершенства.

— Вот и хорошо,— она погладила его по руке.— Пойдем домой и заберемся в постель.

Кляня себя за неспособность устоять, швырнуть на стол деньги и уйти из ресторана с гордо поднятой головой, он сказал:

— Мне нужно вернуться в гараж минут на десять. Встретимся дома.

— Жду не дождусь,— улыбнулась она, и на ее баварско-ирландском лице засияли огромные голубые глаза.

2

Из записной книжки Билли Эббота (1969)

В ближайшее время я ничего писать не буду.

О Монике лучше помолчать.

Кругом ищейки. В любой момент могут нагрянуть так называемые «грабители». В Брюсселе это обычное дело.

Моника злая как ведьма.

Я ее люблю. Но она мне не верит.

■ ■ ■

Сидни Олтшелер стоял у окна в своем кабинете на одном из верхних этажей небоскреба «Тайм»-«Лайф» и смотрел на огни в соседних зданиях. Настроение у него было мрачное, потому что ему предстояло трудиться и в субботу и в воскресенье.

В дверь тихо постучали, вошла его секретарша.

— Вас хочет видеть некий Уэсли Джордах.

— Джордах? — нахмурился Олтшелер.— Не знаю никакого Джордаха. Скажите, что я занят, пусть напишет мне письмо.

Секретарша уже собралась выйти, но тут он вспомнил.

— Подождите минуту,— сказал он.— Пять или шесть месяцев назад мы напечатали заметку про убийство. Убили человека по фамилии Джордах. Пусть войдет. У меня есть пятнадцать минут свободных, пока не пришел Гэтчер с переделанной статьей. Вдруг у этой истории про Джордаха есть какое-нибудь продолжение, которое можно использовать.— Он отвернулся к окну и, глядя на огни, которые завтра гореть не будут, потому что в субботу вице-президенты, клерки, бухгалтеры, курьеры, словом, все-все имеют право наслаждаться отдыхом, снова принялся мрачно размышлять о предстоящем трудовом уик-энде.

В дверь опять постучали, и секретарша впустила юношу в костюме, из которого он явно вырос.

— Входите, входите,— пригласил Олтшелер, усаживаясь за стол. У стола стоял еще один стул, и он указал на него юноше.

— Я вам нужна? — спросила секретарша.

— Если понадобитесь, я позову.— Он посмотрел на юношу. Лет шестнадцати-семнадцати, но рослый для своих лет. Худое, красивое лицо, глаза как буравчики. Похоже, занимается спортом.

— Чем могу быть вам полезен, мистер Джордах? — весело спросил он.

Юноша протянул ему вырванную из «Тайма» страницу.

— Вы напечатали заметку про моего отца,— сказал он низким звучным голосом.

— Да, помню.— Олтшелер помолчал.— А кто ваш отец? Мэр?

— Нет,— ответил юноша.— Мой отец был убит.

— Понятно.— отозвался Олтшелер, стараясь говорить с участием.— Как вас зовут, молодой человек?

— Уэсли.

— Нашли убийцу?

— Нет.— Уэсли помолчал, потом добавил: — То есть формально не нашли.

— Я так и думал. В печати ничего больше не появлялось.

— В общем, я хотел увидеть человека, который написал эту заметку. Я так и сказал внизу, но они куда-то позвонили и выяснили, что ее писал человек по фамилии Хаббел и что он до сих пор во Франции. Поэтому я купил «Тайм» и увидел вашу фамилию.

— Понятно,— повторил Олтшелер.— А зачем вам понадобился мистер Хаббел? По-вашему, в заметке есть нечто обидное для вас или допущены ошибки?

— Нет. Дело совсем не в этом.

— Или с тех пор произошло что-нибудь, о чем, по-вашему, нам следует знать?

— Нет. Просто я хотел поговорить с мистером Хаббелом о моем отце и о семье моего отца. Об этом в заметке много написано.

— Ясно. Но мистер Хаббел ничем не мог бы вам помочь. Все это было написано здесь. Материал разыскали в нашем архиве.

— Я плохо знал отца,— продолжал Уэсли.— Он уехал, когда я был совсем маленьким, а встретились мы только два года назад. Мне хотелось бы узнать о нем больше.

— Я вас понимаю, Уэсли,— мягко согласился Олтшелер.

— В заметке было гораздо больше, чем я знал. Я составил список людей, с которыми мой отец встречался в разное время его жизни, и «Тайм» тоже вошел в этот список — вот и все.

— Понятно.— Олтшелер позвонил, тут же вошла секретарша. — Мисс Прентис, выясните, пожалуйста, кто готовил материал для заметки о Джордахе. По-моему, если я не ошибаюсь, мисс Ларкин. Отведите молодого человека к ней. Передайте ей, что я прошу помочь мистеру Джордаху.— Он встал.— Извините, но мне пора за работу. Спасибо, что зашли, Уэсли. Желаю удачи.

— Благодарю вас, сэр.— Уэсли встал и вышел вслед за секретаршей.

Олтшелер снова подошел к окну. Вежливый и грустный юноша. А что бы он сам стал делать, если бы убили его отца и он был уверен, что знает, кто убийца? В Йельском университете, где он получил степень бакалавра, такие проблемы не обсуждались.

Мисс Ларкин занимала маленькую комнатку без окон, с дневным светом. Это была невысокая молодая женщина в очках, немодно одетая, но хорошенькая. Она кивала головой, робко поглядывая на Уэсли, пока мисс Прентис объясняла цель его визита.

— Посидите здесь, мистер Джордах,— сказала она,— а я схожу в архив. Вы сможете прочитать все, что я раскопала.

Она спохватилась и вспыхнула, но было уже поздно. Разве можно говорить «раскопала», когда перед тобой юноша, отец которого убит? И архивный материал надо еще раз просмотреть, прежде чем показывать ему. Она очень хорошо помнила, как работала над этой историей,— в основном потому, что все это очень уж отличалось от ее собственной жизни. Она никогда не бывала на Ривьере — собственно, она вообще не выезжала из Америки,— но пока училась в колледже, много читала, и юг Франции запечатлелся в ее воображении как место, где непрерывно происходят любовные истории и трагедии: Скотт Фицджеральд носился там по Бриллиантовому поясу Лазурного берега с одного приема на другой, отчаянный Дик Дайвер веселился на сверкающем в лучах солнца пляже, а впереди их ждали беда и полный крах. Она даже сохранила свои записи по курсу литературы, точно предчувствуя, что в один прекрасный день займется изучением литературной географии. Она посмотрела на юношу, который побывал там и столько пережил, а сейчас стоял перед ней в своем тесном костюме, и ей захотелось расспросить его, узнать, что ему известно обо всем этом.

— Не хотите ли пока кофе? — спросила она.

— Спасибо, мэм, нет,— ответил он.

— Дать вам полистать новый журнал?

— Спасибо, я купил его внизу.

— Я сейчас же вернусь,— весело сказала она. Бедный мальчик, подумала она, выйдя из комнаты. И такой красивый. Даже в этом нелепом костюме. Она была романтична, увлекалась поэзией. Сейчас он представился ей во всем черном, точно молодой Йетс на ранних фотографиях.

Когда она вернулась, держа в руках папку с архивными материалами, он сидел

сгорбившись, упершись локтями в колени и свесив кисти рук, как футболист на скамье для запасных.

— Здесь все,— сказала она оживленно Она долго думала: оставить или убрать снимок голой Джин Джордах, но в конце концов решила оставить. Фотография ведь была напечатана в журнале, и он наверняка ее видел.

— Можете не торопиться,— сказала она.— У меня есть другие дела...— Она показала на кучу вырезок.— Но вы мне не помешаете.— Ей было приятно его присутствие. Не так тоскливо.

Уэсли смотрел на папку, не решаясь открыть ее, а мисс Ларкин занялась работой — что-то резала, писала. Время от времени она поглядывала на него. Наконец он это заметил, что ее порядочно смутило. «Ничего,— думала она, ища оправдания самой себе,— пора ему привыкать ко взглядам девушек. Они за ним будут бегать табунами».

Он вынул из папки первую фотографию. Она увидела, что это фотография его отца в боксерских трусах. Отец готовился нанести удар, выражение лица у него было свирепое. «Здесь он совсем молодой, наверное, моих лет»,— подумал Уэсли. На груди и руках отчетливо была видна каждая мышца. Противники, наверно, боялись его до смерти.

Мисс Ларкин тоже обратила внимание на эту фотографию. Ей красивый боксер показался хулиганом, от которого лучше держаться подальше. Она предпочитала мужчин с интеллигентной внешностью. Юноша же впился в фотографию, забыв обо всем, и мисс Ларкин принялась откровенно рассматривать его. Он удивительно похож на отца, только в нем нет ничего хулиганского. Ему, наверное, лет девятнадцать, можно пригласить его вниз в бар. В наши дни девятнадцатилетний юноша — уже вполне зрелый мужчина. Ей самой всего двадцать четыре, не такая уж большая разница в возрасте.

Фотография была вырезана из журнала «Ринг» вместе с небольшой заметкой, в которой говорилось: «Том Джордан, многообещающий боксер второго среднего веса, одержавший победы в четырнадцати поединках, из них восемь нокаутом, едет в Лондон, где выступит в Альберт-Холле против Сэмми Уэльса, претендента на звание чемпиона Англии в среднем весе. Артур Шульц, менеджер Джордана, утверждает, что еще четыре-пять поединков,— и Томми будет непобедим в своей категории».

На листке, прикрепленном к фотографии, было напечатано на машинке: «Поединок в Лондоне выигран нокаутом. Через три недели дерется в Париже с Рене Бадо. Нокаут в седьмом раунде. После этого сведения нерегулярны, выступает значительно хуже. Нанят спарринг-партнером для Фредди Куэйлса из Лас-Вегаса, штат Невада. Куэйлс — основной претендент на звание чемпиона в среднем весе. Ссора между Куэйлсом и Джорданом. Репортер из Лас-Вегаса сообщил, что, по слухам, в номере отеля была драка из-за жены Куэйлса, впоследствии статистки в Голливуде. Найден свидетель, видевший Куэйлса в больнице сильно избитым. Куэйлс не сумел восстановить форму, покинул ринг, сейчас служит продавцом в магазине спортивных товаров в Денвере, штат Колорадо. Т. Джордан исчез из Лас-Вегаса. Был выдан ордер на его арест по обвинению в краже автомобиля. С тех пор нигде не появлялся».

Вот и все. В нескольких строчках изложена целая жизнь, а итог в шести словах: «С тех пор нигде не появлялся». «Очень даже появлялся — в Антибе»,— с горечью подумал Уэсли. Он вынул ручку и на листке бумаги записал: «Артур Шульц, Фредди Куэйлс».

Потом снова принялся рассматривать фотографию отца: левая рука выдвинута вперед, правая прикрывает подбородок, плечи подняты, свирепое выражение на молодом лице; по словам человека сведущего, еще четыре-пять поединков — и он был бы непобедим. И нигде больше не появлялся.

Уэсли посмотрел на мисс Ларкин.

— Я бы, наверное, не узнал его, если бы он сейчас вот такой вошел сюда.— Он усмехнулся.— Хорошо, что при таких плечах он не был сторонником телесных наказаний для детей.

Мисс Ларкин поняла, что Уэсли гордится мускулистым телом и задиристым нравом отца, которому тут немногим больше, чем ему самому сейчас.

— Если хотите взять эту фотографию,— сказала она,— я дам вам большой конверт, чтобы она не помялась.

— Правда? — не поверил Уэсли.— Можно ее забрать?

— Конечно

— Вот здорово-то! — обрадовался Уэсли.— А то у меня нет его фотографий. Было несколько, но более поздних... Тогда он уже выглядел по-другому. Нет, он выглядел неплохо,— поспешно добавил он, словно испугавшись, как бы мисс Ларкин не решила, что он дурно отзывается о своем отце или что отец превратился в толстого лысого старика.— Только по-другому. Наверное, из-за выражения лица. Нельзя же всю жизнь выглядеть на двадцать лет.

— Разумеется,— согласилась мисс Ларкин. Она каждое утро со страхом смотрела в зеркало в поисках морщинок вокруг глаз.

Уэсли снова полез в папку и вытащил листок с собранными мисс Ларкин биографическими данными членов семьи.

Он быстро просмотрел написанное. Все это уже известно: ранний успех дяди и скандал в колледже, два замужества тетки, карьера его отца в общих чертах. Одну строку он прочитал дважды: «Когда в тридцать пять лет Рудольф Джордах ушел от дел, он считался владельцем многомиллионного состояния». Многомиллионного! Сколько бы раз его отцу пришлось выступить на ринге, сколько сезонов проплавать по Средиземному морю, чтобы заработать хоть один миллион?

Он с любопытством посмотрел на сидевшую за столом хорошенькую девушку в очках. По воле случая именно ей довелось изучить историю его семьи. Интересно, что бы она ответила, если бы он спросил ее мнение о Джордахах? Она писала, что история Рудольфа — типично американская история о том, как бедный юноша стал миллионером. Интересно, а про его отца она тоже скажет, что это типично американская история о том, как бедный юноша не сумел преуспеть в жизни?

Он фыркнул и чуть не засмеялся.

— Больше ничего нет. В этой папке все,— подняла на него глаза мисс Ларкин.— Не слишком-то много, к сожалению.

— Нет-нет, все очень хорошо,— заверил ее Уэсли. Ему не хотелось, чтобы эта милая молодая женщина сочла его неблагодарным. Он вернул ей папку и встал.— Большое вам спасибо. Мне, пожалуй, пора.

Мисс Ларкин тоже встала. Она смотрела на него странным взглядом, словно на что-то решаясь.

— Я тоже почти закончила на сегодня свои дела,— сказала она.— Может, сходим вместе в бар? — Она словно просила его, только он не мог понять о чем.— Позже у меня свидание...— Даже ему было ясно, что она лжет.— И целый час... мне некуда деваться.

— Меня не пустят в бар,— ответил Уэсли.— Мне еще нет восемнадцати.

— Правда? — вспыхнула она.— В таком случае спасибо за визит. Если придете сюда снова, вы знаете, где я сижу. А если я чем-нибудь могу вам помочь...

— Спасибо, мэм,— сказал он.

Она проводила его взглядом. Пиджак был ему явно узок в плечах. «Нет восемнадцати,— вспомнила она.— Ну и дура же я!»

Некоторое время она сидела, уставившись на разбросанные по столу бумажки. Ей почему-то стало казаться, что с ней происходит или произойдет что-то необычное. Она перечитала заметку. Убийство, богатый брат, интеллигентная сестра, ввязавшийся в драку профессиональный боксер убит, убийца не найден. Красивый сын, еще совсем мальчик, со странным, трагическим взглядом, добивается — чего? Мести?

Она писала роман о девушке, выросшей в разбитой семье и очень похожей на нее — одинокой, наделенной воображением; о ее влюбленности в учителей, о первой любви, о первом разочаровании, о переезде из маленького провинциального городка в Нью-Йорк. Теперь она думала о своем творчестве с презрением. Все это уже тысячу раз написано.

А история этого мальчика — чем не роман? Между прочим, Драйзера навела на мысль об «Американской трагедии» заметка в газете. Никого ни в драйзеровской семье, ни среди его знакомых не убивали, но все равно он написал великое произведение. А с ней в комнате всего несколько минут назад сидел красивый мальчик с трудной судьбой, несущий на своих плечах — это было почти зримо — ношу раскаяния и печали и собиравшийся с силами — думала она, сладко замирая,— чтобы совершить акт мести. Гамлет в обличье американского мальчика. А почему бы и нет? Месть — одна из старейших литературных традиций. Подставь другую щеку, сказано в Библии, но в ней же сказано и про око за око. Ее отец, неистовый ирландец, изры-

гал страшные проклятия по адресу англичан, когда читал, что́ они до сих пор творят в Ирландии, но в их гостиной в годы ее детства висел портрет Парнелла.

Месть живет в наших душах, думала она, как в теле кровь. Мы любим делать вид, что слишком цивилизованы для этого в двадцатом веке, но человек из Вены, который всю свою жизнь посвятил выслеживанию нацистов, пользовался всеобщим уважением. Ее отец называл его последним героем второй мировой войны.

Жаль, что она не догадалась спросить у мальчика, где он живет. Она бы разыскала его, изучила, описала в своем романе со всем его гневом, сомнениями, молодостью. Конечно, это бездушно, сказала она себе, но либо ты писательница, либо нет. Если он когда-нибудь снова придет сюда, она постарается разузнать про него все-все.

Мисс Ларкин была радостно взволнована, словно нашла клад, и даже ощутила прилив вдохновения. Она осторожно сложила все бумаги обратно в папку и пошла в архив поставить ее на место.

А потом с нетерпением стала ждать минуты, когда, очутившись дома, швырнет шестьдесят страниц написанного ею романа в огонь.

(Продолжение следует)

Советская литература за рубежом

АВСТРИЯ

Роман МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита». Издательство «Штирия».

Роман ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ягодные места». Издательство «Цзольнай».

Книга ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО «Лев Толстой». Издательство «Европа».

БОЛГАРИЯ

Роман ЧАБУА АМИРЭДЖИБИ «Дата Туташхиа». Издательство «Народна култура».

Роман РУСЛАНА КИРЕЕВА «Победитель». Издательство «Христо Б. Данов».

Книга ПАВЛА ТОПЕРА «Ради жизни на земле». «Воениздат».

Роман НИКОЛАЯ ШУНДИКА «Белый шаман». Издательство «Георги Бакалов».

ВЕНГРИЯ

Исторический роман ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «Евпраксия». Издательство «Европа».

Рассказы СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА «Наши лошади» и «Фестиваль». То же издательство.

Семейная хроника ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА «Кладбище в Скулянах». Издательство «Магветё».

Стихи ДМИТРИЯ ПАВЛЫЧКО. Издательство «Европа».

ГДР

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Карпухин» Издательство «Ауфбау».

Стихи и поэмы СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА. Издательство «Фольк унд вельт».

Рассказы АЛЕКСАНДРЫ КОЛЛОНТАЙ «Пути любви». Издательство «Дер морген».

Повесть ЮЛИЯ КРЕЛИНА «Хирург». Издательство «Фольк унд вельт».

Стихи РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО. Издательство «Нойес лебен».

Пьесы ВИКТОРА РОЗОВА. Издательство «Хеншель».

Повесть АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Кортик». Издательство «Нойес лебен».

ИТАЛИЯ

Книга ЮРИЯ ОЛЕШИ «Ни дня без строчки». Издательство «Гарзанти».

Повести и рассказы БОРИСА ПИЛЬНЯКА «Луна не гаснет». Издательство «Фельтринелли».

НИДЕРЛАНДЫ

Роман АНДРЕЯ БЕЛОГО «Петербург». Издательство «Арбейдерсперс».

«Повесть о жизни» КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО. То же издательство.

Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Старик». Издательство «Мёленхоф».

ПОЛЬША

Роман ФЕДОРА АБРАМОВА «Дом». Издательство «Чительник».

Книга ДАНИИЛА ГРАНИНА «Сад камней». Издательство «Ксёнжка и ведза».

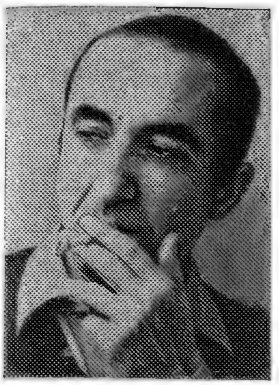
Рассказы АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА. Издательство «Чительник».

США

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Волчья стая». Издательство «Томас Кровелл».

Поэма ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Голубь в Сантьяго». Издательство «Вайкинг».

Фантастическая повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Пикник на обочине». Издательство «Таймскейп бук».



ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ

Пять стихотворений из цикла «Толедо»

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Рассвет

Запомни этот рассвет и все же
Внешних примет недостаточно — лужи
Да мокрые — в блеске капель — автопокрышки
Да занавески прозрачность которых

Исключает сюрпризы: гостиница
Для степенной публики в ожидании
Постоянного жилища в пышном
И вероломном городе полном

Достопримечательностей — в том числе и сомнительных
Мы переводим дух возлежа на бывалых матрасах
Обессиленные объятиями — жаль
Наши ложа не уловили ни слова

Из потока упреков этих острых ночных ножей
Чуть покалывающих сперва а потом все глубже и глубже
До брызнувшей крови до алых нещадных ран
До ударов с обеих сторон в стену надежды

Да смилуется господь над телами нашими
Соединив их во имя неведенья да смилуется над взаимной
Жаждой познать себя да смилуется над нами
Детьми на пути к безымянной грани

Психолог

. . . . . постой
Ведь ты Одеризи [1]? — спросил он стоило мне
Обернуться: он опирался локтем о стойку бара
Напоминая разительно некоего актера

© Arnoldo Mondadori Editore, 1981.

[1] Одеризи из Губбио — известный миниатюрист XIII в., друг Данте, упомянутый им в «Божественной комедии» («Чист.», XI); здесь имя нарицательное — в значении «друг» *(прим. переводчика).*

Только одет как все без затей если снять с него
Вроде моей английскую кепку
И еще в отличие от актера лицо а не маска
Лицо привыкшее отражать

Чужие беды — Но поскольку своими
Понимаешь — пошутил он — я не могу
Поделиться ни с кем пришлось отказаться
От роли психолога... Ну-ка

Выкладывай что ли: сразу видно вот человек
Который минуту назад был не один
Или я не прав? — попав в самую точку
Именно так сказал он

На площади перед вокзалом — я только-только
Из волшебного сна коему имя Толедо
Да не город же нет — я спускаясь на землю поведал —
Как продлить его сам не знаю

Марионетки

Помню уличный театрик марионеток
В летнем городе где поздно темнеет
И на площади многочисленный народ
И меня берет любопытство

Не зная ни слова по-ихнему я тем не менее
Подхожу и знаками спросив понимаю
Что играют бесплатно из любви к искусству
А может это и есть коммунизм

Актриса примерно твоя ровесница
Весело выглядывала из-под занавеса
Как жалко что ты не была со мною
Написал я вернувшись в номер одному человеку

Крылатая радость рвалась наружу
Тебя еще не было и я на другую обрушил
Телячий восторг благодарный зритель
Но без тебя у меня опускаются руки

Я могу тебе только рассказывать как я живу
Как надежды по мне же бьют рикошетом
Как при этом меня томит искушенье
Погладить тебя два сердца друг с другом сверить

Ты ночь а для ночи враждебно солнце
И я умолкаю — ну какое мне дело
До Толедо — я пишу тебе я рисую тебя
Как пусто что ты отдельно

En honneur de... [1]

Роща в солнечных накрапах
Лист осенней карусели
Сладок мне твой горький запах
Запах моря запах соли

Согреваю пальцы шелком
Ниспадающим на плечи
И не понимаю толком
Бессловесной тайной речи

Все мои тревоги хрупки
И сомнения и ревность
Груди — белые голубки —
Их уносят в неизвестность

Как луна твой торс пшеничный
Между нами нет ни щелки
Я с тобою ты со мною
Вроде нитки и иголки

Хоть минутку хоть одну бы
Дать еще продлиться чуду
Эти яростные губы
Не забуду не забуду

Потеряться раствориться
В золотой купели тела
Быть собою стать тобою
Словно перевоплотиться

В чистоте твоей алтарной
Под твоим жемчужным сводом
Где с молитвой благодарной
Сердцем сердце слышу рядом

В глубине твоих потемок
В тайной бухте на приколе
Чувствовать тебя на память
По твоей горчащей соли

Разговор с филиппинским поэтом в Африке

На красивом азиатском лице когда я закончил
Было написано все он не умел притворяться
Во многом похоже — сказал он — на случай с одним моим другом
А я-то надеялся ты мне подскажешь выход

Он был моложе меня в два раза
И по всему представлял себе собеседника этаким метром
Каким никогда не стать ему самому
Ровеснику и тезке одного из моих сыновей

У меня есть дочка Миранда — он продолжал —
Имя выбрано в честь мятежной площади [2]
Ей-богу мне тоже как-то не верится
Что я на земле о которой грезил по карте

Оглянуться назад — все предельно ясно
Точки А и Б и путь между ними
Но мы ведь из тех кому предстояло его проделать
В общем вслепую рывок за рывком на ощупь

Далёко-далёко в стольких часах полета
Открывавшего под крылом то сушу то море
В разговоре на смеси языков как бы на полдороге
Я поведал ему о нас изливая душу

---

[1] В честь... *(франц.)*

[2] На площади Миранды в Маниле в конце 60-х — начале 70-х годов проходили массовые студенческие демонстрации — об этом говорил мне мой собеседник и товарищ по путешествию в Анголу Конрадо де Кирос *(прим. автора)*.

ЛАЙОШ НАДЬ

Рассказы

К 100-летию со дня рождения

С венгерского

Творчество Лайоша Надя (1883—1954), талантливого венгерского прозаика и публициста, неизменно отличалось гражданственностью: безусловной солидарностью художника со всеми униженными и обездоленными, язвительно-едкой непримиримостью к социальной несправедливости и гнету. В Венгрии начала века, когда он вступил в литературу, подобная творческая позиция имела не много шансов на успех. «Плевать в лицо обществу — это еще не искусство!» — с такими словами редактор либерального журнала «Нюгат» вернул в 1909 году начинающему автору один из его рассказов. Спустя десятилетия после резкого отказа, глубоко ранившего Лайоша Надя, эта новелла («В конторе Грюна после обеда») стала хрестоматийной, а сам писатель — как раз благодаря социально-обличительной силе своего искусства — занял заметное место в ряду мастеров венгерской прозы нашего века.

В ранних произведениях Лайоша Надя — рассказах из жизни обитателей будапештских окраин, изнуренных борьбой за кусок хлеба маленьких людей «со стоптанными судьбами»,— сказалось влияние натурализма. Однако за натуралистическими, заимствованными прежде всего у Золя, чертами стояло вполне определенное стремление — содействовать справедливому переустройству мира.

В ином плане повлияла на Лайоша Надя русская литература (в особенности высоко ценимый им Горький), увлекшая его глубоким проникновением в действительность, в ее подспудные движущие силы и утверждением веры в разум и достоинство человека. Это воздействие, своеобразно преломленное мрачной реальностью хортистской Венгрии, наиболее полно проявилось в 20-е и 30-е годы в творческих достижениях зрелого Надя, художника-реалиста.

После поражения Венгерской советской республики 1919 года, которой Лайош Надь активно служил пером писателя-публициста, он с удивительной стойкостью и изобретательностью разоблачал торжествующую реакцию. Менялась стилистика произведений, приходилось прибегать к иносказательной речи: террористическую банду контрреволюционеров маскировать под свору волков, преследующих беззащитную жертву (как в известном аллегорическом рассказе «Волк и овечка»), пороки венгерского общества переносить в мир животных (как в серии фельетонов «Невозможное естествознание») или в отдаленные по времени цивилизации (рассказ «Египетский писец»).

Работавший в разных жанрах венгерской прозы, Лайош Надь обогатил ее новыми средствами письма прежде всего в новеллистике. Ему принадлежат оригинальные гротескно-сатирические миниатюры, вроде антивоенного рассказа «Война», в котором сквозь ошеломляющие своим вандализмом подробности готовящейся «вселенской катастрофы» доносятся не только отзвуки первой мировой войны, но и авторское предостережение против разрушительных сил, с какими человечеству предстоит столкнуться в будущем.

В конце 20-х годов Лайош Надь разрабатывает форму «симультанной новеллы», в которой писательский взгляд охватывает одновременно множество не связанных друг с другом персонажей, проникая в убогие квартиры городской бедноты («До-

© Nagy Lajos örököse
(dr. Nagy Zoltánné sz. Csillag Margit), 1979.

ходный дом») или выхватывая из жизни различных слоев общества обыденные события, происходящие в течение одного дня («Распорядок дня»). Построенные на контрастных фактах, эти новеллы призваны были раскрыть не характеры и конфликты буржуазного общества, а порождающие их отношения социального неравенства и угнетения.

Свойственная художнику приверженность к реальному факту привела его к созданию необычного по жанру романа «Кишкунхалом» (1934), который сделал Надя одним из родоначальников возникшей в венгерской литературе 30-х годов художественной социографии. Говоря об этом документальном повествовании из жизни венгерской деревни, Дюла Ийеш характеризовал его так: «Роман написан простыми и ясными, почти аскетическими фразами. Такому бесстрастному, обнаженному слогу может доверить свои мысли только уверенный в себе интеллект... Писатель набрасывает небольшие сценки, в нескольких строках повествует о неприметном, будничном событии, но из заключительных слов вдруг выплескивается такое естественное тепло, так непосредственно, словно разряд электричества, пронизывает тебя впечатление, что оглядываешься удивленно: что это было, стихи? Судя по воздействию — да».

Известный венгерский писатель метко подметил здесь два взаимопроникающих и, казалось бы, несовместимых творческих начала, присущих всему творчеству Лайоша Надя: суховатую лаконичность, внешне строгую манеру письма и внутреннюю поэтичность, идущую из-за строки эмоциональную напряженность. Не случайно некоторые прозаические произведения Надя декламировались в 30-е годы участниками рабочих агитколлективов и воспринимались аудиторией как стихи.

Художественная деятельность Лайоша Надя, хотя он до 1945 года и не находился в рядах партии, была тесно связана с рабочим движением. Подтверждением этой кровной связи могут служить такие его произведения, как, например, новелла «Мать» (1931), в которой он выступил с разоблачением вздорной клеветы хортистской пропаганды на Советскую Россию, или рассказ «Май 1919 года» (1932)— вершинное достижение Надя-реалиста и вместе с тем одно из наиболее ярких произведений о Венгерской коммуне 1919 года. Его автор, наряду с Аттилой Йожефом в поэзии, стал одним из зачинателей новой, социалистической венгерской литературы. Несомненным признанием заслуг Лайоша Надя явилось, в частности, приглашение его на Первый съезд советских писателей в 1934 году.

Подлинная известность пришла к Лайошу Надю лишь после Освобождения. С обновленной энергией взялся он за создание крупных автобиографических произведений, итоживших сложный путь, пройденный им вместе с венгерским народом. Пристально всматриваясь в меняющуюся действительность, писатель отразил в рассказах первых послевоенных лет обнадеживающие ростки нового, но и не закрывал глаза на то, что тянуло в прошлое, мешало здоровому развитию общества. К этому его обязывала верность своему писательскому кредо, по которому правдивое изображение действительности является стимулом к ее преобразованию.

Произведения Лайоша Надя публиковались у нас в нескольких антологиях венгерской прозы и выходили отдельными книгами в издательстве «Художественная литература» («Новеллы», 1963 и «Избранное», 1976).

Представляем читателю его новеллы разных лет из числа еще не переведенных на русский язык.

В. СЕРЕДА

Пощечина

Зимним вечером, часов около десяти, спешил к себе домой щупленький человечек. Жил он на улице Роз, вышел с улицы Кирай, что в центре города, и сейчас как раз приближался к проспекту Андраши, собираясь его пересечь. Погода была скверная, сырая, моросил дождь. Щупленький человечек шел, прижимаясь к стенам домов, весь съежившись и втянув голову в плечи, так что казался еще более щуплым, чем обычно. Воротник его пальто был поднят. Когда он свернул на проспект Андраши, его взгляд приковала к себе такая сцена: на другой стороне улицы, у огромного, залитого светом окна кафе какой-то офицер размахнулся и ударил по лицу человека в штатском. Штатский, а он был и шире в плечах, и выше военного, на минуту застыл в изумлении, потом повернулся и заспешил прочь. Он удалялся в сторону улицы Роз. Офицер тоже повернулся на каблуках и гордой, уверенной походкой зашагал в противоположном направлении.

Щупленького человечка пощечина привела в неожиданное волнение. Нет, это не было волнением человека, вообразившего, будто он только что залепил кому-то пощечину,— напротив, из-за теснящего

его грудь постоянного сострадания к ближнему, неотделимого от сознания собственной беззащитности, ему казалось, что это его ударили сейчас по лицу. Он почти физически ощущал эту пощечину и так разволновался, что даже забыл, куда ему дальше идти. Его охватило желание сию же минуту броситься за ними, тут же сменившееся замешательством: за кем бежать? Он посмотрел вслед офицеру: тот шел спокойным шагом; взглянул в сторону штатского — даже по походке видно было, что ему не по себе. Почти перейдя уже площадь Октогон, штатский боязливо оглянулся — не на офицера, а на место своего позора — и заспешил дальше. Щупленький человечек хотел кинуться за ним, ведь тот шел как раз к улице Роз, да и очень уж хотелось посмотреть, как выглядит человек, только что переживший смертельное унижение... Но никакой жалости к штатскому он не испытывал: так ему и надо, псу трусливому, раз не посмел дать обидчику сдачи, не двинул ему кулаком в рожу, не вдарил по носу, промеж глаз, чтобы тот кровью умылся. Поделом ему. А ведь он на две головы выше офицера, солдафона надутого... Человечек уже готов был кинуться вдогонку за офицером — так его возмущала спокойная непринужденность и наглая самоуверенность военного. Бац — и пощечина! Стояли, видно, разговаривали, потом поспорили, офицер размахнулся левой рукой и — хлоп — залепил пощечину... Причем левой, заметьте! Какая холодная расчетливость! Потому что правой, посмей штатский только пальцем пошевелить, он тут же выхватил бы саблю. Уж эта мне сабля!.. Все-таки возмутительно, до чего беззащитен простой смертный перед этими вояками! В самом деле, что может сделать безоружный против сабли? Рубанут ему по голове, и рухнет как подкошенный. Какое свинство! Можно понять этого бедолагу штатского. Что ему было делать?.. Вот если бы — ух, черт подери, вот было б здорово!..— если бы он на меня саблей замахнулся, а я был бы очень сильным (но с виду этого никто бы сказать не мог) и к тому же умел бы запросто отражать даже удары сабли, как те циркачи, что безоружные выходят против ножа и револьвера и хладнокровно одолевают противника... Уж я бы избил этого офицера до полусмерти. Да еще бы ногой его пнул, прямо в рожу грязным ботинком — благо грязь на улице что надо. Словом, пнул бы ему в рожу, плюнул бы в его бесстыжие глаза и спокойненько пошел бы домой, на улицу Роз. Что, получил, мерзавец? Не на того, брат, нарвался! Будешь теперь знать, как саблей размахивать... Или если, к примеру, человек и не такой уж сильный, но зато отчаянный. Выхватил бы револьвер и пристрелил его как собаку...

Щупленький человечек вдруг побледнел, задрожал всем телом и кинулся вдогонку за офицером. Он нагнал его уже возле улицы Надьмезе и затрусил сбоку, шагах в трех-четырех, вцепившись в него испытующим взглядом. Офицер оказался довольно привлекательным молодым человеком с бритым лицом и погонами поручика-пехотинца; он быстро шел, глядя прямо перед собой. Лицо его не выражало ничего особенного. Решительно ничего. Объяснить это можно было разве тем, что он просто был доволен собой и случившимся. Офицер был спокоен. Зато щупленький человечек, которому, чтобы не отстать, приходилось чуть ли не бежать, распалялся все больше. Холодное спокойствие на свежем округлом лице офицера только усиливало его возбуждение. У него, правда, мелькнула мысль: до чего же глупо он себя ведет. Шел бы лучше домой, вместо того чтобы бежать куда-то как ненормальный. От этой мысли он распалился еще больше. И в самом деле, бежит как ненормальный неведомо куда, неведомо зачем; вот сраму-то будет, если его из знакомых кто встретит да поинтересуется, куда это он так разогнался... А еще он боялся, что офицеру надоест наконец, что кто-то путается у него под ногами, он возьмет, да и рявкнет на него. Достанется ему, как тому штатскому. Ударить-то офицер его, конечно, не ударит, но уж нао-

рет-то как пить дать. А ты в ответ и пикнуть не посмеешь, иначе тот саблю в ход пустит!.. И опять закипело у него воображение. Он уже бросал в лицо офицеру хлесткие, обидные слова... Потом, разумеется, драка. Хладнокровная оборона, сокрушительный удар в подбородок. Торжество силы, триумф!.. Он по-прежнему трусил рядом с офицером, поглядывая в его сторону, и, поскольку снова заморосил дождь, еще сильнее втянул голову в воротник пальто. Время от времени позвякивала офицерская сабля. Какая же это мерзкая вещь! Гнусное средство для запугивания и избиения мирных граждан! И как омерзительна эта штука даже в руках такого вот юноши с миловидным, почти девичьим лицом!... Нет, этот офицерик порядочный негодяй. Перебить бы их всех до единого, чтоб людей не терроризировали... Посмотреть бы, к примеру, на этого офицерика, когда он нарвется на человека не робкого десятка, который всыплет ему по первое число. Интересно, как бы все тогда обернулось? Что бы он тогда говорил, вообще как бы он себя вел? Оставался бы таким же элегантным, схлопотав по физиономии? В самом деле, что он при этом сказал бы?.. А кстати, что он сказал штатскому, когда ударил его по лицу? Наверное, гадость какую-нибудь. Тьфу!.. И как, каким голосом? Любопытно, какой у него голос, у этого офицера с девичьим лицом, если его вывести из себя? Жаль, я не слышал того, что он сказал! Нет, обязательно нужно услышать его голос! Надо, чтоб он хоть слово сказал! Непременно... И в щупленьком человечке созрела решимость заговорить с офицером. С этим ненавистным ему фанфароном и грубияном. Но как? Надо спросить что-нибудь. Только что? Как пройти на какую-нибудь улицу? Или узнать, который час? Нет, это глупо. Лучше уж насчет улицы... Он осторожно приблизился к офицеру и нерешительным голосом, запинаясь, спросил:

— П-п-простите, сударь! Скажите, пожалуйста, как пройти на улицу Реваи? Видите ли, я нездешний... Прошу прощения...

Офицер остановился, взглянул на него и чистым приятным голосом любезно переспросил:

— Что вы сказали?

— М-м... мне на улицу Реваи... Не могли бы вы подсказать... Я нездешний...

— Ах, Реваи?... Пройдете здесь, этим переулком, и сразу же окажетесь на Реваи.

— Покорнейше благодарю... Простите...

— Всего доброго!

Офицер отдал честь и двинулся дальше тем же спокойным, по-военному четким шагом. Щупленький человечек потоптался на месте, глядя вслед офицеру, потом повернулся и отправился домой, на улицу Роз... По дороге он размышлял о том, каким учтивым и тонким человеком оказался этот офицер. И если бы он не видел ту сцену собственными глазами, ни за что бы в это не поверил...Странное все же создание — человек.

1918

Лев на воле

Зверинец готовился к отъезду. Пора было перебираться в другой город, чтобы на новом месте расставить опять железные клетки, вокруг которых, в тяжелом от звериного духа воздухе, зазывала с бамбуковой тростью в руках будет собирать новых зевак: «Спешите увидеть — почти задаром — жирафа, гориллу и ягуара!»

На товарной станции клетки с животными грузили в вагоны. Все шло как нельзя лучше; только со львом вышла незадача. Один край его клетки стоял уже на вагонной платформе, и рабочие как раз под-

нимали всю эту махину с другой стороны, чтобы потом протолкнуть ее дальше, в глубь вагона, как вдруг клетка накренилась, грохнулась наземь, и дверца ее распахнулась. Но это было бы еще полбеды — через дверцу из клетки вывалился лев.

«Черт подери!»— в сердцах воскликнул про себя лев, как воскликнуло бы всякое живое существо, неожиданно шлепнувшись наземь.

«Черт подери!»— снова воскликнул лев, внезапный гнев его быстро улетучился, а сердце сжалось от страха — то самое сердце, о котором арабы и черные африканцы говорят: тот, кто отведает его, никогда больше не будет знать страха.

«О господи, чую я, добром это не кончится!»— подумал лев.

Падая, клетка перевернулась, и дверца ее оказалась внизу. Назад в клетку пути не было. Лев очутился на воле.

Он стоял, дрожа и оглядываясь по сторонам, словно моля о пощаде. Но пощады ждать было не от кого: рабочие, занимавшиеся погрузкой, кинулись сломя голову врассыпную. «Берегись! Спасайся кто может!— неслись отовсюду истошные вопли.— Выходы перекрыть! Эй, нельзя туда! Боже мой, Дори!»

Лев все стоял, дрожа и оглядываясь. Пожалуй, из этого переплета живым не выбраться! Но что тут можно было бы сделать?

В минуту крайней опасности человек, да и лев, должен что-то предпринимать: утопающий лев тоже хватается за соломинку. Он снова взглянул на опрокинутую клетку: увы, вернуться туда было невозможно. Может, растянуться на земле и лежать, не двигаясь, с закрытыми глазами? Нет, это бессмысленно. Ему вдруг вспомнился мебельный магазин в каком-то городе, он однажды проезжал мимо него — разумеется, в клетке. Вот было б здорово оказаться теперь в таком магазине и развалиться на витрине, прикинувшись шкурой.

Но размышления эти пришлось прервать, так как в сотне шагов появились люди, вооруженные ножами, револьверами, дробовиками. На верхнем этаже одного из домов распахнулось окно, и грянул оглушительный выстрел; видно было, как рассеивается облачко порохового дыма.

Да, тут дело не шуточное, надо спасаться. Лев повернулся и затрусил по шпалам в сторону от станции. На бегу он еще раз обернулся — не одумались ли люди, не размахивают ли белым флагом у него за спиной? Как бы не так! Они со всех ног кинулись за ним. «Держи его! Держи!— кричали они за спиной у льва.— Стреляй, не то уйдет!» Послышались новые выстрелы. Лев припустил размашистым галопом. Поодаль от станции работали путейцы; завидев льва, они в ужасе бросились к стоящим на путях вагонам. Кто спрятался за колеса, кто вскарабкался на крышу, кто заперся в купе; некоторые, едва почувствовав себя в безопасности, тотчас перешли к атаке: из вагонных окон в льва полетели кувалды, куски угля, раскрытые ножи. Что-то крепко садануло его в бок.

«О-о-о!» Лев взвыл от боли, но тут же замолк. Он уже сожалел о своем вопле, он готов был склонить перед людьми голову, смиренно распластаться перед ними, заверяя их в самых миролюбивых намерениях. Но ведь это было бы равносильно самоубийству. Лев собрался с духом, сделал огромный прыжок и понесся напрямик, без какой-либо определенной цели. Но тут он увидел перед собой новую группу людей, вооруженных кольями и дробовиками. Тогда он рванулся в сторону, перемахнул через дощатый забор и очутился на многолюдной улице, едва не угодив под колеса трамвая. В самый последний миг вагоновожатому все же удалось затормозить, правда, затормозил он слишком резко — опять он не получит прибавки к жалованью.

На улице поднялся немыслимый переполох (или, как напишут потом в вечерних газетах, паника). Лев, даже если бы захотел, те-

перь уже не смог бы остановиться, ему надо было бежать. Но куда бежать — направо, налево? Положение его было совершенно отчаянное, и не удивительно, что он ринулся наобум, к центру города. Люди, машины — кто куда! Крики, душераздирающий визг! Лев, и без того перепуганный, просто обезумел от страха, он уже ничего не видел перед собой — только пестрый, куда-то летящий хаос. Движимый последними проблесками разума, лев бросился к какой-то толстухе, которая неуклюже переваливалась с боку на бок; он решил доказать всем, что не желает никому зла, что просто жить хочет, ничего более, и потому не нужно его бояться, не нужно бежать от него, сеять панику — вот он и прыгнул на толстуху и крепко прижал ее к земле передними лапами, чтобы та успокоилась наконец и никуда не бежала.

Но и этот его маневр был обречен на неудачу: несчастная тут же испустила дух — отчасти с перепугу, а отчасти, конечно же, от смертельных ран, причиненных ей не слишком деликатным прикосновением.

К доведенному до крайнего отчаяния льву вовремя подоспели на велосипедах двое полицейских, они и прикончили его выстрелами из револьверов. Напоследок ему пригрезилось, будто он стоит перед новой красивой клеткой с распахнутой дверцей, он прыгает в нее, и какой-то любезный человек ловким движением захлопывает за ним дверцу и запирает на ключ.

1927

Распорядок дня

19 октября 1927 года, среда. (Бруно Шварцкопф, изобретатель автоматической виселицы, родился в 1845 году. Мир праху его.) Рим.-кат.— св. Петр. Протест.— Лука. Правосл.— 6 октября — Фома. Буддисты — Чжо-чжо. Штопоропоклонники — Пилили. Солнце встает в 6 час. 23 мин. Заходит в 17 час. 7 мин. Рабочий встает в 6 час. 5 мин. Чиновник встает в 7 час. 36 мин. Барин встает в 10 час. 16 мин. Тунеядец-рантье встает в 3 час. 40 мин. пополудни. Душечка встает в 5 час. 7 мин. пополудни. Луна встает в 6 час. 51 мин. Заходит в 5 час. 2 мин. утра. Поэт, прищурясь, глядит на луну в 12 час. ночи. В результате выходит нечто эстетическое. «Ишь ты, луна!»— изумляется поэт. Строчит. Барышня читает стихи. Прислуга стирает. «Луна серебряною кнопкой на синем ватмане небес...» «Грандиозный талант!»— приходит в восторг редактор в 12 час. следующего дня. Юпитер встает в 8 час. 40 мин., скрывается из виду в 6 час. 20 мин. «Право, барин, от вас никуда не скроешься»,— говорит Юци, симпатичная горничная. Клопы встают в 10 час. вечера, ложатся в 7 час. утра. Уличные женщины принимают с 8 час. 30 мин. утра. Форма одежды: юбка — розовая, блузка — цвета киновари, нижняя юбка — черная.

Музеи, открытые для посещения. Экспозиция флоры и фауны в Национальном музее, 9.00—13.30. Чучело слона. Облезлый крокодил. Обшарпанная гиена. Бальзамированный фараон. Заспиртованный директор банка? Где? Где? Сельскохозяйственная выставка, 10.00—13.00. Граф спит. Управляющий ворует. Волы ревут. Батраки заправляются картошкой. Галерея современной живописи в Музее изящных искусств (просп. Арены, 41), 10.00—13.30. Экспонируется банка с солеными огурцами, слева от банки — орехокол, справа — питьевая сода. Подпись: «Натюрморт». «Этот орехокол исторгнут из глубины души»,— толкует знаток изящного. «Чихать я хотел на душу, которая исторгает такое»,— доносится чье-то глухое ворчание. Экспонируются «Бурлаки». На длинной бечеве они тянут за собой баржу. Мышцы напряжены, палит солнце. Веселые парни, здоровяки. В детстве их били до тех пор, пока они не научились тянуть баржу. Разговор двух бледных живописцев: «Ну и ахинею же пишет этот Лайош Надь. В

искусстве он совершенный профан». Экспонируется портрет его превосходительства статского советника Исидора Шварца в широкой золоченой раме, стиль — «кост-вас-кост». Не экспонируется вопрос, начертанный над портретом огромными красными буквами: «А это разве искусство?» Экспонируется сизый локоть голодающего художника, проглядывающий сквозь рукав пиджака. Этнографический музей, открыт с 9.00 до 14.30. Экспонируется третий верхний зуб старухи-негритянки. Два камешка. Один ивовый прутик. Стеклянный глаз. Семнадцать глиняных горшков. Панцирь черепахи. Телеграфный столб. Дубина. Слоновий бивень из дерева (кость кто-то прикарманил). Трубка мира, томагавк, вигвам, скальп, стрижка «под мальчика», пляжник с острова Маргит, стеклярус, гвозди для забивания гробов, кнут, пуля дум-дум. Миссионеры в ассортименте. Комната Гёте (Академия наук), 10.00—12.00. Славный был человек, много всего понаписал, однако опасности это уже не представляет. Постоянно действующая выставка мебели в Промышленном павильоне, 9.00—18.00. Экспонируется сосновый топчан, посередине — сучок красного дерева, который давит лежащему на позвоночник (золотая медаль Всемирной выст-ки в Париже). Музей «Аквинк» [1], 9.00—14.00 и 15.00—18.00. Он и при римлянах-то был никудышный, теперь и подавно.

Библиотеки, открытые для посещения. Столичная публичная библиотека (ул. графа Каройи, 8), 9.00—19.00. «*Надгробная речь*», «*Иллюстрированная хроника*», «*Кёнигсбергский фрагмент*» [2]. Послеобеденные благодарственные молитвы. Университетская библиотека (пл. Францисканцев). Собрание памфлетов Деже Сабо [3] в переплете из еврейской кожи, новеллы, его же, в переплете из швабской кожи, романы — в словацкой коже, газетные статьи — в плевках. Библиотека слепцов (ул. Ида, 5). Собрание сочинений современных венгерских авторов.

Выставка Женского союза, с 10 утра до 7 вечера. Экспонаты руками не трогать. Постоянное хоровое сопровождение. Припев: «За денежки, за денежки, не думай, не за так».

Я встаю в 11 час. утра. С неохотой. Признаюсь, какое-то время меня искушает мысль поспать еще немного, переждать во сне, пока минует хотя бы несколько лет. Однако вставать все же приходится. Спускаюсь на улицу. Солнечный октябрьский день. С ревом мчатся автомобили. И люди мчатся, только без рева. Они не плетутся, а именно мчатся. Те, что плетутся, уже спозаранку уплелись на работу. Здесь же, на улице Кирай, в одиннадцать часов все люди куда-то мчатся. Они симулируют спешку. Мчатся молча, оскалившись. Симулируют улыбку. Все они упорно надеются. Каждый в отдельности надеется на то, что все остальные потерпят крах. Ведь стерлядь хороша лишь тогда, когда все остальные — да и то не досыта — питаются прогорклой кашей, мрачно поглядывая при этом на стерляжинку. Стерлядку приятно вкушать у окна или на террасе ресторана, с татарским соусом, в окружении алчущих глаз, урчащих желудков и замирающих сердец. «Любовь должна существовать только для меня, а все остальные пускай изнывают от тоски». Все эти истории, которые происходят с другими, возмутительны с точки зрения морали, они просто вопиют о полицейском разбирательстве. Если каждый будет мчаться в автомобиле, то наслаждение превратится в обыкновенное передвижение. Упоительная езда будет низведена до какого-то бессознательного акта, вроде дыхания. Да здравствуют поэты, воспитанники Фрима [4], и профессора! «Прекрасно. Спасибо». «Sehr gut. Danke, danke».

[1] Аквинк — древнеримское поселение, развалины которого раскопаны неподалеку от Будапешта. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Памятники древневенгерской письменности.

[3] Деже Сабо (1879—1945) — венгерский писатель, известный своими националистическими взглядами.

[4] Якаб Фрим (1852—1919) — врач и педагог, основатель первой венгерской школы для умственно неполноценных детей.

«Английская почтовая бумага отличной выделки». «Боже, какое несчастье. Вайс был уже почти под трамваем и все же остался жив». «Подайте бедному слепому на пропитание». «Но-о-о-вости дня-а, но-о-вости дня-а... Неслыханное убийство на улице Кёфараго. Янош Палинкаш истребил всю семью, целых семь человек». «Дайте «Новости дня». «Эй, скорее мне «Новости дня»! Это надо прочесть. Пошевеливайся, не то я умру от любопытства». Какой-то крестьянин с огромным узлом за плечами тащится по Большому кольцу в сторону Западного вокзала. «Скажите, пожалуйста, где тут Западный вокзал?» — «Туда»,— указывают ему в направлении проспекта Ракоци. Крестьянин с огромным узлом за плечами поворачивается и идет обратно. Человек, показавший ему дорогу, потирает ладони.

«Официант, что за свинство, вы принесли мне темное пиво, хотя я заказывал полутемное». «Официант, что за наглость, вы принесли мне рогалик, хотя я заказывал булочку». «Официант, что за хамство, вы принесли мне абрикосовый джем, а мне хотелось клубничного». Да, в старые мирные времена дела в этом кафе шли значительно лучше. Теперь же, во времена разбойные, они идут уж совсем не так. В зале на восемьсот человек завтракает жалкая кучка посетителей: подпольный гинеколог, шулер, владелец дома свиданий, трое картежников, три проститутки, держатель банка, барышник, банкрот и продажный газетчик. «Нет, нынче трудом не проживешь». «Честным путем денег не заработаешь». «А разве когда-нибудь их можно было заработать?» «Кто не мошенник — тот дурак, скажу я вам». «Вы что же думаете, я не мошенничал бы? Только скажите мне, кого и как мне обжулить? Как тут обманешь, когда все сплошь обманщики? Нынче уж и смошенничать-то нельзя — вот до чего докатились». «Может, еще доживем, что порядочность станет выгодной сделкой». «Тсс, еще накаркаете, чего доброго». «А как же, обязательно доживем»,— вмешиваюсь тут я. Все изумленно смолкают. «Ist er meschugge?» [1]

На улице встречаю знакомую женщину. 12 час. 5 мин. В течение недели она была моей возлюбленной. Самое яркое воспоминание о ней — уж очень, очень ее поражала мизерность писательских гонораров. Тех, что выплачивали мне журналы. Потом явился человек с искусственным носом и увел ее. У человека с искусственным носом две чулочные фабрики, но всего восемь зубов и десять почерневших корешков. «Поверьте, я так несчастлива»,— жалобно воркует она. Я смеюсь ей в лицо и иду дальше. 12 час. 6 мин.

Моросит дождь. 5 час. вечера. Не спеша прогуливаюсь по улице. Беречь от дождя мне нечего. Разглядываю витрины. Кондитерская. В детстве это самоистязание было моим постоянным занятием: я гулял по улице и разглядывал витрины. До умопомрачения таращился на печенье, финики и особенно на рахат-лукум. Потом я мечтал о винограде, потом о красивых женщинах. Когда я впервые на 30 филлеров купил себе рахат-лукума, мне было двадцать лет. Сейчас, 19 октября 1927 года, в среду, в половине шестого вечера, я гляжу на финики и рахат-лукум, на разные колечки и картошку, на свистульки и отруби для поросят — и мне почти что все равно. Я, конечно, не хочу сказать, что плевать мне на рахат-лукум. И на женщин тоже. Только теперь мне почти что все равно.

Кто-то останавливается передо мной. «Добрый вечер».— «Добрый вечер».— «Вы промокнете».— «Ничего».— «У вас обтрепалась рубашка».—«Ничего».—«Вам куда? Могу подвезти вас на авто».—«Спасибо, я хожу пешком».

Заголовки из дневных газет. «Брачный аферист готов вести под венец ту, что на него донесла!» Ниже: «Инфляция за рубежом: Амстердам 299, 625—230,325».

---

[1] Он что, чокнутый? *(нем.).*

Марс встает в 7 час. 2 мин. вечера. Ужинаю в 7 час. 45 мин. Ужинаю как следует. Я не голодаю, можете не радоваться. Питаться мне необходимо, нужны силы. Не ужинать с моей стороны было бы буржуазным декадентством. Деструкцией в подлинном смысле слова. С 8 вечера до 1 часу ночи я пишу. Можете прочесть потом все это в газетах. Читаю лежа в постели. Это ничего, что я одинок. По крайней мере хоть читаю. Много читаю. Нет, не годится эта Фрейдова теория стадного инстинкта, не годится ни к черту. Читаю книгу Энгельса о происхождении семьи, частной собственности и государства. А та Фрейдова идея как основа социологической концепции — чистейший буржуазный блеф, попытка выдать желаемое за действительное: всегда, дескать, так было и — главное — иначе и быть не может. Наконец решаю немного развлечься и беру в руки буржуазный журнал. *«Нюгат»*. Принимаюсь читать новеллу. «Мой приятель охотился в ту пору за юбкой...» Гениально! Писатель, верно, и сам не догадывается, как умно он начал. Дальше, конечно, он все испортил. Но я беру с ночного столика карандаш и на полях продолжаю фразу: «...Он промазал уже по пяти юбкам, и тут вдруг выпорхнула шестая, мой приятель выхватил бумажник, взял юбку на мушку и ассигнацией достоинством в сто довоенных крон, точно направленной в самое сердце, сразил ее; она тут же рухнула на диван».

5 час. утра. Гашу свет. Закуриваю сигарету. Жду. Я спокоен. На улице ревут автомобили. «Мужчина высшего сорта» мчит домой из ночного кабаре. Визжит пьяная женщина. Я уже почти сплю. Теперь я слаб и беспомощен. Теперь я слаб и беспомощен, не дай бог и другим оказаться в таком положении. Сознаюсь, очень больно быть сейчас одному. Одному, без женщины, без детей. Ощущаешь себя обкраденным, да-да — ограбленным. Ведь та женщина, что визжала на улице — останься она человеком,— может, стала бы моей суженой. Не знаю, чувствую лишь, как пронизывает меня сейчас боль, и... Будьте стойкими, люди, чтобы никому из вас не оказаться в моем положении. Мне же нужно еще выбраться из ямы, в которую загнали меня удары судьбы. Я уже почти сплю, потом вдруг пробуждаюсь — мне вспомнился один человек, который сказал, будто «ситуация» уже выправляется. Глупый он человек, а может быть, испугать хотел. Но я не такой уж пугливый. Нет! Я-то знаю, что «ситуация» остается прежней.

Рабочий встает в 6 час. 5 мин. Солнце встает в 6 час. 24 мин. Я изнурен, засыпаю.

1927

Война

Это вселенское светопреставление, когда человечество потеряло сто миллионов жизней, когда города обращались в пепел, когда доблестные нации в ярости обрушивались на другие, не менее доблестные нации, когда раса шла на расу, сословие на сословие и даже привратники — в какие-то моменты — не на живот, а на смерть бились с жильцами, а жильцы с привратниками; когда огромный и хитроумный механизм управления производством сначала застопорился, а потом развалился на части, словом, вся эта мясорубка, эта героическая эпоха, эра деяний, всемирная виттова пляска, этот ад, катаклизм, этот Untergang des Abendlandes[1], этот необходимый переход к счастливым временам, обернувшийся неизбежным провалом в очередную и опять-таки несчастную эпоху, все это началось так.

В «Затрапезье», как прозывался летний ресторанчик, сидели, утопая в пивной вони и табачном чаду, я и мой приятель Балтасеги. Сидели мы, конечно, не на террасе, не под открытым небом, где цыган

[1] Закат Европы *(нем.)*.

в усладу публике извлекал из скрипки душещипательные мелодии, где конторщик пятым стаканом вина, наполовину с содовой, пытался смыть тяжкое оскорбление, понесенное утром от начальника, и где очаровательные дамочки с великодушием фей одаривали своих кавалеров несколькими ягодками черешни из оплаченного теми большого блюда,— нет, мы сидели не здесь, а внутри, в душном зале за кружкой пива.

Кроме нас в этом зале, звучно чавкая и болтая вздор, находились еще несколько субъектов. И вот сидим мы себе, посиживаем, и вдруг в голову мне приходит, что у меня ведь к Балтасеги есть один разговор. Но эти канальи у нас под боком так разорались, что я и себя едва слышал. Изобразив на лице отвращение, делаю я Балтасеги знак: перейдем, мол, в соседний зал, там как раз никого. Подхватили мы пустые кружки и отправились туда.

— Послушай-ка, Балтасеги!— говорю я, когда мы уселись.

Но тут до нас из третьего, самого дальнего зала долетают обрывки речи. Мы аж рты открыли от изумления.

— Тсс! — говорю я.

И мы, подобравшись поближе к двери, слушаем, стараясь не пропустить ни слова.

Чтобы не мучить вас, скажу сразу: там совещались стервятники! Сейчас-то мы знаем, что именно они затеяли все это... как бы сказать... светопреставление, эту героическую эпоху, ристалище славных деяний, ад, катаклизм и прочая. А в то время, понятно, никто ни о чем не подозревал, люди обо всем этом светопреставлении и прочая и прочая и думать не думали, почитывали фельетоны и, обнаружив в них хоть жалкую каплю фантазии, провозглашали их гениальными; вот и я говорю: сидела публика на террасе, потягивала пиво и наслаждалась слезливыми мелодиями, между тем как в рабочих предместьях женщины с привычным, тупым отчаянием сгоняли со своих хилых ребятишек клопов, в деревне же, среди шумящих золотыми колосьями тучных венгерских нив, безземельный крестьянин ломал себе зубы об окаменелую горбушку мякинного хлеба — одним словом, всюду царил благословенный мир.

Мы с Балтасеги, затаив дыхание, слушали, как совещаются стервятники. Судя по разговору, отчетливо доносившемуся из-за двери, план вселенской бойни был у них, в сущности, готов и мина под мироздание подведена. На нас обрушивались все новые подробности, одна другой страшнее. Мы уже знали, что не сегодня завтра начнется светопреставление, сущий ад, катаклизм — и все на наши бедные головы.

Перво-наперво динамитом взорвут Париж. Шесть других городов обольют смолой и подожгут. На морской простор выйдут тысячи дредноутов и откроют пальбу друг по дружке, а тем временем подводные лодки поодиночке будут пускать их ко дну. Тысячи дирижаблей поднимутся выше облаков и начнут обстреливать землю, а экстренно мобилизованные, так называемые оборонные части примутся стрелять в небо. Все примутся стрелять, взрывать, колоть, рубить, жечь, штурмовать, отравлять, сажать на кол. Колодцы Китая заразят чумой. Нью-Йорк предадут огню. В Японии вызовут искусственное землетрясение. Остров Борнео потопят. Откроют кратер Этны. И далее в том же духе, вплоть до окончательной победы! Это будет грандиозно! Величественно! Самое же забавное, что все это представление будет нашпиговано гениальнейшими выдумками. К примеру, вдруг ни с того ни с сего объявят, что мужчины с козлиными бородками, все до единого подлежат смертной казни. Или: определенный контингент вредителей, как-то: вшей, блох и прочих разносчиков социальной заразы, доставят в Черную рощу и, пригвоздив поодиночке к деревьям, зальют всю рощу несметным количеством ртутной мази, свезенной отовсюду в цистернах. С другой категорией вредителей разделаются

иначе: жертву заставят вскарабкиваться по лестнице, приставленной к огромной стене, тем временем при помощи электрического устройства приведут в действие железного исполина, который с яростным шипением раздавит гигантским ногтем ползущего по стене злодея. А то еще просто возьмут и вздернут всех, чьи фамилии на букву «В», на виселицу. Всех до единого! Эта идея, в виде дополнения к плану, была выдвинута и принята в последнюю минуту. Кто-то предложил повесить еще и лиц с фамилиями, начинающимися на «Б». Услышав это, приятель мой, Балтасеги, задрожал.

Насчет этого предложения долго спорили. Чей-то голос — определенно знакомый, но чей, мы так и не установили — с громким хохотом заметил:

— Эх, жаль, не слышит нас сейчас этот кретин Балтасеги! То-то перетрухнул бы!

Стервятники покатились со смеху, но предложение отклонили. Затем, сладострастно смакуемые, посыпались новые ужасы. Они еще и сегодня кажутся невероятными, хотя с тех пор все было пережито нами наяву. (Не всеми, разумеется: бедолаге Балтасеги, к примеру, суждено было пасть геройской смертью.) В центре Сахары будет вырыта шахта и заполнена тротилом, говорил кто-то бесцветным, монотонным голосом, мосты на реках разрубят надвое, пустыню Гоби затопят и так далее, и тому подобное.

И мы с Балтасеги все это слышали, мы заранее знали все, что будет, но сделать уже ничего было нельзя. Мы переглянулись. Меня колотил озноб — не стыжусь в этом признаться. Приятель мой, Балтасеги, был бледен, как наброшенная на палку простыня, сиречь привидение. Как и меня, его колотила дрожь, губы его тряслись, а помутившиеся глаза смотрели в разные стороны.

Некоторое время мы, лишенные дара речи, лишь ошалело таращились друг на друга. Наконец я собрался с духом и, запинаясь, проговорил:

— Слы-лы-лыхал?

— Слышал!— ответил он сдавленным от ужаса голосом.

— Ка-ка-кая жуть!— пролепетал я.

— Невероятно!— ответил он, и рука его сжалась в кулак. И тут его будто прорвало.

— Невер-р-роятно! Неслых-х-ханно! — вопил он.— Какой кошмар-р-р! Нет, я это так не оставлю! Уж я дознаюсь, чего бы мне этого ни стоило, какой мерзавец посмел обозвать меня кретином!

1923

Перевод В. СЕРЕДЫ

Найденная ассигнация

Господин Секей бодро спрыгнул с подножки дачного поезда и, отряхнув на себе пыльник, зашагал к деревне. Его обступили босоногие ребятишки.

— Дяденька, поднести не надо чего? — спросил самый бойкий.

— Ничего нету, детки,— дружелюбно ответил господин Секей и потрепал бойкого мальчугана по вихрам.

Стоял конец августа, но солнце палило вовсю. Господин Секей и в самую жару ходил в пыльнике: так спокойней было за набитый деньгами бумажник. На колокольне зазвонили полдень, когда он увидел на дороге жену. Она спешила ему навстречу. Супруги расцеловались.

— Как хорошо, что ты наконец здесь! — вздохнула жена.

— Соскучилась?

— Ах, не в этом дело. Мне так надоела эта деревня. Бескультурье кругом. Скорей бы домой, в город.

— Сегодня вечером будешь дома. В шесть сядем в поезд, в девять мы уже в Пеште.

— Нет, нет. Поедем лучше на пароходе. Я так люблю ночью плыть по Дунаю. Сидишь на палубе, смотришь вокруг...

— Хорошо, поедем на пароходе. Только вещи вот...

— Вещей немного у нас. Наймем кого-нибудь за несколько пенге, пускай отвезут наши два чемодана в Семеш, на пристань.

За несколько пенге!.. Господину Секею даже не по себе стало. Несколько — это ведь чуть ли не десять. А билет до Пешта в каюте первого класса стоит всего восемь пенге. Несколько! Это не жена, а наказание какое-то. Дай ей волю — она станет деньгами сорить направо-налево.

Они неторопливо шли к деревне рука об руку.

Господина Секея ждал обед: суп, жареная утка, блинчики, фрукты. Обед приготовила Юлиш, служанка. За едой супруги беседовали. В городе особых новостей нет. Дела у господина Секея идут хорошо.

— Значит, нанять придется повозку,— заметил господин Секей.— Вещей, я вижу, наберется немало.

— Какие там вещи! Два чемодана, две сумки да, может, еще сверток какой-нибудь.

— Лично я ничего тащить не собираюсь.

— Юлиш сейчас сбегает к Працки. Парень у них взялся бы отвезти, я с ним вчера вечером говорила.

После обеда супруги прилегли отдохнуть. Юлиш перемыла посуду, потом пошла к Працки.

— Не поедут они,— объявила она, вернувшись.

— Как так не поедут? — вскочил господин Секей.

— Не поедут,— повторила Юлиш, с трудом удерживаясь, чтобы не рассмеяться.

— Эти мужики совсем обнаглели,— негодовала жена.— Никакой управы на них нет. Просто неслыханно.

— Надо кого-то другого найти! — распорядился господин Секей.

На поиски отправилась сама барыня, захватив и мужа с собой. Она и Юлиш послала еще в два-три места. Но крестьяне работали в поле, а с теми, кто был дома, не удалось сговориться: у одного захромала лошадь, другой уже нанялся на вечер кого-то отвезти...

— Я тут даже на ночь не останусь, с меня довольно,— заявила жена.— Наймем человека, пускай отнесет чемоданы. А сами и пешком доберемся.

— Лично я ничего тащить не собираюсь! — еще раз предупредил господин Секей.

— Юлиш нам тоже поможет. А уж одну сумку...

— Я не потащу ничего!

Когда супруги вернулись, у дверей их уже ждала Юлиш, а с ней — Бодор, узкоплечий мужичонка со впалой чахоточной грудью. Раньше он был батраком на хуторе, а этой весной вот перебрался в деревню и ютился на околице, на чьих-то задворках, ходил на поденщину, соглашался на любую работу. Уж очень он был худой и слабый — кому он на хуторе такой нужен?

— А чемоданы-то ты нести сможешь? — недоверчиво спросил господин Секей.

Бодор только кивнул в ответ. И пошел в дом посмотреть на багаж.

— К половине восьмого будь здесь,— сказал ему господин Секей.— А сколько ты за это возьмешь?

Бодор посмотрел на чемоданы, потом на господина Секея — равнодушно пожал плечами.

— Дам тебе два пенге.

Бодор подумал и на всякий случай сказал:

— Три!

— Это много. Всего-то полчаса туда да полчаса обратно. Хватит двух пенге.

Бодор потоптался, но спорить не стал. Выйдя во двор, он побрел к забору, сел на обрубок бревна и сидел там до половины восьмого.

Супруги пока что расплатились со всеми: с соседями за продукты, с сапожником за починку туфель, с Юлиш за службу. Было двадцать восьмое августа, и господин Секей, поколебавшись, сказал:

— Оставшиеся три дня я, так и быть, тебе тоже оплачиваю.

И удивился, что Юлиш не кинулась целовать ему руку. Продолжая разговор, он сказал жене:

— Если завтра сделка выгорит, заработаю целую тыщу. Можешь тогда покупать хоть сотню гусей.

В половине восьмого все двинулись в путь. Господин Секей не собирался тащить ничего, но ему-таки достался бумажный сверток. Тощий Бодор никак не мог оторвать от земли два связанных чемодана. Господин Секей легко поднял чемоданы и взвалил груз на плечи Бодора, тот зашатался и чуть не рухнул. Юлиш тащила сумки и еще один сверток; барыня тоже что-то несла.

Они приближались к Семешу; солнце ушло за горизонт, все кругом залили сумерки. Бодора все больше и больше клонило под тяжестью чемоданов к земле.

— Тяжело? — сочувственно спросил его господин Секей.

Бодор, согнувшись, молча шагал вперед. Вдруг он остановился. Рука его потянулась куда-то в траву, но огромный чемодан, свисавший с плеча, мешал ему. Господин Секей в мгновение ока очутился рядом.

— Оставь, старина! Я подниму.

У самой дороги, в пыльном бурьяне, валялась сложенная ассигнация — двадцать пенге. Должно быть, ее обронил кто-нибудь из торопящихся в Семеш, на пристань. Может, это были чьи-то последние деньги.

Господин Секей проворно нагнулся, схватил ассигнацию и сунул ее в карман.

— И ты заметил? — весело спросил он у тощего Бодора.— Какие мы с тобой оба зоркие, а?

Бодор немного постоял со своим грузом, словно раздумывая о чем-то, потом двинулся дальше.

— Пошли, пошли. А то еще опоздаем.

Бодор шел, не говоря ни слова. О чем он думал в эти минуты, один бог знает.

Они подошли к пристани. Было еще рано. В сумерках чернели группки людей, ожидающих парохода. Беднота держалась тесной кучкой. Поодаль от них белели три-четыре пиджака — пассажиры первого класса.

Господин Секей помог Бодору снять чемоданы. Бодор стоял и ждал. Господин Секей пошел в кассу. За билеты он заплатил найденной ассигнацией. Получив сдачу, четыре пенге, он вернулся и громко, чтобы слышал и Бодор, сказал жене:

— Бесполезно и спрашивать здесь, кто потерял деньги. Или все промолчат, или сразу десятеро объявятся.

— Да уж точно. Теперь хозяина не найдешь,— согласилась с ним барыня.

Тощий Бодор вытащил из кармана глиняную трубку, набил ее, закурил и, затянувшись два раза, смачно плюнул.

Вскоре над темной рекой возник желтый глаз — фонарь на мачте подходившего парохода — и как будто повис, не двигаясь, в воздухе.

— Надо это все поднести к мосткам! — распорядился господин Секей.

Бодор с Юлиш поволокли чемоданы и сумки. Господин Секей

подошел к Бодору расплатиться. Он протянул ему два пенге, как условились. Потом сунул руку в карман и вынул еще два пенге.

— Вот, бери, старина. Ты ведь *тоже* заметил ту *десятку*, которую *я нашел*. Это — твоя доля. Выпей стаканчик вина.

Бодор поколебался, но взял два пенге. Он молча глядел на господина Секея, не зная, что сказать. Он был поденщиком, соглашался на любую работу, сорок лет он батрачил на хуторе и лишь этой весной поселился в деревне.

1935

В театре

Ленаи — довольно известный писатель, у него вышли уже три или четыре книжки, одну его пьесу поставили на сцене, и спектакль пользовался успехом. Ленаи часто бывает в театре: драматургу без знания сцены нельзя. Обычно директор оставляет для него у своей секретарши билет в ложу, а то и всю ложу, четыре места, отдает в распоряжение Ленаи. В таких случаях писатель берет с собой на спектакль жену и кого-нибудь из знакомых, кто заслуживает такой чести. Однажды вот так же оказались у него билеты на «Гамлета», да тут, как на грех, назначено было какое-то важное совещание, и по всему выходило, что в театр ему не попасть. И жена к тому же неважно себя чувствовала, ей так и так пришлось бы дома остаться.

— Что с билетами делать? — спросил жену Ленаи.— Вернуть, что ли?.. Только как? Я в театр зайти уже не успею.

— Ты свою мамашу отправь на спектакль,— решила жена.— Она и так жалуется, что мы никуда ее с собой не берем.

— Мама же глухая совсем,— ответил Ленаи,— не поймет там ничего.

— Полно, глухая! Мамаша глухая там, где ей надо. Чего ей не хочется слышать, то она и не слышит. А спектакль она поймет, не волнуйся. Наверняка ведь прежде смотрела. Или читала.

Ленаи все еще колебался.

— А кто с ней пойдет? Нельзя же восьмидесятилетнюю женщину послать в театр совсем одну.

— Это я и сама понимаю,— ответила жена.— Ничего, найдется кто-нибудь в ее доме, кто с удовольствием сходит с ней в театр. Скажем, дворничиха.

Ленаи отправился к матери. Та жила недалеко, на третьем этаже многоквартирного дома. Мать сама готовила себе, сама убирала свою однокомнатную квартиру. Маленькая, сухонькая, она еще почти без труда поднималась по лестницам, так что и в лавку спокойно сама ходила; кое в чем помогала ей дворничиха.

Дворничиха каждый день заглядывала к старухе, спрашивала про самочувствие, иногда спускалась с ней в подвал за дровами и углем, порой и на рынок с ней ходила, если надо было тащить тяжелое — скажем, целую сетку картошки или помидоров. За все это старуха давала дворничихе какую-нибудь мелочишку — по понятиям ее молодости, и пятьдесят филлеров были деньги. Вручала она эти деньги как большую милость, а когда дворничиха уходила, долго ворчала, ругая «эту ленивую растяпу»; старухе все казалось, что дворничиха денег взяла слишком много, а сделать, можно сказать, совсем ничего и не сделала,— и вообще перестала о ней заботиться. Иногда она и в глаза принималась корить дворничиху:

— А-а, наконец-то явилась, красавица. На дворе полдень, а ты только-только вспомнила про меня. Я умру тут одна в этой клетке, а тебе хоть бы что.

Дворничиха, крепко сбитая, румяная, веселая женщина, такие речи близко к сердцу не принимала и только смеялась в ответ:

— Что это вы умирать вздумали? Вы еще двадцать лет проживете. А я к вам каждый день прихожу, иной день даже два раза. Очень уж просил меня об этом товарищ Ленаи.

Старуха промолчала, хотя слово «просил» ее покоробило. Могла бы дворничиха и по-другому сказать: дескать, не просил, а велел. Она знать не знала — а дворничиха благоразумно об этом помалкивала,— что товарищ Ленаи обещал еще и «поблагодарить» особо за заботу о его матери.

Как раз в тот же день, когда Ленаи собрался отдать матери билеты в театр, старуха жаловалась дворничихе:

— Вот до чего дожить довелось. В восемьдесят один год все самой приходится делать. Даже окно сама мою. И печь растапливаю сама, а дрова такие сырые, целый час с ними мучаешься, пока разгорятся. И прислугу нанять не могу. Не балуют меня мои дети, ох, не балуют.

Дворничиха опять засмеялась:

— Не прибедняйтесь, не прибедняйтесь, барыня: вам всего восемьдесят, а не восемьдесят один...

Старуха сердито перебила ее:

— А ты не умничай, милая. Мне через два месяца восемьдесят один будет.

«Если, барыня, доживете»,— подумала про себя дворничиха. Она даже мысленно величала старую Ленаи барыней: та другого обращения не признавала. Так полагалось в прежние времена — стариков ведь не переделаешь. Муж дворничихи, Ношлопи, который на заводе работает, у станка, сразу после Освобождения попробовал было называть старуху тетей Ленаи, но та на него раскричалась, затряслась, ногами затопала. «Как ты смеешь меня тетей называть? Ишь, племянник какой выискался! Вы видели? Нет, милый мой, пока я жива, я тебе тетей не буду!» Ношлопи, бедный, побагровел весь — такая его злость взяла. Но что поделаешь, не драться же со старушкой? Он — косая сажень в плечах, а она — маленькая, сморщенная, прямо божий одуванчик. Хлопнул Ношлопи дверью в сердцах и ушел. А жене строго-настрого наказал, чтобы не ходила больше к старухе. Да только та не послушала мужа. Жаль ей было барыню, не могла она даже и рассердиться на нее как следует, подумала только про себя: «Вот ведь старая дура!»

А теперь, когда старуха принялась жаловаться, что прислугу не может держать, захотелось дворничихе подразнить ее немного.

— Нынче ведь прислуги нет, только домработницы.

Но старуха, к ее удивлению, не рассердилась, а спокойно ответила:

— Домработницы так домработницы. Не все ли равно?

Дворничиха, прекрасно понимая, как к ней относится старая барыня, еще и добавила:

— Я вот тоже теперь — не дворничиха, а инспектор по дому. Иные теперь и чины, и названия.

Тут уж старуха не выдержала, вскипела:

— А я теперь, стало быть, тетя? Тетя Ленаи? Ступай-ка отсюда, милая, пока у меня терпение не лопнуло...

Дворничиха расхохоталась и направилась к двери. А выходя, обернулась и на прощанье сказала:

— Свобода![1]

На «свободу» старуха ничего не ответила, только крикнула вдогонку:

— Чуть не забыла, вечером мне дрова привезут. Так что, милая, будь добра...

Дворничиха ответила:

— Ладно, ладно. Я дома буду, помогу.

[1] Партийное приветствие, принятое в Венгрии в первые годы после Освобождения.

На том и расстались. Вечером привезли дрова, грузчики перетаскали их в подвал. Складывать, конечно, не стали, просто побросали поверх оставшегося с зимы угля. Напрасно пыталась старуха распоряжаться, чтоб в поленницу их сложили и вообще сделали все как полагается.

— Некогда нам,— ответил один из грузчиков.

Старуха принялась было кричать:

— Неужели так оставите? Стыд и позор!

Грузчики и ухом не повели. Тогда дворничиха вмешалась:

— Да пускай их. Сложу я вам завтра эти дрова.

Грузчики удалились. Барыня только головой трясла от возмущения.

— Негодяи какие! Ну что ты скажешь на это, а?

— Торопятся. Дел у них много.

Тут и появился Ленаи, старухин сын.

— Я спешу, мамочка,— сразу заявил он.— Принес вам билет в ложу. Хотите в театр сходить?

Еще бы ей не хотеть. Но куда, в какой театр, на какой спектакль?

Когда на все вопросы ответы были получены, ее охватила тревога.

— Как же я без вас пойду? Мне такую дорогу не осилить. Один трамвай чего стоит!

— Вы не одна пойдете,— спокойно сказал Ленаи.— Возьмите с собой кого-нибудь. Целая ложа в вашем распоряжении!

И он вопрошающе посмотрел на дворничиху.

Старуха тоже взглянула на нее — и спросила:

— Ты меня проводишь, милая?

— Провожу. Почему не проводить?

— А потом придешь за мной?

— Она тоже в театр пойдет,— вмешался Ленаи.— Вот билеты, вся ложа ваша, места хватит. Еще завидовать будут те, кто внизу, в тесноте сидят.

У старухи даже голова затряслась.

— Как, она пойдет со мной в театр?

— Разумеется.

— Ой, я так давно не была в театре,— радовалась дворничиха.— С тех пор еще, когда Нослопи за мной ухаживал...

— Ну вот и славно,— закончил Ленаи разговор.— Не опоздайте смотрите, ровно в шесть будьте там. В шесть! Потому что спектакль длинный.

— Ничего, пускай хоть до утра идет,— засмеялась дворничиха.

— А я убегаю. Целую, мамочка. До свидания, тетя Нослопи.

И Ленаи удалился.

Тогда старуха сказала дворничихе:

— Я поднимусь к себе переодеться. А ты попозже за мной приходи, поможешь немного, посмотришь, все ли в порядке.

Дворничиха тоже приоделась как могла и поспешила наверх. Старуха придирчиво оглядела ее: как-никак вместе будут в ложе сидеть, надо, чтоб та выглядела прилично. Платье на дворничихе было, конечно, слишком цветастым, сразу можно было заметить, что она не из господ; да и большие, натруженные руки выдавали ее. «Н-да...»— подумала старуха; но особенно раздумывать было некогда. Она заставила дворничиху осмотреть себя, даже повертелась перед ней: хорошо ли сидит черное платье, нет ли каких изъянов.

И они отправились в путь. До остановки было неблизко, да и там еще пришлось постоять, подождать трамвая. Дворничиха помогла старой забраться в вагон. Приехали они как раз вовремя. Сели в ложе; старуха с гордостью огляделась вокруг. Она ловила на себе чужие взгляды и была уверена: люди смотрят на нее с почтительной завис-

тью. «В ложе сидит... Интересно, кто это?»— словно читала она в обращенных к ней лицах.

Спектакль начался. Барыня и дворничиха молча сидели рядом друг с другом. Правда, в первые минуты дворничиха, показав на какую-то некрасивую женщину с приплюснутым носом, попробовала что-то сказать, но старуха не ответила ей. Еще, чего доброго, люди подумают, что они с дворничихой подруги.

Во время спектакля вовсе было не до разговоров. Лишь раз дворничиха тихонько воскликнула, когда тень отца Гамлета появилась на сцене в блестящих латах, со шпагой в руке:

— Ой, как здорово!

Старуха упорно молчала. Она понимала почти все, что происходило на сцене. Многого, правда, она не могла расслышать, но все равно догадывалась, что к чему. Когда Гамлет закончил свой знаменитый монолог, она все же обернулась к дворничихе и спросила:

— Тебе это понятно, милая?

Но, как все глуховатые, спросила так громко, что дворничиха смутилась и рассердилась — и теперь уже она не ответила.

Закончился третий акт. Они и в антракте молчали. Старуха в ложе была похожа на мумию. Лишь высохшая ее голова да узкие плечи виднелись над барьером. Дворничиха же словно расцвела вся, сидела большая, пышноволосая, пышногрудая, щеки ее так и пылали. Старуха поглядывала на нее искоса, с раздражением и думала: «Дворничиха — она и есть дворничиха». Раздражение ее перекинулось и на сына с невесткой: «Почему они с собой меня не берут? Почему я должна сидеть в ложе с этой мужичкой? Не дай бог кто-нибудь из знакомых увидит».

И после того, как прозвенел звонок и публика села на свои места, а потом, в полной тишине, ждала, когда поднимется огромный занавес, старуха, которая уже не могла больше сдерживаться, сказала — опять, конечно, слишком громко:

— Так ты уж, пожалуйста, не забудь, сложи завтра утром дрова в подвале!

1953

Перевод Ю. ГУСЕВА

■

Критика

Е. РЯУЗОВА

«РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ТОМ И СОСТОИТ, ЧТОБЫ СТАВИТЬ ПРОБЛЕМЫ»

Заметки об ангольской литературе последних лет

В 1980 году вышел в свет роман ангольского писателя Пепетелы «Майомбе». Автор его, Артур Пестана, избравший литературный псевдоним Пепетела, еще до появления книги завоевал известность как в писательских, так и в общественно-политических кругах Анголы. Борец против колониализма, вице-министр образования после провозглашения независимости, он издал две повести — «Приключения Нгунги» (1973)[1] и «Маска Мвана Пуо» (1978), две пьесы — небольшой скетч на злободневные политические темы «Канат» (1979) и драму из истории ангольского народа «Восстание в доме идолов» (1980).

Однако ни одно из этих произведений, хотя и получивших всеобщее признание («Приключения Нгунги», например, сделались настольной книгой юных ангольцев), не принесло писателю такого успеха, как «Майомбе». Первое издание романа разошлось в Луанде чуть ли не за неделю, и вскоре понадобилось второе — «карманное», предназначенное для массового читателя. Год спустя «Майомбе» была присуждена премия Союза ангольских писателей — до Пепетелы такой чести удостоился лишь Агостиньо Нето.

Роман Пепетелы был встречен с энтузиазмом не только в самой Анголе и других португалоязычных странах Африки, но и в Португалии, где с неизменным интересом следят за развитием молодых португалоязычных литератур Африки.

Чем же объяснить пристальное внимание к «Майомбе» со стороны читающей публики и критики? Скажем сразу: оно вызвано не столько литературными достоинствами книги, сколько тем, что это — произведение, характерное для нынешнего этапа литературного и — шире — культурного развития в Анголе, этапа, начало которому положила национально-освободительная революция. Появление «Майомбе» вместе с романами Мануэла Пакавиры, Мануэла дос Сантоса Лимы и повестями Жозе Луандино Виейры, Мануэла Руя Монтейро, Жозе де Фрейтаса позволяет говорить о формировании полнокровной, подлинно национальной, *собственно ангольской* литературы.

Само понятие «португалоязычные литературы Африки», более двадцати лет служившее, в противовес проколониалистскому термину «литературы заморских провинций Португалии», наиболее адекватным и емким их определением, в последнее время малопомалу уступает место более частным наименованиям: ангольская литература, мозамбикская литература, зеленомысская литература, то есть литературы *национальные*.

Современный этап общественно-политического и культурного развития в Анголе называют периодом «конструирования», или «реконструкции» нации. Перед ангольцами встали теперь новые проблемы, при колониальном господстве не возникавшие, прежде всего проблема утверждения «национальной личности». Народ словно впервые открывает для себя, что такое национальное и личностное самосознание, проникается настоятельной необходимостью укреплять в рамках своего государства общенациональное единство постепенно преобразуя «традиционные общества» в единую нацию Процесс становления независимого государства и его культуры чрезвычайно сложен и труден.

Ангольские писатели стремятся к общей цели — обновлению проблематики и средств ее художественного воплощения, ибо таково требование времени. «Новые времена, когда новое и старое противоборствуют в нозом контексте, когда в неумолимом процессе сталкиваются при построении социалистической родины образ мыслей, привычки, идеология, поведение, классы и индивидуальности, новые времена с их новыми темами требуют новых литературных форм. И здесь мы также должны четко определить свою позицию, не забывая о том, что читатель — тоже новый — обращается сейчас к новой литературе»,— говорил на Второй национальной встрече по вопросам культуры (1979) Агостиньо Нето. В этих словах — оценка важнейшей роли, какую призвана играть литература в развивающемся обществе, выбравшем социалистическую ориентацию.

Для повествовательной прозы Анголы вторая половина семидесятых—начало восьмидесятых годов ознаменовались многими если и не удивившими мир, то значительными для нее самой переменами: она выдвинулась в число наиболее оригинальных

[1] Пепетела. Приключения Нгунги. «Избранные произведения писателей Азии и Африки», т. 2. М., «Прогресс», 1978.

и развитых литератур португалоязычного региона. Проще всего было бы объяснить это тем, что большинство недавно опубликованных произведений было уже написано во время пребывания их авторов в тюрьмах или концентрационных лагерях либо в редкие часы досуга в партизанских отрядах и хранилось в рукописном виде; с середины же семидесятых годов у ангольцев появилась возможность издавать свои книги на родине и за рубежом.

Но в таком случае подобная творческая активность, пожалуй, не столь уж характерная для африканской литературы двух последних десятилетий, должна была бы неминуемо смениться спадом — ведь и «неиссякаемые» запасы рукописей рано или поздно должны иссякнуть. Но этого не произошло: прозаики и поэты Анголы не перестают писать, хотя все они — государственные служащие и им удается браться за перо только в выходные дни или урывая часы у сна, недаром они шутливо называют себя «воскресными писателями». Видимо, причины такого взрыва следует искать глубже — в преобразованиях, вызванных революцией. После провозглашения 11 ноября 1975 года независимости Анголы положение творческой интеллигенции в стране коренным образом изменилось. «Сейчас ангольские деятели культуры обладают как раз тем, чего им так не хватало прежде,— поддержкой со стороны политической власти»,— отмечает этнограф, историк и культуролог Энрике Абраншес в книге «Размышления о национальной культуре» (1981). Крупнейший писатель Анголы Ж. Луандино Виейра признается, что, подобно большинству ангольских интеллигентов, он почувствовал себя полностью реализованным как личность лишь после того, как его родина стала суверенным государством.

Всего месяц спустя после создания НРА, 10 декабря 1975 года, был организован Союз ангольских писателей, сразу же развернувший интенсивную деятельность. В 1979 году он издал двадцать шесть книг (ровно столько же, что и за три предшествующих года), пять книг из «Карманной библиотеки» и двенадцать «Тетрадей» — всего триста сорок три тысячи экземпляров. Важную роль в распространении литературы для взрослых и детей играет ИНАЛД (Ангольский институт книги и грамзаписи), постепенно завоевывающий приоритет в книгоиздательском деле. Теперь тиражи в три и шесть тысяч экземпляров расходятся в молодом государстве Африки в считанные недели. Причина тому — появление нового читателя, о котором идет речь в приведенном выше высказывании Агостиньо Нето и о котором писатели колонизированной Анголы не могли и мечтать. В самом деле, прежде их произведения читались в основном интеллигенцией Португалии и Анголы. Лишь после ликвидации колониализма у коренных ангольцев появилась наконец возможность широкого знакомства с отечественной культурой. Из запрещенной в собственной стране подпольной литературы, известной больше иностранцам, чем самим ее жителям, ангольская поэзия и художественная проза превратились в подлинное открытие для большинства населения.

Если прежде, в годы борьбы за освобождение, в литературе преобладало «обличение реакционеров и угнетателей, держащих в рабстве весь народ» (слова Агостиньо Нето), то теперь делается акцент на утверждении «национальной личности», становление которой началось еще в период борьбы против колониального угнетения.

Об этом начале и повествует роман Пепетелы «Майомбе», с упоминания о котором мы начали статью. Наряду с книгой М. дос Сантоса Лимы «Семена свободы» (1975) и первым национальным историческим романом М. Пакавиры «Нзинга Мбанди» (1975) «Майомбе» представляет один из немногих (пока!) образцов крупного повествовательного жанра.

Однако в «Семенах свободы» речь идет еще о колониальных временах. Внимание автора в первую очередь сосредоточено на контрасте, столкновении двух культур — европейской и африканской, антагонистических противоречиях между колонизаторами и колонизированными. Явно симпатизируя идеям негритюда (единение «негров из всех стран света»), М. дос Сантос Лима отражает образ мышления и восприятие реальности, свойственные «ассимилированному» африканцу. Писатель как бы стремится примирить не утратившего своих корней африканца с мыслью о неизбежности прогресса, который приведет в будущем к завоеванию независимости; правда, эта независимость трактуется в романе скорее как победа формирующейся национальной буржуазии. Основная авторская мысль — в том, что подвергшийся аккультурации африканец должен пройти некий очистительный ритуал — в этом и заключается смысл «африканизации» главного героя Рикардо. Именно в возвращении к африканским корням и истокам видится М. дос Сантосу Лиме возможность постепенного прозрения народа, роста его национального самосознания.

В «Нзинге Мбанди» рассказывается о событиях трехсотлетней давности — борьбе с португальскими конкистадорами в государстве Конго (XVII столетие), находившемся на территории нынешней Анголы. Книга основана на подлинных исторических фактах, но ориентирована на восприятие современного читателя. Мануэл Пакавира поставил целью доказать, что еще до колонизации государственное устройство, законы, судопроизводство, ремесла, прикладные искусства достигли в Анголе высокого уровня, и тем самым разрушить десятилетиями насаждавшийся в колониальной литературе стереотип африканца — ленивого, малоразвитого, полудикого существа, не обладающего трудовыми навыками и культурными традициями.

И только роман Пепетелы «Майомбе» непосредственно обращен к современности, более того, он злободневен. Это живое, заинтересованное и потому неизбежно пристрастное свидетельство очевидца и участника событий, предшествовавших завоеванию независимости Анголы, первая в ангольской литературе попытка отразить события семидесятых годов как бы «изнутри», увидеть их глазами борцов за национальное освобождение («Майомбе» создавался в 1971—1972 годах, когда Артур Пестана-Пепетела командовал партизанским отрядом,

сражавшимся против колонизаторов). Пепетела явился «первооткрывателем» этой темы, у него не было предшественников. В романе «Майомбе» борьба ангольского народа за независимость показана без всякой идеализации и без прикрас, такой, как она была,— с ошибками, легко объяснимыми неопытностью молодых руководителей МПЛА (ныне МПЛА-Партия труда), отсутствием у них теоретической подготовки, с заблуждениями честных и преданных делу революции бойцов, с корыстными намерениями случайных лиц, «приспособленцев». Заслуга писателя в том, что он смело сказал об объективных трудностях и противоречиях ангольской революции, хотя стремление критически осмыслить некоторые сложные явления и личная причастность порой заводили его чуть дальше, чем бы ему самому хотелось.

Критика отдельных руководителей Движения (МПЛА), подчас злоупотреблявших властью, а также некоторых положений программы партии на будущее, связанных с построением социализма, оказалась в романе столь острой, что, по собственному признанию автора, «до провозглашения независимости книга не могла быть опубликована, потому что враждебные элементы использовали бы ее против МПЛА-Партии труда». «После 1975 года такой проблемы уже не возникало, но я все равно колебался,— продолжает Пепетела свой рассказ в интервью, опубликованном в конце 1981 года.— Надо было убедиться, можно ли теперь пересмотреть некоторые устоявшиеся идеи и мнения, например, представление о непогрешимом герое-партизане».

И потому писатель обратился за советом к первому президенту НРА Агостиньо Нето. Впрочем, лучше вновь предоставим слово Пепетеле: «Прошло какое-то время, и я решил, что настал подходящий момент. Я задумал показать рукопись товарищу Агостиньо Нето, чтобы узнать его мнение. Оно оказалось положительным, и если бы не задержка в издательстве, книга могла бы выйти еще в 1978 году».

В том же интервью Пепетела делится соображениями о том, что ему представляется главным в литературном произведении: «Для определенного этапа нашей истории многие ошибки были естественными. Надо только не бояться их признавать, так будет легче с ними справиться. Впрочем, подмеченные в книге противоречия времен борьбы за независимость продолжают существовать и поныне, хотя и с меньшей остротой... Надеюсь, что эта книга откроет путь другим, ибо, на мой взгляд, роль литературы в том и состоит, чтобы ставить проблемы».

Какие же проблемы поставлены в его собственном романе и как они разрешаются?

Действие «Майомбе» происходит на севере Анголы, в анклаве Кабинда, неподалеку от границы с Конго (Браззавиль), в тех местах, где с начала семидесятых годов воевал сам Пестана-Пепетела. В лесу, у подножия неприступного горного хребта Майомбе, расположился лагерь партизан (отсюда и название книги). Пепетела, убежденный сторонник «волшебного реализма», изображает этот хребет как живое существо, как грозную и таинственную силу, подчас враждебную людям. Он сравнивает Майомбе с Зевсом, приковавшим к скале Прометея, а партизан с Огуном, африканским Прометеем, «заставившим людей бросить вызов богам». И — как доказывает романист всей логикой повествования — Громовержец в конце концов склоняется перед мужеством Огуна-Прометея, признав себя побежденным: партизаны «повергли бога Майомбе к своим стопам».

Все пять глав романа разделены на фрагменты, каждый фрагмент предваряется небольшим внутренним монологом очередного повествователя. Роль монологов очень велика — с их помощью писателю удалось расширить фон повествования, показать различные типы и характеры партизан, причем любой из них является словно воплощением, «персонификацией» определенной проблемы. Так, учитель Теория, первый рассказчик, представленный нам Пепетелой, олицетворяет насущнейшую для португалоязычной (и не только португалоязычной) Африки проблему мулата — человека, оказавшегося «меж двух миров».

В охваченной пламенем войны Анголе возникает великое множество проблем. Это и межплеменная вражда — трайбализм (в книге отражен конфликт между народностью, населяющей Кабинду, и жителями центральной части страны); и сложные взаимоотношения народа и интеллигенции, их обоюдные, хотя зачастую и безуспешные, попытки найти общий язык; это и настоятельная необходимость просвещать народные массы — ведь, не овладев грамотой и хотя бы азами культуры, человек, по глубокому убеждению Пепетелы, не может обрести подлинной свободы.

Но, пожалуй, наиболее важная из затронутых в романе проблем — становление в революционной Анголе нового человека, с новой моралью и новой философией, порожденными изменившимися условиями существования. «Заслуга Движения в том, что ему удалось совершить чудо — начать преобразование людей»,— утверждает Пепетела устами командира Смельчака, главного героя «Майомбе».

Формирующиеся в сознании передовых ангольцев нравственные понятия, новая этика и мораль прежде всего проявляются в отношениях между тремя центральными персонажами — командиром партизанского отряда Смельчаком, политическим комиссаром Жоаном и его невестой Ондиной. В противоположность традиционным героиням ангольской литературы — робким, всегда покорным чужой воле,— молодая учительница Ондина — существо вольнолюбивое, подчас даже злоупотребляющее свободой; неспособная лгать и притворяться, она открыто признается Жоану в измене и первая идет на разрыв с ним. Однако комиссар, проникшийся новыми нравственными идеалами, сумел понять душевное состояние Ондины, одиночество и тоску, толкнувшие ее к малознакомому человеку. Командир Смельчак всерьез увлекся Ондиной, и она отвечает ему взаимностью, но из преданности другу Смельчак жертвует своим чувством. Лишь его смерть разрешает этот традиционный, но отнюдь не банально выстроенный любовный треугольник.

Образы пылкой, увлекающейся Ондины и двадцатипятилетнего комиссара Жоана, ставшего после пережитой трагедии «взрослым», несомненно, представляют интерес своей жизненностью и многогранностью. Если, скажем, в «Приключениях Нгунги» каждый персонаж казался олицетворением одного качества, положительного или отрицательного, то герои «Майомбе» выписаны выпукло, объемно — им присуще и хорошее и плохое,— все зависит от того, под каким углом зрения их рассматривать.

Книга Пепетелы во многих отношениях автобиографична, но командира отнюдь не следует отождествлять с автором. Смельчак — образ собирательный, вобравший в себя черты многих легендарных руководителей ангольских партизан. Романист так оценивает эту самую значительную фигуру своего повествования: «Разумеется, командир — положительный герой, этого у него не отнимешь. Но ведь он живой человек и ему свойственны недостатки: он излишне самоуверен, его политическая позиция в некоторых аспектах неверна, однако это герой, честно сражающийся в бою. Если бы я, задавшись целью показать, что в нашей борьбе нет ничего схематичного и однозначного, создал абсолютно идеальный персонаж, книга от этого только пострадала бы».

Суть, идейно-смысловой стержень «Майомбе» составляют многочисленные споры Смельчака с политическим комиссаром Жоаном, в них сконцентрированы волнующие писателя вопросы. Пепетела как бы сталкивает в этих спорах две концепции революционной борьбы: догматическую, предвзятую, на его взгляд,— комиссара, и эмпирическую, базирующуюся на почерпнутых из жизненного опыта знаниях,— командира партизанского отряда. Подобная полемическая заостренность оправданна — ведь романист ратует против упрощенчества, против узкопрактического взгляда на вещи, за свободу борьбы мнений, какими бы противоречивыми они ни были,— и тем не менее эта заостренность оказывается порой чрезмерной, оборачиваясь против него самого.

Далеко не случайно Смельчаку противопоставлен «ортодоксальный марксист», догматик по прозвищу Новый Мир, обрисованный с явной неприязнью. Новый Мир решительно ни в чем не сомневается, все для него просто и ясно, он отлично вписывается в историческую перспективу, в то время как Смельчак разрешает свою основную проблему единственно возможным для него способом — уходом из жизни. «Чтобы не предать самого себя, он должен был навеки остаться там, на Майомбе. Родился ли он слишком рано или слишком поздно? Во всяком случае, вне своего времени, подобно любому герою трагедии»,— заключает Пепетела в «Эпилоге».

Смельчак героически гибнет в сражении, спасая комиссара от пули врага, но по сути дела смерть его заранее предрешена: «Я человек, историческая роль которого закончится, когда мы выиграем войну»,— утверждает он. Будущее представляется Смельчаку туманным, внушает ему множество опасений: «Я не вижу себя в освобожденной Анголе в качестве политического деятеля. Возможно, я отправлюсь в другую страну, борющуюся за свою свободу... Может быть, окажусь в изгнании... Я не вижу себя в независимой Анголе. Что не препятствует мне бороться за ее независимость».

Трудно оправдать отсутствие в «Майомбе» положительной программы рассуждениями об «африканской специфике» строительства новой жизни, сомнениями автора в применимости отдельных положений марксизма к африканской действительности, но и трудно требовать этого от произведения, написанного в начале семидесятых годов, когда только еще велась борьба за освобождение Анголы. Однако беспокойство честно и объективно отражающего жизненные явления художника за будущее страны вполне понятно, опасения его закономерны — у всех перед глазами пример некоторых африканских государств, где революционное движение было загублено демагогией.

Вместе с тем эти сомнения, как и навязчивое (и вряд ли уместное) сравнение марксизма с религией, попытки убедить читателя в том, что всякая точка зрения (даже заведомо неверная) имеет право на существование, свидетельствуют, видимо, о недостаточной еще зрелости политического мышления романиста.

Ценность же «Майомбе»— в умении автора почувствовать и ярко показать наболевшие, злободневнейшие вопросы национальной жизни. Пепетела лишь «ставит проблемы» (напомним, что как раз в этом видится ему основная миссия ангольской литературы в современный период) и делает это с пылкостью и задором прирожденного полемиста, сражаясь за свободу критики, против «фетишизма ярлыков». Однако романист не только не предлагает готовых решений, но подчас и сам их не находит. Вот почему Пепетеле пришлось «пожертвовать» Смельчаком. Такой шаг становится понятен, если учесть сложные, порой противоречивые явления самой ангольской действительности. В критической оценке, которой подвергает некоторые из них писатель, немало справедливого и полезного,— об этом свидетельствует согласие Агостиньо Нето на публикацию книги. К тому же «Майомбе»— не единственный пример подобного подхода к национально-освободительному движению шестидесятых-семидесятых годов: новая повесть Мануэла Руя Монтейро «О, если бы я стал волной» (1981) также насыщена критицизмом. Как и роман Пепетелы, ее можно отнести к литературе становления, делающей первые шаги и еще не вполне созревшей идеологически.

Итак, «Майомбе»— своего рода роман исканий, роман воспитания — типичное для литературы «национальной реконструкции» произведение. В нем легко прослеживаются основные константы сегодняшней ангольской прозы — критическая «переоценка ценностей», проблема формирования нового человека, «национальной личности» и, наконец, осовременивание, обновление художественной формы (в «Майомбе» это и элементы «волшебного реализма», и нарочитая фрагментарность композиции, и сочетание особенностей, характерных для интеллектуального романа и документальной прозы).

С особой очевидностью те же черты проявляются в ангольской повести — относи-

тельно недавно возникшей разновидности повествовательной формы. Сравнительно небольшая по объему, ангольская повесть отличается слабо разветвленным сюжетом, отсутствием развлекательной фабулы. Почти непременный лаконичный подзаголовок каждой повести — «история»— говорит о ее близости к устной повествовательной традиции; для Анголы, где процент неграмотных пока высок, это очень важно.

Писателям трудно еще осознать и осмыслить события недавнего прошлого. Нужно время, чтобы взглянуть на них с какого-то расстояния. Возможно, именно поэтому повесть, как произведение, требующее меньших затрат труда, чем роман, превратилась в поистине национальный жанр, получивший за последние годы в Анголе широкое распространение. Достаточно сказать, что лишь с 1976 по 1983 год вышли в свет восемь повестей.

Современная ангольская повесть — явление своеобразное и многоликое, в центре ее, как и в романе «Майомбе», складывающаяся ангольская «национальная личность», причем существенно то, что авторы повестей рассматривают ее не как нечто особое, сугубо национально-специфическое, а видят в ней прежде всего общечеловеческие черты.

Для ангольских «историй» характерно разнообразие творческих методов и форм. Наряду с реалистически правдивыми, близкими к полудокументальному жанру зарисовкам повседневной жизни, связанными единой сюжетной линией («Пламя молчания» (1979) Жозе де Фрейтаса), среди этих произведений встречаются сказки-аллегории, напоминающие притчу и создаваемые в народной традиции («Маска Мвана Пуо» (1978) Пепетелы, «Память о море» (1980) М. Руя Монтейро, «На острове крики восстания (Дневник Пятницы)» (1976) А. Жасинто Родригеса), а порой и более современные модели повествования, где отдельные фрагменты текста, представляющие поток сознания героя-повествователя, «нанизываются» один за другим с помощью ассоциативного принципа («Любовные приключения Жоана Венсио» (1979), «Лоурентиньо, дона Антония де Соуза Нето и я» (1981) Ж. Луандино Виейры).

Значительно отличается по манере изложения от остальных ангольских «историй» повесть М. Руя Монтейро «Память о море». Писатель поставил в ней целью доказать, что «реальная действительность всегда ближе к мечте, чем воображаемая», и придал повести условно-сказочный колорит притчи, иносказания, элементы «волшебного реализма» (что прежде не было характерно для его поэтики). Четверо участников освободительной войны (герой-рассказчик, майор революционных вооруженных сил — ФАПЛА, социолог и историк) попадают в будущее, «два года спустя после окончания пяти веков» (то есть пятисотлетнего господства колонизаторов), на пустынный остров. Прежде остров принадлежал «святым отцам», представляя как бы в миниатюре колониальное общество с его неразрешимыми антагонистическими противоречиями, сословными и расовыми предрассудками. Чтобы убедиться в этом, герои повести вынуждены вернуться на четыре года назад, когда португальская колониальная империя уже трещала по всем швам. Совершая фантастическое путешествие во времени, персонажи воочию видят, как Кианда, русалка из реки Кванза, насмешливо противопоставленная как «местное» божество католической святой Фатиме, покровительнице Португалии (ее культ поддерживали на острове «святые отцы»), возникает из морской пучины, чтобы вызвать шторм. Оказавшийся в это время в открытом море в утлой лодчонке, «без руля и без ветрил», настоятель монастыря, охваченный ужасом и начисто забывший о своем сане, приносит Кианде жертвоприношение, точно закоренелый язычник. Ирония здесь служит для писателя важнейшим изобразительным средством.

Тонкой, подчас язвительной иронией проникнуты и недавние повести Ж. Луандино Виейры, и притча-аллегория А. Жасинто Родригеса, зато повесть молодого писателя Жозе де Фрейтаса «Пламя молчания» подкупает простотой стиля, безыскусственным реализмом, в то время как «Маска Мвана Пуо» Пепетелы написана в совершенно иной манере: она насыщена символикой и свойственной «волшебному реализму» фантастикой, так что философская концепция автора, усложненность его поэтики, образного мира и языка нуждаются подчас в подробных пояснениях.

При всем своеобразии и многоликости ангольская повесть семидесятых — начала восьмидесятых годов, как и вся литература периода «национальной реконструкции», подчинена общей цели — отразить разнообразные аспекты практики социалистического строительства в независимой Анголе.

Читатель, надеемся, имел возможность убедиться, что новая ангольская литература ставит множество проблем — в этом заключается сейчас ее миссия. Какими будут способы их разрешения — покажет будущее. Путь в него широко открыт.

◆

Письма из-за рубежа

УИНСТОН ОРРИЛЬО

КНИГИ БОРЬБЫ

Слово к советскому читателю

Живем словно на вулкане,
хотя каждый знает, что вечно так
жить невозможно... Но мы с каждым
днем становимся все сильнее...

Манлио Аргета. «День из ее жизни»

Читатель, познакомившийся с повестью Манлио Аргеты «День из ее жизни» [1], я уверен — ты потрясен. Иначе и быть не может. Перед тобой прошел один день жизни простой крестьянки Лупе Гуардадо из Чалате (департамент Чалатенанго, Сальвадор), один день, вместивший в себя всю ее жизнь, полную бесконечного труда и бесконечных страданий, но и радости, и счастья — счастья, потому что она нашла в себе силы *перестать быть жертвой* и включилась в борьбу своего народа против его — и ее, и ее близких — палачей, прислужников антинародной хунты и ее хозяев, империалистов США.

«День из ее жизни» — это книга борьбы. И все лучшее, что было и есть в литературе нашей многострадальной Латинской Америки (с тех пор как она стала называться Америкой) — это тоже книги борьбы угнетенных против угнетателей. Вспомни, читатель, уже в первые годы XVII столетия мой соотечественник, перуанец Инка Гарсиласо де ла Вега, потомок верховного правителя инков, создал свои «Подлинные комментарии инков» — страстный протест против порабощения испанскими конкистадорами коренного населения Перу. Воспевая величие культуры и славную историю инков, излагая их легенды и сказания, Гарсиласо родоначальник нашей литературы, показал что война иноземных колонизаторов против мирных индейцев была чудовищным варварством. В тот же период был написан уникальный труд «Новая хроника и доброе правление», великое, подлинно патриотическое произведение. Его автор, индейский летописец Фелипе Гуаман Пома де Аяла воссоздал историю государства инков с древнейших времен до уничтожения его испанскими завоевателями, тем самым спасая ее от забвения. С тщательностью, которой может позавидовать современный исследователь-этнограф, он снабдил книгу множеством собственноручных рисунков, воспроизводящих духовную и материальную культуру его народа. Хроника не была напечатана при жизни автора (случайно ли?) и затерялась; человечество узнало о ней лишь в XX веке (оригинал был найден в 1908 году, факсимиле воспроизведено в 1936 году, а на современном испанском языке она появилась в 1956—1966 годах).

Перенесемся теперь, читатель, в XIX столетие. В ту пору, как и прежде, наша литература — на страже интересов униженных и угнетенных. Поразительно, что во времена, славившиеся почти полным бесправием женщин, именно эти последние создали высочайшие образцы борющейся литературы. Я имею в виду известных перуанских писательниц — Клоринду Матто де Турнер с ее романом «Птицы без гнезда» (1889), написанным в защиту попранных прав коренного населения страны, и Мерседес Кабельо де Карбонера, с ее серией произведений о жизни индейцев Перу. Обе они внесли весомый вклад в формирование индеанистского (или индихенистского) романа, отразившего горести и невзгоды порабощенного, но не смирившегося народа.

В том же XIX веке далеко за пределами Перу зазвучал голос поэта и национального героя Кубы Хосе Марти (1853—1895), которого мы, латиноамериканцы, считаем апостолом революции, провозвестником антиимпериалистической борьбы на нашем континенте. Его жизнь, его произведения, его «Свободные стихи», «Простые стихи», «Цветы изгнания», очерки «Североамериканские сцены», многочисленные статьи, речи, предисловия — на мой взгляд, пример революционности и творчества, слитых воедино. Хосе Марти понимал художественное творчество как часть борьбы за национальное освобождение — ибо в это понятие органически входит и раскрепощение культуры, искусства, красоты. Каждой своей страницей Хосе Марти сражался против испанского колониального владычества, но вместе с тем он предвидел, что Кубе предстоит столкнуться с империализмом США, уже тогда угрожавшего ей. Каждое слово Хосе Марти обращено к эксплуатируемым труженикам, к рабочим — к тем, кого он называл классом будущего. Не будучи

[1] Опубликована в «ИЛ», 1983, № 3. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

марксистом strictu sensu [1], Марти все же неколебимо верил в торжество народных масс.

Я хочу судьбой породниться
С бедняками всей земли...[2]—

писал он в одном из самых известных своих стихотворений.

В тот год, когда пал на поле битвы кубинец Хосе Марти, родился перуанец Хосе Карлос Мариатеги (1895—1930). Их судьбы схожи. И для Мариатеги, публициста, критика, социолога, книга, мысль, духовное творчество — прежде всего оружие в борьбе за счастье народных масс. Как и Марти, Мариатеги — не столько профессиональный литератор, сколько боец антиимпериалистического фронта — и у себя на родине, на земле Тупака Амару [3], и в Европе (где он — чего, может быть, не знают читатели — в 1921 году встречался с Максимом Горьким и Г. В. Чичериным). Основанный им и им же редактировавшийся журнал «Амаута» («Учитель») сыграл важную роль в сплочении передовых литературных сил Перу. Знаменитый труд Мариатеги «Семь очерков истолкования перуанской действительности» (1928) явился целым этапом в развитии и современной латиноамериканской социологии, и *эстетики*. Одним из первых Мариатеги дал марксистский анализ истории и культуры нашего континента.

Он прожил недолгую, но блистательную жизнь — и сколько в ней успел: первый последователь идей марксизма-ленинизма в Латинской Америке, основатель и генеральный секретарь Перуанской коммунистической партии, один из идейных вождей революционной интеллигенции Латинской Америки двадцатых годов...

Читатель, я рассказал тебе об этих людях и их творениях потому, что дух их живет в новых и новых книгах борьбы, которые рождаются на нашей земле сегодня. Роман чилийца Володи Тейтельбойма «Внутренняя война» (1980) [4] покоряет своим языком — страстным, сочным — и богатством выразительных средств, мастерством аллегории. Подобно острому клинку обнажает он корни и суть человеконенавистнической диктатуры Пиночета. В своей книге автор «Сына селитры» (1952) и «Семени на песке» (1957) достиг наибольшей зрелости. Это итог напряженной жизни ветерана-коммуниста и человека, глубоко страдающего при виде страданий родины, объявившего войну ее палачам...

Один из руководителей никарагуанской революции Серхио Рамирес, известный писатель, автор яркого антидиктаторского романа «Ты крови испугался?» (1982), в недавнем выступлении сказал, что сандинисты «научились обращать слова в камни, метко пущенные из пращи».

Такими «камнями», насмерть поражающими врага, стали слова удивительной книги никарагуанской поэтессы Хиоконды Белли «Линия огня» (1978), получившей премию «Каса де лас Американас». Эти стихи были написаны и вышли в свет в самый драматический период борьбы и победного наступления никарагуанского народа. Они — как гимны любви и надежды в разгар боя, в котором можно лишь победить или погибнуть. Мы счастливы, что сегодня эти пламенные стихи могут уже ассоциироваться у нас с торжеством сандинистской революции — днем 19 июля 1979 года.

В Никарагуа появилась и книга команданте революции Томаса Борхе Мартинеса «Карлос, рассвет — уже не просто мечта» (1980). Автор создавал и редактировал ее в годы заключения в сомосистской тюрьме Типитапа, писал на клочках бумаги, на пачках из-под сигарет, при скудном освещении — словом, в тяжелейших условиях. Как и многое из наследия Марти и Мариатеги, она не претендует на звание «беллетристического» произведения (и в издательстве «Каса де лас Американас» вышла в серии «Документальная проза»), но несомненно имеет куда больше художественных достоинств, чем давно набившие оскомину «бестселлеры», рекламируемые межнациональными «фабриками культуры».

В этом же ряду — и повесть «День из ее жизни» сальвадорца Манлио Аргеты, о которой уже шла речь вначале. Уверен, что читателю этой книги хочется узнать об ее авторе. Попытаюсь рассказать о нем. Мы хорошо знакомы и виделись в прошлом году в Софии на Международной писательской встрече. Мы долго говорили, а расставаясь со мной, Аргета сказал, что из Софии едет прямо в район боевых действий (он — в вооруженных силах Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти). Встретимся ли мы снова? Не знаю. А пока вспоминаю его первую встречу с читателем.

Лет пятнадцать назад в Сан-Сальвадоре вышел сборник стихов пяти молодых сальвадорских поэтов под многозначительным названием «Отсюда — вперед». Среди его авторов был и Манлио Аргета, родившийся в 1936 году. Его литературный дебют не прошел незамеченным, однако, защищая свою эстетическую позицию, поэт в ту пору все еще очень остро ощущал бессилие в борьбе против могущественного врага, угнетавшего его родину.

В стихотворении «Убийцы» Манлио Аргета тогда писал:

Ты так силен,
Так похож на острозубого зверя,
убивающего всех, а я
не могу даже себя защитить.
Мне страшно, мне страшно...
Я — сын сияющего солнца,
и если солнце не восходит.
я умираю,
но если взойдет — ты меня
убьешь.
Мне страшно, мне страшно.
. . . . . .
Ты убиваешь, а я все же пою...

Страх перед убийцами он преодолел, как преодолела его и Лупе Гуардадо (в повести «День из ее жизни»). Это подтвердили его последующие книги. Когда в 1970 году в печати появился роман Манлио Аргеты «Долина гамаков», мексиканский журнал «Сьемпре» назвал его автора «выдающимся новым романистом». В 1977 году Манлио Аргета публикует роман «Каперусита в Красной зоне»,— жюри латиноамериканского литературного конкурса «Каса де лас

[1] В строгом смысле слова *(лат.)*.
[2] Перевод И. Тыняновой.
[3] Тупак Амару — потомок инков, возглавлявший в XVIII веке борьбу за независимость Перу от Испании.
[4] Опубликован в переводе на русский язык. М., «Прогресс», 1982.

Американас» отметило его как значительный вклад в современную сражающуюся литературу Латинской Америки.

Каперусита, как известно,— героиня знаменитой сказки Перро, Красная Шапочка. Однако на этот раз под боевой кличкой Каперусита выступает сальвадорская девушка Место же действия старой сказки на новый лад — Сальвадор, где рыщут вооруженные до зубов «волки», врывающиеся в бедные ранчо, хватающие вместе с родителями перепуганных детей. В «лесу» действует подпольная ячейка — студенты, ее члены, начинают печатать листовки, направленные против антинародной хунты, выпускают студенческую газету. Постепенно, в связи с ростом репрессий, арестами, гибелью молодых подпольщиков, деятельность ячейки принимает все более активный характер. «Красной зоной» стали называть район партизанской вооруженной борьбы... С энтузиазмом была принята и новая повесть Аргеты «День из ее жизни» (1980) Изданная вначале в Сан-Сальвадоре, эта книга была удостоена Национальной премии Католического университета (находящегося в оппозиции к правящей хунте), а затем сразу же переиздана в Сан-Хосе, столице Коста-Рики...

Теперь, когда повесть прочитана (а может быть, и перечитана), ты видишь, мой собеседник, что она лишь на первый взгляд кажется очень простой, скорее похожей на запись беседы с сальвадорской крестьянкой и ее родственниками. Не сомневаюсь, что все, кто познакомится с книгой в русском переводе, останутся глубоко благодарны журналу «Иностранная литература», ибо «День из ее жизни» дает ключ к пониманию того, что нынче происходит в Сальвадоре, почему сальвадорский народ взял в руки оружие, чтобы сражаться с местной диктатурой и ее хозяевами — империалистами Соединенных Штатов. Не забудем, что действие повести развертывается как раз в департаменте Чалатенанго — районе наиболее активных действий Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти. Не забудем и того, что на земле Сальвадора все еще бесчинствуют наемные убийцы, каратели, прошедшие обучение у инструкторов-янки и служащие кровавой хунте — их портреты в повести предельно выразительны. Да, на родине Аргеты еще не восторжествовала освободительная революция, но в час победы — а он пробьет, этот час,— о повести писателя-бойца скажут: эта книга сражалась рядом с нами.

Наша борьба продолжается. И я верю, читатель, в этот момент с нашего континента к тебе спешат новые книги борьбы.

Перевод с испанского О. БУХОВОЙ
г. Лима

◆

Советская литература за рубежом

ФРАНЦИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Мессидор».

Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Похождения Шипова или Старинный водевиль». Издательство «Альбен Мишель».

Поэмы БОРИСА ПАСТЕРНАКА. Издательство «Галлимар».

ФРГ

Избранные произведения МИХАИЛА БУЛГАКОВА Издательство «Буске».

Рассказ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Защита Чика». Издательство «Бертельсман».

«Повесть о жизни» КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО. Издательство «Нимфенбургер ферлагсхандлунг».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Навеки — девятнадцатилетние». Издательство «Словенски списователь».

Книга АРСЕНИЯ ГУЛЫГИ «Искусство в век науки». Издательство «Правда».

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Лидове накладателстви».

Сказка в стихах КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «Доктор Айболит». Издательство «Альбатрос».

ШВЕЦИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день». Издательство «Гидлундс».

Повесть ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Последний поклон». Издательство «Аскильд ок Чэрнекулл».

Роман ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ягодные места». Издательство «Вальстрём ок Видстранд».

Литературные иллюстрации

ГУСТАВ ЯНОУХ

РАЗГОВОРЫ С КАФКОЙ

Вступление, перевод с немецкого и примечания Е. КАЦЕВОЙ

Страшные сны снились Францу Кафке [1]. Но, наверное, ни в каком сне ему не могло привидеться, что когда-нибудь любой желающий сможет прочитать не только его романы и рассказы, которые он, хотя и намеревался уничтожить, все же писал не для себя только,— но и письма и даже дневники. Недаром он, выражая свою последнюю волю своему другу и душеприказчику писателю Максу Броду, в одной фразе трижды повторяет, что, кроме перечисленных пяти опубликованных книг и подготовленной к печати новеллы «Голодарь», «все без исключения» должно быть сожжено. Сейчас бессмысленно обсуждать, «хорошо» или «нехорошо» поступил М. Брод, нарушив завещание друга и издав все его рукописное наследие,— дело сделано: спустя четверть века после смерти Кафки «все без исключения», в том числе дневники и письма, было напечатано, цитируется в бесчисленных исследованиях, посвященных жизни и творчеству писателя. Исследователи Кафки пользуются и небольшой книжкой чешского музыканта и литератора Густава Яноуха (1903—1968) «Разговоры с Кафкой. Записи и воспоминания».

Г. Яноух познакомился с Кафкой в марте 1920 года в канцелярии общества социального страхования, где вместе с Кафкой работал отец Яноуха, однажды показавший своему коллеге стихи сына. После этого Кафка и Яноух часто встречались и беседовали. По словам Г. Яноуха, он в 1926 году, участвуя в издании на чешском языке рассказов Кафки, получил от издателя Йозефа Флориана предложение подготовить для публикации свои дневниковые заметки о Кафке. Он выписал из своих дневников соответствующие места и в чешском переводе передал их Й. Флориану, однако до издания дело тогда не дошло. После войны Г. Яноух разыскал среди своих бумаг и у друзей чешско-немецкие и немецко-чешские тексты своих записей и, «ограничившись лишь приведением в порядок, сортировкой и перепиской старых воспоминаний», опубликовал свои «Разговоры с Кафкой» („Gespräche mit Kafka", Frankfurt/Main, 1951).

Разумеется, книга Г. Яноуха требует к себе критического отношения,— во-первых, как всякие воспоминания, а не прямые высказывания того, о ком «вспоминают»; во-вторых, следует учесть, что время встреч и бесед 17—18-летнего юноши с Кафкой отделено от времени появления на свет записок об этих встречах двумя с половиной десятилетиями; кроме того, нам трудно установить характер «сортировки и переписки». Но, видимо, стоит принять во внимание отношение М. Брода к этой работе. «Слова Кафки, которые передает Яноух, производят впечатление подлинности и достоверности, на них лежит несомненный отпечаток разговорного стиля Кафки — стиля, еще более конденсированного, еще более четкого, чем стиль его сочинений... Так же и круг тем, обсуждающихся в разговорах с Яноухом, мне знаком по бесчисленным беседам с Кафкой, и я без труда узнаю в них главную сферу интересов, в которой вращался Кафка».

Свидетельство это, разумеется, тоже субъективное, и мы не можем на его основании безоговорочно принимать книгу Г. Яноуха как подлинный документ. Тем не менее мы знакомим с нею советского читателя (выбрав главным образом высказывания, касающиеся литературы и искусства, а также некоторых общих вопросов мировоззрения писателя), поскольку книга эта вошла в число источников для изучения творчества Кафки.

[1] Франц Кафка (1883—1924) — австрийский писатель. Впервые с его творчеством советского читателя познакомил журнал «Иностранная литература», опубликовав новеллы «В исправительной колонии» и «Превращение» (1964, № 1) со вступительной статьей Е. Книпович; затем вышел в свет однотомник «Франц Кафка. Роман, новеллы, притчи» с обстоятельным предисловием Б. Сучкова (М., «Прогресс», 1965); в «Вопросах литературы» была напечатана большая подборка из дневников Ф. Кафки (1968, № 2); в «Звезде» — широко известное «Письмо к отцу» (1968, № 8). Двумя изданиями вышло исследование Д. Затонского «Франц Кафка и проблемы модернизма» (М., «Высшая школа», 1965, 1972).

О сложности и противоречивости воззрений Кафки много писалось. «Пользуясь по-своему материалом социальной абсурдности империи Франца-Иосифа,— читаем мы в статье Е. Книпович [1],— он стремится создать картину безысходной матафизической абсурдности мира и человеческого бытия».

С этими свойственными Кафке безысходностью, трагическим восприятием мира, одиночеством и пессимизмом читатель встретится и в настоящей публикации. Они же определили противоречивое, порой неверное понимание им многих явлений и событий своего времени, в частности природы большевизма и революции, которой он по-своему, видимо, симпатизировал. По свидетельству Г. Яноуха, однажды, листая книгу немецкого писателя-эссеиста Альфонса Пакэ «Дух русской революции», Кафка заметил: «Люди в России пытаются построить совершенно справедливый мир». Вместе с тем, не веря в какую бы то ни было возможность для человечества избавиться от зла и горя, в другой раз он упоминает ее в одном ряду с «бедами всего мира».

Следует также иметь в виду особый взгляд Кафки на проблемы, связанные с комплексом «немцы — чехи — евреи», на что не могла не наложить отпечатка его жизнь в условиях Австро-Венгерской монархии. «Как еврей,— пишет один из его немецких исследователей, Гюнтер Андерс,— он не был своим в христианском мире. Как равнодушный к иудаизму еврей он не был своим среди евреев. Как человек, говорящий по-немецки, он не был своим среди чехов. Как говорящий по-немецки еврей он не был своим среди богемских немцев» [2].

Публикуемые нами высказывания Кафки составляют около половины книги Г. Яноуха. Сопутствующие встречам и беседам обстоятельства, описания обстановки, внешние характеристики, поведение Кафки («смущенно улыбнулся», «печально улыбнулся», «задумался»), жестикуляция и т. д., рассуждения самого Яноуха при этом опущены. Мы лишь указали на то, что послужило поводом для высказывания Кафки, и привели необходимые реплики его собеседника, выделив то и другое курсивом. Здесь же воспроизведем только общую внешнюю характеристику:

«У Кафки были большие серые глаза под густыми черными бровями,— пишет Г. Яноух.— Загорелое лицо очень живое. Своим лицом Кафка говорит. Когда он может заменить слово движением лицевых мускулов, он делает это. Улыбка, сведенные брови, собранный в морщины узкий лоб, выпяченные или заостренные губы — все это высказанные фразы. Он любит жесты и потому обращается с ними очень экономно. Его жест — не сопровождающее разговор усиление слова, а как бы слово самостоятельного языка жестов, средство объяснения, то есть никоим образом не пассивный рефлекс, а целенаправленное выражение воли. Когда он складывает руки, распластывает ладони на письменном столе, покойно и в то же время напряженно откидывается на спинку стула, наклоняет вперед голову, подняв плечи, прижимает руки к сердцу — это лишь малая часть скупо применяемых им средств выражения,— он всегда сопровождает свои движения и жесты извиняющейся улыбкой, словно хочет сказать: «Да, признаюсь, я играю; но надеюсь, вам нравится моя игра. И затем — затем я делаю это только для того, чтобы хотя бы на минутку добиться вашего понимания». Этому пониманию во многом способствуют приводимые высказывания Кафки, записанные Г. Яноухом.

— В ваших стихах [3] еще слишком много шума. Это явление, сопутствующее юности, оно свидетельствует об избытке жизненных сил. Сам по себе этот шум прекрасен, хотя с искусством он ничего общего не имеет. Напротив! Шум мешает выразительности. Но я не критик. Я не умею быстро превратиться во что-нибудь, затем вернуться к самому себе и точно отмерить расстояние. Повторяю — я не критик. Я лишь осужденный и зритель.

— А кто судья?

— Я, правда, еще и служитель в суде, но судей я не знаю. Должно быть, я совсем маленький временный служитель суда. Во мне нет ничего определенного. Определенно только страдание. Когда вы пишете?

— Вечером, ночью. Днем — очень редко. Я не могу писать днем.

— День — великий волшебник.

— Мне мешают свет, фабрика, дома, окна напротив. Но больше всего — свет. Свет отвлекает внимание.

— Возможно, он отвлекает от мрака внутреннего мира. Хорошо, когда свет берет верх над человеком. Если бы не было этих страшных, бессонных ночей, я бы вообще не писал. А так я все время осознаю свое мрачное одиночное заключение.

— Вы описываете поэта этаким удивительным великаном: ноги его на земле, а голова исчезает в облаках. Конечно, это совершенно привычный образ с точки зрения мещанских условностей. Это иллюзия сокровенных желаний, ничего общего не имеющих с действительностью. На самом деле поэт гораздо меньше и слабее среднего человека. Потому он гораздо острее и сильнее других ощущает тяжесть земного бытия. Для него самого его пение — лишь вопль. Творчество для художника — страдание, посредством которого он освобождает себя для нового страдания. Он не исполин, а только более или менее пестрая птица, запертая в клетке собственного существования.

— И вы тоже?

---

[1] «ИЛ» 1964, № 1.

[2] Günter Anders. Kafka—Pro und Contra, S. 118.

[3] Имеются в виду стихи Густава Яноуха, показанные его отцом Кафке.

— Я совершенно несуразная птица. Я галка — kavka [1]. У угольщика в Тайнгофе есть такая. Вы видели ее?

— Да, она скачет около лавки.

— Моей родственнице живется лучше, чем мне. Правда, у нее подрезаны крылья. Со мной этого делать не надобно, ибо мои крылья отмерли. И теперь для меня не существует ни высот, ни далей. Смятенно я прыгаю среди людей. Они поглядывают на меня с недоверием. Я ведь опасная птица, воровка, галка. Но это лишь видимость. На самом деле у меня нет интереса к блестящим предметам. Поэтому у меня нет даже блестящих черных перьев. Я сер, как пепел. Галка, страстно желающая скрыться среди камней. Но это так, шутка... Чтобы вы не заметили, как худо мне сегодня.

В связи с получением сигнального экземпляра книжки «В исправительной колонии»:

— Выход в свет какой-нибудь моей мазни всегда наполняет меня тревогой.

— Почему же вы отдаете это в печать?

— То-то и оно! Макс Брод, Феликс Велч, все мои друзья попросту отбирают у меня написанное и потом ошарашивают готовым издательским договором. Я не хочу причинять им неприятностей, и так в конечном счете дело доходит до издания вещей, являющихся, собственно говоря, лишь совершенно личными заметками или забавой. Частные доказательства моей человеческой слабости публикуются и даже продаются, потому что мои друзья с Максом Бродом во главе хотят из этого во что бы то ни стало делать литературу, а у меня нет сил уничтожить эти свидетельства одиночества... То, что я сейчас сказал, разумеется, преувеличение и мелкий выпад против моих друзей. На самом же деле я уже настолько испорчен и бесстыж, что сам помогаю им издать эти вещи. Чтобы оправдать собственную слабость, я изображаю окружение более сильным, чем оно есть в действительности. Это, конечно, обман. Я ведь юрист. Потому я и не могу убежать от зла.

В связи с выходом на чешском языке «Кочегара» в переводе Милены Есенской [2]. Г. Яноух сказал:

— В повести так много солнца и хорошего настроения. Здесь так много любви — хотя о ней вообще-то не говорится.

— Это не в повести, а у объекта повествования, у молодости. Она полна солнца и любви. Молодость счастлива, потому что обладает способностью видеть прекрасное. Когда эта способность утрачивается, начинается безнадежная старость, увядание, несчастье.

— Стало быть, старость исключает всякую возможность счастья?

— Нет, счастье исключает старость. Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет.

— Значит, в «Кочегаре» вы очень молоды и счастливы.

— Лучше всего говорят о далеких вещах. Их видно лучше всего. «Кочегар» — воспоминание о некоем сне, о чем-то, чего, вероятно, никогда не было. Карл Россман не еврей. Мы же, евреи, рождаемся уже стариками.

На вопрос о том, был ли реальный прообраз у шестнадцатилетнего Карла Россмана:

— Прообразов было много и ни одного. Но это все уже в прошлом.

— Образ молодого Россмана, как и образ кочегара, очень живой.

— Это лишь побочный продукт. Я не рисую людей. Я рассказываю истории. Это картины, только картины.

— В таком случае должны ведь быть прообразы. Основа картины — увиденное.

— Вещи фотографируют, чтобы изгнать их из сознания. Мои истории — своего рода закрывание глаз.

О «Приговоре»:

— Я хотел бы знать, как вы пришли к этому. Ведь посвящение «Для Ф.» — не простая формальность. Вы, конечно же, хотели книгой кому-то что-то сказать.

— ...«Приговор» — призрак одной ночи.

— Как так?

— Это призрак.

— Но ведь вы написали это.

— Это лишь свидетельство, предназначенное для защиты от призрака.

О «Превращении»:

— ...Замза не является полностью Кафкой. «Превращение» не признание, хотя оно в известном смысле и бестактно... Разве это тактично и прилично — говорить о клопах, которые завелись в собственной семье?

— Разумеется, в приличном обществе это не принято.

— Видите, насколько я неприличен.

— Я думаю, определения «прилично» или «неприлично» здесь неверны. «Превращение» — страшный сон, страшное видение.

— Сон снимает покров с действительности, с которой не может сравниться никакое видение. В этом ужас жизни — и могущество искусства.

Просмотрев пачку новых книг, которые Г. Яноух собирался читать:

— Вы слишком много занимаетесь однодневками. Большинство этих современных книг — лишь мерцающие отражения сего-

---

[1] Kavka — галка *(чешск.)*.

[2] Милена Есенская — чешская журналистка, с которой Кафка познакомился в 1920 году, после того как в чешском журнале «Кмен» был опубликован ее перевод первой главы («Кочегар») его будущего романа «Америка». В течение двух лет была близким другом писателя. В 1952 году Вилли Хаас издал письма Кафки к ней. Как пишет в послесловии В. Хаас, письма эти были ему подарены Миленой в 1939 году, вскоре после вступления немецких войск в Прагу (в том же году она была заключена в концентрационный лагерь, где и умерла в 1944 году).

дняшнего дня. Они очень быстро гаснут. Вам следует читать больше старых книг. Классиков. Гёте. Старое обнаруживает свою сокровеннейшую ценность — долговечность. Лишь бы новое — это сама преходящность. Сегодня оно кажется прекрасным, чтобы завтра предстать во всей своей нелепости. Таков путь литературы.

— А поэзия?

— Поэзия преобразует жизнь. Иной раз это еще хуже.

Г. Яноух рассказал Кафке, что его друг, поэт Эрнст Ледерер, пишет свои стихи особыми светло-синими чернилами на какой-то необычной бумаге.

— У каждого мага свой церемониал. Гайдн, например, сочинял музыку только в напудренном, как для торжеств, парике. Писание — своего рода заклинание духов.

После прочтения рукописи сборника рассказов Г. Яноуха:

— Ваши рассказы так трогательно молоды. Они говорят гораздо больше о впечатлениях, которые пробуждают в вас вещи нежели о самих событиях и предметах. Это лирика. Вы гладите мир вместо того чтобы хватать его... Это еще не искусство. Такое выражение впечатлений и чувств является, собственно говоря, робким ощупыванием мира. Глаза еще мечтательно прикрыты. Но со временем это пройдет, а ищущая вслепую рука, возможно, отдернется, словно коснувшись огня. Возможно, вы вскрикнете, начнете бессвязно бормотать или стиснете зубы и широко, очень широко раскроете глаза. Но — все это лишь слова. Искусство всегда дело всей личности. Потому оно в основе своей трагично.

Кафка показал анкету с вопросами о литературе, которую проводил, кажется, Отто Пик[1] для воскресного литературного приложения «Прагер прессе». Ткнув пальцем в вопрос «Что Вы можете сообщить о своих будущих литературных планах», он улыбнулся:

— Это глупо. На это нельзя ответить. Разве можно предсказать, как будет биться сердце в ближайшее время? Перо ведь только сейсмографический грифель сердца. Им можно регистрировать землетрясения, но не предсказывать их.

Г. Яноух рассказал Кафке о постановке двух одноактных пьес — Вальтера Газенклевера и Артура Шницлера[2] в Новом немецком театре «Постановка была несложенной,— сказал Г. Яноух.— Экспрессионизм одной пьесы врывался в реализм другой и наоборот. Наверное, мало репетировали».

— Возможно. Положение немецкого театра в Праге очень трудное. В своей совокупности это целый комплекс финансовых и человеческих обязательств, а необходимой публики нет. Это пирамида без фундамента. Актеры подчинены режиссерам, режиссерами управляет дирекция, которая несет ответственность перед комитетом театрального объединения. Это цепь, лишенная заключительного, связующего все воедино звена. Здесь нет настоящих немцев, и потому нет и надежного, постоянного зрителя. Ведь говорящие по-немецки евреи в ложах и партере не немцы, а приезжающие в Прагу немецкие студенты на балконах и галерке — это лишь форпосты рвущейся вперед власти, враги, а не слушатели. При таких условиях нельзя, разумеется, добиться серьезных творческих результатов. Силы растрачиваются на мелочи. Остаются лишь старания, усилия, которые почти никогда не достигают цели — хорошего спектакля. Потому я и не хожу в театр. Это слишком грустно.

В Новом немецком театре поставили драму Вальтера Газенклевера «Сын»[1].

— Бунт сына против отца — старейшая тема литературы и еще более древняя проблема мира. Ей посвящены драмы и трагедии, в действительности же это материал для комедий. Это правильно понял ирландец Синг[2]. В его драме «Герой Запада» сын — молодой болтун, хвастающийся, что прикончил отца. Но потом старик появляется и разоблачает молодого ниспровергателя отцовского авторитета.

— Я вижу, вы очень скептически относитесь к борьбе молодости против старости.

— Мой скепсис ведь не изменяет того факта, что борьба эта, в сущности,— лишь мнимая борьба... Старость — будущее молодости, которого она раньше или позже должна достичь. Зачем же бороться? Чтобы скорее постареть? Чтобы скорее уйти?

Г. Яноух рассказывает, как он в детстве посетил вместе со своей матерью еврейский квартал в польском городе Пшемысле и как из старых домов и темных лавчонок выбегали люди и, плача и смеясь, целовали руки и края одежды его матери, которая, как он позднее узнал, во время погрома прятала в своем доме многих евреев.

— А я хотел бы бежать к этим бедным евреям в гетто и молча, совсем молча целовать края их одежды. Я был бы совершенно счастлив, если бы они могли молчаливо вынести мою близость.

— Вы так одиноки?

Кафка кивнул.

— Как Каспар Гаузер?[3]

---

[1] Отто Пик (род. в 1887 г.) — критик, переводчик на немецкий язык чешских пьес, в том числе Карела и Йозефа Чапеков, один из редакторов газеты «Прагер прессе». Умер в эмиграции во время войны.

[2] Речь идет об одноактных пьесах немецкого поэта-драматурга Вальтера Газенклевера (1890—1940) «Спаситель» (1919) и австрийского драматурга Артура Шницлера (1862—1931) «Зеленый какаду» (1899).

[1] Драма «Сын» (1914) Вальтера Газенклевера в начале 20-х годов была модной постановкой немецких экспрессионистов.

[2] Синг Джон Миллингтон (1871—1909) — ирландский драматург, пьеса «Герой Запада» опубликована в 1907 году.

[3] Каспар Гаузер — таинственный «найденыш», объявившийся в 1828 году в Нюрнберге. Его судьбе посвящен роман «Каспар Гаузер, или Леность сердца» (1908) немецкого писателя Якоба Вассермана (1873—1934).

— Гораздо более, чем Каспар Гаузер. Я одинок, как — Франц Кафка.

В беседе о пьесе Макса Брода «Мошенник» Г. Яноух рассказал, как он представляет себе режиссуру спектакля. Речь зашла о сцене, в которой появление женщины сразу меняет всю ситуацию. По мнению Г. Яноуха, персонажи на сцене должны медленно отступать перед появляющейся; Кафка с этим не согласился.

— Все должны отпрянуть, как громом пораженные.

— Это было бы слишком театрально.

— Так и должно быть. Актер должен быть театральным. Его чувства и их выражение должны быть сильнее, чем чувства и их выражение у зрителя, для того чтобы достичь желаемого воздействия на зрителя. Чтобы театр мог воздействовать на жизнь, он должен быть сильнее, интенсивнее повседневной жизни. Таков закон тяготения. При стрельбе нужно целиться выше цели.

По поводу драмы Эрнста Вайсса «Таня» [1]*:*

— Самое лучшее там — фантастическая сцена с Таниным ребенком. Театр сильнее всего воздействует тогда, когда он делает нереальные вещи реальными. Тогда сцена становится перископом души, позволяющим заглянуть в действительность изнутри.

Г. Яноух спросил, что думает Кафка о содержащемся в книге Казимира Эдшмида «Двуглавая нимфа» [2] *(в главе «Теодор Дейблер и школа абстрактного») высказывании о нем.*

— Эдшмид говорит обо мне так, словно я конструктор. На самом же деле я лишь очень посредственный, неумелый копировщик. Эдшмид утверждает, что я втискиваю чудеса в обычные происшествия. Это, разумеется, глубокая ошибка с его стороны. Обычное — уже само по себе чудо! Я только записываю его. Возможно, что я немного подсвечиваю вещи, как осветитель на полузатемненной сцене. Но это неверно! В действительности сцена совсем не затемнена. Она полна дневного света. Потому люди зажмуривают глаза и видят так мало.

— Между мировосприятием и действительностью часто существует болезненное несоответствие.

— Все есть борьба, битва. Лишь тот достоин жизни и любви, кто каждый день идет за них на бой [3]... сказал Гёте... Гёте говорит почти обо всем, что касается нас, людей.

— Мой друг Альфред Кемпф сказал мне, что Освальд Шпенглер полностью почерпнул свое учение о гибели западного мира из гётевского «Фауста».

— Это вполне возможно. Многие так называемые ученые транспонируют мир поэта в другую, научную сферу и добиваются таким путем славы и веса.

Кафка заметил в руках у Г. Яноуха «Песни висельника» Кристиана Моргенштерна [1] *и спросил:*

— Знаете ли вы его серьезные стихотворения? «Время и вечность»? «Ступени»?

— Нет, я даже не знал, что у него есть серьезные стихи.

— Моргенштерн страшно серьезный поэт. Его стихи так серьезны, что ему приходится спасаться от своей собственной нечеловеческой серьезности в песнях висельника.

О романе Якоба Вассермана «Каспар Гаузер, или Леность сердца»:

— Вассермановский Каспар Гаузер давно уже не найденыш. Он теперь узаконен, нашел свое место в мире, зарегистрирован в полиции, является налогоплательщиком. Правда, свое старое имя он сменил. Теперь его зовут Якобом Вассерманом, он немецкий романист и владелец виллы. Втайне он тоже страдает леностью сердца, которая вызывает у него угрызения совести. Но их он перерабатывает в хорошо оплачиваемую прозу, и все, таким образом, в полнейшем порядке.

Г. Яноух рассказал, что его отец любит стихотворения в прозе Альтенберга [2] *и вырезает из газет его небольшие рассказы.*

— Петер Альтенберг — действительно поэт. В его маленьких рассказах отражается вся его жизнь. И каждый шаг, каждое движение, которое он делает, подтверждают правдивость его слов. Петер Альтенберг — гений незначительности, редкостный идеалист, который находит красоты мира, как окурки в пепельницах в кафе.

— Кьеркегор стоит перед проблемой: эстетически наслаждаться бытием или жить по законам нравственности. Но мне кажется, что такая постановка вопроса неправильна. Проблема «или — или» живет лишь в голове Сёрена Кьеркегора. В действительности же эстетически наслаждаться бытием можно, только смиренно живя по законам нравственности. Но это мое мнение лишь в данную минуту, от которого я, может быть, по дальнейшем размышлении откажусь.

— Вы хотите получить от меня совет. Но я плохой советчик. Для меня дать совет, по сути, всегда значит предать. Совет — трусливое отступление перед будущим, являю-

[1] Драма австрийского писателя Эрнста Вайсса (1884—1940) «Таня» написана в 1920 году.

[2] «Двуглавая нимфа» (1920) — книга статей о литературе и действительности немецкого писателя, теоретика экспрессионизма Казимира Эдшмида (1890—1966).

[3] Ошибка ли здесь — и чья именно: Кафки или Яноуха — или нарочитое искажение строки из «Фауста» («лишь тот достоин жизни и свободы» — пер. Б. Пастернака), установить невозможно.

[1] Моргенштерн Кристиан (1871—1914) — немецкий поэт; сборник «Песни висельника» (1905) состоит из гротескно-фантастических стихов; сборник «Ступени. История жизни в афоризмах и дневниковых записях» вышел в 1918 году.

[2] Альтенберг Петер (1859—1919) — австрийский писатель, автор отточенных по форме небольших рассказов, зарисовок, афоризмов.

щимся пробным камнем нашего настоящего. Но проверки боится лишь тот, у кого нечистая совесть. Человек, не выполняющий задачи своего времени. Однако кто совершенно точно знает свою задачу? Никто. Потому у каждого из нас нечистая совесть, от которой хочется убежать — как можно скорее уснув.

Г. Яноух заметил, что Иоганнес Р. Бехер в одном стихотворении[1] назвал сон дружеским визитом смерти.

— Это верно. Возможно, моя бессонница есть лишь своего рода страх перед визитером, которому я задолжал свою жизнь.

О книге Альберта Эренштейна «Тубуч» с двенадцатью рисунками Оскара Кокошки[2]:

— Такая маленькая книжка и так много шуму в ней. «Вопль человеческий...» Так, кажется, называется книга стихотворений Альберта Эренштейна.

— Вы, значит, хорошо знаете его?

— Хорошо? Живущих никогда не знают. Настоящее — это изменение и превращение. Альберт Эренштейн — одно из явлений настоящего. Он потерянный в пустоте, кричащий ребенок.

— А что вы скажете о рисунках Кокошки?

— Я их не понимаю. Рисунок — производное от слов рисовать, разрисовать, обрисовать. Мне они обрисовывают лишь великий внутренний хаос и сумятицу художника.

— Я видел на выставке экспрессионистов его большую картину, где изображена Прага.

— Большая — с зелеными куполами церкви Николаса в середине?.. На картине крыши улетают. Купола как зонтики на ветру. Весь город взлетает и улетает. Но Прага стоит — вопреки всем внутренним раздорам. И это как раз изумительно в ней.

Г. Яноух рассказал Кафке слышанную им историю о том, что лейпцигский издатель Курт Вольф в восемь часов утра отклонил перевод Рабиндраната Тагора, а через два часа погнал издательского редактора на почту, чтобы вернуть рукопись, так как узнал из газет, что Тагору присуждена Нобелевская премия.

— Странно, что отклонил. Тагор ведь не так далек от Курта Вольфа. Индия — Лейпциг, это расстояние только кажущееся. В действительности же Рабиндранат Тагор — лишь переодетый немец.

— Может быть, учитель?

— Учитель? Нет, не это, но саксонцем он мог бы быть — как Рихард Вагнер.

— Стало быть, мистик в пресловутом непромокаемом пальто?

— Нечто в этом роде.

Г. Яноух дал Кафке немецкий перевод индийской книги о религии.

— Документы индийской религии привлекают и в то же время отталкивают меня. В них, как в дурмане, есть что-то притягательное и пугающее. Все эти йоги и маги покорили естественную жизнь не пламенной любовью к свободе, а молчализой, холодной ненавистью к жизни. Источник индийских религиозных упражнений — глубочайший пессимизм.

В ответ на напоминание Г. Яноуха об интересе Шопенгауэра к индийской философии религии:

— Шопенгауэр — мастер языка. Этим определяется и его мышление. Его непременно нужно читать ради одного только языка.

В связи с выходом нового номера издаваемого Карлом Краусом[1] журнала «Факел»:

— Он великолепно разделывает журналистов. Только заядлый браконьер может быть таким строгим лесничим.

О маленьких, блестяще написанных эссе Альфреда Польгара[2], часто появлявшихся на страницах «Прагер тагблатт»:

— Его фразы так гладки и приятны, что чтение Альфреда Польгара воспринимаешь как своего рода непринужденную светскую беседу и совсем не замечаешь, что на тебя, собственно говоря, влияют и воспитывают тебя. Под лайковыми перчатками формы скрывается твердая, бесстрашная сила содержания. Польгар — маленький, но деятельный маккавеец в стране филистеров.

Возвращая Яноуху книгу стихотворений Франсиса Жамма[3]:

— Он так трогательно прост, так счастлив и силен. Жизнь для него — не эпизод между двумя ночами. Он вообще не знает темноты. Он и весь его мир надежно укрыты во всемогущей длани божьей. Как дитя, он обращается к милому богу на «ты», словно к члену семьи. Потому он и не стареет.

По поводу романа Альфреда Дёблина[4] «Три прыжка Ван Луна»:

— Это большое имя среди новых немецких романистов. Кроме этой его первой книги я знаю только несколько небольших рассказов и странный любовный роман «Черный занавес». Мне кажется, Дёблин должен воспринимать зримый мир как нечто абсолютно несовершенное, и твор-

[1] Имеется в виду стихотворение И.-Р. Бехера «Сон» (1918).

[2] Эренштейн Альберт (1886—1950) — немецкий лирик и новеллист. Экспрессионистская повесть «Тубуч» (1911) с рисунками художника и драматурга Оскара Кокошки (1886—1980) была его дебютом. Сборник антивоенных и антиимпериалистических стихотворений «Вопль человеческий» вышел в 1916 году.

[1] Краус Карл (1874—1936) — австрийский писатель, публицист. В 1899 году основал журнал «Факел», с 1911 года он являлся его единственным автором (до 1936 года вышло 922 номера журнала).

[2] Польгар Альфред (1875—1955) — австрийский писатель, критик.

[3] Жамм Франсис (1868—1938) — французский поэт.

[4] Дёблин Альфред (1878—1957) — немецкий писатель. Роман «Три прыжка Ван Луна» вышел в 1915 году; «Черный занавес, роман о словах и случайностях» — в 1919 году.

чески дополнить этот мир призвано его слово. Это только мое впечатление. Но если вы будете внимательно его читать, вы придете к тому же.

О книге Альфреда Дёблина «Черный занавес, роман о словах и случайностях»:

— Я не понимаю этой книги. Случайностями называют стечение событий, причинность которых неизвестна. Но без причинности нет мира. Поэтому случайности существуют, собственно, не в мире, а лишь здесь *(Кафка дотрагивается левой рукой до лба)*. Случайности существуют только в нашей голове, в нашем ограниченном восприятии. Они — отражение границ нашего познания. Борьба против случайности — всегда борьба против нас самих, в которой мы никогда не можем стать победителями. Но об этом ничего нет в книге.

— Вы, значит, разочаровались в Дёблине?

— В сущности, я разочаровался только в самом себе. Я ожидал чего-то другого, чем то, что он, вероятно, хотел дать. Но упорство моего ожидания так ослепило меня, что я перепрыгивал через страницы и строчки, а к концу — через всю книгу. Поэтому я ничего не могу сказать о книге. Я очень плохой читатель.

В трех воскресных номерах «Прагер прессе» публиковалось сочинение Франца Блея[1] *«Великий литературный зверинец». Автор описывал различных писателей и поэтов как рыб, птиц, кротов, зайцев и т. д. О Кафке было сказано, кроме всего прочего, что он особая птица, питающаяся горькими корнями. О Франце Блее Кафка заметил:*

— Это давнишний приятель Макса Брода. Блей — человек огромного ума и остроумия. Когда мы собираемся вместе, мы очень веселимся. Мировая литература дефилирует перед нами в подштанниках. Франц Блей гораздо умнее и значительнее того, что он пишет. И это совершенно естественно, ибо это только запись разговоров. А путь от головы к перу намного длиннее и труднее, нежели путь от головы к языку. Тут многое теряется. Франц Блей — восточный рассказчик историй и анекдотов, по ошибке попавший в Германию.

О сборнике стихотворений Иоганнеса Р. Бехера:

— Я не понимаю этих стихов. Здесь такая словесная толчея, что не можешь уйти от себя самого. Слова превращаются не в мосты, а в высокие непреодолимые стены. Все время натыкаешься на форму, так что к содержанию вообще не пробиться. Слова не сгущаются здесь в язык. Это вопль. И только.

О двух книгах Г.-К. Честертона — «Ортодоксия» и «Человек, который был Четвергом»:

— Это так весело, что можно почти поверить, будто он нашел бога.

— Смех для вас признак религиозности?

— Не всегда. Но в такое безбожное время нужно быть веселым. Это наш долг. Когда «Титаник» шел ко дну, его оркестр продолжал играть. Так отчаяние лишается почвы.

— Но судорожная веселость гораздо грустнее, чем открыто выраженная грусть.

— Верно. Но грусть безысходна. А речь идет о надежде, об исходе, о будущем — только об этом. Опасность длится лишь маленькое, ограниченное мгновение. За ним — пропасть. Если преодолеешь ее, все станет иначе. Все дело во мгновении. Оно определяет жизнь.

О Бодлере:

— Поэзия — болезнь. Сбить температуру еще не значит выздороветь. Напротив! Жар очищает и просветляет.

Прочитав чешский перевод воспоминаний Максима Горького о Льве Толстом[1]*, Кафка сказал:*

— Поразительно, как Горький рисует характерные черты человека, не давая своей оценки. Я хотел бы прочитать его заметки о Ленине.

— Разве Горький опубликовал воспоминания о Ленине?

— Нет, он этого еще не сделал. Но я думаю, что он когда-нибудь непременно их опубликует. Ленин дружен с Горьким. А Максим Горький видит и все ощущает пером. Это можно понять по заметкам о Толстом. Перо не инструмент, а орган писателя.

В связи с процитированной Г. Яноухом фразой из книги Михаэля Груземана об авторе «Бесов»: «Достоевский — кровавая сказка».

— Некровавых сказок не бывает. Всякая сказка исходит из глубин крови и страха. Это роднит все сказки. Внешняя оболочка различна. В северных сказках не так много пышной фауны фантазии, как в сказках африканских негров, но зерно, глубина тоски одинаковы.

В беседе о книге «Человек добр» Леонгарда Франка[2]*:*

— В большинстве своем люди вовсе не злы. Люди поступают плохо и навлекают на себя вину потому, что говорят и действуют, не представляя себе последствий своих слов и поступков. Они лунатики, а не злодеи.

Кафка рассказал, что Георг Тракль[3] *отравился, чтобы уйти от ужасов войны. «Дезертировал в смерть»,— заметил Г. Яноух.*

[1] Блей Франц (1871—1942) — австрийский писатель и критик. Его сатирическая книга «Литературный зверинец» вышла в 1920 году (расширенное издание опубликовано в 1924 году под названием «Великий литературный зверинец»).

[1] На чешском языке воспоминания М. Горького о Л. Толстом вышли в Праге в 1920 году.

[2] Франк Леонгард (1882—1961) — немецкий писатель. Его сборник антивоенных новелл «Человек добр» вышел в 1917 году.

[3] Тракль Георг (1887—1914) — австрийский поэт.

— У него было слишком сильное воображение. Потому он и не мог вынести войны, возникшей главным образом из-за неслыханного отсутствия воображения.

После десятидневной болезни Г. Яноух пришел к Кафке в канцелярию и сказал, что чувствует себя гораздо более крепким, чем до заболевания.

— Оно и понятно. Вы перенесли встречу со смертью. Это укрепляет.

— *Вся жизнь — лишь путь к смерти.*

— Для здорового человека жизнь, собственно говоря, лишь неосознанное бегство, в котором он сам себе не признается, бегство от мысли, что рано или поздно придется умереть. Болезнь — всегда одновременно и напоминание, и проба сил. Потому болезнь, боль, страдание — важнейшие источники религиозности...

— Что вы читаете?

— *«Ташкент — город хлебный»...*

— Изумительная книга. Я недавно прочитал ее за один вечер.

— *Мне кажется, книга это скорее документ, нежели произведение искусства.*

— Всякое подлинное искусство — документ, свидетельство. Народ, у которого такие мальчики, как в этой книге,— такой народ нельзя победить.

— *Но это, возможно, не зависит от единиц.*

— Напротив! Вид материи определяется количеством электронов в атоме. Уровень массы зависит от сознания единиц.

— Между евреями и немцами много общего. Они усердны, дельны, прилежны и их изрядно ненавидят другие. Евреи и немцы — изгои.

— *Возможно, их ненавидят как раз из-за этих качеств?*

— О нет! Причина гораздо глубже. В основе своей это религиозная причина. У евреев это ясно. У немцев это не так явственно, потому что их храм еще не разрушен. Но это еще произойдет.

— *Как так? Ведь немцы не теократический народ. Они ведь не имеют национального бога в собственном храме.*

— Так принято считать, в действительности же дело обстоит совсем иначе. У немцев есть «бог, который велит растить железо» [1]. Их храм — прусский генеральный штаб.

Кафка рассказал, что пражский писатель-еврей Оскар Баум [1] мальчиком ходил в немецкую школу. Обычно после занятий по дороге домой происходили драки между немецкими и чешскими школьниками. Однажды во время подобной потасовки Оскар Баум получил такой удар пеналом по глазам, что у него отслоилась сетчатка, и он ослеп.

— Еврей Оскар Баум потерял зрение как немец, каковым он, в сущности, никогда не был и каковым его никогда не считали. Может быть, Оскар — печальный символ так называемых немецких евреев в Праге.

В разговоре об отношениях между чехами и немцами Г. Яноух сказал, что для лучшего взаимопонимания обеих наций было бы хорошо издать чешскую историю на немецком языке.

— Бесполезно. Кто станет ее читать? Разве что чехи и евреи. Немцы определенно не станут, они ведь не стремятся узнавать, понимать, читать. Они хотят только владеть и править, а понимание — обычно лишь помеха на пути к этому. Угнетать своего ближнего куда легче, если ничего не знаешь о нем. Совесть тогда не мучает...

Тейлоризм [2] и разделение труда в промышленности.

— Это страшное дело.

— *Вы думаете при этом о порабощении человека?*

— Речь идет о большем. Результатом такого колоссального преступления может быть только господство зла. Это естественно. Самая возвышенная и наименее осязаемая часть творения — время — втиснута в сеть нечистых деловых интересов. Тем самым пачкается и унижается все творение, и прежде всего человек — составная часть его. Такая «затейлоризированная» жизнь — чудовищное проклятие, которое может породить только голод и нищету вместо желанного богатства и прибыли. Это шаг вперед к...

— *Концу мира?*

— Если бы хоть это можно было сказать с уверенностью. Но ни в чем нельзя быть уверенным. Потому ничего нельзя сказать. Можно только кричать, заикаться, хрипеть. Конвейер жизни несет человека куда-то — неизвестно куда. Человек превращается в вещь, в предмет, перестает быть живым существом...

Г. Яноух рассказал Кафке о докладе, посвященном положению в России и организованном союзом марксистских студентов в клубе социал-демократов.

[1] Строка из песни немецкого поэта Эрнста Морица Арндта (1769—1860), написанной в 1812 году. Песня эта в свое время была одним из гимнов борьбы против Наполеона, а впоследствии стала одной из любимых песен националистов.

[1] Баум Оскар (1883—1940) — австрийский писатель, один из близких друзей Кафки. Здесь, как и во всех случаях, когда Кафка размышляет о проблеме «немцы — чехи — евреи», он имеет в виду отношение к ней обывателя, которое очень больно било всю жизнь по нему самому.

[2] Капиталистическая система организации труда, названная так по имени ее создателя американского инженера Ф. У. Тейлора и рассчитанная на получение сверхприбылей путем максимальной интенсификации труда.

— Я ничего не смыслю в политических делах. Это, разумеется, недостаток, от которого я бы охотно избавился. Но у меня так много недостатков! Самое близкое все больше и больше уходит от меня вдаль. Я восхищаюсь Максом Бродом, который хорошо ориентируется в дебрях политики. Он часто и очень много и долго рассказывает мне о текущих событиях. Я слушаю его как сейчас слушаю вас и тем не менее не могу полностью понять их.

— Я неясно рассказывал?

— Вы меня не поняли. Вы хорошо рассказывали. Дело во мне. Война, революция в России и беды всего мира представляются мне половодьем... Это наводнение. Война открыла шлюзы хаосу. Наружные вспомогательные конструкции человеческого существования рушатся. Исторический процесс держится уже не на личности, а только на массах. Нас толкают, теснят, сметают. Мы претерпеваем историю.

— Стало быть, вы считаете, что человек больше не является сотворцом мира?

— Вы опять не поняли меня. Напротив: человек отказался от участия в созидании мира и ответственности за него.

— Это не так. Разве вы не видите роста рабочей партии? Активности масс?

— В том-то и дело. Движение лишает нас возможности созерцания. Наш кругозор сужается. Сами того не замечая, мы теряем голову, не теряя жизни.

— Вы считаете, что люди становятся безответственными?

— Мы все живем так, словно мы самодержцы. Из-за этого мы становимся нищими.

— К чему это приведет?

— Ответы — лишь желания и обещания. Но они не дают уверенности.

— Если нет уверенности, чем в таком случае является вся жизнь?

— Крушением. Возможно, грехопадением.

— Что есть грех?

— Что есть грех... Мы знаем слово и деяние, но мы утратили ощущение и познание Может быть, это уже есть проклятие, покинутость богом, безумие... Не ломайте себе голову над тем, что я вам сказал.

— Почему? Вы ведь говорили совершенно серьезно.

— Именно поэтому. Моя серьезность может подействовать на вас, как яд. Вы молоды.

— Но ведь молодость не недостаток. Она не может помешать мне думать.

— Я вижу, мы сегодня действительно не понимаем друг друга. Но это даже хорошо. Непонимание защитит вас от моего злого пессимизма, который и есть грех.

Перелистывая сборник «Освобождение человечества, свободолюбивые идеи в прошлом и настоящем времени», Кафка долго рассматривал репродукции картин «Война» Бёклина и «Апофеоз войны» Верещагина.

— В сущности, войны еще никогда не изображались правильно. Обычно показывают только отдельные явления или результаты — вот как эта пирамида черепов. Но самое страшное в войне — уничтожение всех существующих гарантий и соглашений. Физическое, животное заглушает и душит все духовное. Это как раковая болезнь. Человек живет уже не годы, месяцы, дни, часы, а только мгновения. И даже в течение мгновения он не живет. Он лишь осознает его. Он просто существует.

— Это вызывается близостью смерти.

— Это вызывается знанием и боязнью смерти.

— Разве это не одно и то же?

— Нет, это совсем не одно и то же. Тот, кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью — лишь результат неосуществившейся жизни. Это выражение измены ей.

По поводу некоторых международных конференций послевоенного времени:

— У этих больших политических собраний уровень обычных встреч в кафе. Люди очень много и очень громко говорят, для того чтобы сказать как можно меньше. Это очень шумное молчание. По-настоящему существенны и интересны при этом лишь закулисные сделки, о которых не упоминают ни единым словом.

— По вашему мнению, пресса не служит истине.

— Истина относится к тем немногим действительно великим и ценным вещам жизни, которые нельзя купить. Человек получает их в дар, так же как любовь или красоту. Газета же товар, которым торгуют.

— Значит, пресса служит оглуплению человечества.

— Нет, нет! Все, в том числе и ложь, служит истине. Теням не погасить солнца.

В одной газетной статье говорится о плохих перспективах мира в Европе. «Но ведь мирный договор окончательный»,— заметил Г. Яноух.

— Нет ничего окончательного. По словам Авраама Линкольна, ничто не урегулировано окончательно, пока не урегулировано справедливо.

— Когда же это будет?

— Кто знает? Люди не боги. История создается ошибками и героизмом любого, самого незначительного момента. Когда бросают камень в реку, образуются круги на воде. Но большинство людей живет без сознания сверхиндивидуальной ответственности, и в этом, мне кажется, источник всех бед...

Г. Яноух показывает Кафке репродукции картин Винсента Ван Гога.

— Как прекрасен этот сад при кафе на фоне фиолетовой ночи. Другие картины тоже хороши. Но этот сад очаровывает меня. Вы знаете его рисунки?

— Нет, их я не знаю.

— Жаль. Они воспроизведены в книге «Письма из сумасшедшего дома». Может быть, вы где-нибудь увидите эту книгу. Я так хотел бы уметь рисовать. Я все время пытаюсь делать это. Но ничего не получается. Только иероглифы, которые спустя некоторое время я и сам не могу расшифровать.

По поводу антологии поэтов-экспрессионистов [1]:

— Книга навевает на меня грусть. Поэты протягивают руки навстречу людям. Но люди видят не дружеские руки, а судорожно сжатые кулаки, нацеленные в глаза и сердце.

В разговоре о новом издании платоновских законов идеального государства Г. Яноух высказал сомнение в том, правильно ли поступает Платон, исключая поэтов из своего государства.

— Это вполне понятно. Поэты пытаются заменить людям глаза, чтобы тем самым изменить действительность. Потому они, в сущности, враждебные государству элементы — они ведь хотят перемен. Государство же и вместе с ним все его преданные слуги хотят неизменности.

На выставке французской живописи, где были и картины Пикассо — кубистский натюрморт и розовые женщины с огромными ногами, Г. Яноух назвал Пикассо «озорным деформатором».

— Я так не думаю. Он просто отмечает уродства, еще не осознанные нашим сознанием. Искусство — зеркало, иной раз оно «уходит вперед» — как часы.

Рассматривая фотографии конструктивистских картин:

— Все это только мечты о чудесной Америке, о волшебной стране неограниченных возможностей. Оно и вполне понятно, ибо Европа все больше и больше становится страной невозможной ограниченности.

Просматривая издание политических рисунков Георга Гросса [2], *Г. Яноух заметил: «Вот это ненависть!»*

— Разочарованная молодежь. Это ненависть, возникающая из невозможности любить. Сила выразительности порождена совершенно определенной слабостью. В этом источник отчаяния и жестокости этих рисунков. Кстати, в одном альманахе я читал какие-то стихи Гросса.

Кафка указал на рисунки:

— Это рисованная литература.

Перелистывая книгу с рисунками Георга Гросса [1]:

— Старое представление о капитале — толстяк в цилиндре сидит на деньгах бедняков.

— Но это ведь только аллегория.

— Вы говорите — «только»! Аллегория превращается в головах людей в отражение действительности, что, разумеется, неверно. Но заблуждение уже возникло.

— Вы считаете, что такое изображение неверно?

— Я совсем не то хотел сказать. Оно и верно и неверно. Верно оно только с одной стороны. Неверно оно постольку, поскольку часть выдается за целое. Толстяк в цилиндре сидит у бедняков на шее. Это верно. Но толстяк олицетворяет капитализм, и это уже не совсем верно. Толстяк властвует над бедняком в рамках определенной системы. Но он не есть сама истина. Он даже и не властелин ее. Напротив, толстяк тоже носит оковы, которые не показаны. Изображение неполно. Потому оно и нехорошо. Капитализм — система зависимостей, идущих изнутри наружу, снаружи вовнутрь, сверху вниз и снизу вверх. Все зависимо, все скованно. Капитализм — состояние мира и души [2]...

— Истинная реальность всегда нереалистична. Поглядите на ясность, чистоту и правдивость китайской цветной гравюры на дереве. Уметь бы так говорить!

— Форма выражения мне несколько непонятна,— сказал Г. Яноух по поводу гравюр на линолеуме Йозефа Чапека, воспроизведенных в журнале «Червень».

— Тогда вы не понимаете и содержания. Форма не есть выражение, а лишь приманка, ворота и путь к содержанию. Возьмет оно действие — тогда откроется скрытый задний план.

Один из пражских журналов проводил анкету, первый вопрос которой гласил: «Существует ли молодое искусство?» На замечание Г. Яноуха, что такой вопрос звучит странно, ибо существует только или искусство, или халтура, Кафка сказал:

— В этом вопросе — ударение не на существительном «искусство», а на определяющем прилагательном «молодое». Это значит, что те, кто задает его, серьезно сомневаются в существовании художественной молодежи. В наше время действительно трудно представить себе свободную, ничем

---

[1] Имеется в виду антология «Сумерки человечества. Симфония новейшей поэзии», вышедшая в 1920 году в издательстве Ровольта.

[2] Гросс Георг (1893—1959) — немецкий художник и карикатурист.

[1] Речь идет о книге Георга Гросса «Лицо господствующего класса», выпущенной в 1921 году издательством Малика.

[2] Здесь очевидно свойственное Кафке представление о капитализме как о едином общественном устройстве, равно угнетающем и эксплуатируемых и эксплуататоров.

не отягощенную молодежь. Страшный поток этих лет затопил все. В том числе и детей. Грязь и молодость исключают, конечно, друг друга. Но что ныне сталось с молодостью? Она так близка и дружна с грязью. Людям ведома власть грязи. Власть же молодости они забыли. Потому они сомневаются в самой молодости. А что за искусство без хмеля молодой уверенности?.. Молодость слаба. А давление извне так сильно. Необходимость защищаться и в то же время сдаваться рождает судорогу, искажающую лицо. Язык молодых художников больше скрывает, нежели выявляет.

Г. Яноух говорит, что молодые художники, с которыми он встречался, обычно люди в возрасте около сорока лет.

— Это верно. Многие люди лишь теперь наверстывают свою молодость. Лишь теперь они играют свою игру в разбойников и индейцев. Разумеется, они делают это, не бегая с луком и стрелами по дорожкам городского парка. Нет! Они сидят в кино и смотрят приключенческие фильмы. Вот и все. Темный зал кинотеатра — волшебный фонарь их упущенной молодости.

В разговоре о молодых писателях:

— Я завидую молодым.

— *Но ведь вы еще не так стары.*

— Я стар, как Вечный жид... Вот теперь я напугал вас. Это была только жалкая попытка пошутить. Но молодым я действительно завидую. Чем старше человек становится, тем больше расширяется его кругозор. А жизненные возможности становятся все меньшими и меньшими. К концу остается один лишь взгляд, один лишь выдох. В этот момент человек, наверное, оглядывает всю свою жизнь. В первый и в последний раз.

Увидев среди книг в портфеле Г. Яноуха детективный роман:

— Вам нечего стыдиться, что вы это читаете. «Преступление и наказание» Достоевского, в сущности, тоже детективный роман. А «Гамлет» Шекспира? Это детективная пьеса. Действие основано на тайне, которая постепенно раскрывается. Но существует ли большая тайна, чем истина? Искусство — всегда лишь экспедиция за истиной.

— *Но что есть истина?*

— Похоже на то, будто вы поймали меня на пустой фразе. На самом же деле это не так. Истина — то, что нужно каждому человеку для жизни и чего тем не менее он не может ни у кого получить или приобрести. Каждый человек должен непрерывно рождать ее из самого себя, иначе он погибнет. Жизнь без истины невозможна. Может быть, истина и есть сама жизнь.

Листая немецкий перевод статей Оскара Уайльда «Замыслы»:

— Это сверкает и манит, как может сверкать и манить только отрава.

— *Вам не нравится эта книга?*

— Я не сказал этого. Напротив: она может слишком легко понравиться. И в этом одна из ее больших опасностей. Ибо опасна книга, играющая с истиной. Игра с истиной — всегда игра с жизнью.

— *Вы считаете, что без истины нет настоящей жизни?*

— Ложь часто является лишь выражением страха перед тем, что истина может раздавить. Это проекция собственного ничтожества, греха, которого страшатся.

Прощаясь перед отъездом Кафки в санаторий в Татрах, Г. Яноух выразил надежду на его скорое выздоровление, на то, что «будущее все поправит, все изменится».

— Будущее уже здесь *(в груди)*, во мне. Изменение — это только обнажение скрытых ран.

— *Раз вы не верите в выздоровление, зачем же вы едете в санаторий?*

— Каждый подсудимый пытается добиться отсрочки приговора.

◆

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КАНАДСКОМУ КИНО?

Кинематографом - невидимкой называют современное кино Канады. И это определение имеет под собой реальную основу. Канадские фильмы — редкие гости не только на экранах мира, но и в кинотеатрах самой Канады. И не потому, что фильмы канадских режиссеров плохи (это не так — некоторые из них уже получили международное признание), а потому, что в своем развитии самобытное канадское киноискусство наталкивается на целый ряд трудностей, преодолеть которые очень нелегко. В конце прошлого года в Канаде были опубликованы два официальных доклада о состоянии канадской кинематографии: доклад Экономического совета провинции Онтарио «Стратегия общественной деятельности и кинематография» и доклад Комитета по изучению культурной политики Федерального правительства, появившийся в результате изучения политики федерального правительства в области культуры и искусства, в том числе кинематографии.

Сравнительный анализ двух этих документов дает яркое представление не только о диаметрально противоположном отношении их авторов к проблемам современного канадского кино, но, что самое главное, свидетельствует о различном подходе к проблемам канадской культуры вообще.

«Канадский опыт» в кино насчитывает уже много десятков лет. Именно в Канаде еще в 20-х годах появилась и затем развилась, впервые в практике буржуазного кино, система государственной поддержки кинематографии. В 1939 году было создано Национальное киноуправление, положившее начало созданию национального кинопроизводства и вскоре ставшее крупнейшим в капиталистическом мире производителем короткометражных документальных, игровых, мультипликационных, экспериментальных фильмов. Несмотря на то, что короткометражные и игровые полнометражные ленты (1—2 в год) Национального киноуправления получали и получают международное признание и премии на различных кинофестивалях, постоянно раздаются требования кардинально изменить структуру и политику Национального киноуправления Канады, которое якобы «транжирит» деньги налогоплательщиков на создание «подрывных» и «элитарных» картин и превратилось к тому же в «бюрократа № 1».

О том, какая острая борьба идет сейчас между сторонниками самостоятельного развития национального канадского кино и теми, кто, заботясь лишь о своих корыстных интересах, призывает следовать «за американцами», свидетельствует опубликование двух вышеназванных докладов.

Рассмотрим сначала доклад Экономического совета провинции Онтарио, подготовленный Даниэлом Лайоном, драматургом, театроведом и юристом, и Майклом Трибилкоком, профессором-юристом, преподающим в Торонтском университете. Оценка содержания этого доклада дана в пресс-релизе, озаглавленном «Правительственная политика в области кинопромышленности лишь в незначительной степени служит поддержке канадской культурной самобытности:

«Этот доклад рассматривает различные формы участия правительства в канадской кинопромышленности с целью выяснить, насколько верно была определена правительственная политика и достигла ли она поставленной цели. Изучалась деятельность Национального киноуправления, Корпорации по развитию канадского кино, Канадского совета по вопросам искусства, литературы, гуманитарных и социальных наук, налоговая система, взаимоотношения с телевидением, а также провинциальные и местные программы по развитию кинопромышленности».

Авторы доклада, справедливо подчеркивая необходимость правительственной поддержки канадской культуры перед лицом практически ничем не ограниченной культурной экспансии южного соседа — США, не ставят под сомнение сам факт подобного участия и влияния, но обвиняют правительство в непоследовательности его политики в области субсидий. Ведь свою поддержку Национального киноуправления и Корпорации по развитию канадского кино либеральное правительство П. Трюдо связывает с наличием или отсутствием в том или ином фильме «канадского содержания». И если Национальное киноуправление

всегда выступавшее за сохранение национального характера своей кинопродукции, постоянно следит за этим (хотя именно его ежегодный бюджет постоянно сокращается), Корпорация по развитию канадского кино, оказывающая поддержку преимущественно представителям частного кинокапитала, заинтересованного в первую очередь в получении прибыли, нередко отступала и отступает от этого принципа.

«Требование о наличии в художественных фильмах «канадского содержания» часто подменяется другим — требованием «канадского участия».

Что это значит? То, например, что прежде, чем выдать субсидию тому или иному кинопроекту, Корпорация по развитию канадского кино требует, чтобы хотя бы один из основных создателей будущего фильма (режиссер, сценарист, исполнитель главной роли) был канадским гражданином. В результате абсолютно формального отношения к этому требованию появляются картины, в которых актеры-канадцы играют американцев (как, например, в фильме «Жар-птица 2015 года», демонстрировавшемся во внеконкурсной программе XII Международного кинофестиваля в Москве в 1981 году). Боб Кларк — режиссер-американец, живущий в Канаде, рассказывает историю англичанина Шерлока Холмса, которого играет канадец (фильм «Убийство по приказу»), а режиссер-канадец Д. Менделюк представляет совершенно невероятную историю похищения террористом из неназванной страны «третьего мира» американского президента. Похищения, которое происходит... в Торонто (американцы, не доверяйте канадцам!) и которое вместе с другими разыгрывают на экране «звезды» американского коммерческого кино Ава Гарднер и Ван Джонсон. Такие картины кто-то очень точно назвал «канадскими американскими фильмами» (то есть фильмами, сделанными по американскому коммерческому образцу).

«Федеральное правительство не решается вмешиваться в этот процесс, опасаясь обвинений в «бюрократическом вмешательстве в специфические проблемы организаций культуры».

Удивительная щепетильность! Ведь когда нужно «прикрыть» неугодный фильм или «призвать к порядку» слишком строптивого кинематографиста (чаще всего это франкоканадцы, обращающиеся к теме социально-политического неравенства франкоканадского населения страны), соответствующие органы действуют весьма решительно...

«Но даже при условии политики поддержки фильмов канадской тематики нет никакой гарантии, что эти фильмы будут демонстрироваться...»

Действительно, в системе канадского кинопроката сложилось совершенно ненормальное положение — более 80% прокатных фирм в стране так или иначе связаны с иностранным (читай: американским) капиталом, которому принадлежит также самая крупная сеть кинотеатров, где, естественно, в первую очередь и в основном демонстрируются американские картины. Прокат американских картин в Канаде ежегодно приносит США около 100 млн. долларов, и Канада считается крупнейшим потребителем американских фильмов в мире...

Где же и как демонстрировать фильмы отечественного производства?

«Предложение выдавать субсидии владельцам кинотеатров (на показ канадских картин.— В. И.), самая крупная сеть которых контролируется из-за рубежа, вряд ли будет поддержано налогоплательщиками... Единственный пока верный путь к тому, чтобы канадские фильмы дошли до зрителей, это введение квоты на показ отечественных фильмов или выделение определенного процента экранного времени на демонстрацию канадских лент... Можно было бы также изымать определенную часть из доходов, получаемых прокатчиками и владельцами кинотеатров, с целью создания фонда для оказания поддержки национальному кинопроизводству. Но попытки двух госсекретарей заинтересовать правительства отдельных провинций в установлении квоты и (или) денежных фондов оказались безуспешными».

Это и является одним из свидетельств безразличия многих из тех, у кого в руках находится власть в стране, к проблемам самобытного канадского киноискусства, а следовательно, и к проблемам канадской культуры.

«Коль скоро невозможно введение квот и начислений, у правительства остается только один путь влияния на частный сектор — политика субсидий» (через Корпорацию по развитию канадского кино, а также используя положения налоговой системы в кинопромышленности.— В. И.).

Давая оценку этой политике, Д. Лайон и М. Трибилкок справедливо подчеркивают, что она никак не связана с развитием и укреплением в кино канадской культурной самобытности.

«В нашем кино задают тон именно те, кто создает коммерческие боевики для продажи в самой Канаде и за границу, сделанные к тому же на общественные деньги (то есть с использованием государственных субсидий.— В. И.). Достойная ли это цель для политики, которая должна проводиться в интересах всего общества,— не нам судить. Но в том, что касается двух теорий государственного участия в кино, представляется, что нынешняя политика скорее служит «частным интересам» отдельных лиц, чем «интересам общественности», требующей поддержки подлинной канадской культурной самобытности в целях представления самим канадцам их собственных проблем и ознакомления остального мира с тем, что представляют собой канадцы».

Что ж, под этим выводом авторов доклада «Стратегия общественной деятельности и кинематография» может подписаться любой канадец, которому небезразличны судьбы кинематографа Канады, борющегося за то, чтобы «выжить». А судя по всему, эта борьба вскоре еще более обострится.

Свидетельство тому — выводы и рекомендации по вопросам кино, сделанные в докладе Комитета по изучению культурной политики Федерального правительства (или «доклад Эпплбаума — Эбера»), который, «изучив» положение дел в кинематографии, призвал значительно расширить роль и увеличить бюджет Корпорации по развитию канадского кино; сохранить существующую в кинопромышленности систему необложения налогом сумм, вкладываемых в кинопроизводство; превратить Национальное киноуправление в центр научных исследований и профессионального образования работников кинематографии.

Призвав оказать «помощь» Корпорации по развитию канадского кино, авторы доклада сыграли на руку в первую очередь всем тем, кого вполне устраивает практика создания «канадских американских фильмов», не имеющих ничего общего с показом реальных проблем страны. Этой же цели служит и рекомендация сохранить налоговые льготы в кинопромышленности.

Что же касается такой рекомендации «доклада Эпплбаума — Эбера», как прекращение творческой деятельности Национального киноуправления, можно сказать лишь одно: она разоблачает претензии авторов доклада, пытающихся уверить общественность в том, будто они выступают в защиту интересов национального киноискусства.

«Ведь это,— пишет еженедельная газета канадских коммунистов «Кенэдиен трибюн»,— к несчастью, означает прекращение деятельности организации, которая только в самое последнее время создала фильмы о проблемах женщин, борющихся за свои права, о разлагающем влиянии порнографии (фильм «Не любовная история»), о необходимости борьбы против атомной угрозы (фильм «Если вы любите нашу планету») и многие другие картины на социально значимые, но некоммерческие темы, за которые вряд ли возьмутся частные продюсеры».

Как известно, именно Национальное киноуправление Канады еще в начале 60-х годов создало первые полнометражные картины, с которых практически началась канадская художественная кинематография. В фильме «Чтобы мир продолжался» режиссеры П. Перро и М. Бро рассказали о жизни и труде рыбаков, об истоках национальных традиций и образа жизни франкоканадцев. В картине Д. Холдейна «Жители засушливых земель» (в советском прокате «Покорители прерий») была представлена драматическая история безработного англоканадца. Достижением канадской художественной кинематографии считается и одна из последних работ Национального киноуправления Канады — фильм режиссера Жана Бодэна «Корделия» — основанный на реальных фактах рассказ о трагической судьбе девушки-франкоканадки, пытавшейся бороться за право самой распоряжаться своей судьбой.

О том, что с Национальным киноуправлением Канады собираются расправиться в первую очередь по политическим мотивам, свидетельствует статья, опубликованная в органе американской развлекательной индустрии — еженедельнике «Верайети». Спрятавшись за канадского автора, живущего в Монреале, газета обрушилась на некоторые новые работы Национального киноуправления, сделанные кинематографистами Квебека. Речь в основном шла о полнометражном документальном фильме известного франкоканадского режиссера Дени Аркана «Комфорт и безразличие», рассказывающем о проведении в провинции Квебек в 1980 году референдума, в результате которого большинство жителей провинции высказались против выхода Квебека из состава Канады (за выход, как известно, высказались 40% населения провинции). Автор фильма попытался объективно представить различные проблемы социальной, политической и экономической жизни в Квебеке, население которого, франкоканадцы, в силу целого ряда причин занимает неравноправное положение по отношению к англоканадскому населению страны, составляющему большинство. Этого оказалось достаточно, чтобы помешать показу фильма — он демонстрировался лишь однажды в небольшом частном кинотеатре в Монреале, а затем в Квебек-сити. Англоканадская аудитория вообще с ним незнакома, так как фильм существует только в одном, франкоязычном варианте.

Не пожелав объективно разобраться в достоинствах или недостатках фильма Дени Аркана, монреальский автор «Верайети» возмутился:

«Вряд ли порядочно тратить деньги канадских налогоплательщиков, особенно не квебекских, а также антисепаратистов в самом Квебеке, на создание фильма, который цинично издевается над квебекцами, сказавшими весной 1980 года «нет» идее разрушения Канады... Надо прямо сказать, что Национальное киноуправление постоянно попадает в неприятности из-за своего слишком либерального отношения к кинематографистам, к демонстрирующим свое презрение интеллектуалам и академикам, к доморощенным сепаратистам, сующим свои носы (!) в личные дела квебекца, который не считает сепаратизм более важным, чем заботы о хлебе насущном и комфорте».

И, наконец, самое «страшное» обвинение:

«Национальное киноуправление становится орудием сепаратизма» (!).

И хотя это утверждение ничем не обосновано, американская газета осмелилась выдвинуть политическое обвинение организации, созданной и финансируемой правительством суверенной страны — Канады!

В этом контексте рекомендация авторов доклада Комитета по изучению культурной политики Федерального правительства, касающаяся лишения Национального киноуправления Канады права на создание фильмов, обретает вполне определенный смысл...

Называя членов Комитета по изучению культурной политики Федерального правительства, среди которых не было ни одного представителя творческих союзов и объединений, а также ни одного представителя профсоюзов, еженедельник «Кенэдиен трибюн» сообщил о его двух сопредседателях: Жак Эбер — автор и книгоиздатель, Луи

Эпплбаум — композитор, который в 30-е годы сотрудничал с прогрессивным торонтским «Театром акции». И справедливо закончил: «Из-за разделов доклада, которому он дал свое имя, касающихся проблем кино и телевидения, его сейчас скорее следует отождествлять с «Театром реакции»...

О сложности ситуации, в которой развивается сегодня прогрессивное канадское кино, говорят и недавние события вокруг упомянутого фильма «Если вы любите нашу планету». Как известно, эта антивоенная лента Национального киноуправления Канады оказалась в списке трех канадских фильмов, выдвинутых на соискание премии «Оскар», которые министерство юстиции США объявило «политической пропагандой, с содержанием которой не согласно правительство США».

Комментируя эти факты на страницах газеты «Правда», ее специальный корреспондент в Вашингтоне Н. Курдюмов писал:

«...канадские картины не могут демонстрироваться на американских экранах без предварительного предоставления списков имен и адресов лиц — учителей, библиотекарей, руководителей общественных организаций и т. д., намеревающихся взять их (фильмы) на просмотр. Иными словами, речь идет о явной попытке взять на заметку, запугать тех, кто хотел бы просмотреть 26-минутный документальный фильм «Если вы любите нашу планету». Фильм сопровождается лекцией активистки антиядерного движения доктора Хэлен Колдикотт и кадрами японских городов Хиросимы и Нагасаки после американской атомной бомбардировки. Речь идет также о двух фильмах, в которых рассказывается об угрозе окружающей среде в связи с ядовитыми кислотными дождями».

Естественно, что американская и канадская общественность увидела в этих попытках стремление вернуться к практике эпохи маккартизма.

В. ИВАНОВ

ЧТО ТАКОЕ АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА?

Этот вопрос в последнее время все чаще задают британские критики, литературоведы, социологи. Вопрос в известной степени неожиданный, потому что еще недавно нельзя было сказать, что биение теоретической мысли — отличительная черта британского литературоведения. Среди изобилия критических материалов с трудом отыскивалась хотя бы одна проблемная теоретическая статья о состоянии британского романа. Критики избегали обобщений, их уделом было эмпирическое накопление фактов.

Качественные изменения наметились в начале 80-х годов. Одним из примеров может быть специальный номер литературного приложения к «Таймс», целиком посвященный значению литературной теории. В обсуждении приняли участие такие видные английские критики и писатели, как Малькольм Брэдбери, Джон Бейли, Денис Доногью, Джордж Стайнер.

О произошедших изменениях в литературоведении свидетельствует и создание нового проблемно-теоретического журнала «Гранта». О направлении работы журнала говорят уже первые публикации. Так, третий номер «Гранты» целиком был посвящен обсуждению состояния современного английского романа. «Конец британского романа» — так редколлегия озаглавила «круглый стол», который прошел в журнале. Многие ведущие английские критики, как показало обсуждение, обеспокоены не столько «эстетическим здоровьем английского романа», сколько неблагоприятными социально-экономическими, а соответственно и психологическими условиями, в которых он сегодня существует.

«Если английский роман умер, то его убили мужчины» — такое интригующее название предпослал своей статье (опубликованной на страницах журнала «Лиснер») о состоянии современной британской прозы Фрэнсис Донливи. Он высказал соображение, что кризисное состояние британской прозы связано с тем, что «писатели пишут, но их никто не читает».

«Юноши не читают, поскольку все свободное время они отдают развлечениям, которые им наперебой предлагает общество массового потребления. Мужчины не читают, так как в обществе, переживающем серьезный экономический кризис, они вынуждены еще больше времени отдавать работе — в противном случае им не прокормить семью. Читают преимущественно женщины, и они-то являются основными потребителями литературы. Но какой? Весьма своеобразного толка. Вот и получается, что серьезная литература, которая поступает на книжный рынок страны, находит весьма умеренный спрос».

Серьезной литературой восхищаются, о ней рассуждают с умным видом, но ее никто не читает, зато со страстью поглощают литературную макулатуру под названием «бестселлеры», пишет Джон Сазерленд, автор книги «Бестселлеры: популярная литература 70-х годов», получившей широкий резонанс в британской печати. Мы живем в век бестселлеров, и, видимо, рассуждает Сазерленд, настало время не просто регистрировать, какие книги и сколько времени держатся в списках самых популярных новинок, но понять, почему эти ремесленные однодневки обладают такой притягательной силой и какое пагубное воздействие оказывают они на развитие национальной культуры.

Феномен бестселлера — феномен глубоко социальный. Своим существованием бестселлер чаще всего обязан не таланту автора (хотя, безусловно, случается, что бест-

селлером становится действительно яркое произведение), но целой «индустрии агентов, издателей, коммерсантов». Наивно полагать, что какой-то неизвестный автор вдруг благодаря своему недюжинному дарованию всплывает на поверхность литературы и становится звездой первой величины. Звезда, пишет Сазерленд, это продукт кропотливой, продуманной работы, лозунгом которой могут быть слова: «Читателя необходимо убедить, что он потратил деньги не зря».

Итак, серьезную литературу потеснили бестселлеры, но насколько они отражают состояние национальной литературы? Этот вопрос поставлен в статье «Сто блиц-бестселлеров», опубликованной в «Гардиан», в которой ее автор Алекс Гамильтон предпринял попытку, обратившись к списку бестселлеров за 1982 год, проанализировать состояние книжного рынка страны.

Из ста имен узнаваемы от силы десять. Среди них — Лен Дейтон, Том Шарп, Рональд Дал, Агата Кристи, Айрис Мердок. Последовательность в перечислении отражает порядок, в котором эти писатели упоминаются в списке бестселлеров. А если говорить о порядковом номере в списке, то Лен Дейтон занимает 11-е место, а Айрис Мердок — 93-е. Вряд ли по этому перечню, где 90 авторов — совершенно случайные имена, которые, как пишет Сазерленд, «неминуемо будут забыты», можно составить представление о национальной литературе.

Премии, которые ежегодно присуждаются в Великобритании, тоже не могут быть надежным ориентиром при ответе на вопрос, что же такое британская литература. Как заметила видная английская писательница Берил Бейнбридж, долгое время состоявшая членом комитета по распределению такой почетной премии Великобритании, как «Букер», присуждение той или иной награды, к сожалению, слишком часто носит случайный характер, а по тому, кто становится победителем, можно судить не столько об истинном достоинстве произведения, сколько о личных пристрастиях членов жюри.

Если английская литература не перечень бестселлеров, а лучшие произведения не те, что были удостоены премий «Букер», Ллевеллина Райса, Сомерсета Моэма и других, а такая солидная организация, как Ассоциация британских издателей, существующая в стране с 1896 года, пишет обозреватель «Таймс литерари сапплмент» Роберт Хьювисон, «не обладает реальной силой» и ее деятельность никак не влияет на развитие английской литературы,— что же такое литература страны, имеющей давние и славные традиции?

Ответ на этот вопрос постарался дать недавно созданный журнал «Проблемы преподавания литературы». Сотрудниками журнала был проведен опрос читателей, в результате которого пришли к выводу, что

«английская литература — это то, что вырисовывается из ответов на вопросы во время экзаменов или во время читательского опроса».

Ответы на анкету, проведенную журналом, дают возможность представить себе, кто же из английских писателей наиболее популярен. Как показало анкетирование, английская литература — это «продукт 166 авторов, которые не всегда по понятным причинам известны читающей публике».

Если можно еще увидеть некоторые закономерности, когда речь идет о классиках (Шекспир упоминается 190 раз, Чосер — 60, Харди — 54), они практически неуловимы, когда говорят о современной литературе. Из прозаиков наиболее популярен Уильям Голдинг.

«Это происходит потому,— не без иронии прокомментировал этот факт сам писатель в беседе с Денисом Доноглю,— что мой роман «Повелитель мух» включен в программу университетов и студенты, хотят они того или нет, должны помнить, что на свете существует автор по фамилии Уильям Голдинг».

Второе место занял Ричард Адамс, автор утопий, главные герои которых — животные. На последнем месте оказалась известная английская писательница Маргарет Дрэббл. Среди драматургов самый популярный — Стоппард, из поэтов — Бетджамен.

Данные вроде бы объективные, но и в них ощущается налет случайности. Опрос читателей — тоже не способ выяснить, что же такое национальная литература. «Век пошатнувшихся стандартов», как называет XX век известный английский критик, литературовед, автор популярного путеводителя по современной английской литературе Мартин Сеймур-Смит, делает особенно актуальным вопрос: «А судьи кто?». В обзорной статье «Британский роман 1976—1980 гг.», которую он опубликовал в журнале «Бритиш бук ньюс», критик выразил искреннее удивление по поводу того, что издательская продукция в Великобритании не сократилась резко за последнее десятилетие.

«Странно,— пишет Сеймур-Смит,— что книги по-прежнему печатаются у нас в прежних количествах. Теперь библиотеки покупают гораздо меньше книг, чем раньше. Владельцы частных собраний, которые раньше сразу же по выходе книги покупали издания в твердых переплетах, оставили эту скверную привычку. С другой стороны, совершенно закономерно, что издатели повысили цены на книги. Вот и получился замкнутый круг: число людей, обычных людей, которые были потребителями книг, резко сократилось».

«Век пошатнувшихся стандартов» требует деления литературы на массовую, ту, что потребляют, и серьезную, ту, что останется в памяти нации хотя бы на протяжении столетия. И, видимо, ответ на вопрос, что же такое английская литература, надо искать в статье известного английского критика Питера Акройда, которая сразу после того, как появилась на страницах журнала «Лиснер», привлекла к себе внимание многих британских литературоведов.

В самом названии статьи, пространном и отчетливо полемическом — «Там, за океаном, я вижу упадок и риторику, здесь — обновление и чувство уверенности»,— была

сформулирована главная, хотя и достаточно неожиданная мысль автора.

Сопоставление английской и американской литератур давно уже стало общим местом критики, причем не только иностранной, но даже и отечественной, английской. При этом высказывалось соображение, что английская литература не выдерживает сравнения с американской. В американской прозе — «отчетливые достижения», в английской — измельчание темы, провинциализм проблематики, атрофия формы.

В самом деле, соглашается Питер Акройд, Англии нечего противопоставить безудержному американскому новаторству, которое для него определяется понятием «авангард». Многочисленные школы, эстетические группировки, движения, всяческие «измы», которыми пестрит искусство Америки XX века, не находят параллелей здесь, в Англии. С трудом вспоминаются две-три школы в истории английской литературы — и это не за последние десятилетия, а на протяжении всего XX столетия.

Здесь, правда, нелишне вспомнить, что часто идея эксперимента рождалась в Англии: экспериментальный роман Джойса не получил распространения, во всяком случае непосредственно в Великобритании, но зато имел немало прямых последователей в США, музыка «Битлз» была взята за основу многими американскими рок-группами, эти примеры можно было бы продолжить. Любопытно, что и сами экспериментаторы не приживались на английской почве: ниспровергатель традиционных форм в живописи художник Дэвид Хокни, например, поселился в Америке.

Оглядываясь на минувшее десятилетие, Питер Акройд пытается подвести некоторые итоги, понять, насколько же был удачен опыт американской литературы. Как видится Акройду, достижения оказались отнюдь не такими блестящими, особенно если припомнить, каковы были обещания. Питер Акройд считает, что

«на многих свершениях и дерзаниях американских писателей, художников, музыкантов лежит печать самоуверенного мифотворчества».

И именно в этом ракурсе по-иному начинает восприниматься английская культура:

«За последние десять лет в английской культуре наблюдается отчетливая консолидация сил: английские писатели обрели уверенность в правоте выбранного ими пути. Долгое время находившиеся в тени своих великих американских современников, они вышли оттуда полные сил. Происходит не просто смена ролей, идет процесс, затрагивающий самую суть наших культур».

Нельзя не ощутить выраженной антиамериканской позиции в статье Питера Акройда. Автор как бы выносит за скобки серьезные достижения американских писателей. Не пишет, что в 70-е годы в американской литературе укрепились позиции реализма, не дает анализа бурного расцвета документальных форм письма. Но в целом можно понять — и принять — направление его мысли: американская литература в его статье становится определенной метафорой, своего рода эстетической и идейной точкой отсчета при сопоставлении двух культур: одной — основывающейся на традиции, другой — взращивающей авангард.

Иную картину являет современная английская культура, в частности литература. Никто из серьезных английских писателей минувшего десятилетия не мог позволить себе «свободно плыть по течению общества потребления». Многочисленные американские образцы, заполонившие книжный рынок Великобритании, не нашли подражания в творчестве английских писателей.

«Мы обратились,— пишет Акройд,— к самим себе, к осмыслению собственного экономического, политического и духовного кризиса. Мы должны были что-то противопоставить экономическому упадку, который воспринимался как проявление гораздо более серьезного национального бедствия. Ведь, как известно, модные эстетические теории — плохие помощники в такой ситуации».

Сознание, что вся национальная история должна быть переосмыслена, привело к утверждению социально значимого и эстетически полноценного искусства.

Какие же явления в английской литературе последнего десятилетия представляются, например, Сеймуру-Смиту наиболее значительными? Забегая вперед, хочется заметить, что все книги, так или иначе попавшие в поле зрения Сеймура-Смита, обнаруживают свою отчетливую связь с английской классической традицией реализма.

«Пальма первенства» отдана Грэму Грину и его небольшой повести «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» [1]. Это произведение критик назвал «безупречным во всех отношениях», оно показывает, какими глубокими потенциальными возможностями обладает малая форма в английской литературе. Значительным событием стал и роман известного романиста, критика, литературоведа Энгуса Уилсона «Удивить мир» — «весьма ироничная книга, жестокий миф о богатых». Традиции Диккенса, критика английской социальной системы, Теккерея, бичующего британский снобизм, Троллопа, мастера психологического рисунка, тонкого знатока души человека, оживают в романе Энгуса Уилсона о современной Англии. С большой похвалой Сеймур-Смит отозвался и о романе Уильяма Голдинга «Морские ритуалы». Голдинг, по мнению Сеймура-Смита, «самый талантливый английский прозаик», который остается верен в своих книгах-притчах английской традиции нравственно-дидактического письма.

На 70-е годы пришелся и быстрый расцвет романистки «стопроцентно английской» — Барбары Пим. «Две-три семьи в провинции» в центре внимания Пим так же, как когда-то на рубеже XVIII и XIX веков они были предметом тщательного описания в романах классика английской литературы Джейн Остин. Темы вроде бы камерные, но, как давно уже доказало творчество Остин и как показывает сегодня проза Пим,

[1] См. «ИЛ», 1982, № 6.

полны «человеческого обаяния»: людские судьбы, трагедии, социальные и психологические конфликты выписаны в них правдиво и точно.

Серьезным достижением Сеймур-Смит считает и роман Айрис Мердок «Море, море». Глубоко неправы те критики, замечает Сеймур-Смит, которые считают творчество Айрис Мердок лишь развлекательным. Особые мерки требуются для понимания таланта этой изобретательной писательницы, наделенной «удивительным даром воображения, умеющей ставить в своих книгах, в которых немало от детективов, глубокие вопросы бытия человека, самые жгучие проблемы его духовной жизни».

Ярким достижением в области новеллистики называет он рассказы Фрэнсиса Кинга, «лучшего мастера малой формы в современной Великобритании».

Признаком здоровья английской прозы Сеймур-Смит считает и оживление литературы британских регионов. «Все чаще и чаще мы получаем образцы превосходной прозы из Уэльса». «Якорное дерево» Эмира Хэмфри — образец зрелости валлийской прозы: «здесь можно увидеть мастерское обращение с формой, которая при этом никак не заслоняет содержательную насыщенность».

Выделяя главное в английской литературе 70-х годов, и Сеймур-Смит, и Акройд сходятся на том, что для всех серьезных и столь несхожих писателей был свойствен интерес к социальной детали, этой неотъемлемой черте эстетики реализма, которая стала для них способом выражения и осмысления трудного, а в целом ряде случаев и «озадачивающего состояния» британского общества.

Современную английскую литературу характеризует стройность, сдержанность формы. Читая произведения разных писателей, отличающихся друг от друга талантом, мировосприятием, невольно приходишь к выводу, что их конечная задача — не «удивить мир», используя название последнего романа Энгуса Уилсона, но обрести знание, удержать в слове жизнь, понять человека XX столетия.

В этом смысле очень показательна реакция на роман Джона Фаулза «Даниэл Мартин» по обе стороны Атлантики. В Америке он был встречен восторженно. В Англии ведущие британские литературоведы сошлись на том, что это «вызов серьезной прозе». Может быть, суждение и слишком строгое. Но, видимо, претенциозность, которая, безусловно, свойственна Фаулзу, не в традиции английской прозы. Так, например, тот же Сеймур-Смит писал по поводу «Даниэла Мартина»:

«Будем надеяться, что критика принесет пользу этому трудному английскому писателю и он пойдет навстречу своим читателям, которые ждут от него не позы, но простоты».

Нелишне еще раз повторить, что все сравнения хромают и в них всегда есть перекосы, и все же сопоставление английской литературы с американской позволяет иначе взглянуть на сравнительно небольшие, внешне неброские английские романы, которым и в самом деле далеко до «монументальных» американских полотен.

«Малый объем,— пишет Акройд,— оказывается полон глубоких возможностей. Нет помпезности, нет риторики, но есть честное воспроизведение действительности. Именно это мы видим в книгах таких наших писателей, как Энгус Уилсон, Фрэнсис Кинг, Алан Силлитоу, Берил Бейнбридж. Их главная задача — воссоздать современную жизнь в ее современных формах.

Задача благородная и самая трудная для искусства. «Типичные характеры в типичных обстоятельствах», о которых писал Энгельс. И если и в самом деле писателю удается воссоздать в слове тип и время, его породившее, ему удается главное — изображение национальной истории в ее конкретно-социальном выражении.

Окружающий английских романистов мир жесток, нестабилен, а часто и фантасмагоричен. И потому иронична и мрачна, а иногда и фантасмагорична проза, например, Энгуса Уилсона и Берил Бейнбридж. Большой мир все больше наступает на мир малый, и потому с такой заботой и вниманием воссоздают эту «цитадель человеческого духа» Фрэнсис Кинг, Сьюзен Хилл, Уильям Тревор.

«Английскую прозу последнего десятилетия можно уподобить,— пишет Питер Акройд,— огромному кораблю, который медленно, дюйм за дюймом, поднимается на поверхность моря — процесс неспешный, требующий напряжения всех сил. Диапазон тем и проблем английских романистов не столь масштабен, как у их американских коллег, но истины их человечнее, и они воспроизводят наше общество с удивительной ясностью, так, как будто делают это в первый раз. Там, за океаном, я вижу упадок и риторику, здесь — обновление и чувство уверенности».

Е. ГЕНИЕВА

ДЖЕЙМС БОНД, ЦАРЬ ОБЕЗЬЯН

Он уходил от любой погони. Он появлялся там, где его меньше всего ждали,— твердая рука, верный глаз и клятва отомстить за гибель отца. Благородный полицейский инспектор перетянул его на сторону закона и порядка, так что Индия вздохнула с облегчением; бесстрашный Бахадур преследует теперь бандитов и других преступников, собирая огромные деньги — миллионы рупий крупнейшему издательству комиксов «Индраджал».

У Бахадура есть помощники, есть соперники: «Инспектор Азад», «Секретный агент Викрам», «Инспектор Гаруда», «Малыш — шпион» и многие другие.

Судя по цифрам, в целом выходит неплохо: в 1978 году, когда Индия доказала, что она не хуже других, и завела собственные комиксы, они дали десять миллионов рупий прибыли, а через четыре года — пятьдесят миллионов.

Лихие герои комиксов, в число которых входят и всемирно известные Батмены, Астериксы и — как же без него? — Джеймс Бонд, смели на своем пути все индийские языковые барьеры: Бахадур гоняется за бандитами на шести языках; Супермен и Батмен выходят сухими из воды на пяти, а вот комиксы на мифологические и эпические темы расходятся огромными тиражами на девяти индийских языках.

«На рынке комиксов наступил беспрецедентный бум — сбыт продукции увеличивается на 33% в год»,—

удовлетворенно объявляет в интервью журналу «Си» Говардхан Капур, один из «крестных отцов» нового бизнеса.

Его точку зрения поддерживает и А. Т. Сингхви, директор «Индраджала»:

«Рынок растет с поразительной быстротой... Мы уже убедились, что читатель готов покупать что угодно, но обязательно в виде комиксов».

Что же произошло?

Комиксы придумала не Индия, а Индия познакомилась с ними не вчера. Пока дело ограничивалось импортными Фантомами или Мандрейками, все было ясно — где же нынче нет Фантомов?

Все переменилось, когда герои комиксов обрели индийские имена и обличья, а деятельность свою развернули в индианизированных ситуациях: вот тут популярность комиксов полыхнула степным пожаром, крупнейшие издательства и газетно-журнальные концерны взялись за разработку золотой жилы сразу в двух направлениях: увеличили импорт международного китча и наладили конвейерное производство собственного.

Ибо плотная толпа секретных агентов, космических монстров, головорезов с благородными позывами и без них, неправдоподобно стройных красавиц различных степеней раздетости — все это есть имитация конструкций наднационального китча с национальным, индийским наполнением.

Другая категория комиксов не менее популярна и не менее любопытна — кинокомиксы.

Если комикс в целом можно считать гибридом кино и книги, то кинокомиксы тогда — это подобие видеокассеты для бедных, ярко размалеванные на дешевой бумаге рисунки по мотивам популярных фильмов.

Что они собой представляют?

Посмотришь подряд с полдюжины типичных индийских коммерческих фильмов — и начинает казаться, будто крутится одна бесконечная лента с перекормленными актерами в стереотипных ситуациях, с песнями, танцами, драками и снова с песнями.

Коммерческая киноиндустрия Индии, производящая в иные годы до шестисот лент, уже давно выработала рецепт, соединяющий приемы западной масс-культуры с отображением индийской действительности в мифологизированном виде.

При этом важно отметить уникальную черту индийских «фабрик снов» — их продукция и не претендует на то, чтобы казаться явью, чтобы хоть в какой-то мере соотноситься с реальностью жизни тех, кто заполняет кинозалы.

Что же касается кинокомиксов, то они не претендуют даже на показ красивых снов — скорее они представляют собой пересказ красивых снов, которые видели миллионы людей.

Как ни затянуты — по европейским стандартам — индийские фильмы, у них все-таки есть конец. Зажигается свет, и зрители выходят в жизнь, которая так проигрывает от сравнения с тем, что творилось на экране!

Разве это не счастье — есть кинокомиксы, значит, фильм, который так пришелся зрителю по сердцу, может продолжаться на бумаге — да хоть сто серий! Любимые актеры, волнующий сюжет: с любовью, с невероятными совпадениями, с драками, с погонями... Вот только без музыки и песен — немой фильм.

Кинокомиксы стремительно завоевывают рынок, успешно конкурируя если не с самими фильмами, то с иллюстрированными киножурналами и журнальчиками.

Но самую верхнюю строчку на шкале популярности занимает серия комиксов на сюжеты из эпоса и мифов древней Индии.

Появление мифологических комиксов связано с именем Ананда Паи. Он много лет импортировал в Индию бесконечные приключения Фантома, пока не понял, что иноземцу индийский рынок не завоевать.

Мифологическая серия, скромно начинавшаяся со знаменитой «Панчатантры» и рисованных апокрифов о жизни Будды, обернулась истинным Клондайком. Ананд Паи основал собственное издательство комиксов «Ранга рекха», которое сегодня снабжает материалами свыше пятидесяти периодических изданий на различных индийских языках. Фантом посрамлен и заброшен.

Ананд Паи рассказывает на страницах еженедельника «Индиа тудей», что натолкнуло его на благодатную мысль о мифах и комиксах:

«Как-то раз во время школьных каникул я предложил моим племянникам самим сделать детский журнал. Они с увлечением начали рисовать и писать, но, прочитав их рассказы, я пришел в ужас — я понял, что дети (воспитанные на сентиментальных западных рассказах)... понятия не имеют об индийской культуре. Тогда я решил, что проблему может решить серия комиксов, которая будет сочетать в себе познавательность с занимательностью».

Если даже эта трогательная история — чистая правда, если даже мифологические комиксы задумывались с благородной целью — познакомить англизированную прослойку горожан с великой культурой их собственной родины, то вышло все это совсем не так, как предполагалось.

Кстати, о познавательности и занимательности: Индия давно выпускает очень неплохие комиксы для школьников по различным предметам, просветительские комиксы для «новограмотных» — людей, научившихся читать уже взрослыми, и многое другое. Но вокруг этих публикаций нет никакого ажиотажа, они, естественно, не пользуются таким бешеным спросом и не приносят бешеных денег. Да и можно ли называть их комиксами? Это просто рассказы в картинках, как правило, выполненные с большой выдумкой, но, конечно, без того сверхпрочного сюжета, который является основой настоящего комикса.

Ведь комиксы, если даже их и можно отнести к категории того, что читается, составляют чтение совершенно особого рода, ибо главное в них — рисунок, видеообраз, а слово там неизбежно на вторых ролях. Держится комикс на сюжете, поэтому сюжет и должен быть сверхпрочным.

Приключения героя Бахадура придумывает Джагджит Уппал, который к тому же известен как астролог и предсказатель будущего. Восторгаясь его умением строить сюжет, Ананд Паи пишет:

«Он обладает высокоразвитым чувством драматического действия и понимает, что сделать комикс труднее, чем написать рассказ, потому что здесь важно уметь драматизировать события и нагнетать напряженность, оставаясь в рамках жанра».

В индийских мифах, в знаменитых эпических поэмах «Махабхарате» и «Рамаяне» сюжетности и драматизма более чем достаточно. К тому же можно использовать уже готовые и привычные Индии видеообразы — от глубокой древности до наших дней мифологическая и эпическая тематика питает собой все жанры народного изобразительного искусства. Подвиги Рамы, злодейство демона Раваны, похитившего жену Рамы — прекрасную Ситу, спасти которую помогает обезьяний царь Хануман... Описание великой битвы между кауравами и пандавами и поединки между славными бойцами... Похождения шаловливого бога Кришны и его возлюбленной, пастушки Радхи... Изящные и остроумные притчи о зверях и птицах... Народная фантазия не устает воспроизводить их снова и снова, сюжеты их сами просятся в комиксы, тем более что в Индии, как, наверное, в народном творчестве каждой страны, издавна существует нечто наподобие пракомиксов: картинка за картинкой выстраиваются поучительные, героические или смешные истории.

Правда, Индия отличается от других стран тем, что герои ее мифов и эпических сказаний так и не ушли в обложки толстых томов — они и сегодня живы в восприятии миллионов, которые знают на память стихи и целые поэмы об их деяниях, которые с детства приучаются соизмерять свои поступки с нравственным эталоном эпоса и мифологии. И что бы ни происходило с персонажами древних повествований, победа всегда оставалась не за сильнейшим или хитрейшим, а за тем, кто был чист душою и следовал строгим нравственным канонам.

И вот герои древности встали в один ряд с Батменами, секретными агентами и прочими, над конструированием которых хорошо поработали специалисты по массовой психологии и методам манипулирования массовым сознанием. Еще раз — комиксы выдумала не Индия, и создатели индийских комиксов, в частности мифологических, используя для них готовые западные модели, берут вместе с ними и западную систему ценностей. Моральное превосходство, которым Индия наделяла своих героев, превращается в культ грубой силы, любовные переживания заменяются сексуальным любопытством и так далее.

Пускай Джеймсу Бонду и не снилось то, что вытворяет Хануман — царь обезьян, изворотливый, насмешливый, проказливый: ведь хоть и царь, а все же обезьяний! Проделки Ханумана остаются в комиксах, но исчезают нравственные достоинства царя, его преданность дружбе, его готовность жертвовать собой во имя истины и справедливости — категорий, Джеймсу Бонду попросту неизвестных.

Как здорово можно раскадровать в комиксах перипетии великой битвы — сюжетной основы «Махабхараты»: сверкание оружия, потоки крови, на боевой колеснице вылетает непобедимый Арджуна, его возничий — сам бог Кришна... И опустить бессмертные слова:

«Лишь на действие имеешь ты право, но не на плоды его. Не должно побуждать тебя к действию желание воспользоваться его плодами, но ничто не может быть оправданием бездействию».

Из великого духовного наследия, тысячелетиями формировавшего облик Индии, начисто выбрасывается его морально-этический смысл, остается лишь динамизм сюжетного развития — происходит джеймсбондизация духа.

Сила воздействия комиксов на массовое сознание вызывает совершенно оправданную тревогу у мыслящих людей Запада, где традиция книжной культуры несравненно прочней, чем на Востоке, а в обстановке, где печатное слово имеет принципиально иной статут, эта сила возрастает многократно.

Сегодняшняя Индия находится где-то на полпути между традицией слухового восприятия и грамотностью. Грамотность составляет в среднем по стране около 40%, и процент этот медленно, но неуклонно ползет вверх.

Недорогие, яркие, занимательные комиксы, которые можно читать, на самом деле не читая, не могли не стать популярными среди людей «на полпути к книге». Если к этой массе потенциальных покупателей приплюсовать детей и подростков — «классических» потребителей комиксов, то раскроется секрет комиксового бума именно в последние три-четыре года. И, конечно, массовому — что в условиях Индии означает деревенскому — читателю Бахадур должен быть понятней и ближе, чем далекие Старгейзеры.

Приспособление импортного китча к национальным условиям — явление отнюдь не новое: достаточно вспомнить все тот же коммерческий кинематограф или чтиво для

женщин. А китч, в силу самой своей природы, с легкостью поддается всякого рода адаптациям.

Нечто принципиально иное представляют собой мифологические комиксы, где национальная форма или, точнее, оболочка, ибо сложнейшая структура эпоса и мифа, упрощенная до линейной конструкции комикса, уже не может рассматриваться как традиционная национальная форма — так вот, эта оболочка содержит в себе все тот же китч. Более того, герои мифологических комиксов действуют, как полагается, по закону джунглей — но ведь это те образы, которые от начала времен были для Индии олицетворением всех добродетелей, недосягаемо высоким примером!

Индия с древнейших времен стремилась добиться высокой степени типизации в своих литературных героях, делая их скорее носителями качеств, чем живыми людьми.

Масс-культура тоже ориентирована на создание стереотипов, лишенных каких бы то ни было черт особенного, но масс-культура низводит человеческие качества до предельно примитивного уровня, доступного восприятию без малейших усилий. Вопрос же о нравственном усилии в желании подняться до высот духа издавна любимых героев здесь просто не ставится — что дает потребителю комикса обманчивое ощущение равенства с ними.

Можно понять индийского критика С. Мальхотру, который сравнил мифологические комиксы с лекарственной капсулой, начиненной сильнодействующим ядом — она легко проглатывается, да и выглядит вполне безобидной.

Но спрос продолжает расти — и больше всего на эти комиксы. Спрос рождает предложение, и производство комиксов поставлено на поток. О том, как действует поточная линия комиксов, пишет тот же еженедельник «Индиа тудей»:

«...содержание комиксов полностью зависит от воли директоров издательств. Ни один художник, ни один писатель не сумел выпустить комикс, который выдержал бы условия рынка. Все прибыльные комиксы разрабатываются такими людьми, как Паи, и выполняются сотрудниками издательства в строжайшем соответствии с замыслом Паи».

И еще одна сторона дела: осенью прошлого года в Дели проходил 13-й Азиатский конгресс по рекламе, выбор места которого указывает на то, что индийская реклама вышла из невинного возраста.

Об этом же говорит и статистика — в Индии сегодня существует свыше четырех сотен рекламных агентств, самое крупное из которых, ХТА, получило в 1981 году прибыль в 230 млн. рупий.

Какая тут связь с комиксами?

Рекламные агентства, работающие с таким размахом, используют все новейшие методы исследования спроса, «психографического» анализа потенциального покупателя и, не останавливаясь на этом, пытаются формировать жизненный стиль, стимулирующий спрос на определенные товары.

Один из директоров ХТА, Сурен Чавла, говорит:

«Сегодня, если мы решим, что товар будет покупаться молодыми людьми в возрасте от 21 до 27 лет, доход которых составляет не менее 1750 рупий, мы закладываем эти данные в компьютер и уточняем стратегию ведения рекламной кампании».

Иными словами, прогрессивным силам Индии, ратующим за приобщение к лучшим образцам мировой культуры миллионов людей, только сейчас получающим возможность выйти из рамок индийской традиции, приходится вести борьбу против тщательно продуманной политики.

Было бы наивно думать будто в Индию пробрались агенты мировой реакции, переодетые в издателей,— с целью подорвать основы древнеиндийской культуры. Это, может быть, и проходит как сюжет для комикса, но не более того.

На самом деле жизнь не так проста, как кажется. Она гораздо проще. Идет банальная погоня за наживой, свирепая конкурентная борьба за неожиданно обнаружившийся и весьма перспективный рынок. Коммерческие средства массовой информации по своей природе тем рентабельнее, чем общедоступней их материал. Пожалуй, только комиксовый бум с особой наглядностью демонстрирует совпадение финансовых интересов бизнеса Индии с идеологическими притязаниями западных неоколонизаторов.

Прогрессивные силы Индии понимают необходимость борьбы против вульгаризации и извращения традиции, против очередной попытки использования возможностей средств массовой информации не для просвещения, а для оглупления масс. Ясны им и трудности борьбы против распространения комикса, приобретающего характер хорошо продуманной кампании. Результатом этой кампании могла бы стать деполитизация и денационализация масс.

Однако нельзя забывать, что социальные перемены в Индии, которые, в частности, дали массам возможность заинтересоваться комиксами, породили и куда более масштабный процесс — политизацию массового сознания. Этот фактор является реальной основой сопротивления национального сознания попыткам навязать ему чуждую систему ценностей.

М. САЛГАНИК

◆

ВРЕМЯ ЗАЩИЩАТЬ ЖИЗНЬ

ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛИ МИРА

Конспект в трех частях с примечаниями нашего специального корреспондента

Голоса писателей мира, их призывы остановить шабаш ядерных маньяков, осудить действия тех, чья политика милитаризма и геноцида угрожает сегодня самой жизни на земле, постоянно звучат со страниц «Иностранной литературы». В четвертый раз призваны эти страницы донести до читателей и отзвук традиционных софийских писательских встреч, завоевавших за минувшие пять лет серьезный международный авторитет «колокола тревоги и надежд», признание их роли в мощном всемирном антивоенном движении наших дней, в формировании духовного самочувствия человечества, его готовности отстоять великие завоевания гуманизма и социального прогресса.

При всех его внушительных размерах публикуемый ниже текст вернее было бы назвать всего лишь кратким конспектом состоявшегося обсуждения: сто сорок шесть речей писателей, собравшихся в София из пятидесяти двух стран, было заслушано участниками встречи за три дня работы ее пленарных и секционных заседаний— случалось, по два, а то и по три раза они получали слово для импровизированных дополнений и реплик, часть ораторов выступала без подготовки, часть письменных текстов, которые не удалось выслушать за недостатком времени, была приобщена к стенограммам на правах произнесенных выступлений.

Этот непосредственный, особо отличавший атмосферу именно данной встречи личный, зачастую даже «исповедальный» характер обсуждения нам тоже хотелось в какой-то мере запечатлеть в своем монтаже.

Главной же его целью было позволить читателю удостовериться в существенном единодушии отправных посылок и конечных выводов выступавших, при всем многообразии их позиций — идеологических и творческих. В итоговом единодушии взгляда на самую неотложную из проблем, когда-либо возникавших перед всеми людьми сразу.

Единодушии, способном обрести ощутимую материальную силу их последующих действий и поступков.

ТРЕВОГА

Три главные части текста — «Тревога», «Надежда», «Действие» — «организуют» подборку фрагментов софийских стенограмм. Не следуя буквально порядку произнесения речей с трибуны встречи, мы стремились дать представление о самом существенном в ее содержании и духе...

Традиционный ритуал открытия: Бетховен, Девятая симфония, ода «К радости»... Минута молчания — памяти ушедших... Вступительное слово Почетного председателя — Лауреата Международной Ленинской премии мира, известного английского писателя Джеймса Олдриджа... Речь ведущего четвертую встречу Любомира Левчева — известного болгарского поэта, Председателя Союза болгарских писателей...

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ (Болгария)

...К сожалению, пять лет, которые отделяют нас от Первой софийской встречи, не принесли человечеству облегчения. Они показали, что участие в движении народов, в том числе в движении писателей за мир, становится едва ли не высшим долгом творца. Милитаристы держат открытый курс на «холодную войну» и ядерное превосходство. Официально поддерживается и осуществляется доктрина малых «локальных» войн. В итоге — чуть ли не кощунственной обыденностью звучит факт, что за полтора года войны между Ираном и Ираком погибло 200 000 человек. В одном лишь Ливане в августе минувшего года уничтожено более 18 000 человек, не говоря уже о новых, только что совершенных там чудовищных злодеяниях. И если, как утверждают любители статистики, в первую мировую войну погибло 13 процентов мирного населения, то сегодня эта цифра зловеще подскочила до 80. За этими процентами — обличие так называемых «допустимых» малых войн.

Кто становится их жертвой? Организуя настоящую встречу, мы обратились к

Кампучии с просьбой направить к нам одного из ее видных писателей. Пришел ответ, где говорилось, почему это невозможно: кампучийских писателей нет больше на земле — все до одного они истреблены режимом Пол Пота — того самого головореза, который издал приказ— расстреливать каждого, кто носит очки, считающиеся знаком интеллигентности, который запретил людям иметь отчество и который до сих пор пользуется признанием отдельных правительств.

Все эти ужасы напоминают давно забытый фильм о вампире Дракуле, но они — ничто в сравнении с новой реальной угрозой, нависшей над человечеством.

Вопрос о войне и мире во все времена стоял перед людьми. Когда-то решение его казалось им непосильной задачей, они продолжали верить, что это удел богов.

Ядерная эпоха подвергает огромным испытаниям человеческую личность, ее отношение к жизни, к культурным и моральным ценностям, к природе. Сегодня мы не просто выступаем против войны, но отстаиваем мир от всеобщей гибели. Тотальная угроза, как никогда, требует от нас единства и решительных действий. Сегодня борцу за мир мало быть просто пацифистом — он обязан знать, в чем практически состоит его миссия, какими духовными ресурсами он располагает, с каким противником вступает в поединок.

Стыдно признаться, однако находятся в наши дни авторы, которые стыдятся таких «старомодных» слов, как благородство, доблесть, великодушие, щедрость, милосердие, самоотречение, честность, справедливость, верность долгу. Я уж не говорю о том, как извращает буржуазная демагогия представления о братстве, равенстве, свободе. Осталось ли в наших книгах место для человеческой надежды? Вот вам другая невидимая извечная война — за утверждение этих качеств в их противостоянии столь распространенным ныне жестокости, подлости, коварству, равнодушию, высокомерию, алчности, жажде уничтожения и разрушения...

Не случайно нацизм начинался со слов Гитлера: «Я освобождаю человечество от химеры, которая называется совестью».

Вот почему мы, писатели и граждане, должны обратиться сегодня к нашим современникам с призывом: «Пестуйте человеческую совесть, она стоит на страже цивилизации и ее будущего, она бережет мир и саму жизнь! Боритесь против посягательств на человеческую совесть. Сопротивляйтесь отчаянию во имя надежды!» Не иллюзорной, а истинной надежды. Иллюзорная надежда подобна предательству — убаюкивая, она притупляет бдительность.

Разоружение, по поводу которого ведутся многочисленные переговоры, возможно лишь в том случае, если все человеческие духовные и умственные силы будут перенесены с поля военных действий на ниву мирного творческого созидательного труда.

Мы должны взывать к совести наших современников, тех, кто оказывается объектом манипуляций средств массовой информации, пропагандирующих человеконенавистничество, рисующих образ мнимого противника, способствующих раздуванию лжи, иллюзий о возможности в случае войны кому-то уцелеть. Нам следует обратиться к нашим современникам с призывом остановить это безумие. Конкретным примером тому служит предложение Советского Союза отказаться первыми применить ядерное оружие.

Тех, кто готовит миру всеобщую гибель, нужно заклеймить всеобщим позором и проклятием.

Мир похож на птицу, застигнутую бурей. Чтобы выдержать поединок со стихией, она должна иметь сильные крылья...

Последняя эпидемия

«Последняя эпидемия» — так назвали американские, английские и советские ученые-медики, участники движения «Врачи за предупреждение ядерной войны» совместно подготовленную книгу, недавно вышедшую в США. Тем же названием мы сочли уместным озаглавить этот раздел своей публикации.

Обсуждая проблемы борьбы за мир на земле Болгарии, такой гостеприимной, спокойной, дружелюбной, ни на миг не должен забыть писатель о том, что в других регионах безжалостно убивают ни в чем не повинных людей — иначе он утратит право считать себя честным истолкователем человеческого бытия. С этой мыслью обратился к собравшимся Джеймс Олдридж.

Определить источник самой опасной напряженности, которую когда-либо переживала планета, чтобы установить, каковы шансы на спасение и как их могли бы сегодня повысить писатели, поставив на службу мира свой талант, помогая людям преодолевать представление, будто они беспомощны перед лицом теперешней угрозы — так обозначил он смысл высокого собрания.

Сделать больше чем просто декларировать свои благие намерения — в такой форме выразил свой призыв.

Приглашая к спорам, предостерегал от ссор: «Нам незачем выдумывать разногласия, где их нет, но мы готовы взглянуть им в лицо, если они возникнут, нам надлежит быть твердыми, если мы убедимся, что делу можно помочь, только ясно указав, на ком лежит ответственность»...

КАЗИМЕЖ КОЗЬНЕВСКИЙ (Польша)

Маяки будут светить

На протяжении уже более полувека писатели собираются на форумы и конгрессы, чтобы выразить свою озабоченность судьбами мира, судьбами нашей планеты. В 30-е годы они собирались в Париже и Испании, в 1948 году — во Вроцлаве, потом — в Варшаве и снова в Париже, а начиная с 1977 года — в Софии, Берлине, Гааге, Кёльне...

В течение последних 50 лет на земле было много войн — таких, как смертоносная вторая мировая, как ужасающие и чудовищные — во Вьетнаме или сегодня — на земле Ливана, как недавняя короткая и абсурдная — за Фолклендские острова...

И среди грохота орудий и снарядов всегда раздавался голос писателей, обращенный к совести человечества. Кто-то

может спросить: какой смысл? Какой смысл постоянно призывать к миру, если то и дело вспыхивают войны? Сизифов труд! К чему эти полные патетики призывы? Лишь для того, быть может, чтобы еще раз убедиться в том, что человек, как сказал один поэт, всегда стремится к добру, но всегда творит зло? В самом деле, какой смысл? Во имя чего вот уже в четвертый раз собираемся мы здесь, в Софии, в то время как дымятся руины Бейрута, как продолжается война между Ираном и Ираком?

Но разве это не исполнение первейшего долга писателя, литературы по отношению к судьбам человечества, судьбам культуры?

Каждые пять секунд загорается свет маяка на далеком морском берегу. Сколько часов, сколько дней светит маяк как будто бы понапрасну! Но приходит момент, когда этот мерцающий, но никогда не гаснущий свет спасает жизнь целым экипажам. Вот почему маяки должны светить не переставая.

Голос писателя в защиту мира похож на свет маяка, который призван спасать от гибели жизнь человечества и завоевания культуры. И если существует хоть малейший шанс их сохранить, мы обязаны этот шанс использовать. Никто и ничто не может освободить нас от выполнения этой миссии! Тот, чья рука тянется к оружию, должен знать, что и его настигнет Нюрнберг!

Я — поляк и приехал из страны, которая на протяжении 25 месяцев переживала тяжелый политический кризис. На международной арене остается немало сил, продолжающих лелеять мечту о том, чтобы превратить Польшу в руины, чтобы кровь поляков сделать на много лет вперед источником политического беспокойства в этой части Европы. Беспокойства, которое легко могло оказаться поводом для развязывания войны — европейской и даже мировой.

К счастью, этого не случилось. Правительству Польши удалось избежать войны, овладеть опасным положением внутри страны. Некоторые историки считают, что 13 декабря 1981 года в Варшаве был спасен мир и тем самым предотвращена третья мировая война.

Мы полностью отдаем себе отчет в том, что наша страна действительно находилась на грани войны. Именно поэтому польские писатели с такой тревогой наблюдают за международным положением, за непрекращающимися коварными антипольскими пропагандистскими акциями правящих кругов США.

Миру грозит опасность. И потому, повторяю, наш долг — использовать в своей борьбе все средства чтобы ни один солдат не был отправлен на войну, чтобы ни одна бомба не упала на мирный дом.

История никогда не простила бы нам бездействия. История народов история культуры Культуры за которую мы, писатели, несем ответственность и от этой ответственности нам никуда не уйти. Именно поэтому мы в четвертый раз и собрались здесь, в Софии.

ВОЛОДЯ ТЕЙТЕЛЬБОЙМ (Чили)

Стратегия первого удара при ближайшем рассмотрении

Около месяца назад в небольшом городке на Сицилии состоялся симпозиум, куда съехались люди различных идеологических убеждений. Перед ними стоял один вопрос, тот же самый, что волнует и нас сегодня: как избежать ядерной катастрофы? С беспрецедентным заявлением на этой встрече выступила группа, возглавляемая небезызвестным доктором Эдвардом Теллером. О будущей войне они говорили, как выразился один журналист, с хладнокровием людоедов. Исходя из допустимости применения ядерного оружия, невозмутимо обрушили на оцепеневшую аудиторию «успокоительный вывод»: ядерный конфликт не уничтожит в с е человечество. Конечно, признавал Эдвард Теллер и его подручные, он повлечет большое количество жертв — от пятисот миллионов до полутора миллиардов. И об этом рассуждали так спокойно, как лаборант сообщает результаты анализа крови! Будущая война, поспешили они «обрадовать» присутствующих, лишит жизней треть человечества, что в процентном отношении к численности населения земного шара не превышает количество жертв, унесенных разразившейся в Европе в XIV веке эпидемией «черной смерти». Изменения в земной атмосфере не окажутся более значительными, чем последовавшие за извержением вулкана Кракатау в 1883 году. Хладнокровно и подробно разъясняли собравшимся, насколько точны их расчеты, насколько целесообразна, с их точки зрения, стратегия первого удара.

Как известно, в 1955 году, за несколько дней до своей смерти, Альберт Эйнштейн подписал обращение ученых, в котором, в частности, говорилось: «Мы представляем не нацию, континент или идеологию, а все человечество — человечество, которому грозит смертельная опасность. Забудьте о своих разногласиях и помните только об этой опасности».

Два года спустя, в июле 1957 года, в канадской деревушке Пагуош состоялась первая конференция, куда съехались люди, обеспокоенные судьбой человечества. С тех пор такие встречи стали регулярными, и их участники прилагают все усилия, чтобы предотвратить ядерную войну.

После второй мировой войны, после взрыва атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки писатели и деятели культуры провели немало конгрессов, на которых высказывались в поддержку договора о нераспространении бактериологического и химического оружия, за ограничение стратегического вооружения,— и все это преследовало одну цель: полное ядерное разоружение под эффективным международным контролем.

Не так давно медики мира напомнили нам с точными цифрами в руках, что медицинские учреждения целой страны окажутся не в состоянии помочь жертвам

одной ядерной бомбы, сброшенной на большой город.

Летом 1982 года группа нобелевских лауреатов подписала обращение, в котором есть мысль, разделяемая, я думаю, всеми присутствующими на нашей встрече. В этом обращении был призыв к каждому человеку задуматься о его личной мере ответственности и его личном, пусть небольшом, вкладе в дело борьбы за предотвращение ядерной катастрофы.

Вместе мы должны обуздать маньяков, одержимых идеей уничтожения и разрушения, рассчитывающих, что, нажав роковую кнопку, сами гибели избегнут.

Как будто диктуя свое завещание, Эйнштейн, ученый, перевернувший наши представления о вселенной, обратился ко всем нам: «Вставайте, люди Земли! Надо защитить право человека на существование в этом мире».

ЯН КОЗАК (Чехословакия)

Уважаемый господин президент...

Одна чешская женщина адресовала президенту США Рейгану короткое, но, по-моему, очень выразительное открытое письмо. «Уважаемый господин президент! — писала она.— Мы знали Вас в Вашу бытность актером. Вы исполняли роли киногероев, Вы воплощали идеи режиссеров и продюсеров. Сейчас, исполняя функции президента США, Вы сами выдвигаете концепции и идеи. Наша Земля — не для игры и не для съемок. На Земле надо жить, а не умирать. Только в кино актеру дано умереть несколько раз... Так примите же участие в постановке жизни, а не смерти для людей. И начните с диалога с Советским Союзом».

Простая работница выразила в этом письме те же опасения и те же самые пожелания, какие содержат и наши с вами декларации и речи.

Не стану снова повторять все то, о чем мы сообща — и какое же это радостное, окрыляющее ощущение видеть лица стольких замечательных, известных Европе и всему миру писателей — принимаем здесь решения: за что бороться, чему помогать, чтобы человек мог жить в мире как полноправный его хозяин.

Особый, неотложный долг наш — открывать глаза людям на бесчеловечную сущность расизма, это необходимое условие создания равноправных взаимоотношений между нациями без войн, важнейшее условие, предпосылка мирной, свободной, уважающей человеческие права жизни на земле. За короткий срок после нашей встречи в Кёльне мир уже получил новые, страшные доказательства злодеяний расизма. На этот раз со стороны сионизма — господствующей идеологии правящих кругов Израиля, поддерживаемых Соединенными Штатами.

Позвольте мне напомнить несколько фраз из выступления нынешнего премьера Израиля Менахема Бегина перед представителями армии в октябре 1958 года:

«Посмотрите на север — там вы видите плодородные равнины Сирии и Ливана, на востоке простираются богатые долины Евфрата и Тигра и иранская нефть, на западе — земли египтян. У нас не хватит места для того, чтобы развиваться, мы должны решать территориальную проблему с позиций силы.. Вы, израильтяне, не сострадайте, убивая врага. Вы не должны знать сострадания до тех пор, пока не уничтожите так называемую арабскую культуру. На развалинах этой культуры мы создадим свою собственную цивилизацию».

Слова Менахема Бегина — разве это не новый вариант гитлеровского «Майн кампф» для Ближнего Востока? И намерения эти под защитой и с благословения Соединенных Штатов мало-помалу осуществились. Постепенно при помощи агрессивных действий были присоединены части территорий Египта, Иордании, Сирии, а сейчас открыто и цинично, под видом необходимости, точно по образцу фашистской Германии, проводится кровавый геноцид палестинского народа, оккупирована следующая суверенная страна — Ливан. Массовыми убийствами и кровью метит новая расистская империя свои границы. Это еще одна страшная иллюстрация бесчеловечной сущности расизма. Еще живы в нашей памяти картины зверских расправ с мирным населением Бейрута, еще стоят перед нашими глазами жуткие развалины уничтоженной до основания сирийской Кунейтры.

И все же — при всем нашем справедливом возмущении и гневе — мы никогда не должны забывать, как были неправы те, кто во время второй мировой войны связывали бесчеловечность гитлеровского фашизма с национальным характером, врожденными чертами немецкого народа.

Они заблуждались. И тогда, в тяжкие, безнадежные дни войны, в пору страданий и притеснений, мы говорили: «И немцы не все одинаковые». Это именно нацизм вызывал к жизни и поддерживал варварство и жестокость в народе, давшем миру Гёте и Бетховена. Сейчас, и об этом нельзя забывать, то же происходит с еврейским народом. Насилие и жестокость израильской армии, кровавая захватническая политика правительства Бегина (какой насмешкой над разумом и гуманностью, каким оскорблением самой идеи «прав человека» является факт присуждения Бегину Нобелевской премии Мира!) — все эти страшные деяния суть плоды сионизма. Сионизм и антисемитизм — это две стороны одной и той же медали, или, вернее сказать,— две грани остро наточенного ножа по имени расизм.

Наш долг — прямо, резко осудить израильскую империалистическую агрессию в Ливане, осудить геноцид, осуществляемый израильским правительством по отношению к палестинскому народу, который имеет право иметь свою родину, свое независимое государство. Мы должны помнить, что виновников этого геноцида неотвратимо ждет скамья подсудимых, новый международный суд над военными преступниками.

И еще об одном я бы хотел сказать. Недавно, незадолго до своей смерти, Прагу посетил наш общий друг Уильям Сароян.

Мы показали ему список книг английских и американских авторов, чьи произведения изданы в социалистической Чехословакии за пять последних лет. Только в чешских издательствах перечень их составляет 122 названия общим тиражом в 52 800 экземпляров. Он был просто поражен и, обращаясь к присутствовавшему советнику американского посольства, воскликнул: «Боже мой, а что же делаете вы для того, чтобы и американский читатель знал хоть что-нибудь о литературе этого культурного народа?» Конечно, в ответ на это последовали уклончивые и до сих пор не выполненные обещания...

В Обращении, принятом нами на Кёльнской встрече, говорится: «Мы приветствуем все, что приведет к сближению». Давайте расширять этот наш литературный мост взаимного познания, сближения и мирного сотрудничества народов. Социалистические страны поставили со своей стороны надежнейшие опоры, и здесь идет оживленное движение, хотя оно и не так совершенно и в нем многое можно улучшить. В интересах нашего общего дела, ради которого мы здесь собрались, надо укреплять и расширять этот мост. Опыт кёльнского «Интерлит-82», отзывы слушавших чтение отрывков из произведений его участников многое подсказывают. Их действенность оказалась весьма поучительной.

На теперешней Софийской встрече будут работать «круглые столы» нескольких секций. На нашем заключительном заседании мы сможем взвесить и принять во внимание их выводы и сделать все, что в наших силах, чтобы осуществить их главные предложения. Можно заранее предвидеть, насколько более широкими для этого окажутся объективные возможности в социалистических странах, но мы должны сделать все, чтобы во всем мире по мосту взаимного познания, приносящей богатые плоды дружбы народов, сближения и дружного мирного сотрудничества народов, шло двустороннее оживленное движение, чтобы этот мост служил обмену художественными произведениями, которые повышают гуманистическую и социальную ценность всей мировой литературы. Может быть, в этом смысле мы могли бы обратиться с некоторыми планами и рекомендациями в ЮНЕСКО и настоять на серьезном содействии этому полезному и важному делу.

Хиросима, Вьетнам: по ком звонил колокол

ЭММАНЮЭЛЬ РОБЛЕС (Франция)

Серый призрак беды

Мне кажется полезным вспомнить здесь сегодня Хиросиму в день 6 августа 1945 года. Апокалипсическая картина нашего объятого хаосом мира, накапливающего оружие — ядерное, бактериологическое, химическое, смертоносного арсенала, который грозит нашей планете полным уничтожением,— увы, вовсе не умозрительное представление. В восемь часов десять минут утра жители этого крупного города были поражены нестерпимо ярким светом, исходившим «словно от солнца», которое, по словам одного из уцелевших жителей, «вследствие какой-то космической катастрофы приблизилось к Земле». Стояла необычная тишина, потом все вокруг мгновенно было объято пожаром. Те, кому удалось спастись от огня, бросились в воду каналов, чтобы хоть как-то уменьшить боль от ожогов. Не было больше ни больниц, ни клиник, ни амбулаторий. Врачей, хирургов, медсестер постигла та же участь, что и всех других жителей города...

Почти тридцать лет назад с целью написать репортаж я отправился в Хиросиму. О впечатлениях, которые до сих пор живы в моей памяти, я бы хотел поведать сегодня с этой трибуны. Страшные следы катастрофы, «призраки Хиросимы», можно было увидеть своими глазами на бетоне моста. А ведь то была «карликовая» бомба, не идущая ни в какое сравнение с современными и в том числе с нейтронными бомбами. Одиннадцать человек, застигнутых взрывом на мосту, обратились в пыль, но ничтожную долю секунды их тела представляли собой защитный экран; там, куда упала их тень, изрешеченный бетон моста остался гладким. И это было все, что осталось от одиннадцати человек. Такие же тени сохранились на ступенях ратуши, на стене одного из городских газгольдеров: рабочий, поднимавшийся по перекладинам его лестницы, запечатлелся на стене серым призраком беды, не имевшей названия.

Я посетил один из диспансеров, где периодически наблюдались жертвы Хиросимы, находившиеся в момент взрыва на расстоянии пяти или десяти километров от города. Они страдали от неведомых болезней, которые тогдашняя медицина не умела ни распознавать, ни определять, ни лечить.

Побывал я и в госпитале Красного Креста, где передо мной предстали картины невыразимого ужаса. В одной из палат, в самой большой, лежали дети, в том числе родившиеся уже после взрыва от матерей, попавших беременными под облучение. Эти дети никогда не знали иной жизни, кроме больничной койки. Когда мы, трое писателей, покидали госпиталь, директор принял нас и рассказал о деятельности госпиталя, созданного специально для лечения жертв атомной бомбы. Я не могу забыть девушку с ожогами правой стороны тела, лица и одной ноги: пораженные места были покрыты словно слоем золы и продолговатыми наростами, которые при тогдашнем уровне медицинских знаний не умели лечить, я помню провожавшие нас грустные взгляды в палате больных лейкемией в госпитале Красного Креста; помню детей, прикованных к постели неведомым недугом с первого дня жизни.

Когда я покидал госпиталь Красного Креста и прощался с директором, раздался удар колокола. Я подумал, что он сообщал о конце рабочего дня, но нет: так возвещают здесь о похоронах очередной жертвы, которую спустя десять лет прикончила

бомба. И мне вспомнились строки Джона Донна: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе»...

Сегодня, когда кровь новых жертв проливается в войнах, пылающих в разных концах планеты, мы должны знать, что это льется наша кровь.

Я мог бы рассказать и о других впечатлениях от Хиросимы. Но сейчас перейду к другому важному вопросу — о роли писателя. Я хотел бы показать на своем примере, как велико может быть воздействие слова писателя.

В отроческие годы я был, конечно, противником войны — ведь я родился под грохот пушек первой мировой войны,— рассказы свидетелей бессмысленной бойни 1914—1918 годов сопровождали все мое детство. Но понимание глубинных причин войны, их связи с самой природой капитализма мне дали писатели: от Анри Барбюса и Ромена Роллана до Людвига Ренна, от Ролана Доржелеса до Эриха Марии Ремарка. Неопровержимая правда их свидетельств не только потрясала воображение, но и побуждала к размышлениям. Мое поколение стояло на позициях пацифизма и, я думаю, в значительной части оставалось на них, когда обрушилось второе страшное испытание 1939—1945 годов, которое глубоко запечатлелось в его сознании и в его плоти. События 1939 года поставили всех перед очевидной истиной, что свобода народов требует, чтобы все люди, кому дорога справедливость, встали на борьбу с нацизмом. Наш гневный пацифизм оказался в трагическом кризисе, который нам пришлось преодолеть.

Сегодня опасность, еще более страшная, чем когда-либо прежде, продолжает угрожать человечеству. Мы определяем здесь и корни этой опасности, и ее размеры. Наш писательский долг призывает нас неустанно обличать ее, убеждать как можно большее число людей в ее существовании, мобилизовать сознание. В этом я вижу высшее назначение литературы и творчества вообще.

Мы собрались здесь, чтобы обличить самое страшное зло нашего века, призвать покончить с производством ядерного оружия, бактериологических бомб, целого арсенала смерти, угрожающего нашей планете. Такова сегодня наша главная цель.

Я закончу свое выступление общим для всех нас пожеланием, чтобы солнце Софии светило как можно ярче, оправдывая самим этим фактом великое назначение писателя, великую честь творить.

МАКОТО ОДА (Япония)

...и сгорели вместе в адском пламени

Позвольте мне начать с упоминания о моем собственном романе «Хиросима», он вышел в свет в прошлом году. Книга эта имеет, как мне кажется, прямое отношение к тому, о чем идет речь.

О трагедии, постигшей Хиросиму, люди во всем мире сегодня достаточно хорошо осведомлены, во всяком случае, сейчас они лучше, чем несколько десятков лет тому назад, представляют себе разрушительную силу ядерного взрыва, опасность облучения и даже проблемы, с которыми до сих пор сталкиваются оставшиеся в живых жертвы атомной бомбы в обществе, неизменно стремящемся предать забвению прошлое. Но существуют проблемы, о которых мировой общественности известно меньше и которые тем не менее имеют, по-моему, важное значение.

Тот факт, например, что помимо японцев в огне Хиросимы и Нагасаки погибло немало корейцев и людей других национальностей, не стал еще достоянием широкой гласности. Точное число корейцев, погибших в обоих городах, достоверно установить так и не удалось: Корея тогда была японской колонией, корейцев японские власти насильственно доставляли в Японию для несения «принудительной трудовой повинности». С ними никогда не обращались как с гражданами, со стороны японского населения они подвергались дискриминации. По приблизительной оценке в Хиросиме наряду с двумястами тысячами японцев погибло до двадцати тысяч корейцев, а в Нагасаки вместе со ста тысячами японцев нашли смерть семь тысяч корейцев. В число жертв атомных взрывов попали и китайцы, индонезийцы, малайцы и даже военнопленные союзнических армий: англичане, голландцы, американцы.

Как выяснилось, местоположение лагеря для военнопленных в Нагасаки было известно командованию вооруженных сил США, но с фактом вероятной гибели пленных американцев оно не посчиталось. Более трехсот пленных военнослужащих союзных держав пострадало от катастрофических последствий взрыва их собственной бомбы более семидесяти из них погибло. В основном это были английские и голландские солдаты. Тот факт, что в Хиросиме погибло и более десяти американских военнопленных, в официальном порядке правительство США не признало по сей день. Эти пленные были членами экипажей американских бомбардировщиков и истребителей, сбитых во время воздушных налетов на японские города. После того как они были взяты в плен, их поместили в тюрьму при штаб-квартире японской армии в Хиросиме, расположенную в самом центре города, неподалеку от места, оказавшегося эпицентром взрыва. Сейчас установлено, что пленных разрешалось выводить из тюремных стен только с завязанными глазами, с тем чтобы они не могли установить свое местонахождение. Когда взорвалась бомба, они, очнувшись от длившегося несколько мгновений беспамятства, должно быть, кое-как выбрались из полуразрушенной тюрьмы. Очутившись на воле без повязок на глазах, они увидели что вокруг бушует адское пламя, в котором им через несколько минут суждено было исчезнуть.

Меня не было в Хиросиме в момент взрыва атомной бомбы, в последние месяцы войны я находился в Осаке. Однако мне довелось собственными глазами наблюдать многочисленные трагедии, причиненные массированными бомбардировками. Как раз тогда, в мучительные дни после сожжения Хиросимы, я услышал одну

страшную историю. Рассказывали, будто вскоре после взрыва на превратившейся в ад улице появилась изуродованная и похожая на призрак фигура американского военнопленного. Изуродованные, похожие на призраков японцы тоже заметили пленного. Когда перед ними внезапно возник вражеский солдат, изуродованные, похожие на призраков японцы набросились на похожего на призрак американца, но так как и японцам, и американцу оставалось жить считанные минуты, схватка длилась недолго: они вместе упали и вместе сгорели в адском пламени.

Через много лет, вспоминая ту историю, я стал все больше склоняться к мысли, что это была не легенда, а рассказ о действительно происшедшем событии. Притом исполненный глубокого смысла применительно к нынешнему положению в мире.

Начать с того, что корейцы, погибшие в Хиросиме и Нагасаки, были не только жертвами атомной бомбы, но и жертвами нашей политики колонизации. Рассматривая трагедию Хиросимы и Нагасаки под этим углом зрения, я поставил ее в связь с нашей прошлой историей, полной захватнических и кровопролитных войн в Азии, и с нашим нынешним положением, характеризующимся очевидным стремлением к эксплуатации и угнетению народов стран Азии и всего «третьего мира». В прошлом мы колонизировали другие страны, вторгались в их пределы, убивали их жителей, а в конце убивать стали нас. Таково было наше прошлое. А каково, спрашивается, настоящее?

Люди по природе своей миролюбивы. Многие японцы в прошлом не хотели воевать, их насильно отправляли на фронт. В своих собственных глазах они были жертвами, но вместе с тем они были вынуждены стрелять в ни в чем не повинных китайцев и филиппинцев, в чьих глазах мы, японцы, были явными агрессорами. В этом смысле быть жертвой значило и быть агрессором. Не таким ли, например, оказался в годы войны во Вьетнаме удел молодых американцев, которых против их воли посылали во Вьетнам убивать вьетнамцев? Мы должны приложить максимум усилий к тому, чтобы отказаться от этой ненавистной двойственной роли, разрушить логическую связь между первым и вторым.

В глазах японцев, набросившихся в Хиросиме на американских военнопленных, они тоже были агрессорами, как были агрессорами сами японцы в глазах корейцев. И те, и другие, и третьи сгорели вместе в атомном пожаре.

Роман «Хиросима» я начал писать в период, когда принимал активное участие в движении за прекращение войны во Вьетнаме. Оно заставило меня заново пересмотреть многое и побудило приняться за роман, о котором я говорю. Для того чтобы написать его, я должен был провести изыскания, которые потребовали нескольких лет работы и которые в итоге позволили мне осмыслить трагедию Хиросимы и Нагасаки с совершенно новой для себя стороны.

Сцена, в которой похожие на призраков японцы нападают на похожего на призрака американца, после чего все они, сцепившись в кучу, падают на землю и вместе погибают — ключевая для понимания романа.. Многое я хотел в ней выразить, в частности, сказать, что угроза ядерной катастрофы вбирает в себя широкий круг проблем, стоящих сегодня перед всем миром.

НГУЕН ДИНЬ ТХИ (Вьетнам)

Расщепляя атом совести

Я обращаюсь мыслью к долгому и полному испытаний пути своего народа. Начать хочу со старинной вьетнамской легенды. В XIV веке феодалы китайской династии Мин напали на нашу страну и обратили ее в рабство. Дни и ночи раздумывал мой земляк Ле Лой о том, как прогнать захватчиков. Однажды утром к нему явился добрый дух в образе черепахи и вручил ему меч. Вооружившись этим мечом, Ле Лой начал борьбу, и спустя десять долгих лет ему удалось разбить войско захватчиков. Став государем, он совершал однажды прогулку на лодке по прекрасному озеру в центре своей столицы. Вдруг перед ним вынырнула черепаха и, забрав меч из рук царя, вновь погрузилась на дно озера. Озеро Меча, жемчужина нашего древнего города, и поныне существует в центре Ханоя. Мне кажется, эта легенда точно выражает отношение нашего народа к идее войны и идее мира.

Легенде сопутствуют и исторические факты. В начале восстания Ле Лоя к нему присоединился великий гуманист и крупнейший поэт-классик Нгуен Чай. Поэт сказал воину: «Государь, прежде чем думать об оружии, подумай о душе народа. Начертай на своем знамени слова «человечность» и «справедливость», и пусть твои деяния соответствуют этому девизу».

После победы над захватчиками Нгуен Чай написал бессмертное воззвание, где говорилось: «Первый долг гуманности и справедливости — обеспечить своему народу мир».

За тысячелетнюю историю наш народ через все тяжкие испытания пронес стремление к лучшей жизни, где между людьми и народами будут царить дружелюбие и взаимопонимание, гуманность и справедливость. Быть может, именно эта вера составляет сокровенное ядро души каждого мужчины и каждой женщины моего народа, давшее ему нравственную силу противостоять врагу в жестоких битвах, пусть даже силы столь неравны, что борьба порой кажется безнадежной! Однако пчелиный рой способен поразить тигра. В годы минувшей войны — противостояния страшной американской машине разрушения и смерти — нас неизменно поддерживало ясное сознание того, что, сражаясь за независимость и свободу родины, мы содействуем общим усилиям народов земли в их борьбе со злом, за сохранение мира.

Мы хорошо понимаем, чем могут быть чреваты новый мировой конфликт и применение ядерного оружия. Ведь война американских империалистов во Вьетнаме была, по существу, предъядерной войной. Кто

не знает: тоннаж бомб, обрушившихся на нашу землю, больше чем втрое превысил общий тоннаж бомб, сброшенных за всю вторую мировую войну. А отравление многих тысяч гектаров лесов и возделанных полей ядовитыми химикалиями! В последнее время в прессе сообщалось, что бывшие американские и австралийские солдаты, служившие в химических войсках во Вьетнаме, подают в суд на американское правительство: через много лет после окончания войны у их жен рождаются дети-уроды! Что же сказать о страданиях жителей наших деревень, на которых низвергались ливни из химических облаков!

Всем известно, чем окончилась предъядерная американская агрессия во Вьетнаме. Мне вспоминается первый день мира: я находился в то время в одном из южных районов страны, где возделывается перец, трудоемкая культура, требующая не меньше забот, чем виноград у вас в Европе. Впервые после стольких лет умолк свист сверхзвуковых бомбардировщиков в небе, грохот пушек на земле. Вокруг меня в глубоком безмолвии до самого горизонта простирались поля, заросшие сорняками и сухим кустарником, изрытые воронками от разорвавшихся снарядов и бомб, чернели витки колючей проволоки. Ни зеленого листа на дереве, ни единого живого существа. Пот заливал мне глаза, я шел и шел, час за часом, забыв о времени, пока не услышал голоса. За поворотом дороги я увидел семью, которая только что вернулась и начинала устраиваться. Девушка вбивала колья и укрепляла на них навес из нейлоновой ткани. Мальчик выжигал траву вокруг палатки. Женщина варила рис. Старик отец расставлял на бамбуковом столике изображения Будды и воскурял перед ними ладан, тихо бормоча молитву за упокой души погибших на этом поле. Затем в полном молчании семья села за свой первый ужин. Так вновь начиналась жизнь для всех нас.

При поддержке Советского Союза и братских стран социализма, в тесном единении с народами Лаоса и Кампучии, мы продолжаем трудиться, поднимая целину новой жизни. Идя порой на ощупь и даже совершая ошибки, мы стремимся находить справедливые решения насущных задач с тем, чтобы на нашей измученной земле построить лучшую жизнь, создать новые отношения между людьми, достойные принесенных народом жертв.

В прошлом, в годы борьбы с французским колониализмом, мы хранили в наших сердцах чувство дружбы по отношению к народу Франции. В самые тяжкие времена американской агрессии мы твердо верили, что сознание простых американцев пробудится и они восстанут против войны во Вьетнаме. Мы сохраняем дружеские чувства к китайскому народу, перенесшему столько страданий. Наш собственный опыт научил нас делить горе и гнев с народами Палестины и Ливана, судьба которых особенно тревожит нас сегодня, в дни нашей встречи на родине Димитрова, в сотую годовщину со дня его рождения.

Поль Элюар, со своей ясной и мудрой душой, говорил о Димитрове: «Грубой силе он противопоставляет совесть».

Дорогие друзья, наш век открыл неисчерпаемую мощь, заключенную в атоме материи. Неужели же человеческий дух, при всей его уязвимости и хрупкости, не таит в себе силу, о которой мы до сих пор могли только догадываться, несокрушимую силу, скрытую в каждом, если позволено так выразиться, атоме совести? Освобожденная сила совести способна, быть может, многое изменить в мире. Наша писательская работа, которая порой под грохот взрывов кажется нам смехотворно слабой, одушевляется надеждой, что мы, в меру своих возможностей, содействуем высвобождению этой силы, живущей в каждой человеческой душе.

Моя война, твой мир...

Одну за другой выслушивают собравшиеся «болевые точки» планеты: вслед за Ливаном — голоса Сальвадора, Никарагуа, Сирии, Афганистана, Кампучии (по страшной причине, упомянутой в речи Любомира Левчева, эту многострадальную страну представлял журналист Прум Вичет).

Выступает писатель Манлио Аргета, с чьей повестью журнал познакомил недавно читателей. Вот уже полвека его борющаяся родина — Сальвадор — изнывает под игом военной диктатуры. Подобно оккупантам обращается с народом правящая олигархия, подлинной войной на уничтожение можно назвать то, что здесь творится сейчас: более 40 000 человек погибло за последние полтора года, рассказывает писатель. 85% из них составляют старики и дети. Гражданское население массами уходит в горы, но и там попадает под обстрелы и бомбы.

Целые деревни вырезаны в Гватемале, с помощью диверсионных групп империалисты пытаются нарушить мир, такой дорогой ценой завоеванный в Никарагуа, где впервые в истории начато строительство новой жизни. За спиной диверсантов — все те же зловещие межнациональные корпорации...

МИШЕЛЬ СУЛЕЙМАН (Ливан)

Я пришел к вам из Бейрута

В эту трагическую для моей родины пору я пришел к вам из Бейрута. Оккупированного, разрушенного, истерзанного израильскими войсками, залитого кровью, из Бейрута, трижды поглощенного тремя морями, трижды обожженного в трех котлах, трижды погребенного на трех кладбищах... но живого среди живых.

Я принес вам короткое слово солидарности с этим конгрессом — от имени ливанского народа, его писателей и поэтов, готовых защитить свою землю или умереть. Наши требования: вывести израильские войска со всей территории Ливана, положить конец кровопролитным военным операциям против ливанского и палестинского народов, осудить сионизм, наказать убийц.

Повторяю, войска израильских фашистов убивают женщин, стариков, детей, разрушают Бейрут, уничтожают великолепные исторические памятники, но это не значит, что мы мертвы. Наши рабочие продолжают месить цемент, крестьяне продолжают возделывать землю, рыбаки продолжают бросать вызов буре. Мы хотим, чтобы наши дети, изувеченные сегодня жуткими испытаниями, смогли завтра прийти на рассвете собирать росу.

Мы обращаемся ко всем народам с призывом присоединить свои голоса к нашему, и мы уверены, что вы будете с нами, ведь во всех сражениях и битвах в защиту свободы, демократии, мира, культуры и человеческого достоинства мы всегда шли плечом к плечу.

КОНСТАНТИН КИРИЦА (Румыния)

Посвящается Европе

Свое краткое выступление я посвящаю Европе, которую мне хотелось бы назвать бессмертной вечной Европой или хотя бы «нашей Европой», подобно тому как некогда Средиземное море именовали «Mare nostrum» — «наше море». Этими высокими словами признания в любви я хотел бы обратиться к Европе в момент, когда наш континент так нуждается в поддержке и любви со стороны нас, собравшихся здесь, со стороны соседних стран и людей во всех уголках земли.

В течение своей истории Европа была ареной многих трагедий, но всякий раз в еще дымящемся пепле она обретала зерна жизненной силы и благородства, возрождалась, опираясь на поддержку своих сыновей, взращенных за ее пределами или просто близких ей, и вновь украшала и возвышала планету дарами своего духа, талантами и доблестями всех составляющих ее стран. Если бы мы в порыве прозорливости и искренности соединили их все вместе и еще добавили то, что навеяно материальным и духовным влиянием нашего континента, небеса, я думаю, исполнились бы гоодости и здоровья.

Да! Европа пережила немало трагедий, заблуждений, но благодаря мужеству, силе духа и опыту она умела искупить их и вновь обрести достоинство; каждая из составляющих ее наций доказывала, или по крайней мере пыталась доказать, свою близость и верность ей. И ужасы прошлого сменялись мечтами о будущем.

Да, Европа — сублимация декартовой логики и уважения к мысли, земля, где таланты, благородство и дерзость духа перевешивают катастрофы мира, сегодня до такой степени насыщена и перенасыщена оружием, сверхоружием и сверхсверхоружием злодеяниями, жестокостью, недомыслием, безудержным властолюбием, тупостью и гордыней, что любой кризис, столкновение или безумный жест способны превратить ее в пустыню. Для этого достаточно одной десятой да что там, одной сотой или даже тысячной доли ее арсенала.

Долг каждого из нас постоянно помнить о прошлой и нынешней красоте нашего континента о заложенных в нем бессмертных источниках доблести, благородства, храбрости и величия, имя которым Гутенберг Коперник Микеланджело, Шекспир, Декарт Бетховен, Маркс, Эминеску, Достоевский Великая хартия вольностей, Французская революция, Октябрьская революция...

Мы принадлежим Европе, подобно тому как все большие и малые реки принадлежат единому океану; наш долг принести ей сильные и чистые волны, возбуждающие жизнь, охраняющие жизнь. Наши силы, исполненные веры и сознания правоты, должны очистить мутные воды, вскрыть зло повсюду, где оно гнездится, сокрушить и навеки заклеймить то, что угрожает, что ранит, что стремится уничтожить нашу родину, великую Европу. Всем вместе нам надлежит очистить наш континент от нечисти, какой является ядерное оружие и все иные виды оружия, какими бы они ни были. Участь Европы — это участь каждого ее жителя. Жить или погибнуть. Это зависит от нас, от каждого из нас. Или жизнь, или небытие, не сохраняющее даже памяти. Ни прошлого, ни будущего. Небытие. Ничто.

Тут дело не в выборе, а в едином решении, единой воле, в могучем и нерасчленимом слиянии понятий «жизнь» и «мир». Иными словами, Европа без ядерного оружия, без какого бы то ни было оружия, без конфликтов, без провокаций, Европа мира, жизненной силы, человека, достойного этого названия. Да здравствует Европа, наша бессмертная вечная Европа!

ЛИСАНДРО ЧАВЕС АЛЬФАРО (Никарагуа)

За диалог Америк

Для любого европейца война все же — жуткое воспоминание, а понятие мира олицетворяют силы, сдерживающие этот ужас, который вновь навис над всеми и грозит стереть с лица земли цивилизацию, саму жизнь. Для латиноамериканцев, и особенно для жителей стран Центральной Америки и Карибского бассейна война и смерть — это повседневность. Обыденными стали для нас и повальные эпидемии, кабала неграмотности, гнет нищеты, физическое и духовное порабощение и опустошенность, которые несет с собой война. Наш путь к миру лежит через борьбу против тех, кто вынуждает нас жить в условиях непрекращающейся войны. Пусть расскажут об этом мученики и герои, никарагуанские, сальвадорские, гватемальские патриоты. Если представить себе, что на этой трибуне появился бы вдруг крестьянин из Центральной Америки и ему дали бы возможность произнести одну лишь фразу, он бы, наверное, сказал так: «Брат мой в Европе, брат мой, в каком бы краю земли ты ни жил, моя война и твой мир— это одно и то же». Эти слова означали бы, что и подавление тех освободительных движений, которые на расстоянии могут показаться войнами местного значения, тоже таит в себе опасность термоядерного конфликта. Для нас всех смертельную угрозу представляют те, у кого поднялась рука сбросить атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, кто рассылает военные корабли по всем морям и океанам, кто отказывается от участия в переговорах по разоружению, кто, прибегая к уловкам, лжи, клевете, систематически уклоняется от серьезного обсуждения мирных предложений, постоянно выдвигаемых никарагуанским революционным правительством на

всех международных форумах, те, кто дал согласие на резню в Бейруте, кто сформировал агрессивные силы быстрого развертывания.

Мы постоянно помним, однако, что военно-промышленный комплекс — это одно, а народ Северной Америки, к которому относятся и интеллигенция, и писатели, — другое. Именно поэтому в сентябре прошлого года мы приняли участие в конференции «Диалог Америк», на которую в Мехико приехали представители интеллигенции Соединенных Штатов и Латинской Америки. Решение об организации этой встречи было, как известно, принято на состоявшейся в Гаване «Первой конференции представителей интеллигенции по вопросам суверенитета народов Южной Америки».

В ходе встречи в Мехико мы провели ряд бесед с более чем 40 представителями интеллигенции Соединенных Штатов. Мы постарались ответить на их вопросы, рассеять их заблуждения относительно наших концепций суверенитета и освободительного движения, рассказали им, как на деле осуществляется связь между милитаристскими кругами США и Латинской Америки. Они познакомили нас с тем, как действует механизм межнациональных корпораций. Мы сошлись на том, что неприятие войны не должно означать бездействия, и пришли к единодушному выводу о необходимости продолжения наших встреч, и решили провести следующую конференцию на территории Соединенных Штатов с тем, чтобы она могла принести пользу американскому народу, опутанному сетями дезинформации.

ТЕОДОРО НУНЬЕС УРЕТА (Перу)

Обвиняю империализм!

Как бы красноречивы ни были статистические данные, они никогда не расскажут нам того, о чем могут сказать потухшие глаза голодного ребенка. Миллионы детей на Земле голодают сегодня, каждый день умирают сотни нищих, заброшенных детей, гибель неизбежно ожидает новые миллионы: численность населения растет неудержимо, того, что дает земля, не хватит, чтобы утолить голод, если положение в мире останется таким, каково оно сейчас.

Все мы знаем о систематическом разрушении окружающей среды, о постоянном отравлении природных вод, о загрязнении воздуха в городах, о гибели растений под воздействием фабричного дыма, о вредных веществах и компонентах, входящих в состав продуктов питания, о болезнях, которым подвержен современный человек.

Знаем мы о неудержимом росте торговли и потребления наркотиков, которые преодолевают границы, растлевая нравственную атмосферу, неся гибель людям.

Как это происходит — мы тоже знаем. Я имею в виду знаменитые межнациональные корпорации, изобретение современного империализма, который, подобно диковинному чудовищному спруту, простирает свои щупальца над миром, высасывает жизненные соки из стран, где он правит, определяет политические курсы, участвует в переворотах, усугубляет кризисные ситуации, снабжая хунты пушками, военными кораблями, самолетами, бомбами, подрывая национальную промышленность этих стран.

Мы постоянно говорим об экономическом кризисе, девальвации, инфляции, нищете, которые, словно злокачественная опухоль, расползаются по земле. В прошлом году на вооружение в мире было истрачено 60 миллиардов долларов. В этой сумме все — и налоги, и развитие экономики, и лекарства, и продукты питания. Все это народы вынуждены отдавать взамен оружия. Продавец, заинтересованный в том, чтобы торговля его была удачна и господство его не было поколеблено, заботливо следит за тем, чтобы запальный шнур войны постоянно тлел, не потухая.

Известно нам и о ядерных хранилищах, которые под предлогом мирных нужд устраивают сильные мира сего в густонаселенных районах. Знаем о современных бомбах необыкновенной разрушительной силы — о бомбах, которые сжигают дотла листву на деревьях, убивают все живое, оставляя в неприкосновенности дома и постройки, о мощных бомбах, которые сеют смерть в радиусе сотен километров, о снарядах с автоматическим управлением, о бомбах, которые взрываются не сразу, чтобы убить и тех, кто возвращается в свое жилище после окончания атаки; о бомбах, которые сбрасываются даже с космических спутников. Нам известно, что разрабатываются все новые и новые модели этих бомб и снарядов, что существуют различные смертоносные газы — удушающие, отравляющие человеческий организм, не убивая его сразу, отравляющие воздух, продукты, землю и воду, зверей, птиц и людей. Мы знаем, что в глубоких подземных тоннелях сооружаются убежища, где надеются спастись некоторые безумцы и где люди должны будут существовать подобно крысам.

Мы знаем также, что в мире насчитываются тысячи людей, пропавших без вести, подвергающихся пыткам, томящихся в тюрьмах, изгнанных за пределы своей родины, погибающих в нищете. Ни одного дня не прошло со времен последней войны без вооруженного конфликта. Большинство погибших — старики, женщины и дети. Почти все они погибли не в сражениях, а стали жертвами бомбардировок или были убиты в своих деревнях и селах среди своих родных.

И все это пытаются обосновать политическими теориями, освятить знаменами патриотизма, оправдать с помощью религий, прикрыть словами о любви к человечеству, справедливости, правах человека, свободе и даже беззастенчивыми разговорами о мире.

О мире, для «защиты» которого изобретены самые хитроумные и чудовищные орудия смерти.

Словами, которые складываются не в отвлеченный монолог, но составляют четко рассчитанную программу развращения, лжи, геноцида, агрессии.

Маскирующими эту ложь дискуссиями и «глобальными решениями», которым по-

том никто не следует. Что́ для их авторов Мальвины, ЮАР. Бейрут, боль и гнев Центральной Америки?

Что можно противопоставить этой изощренной пропаганде, ее широковещательной лжи? Как можем мы отвратить смерть беззащитных существ? Как вернуть достоинство человеку эксплуатируемому, обманутому презираемому, униженному, человеку, не имеющему ни работы, ни будущего?

Все мы работаем в конкретных условиях, которые питают наше вдохновение, дают материал для нашего творчества. Некоторые порывы умирают в строках воззваний цели которых смутны и расплывчаты, как в романе, что оставляет лазейки для оправдания бездеятельности, оторванности от современных проблем, безразличия к ним. Подчас приходится читать о том, что удел писателя и художника — одиночество, изоляция. Изоляция от чего? Можем ли мы объявлять себя «свободными» от того, что нас окружает? Многие просто суетятся вокруг этого понятия «свобода» не задумываясь над тем, отвечает ли оно реальной социальной его сути.

Немало честных людей героически гибли в разных уголках мира, отстаивая право своих народов самостоятельно решать свою судьбу сбросить оковы рабства. Есть другое, ложное понимание: свобода как вседозволенность, как оправдание недостатка ответственности и чувства долга. Это свобода «в урезанном варианте», для домашнего употребления, пригодная для тщеславных и трусливых. Такая свобода оправдывает прихоти, допускает существование бесчисленного множества книг, полных словесных ухищрений, новаций, рассчитанных на внешний эффект. Сюда же относятся слащавые и похотливые опусы, на все лады варьирующие приключения неудовлетворенной страсти, — литература, именуемая эротической, но на самом деле порнография, ее предназначение — возбуждать тех, кто за нее платит. Сюда относятся и притязания на оригинальность любой ценой, на изобретение формальных новшеств ради них самих, книги, свидетельствующие о том, что такое понимание «свободы» калечит и сам их язык как будто он должен расплачиваться за прихоть своих авторов.

Мы должны защитить язык литературы, высказаться против бегства художника от жизни, против ошибочных определений ложно понимаемой «свободы», сказать «нет» литературе и искусству, понимаемым как источник наживы, как пьедестал для самовозвеличения.

Надо иметь мужество многое отвергнуть. Надо совладать с нашей извечной склонностью к тоске и меланхолии, с нашим отвлеченным любопытством, побуждающим иных из нас созерцать мировой спектакль как бы с удобного балкона. Надо перестать рассматривать землю и все, что в ней сокрыто, как подходящий материал для изготовления развлекательных или утешительных поделок, над которыми прольют слезу чувствительные дамы.

Только не отступать, не культивировать форму ради формы не преклоняться перед средствами как самоцелью. Разум и чувство должны быть сегодня организованы иначе, потому что настали другие времена. Теперь уже утратили свое былое значение часы, календари, многие представления о прекрасном и неизвестном, и о формальном совершенстве, и зеркала, в которые мы так любим смотреться, и прибежища доступных радостей. Талант, способность говорить, слушать, убеждать, волновать — сила, которая должна быть направлена сегодня на спасение человека. Быть может, это единственное, что у нас осталось перед лицом злобной и иррациональной жестокости.

Нам нужен сильный голос, который сможет разбудить глухих, растормошить вялых. Ибо потом мы рискуем уже не успеть. Настала пора осознать, какое значение имеет в мире печатное слово. Настало время, когда писатели и творческая интеллигенция должны выбрать: защита человека и его судьбы или соучастие в преступлении.

За многие годы литература почти исчерпала набор персонажей человеческой комедии. Остался один персонаж — человек, которому грозит опасность и которого сегодня мы должны защитить.

Что может слово

Заметно богаче на этот раз география конгресса — здесь и Шри-Ланка, и Мозамбик, и Исландия, и Мали, Новая Зеландия, Нигерия, Йемен, Сенегал...

Внушителен вклад в диалог писательских делегаций Европы, обоих континентов Америки, солиден список приветствий, полученных от видных политических и общественных деятелей, от международных организаций, участвующих в антивоенном движении.

Советскую делегацию возглавил Секретарь Союза писателей СССР, главный редактор «Иностранной литературы» Н. Т. Федоренко, выступивший на первом пленарном заседании с большой речью (она уже приводилась в печати).

Оказывает ли книга по-прежнему влияние, которое она имела до господства средств массовой информации, пробивается ли в странах Запада ее голос сквозь заграждения из колючей проволоки дезинформации и лжи, сквозь стремление посеять недоверие и подозрительность — проблемы эти заботят Гауссу Диавару из Мали, Максима Ндебеку из Конго.

Погибнуть в атомном пламени, под автоматной очередью или умереть от голода, без заработка,— стоя перед таким «выбором», имеет ли право писатель остаться всего лишь свидетелем?

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА (Болгария)

Оградить молодых от бездуховности

Помните ли вы одно из тревожных предостережений Достоевского: без ростков положительного и прекрасного человек не должен выходить из своего детства, без ростков положительного и прекрасного нельзя отправлять в путь поколение.

Сколько детей нашей планеты выходит из своего детства без этих самых ростков прекрасного, что могли бы их сделать выносливыми и сильными перед всеми несовершенствами современного мира!

К несчастью, во многих странах новое поколение растет еще в атмосфере подлости, эгоцентризма, духовной нищеты, не подозревая даже ни о мечте и боли великого мыслителя, ни о существовании его бесценного, полного любви к человеку наследия.

Мы, писатели, особенно остро ощущаем, как пагубно атмосфера военной напряженности влияет на духовную жизнь общества. Она препятствует прогрессу в области культуры, науки, просвещения, приносит неисчислимые беды молодому поколению. Еще и поэтому столь велика в наше время социальная роль литературы. С одной стороны, помочь молодежи осмыслить сегодняшнюю политическую ситуацию, с другой — оградить ее от бездуховности, помочь сохранить свою индивидуальность, не дать растеряться, почувствовать беспомощность перед полным сложностей современным миром, способствовать сохранению равновесия между эмоциональным и рациональным началом в личности человека, их наиболее полному проявлению.

В обществе, где господствует стандартизация духа, война, если можно так сказать, заранее захватывает себе территорию в душах молодежи, лишенной какой бы то ни было духовности. Я убеждена, что именно таким был молодой американский лейтенант, который, пролетая над Нагасаки, нажал на кнопку автоматической системы, чтобы спустя несколько минут хладнокровно послать на свою военно-воздушную базу радиограмму, где говорилось: «Бомбардировка Нагасаки производилась визуально. На первый взгляд эффект тот же самый, что и при бомбардировке Хиросимы. Горючее подходит к концу. Сомнительно, дотянем ли до Окинавы».

Единственный американский журналист, допущенный к участию в операции «Билл Лоуренс», записал в своем блокноте: «У меня такое ощущение, словно жизнь исчезла с лица земли, и я остался совсем один... Один, обреченный на бесконечное скитание в межпланетной пустоте».

Я хочу повторить мысль американского писателя Курта Воннегута, который с возмущением говорил о тех, кто ежедневно призывает производить все больше и больше ядерного оружия, приводить все больше аргументов в его защиту. «Все чудовищней и опасней ложь, которую мы слышим,— сказал он,— те, кто не осознает всей опасности ситуации, на мой взгляд, идиоты и лицемеры».

Действия в защиту мира и сотрудничества, которые объединили бы людей несмотря на то, что их разделяет, — такова первая цель нашего писательского общения.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Завоеватель не может быть героем

Мне выпала честь участвовать в первой нашей встрече пять лет назад. Тогда я имел возможность подробно поделиться своими сокровенными раздумьями с этой высокой трибуны. С тех пор прошло не так уж мало времени. Сейчас мы видим, что наше начинание не угасает, а, наоборот, все больше привлекает к себе внимание писателей мира. Со всех сторон в Софии собираются люди, пишущие, владеющие пером и потому имеющие возможность влиять на умы и сердца современников. Это не только прекрасно, это необходимо.

Если бы каждая выходящая в свет книго могла утвердить в сознании, в мировосприятии читателей те благородные идеи, о которых здесь идет речь, мы могли бы считать, что наши необыкновенной трудности задачи, предложенные XX веком, выполнены.

Именно в XX веке возникла совершенно новая функция писателей мира, если можно так сказать, дополнительный груз, бремя, новая их миссия. Прежде классики наших литератур выступали глашатаями гуманизма, имея возможность жить в более спокойных условиях. Даже, когда в недавнем прошлом раздавались тревожные голоса Роллана, Горького, Хемингуэя, не было еще такой опасности, не возникало положения, когда вопрос стоял: быть нам или не быть.

Альтернатива именно такова — либо мы сохраним все то, что человечество создавало с таким трудом и усилиями на протяжении своей долгой истории, или мы все это утратим. И вот в этот самый момент, когда мы с вами собрались здесь, чтобы поделиться своими впечатлениями, мыслями, тревогами, надеждами, отчаянием, другие люди — и это надо с полной ответственностью себе представлять — подсчитывают коэффициенты возможных потерь убитыми и ранеными при той или иной боевой операции. Возможно, именно сейчас кто-то подсчитывает, сколько будет стоить подготовка одного солдата для участия в ядерной войне. Я думаю, что такие расчеты ведутся.

Вспоминаю слова, однажды сказанные моим другом: «Вот вы все рассуждаете о мире, боретесь за мир, пытаетесь повлиять на людей, чтобы они тоже приняли активное участие в этой борьбе, стали вашими единомышленниками. А вы задумываетесь хоть на короткое мгновение, что некий молодой генерал, чья военная служба, чья карьера приходятся на наши дни, которому пока ничем не удалось отличиться, прославить себя, в эти самые дни мечтает о том, как вписать свое имя в анналы военной истории? Что, наверное, есть и такие, кто не прочь бы выступить в амплуа сегодняшнего Александра Македонского или Наполеона?»

Я действительно призадумался над этим. Сколько было принесено людских жертв в те времена, когда Александр Македонский покорял мир? Многие ли сейчас помнят об этих жертвах? А Македонский остается одной из самых известных личностей этой эпохи. Или Наполеон—это уже ближе к нашему времени, — сколько людских жертв было принесено в его пору на алтарь войны?

Не будем разбираться сейчас, почему возникали эти войны, какие причины привели к ним. Сам факт, что фигура Наполеона нередко героизируется, а погибшие — они вроде бы никто, они не воспринима-

ются нами, забыты, — вот эта мысль приводит меня в отчаяние. И я думаю о том, как это важно сейчас каждому из нас каждым своим словом, каждой строкой своей книги — единственного оружия в наших руках — таким образом повлиять на умы и настроения, на сознание, на формирование взглядов молодых людей, чтобы показать им, как опасно героизировать это в прошлом, превращать это в символ славы величия, хоть в чем-то содействовать рождению какого-нибудь новоявленного Наполеона. Тем более страшна была бы сейчас, обладая сегодняшним оружием, личность, которой может прийти в голову мысль: «А чего, собственно, стоит человеческая жизнь? Был же Наполеон, в конце концов... Какую оценку дает ему история, к чему мы пришли? Как он выглядит, какой ореол окружает его и где эти безвестные солдаты, армии, дивизии, которые полегли на полях тогдашней войны?»

Не бродят ли такого рода мысли в чьей-нибудь голове? Не жаждет ли сегодня кто-нибудь еще раз прославить себя таким образом? Трудно сказать. Наша задача — вот этой жажде славы, этому человеческому пороку противопоставить другие ценности, другие критерии.

Везде и всюду, на всех языках, во всех литературах нам следует насаждать мысли и чувства истинно гуманные, благотворные, позволяющие нам именоваться людьми, теми разумными существами, которые, однажды возникнув почему-то на этой планете в этой природе, не кончили бы жизнь столь бесславным образом.

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ (СССР)

Война и дети

На разных этапах нашего исторического развития писатели и деятели культуры с мировыми именами всегда выступали против геноцида, апартеида, агрессии, против войны.

Еще в 1923 году выдающийся английский писатель Джон Голсуорси писал: «С помощью науки мы создали чудовище, которое пожрет нас самих, если только мы путем международного обмена мыслями не создадим в противовес новым силам разрушения общественное мнение, столь сильное и единодушное, что ни одна страна не решится пойти против него».

И в другом месте: «Если в мирное время ребенка подвергают надругательству или убивают, вся страна приходит в волнение. Во время войны подвергаются надругательству и гибнут миллионы детей — по-иному, но не менее ужасно. На них обрушиваются голод, эпидемии, сиротство, смерть от болезней, ядовитых газов и бомб... Последствия войны они чувствуют на себе еще много лет спустя, иногда всю жизнь... И, вероятно, страдания детей в прошлых войнах ничто по сравнению с тем, что их ожидает в войнах будущего, когда жизнь целой страны, возможно, будет парализована нападением с воздуха на густонаселенные города... Здоровье, моральное благополучие и жизнь миллионов детей, поколение за поколением, зависят от того, насколько нам удастся уберечь будущее от разнузданных безумств настоящего и от страшных жестокостей и уничтожений прошлого...»

Голсуорси не дожил до наших дней, но слова его, обращенные в свое время к участникам конференции по разоружению, обрели в наши дни зловещую реальность. Десятки тысяч детей Ливана и Палестины гибнут сегодня под развалинами домов в полыхающем Бейруте, умирают изуродованные в госпиталях, которые в свою очередь рушатся под бомбами и снарядами озверевших оккупантов, остаются сиротами и калеками на всю жизнь. Под пулями карателей погибают вместе со своими матерями дети Сальвадора. И все это происходит с откровенного одобрения и при активной поддержке Соединенных Штатов. В зловещих арсеналах военных корпораций накапливаются и ждут своего применения запасы чудовищных средств массового поражения.

Пятьдесят лет своей жизни я отдал делу воспитания подрастающего поколения как писатель и общественный деятель. Естественно, я не могу обойти молчанием судьбу тех маленьких жителей планеты, которых сегодня лишают права на жизнь.

Война — всегда безумие. Ракетно-ядерная война — безумие, доведенное до предела. Это — всемирная катастрофа!

Наша задача, наша цель — сделать все возможное, чтобы ее предотвратить!

В своем коротком выступлении я два раза ссылался на слова классика английской прозы — Джона Голсуорси. Будем же считать его символично присутствующим сегодня среди нас и принимающим участие в нашей Четвертой международной Софийской встрече писателей.

К. С. ДУГГАЛ (Индия)

Прислушаемся к предложениям СССР

Совсем недавно нам довелось услышать о том, что у американцев есть значительные шансы выиграть «ограниченную» ядерную войну. Это утверждение — одно из самых безумных, какие мне только доводилось слышать за мою жизнь. А я ведь прожил на свете уже шестьдесят лет.

Мое поколение я называю проклятым — оно родилось в разгар первой мировой войны, в юности столкнулось со зверствами второй мировой войны, а с тех пор жило под угрозой термоядерной катастрофы. И при этом я верю, что именно наше поколение способно помешать нашему, столь обильно удобренному потом и кровью миру разделить судьбу Хиросимы и Нагасаки. Именно мы, знающие, что такое война, можем предотвратить ее. Разве не закономерно, что главную опору этих надежд мы видим в усилиях наших друзей из Советского Союза и других социалистических государств, ведущих непрерывную

борьбу за мир? Ведь это на их земле отплясывало свою жуткую пляску чудовище войны. Те, кто стоит сегодня у власти в США, словно бы не понимают, с каким огнем позволяют себе играть — их-то страна не слышала смертоносного рева орудий.

Время наше на исходе. На смену нам стремительно приходит новое поколение, знающее войну только по рассказам. Не их вина, если они подчас достаточно легкомысленно относятся к ее угрозе, иной раз ведут себя наподобие ковбоев.

Мне хорошо знаком северо-запад индийского субконтинента, где я жил среди патанских племен с их нескончаемыми вендеттами. Об одной из них хочу кратко рассказать. Во время второй мировой войны сын главы одного из племен завербовался в армию и покинул родные места. Воспользовавшись его отсутствием, враги его отца всячески вредили старику.

Они портили посевы, крали и убивали скот и не скупились на поношения. Беспомощный отец терпел эти оскорбления и ждал сына: вернется с фронта и отомстит за все. И вот сын вернулся. Он возмужал, стал зрелым человеком. Получил высокий чин и приехал в джипе с ординарцем, на боку — пистолет, в вещевом мешке — патроны. Враги его отца перепугались. Жена рассказала ему, что перенесла вся семья, пока его не было. Он должен отомстить любой ценой. Мать молит его поддержать родовую честь. Отец уже принялся точить саблю и кинжал. Забил барабан. Враги должны получить по заслугам. Но грохот барабана напоминает молодому человеку о войне. О смертях и страданиях. О насилиях над женщинами, об убийстве детей. О сожжении жилищ и уничтожении посевов. Об искалеченных и изуродованных, о вдовах и сиротах. Словно кинокадры, все это замелькало перед его глазами. Он кинулся к отцу и выхватил саблю из рук старика. «Не надо резни! — молил он. — Не надо больше войны». Он ведь знал, что такое война.

И это не сентиментальная история, это случилось на самом деле.

Я убежден, что современное скольжение в пропасть может остановить только наше поколение, которое знает, что такое война. И надо это сделать сейчас, пока еще не поздно.

Решительное заявление, с которым выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН господин Громыко — о том, что Советский Союз никогда первым не применит ядерное оружие, — пожалуй, наиболее утешительная и обнадеживающая новость, которую мы услышали в последнее время в нашем раздираемом конфликтами мире.

«Если всем людям равно грозит гибель и если они осознают это, появляется надежда, что совместными усилиями им удастся ее отвратить»,— писали Бертран Рассел и Альберт Эйнштейн в совместном заявлении против ядерной угрозы. Прислушаемся же к предложениям советских руководителей, продиктованным насущнейшей необходимостью предотвратить катастрофу. Термоядерный взрыв, вне всяких сомнений, означал бы полное исчезновение всего человечества. Именно мы, писатели, обязаны помочь людям все это осознать.

УИЛЬЯМ МЕРЕДИТ (США)

В чем я вижу долг американского писателя

Вряд ли кто-либо в мире способен усомниться в том, что моя страна изначально провозгласила в качестве своей основы идеалы свободы и мира. Недаром великим документам нашей нации, строкам из первых ее хартий так часто воздается должное; молодые государства, стремящиеся к тем же идеалам, что были начертаны отцами—основателями нашей страны, нередко воспроизводят эти строки в сегодняшних своих документах.

Как известно, огромная роль в нашей стране принадлежит общественному мнению. Мой коллега из России говорил здесь о том, что у его соотечественников складывается впечатление, что в настоящее время воздействие определенных политических кругов на общественное мнение американцев не служит им на благо.

Мой патриотический долг обязывает меня согласиться с этим суждением. Профессиональный долг деятеля культуры обязывает меня сказать здесь о чувстве особой ответственности, которое американские писатели испытывают сегодня в этой связи не только за судьбы своего собственного народа, но и всего мира, за право выступить в его защиту, против вооружений.

Мы представляем свою нацию, мы работаем над ее самосознанием. Писатели выезжают за рубеж, чтобы исполнить свой патриотический долг и рассказать о ее свершениях, а вернувшись домой, способствовать устранению просчетов политики, которая этим свершениям препятствует.

Американские писатели — я думаю, что в данном случае могу это сказать от их общего имени,— сознают, что за последние годы мы не слишком преуспели в воздействии на общественное мнение своего народа и что приехали сюда, не оснащенные четкими представлениями о том, что в силах сделать у нас художник, чтобы подвигнуть как можно большее число наших сограждан, живущих в пределах, достижимых для нашего влияния, примкнуть к тому направлению политики, которое приведет нас к миру.

Что касается лично меня, то я горжусь возможностью выступить здесь от лица миролюбивой Америки, присутствовать на этой встрече и говорить с ее трибуны — для меня это высокая честь.

НАДЕЖДА

В идеологическом, политическом планах лишь два-три выступления прозвучали диссонансом к настроениям подавляющего большинства участников обсуждения. Упреки этих ораторов в адрес лагеря социализма, Советского Союза не подкрепили чем-либо новым давно эксплуатируемые «опоры» антисоциалистической, антисоветской пропаганды: те же попытки тенденциозно истолковать события в Афганистане и Польше, те же абстрактно понимаемые «права человека», идеи непременного «плюрализма истин», «равной вины», «равного кризиса», «равной ответственности»...

Желания форсировать «полемику противостояния» аудитория явно не проявила, дело ограничилось несколькими весомыми репликами в ответ. Одиозные мотивы этих выступлений участники встречи склонны были отнести скорее за счет искренних заблуждений одних из этих ораторов, незрелости позиции других,— изжить это, видимо, поможет время.

Кстати сказать, последовали и их собственные повторные реплики, позволявшие надеяться на взаимное согласие. Дискуссия же устремилась в иное русло: весьма оживленный обмен мнениями возбудила тема секционных заседаний комиссии под названием «Литература надежды или литература отчаяния?». На ней мы позволим себе остановиться подробнее.

БОГОМИЛ РАЙНОВ (Болгария)

Приглашая к дискуссии

Литература отчаяния или литература надежды? Конфликт этих двух начал стар как мир. Мы находим его и в античных трагедиях, и в произведениях последующих эпох — начиная с «Божественной комедии» Данте и «Человеческой комедии» Бальзака и кончая литературой XX века

Одни авторы, воссоздавая конфликты общества проецируют их на себя, изображая их как драму или трагедию личности, другие в собственной духовной драме видят отголосок трагедии общества Как бы ни противостояли друг другу эти два подхода, они с разных сторон подводят нас к общему выводу: писатель и мир есть одно целое Изоляция от внешнего мира не может быть актом творчества. Она подобна самоубийству.

Независимо от мнения скептиков литература представляет грозное оружие в борьбе против сил мрака, ибо она воплощает триединство разума, чувства и воли синтезирует выявляет лучшие человеческие качества в их целостности. Литература способна достичь по-настоящему великого воздействия лишь при условии, что она опирается не на схоластику голого рассудка, но на благоразумие в подлинном его смысле не на хаос гуманных эмоций, но на высокие чувства, если будет взывать не к разрушению и саморазрушению, но к утверждению идеи созидания Литература никогда не сможет возвыситься до Нагорной проповеди если она копошится на дне, в гуще низменных страстей и помыслов.

Когда один из героев Юджина О'Нила говорил, что создать идеальное человеческое общество так же трудно как построить мраморный храм из грязи и навоза он явно имел на то какие-то основания. И когда Анри Мишо утверждал, что человек остается каннибалом он тоже имел на то какие-то основания. Однако «какие-то основания» совсем не равноценны «достаточному числу оснований». Луна до сих пор не изучена по-настоящему поскольку мы исследовали лишь одну, освещенную ее сторону; но наверняка наши знания о Луне были бы намного скуднее, если бы видели лишь обратную, затемненную, ее сторону. И, возвращаясь на землю, следует отметить: если зверства садистов в Ливане мы воспринимаем как факт, то гневный протест миллионов людей против этих злодеяний — не менее важный факт.

Писатели моего поколения хорошо помнят те времена, когда молниеносное наступление нацизма породило отчаяние в сердцах целых народов. И если временные военные успехи не привели его к конечной победе, то произошло это потому, что миллионы людей не потеряли надежды.

Любителям мрачных курьезов наверняка известно сообщение почтовой службы администрации США, в котором говорится, что в случае атомной войны центральное управление будет перемещено в Теннесси, а если и Теннесси превратится в руины, управление переведут в Калифорнию, причем плата за почтовые услуги возрастет.

При обсуждении этого проекта адмирал запаса Ла Рок заявил, что «планировать жизнь после атомной катастрофы равносильно тому чтобы рассчитывать на жизнь в аду». Адмирал осознает безумие, но видно, не отдает себе отчета в том, что оно строго запрограммировано. Речь идет о безумии как психологической операции, которая тоже имеет прямое отношение к дилемме «надежда или отчаяние», поскольку ведет к третьему — промежуточному — варианту: смирению. Да, катастрофа неизбежна, но ее хотят по крайней мере, старательно подготовить. Не смея рассчитывать на поддержку милитаристские круги стремятся приучить народы к смирению которое создает благоприятную атмосферу для всевозможных политических авантюр.

Но смирение означает капитуляцию, его нельзя считать вариантом решения проблемы: чем усерднее приверженцы мизантропии распространяют яд отчаяния, тем заботливее мы должны поддерживать огонь надежды. Ибо мракобесы, подобно ночным птицам боятся света.

Ветер надежды должен рассеять не только темные тучи на горизонте, но и тяжелые испарения военного психоза, в атмосфере которого нам приходится жить, где даже мирные будни отравлены парализую-

щим веянием войны. Нельзя забывать о том, что дети, которых мы называем нашим будущим, растут и формируются в болезненном климате постоянного напряжения, что апатия, ощущение безысходности, стрессы и прочие неврозы в значительной мере являются плодом Великого страха — страха всеобщей гибели.

Широко популяризируемая в ряде стран радио и телевидением колоссальная продукция литературы и кино спекулирует историями о катастрофах, происходящих в космосе и на планетах, о насилии и всяческих ужасах. Верно, что по сути это продукция не культуры, а «полукультуры», но остается фактом, что литература и киноискусство зачастую преследуют цель не придавать людям мужество, а отнимать его, сеять в их душах страх и лишать силы воли, отбирать надежду и толкать в пропасть отчаяния.

Да, истина рождается в столкновении всевозможных точек зрения. Но существуют такие жизненно важные моменты, когда «разноязычие» опасно, когда оно может привести к гибели. Единомыслие и единодействие — основа не только надежды, но и твердой веры в человека. Единодействие и единомыслие миллиардов людей не допустят, чтобы они стали жертвой горстки безумцев.

Те, кто любит обращаться к Апокалипсису, часто забывают, что и в этой книге побеждает не всемирная гибель, а возмездие и что автор приводит читателя к светлому финалу: «И увидел я новое небо и новую землю...»

Без вечного стремления к идеалу, названного скептиками погоней за миражем, человечество вряд ли могло бы выстоять и продолжить свой путь сквозь круговорот хаоса и шквалы мрака.

К диалектике понятий

МАРТИН НАГ (Норвегия)

Пути ведут к Марксу

Мы живем в эпоху революций. Революция — это ленинизм плюс надежда. Но противоборствующие силы все еще не сдают своих позиций. Это относится и к литературе, проповедующей отчаяние, страх, цинизм. Такую литературу можно рассматривать как своего рода троянского коня, которого ее сторонники пытаются протащить в литературу надежды.

Перед поездкой в Софию я закончил книгу о Нурдале Григе, посвященную его 80-летию. Я собрал новые материалы о Григе, этом норвежском Маяковском, павшем в борьбе с фашизмом. Во французском журнале «Коммюн» я обнаружил текст речи, произнесенной Григом в Мадриде в 1937 году, на писательском конгрессе. В этой речи Григ, поэт надежды, говорит о том, как важно, чтобы слово писателя звало к действию, что цель литературы — укреплять веру в победу над фашизмом. Так Григ понимал долг и задачу современных писателей.

Со всех концов земли мы съехались на эту встречу писателей, борющихся за мир. Каждого из нас можно сравнить с маленьким ручейком надежды, но, сливаясь, эти ручейки образуют мощный поток — реку Надежды.

Наше время сложно, но за всевозможными случайностями, мелочами нужно уметь увидеть закономерную необходимость. Ту самую, о которой говорил Ибсен, почти повторяя Маркса.

К Марксу сегодня ведут все пути. Прокладывают этот путь страны социализма во главе с Советским Союзом.

Умершие писатели и сейчас с нами, они разделяют наши радости, участвуют в наших спорах. С нами Сароян, Симонов, Хёльмебакк, Станев.

Когда я обдумывал эту речь, молодежный хор и оркестр Болгарии исполняли оду «К радости» из Девятой симфонии Бетховена. Это ли не символ надежды? Мою речь продолжает сама болгарская действительность.

Великие деятели коммунистического движения напоминают нам о том, что смерть — ничто, а жизнь — все. Они не умирают. Память о них подобна полоске светящегося во мраке моря.

ЭЛТОН ФЭКС (США)

Отвергаю литературу отчаяния

В семидесятых годах XVIII века, когда революционные патриоты моей родины, тогда еще английской колонии, потерпели одну из многочисленных неудач в своей борьбе за независимость, их дух укрепили слова писателя Томаса Пейна. Англичанин по рождению, Том Пейн уехал в Америку, вступил в революционную армию и был в ее рядах, когда ей пришлось отступать через Нью-Джерси. В 1776 году он написал первый из своих памфлетов, получивших общее название «Американский кризис», и начал его абзацем, который стал знаменитым:

«Такие времена, как эти, — испытание для человеческой души. Солдат «на летний сезон» и патриот «в солнечные дни» в критический для родины момент прячутся в кусты».

Историки сообщают, что этот памфлет было приказано читать революционным войскам и что его пламенное патриотическое красноречие во многом помогло обрести решимость тем, кто находился под огнем.

Мы теперь вновь переживаем времена, испытывающие человеческую душу. Вот почему мы, писатели, собрались здесь. И здесь мы заявляем что в нашей решимости добиться мира для всего мира мы — не «летние» солдаты и не «солнечные» патриоты. Во имя этой цели мы все отвергаем литературу отчаяния. Лично меня тревожит и возмущает тон безудержного цинического «макабра», пронизывающий большинство выступлений массовой печати на моей родине. Этот беспардонный «апокалипсический» цинизм призван запугать обывателя, внушить ему, что чем больше

у нас будет ядерного оружия, тем меньше нам и прочему так называемому «свободному миру» будет угрожать «нападение со стороны России». Если в этих агрессивных реляциях и допускается иной раз некоторое смягчение, то для самой низкопробной демагогии — это «не русский народ», дескать, «но его правительство» полно адского желания уничтожить нас.

Банальности отчаяния повторяются снова и снова. И это повторение способствует отвлечению общественного внимания от истинных проблем, стоящих перед моей страной, — от растущих инфляции и безработицы, не говоря уж о разгуле расизма, вседозволенности. Особенно возмущают ни с чем не сообразные размеры ассигнований на военные нужды за счет столь необходимых программ для улучшения судьбы простых людей. Вот где истинная угроза благополучию американских граждан.

Однако далеко не всех американцев удается убедить в реальности пресловутой «красной угрозы». Многие — и число их все возрастает — относятся к этой пропаганде с сомнением.

Должен свидетельствовать лично: то, что я совсем недавно видел в Советском Союзе, прямо опровергает обвинения его правительства в том, что оно якобы вынашивает агрессивные намерения. Об этом я подробно рассказал в своей последней книге.

Тем не менее атмосферу здравомыслия продолжают портить и загрязнять опасные и бесчестные инсинуации и угрозы, они меня глубоко возмущают.

Мы, писатели, обязаны исполнять наш долг прогрессивных выразителей воли народа в том духе, о котором говорил Том Пейн. Место литературы отчаяния мы должны занять литературой уверенности и надежды. И должны сделать это теперь же. Мы можем это сделать, и мы это сделаем!

ЭЛИ ПИОНИДУ (Кипр)

Надежде — тысячу раз «да»!

...Понятие «надежда» — столь же распространенное, как «мир», «демократия», «любовь». Но поверьте, защищать, и причем убедительно, это понятие с трибуны столь высокого форума не так уж просто. Оно включает в себя право разгневаться, обидеть кого-то, проклясть, высказать свое ироничное отношение, право даже промолчать гневно... «Сердитые» поэты, актеры, художники, певцы — как правило, самые талантливые, они всегда были близки нам.

Понятие «надежда», встречающееся в современной литературе и искусстве, порою вяло, бесцветно, не всегда темпераментно, наступательно, действенно, не всегда в подтексте его — гнев, проклятья, слезы, ирония.

Литературу жизни мы противопоставляем литературе смерти. В данный критический момент, который переживает человечество, люди не способны оставаться бесстрастными, они стоят перед выбором: жизнь или смерть. Литература отчаяния— словно в негласном сговоре со смертью, она как бы на стороне ядерного оружия, раковых заболеваний, уничтожения окружающей среды, на стороне всех опасностей, которые затягиваются крепким узлом вокруг шеи нашей планеты. Вот почему литература надежды призвана стать по-настоящему действенной силой, борющейся против бед, которые угрожают человечеству.

Она должна превратиться для порабощенных народов в песню свободы, в любовное стихотворение, в беспощадную сатиру, бичующую диктаторов, в гимн славы павшим героям, должна быть духовной пищей для грядущих поколений.

Литература надежды должна стать неотъемлемой частью нашей жизни, должна сопутствовать человеку на всем протяжении его жизненного пути и особенно в минуты отчаяния.

Как бы не было сложно защитить понятие «надежда» в коротком выступлении, в десять раз труднее защитить его обоснованно и убедительно в художественном произведении. Ибо здесь главную роль играет талант. Если писатель не обладает талантом, надежда в его произведении будет выглядеть блеклой и беспомощной проповедью, лишенной силы убеждения.

В одном из стихотворений замечательного поэта-мыслителя Луи Арагона, посвященных могучей демонстрации борцов за мир, которая состоялась 20 июня прошлого года в Париже, он говорит: «Я утверждаю — смерть не посмеется последней, я отрицаю ее законы».

Думаю, что эти слова точно отвечают на вопрос, поставленный перед нами нашими болгарскими коллегами: «Литература надежды или литература отчаяния?».

Мы отвечаем: да, тысячи раз «да» в пользу литературы надежды, даже если останется на нашей планете в живых всего лишь один человек!

ХОАКИН ГУТЬЕРРЕС (Коста-Рика)

Воздать должное отчаянию

Если мне будет позволено, я бы хотел воздать должное отчаянию.

Поговорим сначала о жизни, а уж потом перейдем к литературе. Например, в Сальвадоре и Гватемале для каждого человека в отдельности и всего народа в целом жизнь полна отчаяния. И тянется это практически со времен испанского завоевания. В этой беспредельной тьме отчаяния надежда вспыхивала лишь изредка, лишь на мгновение, как луч далекой, туманной звезды.

Вплоть до последних лет Никарагуа жила такой жизнью. Именно отчаяние побудило ее народ преодолеть глубочайший, коренной человеческий инстинкт—инстинкт собственности,— толкнуло этих людей, одетых в лохмотья, вооруженных лишь камнями и кухонными ножами, вступить в борьбу с танками и мортирами национальной гвардии Сомосы — регулярной армии, до зубов вооруженной империалистами.

Как не вспомнить вновь золотые слова, написанные Марксом и Энгельсом почти полтора века тому назад: пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих цепей... Понятно, что жизнь того, у кого нет ничего, кроме цепей, полна глубочайшего отчаяния. И только после этого Маркс и Энгельс, подавая на-

дежду и побуждая к действию, добавляют: ...обретете же вы весь мир...

Множество молодых людей черпают силу в полных горечи и отчаяния стихах андского поэта Сесара Вальехо.

Надежда сладкозвучна, она заглушает стоны отчаявшихся народов. Как услышать сегодня людям стон парагвайского народа, стон народа Гаити? У этих народов не осталось своих поэтов. И потому я благославляю полные отчаяния строки Вальехо.

ЭММА СМИТ (Англия)

Углубляя аргументы

В сегодняшней Англии чувство отчаяния знакомо юношам и девушкам, вынужденным по окончании школы становиться в очередь за пособием по безработице. Оно знакомо мужчинам и женщинам, которые в одно прекрасное утро узнали, что рабочее место, занимаемое ими в течение стольких лет, вдруг перестало существовать. Оно знакомо миллионам других англичан. Перечень душевных и физических страданий, которые причиняет людям внутренняя политика английского правительства, был бы поистине бесконечен. Эта политика, разумеется, носит воинствующе антисоциалистический характер. Быстро и беспощадно уничтожается все то, что мы, англичане, называем «государством всеобщего благоденствия»; без разбору упраздняются социальные программы в области повышения занятости, жилищного строительства, образования, медицинского обслуживания и т. д. и т. п., и в результате на обломках «государства всеобщего благоденствия» пышным цветом расцветает отчаяние.

Подчас это отчаяние проявляется в анархических вспышках гнева — крике души доведенного до крайности человека, похожем на исступленный вопль в ночи: раз уничтожают меня, и я стану уничтожать! Подчас оно проявляется в причудливости одеяний и нелепости причесок, которыми щеголяют на наших улицах юные «панки» — в своего рода паническом эксгибиционизме, который эти, официально отвергаемые за ненадобностью, мальчишки и девчонки изобрели как способ доказать всему свету, да и себе тоже, что они действительно существуют.

Но гораздо чаще отчаяние порождает парализующую человека апатию, которая подавляет всякую инициативу, в том числе всякое стремление протестовать, выражать недовольство своим положением. Отчаяние сковывает уста. Оно притупляет мозг и спутывает мысли. Оно создает эмоциональную изоляцию. Отчаявшийся человек оказывается как бы запертым в одиночную камеру своего сознания и поэтому лишается возможности объединить усилия с товарищами по несчастью. Отчаяние — это самая настоящая пытка.

Что подумать о людях, намеренно обрекающих на эту пытку миллионы себе подобных? Как объяснить в свете всего этого безумные поступки тех, кто закрывает наши школы и колледжи, выбрасывает из университетских программ десятки курсов и лишает работы большое число наших квалифицированных и преданных своему делу преподавателей? В этом безумии, безусловно, есть своя система. Ведь в конце-то концов самый верный способ подтолкнуть человека к отчаянию со всеми вытекающими отсюда парализующими последствиями — это лишить его образования, что не только вызовет у него глубокое чувство собственной беспомощности, но и с полной гарантией сделает его действительно беспомощным.

Отчаяние в самых острых своих формах по крайней мере ясно различимо. Гораздо шире распространена не столь ярко выраженная и потому менее заметная форма отчаяния, которая представляет собой с точки зрения сохранения жизни человечества бесконечно более опасную социальную болезнь: ведь пораженное этой болезнью общество позволяет реакции безнаказанно вершить свои чудовищные дела, реагируя на них лишь пожатием плеч и зевотой.

Человек, как нам всем известно,— существо разумное. Кроме того, он, думается мне, существо совестливое. Во всем, что предпринимается для формирования нынешнего облика Англии, во всей деятельности используемых для этого механизмов, и в первую голову системы образования и средств массовой информации, по-моему, ясно прослеживается двойная цель: во-первых, лишить большинство людей желания, а потом и способности задумываться и, во-вторых, лишить их совести при помощи систематического извращения подлинной природы нравственности. Но отнять у людей способность думать, отнять у них совесть — значит обесчеловечить их. Именно это, на мой взгляд, и пытаются сейчас делать — кто тонкими, кто топорными методами — у нас на Западе. Не дай бог, чтобы эта попытка увенчалась успехом,— тогда человечество будет обречено.

Писатели имеют возможность внести свой позитивный вклад в дело предотвращения рокового исхода. Но задача эта — не из легких. И, в частности, она осложняется тем, что каждый настоящий художник в большой степени наделен способностью, как губка, впитывать в себя все, что носится в воздухе,— способностью, которая необходима для нашей писательской работы, но которая, как это ни парадоксально, может оказаться для нас губительной. Например, писатель, вобравший в себя из окружающей атмосферы дух отчаяния, может пойти ко дну, пожалуй, быстрее, чем кто-либо другой. Впрочем, если он не только писатель, но и социалист, у него меньше оснований опасаться за себя, потому что социалист в конце концов спасет писателя.

Однако даже в этом случае писателя подстерегает немало опасностей, и в том числе, быть может, самая коварная — когда негодование социалиста берет верх над трезвым суждением писателя. Ведь если мы, движимые чувством возмущения, превратим наше творчество в грубое орудие, мы нанесем урон лишь искусству, тогда как вопиющая несправедливость, которую мы стремимся побороть, от этого не пострадает.

Мы, западные писатели, должны уметь управлять своим негодованием. Мы должны уяснить себе, что в конечном счете более эффективным может оказаться участие

в борьбе, которая ведется не в месте непосредственной ошибки в свершающейся сию минуту действительности, а глубже, у истоков процесса зарождения этой действительности. Отчаяние — это реальность современного мира, и мы не можем игнорировать или замалчивать его. Но ведь надежда не менее реальна; эта реальная, живая надежда должна насквозь пронизывать наше творчество. И неважно, в какую форму мы станем облекать то, что пишем,— важно, чтобы в наших произведениях нашли свое воплощение нравственные ценности, являющие собой приговор нынешним нашим реакционным правителям. Никогда еще этическое содержание литературы не имело такого значения, как теперь. Значение это поистине решающее. Решающим оно является потому, что в конечном итоге именно от нравственных ценностей зависит мир на нашей земле и, следовательно, будущая судьба человечества.

В какие бы литературные покровы ни рядилась наша мысль, в какой бы косвенной форме она ни выражалась, мы должны бороться за то, чтобы люди сохраняли способность думать; мы должны отстаивать высокие моральные принципы и пробуждать совесть. Если в нашем тревожном, одурманенном западном мире получит поддержку и восторжествует здравомыслие рядового труженика, если будут верно формулироваться и правильно пониматься принципы морали, если в людях возродится совесть, то все остальное, о чем мы мечтаем, придет с такой же неизбежностью, с какой день приходит на смену ночи. Надежда — неумирающая надежда, которая поддерживает и одухотворяет жизнь на земле,— победит.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия)

Ответ — в сопротивлении

Всякая литература содержит элемент отчаяния, было бы неверно трактовать его только в отрицательном смысле: иной раз вопль отчаяния в литературе является выражением крика о помощи в жизни. Состоявшаяся много лет назад знаменитая дискуссия о природе оптимистической трагедии поставила подлинное значение слова «отчаяние» в контекст надежды.

Но перед нами, писателями, стоит задача глубочайшим образом проанализировать проблему надежды и отчаяния во всей ее диалектической сложности, ибо на простые категории добра и зла, жизни и смерти она не распадается. Важен не элементарный, поверхностный смысл слов, но реальное их значение в условиях современной действительности.

Попыткам убедить нас в том, что перед лицом бедственного положения, в котором оказался мир, никакой надежды попросту нет, мы должны противостоять. И в политической, и в социальной, и в культурной области нам постоянно внушают, что как изолированные, истерзанные, разобщенные личности мы не имеем ни малейшей надежды оказать воздействие на чудовищно сложный и неизбежный ход мировых событий. Разложение, затронувшее традиционные формы политической жизни, побуждает миллионы людей на Западе ставить под подозрение свои общественно-политические институты, своих политиков, священников, учителей, ученых, философов и, конечно, писателей. Кому можно верить?— спрашивают они. И отвечают: никому. А можно ли верить себе? Нет, нельзя. Человек потерпел банкротство.

Неудивительно, что при столь усиленно распространяемом убеждении в несостоятельности всех человеческих усилий у нас появилась литература, отражающая это убеждение. Но какую же цель преследуют те, кто твердит нам о несостоятельности человека? Ведь далеко не случайность, что нам внушают чувства бессилия и одиночества. И не случайность то, что некоторые наши писатели, подчас лучшие наши писатели, чувствуя себя такими же беспомощными, как другие, поддаются этому обману и даже помогают распространять его.

Мы живем в мире, где этим убеждением в беспомощности человека ловко манипулируют. Коль скоро человек беспомощен, какой смысл пытаться изменить обстоятельства его жизни и тем более его поведение? Наши западные философы внушают нам мысль о том, что прежде всего мы должны искать корни своей беспомощности в самих себе. То есть объяснять ее дефектами своего «я», своими личными отношениями, неправильным воспитанием. Тем самым нас оставляют в одиночестве перед лицом нашей судьбы, тогда как нашей судьбой безжалостно распоряжаются за нас другие. Вот эти-то «другие», исполненные своекорыстных намерений и исповедующие философию насилия, как раз и являются подлинной причиной широко распространившегося по свету отчаяния, этого бедствия рода человеческого. Они создают видимость того, будто наш мир вышел из-под контроля, что, разумеется, позволяет им присвоить себе роль деятелей, контролирующих мировые события—в своих собственных интересах.

Если мы потеряем веру в себя, если сочтем жизнь невыносимой ношей, если усвоим насаждаемую нашей литературой мысль, будто единственный для нас выход — в боли и страданиях, в бессильных страстях, в трагедии, в жестокости, мы станем пособниками уничтожения человечества, наше будущее не простит нам самокопания и ухода в личные переживания.

Если мы хотим воспротивиться отчаянию и обрести надежду в силе человеческой личности и даже в окружающей действительности, мы не имеем морального права допускать, чтобы нас гипнотизировала трудность нашего положения.

Конечно, это не значит, что мы можем доверить наше будущее религиозным формулам и возвышенным заклинаниям. Конечно, нашей литературе, если мы хотим почерпнуть в ней надежду на будущее, не пристало утешать нас возвышенными заклинаниями, столь же несбыточными, как и экстатические мечты слепой веры. Казалось бы, куда как хорошо, если бы каждый из нас, усевшись за свой рабочий стол, принялся излагать простые истины о том, что добро лучше зла, социализм лучше капитализма, а жизнь лучше смерти. Все это соответствовало бы дей-

ствительности, но пострадала бы литература. Разумеется, в жизни далеко не все элементарно позитивно и однозначно — добро не всегда побеждает, для людей, подвергаемых нестерпимым пыткам, смерть оказывается подчас предпочтительней жизни. Однако и это не является ответом.

Если мы заглянем в книжные магазины Запада в поисках книг, которые могли бы вдохнуть в нас надежду, нам придется сегодня напрасно перерыть немало полок. В сущности, чаще всего надежду можно почерпнуть в произведениях классиков или в литературе, которая была популярна в 30—40-е годы и в начале 50-х. А затем в нашу литературную продукцию стал все больше проникать дух отчаяния, как если бы «холодная война» и наступивший ядерный век в конце концов убедили писателей в том, что мы обречены. В тот самый день, когда я писал в Лондоне эти строки, я прочел в лондонской «Гардиан» большую статью талантливой английской писательницы Дорис Лессинг, которая признает в этой статье неизбежность ядерной войны и более или менее определенно предостерегает нас против оторванных от жизни утопистов, воображающих, будто можно запретить ядерное оружие. Она отказалась от мысли о возможности предотвратить атомную войну и признала неизбежность ядерной катастрофы. Она перестала надеяться и, отчаявшись, фактически перешла на другую сторону.

Какая жалость! Однако чего же еще ждать от писательницы, не желающей больше заглядывать в глубины людских сердец, уступившей нажиму «других» и покорившейся их тирании? В античной драме боги, обитавшие на Олимпе, обращались с людьми как с забавными игрушками, смеялись над ними, мучили их, поручая им неразрешимые задачи, ставя их в безвыходное положение, безнадежно запутывая их взаимоотношения. Они не оставляли человеку надежды победить их, богов. Боги были высшими властителями, непостоянными и всемогущими. И все же смертные всегда оказывали им сопротивление. Они никогда не принимали безропотно судьбу, уготованную им богами. Они сопротивлялись и шли на муки, полные решимости перехитрить богов и остаться в живых.

Ныне мы оказались в таком же положении, только на сей раз это не миф. Это реальная действительность. Среди нас есть люди, которые ведут себя как безрассудные, опасные боги. Они играют нашими жизнями, восседая в своем частном элизиуме. Мы знаем, что представляют собой эти люди. Мы знаем, в какое отчаяние они повергают нас. Мы знаем, как жаждут они отнять у нас всякую надежду. Но подобно тому, как древние греки отобразили в своей классической драме поединок человека с богами, так и нам пора создать драматургию, прозу, поэзию, в которых найдет отражение наша собственная борьба с негодяями, вообразившими, будто они — олимпийцы и могут делать с нами все, что хотят, вплоть до полного уничтожения.

Это становится реальной драмой современной жизни. Она, эта драма, порождает худшую разновидность современного отчаяния. Но, с другой стороны, эта современная драма дает нам возможность воспротивиться. Сопротивляться, как сопротивлялись богам смертные. И обрести в нашем сопротивлении источник надежды, которая всегда помогала человеку выжить. Ведь без нее мы просто-напросто исчезнем, превратившись в сорок миллионов частиц космической пыли.

С акцентом эмоциональным...

Героиню своего последнего романа чилийский писатель-коммунист Володя Тейтельбойм назвал необычным именем Надежда Вопреки Всему.

«Я хотел воплотить в этом имени не только философию вымышленной женщины, не только свои идеи, но убеждение народа: да, Надежда Вопреки Всему — то есть без наивного оптимизма. Это Вопреки Всему само по себе огромно, но Надежда еще сильнее, и в конечном итоге она победит. Именно она собрала нас всех сегодня в этом городе, имя которого в переводе означает м у д р о с т ь».

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ (СССР)

(Из реплики председателя заседания)

Мне кажется, тема нашей дискуссии очень интересна. Мне кажется, что вообще литературы не бывает без надежды. Надежда — это синоним литературы. Почему? Не так уж редко писатель умирает непонятым современниками, но он остается жить второй жизнью, остается жить в языке, и потому он бессмертен.

Разве отчаяние Маяковского, отчаяние Есенина, которые кончили жизнь самоубийством, не оставило надежды людям — надежды, увековеченной в их бессмертных стихах? Даже у Кафки, самого отчаявшегося писателя своего времени, была надежда.

Сейчас впервые такой момент в истории, когда мы можем эту надежду потерять, то есть может произойти нечто, когда не останется будущего вообще, когда никто не прочитает ничего, когда потомков не будет, не к кому будет обращаться. Вот почему так важно сейчас вот это *motto* нашей сегодняшней встречи.

ИОССИЭ ХОТТА (Япония)

Отчаиваюсь и надеюсь

Если говорить совсем откровенно, я должен признаться, что голос мой, японского писателя, звучит из бездны величайшего отчаяния. Вместе с тем меня не покидает и великая надежда, каким бы противоречивым ни показалось это сочетание.

И словно по заказу для работы одной из секций этой конференции предложено название «Литература надежды или литература отчаяния?»

Одну из причин отчаяния я вижу в том, что за те тридцать семь лет, которые миновали со дня Хиросимы и Нагасаки, мы — и не только японцы, но и все человечество — не смогли добиться уничтожения преступного ядерного оружия, несмотря на колос-

сальные усилия множества людей, любящих мир.

Одно из оснований для надежды я вижу в том, что, добиваясь этой цели, люди не жалеют никаких усилий. Короче говоря, я приехал на этот конгресс, чтобы встретиться с коллегами из разных стран с мыслью, что наши дискуссии помогут мне обрести более твердую и конкретную почву для моих надежд.

ТЕ ЛАН ВЬЕН (Вьетнам)

В строке колыбельной

Кто-то из поэтов имеет основания радоваться, другие имеют право пребывать в печали, но никто не должен погружаться с головой в пучину отчаяния. Мы пишем книги не для богов, не для чертей, не для неодушевленных предметов, не для небытия. Мы пишем их для мужчин и для женщин, для стариков и для детей — одним словом, для человечества. А человечество в конечном счете не знает отчаяния. Даже в отчаянии оно не оставляет надежд.

Все вы помните легенду о птице Феникс, которая неизменно возрождается из огня и пепла. У нашего народа тоже есть похожая легенда. Разница лишь в том, что в нашей истории чудо происходит не с фантастической птицей Феникс, речь идет о другой птице — о курице. О вполне обычной, прозаической курице, несущей яйца, писать о которой мало кто из поэтов считает пристойным. Ее встретишь, пожалуй, только в народной песне.

«В январе, в феврале, в марте, в апреле, в месяц неурожая и голода... Пошарим здесь, поищем там и наскребем наконец несколько монет, чтобы купить на ближайшем базаре курицу-несушку. Курица снесла десять яиц. Первое яйцо — тухлое. Второе яйцо — тухлое. Третье яйцо — тухлое. Четвертое яйцо — тухлое. Пятое яйцо — тухлое. Шестое яйцо — тухлое. Седьмое яйцо — тухлое.

Остались еще три яичка, из которых вылупились три цыпленка. Первого цыпленка утащил ястреб. Второго цыпленка съела ворона. Третьего проглотил орел. О сестра, не сетуй на свою несчастную судьбу. Пока остается маленький кусочек кожи — на нем вырастут перышки. Пока остается одна почка — из нее вырастет дерево».

Эту песню, которую моя мать обычно поет как колыбельную, я слышал с самого детства (декламирует).

В самые трудные моменты моей собственной жизни, жизни нашего народа, жизни всей планеты эта колыбельная, в которой народная мудрость превращает обычную курицу в птицу Феникс, придавала мне силы. Конечно, человечеству, как и любому народу, как и всякому человеку, попадаются свои тухлые яйца. Но нельзя отдаваться целиком во власть отчаяния. Взгляните на Кампучию. Пережив чудовищный геноцид, унесший два миллиона жизней, почти треть ее населения, эта страна вновь возрождается из пепла. Вспомните о Болгарии, которая после долгих веков мрака расцвела сейчас во всей своей красе. В мировой истории много таких примеров. Наш Вьетнам после тридцатилетней борьбы против разного рода захватчиков — японцев, американцев, французов, китайцев, после того, как на нашу землю было обрушено 13 миллионов тонн взрывчатых веществ («13 миллионов» — так и называется прекрасная вещь советского поэта Евтушенко),— после всего этого наша страна теперь вполне оправилась.

У нас есть старинное лирическое стихотворение о двух влюбленных, которые, едва встретившись, должны были трагически расстаться. Они были в разлуке пятнадцать лет, пережили войну, много бед и превратностей судьбы. И вот наконец они снова встречаются, они опять вместе. Герой просит свою возлюбленную исполнить ему что-нибудь из той музыки, которую они когда-то так любили слушать вместе и которую в момент их расставания она поклялась никогда больше не играть. Но теперь, когда она доходит до самого чудесного и в то же время самого печального места, он останавливает ее. Он не говорит ей словами Бодлера: «Будь мудрой, Скорбь моя, и подчинись Терпенью». Нет, он шепчет ей: «О любимая, разве сейчас время петь о печали? Эти грустные звуки терзают не только твое и мое сердце, они разбивают сердца других».

Другой, другие, о других...

Из долины плача — к звонкому смеху, от замкнутости в себе — к мыслям обо всех. Эти слова звучат у нас в ушах. К другим, с другими, о других, для других — как можем мы пребывать в отчаянии?

«Ад — это бомба

Ад — это не о других».

Поэт сказал: «Я — это Другой». Да, если Я даю жизнь литературе, то это он, Другой, это они, Другие, наполняют ее смыслом и содержанием. Содержанием человеческим, а не дьявольским, надеждой и оптимизмом, а не тоской и отчаянием.

Я знаю, что существует еще господин Рейган с его нейтронной бомбой. Но и здесь мы должны оставаться оптимистами.

Пусть мертвые хоронят мертвых. Мы живые, и мы на нашей планете похороним и атомную бомбу, и отчаяние.

В этом мы не одиноки, с нами сотни миллионов других людей, все человечество, и мы совместными усилиями добьемся этого.

Мы не только хотим, но и можем сделать это. Мы только должны объединиться.

ЛЕСЛАВ М. БАРТЕЛЬСКИЙ (Польша)

Не в состоянии забыть

Среди множества великолепных выступлений мой голос прозвучит подобно оборванной струне. Ведь я принадлежу к поколению писателей, которых война лишила молодости и радостей жизни. Пейзажем в те годы для нас были руины и пепелища, и до сих пор мне памятно горе семей, лишившихся своих самых близких и дорогих. Тела узников концлагерей гитлеровские крематории обращали в пепел, тела солдат, варшавских повстанцев 1944 года, поглотили развалины столицы. Надо было бы начисто утратить память, чтобы не возвращаться

мыслью к прошлому. Над нами продолжает тяготеть бремя пережитого.

Сорок лет назад я начал свой творческий путь. Из десятерых самых молодых тогда поэтов-варшавян нас уцелело только двое. Я прошел через огонь и кровь. Я видел женщину, которая рожала посреди разрывов бомб, а потом с новорожденным на руках спешила быстрее покинуть то место, где чуть не погибла, и я поныне слышу ее исполненный отчаяния крик. Меня до сих пор преследуют стоны человека, погребенного под руинами обрушившегося дома и умолявшего прикончить его.

Я не в состоянии забыть все это — как человек и как писатель. Самое трагическое, однако, то, что едва завершилась кровопролитнейшая из войн, как человечество вновь оказалось перед лицом ядерного уничтожения. Хиросима 1945 года для всех нас должна служить самым наглядным предостережением.

Вот почему я обращаю к вам, коллеги, свой призыв: не пожалеем усилий, чтобы в своих книгах изображать всю преступность войны! Я обращаюсь и к молодым, к тем, которые войну, к счастью, знают лишь по литературе. Присоединяйтесь к нам, умудренным суровым жизненным опытом, чтобы сообща бороться за мир ради мира.

КЕМАЛЬ ОЗЕР (Турция)

Семь душ поэзии

В один из вечеров прошлого лета я слушал в Роттердаме Рафаэля Альберти. Он читал со сцены стихи. Не читал, вдыхал жизнь в произносимые слова. Доставшиеся на его долю многочисленные беды, трудности, долгие годы ссылки не исказили его голоса, не сломили духа. В свои восемьдесят лет он держался подтянуто, в голосе, теле, мысли, сердце чувствовалась сила.

На память пришли прочитанные много лет назад страницы воспоминаний Неруды об Альберти. Поэзия всегда была частицей мира, говорил Неруда. Поэт рождается из мира. Как хлеб из муки. Чтобы уничтожить, погубить, разодрать мир, поджигатели войны, волчья стая ищут поэта.

Испанские фашисты, начавшие с убийства крупнейших поэтов, искали и Альберти. Чтобы ранить, повесить, убить его и его стихи.

Закончил Неруда так: но кто может убить поэзию? У стихов, как у кошки, семь душ. Пытают, таскают по улицам, плюют, издеваются, сажают в тюрьму, высылают в ссылку, однако, пережив все это, они снова возникают и появляются перед нами с ясной улыбкой на лице.

В тот вечер в Роттердаме стихи вышли на сцену «с улыбкой на лице». После стольких бед, тюрьмы, пыток и ссылки. Сила сопротивления, как электрическим током, пронзила собравшихся. Она заставила пульсировать кровь, рассеяла черное облако, время от времени заслоняющее от нас солнце; тот внутренний свет как-то сразу слил воедино людей, никогда прежде не видевших друг друга, проявил на наших лицах чувство глубокого человеколюбия. И мы увезли его в свои страны, свои дома.

Мир, окружающий нас, полон нападок на человеческие ценности. Мир, окружающий нас, полон открытий, направленных на совершенствование видов этих нападок. Мир, окружающий нас, наполнен голодом, враждой, угрозой нейтронной бомбы.

Но в то же время мир наполнен трудовым героизмом, самоотверженностью, созиданием.

Мир, окружающий нас, создает все, чтобы мы впали в отчаяние, и все, чтобы мы продолжали надеяться. Потому так трудна миссия поэта надежды.

Он не живет в башне из слоновой кости. Он создает литературу из повседневной жизни. Писатель тоже может подчас пренебречь истинными ценностями, средства по обработке мозгов действуют на его мозг. И писатель может поддаться, потерять точность реакции.

Долг его — быть реалистом, обнажать скрытую за фасадом истину, возвышать свой голос против несправедливости. Хвалить и порицать, не теряя трезвости взгляда.

Я говорю «надежда» по праву человека, познавшего отчаяние. Может быть, то, что я хочу сказать, лучше поймут люди, чья молодость тоже прошла в годы «холодной войны» в стране, похожей на мою. Я по себе знаю, что может статься с литературой под грузом отчаяния. Я поддался взглядам, отрицающим ценности своего общества, своего прошлого. Я был глух к голосу, говорящему: «Жить, как дерево, одиноко и свободно (И братски — как леса)» [1]. Меня воспитывали на образцах приключенческой литературы и произведениях литературы «абсурда». Я жил в кошмарах неподвижности сцен Ионеско, забитых скамейками, и метаморфоз Кафки. В 50-е годы был заново «открыт» сюрреализм. Наши строки заполонили далекие от мира, так называемые «остраненные» символы, искусственные, деланные слова, уводившие от реальности.

Бессмертна та литература, которая всегда там, где сопротивление несправедливости, где самоотверженность. Она облекает их в слова — искренние, влиятельные настолько, что в моменты, когда мы чувствуем полное бессилие, они способны встряхнуть нас, влить новые силы. И пусть ее пытают, таскают по улицам, плюют, издеваются, сажают в тюрьму, высылают в ссылку, все равно она появится перед нами с улыбкой и чистым лицом. То есть у нее будет семь душ, как у кошки, о которой говорил Неруда.

Я хочу закончить строками из стихотворения уважаемого поэта, моего друга и брата Любомира Левчева:

Когда
ведущую назад
вижу я дорогу,
даже если во мне
эта дорога,
я сжигаю ее
немедленно.

ВАРДГЕС ПЕТРОСЯН (СССР)

Чтобы не сломило отчаяние

Когда-то немая гора была покрыта ослепительной зеленью, цветами, гора и ущелье

[1] Из тюремной лирики Назыма Хикмета.

бурлили жизнью, а на вершине стояла огромная орешина. Временами у орешины появлялся мудрый старик и народ, собравшись, слушал его. Слова старика бывали и добрые, и горькие. Он говорил честно и откровенно, предостерегал людей от грехов и недобрых дел. Люди не очень любили истину, когда она бывала горькой, и постепенно все меньше народу собиралось слушать мудреца. Однажды старик заметил, что стоит один у орешины и говорить ему больше не для кого. А люди тем временем предавались утехам, и даже предательству уже никто не удивлялся. Правды не хотели, горькой правды не хотели. Старик появлялся еще несколько раз и говорил, говорил, пока однажды не онемел, потеряв надежду и проклиная людей. Зеленая гора лишилась своих красок, озверевшие люди разбежались кто куда, ущелье превратилось в кладбище, а онемевшая гора выглядела гигантским надгробным камнем.

Но прошло некоторое время, и люди толпами вернулись в ущелье, кольцом окружили одинокую орешину и стали звать мудреца. Они затосковали по правде, даже если правда — горькая. Но старик больше не появлялся: отчаяние сломило его. И народ тогда стал проклинать старика: ведь он был мудрым, почему потерял надежду?

Я думаю о миссии писателя, художника, жизнь которого — диалог с народом. Особенно в тревожные времена. Иногда его судьба может показаться незавидной, в его душе может появиться горькое сомнение: для кого говорить, что от этого изменится? И все же я голосую за литературу надежды, за художника, который верен своему долгу до конца. Истинный художник не должен молчать никогда, даже когда ему кажется, что никто больше не внемлет его голосу.

Да, в мире накопилось очень много дьявольских машин и бомб, иногда зло кажется уже неистребимым и перспектива гибели нашей цивилизации рисуется физически реальной. Да, в любом писателе может появиться червь сомнения: зачем создавать новые стихи, писать романы, слагать песни? Наверное, это отчаяние победило в душе Ионеско и других, которые рьяно защищают «право культуры на бесполезность». Бесполезность? Нет, глубоко прав прекрасный русский прозаик Юрий Бондарев, который говорил с трибуны Третьей Софийской встречи: «Когда гремят пушки, тишина — это звук смерти, а наше молчание — согласие с войной». Да, в человеческой натуре очень много непонятного и смутного, говоря языком науки — в периодической таблице элементов человеческой души еще очень много неразгаданных элементов, белых клеток. Астрофизики уже сегодня определяют поведение той или иной звезды лет, скажем, через тысячу. А человек?.. Как поступит он завтра, через час? Ответить не всегда просто. И многовековой путь литературы и искусства — мучительный поиск возможных ответов. И высокий нравственный долг художника — влиять на души людей, чтобы в критические минуты жизни их ответы были нравственными. Литература не только зеркало, которое отображает, но и магнитное поле, которое должно повлиять на людей, ибо в конечном итоге судьбы мира будут решать не машины, а люди, и очень важно, кто будет сидеть у пультов этих машин. Да, факты и явления реальной действительности не всегда утешительны, и художник должен найти в себе силу сказать людям горчайшую правду. Еще в начале нашего века армянский поэт Исаакян предостерегал: «Я вам говорю, придет голод Духа и вы будете голодать у обильных столов». И здесь же он назвал литературу «огненным словом», которое необходимо людям.

Мы не можем предать забвению это «огненное слово», капитулировать перед отчаянием: тот самый человек, который сегодня не слушает нас, завтра может бросить в наше лицо горький упрек, как вернувшийся народ из той старинной армянской легенды. Извечная миссия писателя-гуманиста — не осуждать, по крайней мере не только осуждать, а понять человека, и если удастся, то и показать ему самому, как он прекрасен и силен. Да, происходит прискорбное загрязнение не только рек, морей, воздуха, но и нравственной атмосферы, некоторые моральные категории уже, наверное, надо внести в «Красную книгу» человеческой природы. Такой «Красной книги», скажут, нет, и доброта, к примеру, не исчезнувший вид насекомого или дерева, чтобы можно было ее восстановить. А литература? Именно она обязана талантливо, правдиво отображать, перевоплощать и тем самым сохранять нравственные ценности человеческой натуры (любовь, доброта, милосердие), которым грозит опасность исчезновения. На это способна только литература добрая, литература надежды. Злой талант трудно представить. Талант даже из собственных страданий (а у писателя кроме обычной человеческой биографии должна быть и биография страданий), да, даже из собственных страданий талант рождает свет, доброту, помогает людям верить и жить. Оптимист — а истинный талант должен быть оптимистом — вовсе не тот, который не страдал, а тот, который пережил отчаяние и победил его. Нет, в людях никогда не умрет жажда «огненного слова», антенны людских сердец всегда будут ловить импульсы доброты и правды.

Помню, несколько лет назад в Венесуэле, в аудитории Каракасского университета, мы с известным русским поэтом Егором Исаевым встретились со студентами. Они нас приняли с ядовитой улыбкой, с цинизмом спорили о нравственной миссии искусства.

Странная была картина: студенты валялись на полу, если сидели, то на столах, на подоконниках, курили, пили. И вдруг кто-то попросил Егора Исаева прочитать стихи. И поэт начал. Это было не выступление, а дуэль поэзии и равнодушия. И поэзия одержала верх. Пока он читал и его переводили — а это были строки о войне, о мире, о человеческой памяти,— студенты как будто и физически изменились: исчезли усмешки, погасли сигареты, в глазах появился свет.

Нет, рано строчить некролог литературе. У нее много дел. Она несет величайшую ответственность за судьбы людей. Когда литература обличает войну, она должна быть беспощадной и суровой. Человечеству нужны яркие, талантливые книги, в кото-

рых отражается моральный, вернее — аморальный облик современных варваров, книги и образы, которые могут рассекречивать скрытый механизм их мышления, чувств, если они способны к каким-то эмоциям. «Уже невозможно распознать, где добро, а где зло»,— сокрушается наш французский коллега Ален Равен. Так ли это? Неужели в кровавом кошмаре Ливана действительно невозможно отличить добро от зла? Писатель не имеет права капитулировать перед злом, голос его должен звучать яростно и беспощадно. Там, где литература говорит о мире, о людях, нужны краски доброты и надежды. Нужно вселить в людей веру, нужно окрылять их духом борьбы.

Моя страна неоднократно выступала с мирными инициативами. Это добрая акция. Советская литература всегда была обращена к человеку, она верит в него, она стремится сделать человека добрее, красивее и сильнее духом.

Три года назад, с трибуны Второй Софийской встречи, мой земляк, крупный американский писатель-гуманист Уильям Сароян говорил: «Ни один мужчина-отец и ни одна женщина-мать не знают, каким образом вследствие их любви, их совместного дыхания в доме жизни на свет появляется дитя... Но вот он, ребенок, он живой, и, как всякое живое существо, он дышит и кричит. Плачет ли он о мире? Разумеется. Мы здесь, чтобы сберечь надежду...»

Сарояна уже больше года нет в живых, а его прах, по завещанию писателя, в мае 1982 года был перевезен в Армению и предан родной земле.

А писатели мира опять в Софии.

Чтобы сберечь надежду.

Чтобы сказать «Нет!» отчаянию.

Когда я готовился к поездке сюда, моя дочь спросила, куда еду и зачем. Дочери всего девять лет, и я постарался как можно проще объяснить ей: «В Софию,— сказал я,— это очень и очень красивый город, там собираются писатели, чтобы не было войны». Накануне она смотрела документальные кадры из Ливана и спросила: «В Бейруте тоже не будет войны?» — «И в Бейруте тоже».—«А сколько писателей соберутся в этом красивом городе?»— спросила она. «Двести — триста». Дочь удивилась: «Неужели в мире так много живых писателей?»

Я уверил дочку, что в мире живых писателей гораздо больше, и мы обязательно сделаем так, чтобы войны не было.

Я знаю, что все мы с такой надеждой приехали в мудрый город Софию и с такой же надеждой каждый из нас садится перед чистыми листами бумаги. Музы не должны молчать, чтобы не смогли греметь пушки.

...и с акцентом аналитическим

ПАВЕЛ ВЕЖИНОВ (Болгария)

В категориях морали

Надежда и отчаяние как моральные категории не имеют альтернативы. Либо надежда, либо распад личности и гибель общества. В основе отчаяния лежит прежде всего страх, доводящий до пароксизма воли. Некоторые западные антропологи, как мы их называем, или социал-психологи, как называют они себя сами, считают, что страх зарождается в глубине человеческого сознания как его онтологическое начало.

Отрицательные эмоции исключают элемент созидания, если под созиданием не понимать, конечно, противоестественного, извращенного о нем представления. Они не в состоянии способствовать совершенствованию сознания, продукта эволюции, возникшего лишь несколько миллионов лет назад. И если мы хотим найти точку соприкосновения между надеждой и отчаянием, то следует апеллировать к таким понятиям, как способность испытывать радость от самого факта существования.

И при всем том страх — реальное чувство, а потому неверно было бы просто отрицать его как абсолютно ненужную, вредную категорию. Страх — одно из первичных проявлений инстинкта самосохранения. Он порожден самой жизнью и предохраняет ее. Этологи утверждают, что у человека чувство страха развито намного сильнее, чем у животных, в том числе и у зайца, которого принято считать самым трусливым зверем. Когда на земле появился человек, у него не было ни быстрых ног, как у зайца, ни острых зубов, как у тигра, ни толстой кожи, как у крокодила. И, видимо, именно страх заставил его вооружиться тяжелым камнем и дубиной.

Правда, когда страх затуманивает наше сознание, он способен довести человека до крайней степени отчаяния и даже до самоубийства. Излишне обостренное чувство страха у человека делает его предметом изучения не только психиатров, но и социологов: многие люди доходят до отчаяния из-за нищеты, безработицы, безысходности существования. Так называемое «потребительское» общество фактически мертво, ибо оно не оправдывает своего существования и тем самым обрекает себя на гибель. Отдельные цивилизации и классовые общества распадались и погибали из-за отсутствия жизненных идеалов.

Я оптимист по натуре и поэтому искренне верю, что мы можем избежать третьей мировой войны, что ее вообще может не быть. Но страшный меч еще не раз будет занесен над нашими головами.

Если нам удастся избежать войны, но сохранится военная напряженность, все равно трудно предугадать, насколько серьезно будет поражена психика человека: страх перед войной, подобно язве, разъедает человеческие души, как и душу целого общества. Симптомов заболевания не так уж мало: как иначе можно объяснить зверства, происходящие в Бейруте, поступки деятелей, которые прямо или косвенно несут ответственность за совершаемые в мире преступления? Имеет ли пределы их бесчеловечность? Возрастает число людей, живущих данной минутой, поскольку уверенности в будущем у них нет.

Наша литература должна стать литературой надежды, человеколюбия, действующей как спасительный бальзам на раны души человека. Самой моей любимой книгой с юности (впоследствии она стала главной кни-

гой всей моей жизни) был «Морской волк» Джека Лондона. Его герою свойственны храбрость, благородные порывы, сила духа. Когда на мою долю выпали суровые испытания, в годы, когда я принимал участие в Отечественной войне, рядом со мной не оказалось этой книги, но я продолжал хранить ее в своем сердце. Я думаю, не случайно произведения Джека Лондона пользуются такой популярностью у миллионов читателей.

В нашей стране не переводят произведений литературы запредельного отчаяния, пропагандирующих жестокость, насилие и бесчеловечность, подобных романам Флеминга о Джеймсе Бонде. И хотя мы отнюдь не пуритане, нам претят книги, погружающие читателя в глубины пороков и извращений, грубого секса.

Мы, писатели, стремимся врачевать раны человеческих душ, побуждать читателей вступать в поединок с силами зла, укреплять силу их духа, веру в победу.

ХАНС ВАН ДЕН ВААРСЕНБУРГ (Нидерланды)

Внушать оптимизм детям

Когда я думаю сегодня о будущем своих и чужих детей, когда выслушиваю их вопросы, мне становится все труднее находить на них ответы. Головы детей полны проблем: атомная энергия, атомные отходы, кислотный дождь, загрязнение воздуха и воды, безработица, атомное оружие, убийства и порабощение, постоянный страх перед войной, постоянные гонения за идеи и действия.

(В Нидерландах на последних выборах парламентское кресло занял представитель партии, которую можно считать фашистской и расистской).

Ребенок должен иметь возможность развиваться как ребенок, где бы и в какое бы время он ни жил; поэтому я изо всех сил старался преобразовать их отчаяние в надежду: если они меня спрашивали, начнется ли война в этом году, я внушал им, что она больше никогда не начнется. Я уверял их, что еды будет в изобилии, и что будут миллионы лесов, и что у нас вечно будет чистый воздух. Что мы всегда будем всем делиться друг с другом. И они верили мне, а я рассказывал, и лгал, и обманывал их, чтобы они оставались детьми.

Теперь они повзрослели и не позволяют обманывать себя. Они хотят знать точно, что их может ждать в жизни. Я рассказываю, объясняю, рассматриваю жизнь в историческом разрезе и постоянно ловлю себя на том, что, несмотря на все, пытаюсь внушить им надежду на будущее. И точно знаю, что незаметно для них это делает их оптимистами.

ИШТВАН КИРАЙ (Венгрия)

Три антиномии

Прежде можно было считаться крупным интеллектуалом и в то же время быть сторонником войны. Сегодня это невозможно. Сейчас нельзя быть крупным интеллектуалом и выступать за войну. Это огромная перемена. Человек стал по-иному сознавать свою ситуацию во второй половине двадцатого столетия. Переменились мысли, переменился смысл слов, мир стал общемировым понятием. Одного этого достаточно для оптимизма.

Теперь стоит упомянуть и аргументы в пользу пессимизма. Я буду называть их антиномиями мира.

Первую из таких антиномий, если опять прибегнуть к модным терминам, я бы назвал культурной антиномией. Культурное несоответствие порождается присущим человеку стремлением к власти. Он хочет повелевать природой, хочет владеть собственностью. Так возникает внутренний разлад. Мы не можем совладать со своей природой, отсюда множество серьезных проблем, о которых все мы знаем.

Вторую антиномию я бы назвал социальной. Мы все знаем, что надо жить в мире, что нужна взаимная терпимость. Но нам известно также, что существующее общество не может все это обеспечить. В мире существует огромная напряженность. Самая большая напряженность порождена тем, что существуют богатые люди и бедные люди, богатые страны и бедные страны. Аморальность такого положения не все в мире достаточно ясно понимают, и это еще больше усиливает напряженность.

Третья антиномия — политическая. Тут тоже свой разлад. Мы все знаем, что человечество должно жить в условиях мирного сосуществования. Но в условиях существования блоков мир может основываться лишь на равновесии сил. Стремление вооружаться чревато все большей опасностью для мира.

Ответ на вопрос о долге интеллектуала, по моему глубокому убеждению,— движение в защиту мира. Оно не должно быть расколото, ему ничто не должно вредить.

Сейчас в мире существуют разные движения в защиту мира. Я хотел бы назвать наиболее важные его разновидности.

Первая — это социалистическое, антиимпериалистическое движение в защиту мира. У этого движения давние традиции.

Другой тип — пацифистское, гуманистическое движение в защиту мира. У этого движения также давние традиции, и оно сейчас также распространено.

Наконец, существуют разнообразные религиозные движения в защиту мира: христианские, баптистские, мусульманские и т. п.

Между этими разными движениями существуют расхождения во мнениях. Так, марксист, социалист не может согласиться, когда представители пацифистско-гуманистического движения дают одинаковую оценку всем государствам.

Для меня, социалиста, гражданина социалистического государства, масштаб оценок один: мир.

Советский Союз — не просто великая держава, это мирная держава.

Нам приходится спорить о многом. Например, с представителями христианского движения за мир, которые выдвигают лозунг: «Мир без оружия».

Мы знаем, что это моральный утопизм. А мы хотим быть моральными реалистами!

Такие противоречия существуют. Но в нынешней ситуации они не могут служить причиной для раскола и разделения. Значение нашей писательской встречи среди прочего еще и в том, что она способна продемонстрировать интеллектуалам во всем мире: мы можем расходиться по разным вопросам, но в том, что касается самого важного для всего человечества, в вопросе о мире — мы едины. Тут мы думаем одинаково.

Авторитет таких встреч, как эта софийская, будет немало способствовать нашим целям.

ПЬЕР ГАМАРРА (Франция)

Заключая дискуссию

Работа нашей «второй секции»—«Литература надежды или литература отчаяния?»— привлекла многочисленных участников: выступило около сорока писателей из Азии, Африки, Америки, Европы...

Самые разные голоса, дополняя друг друга, иногда повторяясь, но в сущности не противореча один другому, слились в один выразительный, волнующий хор. Историческая, социологическая или философская направленности нередко отступали в нем перед лирическим порывом, перед поэзией, которой в наших собеседованиях принадлежало важное и оправданное место. Образы, символы, песни, легенды, рожденные в различных культурах планеты, не только составили живописное обрамление наших бесед— они воссоздали самую плоть жизни, единой и многоликой, бесчисленные грани человеческой культуры, творимой каждым народом и принадлежащей всем.

В ходе заседаний наметилось несколько главных линий, подчеркнутых многими ораторами.

Выступавшие обращались мыслью прежде всего к молодежи, молодежи, которую нам хотелось бы видеть сильной, опытной, думающей, а это значит — близкой поэзии. Молодежь нуждается не только в пище для тела, но и в пище для души, она должна иметь книги, школы, а также неустанно бодрствующее сознание и неутомимый критический дух. В борьбе против апокалипсического хаоса, о котором здесь столько говорилось, мы прежде всего думаем о нашей смене, и это естественно и необходимо.

Выступавшие говорили также о писателях, представляющих общее достояние человечества, о тех, кого можно называть нашими наставниками в искусстве, в гуманизме. Некоторые из них заплатили тяжкую, а порой трагическую цену за то высокое место, на которое вознесла их наша благодарность. На земле Вапцарова нельзя не помнить о крови, пролитой столькими писателями ради бескорыстного служения людям в Испании, в Латинской Америке, в Африке, в Европе...

Однако безмерное уважение к великим голосам прошлого не заслоняет перед нами современную жизнь и ту ответственность художника, о которой тоже так много говорилось. «У писателя, родившегося в двадцатом веке,— новое назначение, в наши дни его задачи и деятельность важнее, чем когда-либо прежде». Эти слова принадлежат нашему другу Чингизу Айтматову, добавившему, что в термоядерную эпоху мы стоим перед грозной альтернативой: либо все потерять, либо все спасти.

Одна из главных трудностей современного писателя и состоит в принятии этой ответственности, неотторжимой от нашего времени. Мы должны принять ее при всех противоречиях и сложностях объятого яростью и залитого кровью мира, где стрелку жизненного компаса так часто охватывает безумие.

Если возможно — и мы попытались это сделать — свести в единый список все бедствия, все преступления против плоти, против духа, вспомнить обо всех библиотеках, соборах, школах, посевах, гибнущих в пожаре войн, перечислить все таланты, которые они могут уничтожить, то куда труднее установить все действенные пути надежды. Возможно, разумнее было бы говорить о литературе, способной нести в себе диалектику надежды и отчаяния. Ибо, как сказал наш друг Жак Гошрон, «Стихи, исполненные одной лишь безнадежности, бесполезны; исполненные только надежды — фальшивы».

Но совершенно ясно, что самый труд писателя, берущего на себя эту сложную задачу и эту ответственность, если уж ему досталось в удел нелегкое счастье таланта, спаян с настоящим и в то же время устремлен в грядущее.

Другие выступавшие добавили, что необходимость проникновения в тяжкую действительность нынешнего мира, ясное и трезвое понимание несправедливости и страданий не должны парализовать писателя, погружать его душу в безысходный мрак.

Если бездумная надежда, если догматическая надежда бесплодны, то нельзя забывать и о том, что человеку нужна передышка, нужны смех и мечта. Здесь мы смыкаемся с самыми великими вершинами всемирной литературы. Во времена Рабле, Сервантеса, Свифта, Гоголя человек сумел уверенно и мощно поднять свой голос против сил мрака.

Каждый народ и каждый рожденный им писатель должны сказать средствами своего самобытного таланта о зле и добре в своей стране, в ее жизни. Только тогда писатель сохранит верность родному небу, лесам, полям, песням и людям, жившим и живущим в его отечестве. Ведь никто не напишет вместо него, и он должен работать ради будущего. Ему многое дано. Он должен давать другим. Он получил жизнь и культуру. Он призван передать потомкам и приумножить унаследованное им достояние.

Выступавшие были единодушны в утверждении идеи братской солидарности культур. Многие подчеркивали важность этой четвертой встречи в Софии и самого факта, что она уже в четвертый раз объединяет писателей в дружеском и сердечном общении. Каждый из нас, сидящих в этом зале, чувствует, как его поднимает и возвышает дружба, сближающая его с коллегами.

Разумеется, мы по-разному видим пути и методы, способные оградить нас от опасности, признанной и обличенной всеми, способные привести людей к миру и счастью. Нам по-разному представляется и пропасть мрака, и панорама солнечной зари. Мы в

разной мере верим в могущество поэта и могущество народа, единых или разобщенных. Это с полной ясностью проявилось в наших дебатах, и можно только радоваться плюрализму мнений.

Андрей Вознесенский заметил на одном из заседаний: «На олимпиаде жестокости наш век держит первенство». Горькие и справедливые слова. Но ведь наш век — это и век Роллана, Барбюса, Ващарова, век Эйнштейна и Элюара, век Тагора, Аполлинера и Неруды, великих и бессмертных голосов. «Вы должны видеть кровь на улицах!» — восклицал Неруда.

Да, мы видим эту кровь. Мы не закрываем глаза. Один из ораторов призывал нас никогда не переставать сомневаться, никогда не знать покоя.

Со времен Сократа и Монтеня мы начали сомневаться. Мы будем продолжать сомневаться и в будущем: достаточно ли у нас щедрости, силы, прозорливости, таланта. Мы не будем знать удовлетворения, чтобы наше видение и наше искусство шли вперед в преодолении трудностей, в обретении уверенности. В сомнении больше плодотворности, чем в бездумном примиренчестве. Будем же помнить о сотнях тысяч призраков Хиросимы и Нагасаки, для которых уже не существует сомнения. «Ад — это бомба. Ад — это не о других», — сказал Те Лан Вьен. Да, будем сомневаться во всем, дорогие друзья, но не в человечестве, покинувшем пределы тысячелетнего варварства. Попытаемся же жить в терпении и мужестве и, если можно так выразиться, попытаемся писать стоя.

В заключение — слова французского поэта, который знал, что такое война, Гийома Аполлинера, строки из пролога к «Сосцам Тирезии»:

Прости меня, дорогая публика,
За то, что я говорил перед тобой
слишком долго.
Я так давно не был с тобой.
Но там все еще горит костер
И в него бросают дымящиеся звезды.
И те, кто вновь зажигает их, просят
тебя
Подняться до этого высшего пламени
И пылать вместе с ним.
О публика,
Будь же неугасимым факелом
нового...

ДЕЙСТВИЕ

Если справедливо было назвать конспектом весь текст публикации материалов Софийской встречи, то третья из этих частей — «Действие» — не более чем конспект конспекта. Лишь отдельными штрихами здесь намечены варианты взглядов на литературу сквозь призму ее, так сказать, конкретного «антивоенного потенциала», обозначены направления организационных усилий, призванных закрепить результаты состоявшегося обмена мнениями.

Чтобы стать мудрым

МИКОЛАС СЛУЦКИС (СССР)

Знать друг о друге

Ядерные маньяки так хладнокровно говорят о всесветной ядерной катастрофе, словно она — если таковая случится! — произойдет на географической карте, а не над человеческими жилищами и головами. Что питает эту зловещую тучу, это дьявольское наваждение? Только ли посыпавшиеся, как из рога изобилия, теории «упреждающей», «затяжной», «ограниченной» или даже «космической» атомной войны? Сию гидру, к сожалению, кормят не только безумные идеи, не только горы безостановочно накапливаемых ядерных боеголовок на любой вкус. И не одни лишь разного рода «эмбарго», налагаемые на важные области международного сотрудничества.

Страшную угрозу всеуничтожения питает кроме названных и неназванных причин еще одна стихия. Это страх. Да, страх, панический ужас, который сеют в мире с определенным умыслом для того, чтобы народы были готовы накинуться друг на друга, человек — на такого же, как он сам, легко испепеляемого человека.

Страх, недоверие, ненависть — это плоды определенной политики подчинения человеческого сознания целям подготовки к термоядерному самосожжению. Но это также — плоды незнания друг о друге народов, населяющих довольно небольшую землю, тысячи или сотни лет живущих в близком соседстве.

Можно извинить наших предков, которые еще несколько веков тому назад искали на островах южных морей двуглавых человекоподобных существ. Впрочем, аномалии случаются и сегодня, и недавно мир узнал о том, что одно маленькое племя в Африке имеет четыре пальца на ноге вместо пяти. На недельной сенсации всеобщее любопытство кончилось, хотя известно, что в реальном сегодняшнем мире диковинное — чаще всего обратная сторона голода, нужды, бесправия.

Предприимчивых журналистов можно извинить — впрочем, феномен четырехпалости способен в чем-то даже послужить науке. Однако нельзя извинить тех, кто сегодня, накануне двухтысячного года, в век информации и огромного книжного производства, способствует незнанию или искривленному знанию друг о друге народов, а то и распространению предрассудков, лжи и клеветы. Порою это повисает, как смог, поражающий уже не легкие, а здравый ум целого народа.

Каким образом, вспомним, подготавливал германский национал-социализм возможность уничтожения целых народов? Тем, что до карикатуры извратил в умах многих миллионов немцев представление о культурном уровне других народов, особенно восточноевропейских, не говоря уже о ев-

рейском. Каким образом сегодня израильские сионисты дошли до массированного геноцида в отношении палестинцев, особенно если учесть, что евреи сами недавно были жертвами геноцида? Да таким же! «Культурно неполноценных» уже можно не считать за людей, на минимальное уважение к которым иных обязывает религия, а других — гуманистическое мировоззрение. А значит, можно и истреблять. В морально-психологическом плане кое-кто в западном мире до сих пор не избавился от ноток культурного превосходства, ноток элитарного самодовольства, а значит, и вседозволенности в отношении малознакомых им народов и стран. До сих пор не только в изданиях Шпрингера можно встретить небылицы и извращения о многонациональной литературе Советской страны, той страны, что сложила на алтарь победы над фашизмом двадцать миллионов своих сыновей и дочерей, и уже по этой одной причине — не распространяясь здесь о многих других — не может желать новой, ядерной войны.

Двадцать миллионов жертв не арифметика для каждого из нас, здесь присутствующих советских писателей. Кроме трагедии народа это и личные наши трагедии — потеря отцов, матерей и братьев. В наших книгах всегда есть эта боль, даже когда не пишем о войне.

А о нас часто пишут, кощунственно извращая все — от определения темы, идеи произведения до художественных образов. Целые сонмы мнимых ученых, интеллектуалов-советологов в поте лица трудятся, чтобы закрыть двери для советской литературы в мир, под электронными микроскопами исследуя ее недостатки — у кого их нет!— и злостно не замечая ее главные положительные начала — заботу о хлебе насущном, о человеческой душе, о мире. Конечно, одно дело, когда читаешь очередную небылицу о советском романе в бульварном листке, другое — когда слышишь из уст довольно известного американского писателя-интеллектуала, что-де современный советский роман — это рассказ о любви тракториста к доярке в лучах заходящего солнца.

Именно американскую литературу мы чаще других издаем — через нее ведь проглядывает настоящая, а не ковбойская жизнь великого народа! — но именно в США закрыт доступ к советской литературе, а потенциальный читатель советской литературы яростно оболванивается.

Тот или иной литератор, повторяющий нашептывания бульварной печати о советской литературе, вряд ли отдает себе отчет в том, что он невольно служит черной пропаганде, которая в свою очередь служит делу оболванивания собственного народа, а один оболваненный участок мозга, как известно, способствует оболваниванию соседних его участков. Ни один народ, как бы велик он ни был и какими бы сокровищами культуры ни обладал, не может позволить себе — ради собственного духовного роста! — отвернуться от литератур социалистических и развивающихся стран. Тем более что эти страны, особенно социалистические, где книга не бизнес, стремятся переводить все лучшее, что дает, к примеру, американская литература. На первой софийской встрече мы слышали поразительное сообщение писателя небольшой страны Венгрии об объеме издания венгерских книг на Западе и западных — в Венгрии. Факты и цифры, представленные коллегой Имре Добози, вызывали в мыслях ассоциацию карлика и великана. Карликом в данном случае выглядел Запад, а великаном — Венгрия.

Вы бы еще больше удивились, если бы я здесь прочел длинные списки мировой литературы, издаваемой в Литве — небольшой советской прибалтийской республике, которую я здесь имею честь представлять. Нашли бы что сказать и показать в этой связи и другие советские республики, не говоря уже о центральных советских издательствах.

Знакомство с литературой народов мира — элемент не только нашей обширной культурной деятельности. Это черта нашего образа жизни. Немыслим кругозор нашего человека без классики и новинок мировой литературы. Причем сегодня это намного более широкое понятие, чем только европейская и американская литература.

Критики-советологи, старающиеся до неузнаваемости извратить облик сегодняшней советской литературы, кроме задачи оболванивания собственного общественного мнения выполняют еще и другую задачу. Их «доказательства» все чаще служат громоотводом, когда советские литераторы при встрече с западными оппонентами поднимают вопрос о незаслуженном игнорировании советской литературы. Невзирая на весь курьез ситуации, пишут «научные» работы, пытающиеся доказать, что на Западе... лучше издают советскую литературу, чем западную в СССР.

Путь к разрядке и — как конечная цель — к отказу от всего ядерного оружия и пересчур больших накоплений обычного оружия невозможен без взаимопонимания народов на более глубоком уровне знаний друг о друге. Это взаимопонимание поможет вырастить именно культура, именно систематический, динамический обмен художественными ценностями. Иному американскому автору требуется известное мужество, чтобы протянуть руку советскому писателю в то время, когда сограждан этого советского писателя могучее телевидение США изображает волком из «Красной Шапочки» с каской и автоматом. Было бы это шуткой, пусть и злой,— другое дело, а то ведь подобное происходит на фоне закрытия для самолетов «Аэрофлота» аэродромов в США, на фоне беспрецедентного свертывания научных связей и т. п. Вот о чем мы говорим сегодня в Софии, а вчера говорили наши коллеги в Берлине, Мюнхене, Гааге, Кёльне...

Разные мы испробовали темы, намечали разные проблемы, но каждый раз в центре наших диспутов оказывалась угроза всеуничтожения цивилизации, которое надо предотвратить. Во многом наши взгляды различны, как различна наша философия, но в главном мы едины. Настала пора наши убеждения претворить в действия. Культура больше не может чувствовать себя пасынком могучих слепых сил. Мы еще не использовали все свои возможности для духовного объединения всех, кто не мыслит

себе существования на атомном пепелище и хочет продолжать жить.

ШАРЛЬ ДОБЖИНСКИЙ (Франция)

Конвертируемая валюта поэзии

Мы с вами являемся держателями и хранителями ценности, которая не имеет курса на бирже, в отличие от нефти или доллара, однако стоит во много раз дороже и, несомненно, более долговечна. Поэзия — это конвертируемая валюта, которая принимается к обмену во всех странах. Она не пригодна для закупок товаров широкого потребления или оружия, зато вооружает человеческий ум против обскурантизма и отчаяния. Ее предназначение — открыть знанию неизведанные пути. В ней сосредоточены уникальные ресурсы энергии, доказавшие свою неистощимость на протяжении веков, что вовсе не освобождает нас от необходимости защищать это единственное в своем роде месторождение от загрязнения и беспорядочного расходования.

Поэзии нужен мир, чтобы оставаться плодоносной, чтобы быть творимой всеми, как мечтал Лотреамон, и сделаться наконец нашим общим достоянием. Поэзии нужны и мы с вами, чтобы превратить ее в одну из тех действенных сил, которые способствуют охране мира. Ибо мир есть взаимное признание в любви разных культур, признание, которое поэзия выражает на всех языках. Она не довольствуется подписанием договора о дружбе, она осуществляет его на деле: она дает обещание и держит его.

Наш электронизированный, радиофицированный, автоматизированный мир — это мир технической революции. Он располагает хитроумными средствами связи, которые, однако, таят в себе опасность задушить его в один прекрасный день потоком противоречивой информации, посеять хаос. Оказавшись в недобрых руках, они могут стать опасным орудием, идеологическим наркотиком, порождающим безумие и бесчеловечность. Мне представляется опасным распространение на сцене, на экране, равно как и на письме, сложившегося языка штампов, языка деревянного, механического, навязывающего нам якобы универсальные псевдоистины и стереотипы, что приводит ко все усиливающемуся господству некой общепринятой формы лжи, незаметно извращающей понятия свободы, прогресса и справедливости.

С разных сторон на нас обрушивается ложь; суть вещей, фактов, чувств сознательно искажается путем систематического показа насилия, расовой ненависти, низменных инстинктов; этические и культурные ценности, лежащие в основе эволюции человечества, разрушаются.

Необходимо восстановить слово в его правах, вернуть ему его достоинство и не стесненную границами власть обогащать и просветлять человеческий ум. Писателям и переводчикам принадлежит важная роль в восстановлении нарушенных систем и поврежденных проводов связи между индивидуумами и между нациями, в возрождении живой ткани языков — проводников дружбы и понимания между разными народами, каналов, с помощью которых происходит общение и сближение одной культуры с другой.

Чтобы отыскать самородное золото, скрытое под наслоениями грязи и радиоактивными осадками мистификаций и фальсификаций, мы должны превратиться в старателей — старателей языка, очистить его от ядовитых налетов, превратить в средство непрерывных и разнообразных контактов, выстроить с его помощью плотину против отчаяния, одиночества, привычки к насилию, создающей почву для терроризма и войны.

Писатели — это прежде всего переводчики. Они не только переводят на язык слов свои повседневные чувства, переживания, страсти, свое представление о жизни. Они переводят на язык ясности наш мир, трудясь без устали ради человечества, как пчелы мирового алфавита, из которого они по капле добывают мед. Они переводят не только видимое, но и невидимое, чью диалектику изучает и воплощает поэзия. Как олимпийский огонь, они несут факел мысли, и эта эстафета делает его всемирным достоянием. Они — Шампольоны, открывающие в разных языках ключи к некоему коду, без которого оказались бы скрыты или утрачены сокровища ума, знания, воображения, преемственность предания и истории.

Переводить — это значит сближать, «тереть» один язык о другой, как кремни, чтобы высечь искру необходимого для жизни огня.

Поэзия есть память языка, это огромный резервуар, и мы должны постоянно обращаться к его содержимому, чтобы предохранить слова от изнашивания и разбазаривания, чтобы спасти от уничтожения основные ценности нашего культурного наследия.

Я бы сказал, что переводить — это значит строить. Мы должны выстроить дом, в котором можно жить независимо от того, каков его архитектурный стиль — пусть это будет альпийское шале или жилище римлянина.

У переводчика есть нечто общее с хирургом и агробиологом. Перед ним стоит задача произвести трансплантацию живых тканей, которые должны прижиться в новом организме и сохранить ему жизнь.

Трансплантация поэзии — дело не менее тонкое, чем трансплантация сердца. Переводчик вынужден устанавливать между языками систему сообщающихся сосудов, которую всякий раз приходится изобретать заново. В этом и состоит то личное творчество, которому дает пищу не только знание лингвистики, семантики, но и свободная фантазия, необходимая переводчику — поэту второй ступени — не менее, чем оригинальному автору.

Каждый из нас — звено в цепи поэзии, протянутой через все языки и все страны, и мы не имеем права допустить, чтобы эта цепь распалась. Все мы — музыканты в огромном оркестре, исполняющем музыку человечества и являющемся в какой-то степени его душой. Воплотить эту музыку, дать ей конкретное выражение — это значит способствовать созданию между отдельными людьми и между народами магнитных полей взаимопонимания, согласия, поддин-

ного братства. Это значит бороться за то, чтобы на нашей планете поэзия полностью обрела свое место и свое звучание, что может произойти лишь тогда, когда будет окончательно изгнан чудовищный призрак ненависти и войны.

РОДРИГЕС РУБИО (Испания)

Голоса наших книг

Несколько лет назад, когда я получил премию «Планета», самую значительную в Испании, один мой друг, тоже писатель, сказал, что теперь, когда моя книга выйдет тиражом в 100 000 экземпляров, я должен испытать совершенное удовлетворение. «Представь себе,— сказал он,— огромный стадион, битком набитый людьми, и все они, а может, еще и больше, прочитали твою книгу».

Я же подумал при этом не о себе. Какая же читательская аудитория могла бы составиться в целом мире из тех, кто прочел Сервантеса, Данте, Шекспира, Томаса Манна, Пруста, Достоевского и так далее? Где можно собрать подобное количество людей, чтобы зримо убедиться, что они образуют несметную толпу? А разве можно представить себе, какое количество людей на всем протяжении человеческой истории прочитало Платона, Гомера, Овидия, Плутарха? А на каком пространстве можно разместить сегодняшних читателей Варгаса Льосы, Гарсиа Маркеса, Хосе Селы, Евтушенко, Рульфо и десятков других современных писателей, голос которых достиг самых отдаленных уголков планеты?

Вырываясь, благодаря переводу, из замкнутого мира, голос, мысли писателя разносятся на тысячи километров, звуча на другом языке, стирают не только государственные, но и политические и духовные границы между народами. В этом — величие художественного творчества, литературного труда. В этом — и величие труда переводчика: ведь, начиная звучать на другом языке, голос писателя наполняется новыми оттенками и красками, культуры разных народов становятся ближе друг другу.

Эффект сложения сил

ФРИДРИХ ХИТЦЕР (ФРГ)

Георгий Димитров завещал...

Два года назад, когда я был участником Третьей Софийской встречи, меня особенно задела одна фраза. Эта фраза была произнесена не в зале собрания, а в кулуарах, где продолжаются наши разговоры.

Произнес ее человек, которого я люблю и уважаю. По-английски она звучала так: "I am suspicious of everything"—«Я ко всему отношусь с недоверием».

Я тогда не знал, я сразу не нашел, что на это ответить, но записал потом несколько строк, которые хочу вам сейчас прочесть: «На тему о времени, когда слышишь слова: "I am suspicious of everything". Страх и надежда — что сильнее? Любящие надеются! Алчность и братство — что человечнее? Борющиеся любят! Война и мир — что могущественнее? Надеющиеся борются!»

Сегодня я задаю себе вопрос, не слишком ли это общие фразы. Я задаю себе этот вопрос потому, что могу представить себе людей, которых мучает нечто совсем другое. У меня все-таки есть крыша над головой, я могу одеваться по своему вкусу; у меня есть книги, и я могу читать; словом, я вправе полушутя сказать: «У меня все в порядке».

Но что скажет человек, которому нечего ни есть, ни пить, причем не день и не два,— человек, голодающий постоянно? Что скажет человек, который не знает, как ему жить, у которого нет крыши над головой, который кругом видит мерзость и бессилен что-либо предпринять? Что скажет безработный, который в третий или, может быть, в тридцать третий раз приходит на биржу труда и слышит (а ему всего только тридцать лет): «У тебя нет шансов»... А потом сами себя утешают, как могут: пьют или тянутся к наркотикам — таких людей отнюдь не раз-два и обчелся. Тут цифры внушительные, тут ужасающая статистика.

Словом, ситуация такова, что впору сказать: «Что-то с человечеством творится похожее на самоубийство или на самокалечение».

Если мы не хотим, чтоб нас читали или слушали так, как слушают милую воскресную проповедь в церкви, проповедь о спасении, о вечной жизни, об утешительных сладчайших словах Иисуса Христа, само звучание которых на какой-то миг может принести нечто вроде утешения страдающей душе,— так вот, если мы не хотим, чтобы нас воспринимали именно так, нам надо не упускать из виду реальности. Я имею в виду, в частности, свою страну, Федеративную Республику Германии, или Соединенные Штаты Америки, где я прожил и проработал несколько лет. В этих странах скопились невероятные богатства. Денег здесь столько, что не сосчитать, на них можно купить все, что только ни пожелаешь — и надежду, и безнадежность. Ведь не будем забывать — Володя Тейтельбойм напомнил нам об этом,— в то самое время, пока мы здесь заседаем, интеллектуалы в своих студиях создают новые картины, где милые сказочные персонажи превращаются в чудовищ, во всех этих говорящих медведей, китов или в творения новейшей электронной техники, как в недавнем американском фильме «Мегафон», где нас призывают свыкнуться с применением ракет и нейтронного оружия как с разновидностью древней игры на уничтожение, которую можно пережить...

И вот я, человек, представляющий здесь одну из таких стран, перед лицом особенно тех, кто прибыл сюда из так называемого «третьего мира», где для настроений безнадежности, казалось бы, куда больше оснований, задаю себе вопрос: почему это так? Почему эту продукцию безнадежности распространяют именно самые богатые? Они не знают, на что надеяться? Они живут без надежды?

Скорей всего, так оно и есть. Потому что иначе они бы не стали выпускать такую продукцию, не стали бы плодить одну за другой сенсации, от которых становится не

по себе; каждый раз, когда открываешь газету или включаешь телевизор, чувствуешь себя физически подавленным.

Литература сама по себе не всесильна. Она может помочь, может указать возможность действия тем, кто надеется. Но без действия надежда остается абстрактной. Если я не знаю, что у меня есть возможность предпринять хоть что-то реальное, мне нечего будет сказать.

Я работаю сейчас над темой, в которой вижу нечто символичное, она далеко выходит за рамки одной моей страны. Меня заинтересовал вопрос, как сумели выжить люди, бывшие узниками концлагеря Дахау. Тут мне открылось много поразительного. Я беседовал с немцами, с австрийцами, чехами, русскими, итальянцами, пережившими Дахау. Никто из них не говорил о безнадежности.

Немецкие фашисты первыми повели счет уничтожения на миллионы. Сейчас уже говорят о миллиардах, если я правильно понял выступление одного из советников Рональда Рейгана. На это нельзя просто ответить: «Мы сохраняем надежду». На это надо ответить, что именно мы предпримем. Людям нашей профессии недостаточно сказать: «Мы отставляем в сторону свои пишущие машинки и выходим на демонстрацию». Это тоже необходимо, однако надо точней представлять, какие силы способны претворить надежду в реальность.

Именно здесь, в Болгарии, мне хотелось бы вспомнить о человеке, который выступил в безнадежной ситуации против своих обвинителей и ответил им словами немецкого классика Гёте. Я имею в виду Георгия Димитрова и его выступление на Лейпцигском процессе по делу о поджоге рейхстага. Я просто хотел бы повторить здесь слова, которые он процитировал в ответ на выкрики Геринга и Геббельса; мне кажется, они как раз звучат подтверждением того, о чем я говорю — о возможности связать надежду в литературе с необходимостью действия в политике, без которой не обойтись. Димитров процитировал Гёте в ответ своим обвинителям:

> На весах судьбы лукавой
> Редко дремлет стерженек:
> Приглядись к их колебанью!
> Кто ты? Победитель новый?
> Или сам в полон попался?
> Гордым молотом поднялся
> Или наковальней стал?[1]

«Да,— добавил Димитров,— кто не хочет быть наковальней, должен стать молотом». Эту истину немецкие рабочие в целом не усвоили ни в 1918, ни в 1923, ни 20 июля 1932, ни в январе 1933 года.

Если мы не поймем, что надо обратить свои взоры к тем общественным силам, которые могут сделать наши надежды реальностью, мы останемся проповедующими в пустыне, причем даже не Иоанном Крестителем, если воспользоваться образом Библии. Вот о чем идет речь.

ФИЛЛИП БОНОСКИ (США)

Что дальше?

За два года, что прошли со времени третьей встречи в Софии, ушли из жизни два писателя, которые с самого начала принимали участие в этих наших конференциях и которых я знал ближе других,— Уильям Сароян и Джон Чивер. Незадолго до кончины Уильям Сароян отправил в газету обращение, в котором, сообщая о своей неизбежной скорой смерти, совершенно по-сарояновски заметил: я знал, что все люди смертны, но в глубине души надеялся, что для меня все же будет сделано исключение. Свое обращение он закончил вопросом: «Что дальше?»

Ни Сароян, ни Чивер не были так называемыми «политически ангажированными» писателями, не участвовали непосредственно в политической борьбе.

И тем не менее оба они, получив приглашение, приезжали в Софию, выступали тут. И никакое давление, как открытое, так и замаскированное, которому они подвергались по возвращении на родину, не заставило ни того, ни другого отказаться хотя бы от одного слова, отпереться хотя бы от одной мысли, высказанных ими здесь.

Что побудило этих людей, таких непохожих друг на друга (так же, как и на меня), приехать сюда? Чивер происходил из семьи коренных уроженцев Новой Англии. Сароян провел детство в сиротском приюте. Чивер описывал в своих произведениях людей, «добившихся успеха»,— преуспевающих обитателей американских пригородов; в их обывательском преуспеянии он видел трагедию Америки, крупнейшее ее банкротство в области человеческих ценностей. Сароян видел в «неудачниках» Америки, в обездоленных и безвестных «простых американцах» источник своей оптимистической веры в нравственную силу человека.

На первый взгляд могло бы показаться, что два этих писателя не имеют друг с другом ничего общего. К тому времени, когда в литературе утвердился пессимизм (назовем это пока так) Чивера, оптимизм Сарояна стал многим казаться старомодным. Оба не видели для своих героев выхода в условиях послевоенной Америки, столь резко изменившей свой облик. Чивер говорил Сарояну: не переживайте так за своих тружеников, отверженных обществом, ведь они, несмотря ни на что, чувствуют себя счастливей в этом вашем мире, чем они чувствовали бы в моем, став преуспевающими американцами, а по существу — неудачниками. Сароян не мог не согласиться с этим. Оба умерли, так и не найдя ответа на терзавший их вопрос, сарояновский вопрос: «Что дальше?»

Сароян надеялся, что смерть сделает для него исключение. Он сказал об этом с почти ангельской чистотой одного из своих персонажей. И, конечно же, смерть — если взглянуть на дело достаточно широко — сделала исключение для них обоих. Мы, присутствующие здесь, можем это засвидетельствовать.

Что дальше? Становясь писателем, вы становитесь участником самой опасной борьбы, которая только известна человеку,— борьбы за истину. И, ведя эту борьбу за истину, вы доходите до крайних пределов своей выносливости. Дело не только в том, что ваши старания установить, что́ есть истина в нынешнем мире, становятся у вас

[1] *Перевод Н. Вильмонта.*

на родине материалом полицейских досье. Дело в том, что вы достигаете в своей борьбе такого критического рубежа, когда, оказавшись один на один с основами основ вашей личности — с тем, что заложено в вас происхождением, историей, классом, культурой,— вы должны хладнокровно оценить самого себя перед лицом тех неумолимых сил, которые обусловили цвет ваших глаз и структуру мозга в вашей черепной коробке, имеющей точно такую форму, какая нужна, чтобы вместить его. Вы должны оценить себя и спросить: «Что дальше?» Неужели все это — ничто? Неужели всему этому наступит конец? Заслуживает ли это спасения? Стоит ли за это бороться? Что такое человек — не более чем лишай на теле природы или же венец ее творения, та высшая ступень ее развития, на которой она, обретя способность к самопознанию, восславляет каждый листочек, каждый камень, глаза каждого ребенка, когда-либо жившего на свете?

Билл, Джон, вы спрашиваете: «Что дальше?» Пока существуют ваши книги, вы продолжаете борьбу за то, чтобы существовал мир людей, которые будут читать их; за то, чтобы ни ваши книги, ни люди, что будут читать их, не ведали покоя подобного смерти. В пламени Хиросимы и Нагасаки сгорали не только люди, но и книги. Не только здания, но и бабочки. Задевая читателей своих книг за живое, вы вербовали в их лице союзников по борьбе, которую вели.

Сегодня политика мира — это политика самого человечества. Вот это, Джон и Билл, вы и сказали нам, особенно американцам, своими поступками. Вот почему смерть сделала исключение для Сарояна и Чивера. Она не сразила вас, как не сразит всех тех, кто борется вместе с вами. Ведь, даже умерев физически и не имея больше возможности во плоти присутствовать здесь, среди нас, вы по-прежнему остаетесь в рядах борцов за предотвращение гибели человечества. По-настоящему мертвы только те, кто сохраняет пассивность или уклоняется от борьбы. А тем, кто борется, дается возможность стать бессмертными еще при жизни.

До свидания, Джон! До свидания, Билл!

ДОРОТИ ЛАЙВСИ (Канада)

От убеждений — к действиям

В Канаде писатели начинают принимать активное участие в кампании против испытаний американской ракеты «Круиз» на равнинах нашей страны, в такой близости от границ Советского Союза. Под протестами, отправляемыми премьер-министру Трюдо, стоят подписи многих канадских писателей. На западном побережье Канады мы, писатели, также участвуем в демонстрациях протеста против захода в наши территориальные воды подводной лодки «Трайдент».

Особенно эффективны подобные действия в Новой Зеландии, где порты объявлены «зоной ядерного замораживания». Новозеландские портовые рабочие прекращают работу, если в порт прибывает чье бы то ни было военное судно. Они отказываются снабжать такие суда горючим.

На своем ежегодном общем собрании в 1982 году Лига канадских поэтов приняла решение призвать министерство иностранных дел вернуться к политике культурных обменов с Европой, и в частности с Восточной Европой, с СССР и со странами «третьего мира»...

Лига поэтов и Союз писателей Канады считают, что писателям пора поднять свой голос в защиту мира и в случае необходимости предпринимать действия против распространения ядерного оружия.

Мы возлагаем надежду на то, что эта встреча в Софии приведет к расширению культурных обменов во всем мире.

УРБАНО ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ (Португалия)

Эстафета Софии

Итак, настает момент всерьез испытать действенность нашего влияния. Нужно, чтобы целое созвездие городов-борцов приняло эстафету Софии. Мы знаем, что и в Берлине, и в Гааге, и в Кёльне писатели встали на защиту мира. И если еще не пришло время рассчитывать в Париже, в Лондоне, в Риме на столь же благоприятную обстановку, какая окружает нас в Софии, не будем падать духом: нам нужно чаще организовывать международные встречи, создавать новые центры в крупных городах Европы, Африки, Азии, Америки — повсюду, где писатели могут встречаться друг с другом, чтобы обсуждать сложившуюся обстановку, требовать справедливости, благоразумия и здравого смысла, взывать к гуманности. Голос нашего возмущения должен быть услышан, даже если, чтобы собраться вместе, нам придется поочередно давать друг другу приют. Пусть далеко разносятся наши голоса, призывающие к всеобщему миру,— из Лиссабона и Мадрида, Стокгольма и Амстердама, Брюсселя, Будапешта, Луанды, Мапуту, Лусаки, Дели, Мехико, Гаваны, Лимы, Манагуа,— словом, отовсюду, где писатели восстают против милитаризма, против повторения чудовищных злодеяний Бухенвальда или Бейрута, против нависшей над людьми угрозы ядерной катастрофы и уничтожения земной цивилизации...

Послесловие

Книга есть зеркало жизни и одновременно оружие защиты человека, его права на жизнь. Такую «формулу», определяющую место искусства слова в борьбе за мир предложил в своей речи Володя Тейтельбойм.

Книга — единственный вид оружия, не подлежащего заботам о разоружении,— развивает эту мысль болгарский поэт Евтим Евтимов, подводя итоги круглого стола секции «Книгоиздатели и международное сотрудничество».

Не все в полной мере отдают должное вкладу этого «оружия», осуществленному до сих пор. Болгарская писательница, автор исторических романов Вера Мутафчиева, к

примеру, не согласна со скептиками: писатели многое сделали за послевоенные десятилетия для воспитания мыслей и чувств, не признававшихся прежде самыми насущными— полагает она, вспоминая, в частности, кадры документального фильма о войне за Фолклендские острова и слезы, которых не стесняются больше солдаты двух воюющих держав, уходя на войну и возвращаясь с нее.

Не осталось, кажется, такого повода, такого основания для тревожных размышлений, которые не озвучила бы трибуна Софии — не просто лозунгом, декларацией, но глубоко личным высказыванием, мотивированным доказательством — призывом к солидарности, гневу, состраданию, к реальному действию в защиту справедливого мира.

Многое не умещается в рамки конспекта.

Скажем, еще краска, еще оттенок в связи с важнейшей из тем, взятых в «антивоенном контексте» — что́ может перевод?

Известного французского прозаика, члена Академии Гонкуров, члена президиума Софийской встречи Эмманюэля Роблеса тревожит положение переводчиков в его стране, где они существуют на правах «бедных родственников». Он напоминает о том, сколько открытий за последнее десятилетие смогли сделать его соотечественники, прочитав благодаря их столь низко вознаграждаемому труду книги Маркеса, Астуриаса, Фуэнтеса и многих, многих других писателей Южной Америки. Их представления об этом континенте до тех пор ограничивались фольклором. Напомнил он и о том, что книги писателей Магриба, появившиеся накануне алжирской войны, внесли свой вклад в дело освобождения Алжира. Благодаря им французские читатели получили представление о существе колониализма: это было особенно важно, поскольку бытовавшие в ту пору во Франции суждения о реальном положении в колониях не слишком способствовали рождению симпатий к алжирскому народу и его борьбе.

Размышляя о значении и сложности искусства перевода, Роблес привлекает себе в союзники Сервантеса — вторую книгу «Дон Кихота», фрагменты, венчаемые фразой «Свет не умеет награждать изрядные дарования и почтенные труды»...

Несколько слов об организационных усилиях...

Азиз Несин, за чьей судьбой — его судят сейчас на родине за его убеждения — с тревогой следит мир, предложил проект создания постоянно действующей международной писательской организации борьбы за мир с постоянным центром.

Вице-президент Всемирного Совета Мира аргентинский писатель Альфредо Варела пригласил присутствующих на форум деятелей культуры, который состоится в Праге летом 1983 года во время Всемирной Ассамблеи за мир и жизнь против ядерной угрозы. Там соберутся, помимо писателей, и ученые, художники, архитекторы, учителя.

Председатель Союза венгерских писателей Миклош Хубаи объявил о подготовке международной встречи поэтов в Будапеште, намеченной на осень 1983 года.

В итоге работы секций составлены планы конкретных совместных начинаний и изданий, предложены тексты обращений участников встречи к молодежи мира, подписана совместная декларация, решено обсудить идею выпуска книги под примерным названием «Почему я выступаю за мир»...

И еще об одном следует упомянуть — о тех «невидимых» на первый взгляд, но необыкновенно важных итогах, о которых взволнованно говорил Филипп Боноски — привлечении к участию в борьбе за мир таких художников, как Чивер или Сароян, не относивших себя к числу «ангажированных».

Эффект сложения сил...

К образу ручья, проделывающего длинный путь, прежде чем он вольется в воды могучей реки, обратился норвежский поэт Мартин Наг. Это же сравнение, не сговариваясь с ним, употребил его собрат из Конго Максим Ндебека. «Так и наши усилия, вливаясь в общий поток движения народов, превращаются в реальную силу»,— сказал он, завершая свою речь...

Постскриптум

Соседства текстов — вымышленного и документального — повествующих о двух антивоенных писательских конгрессах, состоявшихся с интервалом примерно в три с половиной столетия (см. выше повесть Гюнтера Грасса «Встреча в Тельгте»), редакция не планировала. Под обложку одного номера их свел случай. Но не оказалась ли уместной эта случайность? Не интересно ли будет читателю рассмотреть наш софийский репортаж еще и как своего рода документальный эпилог к повести Грасса?

Монтаж и сопроводительный текст — нашего специального корреспондента Е. СТОЯНОВСКОЙ

София — Москва

◆

Антирубрика

ПЬЕР БУЛЬ (Франция)

ДЬЯВОЛЬСКОЕ ОРУЖИЕ

Перевод с французского ЮРИЯ ДЕНИСОВА

Когда в зале, где проходила конференция, появился принц, все члены комитета встали. Военные застыли в безукоризненной стойке «смирно», некоторые даже чуть слышно щелкнули каблуками. Штатские инстинктивно приняли почти такую же позу. Эти знаки почтения были продиктованы не только этикетом и субординацией; они выражали неподдельное уважение и восхищение, которое вызывал у всех глава государства. Принц привлекал к себе молодостью духа, умом и силой характера.

На такое приветствие он ответил благожелательным жестом, пожал руку председателю комитета генералу Перлю и занял свое место. Генерал тотчас же объявил заседание открытым, памятуя о том, что принц ненавидит ненужные предисловия.

Комитет закончил свою работу накануне, а сегодня его руководящие деятели собрались, чтобы рассмотреть результаты заседания, сделать практические выводы и отредактировать окончательный текст отчета, прежде чем представить его правительству.

Исследование, осуществленное комитетом, длилось больше года. Принц придавал ему столь большое значение, что решил лично присутствовать на заключительном заседании. Он любил непосредственные контакты и, прежде чем приступить к чтению официального доклада, хотел побеседовать с людьми, на которых он возложил миссию, крайне важную для будущего страны.

Идея создать этот чрезвычайный комитет возникла именно у принца. Она же во многом определила подбор членов комитета. Среди них преобладали военные. Разумеется, все они принадлежали к офицерской элите, но глава государства потребовал, чтобы критерием их подбора служила одна редкостная черта характера, которую он ставил превыше всего: ум реалистический и одновременно наделенный богатым воображением, ум, не обремененный традициями и дисциплиной настолько, чтобы потонуть в рутине. Все эти военные обладали яркой индивидуальностью, все были молоды. Было также несколько штатских: принц придавал значение их участию, считая, что важность обсуждаемых вопросов превосходит компетенцию технических специалистов и требует объективного взгляда на армию со стороны. Они выбирались из числа тех, кто способен отыскать и усвоить новые идеи, а также найти оригинальные решения крупных актуальных проблем. Глава государства принципиально устранил от обсуждения этих проблем официальные органы власти, поскольку, как он считал, у них было обыкновение топтаться в пыли прошлого. Сам принц неизменно оставался ярым врагом рутины. Придя к власти, он сумел разбудить в стране тот дух поисков и новаторства, без которого не бывает значительных достижений и который, казалось, за последние недели несколько ослабел. После создания комитета принц в одной фразе охарактеризовал качества, которые он хотел бы видеть у членов комитета. Эта фраза принадлежала не ему, но она точно выразила его мысль:

— Здесь собрались люди, которых война не застанет врасплох, способные предвидеть будущую войну и не истратившие сил на подготовку прошлых войн.

Именно о способности предвидеть ход войны и шла речь, как напомнил генерал Перль, взяв слово в начале заседания.

—...К несчастью, господа, через год или через пять лет может разразиться война. Строить планы на более долгий срок было бы опасной химерой. Предсказать различные формы, которые может принять война,— такова миссия, которую год тому назад на нас возложило правительство. Мы должны предвидеть и подготовить программу эффективных мероприятий с тем, чтобы армия была готова ко всем случайностям, а не застигнута врасплох, как это слишком часто бывало в прошлом из-за того, что лидеры по своей беспечности или робости не осмеливались дать волю воображению...

Принц одобрительно улыбнулся. Генерал, ободренный, продолжал:

—...Предвидеть, подготовиться и, наконец, предложить правительству военную политику, вытекающую из результатов данного исследования, которое осуществляли вы все, представители различных родов войск. Вы не были во власти предвзятых идей и пользовались полной свободой мышления, вот что мне хотелось бы подчеркнуть. Полагаю, теперь можно добавить, что это исследование было плодотворным, поскольку оно помогло выработать единую четкую линию поведения, которую мы все согласны рекомендовать правительству.

Тут принц, вопреки своему намерению не вмешиваться в предварительный доклад, не смог удержаться от жеста и задал вопрос:

— Все согласны?

— Все,— сказал генерал.

— Все,— в один голос поспешили заверить принца члены комитета, отвечая на его вопросительный взгляд.

— Единая линия поведения? Вы хотите сказать, что среди вас не нашлось ни одного оппонента.

— Теперь уже нет, сир,— твердо ответил генерал Перль.— На наших первых заседаниях разногласий было много. Могу вас заверить, что всякие мыслимые возражения были сделаны и различные точки зрения были тщательно проанализированы. Но по мере того, как наше исследование продвигалось вперед, мы все приходили к единому выводу, я настаиваю на этом. Он следует со строгостью математических выкладок из точного анализа всех данных по этой проблеме и совершенно объективного синтеза всех умозаключений. Вы сами, сир, неизбежно придете к этому заключению, я в этом уверен. Могу утверждать, что предлагаемая нами военная политика является единственно логичной и разумной в нынешних обстоятельствах.

Принц посмотрел на него долгим взглядом. Такие слова, как расчет, анализ, синтез, в принципе нравились ему, и в устах Перля они не могли его удивить. Генерал был питомцем одного из самых крупных институтов, где преподавание точных наук, и в особенности математики, занимало существенное место. Хотя его еще и называли генералом, он несколько лет тому назад вышел в отставку и занимал важный пост в промышленности. Поручив этому логику руководство работой комитета, принц тем самым надеялся найти противовес пылкости и «авангардистским» тенденциям молодых, полных энтузиазма членов комитета, таким образом достигнув равновесия реалистичности и фантазии, которые представляли два полюса его собственного ума. Слушая последние фразы, он неожиданно подумал, не допустил ли он ошибки, доверив генералу эту миссию. Принц ничем не обнаружил своих сомнений и просто спросил:

— В чем же суть вашего заключения?

— Если позволите, сир, я предложил бы выслушать сначала наших докладчиков, тогда заключение будет естественно вытекать из доказанных, неоспоримых фактов.

— Я слушаю вас,— ответил принц.

Генерал предоставил слово очень молодому полковнику, которому было доверено изучение вопросов, связанных с сухопутными войсками. Это был преданный солдат и в то же время блистательный тонкий мыслитель. Он участвовал в нескольких военных конфликтах и учился в самых знаменитых военных школах, но он не был человеком, который слепо доверяет своему опыту или отвлеченным теориям. Его собственные оригинальные труды, по мнению некоторых специалистов, революционные по своему характеру, привлекали к нему внимание командования. Принц с интересом прочел их и настоял на том, чтобы полковнику доверили одно из главных направлений исследования.

Первую часть доклада полковник изложил методично, четким голосом. Сначала он извинился за то, что напоминает о фактах уже известных, но без которых трудно было бы составить полное представление о ситуации. Затем он начал широкий последовательный обзор различных классических родов войск.

Пехота? Он должен был говорить о ней, поскольку она занимала важное место в современной организации войск. Но после глубокого изучения не представляется разумным отводить ей первую роль в будущей войне. Лично он был убежден, что ее роль должна быть сведена едва ли не к нулю

Он нашел убедительное доказательство своей мысли. В обороне любая значительная концентрация частей этого рода войск стала бы целью, легко доступной для ядерного оружия противника, и неизбежно привела бы к бессмысленной массовой гибели человеческих жизней и к материальным потерям.

По таким же мотивам недопустимо широкое наступление пехоты, подобное тем, которые были в прошлом.

— ... В этом смысле,— уточнил полковник,— было бы целесообразно продумать несколько операций, осуществляемых при помощи небольших изолированных войсковых группировок, которые должны нанести удары, ограниченные по масштабам своего разрушительного действия. В таком случае наше термоядерное оружие, отнюдь не уступающее в мощи и точности ядерному оружию других стран, позволило бы нам достичь более надежных и скорых результатов.

— Уже такое понятие, как оккупация, сир,— продолжал полковник, мало-помалу оживляясь,— столь важнейшая задача, стоявшая перед пехотой в прошлом, ныне представляется анахронизмом. Какой смысл занимать союзную или вражескую территорию, если ядерное оружие той или иной воюющей стороны наверняка сделает ее непригодной для обороны с первых же часов войны?

Танки? Различные бронетанковые части? Он специально изучал вопрос об использовании этих машин, сыгравших столь значительную роль в последней мировой войне. Ему ничего не стоит доказать, что их время прошло, что уже невозможно надеяться ни на какую крупную операцию и при настоящем положении дел было бы нелепым надеяться укрепить безопасность страны при помощи исследований и каких-либо приготовлений в этой области. Доказательства? Он уже приводил. Современные сред-

ства обнаружения позволяют при помощи одной-двух точно нацеленных атомных бомб уничтожить значительное скопление механизированных частей. Если даже нескольким машинам удастся избежать мгновенного разрушения, необходимые для их функционирования запасы горючего, технические службы и мастерские будут наверняка уничтожены.

— Что касается совместного прорыва, подготовленного втайне, то, ваше превосходительство, допуская даже при многих оговорках возможность его осуществления, эффект внезапности такого прорыва выглядит буквально смехотворным по сравнению с тем ударом, который может произвести всего лишь одна из наших ракет с ядерным зарядом.

«Смехотворный» — это слово чаще других появлялось в докладе полковника. Он его использовал, когда говорил об артиллерии, о военно-инженерном деле, а также о некоторых вспомогательных службах, в отношении которых его исследование привело к тому же самому выводу: в сравнении с ядерным оружием все другие виды вооружений выглядят смехотворно.

Исходя из соображений более общего характера и выясняя последствия, о которых ранее он лишь вскользь упоминал, полковник в своем резюме еще раз подчеркнул очевидность этого обстоятельства.

— Мы пришли к убеждению,— сказал он,— что ввиду превосходства ядерного оружия наши войска и наша современная техника теперь бесполезны. Дело не только в том, что классические методы использования этих войсковых соединений неэффективны. Гораздо серьезней то, что ни одно разумное существо не может представить себе рациональный способ их результативного применения. Я сожалею, что был вынужден представить ситуацию в столь мрачном свете, но сокрытие правды я счел бы уклонением от моего долга. Это так. Всякое маневрирование становится наивным. Сегодня слова «стратегия и тактика» лишены смысла. Обучение в наших офицерских школах утратило всякую практическую ценность, а в целом военное ремесло стало похожим всего лишь на пустое времяпрепровождение, пригодное для забавы старичков.

Когда полковник сделал паузу, ему показалось, что по лицу принца пробежала тень. Чувствуя, что подобные заявления могут быть истолкованы не в его пользу, полковник счел необходимым заранее оправдаться. Он заговорил более пылко, и в интонациях его голоса слышалась болезненная страсть.

— О, не подумайте, сир,— воскликнул он,— что это мнение — всего лишь словесное оправдание лени или инертности военных руководителей. Тем более не подумайте, что оно базируется на абстрактных данных. Оно основано на констатации неопровержимых фактов. Опираясь на них же, я пришел к выводу, что нынешняя ситуация плачевна для всей армии. В ходе последних крупных маневров я вступил в контакт с сотнями офицеров всех рангов и возрастов. И у всех я заметил одно и то же беспокойство, нет, это слово недостаточно выразительно,— одно и то же отчаяние. Мы все вместе тысячу раз, десять тысяч раз искали способ спасения...

Так это и было. Во время последних маневров, не в меру затянувшихся, молодой полковник сделал все, что было в его силах. На время оставив теоретические спекуляции, он принял активное участие в военных маневрах. Вскоре он констатировал, что офицеры, командующие действующими соединениями, прекрасно сознавали угрозу, нависшую над их головами, и испробовали все доступные им средства, чтобы избежать ее. Сотрудничая с ними, он очень скоро увидел, что их усилия, равно как и его попытки, были совершенно безрезультатны. Все эксперименты приводили к одному выводу. Роботы, замещавшие ядерные ракеты, попадали точно в цель в назначенное время. Следовательно, ракеты могли расстроить самые искусные планы, разрушить даже хорошо замаскированные военные сооружения и помешать любому маневрированию. Будучи наблюдателем, самый пристрастный арбитр, самый горячий сторонник обычного вооружения, вынужден был бы признать, что оно обречено на гибель.

Так как полковнику в силу его положения был открыт доступ в самые высокие военные круги, он вошел в контакт с генеральным штабом и настоял на том, чтобы теоретические задачи маневров были изменены. В этих кругах он тоже чаще всего встречал понимание и доброжелательство. И он, и высокообразованные ученые-офицеры с жаром взялись за эту работу. Их страстное стремление к созданию новой стратегии было вызвано отчаянием. Старые генералы обретали молодость в этом лихорадочном поиске решения задачи, задачи найти форму войны, соответствующую дьявольской мощи ядерного оружия.

— Мы не нашли ничего,— сказал в заключение полковник дрожащим голосом и почти торжественно.— Мы ничего не нашли, сир. Мы ничего не нашли, господа. Вот почему мой долг вынуждает меня заявить сегодня: что касается наземных войск, атомная угроза фатально приводит к гибели военного искусства.

Он сел в глубокой тишине. Взгляды обратились к принцу, который молчал, нахмурив брови. Генерал Перль предоставил слово капитану корабля. Ему было поручено обследовать флот.

Капитан высказывался столь же энергично, как его коллега. Одинаково звучали и выводы обоих докладчиков. Только начал он с того, чем полковник кончил, упомянув о бесчисленных исследованиях, целью которых было найти возможное использование флота, оснащенного обычным вооружением. Он признался, что вместе со многими другими не мог сдержать слез, убедившись в тщетности своих усилий Но, само собой разумеется, его первейший долг сообщить, что эти гигантские авианосцы, эти броненосцы и крейсеры, все остальные корабли обычного типа тоже обречены на почти тотальное уничтожение в самые первые часы войны, и удары, которые они могли бы нанести, несопоставимы с разрушениями, причиняемыми самой маленькой ракетой с ядерной боеголовкой.

— Наше единственное эффективное оружие,— утверждал он,— это небольшие суб-

марины, действующие самостоятельно и вооруженные ракетами. Поскольку на сегодняшний день мы обладаем достаточным количеством подводных лодок, трудно представить, для каких целей могут понадобиться другие корабли: разве что для парада. Повторяю, многие из нас оплакивают их участь: ведь эти суда никоим образом не могут составить военный флот. Не возникает даже вопроса об их маневренности, что представляет самую суть нашего ремесла. Все это сводится к перемещению по прямой линии на большую глубину по указанной отметке. Несколько армейских математиков с компьютерами составляют весь необходимый генеральный штаб. Что касается военно-морского флота, «кнопочная» война исключает все корабли, кроме подводных.

Этот вид войны был единственно возможным и в представлении специалиста по военно-воздушным силам, который выступил вслед за капитаном и привел столь же убедительные доводы. Не стоило никакого труда доказать, что современные авиаэскадрильи полезны не больше, чем детские игрушки, и что существование термоядерного оружия сделало бессмысленной работу по созданию новых типов самолетов. Что касается тренировочных испытаний, которым подвергались летчики бомбардировщиков и истребителей, это было просто потерянным временем. Атомный призрак не давал возможности для осуществления какой-либо классической концепции сражения как на суше и на море, так и в воздухе.

Главные члены комитета закончили свои выступления. Генерал Перль повернулся к принцу, не сделавшему до сих пор ни одного замечания. Однако принц был явно озабочен и казался не совсем довольным. Конечно, изложенные здесь идеи были не новы для него. Конечно, они означали отказ от старых концепций, и такой подход не мог ему не понравиться. И все-таки он испытывал растерянность, почти испуг, видя тот негативный аспект, который, казалось, принимало заключение комитета. Если он собрал лучших специалистов в этой области, то именно для того, чтобы просто констатировать состояние дел, известное уже давно. Тут действительно было из-за чего сокрушаться! Таким образом все результаты их исследования свелись к удобной возможности для полного отказа от армии.

Когда принц заговорил, интонации его голоса предвещали бурю.

— Подведем итоги,— сказал он генералу Перлю.— Если я правильно вас понял, вы все убеждены, что наша классическая военная техника — танки, пушки, корабли, самолеты — больше ни к чему не пригодна?

— Ни к чему,— без колебаний подтвердил генерал.— Ни к чему с той поры, когда получило развитие термоядерное оружие.

— Вы убеждены также, что все это представляет собой никому не нужный металлический хлам?

— Именно такова наша точка зрения.

— Вы убеждены, что в той же мере бесполезны наши войска, наши штабы и военные школы?

— Это так, сир.

— И что, следовательно, вам не остается ничего лучшего, как опустить руки и хныкать?! — взорвался принц.

— О, простите, сир!

Этот протест, и в особенности сердитый, почти неуважительный тон, которым он был высказан, вернул главе государства некоторую надежду. Взглянув на членов комитета, он с удовольствием отметил, что его обвинение вызвало негодование у всех остальных членов комитета. Принц был удовлетворен, прочтя на их лицах чувства, весьма не похожие на смирение. Особенно метали молнии глаза полковника, говорившего о сухопутной армии. Принц в глубине души поздравил себя с удачным психологическим ходом. Всего лишь нескольких булавочных уколов такого рода оказалось достаточно, чтобы в полной мере возвратить им бодрость духа. Теперь он уверен, что в этом собрании возникнет какая-то конструктивная идея. Он плохо думал о своих офицерах. Эти люди были не из тех, кто пассивно согласится с таким полным отказом от армии. Еще не все было сказано, их глубинная мысль еще ускользала от принца. Полностью успокоился он после первых же слов генерала Перля, который, немного придя в себя, продолжил свою речь, правда, в интонациях его голоса можно было еще почувствовать раздражение:

— Сир, я полагаю, что вы нас не вполне правильно поняли. Ни на один миг мы не упускали из виду, что в нашу миссию входило обязательство дать правительству п о з и т и в н ы е рекомендации.

— Я тоже так думаю,— примирительным тоном процедил сквозь зубы принц.

— Если мы и обрисовали ситуацию такой, какая она есть, делая акцент на худшей ее стороне, то только для того, чтобы обосновать эти рекомендации, которые носят достаточно революционный характер.

— Революционный дух меня не пугает.

— Мы хотели показать необходимость пропагандируемой нами военной политики, поскольку она вступает в полное противоречие с той военной политикой, которую наше правительство проводило в последние годы и которой оно стремилось обеспечить победу на всех международных конференциях.

— Каково, наконец, ваше заключение?

— Позвольте мне, сир, добавить последнее слово к уже сделанным докладам: убедительная мощь ядерного оружия делает невозможной не только обычную войну, но и в о й н у в о о б щ е. Кнопочная война — это утопия. Угроза всеобщего уничтожения слишком велика, чтобы какое-либо государство могло взять на себя за это ответственность. Это стало банальной, очевидной истиной.

— Допустим,— нетерпеливо бросил принц.— И тогда?

— Тогда,— воскликнул генерал Перль,— вывод напрашивается сам собой со всей математической строгостью, как я уже заявлял в начале нашего заседания... Тогда,— продолжал он торжествующим голосом,— нужно найти в себе мужество смотреть правде в глаза и в корне уничтожить зло. Атомное оружие делает войну невозможной, сир. Значит, надо запретить это дьявольское оружие. Необходимо объявить этот бич божий вне закона.

Б О С Т (Греция)

СЦЕНАРИЙ

Перевод с греческого ЕВГЕНИЯ КОЛЕСОВА

Мой друг Вангелис, всегда восхищавшийся моими опусами, работает художественным редактором в одной газете; у него много знакомых киношников. Он считает, что наш кинематограф хромает на обе ноги, ибо у него-де нет хороших сценариев.

— Дайте мне хороший сценарий, и я переверну весь кинематограф. Тем более что продюсер Барбунопулос — мой знакомый,— сказал мне Вангелис.

— Это кто такой?

— Не знаешь фирму «Барбунопулос и компания?» Ты что, с луны свалился? Не смотрел разве его картину «И грешница поддалась искушению»?

— Нет.

— А комедию «Скандал на таможне»?

— Тоже нет.

— А фильм «Фесопула» с Титикой Врацану в главной роли? Она тогда произвела фурор... Знаешь, Барбунопулос откопал ее...

— Не знаю.

— А документальный фильм «Холод и ревматизм»?

— Не видел.

— Ладно, это неважно. Свежий ум даже лучше. Напиши что-нибудь занимательное, чтобы там роль была для Титики, и приноси — сходим с тобой к Барбунопулосу.

— Хорошо. К понедельнику сделаю.

На этом мы и расстались. Вангелис отправился на работу, а я сел за стол и принялся писать, решив упорным трудом поднять греческий кинематограф на небывалую высоту. Неделю спустя в полдень я с объемистым портфелем в руке явился к моему другу.

— Ну, что ты мне принес?

— Да вот, кое-что для Титики.

— Много получилось?

— Дюжины две на выбор.

— Чудесно. Возможно, сразу и договор подпишем с Барбунопулосом.

— Главное, чтобы Титике понравилось; я ведь не ради денег старался, а ради искусства.

— Чудесно, поехали!

Мы взяли такси и поехали на киностудию. Там как раз был перерыв между съемками, и усталая Титика в халате трупом лежала в кресле. Она только что вся выложилась в новой роли. Фильм назывался «Чудо в Колопетинице». Вангелис представил меня ей.

— Дорогая Титика, позволь тебе представить парня, о котором я рассказывал.

— А, добрый день, я — Врацану.

— Госпожа Титика, я счастлив познакомиться с вами. Я тысячу раз видел вас на экране и восхищался вами. Как замечательно вы играли в документальном фильме «Холод и ревматизм», в «Искушении на таможне» и в «Скандальной грешнице»! Без преувеличения можно сказать, что ваше имя одно уже может служить гарантией успеха. Фильмы с вашим участием я смотрел больше пятнадцати раз; вот только сценарии, конечно, были не по вашему уровню. Слабые были сценарии.

— То же самое я говорила Вангелису, и он обещал познакомить меня с вами. Он сказал, что из этого может кое-что получиться.

— Госпожа Титика, чтобы не быть голословным, я вам лучше кое-что почитаю. Нашему кинематографу давно пора выбираться из кризиса.

— Ну что ж, садитесь и начинайте. Я вас внимательно слушаю...

Я открыл портфель и извлек первый сценарий. Это была драма «Мама, я увлечена». Сюжет был такой: поздней ночью в страшную непогоду ураган увлекает девушку и приносит ее в дом одного холостяка; у них начинается идиллия, но в тот момент, когда он пытается овладеть ею, возникает новый ураган, и бурный вихрь противоположной направленности возвращает ее домой после восьмимесячного отсутствия, спасая тем самым ее честь.

— Ну и как? — спросил я, закончив читать.

— Очень трогательно,— сказала Титика.— Не ожидала, что у вас такая богатая фантазия.

— У него и другие еще есть, дорогая Титика. Ты посмотри,— сказал Вангелис.

— Послушайте еще одну необычайную историю о любви,— сказал я, доставая следующий сценарий.— Вкратце речь тут идет вот о чем: одну девушку на улице укусила бешеная собака. Девушка идет в амбулаторию, врач делает ей укол и влюбляется в нее. Но он уже обручен с другой. Поскольку его чувство к укушенной велико, он предлагает своей бывшей возлюбленной расстаться с ним по-хорошему. Родственники бывшей возлюбленной бросаются на врача, желая отомстить ему за оскорбление, и бывшая теща в самый трагический момент кусает его. Несчастный врач заболевает бешенством и умирает со словами: «Меня съели собаки».

— Ну, как вам этот сюжет? — спросил я.

— Этот в десять раз лучше первого. Как называется?

— «Бешенство и любовь».

— Прекрасно,— сказала Титика.— Только вот роли для себя я не вижу. Тут у вас врач — главное действующее лицо...

— Может быть, но зато в тех местах, где вы появляетесь, вы производите ошеломляющий эффект. Представьте себе только, как вы будете выглядеть с пеной на губах...

— Но меня ведь вылечили, откуда же пена?

— Потому что врач из-за всех этих скандалов стал лечить вас небрежно, и болезнь возобновилась.

— А чем кончается эта ваша история?

— Когда врач умирает, вы возвращаетесь в свою бедную комнатушку по-прежнему с пеной на губах; тут начинается ураган, на вас обрушивается страшный ливень, и вы умираете, потому что, как известно, бешеные воды не переносят. С первыми же каплями вы начинаете эффектно издыхать. Тут можно показать и другие катастрофы, например, рухнувший мост или гибель лошади, чтобы придать фильму еще большее социальное значение...

— Н-да, пожалуй; впрочем, это уже забота продюсера. Что у вас еще есть?

— Третий сценарий называется «Удары судьбы». Вначале вы спокойно живете в Гондурасе. Затем там разыгрывается тайфун «Хетти». Он уносит вашего мужа, и вы выходите замуж за кинорежиссера из Голливуда — он приезжает в Гондурас снимать катастрофу и берет вас с собой в Голливуд. Месяц спустя пожар на вашей вилле, муж гибнет, и вы решаете уехать в Грецию, чтобы отдохнуть и набраться сил. Вы живете в Перистери[1], но неожиданно страшный ураган крушит ваш дом и уносит вас...

— Что-то у вас всякий раз антураж больно дорогостоящий: то ураган, то пожар...

— Не беспокойтесь. Мы вклеим сюда куски из кинохроники. Единственное, что нам может понадобиться — это лодка. Вы находите лодку, в ней сидит один кинорежиссер; он доставляет вас на крышу какого-то дома. Потом на крыше начинается пожар, и он вас снова спасает. Это можно назвать «Путешественница без багажа».

— А еще что у вас есть?

— О, много. Про что вы желаете? Про любовь? Про войну? Приключения? Вот еще есть чудесный детектив, давайте я вам прочитаю. Специально для вас. Называется «Скелет на острове Корфу». Для него нужен композитор, чтобы сочинить танец скелетов. Вы произведете потрясающий эффект.

— В двух словах, какой там сюжет?

— Дело происходит лет сто назад. Вы живете на Корфу, у вас богатый муж. Но вы любите другого и помогаете любовнику убить и закопать мужа. И тут появляется скелет...

— Ах, это как-то жутко. Мне не нравится.

— Ладно. Слушайте другой сценарий.

— Там есть для меня роль?

— А как же! Вы все время на экране.

— Только покороче, о чем там речь?

— Хорошо. Так сказать, один скелет...

— Я не хочу про скелет!

— Скелет сценария, в общих чертах, я хотел сказать...

— А простите... Валяйте дальше.

— Итак, вы замужем за глазным врачом и живете в достатке. Внезапно врач умирает. Затем в вашей жизни появляется другой глазной врач. Тут умирает ваш свекор, который, по странному стечению обстоятельств, тоже глазной врач...

— Это уже интересно.

— На свете все бывает.

— Ладно, дальше?

— Дальше, значит, умирает свекор, тоже глазной врач, а несколько дней спустя умирает ваш сын.

— Тоже глазной врач?

— Ничего подобного. Ребенок.

— И я остаюсь одна?

— Именно. Сценарий так и называется: «Одна на свете».

— А потом что?

— Потом вы вызываете гробовщика и влюбляетесь в него.

— В гробовщика?

— Да. Предполагается, что вы отличаетесь легкомыслием и пылкостью. А после похорон в вас влюбляется священник. И тут начинается!..

— Что?!

— Вы влюбляетесь в священника и вешаетесь ему на шею.

— Э, это уж слишком!

— Хорошо, выразимся иначе: вы падаете в объятия священнослужителя.

— А чем все это кончается?

— Вы попадаете в сумасшедший дом и поете от счастья, ибо сочетаетесь с лечащим вас врачом. Вот таков сюжет «Одной на свете». Видите, тут уж вы — главное действующее лицо с начала и до самого конца, в целой куче ролей. Вы играете и счастливую супругу, и вдову — всю в черном, и попадью, и сумасшедшую. Если хотите, этот ассортимент можно еще расширить.

— Вангелис,— сказала примадонна,—позови Барбунопулоса, он в просмотровом зале. Надо что-то решать. Не знаю, что и выбрать...

Вангелис поднялся с места, и через несколько минут Барбунопулос уже сидел с нами и внимал мне. Я читал последний сценарий.

Один рабочий с женой и тремя детьми живет в бедной лачуге в Бурнази[1]. Однажды он теряет работу; жена бросает его и уходит к одному шарманщику. Узнав об этом, рабочий кончает жизнь самоубийством. Некоторое время спустя шарманщик бросает ее, и она, раскаиваясь, возвращается к детям. В тот же вечер разыгрывается страшная гроза, и свирепый ураган уносит и ее, и шарманщика. Называется «Любовь, гроза и совесть».

Титика Врацану воодушевилась.

— Господин Барбунопулос, вот роль, которая мне подходит. По-моему, тут есть простор для моего таланта...

— Титика, детка, не спеши...

— А что такое, господин Барбунопулос? Такие сценарии на дороге не валяются... Честное слово.

— Согласен, но тут слишком много нищеты и бедности. Как в «Квартале «Мечта». Да там было еще в десять раз хуже. Нет, этот сценарий надо переделать. Сможете?

— Отчего же не смочь...

— Когда принесете?

— Завтра в шесть утра.

— Отлично. Тогда и договоримся.

Я попрощался и пошел домой, где велел жене, чтобы меня не беспокоили. На дру-

[1] Фешенебельный район Афин. (*Здесь и далее прим. перев.*)

[1] Бедный район Афин.

гой день с утра я вновь отправился к Барбунопулосу...

— Посмотрите, я все переделал, господин Барбунопулос...

— Читайте.

— В роскошном особняке в Колонаки[1] жил рабочий Герасим с женой. Каждое утро, отправляясь на машине на работу, он сперва завозил детей в колледж, а потом приказывал шоферу везти его на стройку, где работал землекопом. По прибытии на стройку шофер открывал дверцу машины, и Герасим, в белых перчатках и с моноклем, препоручал шоферу лопату, указывал, где копать, и давал прочие наставления, а сам шел проводить свой приятный восьмичасовой рабочий день в кругу друзей, тоже рабочих, и они, одетые в смокинги, долго беседовали о проблемах рабочих. Работа на стройке кипела, машин на стоянке хватало, и шоферы копали как бешеные. По окончании рабочего дня хозяева командовали им отбой и разъезжались по домам, чтобы успеть к вечернему приему. Пока Герасим был на стройке, его несчастная жена ушла с шарманщиком...

— Почему опять с шарманщиком? — спросил Барбунопулос.— Что вы к нему привязались?

— Он нам нужен для музыки: без него в фильме не будет ни бузуки, ни народных песен.

— А, понятно.

Барбунопулос отнесся к сюжету весьма скептически. Он вздохнул и сказал:

— Мой милый, вы переборщили. Теперь у вас сплошные богачи получились...

— Но вы же сами не хотели бедняков. Сделал богачей — вам тоже не подходит. Я все переделал, как вы сказали, столько работал...

— Но нам ведь придется заказывать все эти машины, туалеты, меха, шоферов, шикарные апартаменты и что вы еще там насочиняли, а это влетит в копеечку. Плюс еще расходы на звукозапись. Нет, это все надо подправить, переделать...

— Вот и все, господин Барбунопулос. Ну как?

— Расходы на звукозапись можно свести к минимуму. Я подправлю, а вы потом посмотрите...

— Я посмотрю, а вы подправьте. Я вижу, тут многое можно еще подправить.

— Вы будете тут после обеда?

— Буду, куда же я денусь...

— Чудесно. После обеда я вас найду.

После обеда я нашел Барбунопулоса, с трепетом ожидавшего моего появления.

— Вы решили вопрос со звукозаписью?

— Решил. Достаточно будет взять один рояль и скрипку — и дело в шляпе...

— Но зачем...

— Взгляните, господин Барбунопулос: рабочий Герасим — немой он живет в скромном чистеньком домике вместе с женой, она тоже немая и у них трое немых детей. Такой тихий домик на окраине. Мертвая тишина. Слышна мелодия шарманки. Дети в школе, Герасим на стройке; в дверях дома появляется шарманщик, он подает знаки жене Герасима. Она завороженная мелодией, выходит к нему, потому что она только немая, но не глухая, и слышит мелодию шарманщика. Это — сюжет что надо, он наделает много шуму. Как вы его находите?

— Что же вы молчите?

Барбунопулос молча поднялся и побрел в просмотровый зал, сделав мне знак собирать вещи и уходить. Я забрал портфель и ушел, возмущенный и оскорбленный. До дому добрался с трудом.

— Как твой сценарий? Утвердили? — спросила жена, увидев меня, удрученного и немого.

Я тупо поглядел на нее.

— Что же ты молчишь? Ты онемел?

Не отвечая, я указал ей на дверь и сделал знак убираться вон. Перекрестившись, она молча вышла... Вдали играла шарманка.

[1] Аристократический район Афин.

◆

Наши гости

Сильвано Лора и Хосе Алькантара Альмансар

(Доминиканская Республика)

Гости нашего журнала, деятели культуры Доминиканской Республики,— известный художник и общественный деятель Сильвано Лора и новеллист, литературовед, профессор социологии и педагог Хосе Алькантара Альмансар, удостоенный нескольких международных премий за свои критические эссе.

Это не первый литературный контакт «Иностранной литературы» с доминиканскими писателями: в 1965 году журнал публиковал эссе выдающегося доминиканского прозаика и общественного деятеля Хуана Боша «Возможности рассказа» (№ 8) и две его новеллы (№ 11), но все же знакомство советского читателя с литературой этой страны далеко не достаточно; роман Мануэля Гальвана «Энрикильо», несколько стихотворений Педро Мира в различных органах советской прессы да один-два рассказа — вот, пожалуй, и вся библиография. Так что нашей первой личной встрече с представителями культуры этой страны радуемся и мы, и наши гости.

Сильвано Лора уже бывал в Советском Союзе, правда давно. Хосе Алькантара впервые в нашей стране. Помимо преподавательской работы в Национальном университете он активно сотрудничает в журнале «Аора», где ведет постоянный литературный раздел.

— В нем публикуются,— рассказывает он,— критические произведения молодых доминиканских литераторов и писателей других стран. К сожалению, в Доминиканской Республике ничего не знают о современной советской литературе. Это неудивительно, ведь цензура не пропускает даже письма со штемпелем какой-либо из социалистических стран. Поэтому для нас так важен визит в СССР, где мы смогли встретиться с советскими писателями, прикоснуться к жизни вашей страны, узнать, как здесь любят и ценят латиноамериканскую литературу.

Наши гости охотно отвечают на вопрос о положении в современной доминиканской культуре.

— Нельзя забывать,— говорит Хосе Алькантара Альмансар,— что более трех с половиной веков Санто-Доминго была колонией. Это привело к появлению литературы, порожденной влиянием господствующей культуры метрополии — Испании. Слепо следовали наши писатели и образцам царивших в Европе различных литературных школ. Лишь сравнительно недавно они порвали с традицией, столь далекой от нашей национальной действительности.

— Кроме того,— вступает в беседу Сильвано Лора,— страна в XX веке более 30 лет страдала под гнетом жестокой диктатуры Трухильо, что наложило свой отпечаток на развитие доминиканской культуры. Многим выдающимся писателям и художникам пришлось эмигрировать. Конечно, за эти 30 лет культурный процесс в нашей стране не прерывался, но он приобрел особые формы: тем, кто работал в стране, приходилось скрывать свои мысли и чувства, прибегать к символике, использовать библейские темы или античные сюжеты. Последнее особенно заметно в драматургии. Но это не было бегством от действительности, а лишь способом сохранить свое творческое «я».

— Так,— продолжает Хосе Алькантара,— в 40-х годах ведущим стало направление «Поэсиа сорпрендида» (поэзия — врасплох). С 1943 по 1947 год эта группа издавала журнал того же названия. Эта герметическая поэзия была своеобразной формой протеста. Но вот что интересно: многие ее представители впоследствии перешли к реалистической, социальной поэзии. Например, Аида Картахена Портилатин, Фредди Гатон Арсе или Энрикес Руэда, чье стихотворение «Песнь свободе» звучит прямой критикой режима Трухильо. Они успешно работают и сейчас, причем не только в прозе, но и в драматургии.

— Но,— возражает Сильвано Лора,— существовало направление и литературы протеста. Как не вспомнить о таких крупнейших фигурах, как прозаик Хуан Бош или поэты Педро Мир, Мануэль дель Кабраль, Эктор Инчаустеги. Последний, кстати, тоже начинал как герметист.

— А если вернуться к современности и поговорить не только о поэзии, но и о прозе? — спрашиваем мы.

— Пришлось так подробно остановиться на 40—50-х годах,— отвечает Хосе Алькантара Альмансар,— потому, что, несмотря на жесточайшую цензуру, этот период очень значителен в развитии доминиканской литературы и во многом определил пути, по которым она идет сегодня.

— Да,— соглашается с ним Сильвано Лора,— усвоение достижений европейской культуры, влияние Федерико Гарсиа Лорки, а позже Пабло Неруды и Николаса Гильена обогатили современную доминиканскую культуру. Постепенно в ней все больше и больше росло патриотическое чувство, стремление познать и отразить собственные ценности. В живописи

это выразилось, например, в воспевании родной природы.

Здесь нельзя не вспомнить, что страна дважды претерпевала прямую вооруженную интервенцию со стороны США: в 1916 году — результатом чего и явилась потрясшая весь мир своей жестокостью диктатура Трухильо, и в 1963 году, когда при помощи североамериканской военщины было свергнуто либеральное правительство Хуана Боша. Это послужило мощным толчком к развитию всенародной борьбы против иностранного вмешательства (оккупационные войска США были выведены из Доминиканской Республики в результате всеобщей забастовки 1966 года), перешедшей затем в социально-политическую борьбу против очередных диктатур.

— В литературе это выражается,— добавляет Сильвано Лора,— в стремлении осмыслить и отразить наш национальный характер, развивающийся в условиях конкретной доминиканской действительности, рассказать о борьбе народа за социальную справедливость, воспеть героев нашей истории. К сожалению, о героях современных битв нельзя было говорить прямо, но народ слагал и слагает о них песни.

— Так, в поэзии,— снова вступает в беседу Хосе Алькантара Альмансар,— в 1974 году возникла группа «Плюрализм» основатель которой поэт Мануэль Руэда открыто обратился к социальной тематике. В прозе это привело к расширению круга тем, стремлению отразить не только жестокость современной доминиканской действительности, но и показать вооруженную борьбу, которую ведет сегодня наш народ.

Заметим, кстати, что и у самого Хосе Алькантара Альмансара есть рассказы, рисующие героические образы партизан, с оружием в руках вставших на защиту угнетенных во имя установления в стране социальной справедливости.

После 1961 года мы наблюдаем бурный расцвет прозы, в частности рассказа и новеллы.

— С падением диктатуры Трухильо,— говорит Сильвано Лора,— возникла группа молодых литераторов «Искусство и освобождение». В стране постепенно создается широкая сеть клубов культуры, и в этой работе им помогают различные литературные издания, где молодые писатели устраивают литературные вечера, ставятся спектакли, даже проводятся спортивные мероприятия.

— А их много?

— Довольно много,— отвечает Хосе Алькантара.— Прежде всего это руководимое Мануэлем Руэдой приложение к газете «Ой», обращающее особое внимание на творчество молодых; «Акí», возглавляемое поэтом Матео Моррисоном; затем приложения к газетам «Насиональ» и «Карибе», которые занимаются не только литературой, но и проблемами культуры в целом. Существуют и непосредственно литературные журналы, такие как «Скриптура», издаваемый университетом Санто-Доминго, альманах «Куадернос Сибоней», выходящий четыре раза в год, или ежемесячник «Летра гранде». Вообще следует отметить, что современные доминиканские прозаики стремятся расширить круг своих тем, отразить социальные, политические, психологические, философские проблемы, причем, используя все достижения современной мировой и особенно латиноамериканской прозы, сделать свои произведения более доходчивыми, понятными народу. Явно заметна озабоченность в обновлении не только литературной формы, но и содержания. Например, лично мне важно не только как я говорю, но и что я пишу. Меня часто упрекают в том, что мои рассказы слишком жестоки, но я отвечаю, что таково наше общество.

Сегодня в прозе молодых превалирует тема города. Это понятно, ведь многие из них — выходцы из мелкой буржуазии: студенты, политические деятели, профессора, актеры, журналисты. Еще одна характерная черта современной прозы состоит в том, что она становится социальной.

Здесь хочется сказать, что именно эта черта прослеживается в творчестве самого Хосе Алькантара Альмансара: это и «писатель» из рассказа «Новелла в манере пастиша», и прачка из «Сюрприза» — яркий образ латиноамериканской женщины из народа, но особенно — созданные им незабываемые образы героев-партизан. Зачастую они не имеют даже имени: это просто «он», просто «Команданте».

— Хотелось бы обратить особое внимание на творчество таких новеллистов, как Мигель Альфонсека — лауреат одной из литературных премий, Вирхилио Диас, чей рассказ «Через мир» справедливо считается шедевром современной доминиканской прозы, Рене Дель Риско Бермудес, Армандо Альмансар, впрочем, список можно продолжить.

— А роман?

— Мне кажется, преждевременно говорить о доминиканском романе как сложившемся явлении,— отвечает писатель.— Роман требует времени, а его-то как раз и нет у наших писателей. Никто не может жить только литературным трудом. И все же могу назвать Педро Верхеса, чей роман «Лишь прах обретешь», повествующий о событиях 1961—1962 годов, получил испанскую премию имени Бласко Ибаньеса; Андреса Матео — его книга «Топтать пальцы бога» удостоена Национальной премии; Диогенеса Вальдеса, Марсио Маттиоло.

— И наш последний вопрос: в какой степени доминиканские писатели ощущают себя составной частью завоевавшей мировое признание литературы латиноамериканского континента?

— С каждым днем эта связь становится теснее и теснее,— отвечают наши гости,— мы все больше задумываемся над общими проблемами Латинской Америки. Мы стараемся обогатить наш язык, сделать его более гибким и самобытным.

Мы благодарим наших доминиканских друзей за интересную беседу и выражаем надежду, что она станет первой ласточкой наших будущих контактов.

Н. БУЛГАКОВА

Среди книг

Издано в СССР

НОВАЯ КНИГА О ЛИТЕРАТУРЕ МОНГОЛИИ

Лодонгийн Тудэв. Национальное и интернациональное в монгольской литературе. Москва, «Наука», 1982.

Кажется, еще совсем недавно, несколько десятилетий назад, на русском языке стали выходить книги — переводы с монгольского. Повести, рассказы, поэтические сборники. Со временем новые имена монгольских писателей все чаще появлялись на страницах толстых журналов, на обложках книг, выпускаемых центральными и республиканскими издательствами. Ныне читатели получают первые тома Библиотеки монгольской литературы... Совершенно естественно, что интерес к художественной литературе распространяется и на ее историю. В связи с этим уместно отметить, что за последние годы история монгольской литературы интенсивно обогащается новыми главами. Происходит это благодаря трудам монголоведов многих стран, но прежде всего благодаря научной деятельности литературоведов Монгольской Народной Республики.

Имя Л. Тудэва впервые открылось советскому читателю около двадцати лет тому назад журнальной публикацией нескольких стихотворений [1]. Затем на русский язык были переведены его роман «Горный поток» (1967), посвященный сложному времени в истории монгольского народа после Народной революции, повесть о монгольском пламенном революционере Сухэ-Баторе «За полярной звездой» (1968), автобиографическая повесть «Открывая мир» (1974); в 1978 г. на русском языке вышел поэтический сборник Л. Тудэва «Вершина». Талант Л. Тудэва позволяет ему счастливо сочетать работу над художественными произведениями с литературоведческими изысканиями. Рецензируемая книга на этот раз знакомит читателя с Л. Тудэвом-филологом, пытливым исследователем родной литературы ученым, для которого научный поиск освящен радостью познания и увенчан важными теоретическими обобщениями.

Монография «Национальное и интернациональное в монгольской литературе» — не единственная литературоведческая работа автора. Ей предшествовали книги «Горький и монгольская литература» (Улаанбаатар, 1968), «Политика МНРП в области художественной литературы» (Улаанбаатар, 1971), по этой теме Л. Тудэв защитил в 1967 г. в Москве кандидатскую диссертацию. Третья книга — «Черты национального и общего в монгольской литературе» (Улаанбаатар, 1975) легла в основу литературоведческого труда, вышедшего на русском языке. Книга, дополненная и расширенная в новом издании, разумеется, заключает в себе важнейшие выводы из первых работ автора, достижения коллег-соотечественников, советских литературоведов. Об эрудиции критика красноречиво говорит приложенная к книге библиография. Л. Тудэвом проработаны труды классиков марксизма-ленинизма, классическое наследие монгольской, русской, советской литератур, книги ведущих монголоведов мира, разысканы затерявшиеся в периодике статьи и забытые малотиражные издания, проанализированы исследования советских ученых-филологов, а также специалистов по истории, филологии стран, с которыми связана Монголия в своем историческом прошлом и настоящем. Этот колоссальный труд Л. Тудэв проделал, чтобы достойно решить поставленную перед собой нелегкую задачу — рассмотреть историю монгольской литературы в ее национальном своеобразии и творческих интернациональных связях от древности до нынешних дней. Полагая, что исторический и современный аспекты изучения монгольской литературы под углом зрения диалектики национально-самобытного и интернационального, общечеловеческого, тесно связаны, автор выделяет два объекта исследования — старую и выросшую из ее недр новую монгольскую литературу. Этим определяется структура книги, ее двухчастность.

Формирование старой литературы. Национальное своеобразие и инонациональные влияния. Так формулируется содержание первой части. Л. Тудэв обращается к истокам монгольской литературы и ее связям с первобытным искусством, с его мифологическими образами, самостоятельный раздел посвящает космологии и космографии позднего периода, прослеживает связи шаманской обрядности и поэзии, проявляет научный взгляд на роль буддизма в формировании монгольской культуры, когда наряду с буддийской литературой переводились с

[1] «ИЛ», 1964, № 11.

санскрита, тибетского и уйгурского языков и размножались ксилографическим способом философские и дидактические трактаты, сборники притч и, наконец, создавались авторские произведения. Стоит подчеркнуть обозначение еще одной важной проблемы — изучение тибетоязычной литературы в Монголии.

Богатейшим материалом насыщена вторая часть книги: «Диалектика национального и интернационального в монгольской литературе в условиях социализма». Л. Тудэв новаторски осмыслил и теоретически обосновал такие проблемы в становлении и развитии новой литературы Монголии, как интернациональные предпосылки возникновения новой монгольской литературы, объективная необходимость сближения с европейской культурой, преодоление тенденций национализма и проблемы, обусловленные социалистической интернационализацией духовной жизни в Народной Монголии.

Впервые в литературоведении Л. Тудэв пишет о месте и роли Л. Н. Толстого в монгольской литературе, о его влиянии на происходящие в ней процессы.

Л. Тудэв создал подлинно новаторскую книгу. Он показал развитие монгольской литературы как целостное явление, увидев единство старой и новой литературы и в ее связях, которые в дореволюционный период ограничивались кругом восточных литератур, их традиций, а в современных условиях обладают широкими возможностями интернационального взаимодействия.

Книга Л. Тудэва обладает еще одним качеством — она наделена и просветительской функцией. С присущей автору живостью языка, образностью мышления он сумел ярко показать особенности монгольской литературы в ее разных жанрах, обряды, словесное мастерство, искони присущее монголам. В художественных произведениях Л. Тудэва мы имели возможность не раз убедиться в том, что писатель умеет видеть знаки дружбы, оставленные историей на монгольской земле, в человеческих судьбах. Теперь добавим — и в литературных связях.

Новая книга о литературе Монголии — большая творческая и научная удача Л. Тудэва и свидетельство еще одного достижения литературоведения страны в теоретическом решении кардинальных проблем изучения истории монгольской литературы, ее литературных связей и процесса сближения с литературами социалистического реализма

К. ЯЦКОВСКАЯ

ОТКРЫТИЕ МИРА

Джон Рональд Руэл Толкиен. Хранители: летопись первая из эпопеи «Властелин колец». Немного сокращенный перевод с английского Андрея Кистяковского и Владимира Муравьева. Стихи в переводе Андрея Кистяковского. Послесловие В. Муравьева. Москва, «Детская литература», 1982.

Зарубежную литературу в России всегда переводили много и щедро. Эта добрая традиция была сразу же после Великого Октября поддержана молодым Советским государством, создавшим по инициативе А. М. Горького издательство «Всемирная литература», которое за 1918—1924 гг. выпустило около 200 произведений художественной классики. Мы и сегодня щедро и много переводим иностранных авторов. Однако же на географической карте наших переводов до сих пор имеются «белые пятна», в том числе и по классике XX века. Правда, они постепенно исчезают, и каждый раз, как закрывается очередное «пятно», это становится не только подарком читателю, но и заметным явлением литературной жизни. Нынешнее поколение помнит, какими событиями, в полном смысле открытиями, были публикации на русском языке «Моби Дика» Г. Мелвилла тогдашним «Географгизом» или «Смерти Артура» Т. Мэлори в «Науке», выпуск «Прогрессом» представительных однотомников Ф. Кафки, А. Камю или Т. С. Элиота, романы Карсон Маккаллерс, изданные «Молодой гвардией», не говоря уже о грандиозном предприятии — двухсоттомной «Библиотеке всемирной литературы» осуществленной «Художественной литературой» и восполнившей массу пропусков.

Нужно оценить и заслугу издательства «Детская литература», представившего советскому читателю произведения Дж. Р. Р. Толкиена (1892—1973)[1]. Понятно, что «Хранители» вышли в, мягко говоря, «немного» сокращенном переводе и что это — пока еще — лишь первая часть («летопись») из трех, составивших сказочно-рыцарскую эпопею (1954—1955), полному переводу которой (со всеми многочисленными приложениями, добавлениями, сопутствующими фрагментами, авторскими извлечениями и комментариями и сопроводительным критическим аппаратом) самое место в серии «Литературные памятники». Последнее соображение, однако ничуть не умаляет объективного значения предпринятого «Детской литературой» начинания по изданию этого памятника для круга своих читателей. Можно с уверенностью сказать: в наш литературный обиход вводится яркое, оригинальное произведение, перерастающее рамки национальной литературы и мало с чем сопоставимое по широчайшей популярности и безоговорочному признанию в различных читательских слоях и во многих странах мира. Достаточно сказать, что в одной только Англии с ее вошедшей в поговорку сдержанной невозмутимостью и умеренными тиражами ежегодно продается около 100 тысяч экземпляров трилогии, а число журналов, издаваемых различными обществами любителей Толкиена по обе стороны Атлантики с 1965 года, перевалило за 50.

«Властелин колец» — книга из ряда таких произведений, как «Робинзон Крузо», «Приключения Гекльберри Финна», «Дон Кихот», «Тартарен из Тараскона» или повести Л. Кэрролла о приключениях Алисы. То есть произведений, входящих в классику равно «взрослого» и «подросткового» чтения. Разумеется, кое-какие философские обертоны

[1] Напомним, что повесть Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно» (1937 г., переработана в 1946 г.), уже превратившаяся в классику детской литературы, была опубликована издательством в 1976 г.

повествования Толкиена пройдут мимо юного читателя, но он отдаст должное блистательной фантастике и выдумке автора, будет заворожен обилием сказочных подробностей и непредвиденных зигзагов интриги, а главное — сполна воспримет нравственный смысл рассказанной истории: утверждение стойкости, мужества, долга, добра и необходимости активно, беззаветно, в любых обстоятельствах, любой ценой и в меру отпущенных сил сражаться со злом, понимая, что оно, нависнув над огромным миром, не обойдет стороной и твою родину, сколь бы малой и неприметной, подобно сказочной Хоббитании, она ни была[1].

Наконец, нужно сказать о больших трудностях, какие в целом успешно преодолели переводчики первой книги эпопеи. Будь «Властелин колец» самой что ни на есть талантливейшей стилизацией в духе сказочно-героического эпоса типа «Нибелунгов», «Беовульфа» или северных саг, аналогом «Песен Оссиана» Дж. Макферсона или же не стилизацией, а иносказанием на тему истории середины XX века (в каковом качестве ее многие и воспринимают) — перевод не представлял бы таких проблем. Но сам автор подчеркивал в предисловии к изданию эпопеи: «Я искренне не люблю аллегории во всех ее формах и никогда не любил... Мне много больше по душе история, истинная или выдуманная, которая так или иначе взывает к мыслям и опыту читателя».

Трилогия Толкиена и есть такая «выдуманная история», в разработке которой автору было на что опереться — ведь до того, как стать всемирно известным писателем, он успел стать маститым филологом: историком языка, фольклористом, редактором и комментатором текстов англо-саксонской литературы, профессором британских университетов. «Властелин колец» — синтез глубоких знаний автора в перечисленных областях и богатой фантазии, позволившей ему придумать хоббитов, или «невысокликов», сказочный маленький народец, а также создать Средиземье — незапамятное и несуществующее пространственно-временное единство, в рамках которого происходит действие. По справедливому замечанию одного из своих биографов, Даниэла Гротты, «Толкиен создал не только целый мир, но мироздание, совершенно потрясающее по своей завершенности». И достоверности, добавим мы, которую этому мирозданию сообщают тщательно продуманные языковые, исторические, географические, бытовые и прочие реалии, закрепленные в наименованиях. Последние, как и имена собственные, имеют внутренний смысл, благодаря которому органически включаются в сюжет. Толкиен настаивал на передаче этих смыслов при переводе трилогии на другие языки, оставив тут конкретные указания, и они были учтены. Какие-то моменты, воссозданные переводчиками «Хранителей» на русском языке, могут показаться спорными или неудачными, однако не вызывает сомнений, что настоящий перевод и в сокращенном виде представляет повествование Толкиена как органическое целое. Хотелось бы надеяться, что высокий уровень перевоплощения эпопеи в стихии русского языка будет сохранен и при переводе оставшихся «летописей» — «Две твердыни» и «Возвращение наследника».

В известной лекции «О волшебных сказках», прочитанной Толкиеном 8 марта 1939 года в шотландском университете Сент-Эндрю, он изложил свои взгляды на сказочную фантастику, которые стали методологической основой всех его «выдуманных историй»: «Когда фантастический мир согласуется с миром реальным,— разумеется, с учетом всех отличий и вариаций,— то рассказчик или мифотворец выступает не столько созидателем, сколько открывателем. Он не придумывает — он скорее открывает несуществующий мир, который в одно и то же время похож и не похож на наш» (приводим в изложении Гротты). Видимо, это сходство и заставило многих трактовать рассказанную Толкиеном историю о столкновении сил добра и света, олицетворенных благородными людьми и эльфами, гномами и хоббитами, с силами зла и мрака — Черным Властелином царства Мордор и подчиненными ему лиходейскими воителями и всякой нечистью — как завуалированную притчу о второй мировой войне. Тем более что, по свидетельству самого автора, к началу войны была написана лишь первая половина «Хранителей», а главы о путешествии хоббита Фродо к Мордору, составившие вторую половину второго романа трилогии, он писал в 1944 году и сразу же отсылал сыну, служившему тогда в Королевских военно-воздушных силах.

Однако, как уже говорилось, Толкиен не собирался строить параболы к современности, что помимо его собственных заверений доказывают несколько соображений. Одно из них приводили многие зарубежные толкователи эпопеи: в жанр аллегории никак не «вписывается» авантюрная основа сюжета — миссия Фродо, которому надлежит попасть в Мордор и там бросить Кольцо Всевластья, источник силы Черного Властелина, в пламя Огненной Горы, тем самым уничтожив его магическую мощь. Слишком широка для аллегории и историко-философская концепция Толкиена, раскрытая в эпопее: исторические эпохи неизбежно сменяют одна другую, а зло если и терпит поражение, то все равно привносит в мир необратимые изменения, потому что вместе с уродством и лихом в небытие уходит и нечто неповторимо прекрасное. Ну, и наконец, никакое самое многоступенчатое и разветвленное иносказание не требует такого обилия реалистических наблюдений, подробностей, частностей, такого подлинно британского любования бытом и предметами никогда не существовавшей материальной культуры, какие читатель найдет даже в сокращенном (в основном, увы, именно за счет этих подробностей и любования) варианте повествования.

И все же, представляется, опыт реальной исторической схватки с фашизмом косвенным образом сказался на эпопее — если не в замысле, то в воплощении. Этим опытом, как нам кажется, в какой-то мере продиктовано возникающее в «Хранителях» и набирающее силу в последующих «летопи-

[1] Подробнее о личности автора, а также об истории создания, реалиях «Властелина колец» и специфике трилогии см. в содержательном послесловии к книге.

сях» пронзительно-напряженное ощущение того, что судьбы племен и народов и сама история Средиземья, то есть целого мира, висят буквально на волоске. Той же причиной можно объяснить и усиление по ходу действия героического начала в трилогии, причем не только в связи с миссией Фродо, восходящей (литературные «корни») к мотиву испытания-подвига героя, обязательному для рыцарского романа, но по всем сюжетным линиям, особенно ближе к развязке. Впрочем, не будем забегать вперед и намекать читателю на то, о чем ему предстоит узнать из двух последующих частей «Властелина колец».

Понятно, что публикация далеко не простого со всех точек зрения текста Толкиена могла сопровождаться известными «накладками», и без них действительно не обошлось. Скажем, встречается разноголосица в наименованиях одних и тех же мест в тексте «летописи» и на карте Средиземья, помещенной в книге; или — уже по тексту — замок чародея Сарумана именуется то Скальбургом, то Скальградом. Нет в книге объявленных на титульном листе рисунков (в общепринятом смысле — иллюстраций) художника Г. Калиновского — есть шмуцтитулы, заставки, буквицы, одна карта. Уместней в данном случае было бы, конечно, говорить не о рисунках, а об оформлении, которое, следует отметить, полностью отвечает духу произведения. Но все эти мелочи легко устранить при переиздании. Что же до главного — то нужно поблагодарить издательство «Детская литература» за успешное начало русского Толкиена, за публикацию хрестоматийного текста большой литературы, за книгу, которая учит смотреть в лицо смерти, памятуя обо всем прекрасном в жизни.

В. СКОРОДЕНКО

Издано за рубежом

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ ВО ФРАНЦИИ

Если рассмотреть в целом книжную продукцию прошедшего года, то придется признать, что он не привнес во французскую литературу никаких существенных новаций — ни с эстетической, ни с социальной точек зрения. Последние десять лет развитие нашей литературы идет не столько вглубь, сколько вширь — на наших глазах расцветает множество разнообразных и совершенно не схожих между собой дарований. Каждое из таких дарований сугубо индивидуально, нет оснований говорить о возникновении каких-либо новых групп или направлений. Как всегда, наиболее примечательные произведения дала проза, в частности, жанр романа, хотя нужно признать, что и в сегодняшней поэзии ведутся интересные поиски, при их оценке не стоит полагаться на вкусы читающей публики, которые иногда просто озадачивают.

Каким же образом формируются читательские вкусы и пристрастия? Четкий ответ на него не могут дать даже научные и социологические исследования. Случай и мода — вот что нередко определяет увлечения капризной читательской массы. Как и во всех западных странах, у нас существует многочисленный круг людей — от двух до трех миллионов при населении пятьдесят три миллиона,— которые рассматривают чтение как приятное и ни к чему не обязывающее развлечение. То, что называлось у нас раньше «вокзальной литературой»,— сентиментальные истории, приключенческие и любовные романы, рассчитанные на самый невзыскательный вкус, по большей части уступило место книгам, проповедующим насилие: детективам или шпионским романам (и в какой-то степени научно-фантастической литературе, которая у нас пользуется меньшим успехом, чем в Советском Союзе), а также рисованным комиксам самого низкого пошиба на бытовые, фантастические и эротические темы. Более достойным уровнем отличаются в этом потоке популярной литературы документальные и исторические книги, и среди них нужно особенно выделить книги о второй мировой войне. Не так давно, примерно с десяток лет назад, на первый план выдвинулись также свидетельства известных политических деятелей, которые теперь все подряд пишут мемуары. Поскольку их нередко можно лицезреть на телевизионных экранах, то несколько сотен тысяч читателей им наверняка обеспечены. Далеко не все такие книги можно назвать настоящей литературой, тем не менее они вступают в серьезную конкуренцию с высокохудожественной прозой. Как же отличить подлинное от неподлинного в бескрайнем море книжной продукции?

Сам принцип, на котором основано у нас издательское дело исключает какую-либо объективность. Издатели — деловые люди, заинтересованные лишь в одном: в выпуске книг, которые принесут им наибольший доход. Во Франции как и повсюду на Западе, в ФРГ или США «запуская» книгу, ее рекламируют точно так же, как новое косметическое средство, мыло, духи или гуталин — может быть, у нас это лишь делается чуть с большим вкусом, чем там. По сути, массовый читатель и не в состоянии выбрать себе книгу по вкусу — за него это делают другие, если только он не откажется от легкого пути и не захочет самостоятельно покопаться на полках книжного магазина. Есть еще категория читателей, которые записываются в «клубы», распространяющие книги по подписке и при отборе опирающиеся на статистические данные, полученные с помощью электронно-вычислительных машин. И читателю, желающему сохранить независимость и непредубежденность, стоит немалого мужества, чтобы отбиться от навязываемого ему чтива. Такие читатели все же есть, примерно шесть из десяти. Если это любители романов, то в 1982 году в их распоряжении было около шестидеся-

ти читабельных и около тридцати заслуживающих внимания романов.

Первое, что должно было броситься им в глаза, это отсутствие в прозе злоупотреблений формалистическими изысками в стиле «нового романа», которые демонстрировали в свое время Мишель Бютор и Ален Роб-Грийе,— мода на «новый роман» прошла, и сегодняшняя французская литература доступна даже самому неискушенному читателю; и второе что, пожалуй, еще более существенно,— современный французский роман (за некоторыми исключениями) не отражает забот нашего народа. Нужно уточнить эту мысль. В свое время у нас были романисты — Бальзак и Золя,— о которых можно без преувеличения сказать, что на протяжении всей жизни они исследовали реальный мир человеческих проблем и страстей. Если взять только последнее десятилетие, то таких писателей у нас нет.

Ни один крупный художник не воссоздал с должной глубиной французскую действительность в годы правления де Голля или в момент революционного брожения в мае 1968 года. Для некоторых писателей эти временные периоды и события стали фоном при зарисовке каких-либо сюжетных коллизий, но отнюдь не основной темой. Сегодняшняя ситуация в стране не интересует их сама по себе и используется опять же лишь как фон при изображении страданий, тщетных мечтаний или честолюбивых устремлений отдельной личности. Даже многих наших лучших романистов и поэтов не тревожит, например, та двойственная позиция, которую занимает Франция в международной политике и в вопросе ядерного равновесия. Зато неисчерпаемым источником вдохновения служат для них бесконечные душевные переживания и болезненное самокопанье, которым предаются их герои-одиночки. Чтобы отыскать в нашей литературе отзвуки общественно важных проблем (а наличие их никто не отрицает) нужно погрузиться в изучение подсознания персонажей с усложненной психикой, всячески отгораживающихся от контактов с другими человеческими существами. У нас издается немало глубоких и проникновенных книг, но жизнь страны находит в них очень опосредованное отображение.

Выходят и такие романы, где в центре повествования находится не человек, а природа, и миф подменяет в них порой конкретную реальность. Примером может послужить пользующаяся большим успехом книга канадки Анн Эбер под названием «Глупыши» [1], которая, впрочем, вполне заслуженно получила премию «Фемина». (Я намеренно не останавливаюсь на книгах, удостоенных премии Гонкуров или «Медичи»; первая посвящена похождениям гомосексуалиста, а во второй описана история пьяницы, и присуждение им премий отнюдь не свидетельствует о том, что они были наилучшими).

Роман Анн Эбер построен довольно безыскусно, несмотря на многочисленные «возвраты в прошлое»; в нем тщательно расследуется таинственное исчезновение детей, которое произошло недалеко от Квебека. В процессе упорных поисков возникают различные предположения о подспудных причинах совершенного преступления: движущим мотивом могли послужить и чья-то заинтересованность в наследстве, и желание отомстить, а то и просто чье-то безумие или патологическая склонность к насилию. Автор не отвергает ни один из этих мотивов и предоставляет слово разным свидетелям, чьи показания в той или иной степени заслуживают доверия. Перед нами проходит целая череда персонажей, и каждый из них излагает свою версию случившегося, и, естественно, что при этом все они неизменно забывают рассказать что-то существенное. На самом деле никто из них не виновен. Море и ветер — вот кто виноват в гибели детей.

Как уже говорилось, сегодняшний французский роман довольно часто носит замкнутый характер, ограничиваясь изысканиями в области психологии или умозрительной философией. Широкие просторы и свежий воздух страшат наших авторов, и если даже они рискуют вырваться за пределы привычных рамок, то самое большее, на что они отваживаются,— это на изображение крестьянской жизни, и надо сказать, что вкус им при этом довольно часто отказывает.

Роман Анн Эбер не грешит подобным недостатком. Пожалуй, впервые после знаменитой книги Алена-Фурнье «Большой Мольн» (вышедшей в 1913 г.) во Франции появилось произведение, в котором пейзаж и происходящие на его фоне события, земная атмосфера и человеческие драмы предстают в полном единстве и взаимодействии. Дыхание бури, солнечный свет, природа со всем ее непостоянством ощущаются здесь в каждой фразе. Однако на этот раз перед нами открывается не французский пейзаж, а природа и человеческие характеры, типичные для Америки — если употребить это название в широком смысле. Именно этой части света посвящает свое творчество Анн Эбер, которая родилась в Квебеке, но последние двадцать лет живет в Париже. Редкий случай, когда художник такой судьбы (до сих пор эта писательница была известна в первую очередь благодаря стихам и нескольким романам, у которых имелся не очень широкий, но постоянный круг почитателей) черпает вдохновение не в воспоминаниях об ограниченном пространстве — местах своего детства или юности, но стремится воспеть целый материк.

Анн Эбер, чьи произведения отличаются великолепным французским языком, значительно обогащенным местными выражениями, характерными для ее страны, со всей очевидностью подтверждает факт, о котором мы не подозревали еще тридцать лет назад: франкоязычная литература создается не только в Париже, не только во Франции и даже не только во франкоязычных частях расположенных по соседству с нами Бельгии и Швейцарии. В настоящий момент у французского языка, на котором говорят восемьдесят миллионов человек есть несколько столиц, зачастую очень удаленных друг от друга. При этом литературный язык Монреаля не похож на французский, распространенный в Ливане, Дакаре, Рабате или на Гаити, и каждый из них имеет мало что

[1] Глупыш — птица семейства буревестников.

общего с французским, на котором говорят в Париже. На это не приходится сетовать — распространение французского языка в географическом плане и появление за пределами Франции высокохудожественных произведений обогащают в целом франкоязычную литературу и культуру.

Еще одна книга, на которой бы мне хотелось остановиться,— это необычайный по замыслу и вызывающий по прочтении тревожное чувство роман Сержа Дубровски «Любовь к себе». Начиная разговор об этой книге, хочется напомнить, что бессмертный «Дон Кихот» Сервантеса не открывал, а завершал собой и одновременно высмеивал традицию новорыцарского романа: в эпоху Возрождения он подвел своеобразную черту авантюрным историям, которые на разные лады описывали авторы, начиная с двенадцатого века.

В некотором роде то же самое можно сказать и о книге Сержа Дубровски, которая появилась после того, как на протяжении тридцати лет наш авангардистский роман явно злоупотреблял самыми различными экспериментами, используя вперемежку рецепты «нового романа», структурализма и прочих формалистических новаций. Главным козырем такой литературы было показать, что западный человек стал гораздо менее последовательным и ответственным за свои поступки по сравнению с временами Золя и Анатоля Франса: на первый план выдвигался мир окружающих нас предметов, декорации и фон стали не менее важны, чем психологические импульсы участвующих в спектакле персонажей. Находились писатели, которые, подлаживаясь под моду и охваченные страстью изобретать новшества ради новшеств, стали писать на совершенно непонятном языке, не соблюдая правил синтаксиса и грамматики. Иногда доходили и до откровенного эзотеризма, отрицая ответственность автора за свои творения и утверждая, что персонажи действуют независимо от воли создавшего их писателя. Все это делало литературу все более бескровной.

Серж Дубровски, автор внушительного труда о Корнеле и нескольких многообещающих романов, на этот раз превзошел самого себя. В его книге рассказывается о любовной связи между двумя преподавателями французской литературы: он — пятидесятилетний женатый человек, она — молодая женщина тридцати лет. С первых же страниц ясно, что любовь эта будет бурной. Но самое парадоксальное, что именно литературные персонажи из наиболее знаменитых произведений будут непрерывно вставать между возлюбленными, мешая им полностью принадлежать друг другу. Даже объятия сопровождаются у них комментариями на тему произведений Сартра и Пруста, Камю и Барта, Жене и Ионеско. Оба они жертвы доведенного до крайности интеллектуализма, оба они уже не способны на естественное и свободное от рассудочности чувство. Будучи людьми недюжинного ума, они и сами понимают это довольно скоро. И, осознав с горечью свою неспособность безоглядно отдаться искреннему порыву, со всей страстью предаются самобичеванию. И тем не менее их чувства зиждутся именно на общей любви к книгам и неустанном комментировании их текстов. Эрудированные и при этом проницательные влюбленные с первой же минуты предвидят, что их связь не будет долговечной. И мужчина заранее готовит себя к разрыву, который видится ему неизбежным: когда же он действительно происходит, ему ничего не остается, как с преподавательской кропотливостью предаваться анализу его подспудных причин и заново придумывать образ любимой женщины, как если бы она была литературным персонажем.

Примечательно, что герой и героиня этого романа каждое мгновенье своей жизни соотносят с литературой и отнюдь не заблуждаются на счет истинного характера своих чувств, которые по сути тоже являются книжными. Вместо того чтобы остроумно обыграть подобную ситуацию, Серж Дубровски придает ей трагическое звучание. Постепенно книга приобретает пафос обвинительного документа, изобличающего губительные результаты чрезмерного увлечения психоанализом и ставшего самоцелью профессионализма в области литературы, которая на наших глазах губит и душит любовь, возникшую между двумя человеческими существами.

На этом разговор о прозе мне хотелось бы закончить и перейти к поэзии, напомнив, что вот уже век с четвертью как поэзия — благодаря Бодлеру, Нервалю, Рембо и Малларме — стремится открыть перед нами самые разные стороны человеческой души и человеческого бытия. В прошедшем году на фоне в целом довольно однообразной и банальной поэтической продукции выделялся сборник стихов сорокасемилетнего поэта Ива Мартена, носящий красноречивое название «Об улице — вот о чем этот крик». Прежде всего привлекает свежий и естественный язык книги, рассчитанный вовсе не на элиту: Ив Мартен употребляет выражения, почерпнутые не в классическом французском, а в полужаргоне и разговорной речи, услышанной на улице и изобилующей яркими и необычайно выразительными образами. Тема же, которой посвящены стихи, довольно грустна: Ив Мартен описывает ночной Париж, опустевшие кафе, неприкаянных мужчин и женщин, устало слоняющихся в надежде услышать обращенное к ним приветливое слово, случайные встречи, обреченные на безрадостные расставанья. Бродяги, тихие умалишенные, существа, которых любовь обходит стороной. Лишь изредка в ночной тишине раздается чей-то голос, и в атмосфере всеобщей враждебности возникает намек на ласку. Не часто удается с таким лиризмом и трепетным волнением показать печальную изнанку жизни больших городов с их внешним кипением. И сколько в них прячется вот таких незаметных беглому взгляду человеческих существ, которые тщетно стремятся вырваться из обезличивающего их мира дна и порока. В стихах Ива Мартена, посвященных этим людям, звучит не только грусть, но и горькая патетика.

Оценивая же в целом сегодняшнюю французскую литературу, нужно сказать, что ей не хватает общечеловеческой широты и глубины. Но нужно признать, что она не стоит на месте, она богата поисками и одна

из ее сильных сторон — умение проникнуть в подсознание. Однако в ней не часто звучит обнадеживающая убежденность, способная поддержать разуверившихся во всем одиночек.

АЛЕН БОСКЕ
г. Париж

БЭББИТ ОБРАЗЦА 1980 ГОДА

John Updike. Rabbit is Rich. New York, Alfred Knopf. 1981.

Джон Апдайк. Кролик разбогател. 1981.

Мне неизвестно, заканчивает ли Апдайк этим романом трилогию о Гарри Энгстроме или намеревается продолжать цикл. Если верно первое, то «Кролик разбогател» представляет собой такое достойное завершение работы, какого не обещали ни предыдущие романы трилогии, ни вообще произведения писателя последних лет, отмеченные спадом художественной энергии и склонности к беллетризации. Если же цикл будет продолжен, то очередную книгу о Кролике надо ожидать через десять лет. Воссоздавая жизнь своего современника и соотечественника, автор точно следует хронологии текущей истории своей страны по десятилетиям: действие романа «Кролик, беги» (1960), известного советскому читателю, относится к пятидесятым, а «Кролик возвратился» (1971) несет отчетливые черты бурных шестидесятых.

Так или иначе, теперь уже очевидно, что повествование о Гарри Энгстроме — главная книга Апдайка, зоркого быто- и нравописателя сегодняшней Америки, несмотря на некоторую непоследовательность творческих установок, а «Кролик разбогател» — вообще лучшее, может быть, после «Кентавра» произведение художника, изданное им в канун своего пятидесятилетия (март 1982). Внешнее тому свидетельство — присуждение роману трех литературных премий.

Как и в предыдущих вещах о Кролике, действие романа разворачивается в вымышленном городе Брюер, штат Пенсильвания, и охватывает полгода, с лета 1979-го до начала января 1980-го. Рассказ о частной жизни Гарри Энгстрома, пожалуй, крепче, чем в других произведениях Апдайка, «привязан» к месту и времени. Город с его топографией, атмосферой, переменами в физическом облике и ритме жизни, происшедшими с той поры, когда Кролик был молод,— полноправный герой повествования; временами даже кажется, будто Брюер — более живое существо, чем люди, его населяющие.

Кролик, сын рабочего и сам начинавший с незаметной службы, вошел в средний возраст и выбился в средний класс. Вот уже пятый год после смерти тестя он управляет оставленной тем небольшой фирмой по продаже легковых автомобилей (годовой оборот фирмы — триста машин, годовой оклад управляющего — 50 тысяч долларов). В семье три машины и коттедж за городом. Энгстром обзавелся приличными знакомствами, вступил в клуб «Парящий орел» и вообще мило проводит время в обществе приятных людей. Конечно, недавно созданный «Парящий орел» еще не «Загородный клуб Брюера», куда всю жизнь стремился попасть и не попал старик Спрингер, и тем более не «Талпехокен», где собираются крупные заводчики и их адвокаты, но заведение тоже вполне почтенное — годовой взнос как-никак 650 долларов.

На Новый год осуществится заветная мечта Энгстрома: он купит себе дом в богатом квартале. Кролик никогда не жил в доме под таким малым номером. Рос он на заброшенной Джексон-роуд, № 303. Адрес матушки Спрингер — улица Джозефа, 89. Теперь он будет жить на Франклин-драйв, № 14½.

«Цифра не обманет, но и промаха не простит»,— наставляет Энгстром-старший сына Нельсона. Однако те же цифры порой выкидывают неожиданные шутки. Отдав за дом 78 тысяч (15 600 наличными), Кролик вдруг в панике соображает: с процентами за рассрочку ему придется выплачивать 700 долларов в месяц, и так на протяжении двадцати лет, пока ему не стукнет 66. Цифры завораживают и пугают Кролика. Но он же разбогател, черт побери, работяге отцу такое и не снилось!

Энгстром пока не играет на бирже, но надо быть последним идиотом, чтобы не поживиться на скачках цен. По совету знающих людей он покупает тридцать золотых монет. Эпизод, в котором они с женой занимаются любовью на постели, усеянной блестящими кружками, а потом Кролик, ползая на коленях, судорожно ищет запропастившуюся монету — один из самых выразительных в книге. Через три месяца конъюнктура на рынке драгоценных металлов меняется, он продает золото, получив, считай задаром три «куска» чистого барыша и тут же пускает их в дело — покупает кучу серебряных монет.

Цифры, количества, цены, разряды — важный компонент поэтики романа и столь же важное средство характеристики героя. Кролик постоянно что-то прикидывает, подсчитывает, планирует — как повыгоднее продать новую партию машин, сколько платить сыну, потому что тот хочет приобщиться к фамильному предприятию, во что обойдется покупка того-то и того-то. Единственное его чтение — журнал «Потребительские товары». Именно из этого издания черпает он новости и мнения, да еще из телевизионного ящика, перед которым он просиживает «один вместе с миллионами других олухов», и из разговоров с друзьями по клубу. Под маской преуспевающего жизнелюба скрываются инфантильность, вялый эгоцентризм, нетерпимость к другим, трусость, угасающие силы.

Не мудрено, что Энгстром по-обывательски держится самых распространенных, стандартных и вполне консервативных взглядов на экономику, политику, расовые проблемы, молодежь, мораль. Он верит россказням о событиях в Афганистане и разделяет мнение приятеля Бадди Инглфингера о том, что хорошо бы шмякнуть в арабов ядерную бомбочку, чтобы нос не задирали, и отнять у них нефть. Кролик

даже не ворчит на благоглупости Картера и не винит в энергетическом кризисе нефтяные корпорации, как это делают многие.

Разве что в области половых отношений Кролик идет, что называется, «впереди остальных». Впрочем, не он один, как показывает эпизод на каком-то карибском островке — курорте, когда три дружеские супружеские пары, устроившие себе новогодние каникулы под тропическим солнцем и вконец обалдевшие от ничегонеделанья и выпивок, меняются на ночь партнерами. Самый старший и богатый в этой теплой компании строительный подрядчик Уэбб Маркетт подводит под развлечение этическую базу: «Тайные амуры — вот что разрушает семьи, когда люди ударяются в романтику».

Любовное неистовство, разливающееся по страницам романа, вызвано то ли требованиями книжного рынка в Штатах, то ли характером героя, чьи психосексуальные переживания призваны восполнять пустоту его существования, то ли другими причинами, коренящимися в миропонимании самого Апдайка.

Как бы то ни было. Гарри Энгстром — не просто женолюб. он помешан на сексе. Любая молодая женщина вызывает в нем приступ желания, в каждой он видит только «прелести», только тело, только «механизм для любви», если воспользоваться названием известного романа Жаклин Сьюзен. Главный предмет его вожделений — роскошная тридцатилетняя блондинка Синди, жена Уэбба Маркетта. Ее соблазнительный образ преследует беднягу буквально днем и ночью. Но поскольку добыча никак не дается в руки, то вся повышенная, мягко выражаясь, половая потребность Кролика изливается в эротические фантазии, в то, что американцы называют «сексом в голове», или же, на худой случай, в механические ритуалы супружеской любви.

Нет, романтика никак не грозит ни друзьям Кролика, ни ему самому, если не считать за романтику его сентиментально-ностальгические воспоминания о прошлых любовных и спортивных победах. Короткие, как вспышки, мысленные отлеты Энгстрома в минувшие годы насыщены подробностями из предыдущей истории апдайковского героя.

Словом, Кролик разбогател, глубоко проникся психологией предпринимательства, потребительства и престижности, сделался образцовым «стопроцентным американцем», сегодняшним Бэббитом. Автор прямо указывает на это, вынеся в эпиграф цитату из достопамятной речи льюисовского Джорджа Ф. Бэббита об «Идеальном Гражданине».

Апдайк отчасти перенял у Синклера Льюиса и творчески преобразил в соответствии с эпохой не только тип героя, но и неторопливую, обстоятельную «предмодернистскую», как писала критика, то есть классико-реалистическую манеру письма и доскональность деталей, которые благодаря пластичности апдайковского слога сами становятся фактом искусства. Существенное отличие прозы современного художника от раннего мастера состоит в большей авторской сопричастности судьбам героя. В рассказе мы то и дело слышим голос самого Кролика. Это не традиционное, жестко зафиксированное «я»-повествование и не центробежная внутренняя исповедь героя, почитающаяся иногда за новацию, а гибкое, переменчивое труднорасчленимое единство объективного и субъективного письма, которое пронизано нитями комизма разной выделки: добродушного юмора, тонкой, иногда язвительной иронии, горького сарказма, вплотную подходящего к грани, за которой начинается обличение и бичевание, но никогда не переходящего ее. Сатира с ее преувеличениями, гротеском, смешением реальных форм чужда Апдайку. Кролик — вполне живой многосторонний характер, тем более что писатель снял с него покровы святости, мифологичности и устранил библейские аллюзии, которые, признаться, порядком раздражали в предыдущих книгах цикла.

Кое-где, особенно к финалу, сопричастность переходит в некоторую сентиментальность, благостность. Но ведь и великие реалисты прошлого, особенно английские, грешили такой же чувствительностью.

Несмотря на то что Кролик в целом доволен жизнью, им все же овладевает иногда смутное беспокойство. Он нет-нет да и убегает в своей «Короне» за город подальше от надоевших домашних и друзей, убегает, чтобы посмотреть издали на дом, где живет его давняя возлюбленная. Собственно, он ездит в Алмазное графство не из-за Рут, а из-за ее дочери, ладной красивой девицы, которая вполне может оказаться его дочерью и к которой он испытывает издали полуродительское, полулюбовное чувство. Дорожки на площадке для гольфа кажутся Кролику «какими-то скатами в никуда, у него появляется чувство, будто он должен находиться где-то в другом месте». Именно в такие моменты его чаще всего и посещают невеселые мысли о безостановочности времени и о смерти — своей и других людей.

Размышления над бренностью бытия, иногда мимолетные, хаотичные, иногда выливающиеся в глубокие наблюдения и меткие афоризмы («Жизнь. Чего в ней только нет, а все мало. Страшно, что она когда-нибудь кончится, и страшно, что завтра будет таким же, как вчера»), естественно, придают роману философскую объемность, однако, честно говоря, плохо вяжутся с обликом Кролика. Можно, конечно, допустить, что Апдайк разыгрывает распространенный мотив «смерти в жизни», или сказать, что мысли об общем смертном уделе как бы уравнивают Кролика с другими, придают ему в его собственных глазах некую интеллектуальную значительность. И все же. Можно отчасти присоединиться к мнению рецензента «Таймс литерари саппламент»: «...невольно чувствуешь неуместность этого поэтического великолепия, которое тратится на людей, погрязших в алчности и потребительстве».

Кролику достаточно земных забот.

Его ощущение неустойчивости, непрочности, несвободы проистекает из того простого факта, что он не хозяин ни в доме, ни в деле. В качестве мужа дочери покойного Спрингера он владеет лишь четвертью предприятия, тогда как половину контролирует Бесси Спрингер. При решении лю-

бой житейской или коммерческой задачи жена и теща объединяются, прямо давая Энгстрому понять, что он экономически зависим от них, и вообще держат его под каблуком.

Множество хлопот причиняет Энгстрому сын. Мало того, что он бросил занятия, обрюхатил какую-то девицу и сбежал из университета с другой, Кролику придется еще тратиться на брачную церемонию и угощение гостям, и вдобавок ко всему в доме появился чужой человек, тоже в тягость. Парню двадцать три, а он даже не знает, чего хочет в жизни, полон каких-то бредовых идей, и это злит Кролика. «Которым нет тридцати просто не желают работать. Удобства им подавай и дополнительную оплату. Новые правила все, мягкотелость, социализм». Впрочем, непутевый и незадачливый Нельсон не принадлежит к искателям и бунтарям, и, скорее всего, пойдет по отцовским стопам.

«Горючее кончается,— думает Кролик Энгстром, стоя в демонстрационном зале фирмы «Автомобили Спрингера» и глядя в окно с запыленными по-летнему стеклами на поредевшую и вроде бы робкую вереницу машин, катящих по дороге № 111,— у сволочного мира кончается горючее... Люди как с ума посходили, чуют, что останавливается великое американское движение...» Так начинает Апдайк роман. Нехватка, иссякание «горючего», энергии, жизнеспособности — это развернутая метафора самого Кролика и Америки конца 70-х годов, и «от нового десятилетия уже тянет затхлостью».

За исключением «Осеннего света» Гарднера — произведения, созданного писателем, который ставил совсем иные этико-художественные цели,— пожалуй, трудно назвать другую книгу американского прозаика, которая, пусть не очень масштабно, но так предметно и красочно изображала бы современное американское общество, как новая книга Апдайка. Речь, повторяю, идет не о внешних приметах — роман буквально дышит воздухом времени. Инфляция, риторика Картера, арабская нефть, очереди на бензоколонках, объявление бойкота Московской Олимпиаде, конформизм, лихорадка накопительства, снобистское «ячество», утечка из реактора на Три-майлз Айленд, заложники в Иране...

В итоге частная история недалекого, трусоватого и самодовольного Кролика Энгстрома, нисколько не теряя в художественности, приобретает качество историко-социологического документа, свидетельствующего об идейном, духовном и моральном оскудении некогда мощного мещанского слоя населения США.

Г. ЗЛОБИН

У ДОСКИ БЕЗ МЕЛА

Marthe B.-Hogue. C'était dimanche. Roman social québécois. Québec, Editions Naaman, 1979.

Марта Б.-Ог. Это было в воскресенье. Социальный квебекский роман. 1979.

Если пересказать содержание романа канадской писательницы Марты Б.-Ог «Это было в воскресенье», то у читателя может сложиться об этом произведении ложное впечатление. Произойдет это потому, что сюжет книги, который несомненно завладеет вниманием при таком пересказе, будет воспринят как повествовательная канва, в то время как в действительности он играет роль своеобразного обрамления,— в данном случае «траурной рамки», необходимой для того, чтобы мы отчетливо представили себе, какие общественные проблемы волнуют автора.

Судьба героя, начиная от обстоятельств его рождения и кончая его трагическим финалом, являет собой своего рода «исключение», но эта исключительность проливает свет на некоторые укоренившиеся правила.

До последнего дня своей жизни Марк Рэйнбоу, ученик выпускного класса одной из квебекских школ, полагал, что он сын весьма состоятельного бизнесмена. Юноше известно также, что его рано скончавшаяся мать оставила ему большое наследство, в обладание которым он должен вступить со временем.

У Марка блестящие способности. Он — любимец всех учителей своего лицея. С отцом, у которого вечные дела и разъезды, юноша видится редко. Отсутствие Рэйнбоу-старшего щедро компенсируется «материальным комфортом», которым тот окружает сына.

Все это благополучие в один непрекрасный день рушится, как карточный домик. Марк узнает от опекающей его женщины, «тети Клары», что в действительности он ее сын, а его отец Рэйнбоу — гангстер и аферист, женившийся на богатой наследнице, вскоре скончавшейся и не имевшей детей. По брачному контракту ее наследство могли получить только дети, а не муж. Рэйнбоу по подложным документам выдает Марка за своего сына, наследника; он действительно его сын, но от Клары, которую он соблазнил, когда ей было пятнадцать лет и она работала судомойкой в одном из ресторанов.

Мать рассказывает все это Марку для того, чтобы подготовить его к возможным ударам судьбы. У нее есть сильные опасения, что родители скончавшейся жены Рэйнбоу знают о совершенном подлоге и Марк не получит никакого наследства.

«Ты — молод, одарен,— говорит мать сыну,— ты можешь сам построить свое будущее.

— Это какой-то дикий бред! Мне снится кошмарный сон!» — восклицает Марк.

...В комнате, где лицеист кончает с собой, находят скомканное и разорванное его свидетельство о рождении.

Значительную часть книги — если не ее основное содержание — представляют собой раздумья преподавателей Марка, повергнутых в горестное недоумение, ибо им неизвестны причины духовного кризиса, жертвой которого оказывается юноша. Именно эта неизвестность «конкретного» заставляет их как бы встать у доски без мела в пустом классе и задуматься над общими вопросами.

«Марк не сумел пустить прочных корней,— говорит один из них,— потому что

никто не позаботился о том, чтобы привить ему понятия о ценности жизни».

«Кажется, что Марк хотел избавить себя от какой-то невыносимой ноши. Его самоубийство — это бегство или обвинение?» — спрашивает себя другой.

Преподаватель математики пытается осмыслить общие отношения педагогов и учащихся. «Для молодежи,— отмечает он,— прошлое — это миф, будущее — ложь или угроза, у нее остается только настоящее. Что же странного, если молодые люди стремятся или взять все от сегодняшнего дня, или исчезнуть при столкновении с малейшей трудностью».

Ближе всего к трагической сущности происшедшего подходит, однако, тот преподаватель, который говорит: «Из века в век человеческое поведение было подчинено логике долгой цепи преемственностей, созданных сменяющими друг друга поколениями... Ничто не рождается само собой, наши успехи или наши поражения — это в значительной мере дело наших предшественников и влияний, которые мы испытали. Главным принципом тех, кто воспитывал нас, формировал нас для будущего, было: «Во всех случаях умейте отличать добро от зла»... Не отбрасывает ли наших учащихся в каменный век отторжение от этого немодного ныне принципа?»

Отличать добро от зла — так ли это просто в том полном явных и скрытых противоречий мире, где Марк прожил свои двадцать лет? Что в действительности повергло его в отчаяние? То, что он не получит наследства? Нет, юноша, считавший себя сыном «делового человека», потрясен тем, что его отец гангстер и аферист.

«...Я подняла глаза и ужаснулась,— вспоминает мать свой последний разговор с Марком,— кровь отлила от его лица, он был неподвижен, он тяжело дышал... Внезапный крах всего, во что он верил, крушение воздушного замка, в котором он жил, мгновенное превращение идеализируемого отца в международного гангстера нанесло ему смертельный удар».

Справедливы ли эти материнские мысли? Может быть, да. Но в таком случае следует признать, что Марк был выращен в очень «тепличных условиях», за стенами, куда не долетало никакое дыхание века. Сын «международного гангстера»? На табло «добра и зла», каким являются средства массовой информации в буржуазном мире, слово «гангстер» соотносится скорее с «добром», нежели со «злом». Не имея никаких других возможностей романтизировать принцип «частного предпринимательства», газетная хроника и киноэкраны исподволь постоянно превозносят «гангстера» как некую сильную личность, бросившую вызов обществу. За примерами не приходится ходить далеко. Не преподнес ли парижский еженедельник «Пари-матч» в качестве новогоднего подарка в 1982 году «сердечную беседу» на восьми страницах двух наиболее прославленных грабителей — Биггса (Англия, почтовый поезд в Глазго) и Спаджнари (Франция, налет на банк в Ницце). «Биггс и Спаджнари,— возвещает один из заголовков,— это Бонапарт и Нельсон лицом к лицу». На страницах журнала разыгрывался своего рода матч. «Я, — говорил Бонапарт-Спаджнари, — похитил шесть миллиардов. А ты всего четыре. Номер один — это я.— Ты забываешь об инфляции,— ответствовал Нельсон-Биггс,— 4 миллиарда в 69-м году стоят 6 миллиардов в 76-м...» Инфляция неотделима от девальвации, от обесценивания и франка, и фунта стерлингов, и — вернемся к роману — принципов определенной морали, на которых можно строить воспитание.

Приведенные выше слова одного из педагогов, что воспитываемая ими молодежь считает прошлое ложью, будущее мифом и стремится побольше взять от настоящего, как раз и свидетельствуют о такой девальвации. Несомненно только, что такая мораль не создается самой молодежью, а скорее «оседает» в ней, проникая из окружающего мира, где — в кризисном состоянии — все ценности смещены.

Марта Б.-Ог назвала свой роман социальным, он заслуживает такого определения в той мере, в которой на его страницах подняты некоторые острые вопросы, волнующие на Западе преподавателей, воспитателей подрастающего поколения. У самой писательницы — педагога в прошлом — в этой области большой опыт. Это придает ее роману определенную достоверность. Но вместе с тем затронутые в романе проблемы не таковы, чтобы их можно было со всей отчетливостью вынести на обсуждение, оставаясь только в пределах педагогических раздумий.

Писательница говорит, что своеобразным девизом и кредо ей служат слова Тагора: «Мне хотелось бы, чтобы моя жизнь была прямой и ясной, подобно тростниковой флейте, которую можно наполнить музыкой». Жизнь писателя — это прежде всего его книги. Роман «Это было в воскресенье» не лишен прямоты и ясности. Музыка, которой он наполнен,— это как бы перекликающиеся между собой сигналы тревоги.

«Мы отказываемся глубоко изучать и анализировать окружающий нас меняющийся мир из страха, что нам придется измениться самим»,— говорит один из героев романа. Тревожная книга канадской писательницы Марты Б.-Ог утверждает необходимость таких перемен. И в Канаде, и в других странах капиталистического мира.

Н. РАЗГОВОРОВ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ПРЕМЬЕРА ВЕНСКОГО ТЕАТРА

Еще в начале прошлого года, когда во всем мире широко отмечалось 150-летие со дня смерти Гёте, Мартин Вальзер заявил о своем намерении «критически подойти к юбиляру», пишет газета «Франкфуртер альгемайне». Это намерение он осуществил в пьесе «У Гёте в руках», которую выпустило издательство «Зуркамп»; постановку ее на сцене академического Венского театра осуществил известный режиссер Карл Фрухтман.

В центре пьесы — история отношений Гёте и его знаменитого «летописца» Эккермана. В 1823 году молодой студент Эккерман пришел в Веймар к своему кумиру узнать его мнение о своих стихах — и на много лет стал преданным помощником великого поэта. Ради него он бросил все свои занятия, отказался от личной жизни, от литературных надежд. Он не получал от Гёте никакого жалованья, лишь обедал за его столом — и записывал разговоры поэта, которые потом издал в книге, обессмертившей его имя.

В изображении Вальзера Гёте предстает эгоистичным, уверенным в себе бюргером; он совершенно поработил Эккермана, который выглядит в пьесе как мелкий буржуа, обделенный чувством собственного достоинства. «Сочувствие Вальзера здесь на стороне униженного»,— замечает рецензент «Франкфуртер альгемайне» Хильда Шпиль, хотя оскорбленным Эккермана назвать нельзя. Автор знает, что Эккерман и без Гёте не стал бы крупным поэтом, лишь его имени он обязан своей посмертной славой. Но при жизни посмертная слава — не утешение. «Даже любовь к гению — недостаточная плата за погубленную личную жизнь, за горькую печальную старость», так интерпретирует рецензент мысль драматурга.

Тема отношений «хозяина и слуги» давно занимала Вальзера. Гёте ведет себя по отношению к Эккерману как шеф по отношению к шоферу в романе Вальзера «По ту сторону любви» (см. «ИЛ», 1979, № 6), замечает в журнале «Шпигель» критик Хельмут Каразек. Но, конечно, это лишь одна грань проблемы. Вальзеру самому прекрасно известно, что великий поэт в жизни и творчестве не одно и то же. «Заглянув в замочную скважину биографии великих людей», как выразился рецензент «Шпигеля», можно увидеть немало пикантных подробностей, но они не создают полного образа.

Сценический вариант пьесы подвергся существенной доработке по сравнению с опубликованным. В результате обогатились образы главных героев и мотивировки их действий. «Богатство мотивов, конфликтов, контрастных образов свидетельствует о редком в наши дни стремлении к универсальности, которое роднит писателя Вальзера скорей с Гёте, чем с его порабощенным летописцем», — пишет Хильда Шпиль. Она называет пьесу «интересной, многогранной и в конечном счете никак не снижающей образа Гёте».

Такому впечатлению во многом способствовала игра актеров, особенно Пауля Хоффмана в роли Гёте и Рудольфа Вессели в роли Эккермана. Венская публика встретила премьеру бурными аплодисментами.

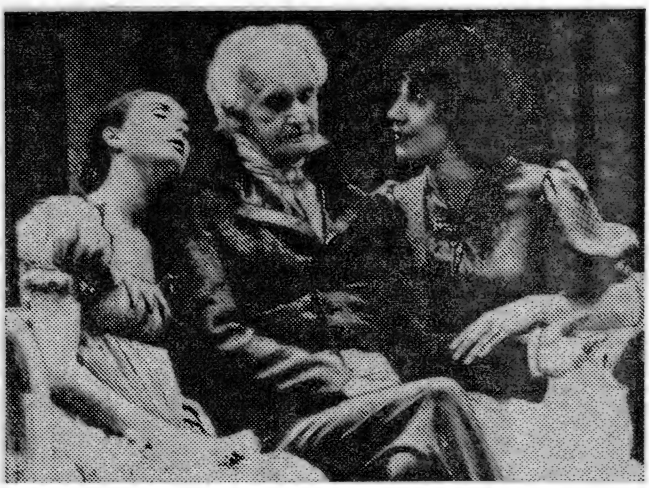
ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА

В год столетия со дня рождения Франца Кафки в Западной Германии обнаружена личная библиотека писателя, пропавшая во времена третьего рейха и считавшаяся утраченной. Ученые предпринимали попытки найти ее, поскольку библиотека писателя могла бы пролить свет на многие неясные стороны его творчества: происхождение тех или иных сюжетов, прототипы персонажей и т. п. Помимо ценности для историков литературы, занимающихся творчеством самого Франца Кафки, его библиотека представляет интерес и для исследователей других литератур этого исторического периода: двести томов библиотеки содержат посвящения Кафке, сделанные его друзьями и современниками, тридцать из этих посвящений принадлежат известным литераторам. Две книги включают в себя посвящения самого Кафки его любимой сестре Оттле, погибшей впоследствии, как и две другие сестры писателя — Валли и Элли, в концентрационном лагере.

По сообщению одного из ведущих специалистов по творчеству Кафки Юргена Борна, директора Института немецкоязычной литера-

На снимке: сцена из спектакля «У Гёте в руках», в роли Гёте Пауль Хоффман.

(Журнал «Шпигель»)



туры в Вуппертале, каким образом библиотека из Чехословакии перекочевала в Западную Германию, еще неясно. Она была обнаружена у одного из книготорговцев ФРГ, который обратился к Ю. Борну с просьбой установить подлинность библиотеки, но отказался назвать источник ее приобретения.

Найденная библиотека состоит главным образом из произведений художественной литературы, классики: творений Гёте, Шиллера, Шекспира, Достоевского — и книг современников и друзей писателя, например Макса Брода и Франца Верфеля. Однако среди книг встречаются и произведения по проблемам истории и политики. Некоторые книги позволяют проследить и события личной жизни Ф. Кафки; так, на экземпляре романа «Братья Карамазовы» имеется надпись, адресованная невесте писателя Фелиции Бауэр: «Возможно, скоро мы будем читать эту книгу вместе».

Профессор Ю. Борн предполагает, что кто-то из людей, понимавших значение личной библиотеки Франца Кафки, хранил ее на протяжении всей войны, добавив к этим книгам произведения, принадлежавшие сестрам писателя.

Сообщая о находке, американская газета «Интернэшнл геральд трибюн» приводит высказывания американских ученых, специалистов по творчеству Кафки, о ценности обнаруженной библиотеки и информирует читателей о публикациях книг Кафки, приуроченных к столетию со дня его рождения.

БОЛГАРИЯ

«ОБЛАВА НА ВОЛКОВ» ИВАЙЛО ПЕТРОВА

Новый роман писателя Ивайло Петрова «Облава на волков», первая часть которого появилась в журнале «Септември» в прошлом году, сразу же привлекла к себе внимание. Отмечая юбилей писателя, которому недавно исполнилось 60 лет, критика пишет о романе как об итоге и вершине творчества Ивайло Петрова.

В свое время Ивайло Петров приобрел популярность повестью «Нонкина любовь» — о преобразованиях в болгарском селе. Повесть была опубликована «ИЛ» под названием «Нонка» (1958, № 1) и была издана отдельной книгой. Позднее на русском языке появились его рассказы и повесть «Перед тем, как мне родиться».

На протяжении всего своего творческого пути, отмечает еженедельник «Пулс», И. Петров оставался верен своей теме — теме коллективизации, раскрытия душевного мира болгарского крестьянина, отображения жизни провинциального городка. Но он всегда помнил о требованиях времени, ста-

Антивоенная тема волнует всех прогрессивных художников мира. Ей посвящен плакат болгарского художника Петра Петрова «За разоружение».

(Журнал «Обзор»)

вил злободневные вопросы и прежде всего вопрос об идейной и нравственной позиции своего современника.

Этой проблеме посвящен и его новый роман, состоящий, как отмечает в газете «Народна култура» академик П. Зарев, из цикла рассказов о сельском стороже Соленом Калче, о Жендо Иванове по прозвищу Гайдук и других героях романа, которых связывают давние и весьма сложные отношения.

Пытливая мысль писателя, жаждущего раскрыть душу болгарина, его национальную сущность, подчеркивает П. Зарев, вела его к этому роману. Он должен был написать такие книги, как «Мертвая зыбь», «Перед тем, как мне родиться и после того», «Маленькие иллюзии», «Путаные записки», чтобы прийти к своему большому, очень своеобразному эпическому произведению «Облава на волков», в котором дается широкая панорама жизни болгарской деревни, процессов, связанных со строительством кооперативного хозяйства, преодолением частнособственнической психологии и формированием нового социалистического сознания.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«НАРОДНАЯ ЭПОПЕЯ»

По британскому телевидению, как отмечает обозреватель журнала «Лиснер», с успехом была показана экранизация романа шотландского писателя Льюиса Грэссика Гиббона «Облака над холмами» (1933). Это вторая часть трилогии Гиббона «Шотландская тетрадь», которая, как полагают прогрессивные литературоведы, принадлежит к числу наиболее социальных произведений англоязычной литературы XX века. Недаром его нередко сравнивают с книгой Роберта Трессола «Филантропы в рваных штанах» (1914), которая стала вехой в развитии литературы социалистических идей в Великобритании.

В трех романах Гиббона, составивших трилогию: «Песня заходящего солнца» (1932), «Облака над холмами» (1933), «Серый гранит» (1934) — подробно рассказывается о жизни фермерской семьи, чья судьба неотделима от судьбы демократического движения в Шотландии в период с первой мировой войны до 30-х годов.

Трилогия Гиббона в течение долгих лет оставалась уделом профессионального интереса литературоведов. В не меньшем забвении находилась и фигура самого автора, Льюиса Грэссика Гиббона (псевдоним Джеймса Лесли Митчелла), романиста, археолога, поэта, журналиста, историка, прожившего короткую (он умер в возрасте 34 лет), но полную событий жизнь. Полиглот уже в возрасте 16 лет, как сообщает один из биографов Гиббона, он бегло говорил по-русски; путешественник, исколесивший Центральную Америку и Ближний Восток, он потом обосновался в Англии, решив посвятить себя литературной деятельности. Молодой писатель поражал и своих читателей, и своих критиков необыкновенной плодовитостью: в год у него выходило две-три книги. «Шотландская тетрадь» знаменательна тем, что это произведение разрушило существующую тради-

На снимке: Вивьен Хейлброн в роли Крис Гатри в телефильме Билла Крейга «Облака над холмами» по одноименному роману Льюиса Грэссика Гиббона.

(Журнал «Лиснер»)

цию романтически приукрашенного изображения шотландской жизни.

В 1971 году телеэкранизация первой части трилогии, «Песня заходящего солнца», способствовала возрождению интереса к этому произведению. Сразу же после показа по телевидению фильма роман Гиббона был переиздан большим тиражом.

В 1982 году по британскому телевидению была показана — и с не меньшим успехом — вторая часть трилогии. За ней, по сообщению автора сценария и режиссера фильма Билла Крейга, последует и третий фильм, «Серый гранит», основанный на последней части трилогии.

Как отмечает обозреватель журнала «Лиснер», создатели телефильма столкнулись со многими сложностями. Необходимо было перевести шотландский диалект, на котором написана трилогия, на современный английский язык, придать повествованию больший драматизм.

Успеху фильма в немалой степени способствовало и то, что в нем сохранен фольклорный колорит прозы Гиббона. Как полагает рецензент, «Песня заходящего солнца» — монументальное, яркое, социальное полотно. Обозреватель журнала «Лиснер» одобряет то, что в главной роли снялась Вивьен Хейлброн, которая в телефильме 1971 года исполнила роль пятнадцатилетней Крис Гатри, одной из главных героинь трилогии Гиббона.

Свою статью рецензент журнала «Лиснер» заканчивает следующими словами: «В годы, когда экран телевидения заполнили поверхностные поделки, в которых историческую достоверность передают лишь костюмы, фильм Крейга, правдиво и документально точно воссоздающий время, нельзя не приветствовать».

На снимке: кадр из фильма «На крыльях сказки».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

«НА КРЫЛЬЯХ СКАЗКИ»

В прошлом году известный венгерский писатель Эрвин Лазар за книгу сказок «Бержиан и Дидеки» был удостоен международной премии имени Г. Х. Андерсена.

Критик Габриэлла Лёчеи писала на страницах газеты «Мадьяр немзет»: «Если бы меня сегодня спросили, какую книгу выбрала бы я из моря современной литературы, чтобы взять с собой на необитаемый остров, я без колебания ответила бы: однотомник сказок Эрвина Лазара». И так объясняет этот свой выбор: сказки Эрвина Лазара очень современны, они «утоляют жажду по светлому чувству надежды на победу добрых начал в сегодняшнем мире».

Сказки во все времена отражали эпоху, в которую жили их создатели. Свою эпоху отражает и Эрвин Лазар.

А вот что писал о сказках Эрвина Лазара известный прозаик Иштван Галл: «Сказки Эрвина Лазара — сплошные вопросительные знаки. В бешеном ритме современной жизни перед нами встает некто (писатель, рассказывающий сказки), поднимает палец, чтобы привлечь наше внимание, и задает несколько простых и все же приводящих в замешательство вопросов. Сумеем ли мы на них ответить?»

А вопросы действительно простые и непростые одновременно, потому что речь в сказках Лазара идет о верности, внутренней чистоте, дружбе, а также о малодушии, предательстве, безответственности. Что есть правда и что ложь? Не преисполнены ли наши самые повседневные, самые будничные дела подлинного величия? Позволительна ли ложь ради милосердия? Что есть красота? Почему враждуют друг с другом цвет синий и желтый и почему, если их совместить, получается зеленый? Обманывая других, не подрезаем ли мы свои собственные волшебные крылья?

Сейчас в будапештском Кукольном театре с успехом идет спектакль по книге «Бержиан и Дидеки», а в кино снимается фильм «На крыльях сказки» молодого режиссера Андраша Шойома.

Произведения Эрвина Лазара, по свидетельству венгерской критики, являют собой органический сплав светлой и мудрой наивности сказки, поэзии и новеллы со всеми присущими им художественными особенностями.

ГДР

ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ

Еженедельник «Зоннтаг» поместил на своих страницах интервью с писателем и публицистом Эгоном Рихтером (см. «ИЛ», 1974, № 10 и 1979, № 4).

Упомянув о том, что в 1983 году выйдет новая повесть Рихтера «Смерть старого человека», корреспондент еженедельника «Зоннтаг» попросил писателя рассказать о том, какие очерки и репортажи он готовит, какие темы в своем творчестве он считает главными.

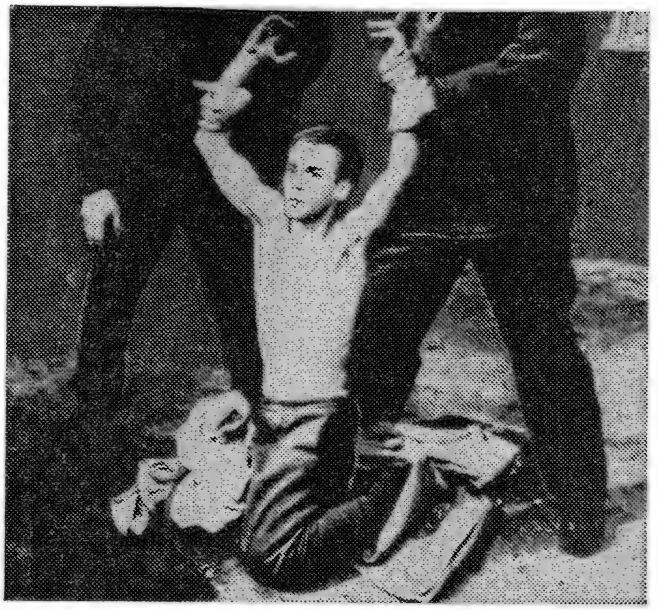
— Я готовлю сейчас ряд репортажей о Советском Союзе, в частности о Дальнем Востоке и Тувинской Автономной Республике. Эти репортажи выйдут в издательстве «Киндербухферлаг». Если говорить об основных темах моего творчества, то это — ответственность человека перед самим собой и перед обществом, стремление согласовать индивидуальные качества и особенности человека с требованиями и задачами, которые ставит перед ним общество.

На вопрос о том, как от репортажей и очерков Эгон Рихтер пришел к художественной литературе, писатель ответил: «Я начал писать художественные произведения, когда работал в «Зоннтаге» над серией репортажей. Образы людей, о которых я писал, перерастали рамки документального жанра, мне захотелось расширить эти рамки, внести какие-то новые детали, и так постепенно стали появляться на свет рассказы, а затем повести и романы. Я не рассматриваю публицистику и художественную литературу как два отдельных вида творчества. У меня они тесно связаны и дополняют друг друга».

Эгон Рихтер — лауреат премии имени Генриха Гейне. Повлияло ли на него творчество Гейне?

— Да, безусловно. «Путешествие на Гарц», «Путевые картины» — вот те образцы, которым я стараюсь следовать...

Что касается творческих планов, то у меня большое желание написать историю



На киностудии ДЕФА режиссером Франком Бейером снят фильм по мотивам романа Германа Канта «Остановка в пути». Сценарий фильма создал известный писатель Вольфганг Кольхаазе. В роли главного героя Марка Нибура дебютировал молодой актер Сильвестер Грот.
На снимке: кадр из фильма «Остановка в пути».

(Журнал «Нойе берлинер иллюстрирте»)

моей семьи. Но пока мне кажется, что я еще недостаточно созрел для мемуаров...

ГРЕНАДА

СОЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Образован Союз писателей и художников Гренады, который возглавил поэт, критик и журналист Джейкоб Росс. Задача новой организации, подчеркнул Росс,— «защита революционных преобразований, ибо творческая интеллигенция Гренады ясно представляет себе, что, не будь революции, наше объединение не было бы возможным».

Объединение писателей Гренады, отметил известный гайянский писатель Ян Керью,— огромный «вклад в дело прогресса, имеющий значение не только для Гренады, но и для всего Карибского региона». Сообщая об этом, обозреватель журнала «Каса де лас Американс» выражает уверенность, что новая писательская организация станет еще одним оплотом передовой мысли в Латинской Америке.

ИЗРАИЛЬ

ЗА ВЗАИМОПОНИМАНИЕ МЕЖДУ НАРОДАМИ

Как отмечает прогрессивный журнал «Аль-Джадид», издающийся на арабском языке в г. Хайфа, в последнее время в израильской культуре и литературе на языке иврит все явственнее проявляются антивоенные и прогрессивные тенденции. Израильские писатели, поэты и деятели искусства — евреи по национальности — все чаще выражают свою солидарность с борьбой палестинских арабов. Так, например, вместе с палестинскими студентами они приняли участие в разогнанной полицией с помощью слезоточивого газа демонстрации протеста против закрытия арабского университета Бир-Зейт, на оккупированном Западном берегу Иордана. Скульптор Игаель Тумаркин отправился в г. Хальхуль, чтобы соорудить памятник жертвам сионистского террора.

Чтобы дать своим читателям представление о современной прогрессивной культуре и литературе на языке иврит, журнал «Аль-Джадид» предполагает напечатать серию интервью с деятелями этой культуры — писателями и поэтами.

Первая беседа была проведена с Ииаковом Бессером (род. в 1937 г.) — видным поэтом, главным редактором издающегося на иврите литературного журнала «Итон-77» («Газета-77»).

«Итон-77» выходит с января 1977 года один раз в два месяца. На своих страницах он печатает рассказы и стихи израильских авторов, пишущих на иврите, а также переводы произведений мировой литературы и современной литературы арабов, живущих в Израиле. Журнал уделяет серьезное внимание и арабской литературе других стран, в частности Египта.

В минувшем году «Итон-77» отметил свое пятилетие. В праздновании юбилея журнала наряду с писателями-евреями приняли участие прогрессивные арабские поэты и деятели искусств.

Сам Йааков Бессер опубликовал десять книг стихов и прозы. Ему принадлежит и немало переводов с русского и польского языков. Так, с русского он перевел ряд произведений Тургенева, Чехова, Есенина, Маяковского, Пастернака и других авторов.

В числе выдающихся современных израильских писателей и поэтов И. Бессер назвал Абрахама Йехошуа, Амоса Оза, Йорама Канюка, Ицхака Орпаза, Исхуду Амихая, А. Гальбоа. Все они, по его словам, занимают прогрессивную позицию и как литераторы, и как общественные деятели.

И. Бессер высказался за углубление контактов между арабами и евреями Израиля, чему могут способствовать взаимные переводы их литератур. Он заявил также, что поддерживает создание независимого палестинского государства, которое бы существовало в качестве соседа Израиля, и верит, что этого можно достичь путем переговоров двух сторон.

ИНДИЯ

«ПОКА РУКА ДЕРЖИТ ПЕРО»

Индийская пресса широко откликнулась на девяностолетие выдающегося общественного деятеля и публициста Банарсидаса Чатурведи.

Б. Чатурведи много сделал для становления индийской публицистики. В годы, предшествовавшие завоеванию страной независимости, он возглавлял редакции многих ведущих газет и журналов Северной Индии.

После того как в 1947 году Индия обрела независимость Б. Чатурведи — и как депутат парламента, и как председатель Всеиндийского союза журналистов — все свои силы отдает созиданию новой Индии, решению тех нелегких проблем, которые достались ей в наследство от прошлого.

Дважды он посещает Советский Союз — страну, отношение к которой четко выразил в одном из писем: «С 1918 года я остаюсь преданным бхактом (поклонником) Советской России». В результате родилась книга путевых заметок «Литературное паломничество в Россию», за которую Б. Чатурведи был удостоен меж-

дународной премии имени Дж. Неру за укрепление дружбы между народами.

Страстный патриот, Б. Чатурведи делает все, что в его силах, чтобы индийский народ никогда не забывал своих мучеников и героев — тех, чьими усилиями и кровью была завоевана свобода и независимость родной страны, тех, кто жертвовал собой во имя свободы и «кому не довелось увидеть ее первые лучи». Так возникла серия книг об индийских революционерах, с оружием в руках боровшихся против чужеземного владычества.

Человеку широких демократических взглядов, Б. Чатурведи чужд национализм. С величайшим уважением относясь к индийским традициям, он вместе с тем по достоинству оценивает вклад каждого народа в развитие мировой культуры. Особое значение Б. Чатурведи придавал русской литературе, которая служила для него образцом гуманистической, сознающей свой высокий гражданский долг литературы, а имена Толстого, Чехова, Горького Б. Чатурведи свято пронес через всю жизнь.

И ныне Б. Чатурведи продолжает трудиться, делясь с молодежью огромными знаниями и опытом. Статьи за подписью Б. Чатурведи регулярно появляются на страницах газет и журналов Северной Индии. «Пока рука держит перо, «Дададжи» («Дедушка») индийской журналистики продолжает оставаться в строю борцов за светлое будущее своей родины».

ИРЛАНДИЯ

НОВЫЙ РОМАН ДЖУЛИИ О'ФАОЛЕЙН

Новый роман Джулии О'Фаолейн, известной романистки и новеллистки, дочери старейшего писателя, патриарха ирландской литературы Шона О'Фаолейна («ИЛ», 1981, № 4), «Послушная жена» (вышел в издательстве «Аллен Лейн») привлек внимание ирландских и англо-американских критиков.

С подробной рецензией на этот роман выступил в журнале «Лондон мэгэзин» Джеймс Кэмпбелл. По его мнению, своим предыдущим произведением «Это не страна для молодых людей», который в 1980 году был выдвинут на соискание премии «Букер», Джулия О'Фаолейн прочно сохраняет за собой одно из ведущих мест в современной англоязычной литературе. Новый роман лишь утвердил эту репутацию. Уже роман «Это не страна для молодых людей», действие которого охватывает значительный период в истории Ирландии — с 1912 по 1979 год,— показал, что писательница обладает даром рисовать лаконичные, но при этом социально и психологически емкие портреты, видеть важные проблемы, характерные для эпохи.

Одной из таких характерных для второй половины XX века проблем, как пишет Джеймс Кэмпбелл, стала проблема взаимоотношений и взаимодействия различных поколений, которая подробно рассмотрена в новом романе Джулии О'Фаолейн «Послушная жена».

Хотя в этом произведении О'Фаолейн временные рамки значительно сужены по сравнению с предыдущим романом (здесь описано всего несколько летних недель, которые главная героиня книги тридцатишестилетняя Клара проводит вне дома), О'Фаолейн создает убедительные портреты и своей главной героини, которая безуспешно пытается расстаться с мужем, и любовника Клары, молодого католического священника, и ее одиннадцатилетнего сына Маурицио. Главная проблема книги, замечает рецензент,— драматическое состояние сознания людей XX века, утративших ценностные ориентиры, а отсюда и самоощущение. Хотя внешне жизнь Клары, с ее безудержной погоней за удовольствиями, выглядит вполне благополучной, расстраивается совершенно бессмысленно, Клара нравственно опустошена. Не менее потерянным оказывается и ее любовник, несмотря на то что его теологический взгляд на мир кажется ему, как, впрочем, и окружающим его людям, более основательным.

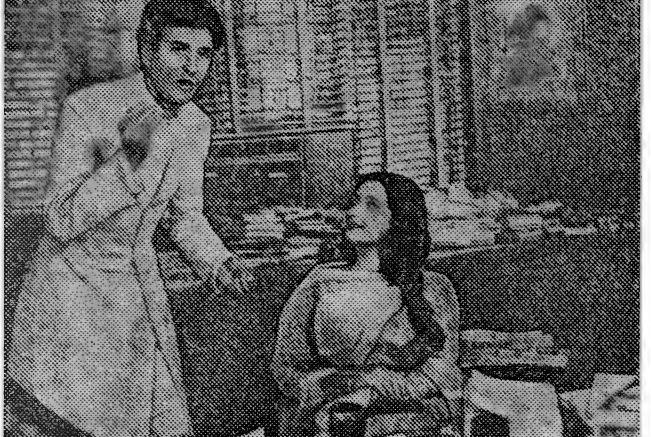
Кульминацией такой потерянности в мире, пишет рецензент, становится в известном смысле символический образ сына Клары, Маурицио. Продукт современного дезинтегрированного, массового общества, где все на потребу, продукт моральной вседозволенности, с которой он сталкивается повсюду — дома (любовные похождения матери), в большом мире (кинофильмы, показывающие, что происходящее с матерью — норма), Маурицио страдает от того, что не знает, кто же он, не знает даже, какой он национальности.

Рецензент журнала «Лиснер» Джон Меллорз дает высокую оценку также роману Джулии О' Фаолейн: «Это превосходно написанное, проблемное произведение, многие яркие сцены и образы которого надолго остаются в памяти после того, как перевернута последняя страница».

Как сообщает пресса, на экранах индийской столицы демонстрируется новый фильм режиссера Б. Р. Чопры «Замужество», в котором рассказывается о том, как власть денег и сила традиций, уходящих корнями в глухое средневековье, калечат судьбу молодой образованной женщины. Главную роль с огромным успехом сыграла молодая актриса Сальма Аги, это ее дебют в кино.

На снимке: исполнители главных ролей Радж Баббар и Сальма Аги в фильме «Замужество».

(Газета «Джан юг»)



ИТАЛИЯ

СТОЛЕТИЕ УМБЕРТО БОЧЧОНИ

В ознаменование столетия со дня рождения Умберто Боччони — художника, скульптора, теоретика искусства, одного из крупнейших представителей итальянского авангарда начала XX века, трагически погибшего тридцати четырех лет от роду,— в Милане была открыта выставка, где экспонировались картины, скульптуры, рисунки и гра-

вюры Боччони (его наследие, по свидетельству газеты «Унита», составляет свыше 600 произведений). Специальные залы миланской выставки были отведены для документальных материалов, критических и теоретических статей Боччони, а также для «свидетельств» о влиянии его идей и его работ на художников различных направлений.

В самом начале своего творческого пути восемнадцатилетний Боччони тяготел к веризму и разрабатывал в своем творчестве социальные, гуманистические темы (картины «Улица на окраине», «Мостильщики»). В Париже он восхищался творчеством импрессионистов и пуантилистов, изучал его (это отразилось в «Идущем поезде» и в других картинах). В течение семи месяцев он жил в Петербурге в качестве домашнего учителя (по свидетельству Итальянской энциклопедии): картины петербургского периода, к сожалению, до нас не дошли.

В 1910 году Боччони становится одним из вождей футуристов, одним из авторов их звонких манифестов, участником шумных манифестаций. Известный искусствовед Дарио Микакки пишет, что произведения Боччони — это живописное открытие современного города, индустриального общества, это обращение к широкой публике. У Боччони, при всех издержках футуристической ломки пространства и изображения его в вихреобразном движении пересекающихся плоскостей, содержание всегда, по мнению Дарио Микакки, превалировало над формой.

Из скульптур Боччони отмечается его хрестоматийно известная работа «Уникальные формы непрерывности в пространстве».

«Победное ощущение человека всех времен, который стремится преобразовать действительность»,— в этом видит Дарио Микакки пафос творчества Боччони.

НИКАРАГУА

НА ЭКРАНЕ — «СЕНЬОР ПРЕЗИДЕНТ»

Персонажи известного и нашим читателям романа гватемальского писателя, лауреата международной Ленинской премии мира и Нобелевской премии по литературе Мигеля Анхеля Астуриаса оживают на экране.

Близ никарагуанского города Гранада, по сообщению газеты «Баррикада», проводятся первые съемки фильма «Сеньор президент», часть этого фильма будет отснята в Гаване.

Экранизацию романа Астуриаса осуществляют французские, кубинские и никарагуанские кинематографисты, как отмечает газета «Баррикада». Сценарий написан французом Андре Кампом. Режиссер — кубинец Мануэль Октавио Гомес, в свое время поставивший фильмы «Дни воды» и «Первый удар мачете». Роли исполняют французские, кубинские и никарагуанские актеры.

Фильм «Сеньор президент» будет выпущен в двух вариантах — на испанском и французском языках.

ПОЛЬША

ПЕВЕЦ ШАХТЕРСКОЙ СИЛЕЗИИ

В этом году исполняется двадцать лет со дня смерти Густава Морцинека, писателя, вся жизнь которого и творчество неразрывно связаны с шахтерской Силезией. Сын рабочего, Густав Морцинек и сам начинал свою трудовую биографию на шахте в Карвине, потом он выучился, стал учителем, но его всегда волновали чаяния и заботы людей труда, он хорошо знал их среду, любил силезский фольклор, любил народные предания — все то, что питало его творчество. Думы и тревоги молодого учителя нашли отражение в его сборнике рассказов «Сердце за преградой». Но настоящую известность ему принес роман «Вырубленный штрек», в котором отражены трагические события, повествующие о сопротивлении силезцев германизации края накануне первой мировой войны. В 30-е годы вышел его роман «Вывороченные камни», в котором писатель остается верен своей теме.

Трагически сложилась судьба писателя в годы второй мировой войны, он был узником гитлеровских лагерей Заксенхаузен и Дахау. Перенеся все ужасы лагерей смерти, Морцинек после войны становится видным деятелем Польского комитета защиты мира, его избирают депутатом сейма. В Народной Польше он много и плодотворно пишет. Самым крупным произведением в послевоенные годы является роман-хроника «Пласт Иоанны» — о столетней истории революционного движения на одной из силезских шахт, за который Морцинеку была присуждена государственная премия. Другим значительным произведением стал роман «Ондрашек» — о легендарном силезском разбойнике, защитнике обездоленных и угнетенных.

Сейчас в Катовицах в издательстве «Шленск» выходят «Избранные произведения» Густава Морцинека.

РУМЫНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

В Бухаресте состоялось присуждение премий Союза писателей Румынии в области литературы и критики.

Большой премии за 1981 год удостоен патриарх румынской критики Ш. Чиокулеску, один из создателей «Истории современной румынской литературы» (1944), автор широко известных исследований, посвященных Караджале, Аргези. Незадолго до этого культурная общественность страны широко отметила

«Фантазий» — драма польского классика Юлиуша Словацкого — всегда в репертуаре польских театров. В этом сезоне спектакль по этой драме поставил Драматический театр г. Торунь. Режиссер спектакля — Марк Окопинский.
На снимке: сцена из спектакля «Фантазий».

(*Газета «Трибуна люду»*)

Румынский кинорежиссер и театральный деятель Алекса Висарион завершил работу над фильмом «Напасть» по одноименной драме И. Л. Караджале, которую в Румынии часто сравнивают с «Властью тьмы» Л. Н. Толстого.
По мнению рецензента журнала «Ромыния литерарэ», фильм достоин великого драматурга, всем своим творчеством призывавшего людей ненавидеть корыстолюбие, пустую фразеологию, политиканство, ценить человечность, достойный труд, правдивость. Драма героев «Напасти» — тех, кто всю жизнь вынужден нести тяжесть совершенных или приписываемых им преступлений и тех, кто мстит за эти преступления, передана в фильме с впечатляющей силой.
На снимке: исполнители главных ролей в фильме «Напасть» — Корнелю Думитраш в роли Драгомира, Дорина Лазэр в роли Анки, Флорин Замфиреску в роли Иона.

(Газета «Ромыния литерарэ»)

80-летие со дня рождения и 60-летие творческой деятельности маститого ученого.

Большая премия за 1982 год присуждена крупнейшему поэту Румынии М. Бенюку (род. в 1907 г.), сыгравшему активную роль в становлении новой поэзии социалистической Румынии, автору многочисленных поэтических сборников, в числе которых «Во главе коммунисты» (1954), «Сердце старого Везувия» (1957) «Песни души» (1960), «Краски осени» (1962), «Страна воспоминаний» (1976) и др.

Специальные премии вручены поэтам Джео Думитреску, И. Клопоцелу, И. Хорвату, Ш. А. Дойнашу, прозаику и драматургу Л. Деметриус, а также старейшим деятелям культуры Д. И. Сукяну и Ч. Делавранче, дочери классика румынской литературы Б. Ш. Делавранчи.

Премии за отдельные произведения получили поэт М. Динеску (сборник «Демократия природы»), прозаики В. Дуда (роман «Война воспоминаний») и К. Цою («Проводник»), драматурги Д. Соломон («Между этажами») и И. Нагиу («Мистер Агамемнон»). Премиями отмечены также публицистические сборники Р. Косашу («Жизнь со Станом и Браном»), И. Григореску («Американская дилемма»), работы по критике и истории литературы — О. С. Крохмэлничану («Хлеб наш насущный»), Н. Манолеску («Ноев ковчег»), М. Мартина («Кэлинеску и сложности румынской литературы»).

Вручение литературных премий состоялось также и в областных писательских организациях Румынии.

СИРИЯ

«ВОЙНА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ»

По сообщению журнала «Аль-Хиляль», службой информации палестинского движения Сопротивления выпущен сборник стихов «Война во время войны», принадлежащий перу поэта, пишущего под псевдонимом «Сахр» («Скала»). По словам обозревателя «Аль-Хиляль», под этим псевдонимом скрывается один из руководителей вооруженных сил палестинского Сопротивления. Стихи Сахра посвящены героической борьбе палестинцев за свою свободу.

США

«ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ»

Центральный эпизод нового романа Курта Воннегута «Прямое попадание» — взрыв нейтронной бомбы, уничтожившей все население американского города Мидленд-Сити, штат Огайо. Бомба взорвалась на шоссе, при транспортировке. Погибло свыше ста тысяч человек.

Главный герой книги Руди Вальс, за несколько месяцев до катастрофы уехавший на Гаити, где вместе с братом стал содержателем отеля и его шеф-поваром, возвращается в свой родной город, где теперь никто не живет. Впрочем, недвижимость не повреждена, инженерные коммуникации функционируют и уже имеется проект превратить Мидленд-Сити в большой лагерь для иммигрантов из Африки и Латинской Америки. А пока здесь работает киногруппа, снимающая фильм о самом сенсационном событии века.

Это событие считается всего лишь несчастным случаем. Однако герою Воннегута видится некая закономерность в том, что произошло. Ему представляется, что страны, как и отдельные люди, переживают юность, зрелый возраст и время умирания. «Жизнь не прекращается, но завершается история. Может быть, история моей страны завершилась сразу после второй мировой войны. Тогда моя страна была самой могучей. И она вознамерилась везде навести порядок. Потому что у нее одной была атомная бомба». Расплатой за это ослепление милитаристским могуществом видится Руди Вальсу трагедия Мидленд-Сити.

Перед читателем проходят судьбы нескольких представителей семейства Вальсов, которых отмечают мертвенность гражданского сознания и поразительная нравственная безответственность. Отец Руди, несостоявшийся художник, еще в юности подружился с другим непризнанным живописцем — будущим Адольфом Гитлером. Став одним из рьяных пропагандистов фашизма в Америке, Отто Вальс водрузил над своим домом нацистский флаг, а на чердаке устроил арсенал — он увлекался еще и коллекционированием огнестрельного оружия. Салютуя в день проводов своего старшего брата на военную службу, одиннадцатилетний Руди убивает наповал беременную домохозяйку, жившую поблизости от Вальсов. Цепочка трагических случайностей увенчивается взрывом нейтронной бомбы.

Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» Б. Демотт отмечает, что художественный мир Воннегута построен по особым законам, не признающим обычной причинно-следственной связи. Однако немотивированность развертывающихся в этом мире коллизий, происходящая в нем «комедия беспричинности» на деле являются попыткой показать, «насколько непрочны нравственные основания окружающей жизни, насколько расплывчаты преобладающие в ней принципы». Грустная ирония Воннегута заостряет читательское внимание на самых тревожных сторонах американской действительности.

ФРАНЦИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1982 ГОДА

Наиболее престижная во Франции Гонкуровская премия была присуждена Доминику Фернандезу за

роман «В руке ангела» — художественную биографию трагически погибшего в 1975 году известного итальянского писателя, кинорежиссера и общественного деятеля Пьера Пабло Пазолини.

В романе, как подчеркивает газета «Монд», мало чисто биографических фактов. О фильмах Пазолини, его творчестве — лишь беглые упоминания. В центре внимания — обстоятельства личной жизни Пазолини. По мнению критика «Кэнзэн литтерэр», Фернандез придерживается психоаналитического подхода в вопросе формирования личности и взглядов итальянского художника. Так, вступление Пазолини в компартию интерпретируется автором как бунт против деспотичного отца, олицетворявшего для сына закон и государство, подавляющее личность. Пазолини же отождествляется с Христом, выбравшим дорогу страданий. Герой романа Фернандеза сознательно идет на унижение, позор, стремится поставить себя вне общества и закона. Его противоречивые политические заявления вызывают как нападки справа, так и критику со стороны левых сил. В результате Пазолини оказывается в одиночестве. Правда, к фильмам его привыкли, их чинно ходят смотреть обыватели, но кинорежиссер с горечью убеждается, что «вседозволенность — лишь хитрость буржуазии, стремящейся надеть узду на свободу». Несмотря ни на что, отмечает критик, персонаж Фернандеза тоскует по нравственной чистоте. Его завораживает «ореол брошенного в тюрьму Грамши и казненного Лорки». Пазолини ищет смерти, и его убийство больше походит на самоубийство.

Премия «Ренодо» была присуждена молодому малоизвестному писателю Жоржу-Оливье Шаторено за роман «Факультет грез».

Герои «Факультета грез», по мнению критика «Монд», «обладают слабым жизненным инстинктом и одинаковой способностью отрешаться от реальности». Так, измученный работой чернорабочий Квентин, «подобно кроту, хочет укрыться во тьме». Его единственное желание в жизни — хорошенько отоспаться. Другой персонаж книги, Мануар, крупный финансовый чиновник, был бы рад забыться сном, но его преследуют кошмары: когда-то во время бомбежки был разрушен его дом и погибла семья. Работа для него потеряла свой смысл, он пытается покончить с собой. Библиотекарь Гюго пытается от безрадостной действительности убежать в мир книг. Под витиеватым псевдонимом Яго де Сент-Обиньи пишет он фантастические рассказы, которые издает на свои деньги. Но Гюго останется единственным читателем своих произведений.

Все трое по воле случая оказываются в пустующем корпусе университета, предназначенном на слом. Это полуразрушенное здание становится для героев «факультетом грез», где Квентин, Мануар и Гюго предаются своему излюбленному занятию — грезам.

«Трое несчастных, трое неудачников,— пишет «Юманите диманш».— Они не бунтуют и не отчаялись. Антигерой Шаторено вьет себе гнездышко в облаках, где едва ли не так уж уныло, как на земле».

Премию «Фемина» за роман «Безумные Бассана» получила 66-летняя канадская писательница Анн Эбер. Действие ее книги происходит в мифическом Гриффин-Крик, местечке на Атлантическом побережье Канады. Жители деревушки — потомки переселенцев из Новой Англии получившие от канадского правительства клочок земли для возделывания и охоты. События разворачиваются вокруг таинственного исчезновения сестер Норы и Оливии Откинс и поисков их убийцы. Перед читателями проходят свидетели, пастор Джонс, вдова Морин, юродивый Персеваль и многие другие обитатели деревушки. Принужденные к кровосмешению, они одержимы взаимной ненавистью. Сестры попытались вырваться из замкнутого мирка и жестоко поплатились за это. Как считает критик «Нувель обсерватёр», писательнице удалось мастерски передать гнетущую атмосферу, в которой живут обитатели затерянной деревушки. Через записки пастора, письма Стивена, предполагаемого убийцы, дневник Норы открывается истинная картина того, что произошло в Гриффин-Крик, деревушке, которая, по замечанию критика «Кэнзэн литтерэр», разрастается во вселенную, а банальное преступление — до апокалипсических размеров.

Премия «Медичи» была вручена сразу двум писателям — французу Ж. Ф. Жосселену и итальянцу Умберто Эко. Литературная критика расходится в оценке книг этих писателей. Если «Кэнзэн литтерэр» считает роман Ж. Ф. Жосселена «Ад и компания» «метафизической притчей», то «Юманите» резко критикует книгу, содержание которой сводится к «пьяным шуткам и каламбурам героя-алкоголика».

Умберто Эко — известный семиолог. «Имя розы» — его первый роман, написанный в форме комического детектива, действие которого разворачивается в аббатстве бенедектинцев, где одного за другим убивают семь монахов. Время — 1327 год. Вести следствие берется «ученый монах» Гийом да Баскервиль. Вместе со средневековым Шерлоком Холмсом читатель погружается в эпоху папских войн, раскола церкви, борьбы нарождавшегося материализма с религиозным догматизмом.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«БЕРЕГИТЕ СВОИ КРЫЛЬЯ»

Издательство «Ческословенски списовател» в серии «Чешские стихи» выпустило новый сборник Доната Шайнера. Стихи этого известного чешского поэта, нашего современника, хорошо знакомы советскому читателю: у нас выходили его книги, а подборки стихотворений неоднократно печатались в советской периодике (см., в частности, «Иностранную литературу», 1974, № 2, 5, 1979, № 12). Сквозная тема новой книги поэта «Берегите свои крылья» — подведение жизненных итогов, оценка пройденного пути. Лирический герой Д. Шайнера, человек немолодой, много повидавший на своем веку. Он всегда готов к тому, чтобы собрать все свои силы и начать все сначала: «Берегите свои крылья до последнего / Они вам помогут взлететь». Своеобразные зарисовки повседневности, обыденного чередуются со стихотворениями, требующими многократного прочтения, наполненными усложненной символикой.

Собранные в новой книге Д. Шайнера стихотворения очень динамичны, ритмически разнообразны. Преобладает белый стих; в основе многих произведений — диалоги.

Автор рецензии в «Руде право» Я. Неедла сочла необходимым отметить, что стихотворения из последнего сборника видного поэта близки по духу лучшим образцам чешской лирики.

На снимке: плакат словацкого художника Йозефа Хована «Слава нашим освободителям!», посвященный Дню Победы 9 мая 1945 года.

Авторы этого номера

В подборке стихов «Из современной поэзии индейцев США» представлены:

Н. СКОТТ МОМАДЭЙ — N. SCOTT MOMADAY род. в 1934 г.).

Прозаик, поэт, эссеист. Выходец из племени кайова. Окончил Стэнфордский университет. Автор романа «Дом, из рассвета сотворенный» («House Made of Dawn», 1968; удостоен премии Пулитцера; переведен на русский язык), повести «Путь к Горе Дождей» («The Way to Rainy Mountain», 1969), автобиографической книги «Имена» («The Names», 1976). Публикуемые стихотворения взяты из сборника «Танцор с погремушкой» («The Gourd Dancer». New York, Harper & Row, 1976).

САЙМОН ДЖ. ОРТИС — SIMON J. ORTIZ (род. в 1941 г.).

Поэт, новеллист, журналист. Выходец из индейской общины Акома. Окончил университет Нью-Мексико и Айовы. Автор стихотворных сборников «Народ выстоит» («The People Shall Continue», 1980), «Из ручья Сэнд-Крик» («From Sand Creek», 1981), книги новелл «Индейцы Хоуба» («Howbah Indians», 1978). Предлагаемые стихи были напечатаны в сборниках «В ожидании дождя» («Going for the Rain», New York, Harper & Row, 1976). «Доброе путешествие» («A Good Journey». Berkeley, Turtle Island Foundation, 1977).

ДЖЕЙМС УЭЛЧ — JAMES WELCH (род. в 1940 г.).

Поэт и романист. Выходец из племени блэкфит. Окончил Монтанский университет. Автор романов «Зима в крови моей» («Winter in the Blood», 1974), «Смерть Джима Лоуни» («The Death of Jim Loney», 1979). Стихи взяты из сборника «По сорока акрам Эрсбоя» («Riding the Earthboy 40», New York, 1971).

ДУЭЙН НИАТУМ — DUANE NIATUM (род. в 1938 г.).

Поэт. Выходец из племени клаллам. До 1971 г. печатался под фамилией Макгиннис. Окончил университет Джона Хопкинса. Автор поэтических сборников «После смерти старейшины Клалламов» («After the Death of an Elder Klallam», 1970), «Обнажение корней» («Digging for the Roots», 1977), «Песни для Жнеца снов» («Songs for the Harvester of Dreams», 1981). Ниатумом составлена одна из лучших антологий современной поэзии индейцев США «Хранители Круга вещих снов» («Carriers of the Dream Wheel», 1975).

Публикуемые стихи были напечатаны в сборнике «Восход Луны красных кедров» («Ascending Red Cedar Moon», New York, Harper & Row, 1974).

ЛАНС ХЕНСОН — LANCE HENSON (род. в 1944 г.).

Поэт. Выходец из племени чейеннов. Окончил Оклахомский колледж в г. Чикаша. Автор сборников стихов «Хранитель стрел» («Keeper of Arrows», 1972), «Название для тьмы» («Naming the Dark», 1976), «Мистаа» («Mistah», 1977). Стихи Ланса Хенсона взяты из сборника «Хранитель стрел» (Oklahoma, Renaissance Press).

О жизни индейцев в резервациях см. статью С. Кондрашова «В Аризоне у индейцев» («ИЛ», 1982, №1).

РУСАКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1938 г.).

Советский поэт и переводчик. Автор сборников стихов «Горластые ветры» (1960), «Длина дыхания» (1980). Переводил с французского стихи Арагона, Жан-Пьера Фая, с английского — Томаса Мура, Дж. Донна, Филипа Сидни, Томаса Кэмпиона и др.

ГЮНТЕР ГРАСС — GÜNTER GRASS (род. в 1927 г.). Немецкий писатель (ФРГ). Автор романов «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959; отмечен премией литературной «Группы 47»), «Собачьи годы» («Hundejahre», 1963), «Под местным наркозом» («Örtlich betäubt», 1969), «Из дневника улитки» («Aus dem Tagebuch einer Schnecke», 1972), «Камбала» («Der Butt», 1977), книги путевых очерков «Гомункулы» («Kopfgeburten», 1980).

«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Г. Грасса, напечатав его повесть «Кошка и мышь» (1968, № 5). Повесть «Встреча в Тельгте» была опубликована издательством «Лухтерханд» в Дармштадте в 1979 году («Das Treffen in Telgte». Darmstadt und Neuwied, Luchterhand Verlag).

АРХИПОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1943 г.).

Советский критик, литературовед и переводчик с немецкого. Кандидат филологических наук. Автор работ о немецкоязычной литературе XIX—XX вв. В его переводе издавались повести Бюхнера, Шнурре, Розая, рассказы Броха, Рота, Фюмана, пьесы Фриша, Брукнера, Хорвата и др.

ИРВИН ШОУ — IRWIN SHAW (род. в 1913 г.).

Американский писатель — романист
лист, драматург. В 1936 году пр
рокую известность своей ан
сой «Хороните мертвых
Dead»).
Советским чита ом по
переведенным к романам
«Молодые львы в Византии»
(«ИЛ», 1975, № 9 огач, бедняк...»
(«ИЛ», 1980, № ьесам «Бруклин-
ская идиллия», «З многочисленным
рассказам, печатав оветских жур-
налах, в том числ странной лите-
ратуре» (1967, № 2;).
В этом номере мы публикацию
в журнальном вар мана И. Шоу
«Нищий, вор» («Beg hief». London,
Weidenfeld and Nicols

ЕМЕЛЬЯННИКОВА НИ ВНА

Советский переводчик с ого языка.
В ее переводах опуб романы
Вальтера Скотта «Певери ж. О'Ха-

ры «Свидание в Самарре», Ч. П. Сноу «Возвращения домой», Нормана Льюиса «Сицилийский специалист» («ИЛ», 1980, № 1), рассказы Дж. Лондона и др. произведения английских и американских писателей.

ЯКУШКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

Советский переводчик с английского. Переводила рассказы Ирвина Шоу, Дж. О'Хары, С. Хилл («ИЛ», 1976, № 1), романы Нормана Льюиса «Сицилийский специалист» («ИЛ», 1980, № 2), Патрика Смита «Эндджел-Сити, или Ангельский город» («ИЛ», 1981, № 2), книгу Ст. Тёркела «Улица Разделения: Америка» («ИЛ», 1969, № 8, 9) и др.

ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ — GIOVANNI GIUDICI (род. в 1924 г.).

Итальянский поэт, критик, переводчик. Автор поэтических сборников «Жизнь в стихах» («La vita in versi», 1964), Автобиология» («Autobiologia», 1969; удостоен премии Виареджо), «О, отрада» («O beatrice», 1972), «Зло от кредиторов» («Il male dei creditori», 1977).

На русском языке стихотворения Д. Джудичи печатались в «Иностранной литературе» (1976, № 1), в сборниках «Итальянская лирика — XX век» и «Из современной итальянской поэзии».

На итальянский язык поэт перевел «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Публикуемые стихи взяты из последней книги Д. Джудичи «Ресторан мертвецов» («Il ristorante dei morti». Milano, Mondadori, 1979).

...ЛАДЬ — NAGY LAJOS

...ский прозаик и публицист, лауреат ...ударственной премии имени Кошута. Автор многих сборников новелл, в том числе «Проспект Андраши» («Az Andrássy-út», 1918), «Урок» («Lecke», 1930), «Доходный дом» («Bérház», 1931), социографического романа «Кишкунхалом» («Kiskunhalom», 1934), романов «Ученик» («A tanyitvány», 1945), «Дневник, написанный в подвале» («Pincenapló», 1945) и др., а также многочисленных статей, мемуаров, памфлетов.

Публикуемые рассказы взяты из книги «Египетский писец» («Egyiptomi iródeák». Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979).

РЯУЗОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Советский литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор исследований «Португалоязычные литературы Африки» (1970), «Роман в современных португалоязычных литературах (проблемы типологии и взаимодействия)» (1980). В ее

переводе вышли романы Фернандо Наморы «Огонь в темной ночи», «Живущие в подполье», «Человек в маске», Жозе Гомеша Феррейры «Чудесные приключения Смельчака Жоана», Жозе Кардозо Пиреса «Гость Иова» и др.

УИНСТОН ОРРИЛЬО — WINSTON ORRILLO (род. в 1941 г.).

Перуанский поэт, автор шестнадцати поэтических сборников, в их числе «Воспоминание о напеве» («La memoria del aire», 1965), «Девять поэм» («9 poemas», 1969), «На уровне человека» («A la alture del hombre», 1973), «Лучшие стихи о любви («Sus mejores poemas del amor», 1973), «О глазах» («Sobre los ojos», 1981) и др.

Уинстон Оррильо — профессор университета Сан-Маркос и университета Сан-Мартин де Поррес в Лиме.

Статья «Книги борьбы» получена от автора в рукописи.

ПЬЕР БУЛЬ — PIERRE BOULLE (род. в 1912 г.).

Французский писатель. Широкую известность принес ему роман «Мост через реку Квай» («Le Pont de la rivière Kwaï», 1952). Произведения П. Буля неоднократно выходили в русском переводе, в том числе роман «Планета обезьян» («La Planète des singes», 1962).

Новелла «Дьявольское оружие» («L'arme diabolique») взята из сборника «Благотворительные рассказы», изданного в 1965 г. в Париже («Histoires charitables». Paris Gallimard).

БОСТ — (псевд. — настоящее имя Мендис Бостандзоглу, род. в 1919 г.)

Греческий писатель-сатирик. Автор памфлетов, сатирических очерков, фельетонов, сценариев для кино и телевидения.
Рассказ «Сценарий» взят из сборника «Фауста» (Афины, «Эрмиас», 1972).

◆

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5. Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ
О. С. ВАСИЛЬЕВ
КЕВИЧ, Е. А. Д
А. А. КОСОРУ
А. Н. СЛОВЕС
НОВ (зам. гла

Художестве

Адрес ре

Сдано г 03.83.
печать

Тираж

Орд овского К
в СССР» и

. В. ДАШ-
ИПОВИЧ,
ИЕВСКИЙ,
А. ЧУГУ-

Поляков.

3-51-47.

×108 1/16.

родных
., 5.

Партизанские матери

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394